

НОВЫЙ
МИР

11

1937

Н О В Ы Й

М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж У Р Н А Л

К Н И Г А

ОДИННАДЦАТАЯ

Н О Я Б Р Ь

М О С К В А

1 . 9 . 3 . 7

Статформат Б/5 176×250.
Упслн. Главлита Б—29666. Объем 22 печ. л. по 64.000 знак. Сдано в набор 28/IX—37 г.
Подписано к печати 15/X—37 г. Техн. ред. С. Гуревич. Тир. 70.000. Зак. 2471.
Тип. им. тов. И. И. Скворцова-Степанова «Известия ЦИК СССР и ВЦИК», Москва.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Красочные вкладки: портрет В. И. ЛЕНИНА портрет И. В. СТАЛИНА	
1. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БОРЬБЫ И ПОБЕД	5
2. МИХ. ШОЛОХОВ. — Тихий Дон, роман	17
3. Т. ШАМШИЕВ. — Товарищ Сталин, стихотворение	81
4. С. ДИКОВСКИЙ. — Патриоты, повесть	82
5. ОСИП КОЛЫЧЕВ. — Стихотворения	142
6. СУЛЕЙМАН СТАЛЬСКИЙ. — Дагестанские рубайи	145
7. В. ПОЛТОРАЦКИЙ. — Песня 220 полка	166
8. Н. НЕЗЛОБИН. — Ясный месяц. (Главы из сказки)	168
9. АЛ. МАЛЫШКИН.—Люди из захолустья, роман, продолжение	175
—————	
10. ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. — Красная площадь (С иллюстр.) : .	223
11. МАРИЭТТА ШАГИНЯН. — Предки Ленина. (С иллюстр.) .	262
12. Е. ГЕРАСИМОВ, М. ЭРЛИХ. — Герой украинского народа — Щорс. (С иллюстр.)	286
13. ВАНДА РОСОЛОВСКАЯ.—1917 год в документах кино-хроники	300
—————	
14. ЛИТЕРАТОР. — Двадцать лет советской литературы	310





В. И. ЛЕНИН

С картины худ. Михайловского.



И. В. СТАЛИН

С картины худ. Максимова.

Двадцать лет борьбы и побед

Двадцать лет назад рабочие и крестьяне бывшей Российской империи, под руководством партии Ленина—Сталина, свергли иго помещиков и буржуазии. Вооруженные до зубов войска иностранных империалистов пришли на помощь буржуазно-помещичьей контрреволюции. Армии 14 империалистических государств вторглись в пределы нашей страны. Одновременно буржуазно-помещичья контрреволюция организовывала белогвардейские восстания в самой стране, обрекала народные массы на голод, нужду и лишения. Иностранные интервенты рассчитывали поработить нашу родину, расчленив ее на части, превратить в колонию международного империализма. Интервенты просчитались в своих планах. Под руководством партии Ленина—Сталина рабочий класс в союзе с трудящимся крестьянством организовал свою Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и смел с лица советской земли всех интервентов, уничтожил вооруженные полчища буржуазно-помещичьей контрреволюции.

После победоносного окончания гражданской войны рабочие и крестьяне нашей страны принялись за восстановление разоренного многолетней империалистической войной, а затем интервенцией хозяйства. В стране царил разруха: железнодорожный транспорт и промышленность были парализованы. В сельском хозяйстве господствовали вековая отсталость, нищета, темнота. Страшный призрак голода угрожал трудящимся массам нашей страны.

Партия Ленина—Сталина, организовавшая победу в гражданской войне, бросила своих лучших сынов на важнейшие участки хозяйственного строительства. В невиданно быстрые сроки страна была вырвана из цепких лап разрухи. Снова в стране оживили заводы и фабрики, заработали шахты и железные дороги. В 1926 году советская промышленность произвела продукции больше, чем на 11 миллиардов рублей, превысив продукцию 1913 года. Восстановление промышленности, доведение ее до довоенного уровня еще не ликвидировало общей промышленной отсталости

страны; она продолжала отставать и в сельскохозяйственном отношении. Для победоносного построения социализма в нашей стране надо было создать новую, высокую технику.

Ленин и Сталин указывали, что в нашей стране имеется все необходимое для построения социалистического общества. Против ленинско-сталинского плана построения социализма в нашей стране выступили гнусные враги рабочего класса — Троцкий, Зиновьев, Каменев и их приспешники. Правые защитники капитализма, так же, как и троцкисты, добивались восстановления капитализма в нашей стране, продавая нашу родину империалистическим хищникам. Большевистская партия под руководством товарища Сталина разгромила все эти вражеские банды. Советская власть разоблачила и уничтожила контрреволюционные организации, которые на деньги иностранных разведок осуществляли вредительство на наших стройках, на заводах, в совхозах и колхозах.

По всей стране развернулась невиданная стройка. В течение двух Сталинских пятилеток в Советском Союзе произошли величайшие изменения. Неузнаваемо преобразилось лицо Советской страны. Еще в 1925 году в своем докладе на XIV съезде большевистской партии товарищ Сталин указывал, что в самый кратчайший срок СССР должен быть превращен в индустриальную страну, в страну передовой промышленности, передовой современной техники. Товарищ Сталин выдвигает лозунг индустриализации страны в качестве центральной задачи партии. В области

развития народного хозяйства, — говорил тогда товарищ Сталин, — партия должна добиваться дальнейшего увеличения продукции, превращения нашей страны из аграрной в индустриальную, обеспечения в народном хозяйстве решительного перевеса социалистических элементов над элементами капиталистическими, обеспечения народному хозяйству СССР необходимой самостоятельности в обстановке враждебного капиталистического окружения.

Задача состояла в том, чтобы догнать и перегнать в технико-экономическом отношении передовые капиталистические страны, создать собственную крупную социалистическую промышленность, которая вооружит различными машинами все народное хозяйство, обеспечит перевод на социалистический путь и сельское хозяйство. Ленинско-Сталинская генеральная линия на индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства состояла в том, чтобы на основе развития социалистических форм производства в промышленности и сельском хозяйстве притти к полному уничтожению эксплуататорских классов, к победе социализма.

Партия Ленина—Сталина, разгромив всех врагов социализма, успешно разрешила все эти величайшие задачи. Первая Сталинская пятилетка была выполнена в четыре года. Народные массы нашей страны проявили чудеса трудового героизма.

В годы первой пятилетки партия большевиков блестяще выполнила план индустриализации. Советский Союз из отсталой аграрной страны

превратился в передовую индустриальную державу. В деревне, под влиянием укрепления всех позиций социалистического строительства, развернулась коллективизация сельского хозяйства, середняк встал на путь социализма, массами пошел в колхозы. Капиталистические элементы были почти полностью вытеснены из промышленности и торговли. На основе сплошной коллективизации сельского хозяйства было ликвидировано кулачество как класс. В годы первой пятилетки в СССР был построен фундамент социалистической экономики.

Первая Сталинская пятилетка укрепила экономическую независимость нашей родины. В СССР было создано много новых отраслей промышленности, которых вовсе не было раньше: самолетостроение, тракторостроение, автомобилестроение, станкостроение. В СССР была создана промышленность сельскохозяйственных машин и мощная химическая индустрия.

Империалистические хищники могли напасть в любой момент на нашу родину, пользуясь ее технико-экономической отсталостью. Вот почему партия, под руководством товарища Сталина, все свои силы направила на создание могучей социалистической индустрии, ликвидируя тем самым слабость страны в области обороны:

«... из страны слабой и неподготовленной к обороне Советский Союз превратился в страну могучую в смысле обороноспособности, в страну, готовую ко всяким случайностям, в страну, способную производить в массовом масштабе все современные орудия обороны

и снабдить ими свою армию в случае нападения извне»¹⁾.

Победа первой Сталинской пятилетки на практике, на деле опрокинула все гнусные троцкистско-зиновьевские бредни о невозможности построения социализма в нашей стране. Партия, под руководством товарища Сталина, беспощадно разгромила контрреволюционный троцкизм и правых предателей и направила волю миллионов масс рабочего класса и трудящегося крестьянства на построение мощного фундамента социалистического общества.

Выполнив эту задачу, партия Ленина—Сталина приступила к разрешению основной политической задачи второй пятилетки: окончательная ликвидация капиталистических элементов и классов вообще, полное уничтожение причин, порождающих классовые различия и эксплуатацию, и преодоление пережитков капитализма в экономике и сознании людей, превращение всего трудящегося населения страны в сознательных и активных строителей бесклассового социалистического общества. В качестве главной хозяйственной задачи второй пятилетки было определено: завершить техническую реконструкцию всего народного хозяйства. Ныне в Советском Союзе бесповоротно победил социализм. В Советском Союзе победила общественная, социалистическая собственность на средства и орудия производства, окончательно уничтожены эксплуататорские классы. В результате побед второй Сталинской пятилетки в нашей стране осуще-

¹⁾ И. В. Сталин. «Вопросы ленинизма», Партиздат ЦК ВКП(б), 1936 г., 10-е изд., стр. 490.

ствлено плановое социалистическое хозяйство, обеспечивающее неуклонный под'ем материального и культурного уровня трудящихся, устраняющее возможность кризисов, безработицы и нищеты масс.

В Советском Союзе создана новая, социалистическая промышленность. По выпуску валовой продукции промышленности СССР занял первое место в Европе и второе в мире. Вся крупная промышленность царской России в 1913 году давала продукции (в ценах 1926/27 г.) на 11 миллиардов рублей. Крупная промышленность СССР, в этих же ценах, в 1936 году дала продукции на 80,9 миллиарда рублей. Ярким показателем роста индустриализации и экономической независимости нашей родины является резко возросший удельный вес производства средств производства. В общей продукции крупной промышленности удельный вес производства средств производства составлял в 1913 г. 42,9 проц., а в 1936 г. — 60,8 проц.

75,4 проц. всей продукции промышленности СССР выпускается заводами, построенными и полностью реконструированными Советской властью. Общий об'ем капитальных вложений в народное хозяйство с 1924 г. по 1936 год достигает 180,3 миллиарда рублей (в ценах соответствующих лет).

В СССР победил колхозный строй. 93 проц. крестьянских дворов состоят в колхозах. Число последних к 1937 году достигло 243,7 тыс. В 1936 году социалистическая промышленность дала сельскому хозяйству 116.054 трактора, мощностью в 2.646,4 тыс. лошадиных сил. В том же

году заводы сельскохозяйственного машиностроения дали стране 42,6 тыс. комбайнов. В распоряжении колхозного крестьянства и трудящихся единоличников сейчас имеется 370,8 миллиона гектаров сельскохозяйственной земли. В совхозах — 51,1 млн. гектаров. Посевные площади с 105,0 в 1913 г. выросли до 135,2 миллиона гектаров в 1937 году¹⁾.

Двадцать лет назад наша страна была нищей и убогой. В результате побед социалистического строительства спокойно и без страха смотрит в будущее советский народ. В Сталинской Конституции записаны все величайшие завоевания народных масс: право на труд, на отдых, на образование, на обеспечение в старости. Наша родина стала могучим социалистическим государством рабочих и крестьян. Социалистическая собственность на орудия и средства производства является незыблемой основой советского общества. В СССР осуществлена самая последовательная, самая широкая в мире социалистическая демократия. Социалистическая экономика в СССР не знает кризисов и безработицы. Все то, о чем мечтали лучшие умы человечества, достигнуто рабочими и крестьянами нашей страны под руководством партии Ленина—Сталина. К государственному руководству поднялись миллионные массы ранее угнетенных и эксплуатируемых, отныне ставших полноправными хозяевами своей свободной страны.

Накануне Великой Октябрьской социалистической революции Ленин писал:

¹⁾ Цифровые данные, приведенные выше, опубликованы в «Правде» от 19 октября 1937 г.

«... у нас есть «чудесное средство» сразу, одним ударом удесятерить наш государственный аппарат, средство, которым ни одно капиталистическое государство никогда не располагало и располагать не может. Это чудесное дело— привлечение трудящихся, привлечение бедноты к повседневной работе управления государством»¹⁾.

Ленин писал тогда, что

«У нас есть материал и в природных богатствах, и в запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, который дала народному творчеству великая революция, — чтобы создать действительно могучую и обильную Русь»²⁾.

Основной, направляющей силой Советов, передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя, руководящим ядром всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных, являлась и является великая партия большевиков, выпестованная, закаленная в боях Лениным и Сталиным.

Наша партия впервые за всю историю человечества сумела разрешить задачу установления новой государственной власти, привлечения к управлению государством через советы миллионов рабочих и крестьян.

Товарищ Сталин в своем докладе на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов подвел замечательные итоги тому, что добыто и завоевано Советской властью почти за двадцать

лет ее существования. Товарищ Сталин говорил, что

«... Советская власть ликвидировала класс помещиков и передала крестьянам более 150 миллионов гектаров бывших помещичьих, казенных и монастырских земель и это—сверх тех земель, которые находились и раньше в руках крестьян...

Затем, Советская власть экспроприровала класс капиталистов, отобрала у них банки, заводы, железные дороги и прочие орудия и средства производства, объявила их социалистической собственностью и поставила во главе этих предприятий лучших людей рабочего класса...

Затем, организовав промышленность и сельское хозяйство на новых, социалистических началах, с новой технической базой, Советская власть добилась того, что ныне земледелие в СССР дает в 1½ раза больше продукции, чем в довоенное время, индустрия производит в 7 раз больше продукции, чем в довоенное время, а народный доход вырос в 4 раза в сравнении с довоенным временем...

Затем, Советская власть уничтожила безработицу, провела в жизнь право на труд, право на отдых, право на образование, обеспечила лучшие материальные и культурные условия рабочим, крестьянам и интеллигенции, обеспечила проведение в жизнь всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании граждан...»¹⁾.

¹⁾ В. И. Ленин, собр. соч. т. XXI, стр. 264.

²⁾ В. И. Ленин, собр. соч. т. XXII, стр. 376.

¹⁾ И. В. Сталин. Доклад о проекте Конституции Союза ССР. Партиздат ЦК ВКП(б), 1937 г., стр. 39—40.

Народы Советского Союза с гордостью отмечают героическую роль партии и советов в уничтожении проклятого прошлого. Они знают, что советы выросли и окрепли в результате свержения власти помещиков и капиталистов и установления диктатуры пролетариата в нашей стране. Много народных сил было затрачено для обеспечения победы советской власти, для строительства социализма, для полного развертывания социалистической демократии, давшей народным массам нашей страны счастливую, радостную, зажиточную и культурную жизнь. Народы Советского Союза знают, что всеми этими победами они обязаны великой партии Ленина—Сталина.

Гордость за свою родину, преданность и любовь к ней, забота о неприкосновенности ее границ, ее чести и славы, могущества и благосостояния, — вот, что является высшим законом жизни всех граждан Советского Союза.

Источником могущественной силы социалистического государства рабочих и крестьян является любовь и доверие всего советского народа к своей родной большевистской партии Ленина — Сталина — организатору всех наших побед. Под руководством нашей великой партии рабочий класс в союзе с крестьянством сбросил царизм, сверг власть помещиков и капиталистов, победоносно закончил гражданскую войну и разгромил полчища белогвардейцев и иностранных интервентов, пытавшихся завладеть советской землей, восстановить господство капитализма. Под руководством партии Ленина—Сталина в на-

шей стране окончательно и бесповоротно победил социализм. Многомиллионный народ свободно и гордо поднял свою голову. Он вздохнул полной грудью: новая социалистическая счастливая жизнь развернула все его таланты и блестящие способности.

«Впервые после столетий труда на чужих, — писал Ленин, — подневольной работы на эксплуататоров является возможность работы на себя, и притом работы, опирающейся на все завоевания новейшей техники и культуры»¹⁾.

Жить в Советском Союзе — величайшее счастье. От пионера до ученого с мировым именем, каждый гражданин СССР готов отдать все свои силы и всю свою жизнь на благо родины. Советские люди с гордостью и честью носят звание граждан социалистического государства рабочих и крестьян. От полярных льдов до субтропиков, от Тихого океана до Балтики, на всех необъятных просторах нашей страны множатся примеры героизма и беззаветной любви к родине. Рабочие, колхозники, советская интеллигенция полны гордости и любви к своей непобедимой социалистической родине.

Двадцатая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции в СССР совпадает с подготовкой нашего народа к выборам в Верховный Совет. В гигантских размерах возросла политическая активность трудящихся. Об этом наглядно свидетельствует та активная помощь, которую оказывают нашей партии трудящиеся массы в разоблачении

¹⁾ В. И. Ленин, собр. соч. т. XXII, стр. 161.

шпионов и вредителей, в разоблачении всех врагов советской власти.

Трудящиеся массы нашей страны идут к выборам в Верховный Совет, еще больше укрепляя бдительность в своих рядах. Они целиком и полностью одобряют ту работу, которую проводит партия Ленина—Сталина по уничтожению вражеских шпионских гнезд, троцкистско-бухаринских бандитов, подлых агентов фашизма. Разоблачая и изгоняя врагов народа, уничтожая без остатка подлую фашистскую агентуру, трудящиеся массы готовятся к выборам в Верховный Совет Союза ССР. Они будут выбирать только тех, кто на деле доказал свою преданность делу социализма, тому делу, за которое боролась и борется великая партия Ленина — Сталина, организатор всех наших огромных побед. Все партийные и непартийные большевики еще выше поднимут свою бдительность. Все вражеские проделки разобьются о выросшую активность советского народа. День выборов — 12 декабря 1937 года — будет днем величайшей демонстрации советского патриотизма, любви народа к своей родине. Советский патриотизм — это непобедимая сила. Укрепляя социалистический строй в нашей стране, народы Советского Союза еще больше сплачиваются вокруг партии большевиков, вокруг горячо любимого вождя народов товарища Сталина.

Народы Советского Союза со всей отчетливостью видят, что неустанная забота об укреплении обороноспособности нашей страны, ее хозяйственной мощи и беспощадное выкорчевывание всех наемников и агентов фашизма, всех троцкистско-бухаринских

шпионов является самым важнейшим, неперемнным условием наших дальнейших побед.

Центральный Комитет нашей партии и товарищ Сталин неоднократно предупреждали все партийные и советские организации о необходимости заострения большевистской бдительности, о необходимости беспощадной ликвидации врагов народа и всех шпионско-диверсионных гнезд.

Товарищ Сталин говорил в своем докладе на пленуме Центрального Комитета в марте 1937 года, что колоссальные успехи на фронте хозяйственного строительства, которыми увлеклись некоторые товарищи, привели к тому, что они забыли о том, что советская власть победила только на одной шестой части света и что пять шестых частей света составляют владения капиталистических государств.

«Они забыли, что Советский Союз находится в обстановке капиталистического окружения. У нас принято болтать о капиталистическом окружении, но не хотят вдуматься, что это за штука — капиталистическое окружение. Капиталистическое окружение—это не пустая фраза, это очень реальное и неприятное явление. Капиталистическое окружение — это значит, что имеется одна страна, Советский Союз, которая установила у себя социалистические порядки, и имеется, кроме того, много стран — буржуазные страны, которые продолжают вести капиталистический образ жизни и которые окружают Советский Союз, выжидая случая для того, чтобы напасть на него, разбить его или, во всяком слу-

чае — подорвать его мощь и ослабить его.

Об этом основном факте забыли наши товарищи. А ведь он именно и определяет основу взаимоотношений между капиталистическим окружением и Советским Союзом»¹⁾.

Враги народа всеми средствами пытались свернуть СССР с социалистического пути. Они, как указывал в своей речи на выпуске академиков Красной Армии товарищ Сталин,

«... не всегда ограничивались критикой и пассивным сопротивлением. Они угрожали нам поднятием восстания в партии против Центрального Комитета. Более того: они угрожали кое-кому из нас пулями. Видимо, они рассчитывали запугать нас и заставить нас свернуть с ленинского пути. Эти люди, очевидно, забыли, что мы, большевики, — люди особого покроя. Они забыли, что большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами. Они забыли, что нас ковал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, который не знал и не признавал страха в борьбе. Они забыли, что чем сильнее беснуются враги и чем больше впадают в истерику противники внутри партии, тем больше накаляются большевики для новой борьбы и тем стремительней двигаются они вперед»²⁾.

¹⁾ И. В. Сталин. О недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников. Партиздат ЦК ВКП(б), 1937 г., стр. 21 — 22.

²⁾ Речь товарища Сталина в Кремлевском дворце на выпуске академиков Красной армии 4 мая 1935 г. Партиздат ЦК ВКП(б) 1935 г. стр. 10.

Несмотря на предупреждения Центрального Комитета и товарища Сталина, в партии и советском аппарате оказались люди, которые не сумели распознать новые маневры классовых врагов, распознать волков в овечьей шкуре, сорвать с них маску. Между тем, за все годы, истекшие с момента окончания гражданской войны, борьба капиталистических классов против Советской страны не прекращалась, проявляясь в различных формах вредительства, диверсии и шпионажа. Такие факты, как кулацкий саботаж хлебозаготовок, как вредительство шахтинцев, как подрывная деятельность промпартии, заговоры и шпионаж в пользу фашистских генеральных штабов троцкистско-бухаринских предателей, — прямое свидетельство тех громадных трудностей, которые пришлось преодолеть Советской власти и нашей партии, чтобы добиться бесповоротной победы социализма в СССР.

Никогда нельзя забывать об основном факте из области международного положения СССР — о наличии враждебного капиталистического окружения. Тов. Молотов в своей речи на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов говорил:

«Мы знаем по многим фактам, что охотников до срыва мира и поджигательства войны сейчас не мало. Соответствующие напоминания мы то и дело получаем с наших границ. Не умея вести себя хоть сколь-нибудь солидно, некоторые военные из соседних государств ведут себя, буквально как назойливые осенние мухи.

... Наша задача — стоять на страже мира и быть готовым к

любим заговорам и покушениям извне»¹⁾).

Красная Армия, охраняющая советские границы, пользуется заслуженной горячей любовью народных масс. Она окружена повседневной заботой партии, правительства и народов нашей страны. Советский народ гордится своей Красной Армией, которая сокрушит и уничтожит всякого, кто осмелится напасть на Советский Союз. Заботами партии и правительства, при горячей поддержке всей страны, Красная Армия оснащена самой могущественной, совершенной техникой обороны. Сила Красной Армии удесят�еряется ее теснейшей неразрывной связью с народом. Нет и не может быть мощнее советских самолетов, танков и орудий, ибо они находятся в руках сынов народа, в руках советских патриотов.

Те, кто полагает, что последовательная и решительная мирная политика СССР признак его слабости, жестоко просчитаются.

Выступая под флагом «защитников цивилизации», фашистские агрессоры ведут разбойничью войну против испанского и китайского народов. Итальянские и германские бомбовозы разрушают испанские мирные города, убивая стариков, женщин и детей. Японские снаряды поджигают китайские университеты и уничтожают памятники многовековой культуры китайского народа, физически истребляя беззащитное население этой великой страны. Фашистские агрессоры лихорадочно готовят кадры и средства для войны за новый передел мира. Фашистские агрессоры разви-

вают свою подрывную деятельность, расчищая почву для новых авантюр и провокаций.

В напряженной современной международной обстановке Советский Союз настойчиво и успешно ведет борьбу за мир, против войны. Решительная и последовательная внешняя политика СССР вызывает горячие симпатии у всего передового и прогрессивного человечества, затрудняет разбойничьи махинации поджигателей войны, срывает маски с фашистских агрессоров. Участие СССР в Лиге наций является могучим фактором, укрепляющим фронт сторонников коллективной безопасности и затрудняющим проведение некоторыми западно-европейскими державами политики попустительства и компромиссов по отношению к агрессорам. Советский Союз настойчиво борется за мир, но всегда готов ответить сокрушительнейшим ударом на удар поджигателей войны.

К XX годовщине Великой Октябрьской социалистической революции народные массы нашей страны приходят с такими блестящими победами, которые внушают каждому советскому гражданину еще большую гордость и любовь к своей родине. Советский Союз является могучей многонациональной социалистической державой. Растет и крепнет дружная семья советских народов. При систематической помощи великого русского народа растут и крепнут братские национальные республики, преобразуется их культурный и экономический облик. Первая и вторая Сталинские пятилетки вооружили национальные республики великолепно оборудованными промышленными предприятиями. Ими по праву гордятся украинцы, белоруссы, грузины, каза-

¹⁾ В. М. Молотов. Конституция социализма. Партиздат ЦК ВКП(б), 1936 г., стр 30—31.

хи, узбеки и другие народы СССР. На социалистических полях национальных республик колхозное крестьянство создает свою радостную и зажиточную жизнь. Победа мудрой ленинско-сталинской национальной политики завоевана в ожесточенной борьбе против врагов рабочего класса, против троцкистско-бухаринских агентов фашизма, против буржуазных националистов.

Рабочий класс и колхозное крестьянство нашей страны весело и радостно встречают свой великий всенародный праздник — XX годовщину советской власти. Победа социализма в нашей стране обеспечила непрерывный рост материального благосостояния трудящихся. Именно благодаря победе социализма в городе и деревне трудящиеся Советской страны навсегда избавлены от кризисов, нищеты, безработицы, голода и лишений. Вот почему так радостно, весело, во всем многообразии народных талантов и творчества встречают трудящиеся массы XX годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Впервые в истории человечества трудящиеся массы обрели себе настоящую родину, которая окружила их теплой заботой и нежным вниманием, как родная, любящая мать. Вот почему народные массы СССР гордятся своим могущественным и прекрасным социалистическим отечеством.

Товарищ Сталин говорил в своей речи на I Всесоюзном совещании стахановцев:

«Наша революция является единственной, которая не только разбила оковы капитализма и дала народу свободу, но успела еще дать народу материальные условия

для зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость нашей революции...

Характерная особенность нашей революции состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной и культурной жизни. Вот почему жить стало у нас весело и вот на какой почве выросло стахановское движение»¹⁾.

За один лишь 1936 год — первый стахановский год — производительность труда в крупной промышленности повысилась на 21 проц., а в тяжелой промышленности, в недрах которой зародилось стахановское движение, — на 26 проц. Энерговооруженность промышленного рабочего за годы советской власти выросла более чем в 3,6 раза. В 1937 году в нашей промышленности работает 578 тысяч инженеров и техников (цифровые данные опубликованы в «Правде» от 19 октября 1937 г.).

В Советской стране для всех талантливых, способных людей, в какой бы области они ни работали, — в литературе, в музыке, живописи или в промышленности, в любой отрасли науки — открыты самые широкие возможности. За 20 лет, прошедших с момента свершения Великой Октябрьской социалистической революции, неизмеримо вырос весь советский народ. В свое время Ленин говорил, что замечательной особенностью нашей революции является то, что она пробудила таланты миллионов и миллионов людей, которые под игом буржуазии и помещиков вынуждены были голодом и нуждой работать из-

¹⁾ И. В. Сталин. Речь на I Всесоюзном совещании стахановцев. Партиздат, ЦК ВКП(б) 1935 г., стр. 16—17.

под палки. Гигантские перемены, происшедшие в нашей стране, получили яркое красочное отражение в народном творчестве. Народы Советской страны на всех языках славят свою социалистическую родину, поют песни в честь большевистской партии и ее гениального вождя — товарища Сталина.

Чудесные изменения произошли в нашей стране в области под'ема материального и культурного уровня трудящихся масс. На основе быстрого роста производительности труда неуклонно растет заработная плата. Средняя годовая заработная плата рабочих и служащих по всему народному хозяйству составляла в 1924/25 году 450 рублей, а в 1936 году она достигала 2.776 рублей. Одним из важнейших показателей непрерывного роста материального благосостояния рабочих и служащих является бюджет социального страхования. За 4 года первой пятилетки (1929—1932) расходы на нужды социального страхования составили 10.083 миллиона рублей, за 4 года второй пятилетки (1933—1936) они возросли до 26.462,2 миллиона рублей.

О гигантском культурном росте трудящихся масс говорят следующие данные. Если в 1914 году в царской России учащихся было всего 8.137 тысяч, то в СССР в 1936/37 году число учащихся достигло 38.335 тысяч. Государственные расходы на просвещение выросли с 559 миллионов рублей в 1925/26 г. до 13.461 миллиона рублей в 1936 году! (Цифровые данные опубликованы в «Правде» от 19 октября 1937 года).

Наша родина из убогой и нищей, какой она была при царизме, стала

могучей, непобедимой социалистической державой. Она высится над всем миром, как могучий, неприступный утес, как страна, в которой осуществились мечты лучших умов человечества.

Сталинская Конституция является итогом борьбы народов Советского Союза, итогом их побед за 20 лет существования Советской власти.

Через двадцать лет после того, как рабочий класс по призыву Ленина и Сталина сверг владычество помещиков и капиталистов, Советская власть показывает всему миру воплощение в жизнь подлинного социалистического демократизма. Сталинская Конституция венчает замечательное здание социализма. Через двадцать лет после утверждения в нашей стране власти советов у нас впервые в истории осуществляются выборы на основе действительно всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Товарищ Сталин в своем докладе на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов говорил:

«В результате пройденного пути борьбы и лишений приятно и радостно иметь свою Конституцию, трактующую о плодах наших побед. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, что она дала свои результаты. *(Продолжительные аплодисменты)*. Это вооружает духовно наш рабочий класс, наше крестьянство, нашу трудовую интеллигенцию. Это двигает вперед и поднимает чувство законной гордости. Это укрепляет

веру в свои силы и мобилизует на новую борьбу для завоевания новых побед коммунизма»¹⁾.

К XX годовщине Великой Октябрьской социалистической революции советская литература идет с рядом крупнейших достижений: «Жизнь Клима Самгина» Горького, «Тихий Дон» и «Поднятая целина» М. Шолохова, «Петр I» А. Толстого, «Энергия» Ф. Гладкова, «Последний из Удэге» Фадеева, «Бруски» Панферова, «На Востоке» Павленко, «Цусима» Новикова-Прибоя и др. Многие произведения советской литературы воспроизведены нашими театрами, кинематографией («Тихий Дон», «Поднятая целина», «Чапаев», «Петр I», «На Востоке»). Они прозвучали по всей стране, их видел весь советский народ.

Сейчас для всех очевидно поступательное движение советской литературы. Однако мы — большевики. И большевикам не свойственны самоуспокоенность и зазнайство. Писатели страны Советов должны понимать, что это только первое могучее дыхание нашей великой литературы. Перед советской литературой стоят сложнейшие задачи глубочайшего художественного отражения Сталинской эпохи, — увековечить ее в талантливейших произведениях для всех времен и народов.

Мастера художественного слова нашей страны должны отдать все свои силы и таланты выполнению этой задачи.

Нет и не может быть другой та-

кой страны в мире, где перед мастером художественного слова раскрывались бы такие широкие возможности. Отобразить в художественной литературе замечательную эпоху социализма, все величие Сталинской эпохи,—разве это не самая благодарная задача для писателя и поэта? Новую тематику не нужно искать. Она везде и всюду. Эта тематика и в проявлениях героического самоотверженного труда стахановцев, и в героизме советских летчиков, пограничников, и в доблести и смелости советской разведки, и в многочисленных проявлениях любви народов нашей страны к своей родине, к партии Ленина—Сталина. Двадцать лет Великой Октябрьской социалистической революции коренным образом изменили облик нашей страны. Новые советские люди и на производстве и в быту дают образцы новых общественных отношений. Советский человек — это звучит гордо. Советский человек смело и уверенно смотрит в будущее.

Заботой о гражданине страны социализма, заботой о людях, кадрах проникнут весь наш созданный под руководством товарища Сталина общественный строй. Каждая статья Сталинской Конституции социализма красноречиво говорит об этом. Вот почему весь наш народ, все рабочие, колхозники, женщины, наша молодежь и дети всегда обращают свои первые слова любви и благодарности за счастливую и радостную жизнь к нашей партии, к ее мудрому вождю — товарищу Сталину.

¹⁾ И. В. Сталин. Доклад о проекте Конституции Союза ССР. Партиздат ЦК ВКП(б), стр. 71.

Тихий Дон

Роман

МИХ. ШОЛОХОВ

Книга четвертая

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ГЛАВА I

Верхнедонское восстание, оттянувшее с Южного фронта значительное количество красных войск, позволило командованию Донской армии не только свободно произвести перегруппировку своих сил на фронте, прикрывавшем Новочеркасск, но и сосредоточить в районе станиц Каменской и Усть-Белокалитвенской мощную ударную группу из наиболее стойких и испытанных полков, преимущественно низовских и калмыцких, в задачу которой входило: в соответствующий момент, совместно с частями генерала Фицхелаурова, сбить 12-ю дивизию, составлявшую часть 8-й Красной армии, и, действуя во фланг и тыл 13-й и Уральской дивизиям, прорваться на север с тем, чтобы соединиться с восставшими верхнедонцами.

План по сосредоточению ударной группы, разработанный в свое время командующим Донской армией генералом Денисовым и начштаба генералом Поляковым, к концу мая был почти целиком осуществлен. К Каменской перебросили около 16.000 штыков и сабель при 36 орудиях и 140 пулеметах; подтягивались последние конные части и отборные полки так называемой молодой армии, сформированной летом 1918 года из молодых, призывного возраста, казаков.

А в это время, окруженные с четырех сторон, повстанцы продолжали отбивать атаки карательных красных войск. На юге, по левому берегу Дона, две повстанческих дивизии упорно отсиживались в траншеях и не давали противнику переправиться, несмотря на то, что на всем протяжении фронта многочисленные красноармейские батареи вели по ним почти непрерывный, ожесточенный огонь; остальные три дивизии ограждали повстанческую территорию с запада, севера и востока, несли колоссальный урон, особенно на северо-восточном участке, но все же не отступали и все время держались на границах Хоперского округа.

Сотня татарцев, расположенная против своего хутора и скучавшая от вынужденного безделья, однажды учинила красноармейцам тревогу: темной ночью вызвавшиеся охотой казаки бесшумно переправились на баркасах на правую сторону Дона, врасплох напали на красноармейскую заставу, убили четырех красноармейцев и захватили пулемет. На другой день красные перебросили из-под Вешенской батарею, и она открыла беглый огонь по казачьим траншеям. Как только по лесу задокала шрапнель, сотня спешно оставила траншеи, отошла подальше от Дона, в глубь леса. Через сутки батарею отозвали, и татарцы снова заняли покинутые позиции. От орудийного обстрела сотня понесла урон: осколками снаряда было

убито двое малолетков из недавно поступившего пополнения и ранен только-что присхавший перед этим из Вешенской вестовой сотенного командира.

Потом установилось относительное затишье, и жизнь в траншеях пошла прежним порядком. Частенько навевались бабы, приносили по ночам хлеб и самогон, а в харчах у казаков нужды не было: зарезали двух приبلудившихся телок, кроме того, ежедневно промышленяли в озерах рыбу. Христоня числился главным по рыбному делу. В его ведении был десятисаженный бредень, брошенный у берега кем-то из отступавших и доставшийся сотне, и Христоня на ловле постоянно ходил «от глуби», выхваляясь, будто нет такого озера в лугу, которого он не перебрел бы. За неделю безустального рыболовства рубаха и шаровары его настолько пропитались неветривающимся запахом рыбьей сырости, что Аникушка под конец наотрез отказался ночевать с ним в одной землянке, заявив:

— Воляет от тебя, как от дохлого сома! С тобой тут ежели еще сутки пожить, так потом всю жизнь душа не будет рыбы принимать...

С той поры Аникушка, не глядя на комаров, спал возле землянки. Перед сном, брезгливо морщась, отметал веником рассыпанную по песку рыбью шелуху и зловонные рыбы внутренности, а утром Христоня, возвратясь с ловли, невозмутимый и важный, сажился у входа в землянку и снова чистил и потрошил принесенных карасей. Около него роились зеленые мухи-червивки, тучами приползали яростные желтые муравьи. Потом, запыхавшись, прибежал Аникушка, орал еще издали:

— Окромя тебе места нету? Хоть бы ты, чертяка, подавился рыбьей костью! Ну, отойди, ради христа, в сторону! Я тут сплю, а ты кишков рыбих накаidal, муравьев приманул со всего округа и воищу распустил, как в Астрахани!

Христоня вытирал самодельный нож о штанину, раздумчиво и долго смотрел на безусое возмущенное лицо Аникушки, спокойно говорил:

— Стало быть, Аникей, в тебе глота есть, что ты рыбьего духа не терпишь. Ты чеснок ешь натошак, а?

Отплевываясь и ругаясь, Аникушка уходил.

Стычки продолжались у них изо дня в день. Но в общем сотня жила мирно. От сытного котла все казаки были веселые, за исключением Степана Астахова.

Узнал ли от хуторных казаков Степан, или подсказало ему сердце, что Аксинья в Вешенской встречается с Григорием, но вдруг заскучал он, ни с того, ни с сего поругался со взводным и наотрез отказался нести караульную службу.

Безвылазно лежал в землянке на черной тавреной полости, вздыхал и жадно курил табак-самосад. А потом прослышал, что сотенный командир посылает Аникушку в Вешенскую за патронами, и впервые за двое суток вышел из землянки. Щуря слезящиеся, опухшие от бессонницы глаза, недоверчиво оглядел взлохмаченную, ослепительно яркую листву колеблющихся деревьев, вздыбленные ветром белогривые облака, послушал ропщущий лесной шум и пошел мимо землянок разыскивать Аникушку.

При казаках не стал говорить, а отвел его в сторону, попросил:

— Разуищи в Вешках Аксинью и моим словом скажи, чтобы пришла меня проведать. Скажи, что обовшивел я, рубахи и портки нестираные, и, к тому же, скажи... — Степан на миг приумолк, хороня под усами смущенную усмешку, закончил: — Скажи, что, мол, дюже соскучился и ждет вскорости.

Ночью Аникушка приехал в Вешенскую, нашел квартиру Аксиньи. После размолвки с Григорием она жила по-прежнему у тетки. Аникушка добросовестно передал сказанное ему Степаном, но для вящей внушительности добавил от себя, что Степан грозил сам притти в Вешенскую, в случае если Аксинья не явится в сотню.

Она выслушала наказ и засобиралась. Тетка наспех поставила тесто, напекла бурсаков, а через два часа Аксинья — покорная жена — уже ехала с Аникуш-

кой к месту расположения Татарской сотни.

Степан встретил жену с потаенным волнением. Он пылливо всматривался в исхудавшее ее лицо, осторожно расспрашивал, но ни словом не обмолвился о том, видела она Григория или нет. Только раз в разговоре спросил, опустив глаза, чуть отвернувшись:

— А почему ты пошла на Вешки этой стороной? Почему не переправилась против хутора?

Аксинья сухо ответила, что переправиться с чужими не было возможности, а просить Мелеховых не захотела. И уж после того, как ответила, сообразила, что получается так, будто Мелеховы ей не чужие, а свои. И смутилась от того, что и Степан мог так понять ее. А он, вероятно, так и понял. Что-то дрогнуло у него под бровями, и по лицу словно прошла тень.

Он вопрошающе поднял на Аксинью глаза, и она, понимая этот немой вопрос, вдруг вспыхнула от смущения, от досады на самое себя.

Степан, щадя ее, сделал вид, что ничего не заметил, — перевел разговор на хозяйство, стал расспрашивать, что из имущества успела спрятать перед уходом из дома и надежно ли спрятала.

Аксинья, отметив про себя великодушие мужа, отвечала ему, но все время испытывала какую-то щемящую внутреннюю неловкость и, чтобы убедить его в том, что все возникшее между ними зряшно, чтобы скрыть собственное волнение, — нарочито замедляла речь, гворила с деловитой сдержанностью и сухостью.

Они разговаривали, сидя в землянке. Все время им мешали казаки. Входил то один, то другой. Пришел Христоня и тут же расположился спать. Степан, видя, что поговорить без посторонних не удастся, неохотно прекратил разговор.

Аксинья обрадованно встала, торопливо развязала узелок, угостила мужа привезенными из станицы бурсаками и, взяв из походной сумы Степана грязное белье, вышла постирать его в ближайшей музге¹.

Предутренняя тишина и голубой туман стояли над лесом. Клонились к земле отягощенные росой травы. В музгах недружно квакали лягушки, и где-то, совсем неподалеку от землянки, за пышно разросшимся кленовым кустом скрипуче кричал коростель.

Аксинья прошла мимо куста. Весь он, от самой макушки до сокрытого в густейшей травяной поросли ствола, был оплетен паутиной. Нити паутины, унизанные мельчайшими капельками росы, жемчужно искрились. Коростель на минутку умолк, а потом, еще не успевая выпрямиться примятая босыми ногами Аксиньи трава, — снова подал голос, и в ответ ему горестно откликнулся поднявшийся из музги чибис.

Аксинья скинула кофточку и стеснявший движения лиф, по колени забрела в парно-теплую воду музги, стала стирать. Над нею роилась мошкара, звенели комары. Согнутой в локте полной и смуглой рукой она проводила по лицу, отгоняя комаров. Неотвязно думала о Григории, об их последней размовке, предшествовавшей поездке его в сотню.

«Может, он зараз уже ищет меня? Нынче же ночью вернусь в станицу!» — бесповоротно решила Аксинья и улыbnулась своим мыслям о том, как она встретится с Григорием и каким скорым будет примирение.

И диковинно: последнее время, думая о Григории, она почему-то не представляла себе его внешнего облика таким, каким он был на самом деле. Перед глазами ее возникал не теперешний Григорий, большой, мужественный, поживший и много испытывавший казачина с усталым прижмуром глаз, с порыжелыми кончиками черных усов, с преждевременной сединой на висках и жесткими морщинами на лбу — неистребимыми следами пережитых за годы войны лишений, — а тот, прежний, Гришка Мелехов, по-юношески грубоватый и неумелый в ласках, с юношески круглой и тонкой шей и беспечным складом постоянно улыбающихся губ.

И от этого Аксинья испытывала к нему еще бóльшую любовь и почти материнскую нежность.

¹ Музга — небольшое озеро, болотце.

Вот и теперь: с предельной ясностью восстановив в памяти черты бесконечно дорогого лица, она тяжело задышала, заулыбалась, выпрямилась и, кинув под ноги недостижимую рубаху мужа и ощущая в горле горячий комок внезапно подступивших сладких рыданий, шепнула:

— Вошел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!

Слезы облегчили ее, но после этого голубой утренний мир вокруг нее словно бы поблек. Она вытерла щеки тылом ладони, откинула со влажного лба волосы и потускневшими глазами долго и бездумно следила, как крохотный серый рыбкин скользит над водой, исчезая в розовом кружеве вспенившегося под ветром тумана.

Выстирав белье, развешала его на кустах, пришла в землянку.

Проснувшийся Христоня сидел около выхода, шевелил узловатыми искривленными пальцами ног, настойчиво заговаривал со Степаном, а тот, лежа на полости, молча курил, упорно не отвечая на христонины вопросы.

— Ты думаешь, стало быть, что красные не будут переправляться на эту сторону? Молчишь? Ну, и молчи. А я думаю, что не иначе будут они силываться на бродах перейти... Беспременно на бродах! Окромя им негде. Или, думаешь, могут конницу вплыть пустить? Чего же ты молчишь, Степан? Тут, стало быть, дело окончательное подходит, а ты лежишь, как чурбак!

Степан даже привскочил, с сердцем ответил:

— И чего ты привязался? Удивительный народ! Пришла жена проведать, так от вас отбою нет... Лезут с глупыми разговорами, не дадут с бабой словом перекинуться!

— Нашел, с кем гутарить... — Недовольный Христоня встал, надел на босые ноги стоптаные чирки, вышел, больно стукнувшись головой о дверную перекладину.

— Не дадут нам поговорить тут, пойдем в лес, — предложил Степан.

И, не дожидаясь согласия, пошел к выходу. Аксинья покорно последовала за ним.

Они вернулись к землянке в полдень. Казаки второго взвода, лежавшие под кустом ольшанника в холодке, завидя их, отложили карты, смолкли, понимающе перемигиваясь, посмеиваясь и притворно вздыхая.

Аксинья прошла мимо них, презрительно скривив губы, на ходу поправляя на голове помятый белый с кружевами платок. Ее пропустили молча, но, едва лишь шедший позади Степан поровнялся с казаками, встал и отделился от группы лежавших Аникушка. Он с лицемерным почтением в пояс поклонился Степану, громко сказал:

— С праздничком вас... разговемшись!

Степан охотно улыбнулся. Ему приятно было, что казаки видели его с женой возвращающимися из лесу. Это ведь в какой-то мере способствовало прекращению всяких слухов о том, что они с женой живут плохо... Он даже шевельнул молодецки плечами, самодовольно показывая непросохшую от пота рубаху на спине.

И только после этого поощренные казаки, хохоча, оживленно заговорили:

— А и люта же, братцы, баба! На Степке-то рубаху хоть выжми... Прикипела к лопаткам!

— Выездила она его, в мылу весь...

А молоденький паренек, до самой землянки провожавший Аксинью восхищенным, затуманенным взглядом, потерянно проронил:

— На всем белом свете такой раскрасавицы не найдешь, накажи господь!

На что Аникушка ему резонно заметил:

— А ты пробовал искать-то?

Аксинья, слышавшая непристойный разговор, чуть побледнела, вошла в землянку, гадливо морщась и от воспоминаний о только-что испытанной близости к мужу, и от похабных замечаний его товарищей. С первого взгляда Степан распознал ее настроение, сказал примирающе:

— Ты не сердчай, Ксюша, на этих жебцов. От скуки они.

— Не на кого сердчать-то, — глухо ответила Аксинья, роясь в своей холстинной сумочке, торопливо вынимая из

нее все, что привезла мужу. И еще тише: — На самую себя сердчать бы надо, да сердца нет...

Разговор у них как-то не клеился. Минут через десять Аксинья встала. «Сейчас скажу ему, что пойду в Вешки» — подумала она и тотчас вспомнила, что еще не сняла высохшее степаново белье.

Долго чинила созревшие от пота рубахи и исподники мужа, сидя у входа в землянку, часто поглядывая на свернувшее с полдня солнце.

... В этот день она так и не ушла. Не хватало решимости. А наутро, едва взошло солнце, стала собираться. Степан пробовал удержать ее, просил погостить еще денек, но она так настойчиво отклоняла его просьбы, что он не стал уговаривать, только спросил перед расставанием:

— В Вешках думаешь жить?

— Пока в Вешках.

— Может, оставалась бы при мне?

— Не гоже мне тут быть... с казаками.

— Оно-то так... — согласился Степан, но попрощался холодно.

Дул сильный юго-восточный ветер. Он летел издалека, приустал за ночь, но к утру все же донес горячий накал закаспийских пустынь и, свалившись на луговую пойму левобережья, иссушил росу, разметал туман, розовой душистой мглою окутал меловые отроги придонских гор.

Аксинья сняла чирики и, захватив левой рукой подол юбки (в лесу на траве еще лежала роса), легко шла по лесной заброшенной дороге. Босые ноги приятно холодила влажная земля, а огленные полные икры и шею ищущими горячими губами целовал суховей.

На открытой поляне, возле цветущего куста шиповника, она присела отдохнуть. Где-то недалеко, в пересохшем озерце, шелоктали по камышу дикие утки, хрипавато кликали подружку селезень. За Доном нечасто, но почти безостановочно, стучали пулеметы, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто, как эхо.

Потом стрельба перемежилась, и мир

открылся Аксинье в его сокровенном звучании: трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясеней и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко невнятно и грустно считала кому-то непрожитые года кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чи вы, чи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожкой колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатисто-пыльные шмели; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дупла душистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы.

Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса сидевшая неподвижно Аксинья. Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной, первородною жизнью. Поемная почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в этом чудеснейшем сплетении цветов и трав.

Улыбаясь и беззвучно шевеля губами, она осторожно перебирала стебельки безымянных голубеньких, скромных цветов, потом перегнулась полнеющим станом, чтобы понюхать, и вдруг уловила томительный и сладостный аромат ландыша. Пошарив руками, она нашла его. Он рос тут же, под непроницаемо-тенистым кустом. Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен: две нижних чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках росы — вдруг вспыхнула под солнцем слепящей, пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цве-

ток и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолоду плакать от того, что за сердце схватит случайное воспоминание?

Так в слезах и уснула, лежа ничком, скоронив в ладонях заплаканное лицо, прижавшись опухшей и мокрой щекой к скомканному платку.

Сильнее дул ветер, клонил на запад вершины топей и верб. Раскачивался бледный ствол ясеня, окутанный белым кипящим вихрем мечущейся листвы. Ветер снижался, падал на доцветающий куст шиповника, под которым спала Аксинья, и тогда, словно испугнутая стая сказочных зеленых птиц, с тревожным шелестом взлетали листья, роняя розовые перья-лепестки. Осыпанная призывавшими лепестками шиповника, спала Аксинья и не слышала ни угрюмоватого лесного шума, ни возобновившейся за Доном стрельбы, не чувствовала, как ставшее в зенит солнце палит ее непокрытую голову. Проснулась, заслышав над собою людскую речь и конское пыхканье, поспешно привстала.

Около нее стоял, держа в поводу оседланную белоноздрую лошадь, молодой белоусый и белозубый казак. Он широко улыбался, поводил плечами, приплясывал, выговаривал хриповатым, но приятным тенорком слова веселой песни:

Я упала да лежу,
На все стороны гляжу.
Туда глядь,
Сюда глядь,
Меня некому поднять!
Оглянулася назад —
Позади стоит казак...

— Я и сама встану! — улыбнулась Аксинья и проворно вскочила, оправляя смятую юбку.

— Здорѳо живешь, моя любезная! Ноженьки отказались служить аль приленилась? — приветствовал ее веселый казак.

— Сон сморил, — смущенно отвечала Аксинья.

— В Вешки идешь?

— В Вешки.

— Хочешь, подвезу?

— На чем же это?

— Ты садись верхи, а я пешком. Дело могарычьево... — и казачок подмигнул с шутливой многозначительностью.

— Нет уж, езжай с богом, а я и сама дойду.

Но казак обнаружил и опыт в любовных делах, и упрямство. Воспользовавшись тем, что Аксинья покрывалась, он куцей, но сильной рукой обнял ее, рывком притянул к себе и хотел поцеловать.

— Не дури! — крикнула Аксинья и с силой ударила его локтем в переносицу.

— Лапушка моя, не дерись! Глянь, какая кругом благодать... Всякая тварь паруется... Давай и мы грех поймеем?.. — сузив смеющиеся глаза, щечка шею Аксиньи усами, шептал казак.

Выставив руки, беззлобно, но сильно упираясь ладонями в бурое, потное лицо казака, Аксинья попробовала освободиться, но он держал ее крепко.

— Дурак! Я больная дурной болезнью... Пусти! — просила она, задыхаясь, думая этой наивной хитростью избавиться от приставанья.

— Это... чья болезнь старше!.. — уже сквозь зубы бормотнул казак и вдруг легко приподнял Аксинью.

В миг осознав, что шутка кончилась и дело принимает дурной оборот, она изо всей силы ударила кулаком по коричневому от загара носу и вырвалась из цепко державших ее рук:

— Я — жена Григория Мелехова! Только подойди, рассукин ты сын!.. Расскажу — так он тебе...

Еще не веря в действие своих слов, Аксинья схватила в руки толстую, сухую палку. Но казак сразу охладел. Вытирая рукавом защитной рубахи кровь с усов, обильно струившуюся из обеих ноздрей, он огорченно воскликнул:

— Дура! Ах, дура баба! Чего же ты раньше-то не сказала? Ишь, кровь-то как хлбышет... Мало мы ее с неприятелем проливаем, а тут ишо свои природные бабы начинают кровь пущать...

Лицо его вмиг стало скучным и неприветливым. Пока он умывался, черпая воду из придорожной лужицы, Аксинья поспешно свернула с дороги, быстро перешла поляну. Минут через пять казак обогнал ее. Он покосился на нее, молча улыбаясь, деловито поправил на груди винтовочный погон и поскакал шибкой рысью.

ГЛАВА II

В эту ночь около хутора Малого Громченка полк красноармейцев переправился через Дон на сбитых из досок и бревен плотях.

Громковская сотня была застигнута врасплох, так как большинство казаков в эту ночь гуляло. С вечера к месту расположения сотни пришли проведать служивых жены. Они принесли с собой харчи, в кувшинах и ведрах — самогон. К полуночи все перепились. В землянках зазвучали песни, пьяный бабий визг, мужской хохот и посвист... Двадцать казаков, бывших в заставе, тоже приняли участие в выпивке, оставив возле пулемета двух пулеметчиков и конский цыбар самогону.

От правого берега Дона в полной тишине отчалили нагруженные красноармейцами плоты. Переправившись, красноармейцы развернулись в цепь, молча пошли к землянкам, расположенным в полусотне сажен от Дона.

Саперы, строившие плоты, быстро гребли, направляясь за новой партией ожидавших погрузки красноармейцев.

На левой стороне минут пять не слышно было ничего, кроме несвязных казачьих песен, потом стали гулко лопаться ручные гранаты, зарокотал пулемет, разом вспыхнула беспорядочная ружейная стрельба, и далеко покатились прерывистое: «Ура-а-а! Ура-а-а! Ура-а-а!».

Громковская сотня была опрокинута и окончателюму уничтожению не подверглась лишь потому, что преследование было невозможно ввиду беспроглядной ночной темноты.

Понесшие незначительный урон громковцы вместе с бабами в паническом беспорядке бежали по луку, в направле-

нии Вешенской. А тем временем с правой стороны плоты перевозили новые партии красноармейцев, и полурота первого батальона 3-го полка с двумя ручными пулеметами уже действовала во фланг Базковской сотне повстанцев.

В образовавшийся прорыв устремились прибывшие подкрепления. Продвижение их было крайне затруднено тем, что никто из красноармейцев не знал местности, части не имели проводников и, двигаясь вслепую, все время натывались в ночной темноте на озера и налитые водой глубокие протоки, перейти которые вброд было невозможно.

Руководивший наступлением командир бригады принял решение прекратить преследование до рассвета с тем, чтобы к утру подтянуть резервы, сосредоточиться на подступах к Вешенской и после артиллерийской подготовки вести дальнейшее наступление.

Но в Вешенской уже принимались спешные меры для ликвидации прорыва. Дежурный по штабу тотчас же, как только прискакал связной с вестью о переправе красных, послал за Кудиновым и Мелеховым. С хуторов Черного, Гороховки и Дубровки вызвали конные сотни Каргинского полка. Общее руководство операцией взял на себя Григорий Мелехов. Он бросил на хутор Еринский триста сабель, с расчетом, чтобы они укрепили левый фланг и помогли Татарской и Лебяженской сотням сдерживать напор противника, в случае если он устремится в обход Вешенской с востока; с запада, вниз по течению Дона, направил в помощь Базковской сотне Вешенскую иногороднюю дружину и одну из Чирских пеших сотен; на угрожаемых участках расставил восемь пулеметов, а сам с двумя конными сотнями — часов около двух ночи — разместился на опушке Горелого леса, дожидаясь рассвета и намереваясь атаковать красноармейцев в конном строю.

Еще не погасли Стожары, когда Вешенская иногородняя дружина, пробиравшаяся по лесу к базковскому колену, столкнулась с отступавшими базковцами и, приняв их за противника, после короткой перестрелки бежала. Через

широкое озеро, отделявшее Вешенскую от луки, дружинники перебирались вплавь, в спешке побросав на берегу обувь и одежду. Ошибка вскоре обнаружилась, но весть, что красные подходят к Вешенской, распространилась с поразительной быстротой. Из Вешенской на север хлынули ютившиеся в подвалах беженцы, разнося повсюду слух, будто красные переправились через Дон, провали фронт и ведут наступление на Вешенскую...

Чуть брезжил рассвет, когда Григорий, получив донесение о бегстве иногородней дружины, поскакал к Дону. Дружинники выяснили происшедшее недоразумение и уже возвращались к окопам, громко переговариваясь. Григорий под'ехал к одной группе, насмешливо спросил:

— Много перетопло, когдаплыли через озеро?

Мокрый, на-ходу выжимавший рубаху стрелок смущенно отвечал:

— Щукамиплыли! Где уж там утопать...

— Со всеми конфуз бывает, — рассудительно заговорил второй, шедший в одних исподниках. — А вот наш взводный на самом деле чуть не утоп. Разуваться не схотел, обмотки долго сымать, ну, и поплыл, а обмотка возьми да и развяжись в воде. Спутала ему ноги... Уж и орал же он! В Елани, небось, слышно было!

Разыскав командира дружины Крамскова, Григорий приказал ему вывести стрелков на край леса, расположить их так, чтобы в случае надобности можно было обстреливать красноармейские цепи с фланга, а сам поехал к своим сотням.

На полпути ему повстречался штабной ординарец. Он осадил тяжело носившего боками коня, облегченно вздохнул:

— Насилу разыскал вас.

— Ты чего?

— Из штаба приказано передать, что Татарская сотня бросила окопы. Опасаются, как бы не окружили их, отступают к пескам... Кудинов, на словах, велел вам зараз же поспешать туда.

С полувзводом казаков, имевших самых резвых лошадей, Григорий лесом выбрался на дорогу. Через двадцать минут скачки они были уже около озера Голого Ильмена. Влево от них полугу вроссыпь бежали охваченные паникой татарцы. Фронтвики и бывалые казаки пробирались неспеша, держались поближе к озеру, хоронясь в прибрежной куге; большинство же, руководимое, как видно, одним желанием — поскорее добраться до леса, — не обращая внимания на редкий пулеметный огонь, валяло напрымик.

— Догоняй их! Пори плетями!.. — скосив глаза от бешенства, крикнул Григорий и первый выпустил коня вдогонку хуторянам.

Сзади всех, прихрамывая, диковиной, танцующей иноходью трусил Христоня. Накануне на рыбной ловле он сильно порезал камышом пятку, потому и не мог бежать со всей свойственной его длинным ногам резвостью. Григорий настигал его, высоко подняв над головой плеть. Заслышав конский топот, Христоня оглянулся и заметно наддал ходу.

— Куда?! Стой!.. Стой, говорят тебе!.. — тщетно кричал Григорий.

Но Христоня и не думал останавливаться. Он еще больше убыстрил бег, перейдя на какой-то разнузданный верблюжий галоп.

Тогда взбешенный Григорий прохрипел страшное матерное ругательство, гикнул на коня и, поровнявшись, с наслаждением рубнул плетью по мокрой от пота христоиной спине. Христоня звилься от удара, сделал чудовищный скачок в сторону, нечто вроде заячьей «скидки», сел на землю и начал неторопливо и тщательно ощупывать спину.

Казаки, сопровождавшие Григория, заскакивали наперед бежавшим, останавливали их, но плетей в ход не пускали.

— Пори их!.. Пори!.. — потрясая своей нарядной плетью, хрипло кричал Григорий. Конь вертелся под ним, становился вдыбки, никак не хотел итти вперед. С трудом направив его, Григорий поскакал к бегущим впереди. Наскаку он мельком видел остановившегося возле куста, молчаливо улыбавшегося

ся Степана Астахова; видел, как Аникушка, приседая от смеха и сложив ладони рупором, пронзительным, бабьим голосом визжал:

— Братцы! Спасайся, кто может! Красные!.. Ату их!.. Бери!..

Григорий нагонял еще одного хуторянина, одетого в ватную куртку, бежавшего неумоимо и резво. Сутуловатая фигура его была странно знакома, но распознавать было некогда, и Григорий еще издали заорал:

— Стой, сукин сын!.. Стой, зарублю!..

И вдруг человек в ватной куртке замедлил бег, остановился, и, когда стал поворачиваться, — характерным, знакомым с детства жестом выказывая высшую степень возбуждения, — пораженный Григорий, еще не видя обличья, угадал отца.

Щеки Пантелея Прокофьевича передегивали судороги:

— Это родной отец-то—сукин сын? Это отца грозишь срубить?—высоким, срывающимся фальцетом закричал он.

Глаза его дымилась такой знакомой неумемной свирепостью, что возмущение Григория разом остыло и он, с силой придержав коня, крикнул:

— Не угадал в спину! Чего орешь, батя?

— Как так, не угадал? Отца и не угадал?!

Столь нелепо и неуместно было проявление этой стариковской обидчивости, что Григорий, уже смеясь, поровнялся с отцом, примиряюще сказал:

— Батя, не сердчай! На тебе сюртук какой-то неизвестный мне, окромя этого, ты летел, как призовая лошадь, и даже хромота твоя куда делась! Как тебя угадать-то?

И опять, как бывало это раньше, всегда, в домашнем быту, Пантелей Прокофьевич утих и, все еще прерывисто дыша, но помирнее, согласился:

— Сюртук на мне, верно говоришь, новый, выменял на шубу, — шубу таскать тяжело, — а хромать... Когда ж тут хромать? Тут, братец ты мой, уж не до хромоты!.. Смерть в глазах, а ты про ногу гутаришь...

— Ну, до смерти ишо далеко. Поворачивай, батя! Патроны-то не раскидал?

— Куда ж поворачивать? — возмутился старик.

Но тут уж Григорий повысил голос; отчеканивая каждое слово, скомандовал:

— Приказываю вернуться! За послушание командира в боевой обстановке, знаешь, что по уставу полагается?

Сказанное возымело действие: Пантелей Прокофьевич поправил на спине винтовку, неохотно побрел назад. Поровнявшись с одним из стариков, еще медленнее шагавшим обратно, со вздохом сказал:

— Вот они какие пошли сынки-то! Нет того, чтобы уважить родителю или, к примеру говоря, ослобонить от бою, а он его же норовит... в это самое направить... да-а-а... Нет, покойничек Петро, царство ему небесное, куда лучше был! Ровная у него душа была, а этот сумарок, Гришка-то, хотя он и командир дивизии, заслуженный, так и далее, а не такой. Весь на кочках, и ни одну нельзя тронуть. Этот при моей старости на печку не иначе как шилом будет подсаживать!

Татарцев образумили без особого труда...

Спустя немного Григорий собрал всю сотню, увел ее под прикрыттие; не слезая с седла, коротко пояснил:

— Красные переправились и силуются занять Вешки. Возле Дона зараз начался бой. Дело не шутейное, и бегать зря не советую. Ежели ишо раз побегите — прикажу коннице, какая стоит в Еринском, рубить вас, как изменников! — Григорий оглядел разношерстно одетую толпу хуторян, закончил с нескрываемым презрением: — Много у вас в сотне всякой сволочи набралось, она и разводит страхи. Побегли, в штаны напустили, вояки! А ишо казаками кличетесь! Особенно вы, деды, глядите у меня! Взяться воевать, так нечего теперь головы промеж ног хоронить! Зараз же, по-взводно, рысью вон к этому рубежу и от кустов — к Дону. Понад Доном — до Семеновской сотни. Вместе с нею вдарите красным во фланг. Марш! Живо!

Татарцы молча выслушали и так же молча направились к кустам. Деды удрученно кряхтели, оглядывались на

шибко поскакавшего Григория и сопровождавших его казаков. Старик Обнизов, шагавший в ногу с Пантелеем Прокофьевичем, восхищенно сказал:

— Ну, и геройским сыном сподобил тебя господь! Истый орел! Как он Христоню-то потянул вдоль спины! Враз привел все в порядок!

И, польщенный в отцовских чувствах, Пантелей Прокофьевич охотно согласился:

— И не говори! Таких сынов по свету поискать! Полный бант крестов, это как, шутка? Вот Петро, покойничек, царство ему небесное, хотя он и родной сын был, и первенький, а все не такой! Уж дюже смиренный был, какой-то, чума его знает, недоделанный. Душа у него под исподом бабья была! А этот — весь в меня! Ажник превзошел личность!

Григорий со своим полувзводом подбирался к Калмыцкому броду. Они уже считали себя в безопасности, достигнув леса, но их увидели с наблюдательного пункта, с той стороны Дона. Орудийный взвод повел обстрел. Первый снаряд пролетел над вершинами верб, чмокнула где-то в болотистой чаще, не разорвавшись. А второй ударил неподалеку от дороги в обнаженные корни вища старого осокоря, брызнул огнем, окатил казаков гулом, комьями жирной земли и крошечном трухлявого дерева.

Оглушенный Григорий инстинктивно поднес к глазам руку, пригнулся к луке, ощутив глухой и мокрый шлепок, как бы по крупу коня.

Казачьи кони от потрясшего землю взрыва будто по команде присели и ринулись вперед; под Григорием конь тяжело поднялся на дыбы, попятился, начал медленно валиться набок. Григорий поспешно соскочил с седла, взял коня под уздцы. Пролетело еще два снаряда, а потом хорошая тишина стала на крайней лесу. Ложился на траву пороховой дым; пахло свежевзвращенной землей, щепками, полусгнившим деревом; далеко в чаще встревоженно стрекотали сороки.

Конь Григория всхрапывал и подгибал трясущиеся задние ноги. Желтый

навес его зубов был мучительно оскален, шея вытянута. На бархатистом сером храпе пузырилась розовая пена. Крупная дрожь билась его тело, под гнетым подшерстком волнами катились судороги.

— Готов кормилец? — громко спросил подскакавший казак.

Григорий смотрел в тускнеющие конские глаза, не отвечая. Он даже не глянул на рану и только чуть посторонился, когда конь как-то неуверенно затопился, выпрямился и вдруг упал на колени, низко склонив голову, словно прося у хозяина в чем-то прощения. На бок лег он с глухим стоном, попытался поднять голову, но, видно, покидали его последние силы: дрожь становилась все реже, мертвели глаза, на шее выступила испарина.

Только в щетках, где-то около самых стаканов копыт, еще бились последние живчики. Чуть вибрировало потертое крыло седла.

Григорий искоса глянул на левый пах, увидел развороченную глубокую рану, теплую, черную кровь, бившую из нее родниками, сказал спешившемуся казаку, заикаясь и не вытирая слез:

— Стреляй с одной пули! — И передал ему свой маузер.

Пересев на казачью лошадь, поскакал к месту, где оставил свои сотни. Там уже возгорался бой.

С рассветом красноармейцы двинулись в наступление. В слоистом тумане поднялись их цепи, молча пошли по направлению к Вешенской. На правом фланге, около налитой водой ложбины, на минуту замешкались, потом побрели по грудь в воде, высоко поднимая патронные подсумки и винтовки. Спустя немного с обдонской горы согласно и величаво загремели четыре батареи. Как только по лесу веером начали ложиться снаряды, повстанцы открыли огонь. Красноармейцы уже не шли, а бежали с винтовками наперевес. Впереди них на полверсты сухо лопалась по лесу шрапнель, валялись расщепленные снарядами деревья, белесыми клубами поднимался дым. Короткими очередями заработали два казачьих пулемета. В первой цепи начали падать красноармейцы. Все ча-

ще то тут, то там по цепи вырывали пули людей, опоясанных скатками, кидали их ничком или навзничь, но остальные не ложились, и все короче становилось расстояние, отделявшее их от леса.

Впереди второй цепи, чуть клонясь вперед, подоткнув полы шинели, легко и размашисто бежал высокий с непокрытой головой командир. Цепь на секунду замедлила движение, но командир, на-бегу повернувшись, что-то крикнул, и люди снова перешли на побегу, снова все яростнее стало нарастать хриповатое и страшное «ура-а-а».

Тогда заговорили все казаки пулеметы, на опушинах леса жарко, без-умолку зачастили винтовочные выстрелы... Откуда-то сзади Григория, стоявшего с сотнями на выезде из леса, длинными очередями начал бить станковый пулемет Базковской сотни. Цепи дрогнули, залегли, начали отстреливаться. Часа полтора длился бой, но огонь пристрелявшихся повстанцев был так настилен, что вторая цепь, не выдержав, поднялась, смешалась с подходившей перебежками третьей цепью... Вскоре луг был усеян беспорядочно бежавшими назад красноармейцами. И тогда Григорий на-рысы вывел свои сотни из лесу, построил их и кинул в преследование. Дорогу к плотам отрезала отступавшим шедшая полным карьером Чирская сотня. У придонского леса, возле самого берега, завязался рукопашный бой. К плотам прорвалась только часть красноармейцев. Они доотказа загрузили плоты, отчалили. Остальные бились, вплотную прижатые к Дону.

Григорий спешил свои сотни, приказал коноводам не выезжать из лесу, повел казаков к берегу. Перебегая от дерева к дереву, казаки все ближе подвигались к Дону. Человек полтора-два красноармейцев ручными гранатами и пулеметным огнем отбросили наседавшую повстанческую пехоту. Плоты было снова направилась к левому берегу, но базковцы ружейным огнем перебили почти всех гребцов. Участь оставшихся на этой стороне была предрешена. Слабые духом, кинув винтовки, пытались перебраться вплавь. Их расстреливали

залегшие возле прорвы повстанцы. Много красноармейцев потонуло, не будучи в силах пересечь Дон на быстрине. Только двое перебрались благополучно: один, в полосатой матросской тельняшке, — как видно, искусный пловец, — вниз головой кинулся с обрывистого берега, погрузился в воду и вынырнул чуть ли не на середине Дона.

Прячась за разлапистой вербой, Григорий видел, как широкими саженками матрос доспевал к той стороне. И еще один переплыл благополучно. Он расстрелял все патроны, стоя по грудь в воде; что-то крикнул, грозя кулаком в сторону казаков, и пошел отмахивать наискось. Вокруг него чмокали пули, но ни одна не тронула счастливца. Там, где было когда-то скотинье стойло, он выбрал из воды, отряхнулся, неспеша стал взбираться по яру к дворам.

Оставшиеся возле Дона залегли за песчаным бугром. Их пулемет строчил безостановочно до тех пор, пока не закипела в кожухе вода.

— За мной! — негромко скомандовал Григорий, как только пулемет умолк, и пошел к бугру, вынув из ножен шашку.

Сзади, тяжело дыша, затопотали казаки.

До красноармейцев оставалось не более полусотни сажен. После трех залпов из-за песчаного бугра поднялся во весь рост высокий смуглолицый и черноусый командир. Его поддерживала под руку одетая в кожаную куртку женщина. Командир был ранен. Волоча перебитую ногу, он сошел с бугра, поправил на руке винтовку с примкнутым штыком, хрипло скомандовал:

— Товарищи! Вперед! Бей беляков!

Кучка храбрецов с пением «Интернационала» пошла в контратаку. На смерть.

Сто шестнадцать павших последними возле Дона были все коммунисты Интернациональной роты.

ГЛАВА III

Поздно ночью Григорий пришел из штаба на квартиру. Прохор Зыков ожидал его у калитки.

— Про Аксинью не слышно? — спросил Григорий с деланным равнодушием в голосе.

— Нет. Запропала где-то, — ответил Прохор, позевывая, и тотчас же со страхом подумал: «Не дай бог, опять заставит ее разыскивать... Вот скочетались черти на мою голову!».

— Принеси умыться. Потный я весь. Ну, живо! — уже раздраженно сказал Григорий.

Прохор сходил в хату за водой, долго лил из кружки в сложенные ковшом ладони Григория. Тот мылся с видимым наслаждением. Снял провонявшую пётом гимнастерку, попросил:

— Слей на спину.

От холодной воды, обжегшей потную спину, ахнул, зафыркал, долго и крепко тер натруженные ремнями плечи и волосатую грудь. Вытираясь чистой попонкой, уже повеселевшим голосом приказал Прохору:

— Коня мне утром приведут — прими его, вычисти, добудь зерна. Меня не буди, пока сам проснусь. Только если из штаба пришлют — разбудишь. Понятно?

Ушел под навес сарая. Лег на повозке и тотчас же окунулся в беспросыпный сон. На заре зяб, поджимал ноги, натягивал влажную от росы шинель, а после того, как взошло солнце, снова задремал и проснулся часов около семи от полновзвучного орудийного выстрела. Над станицей в голубом и чистом небе кружил матово поблескивающий аэроплан. По нем били с той стороны Дона из орудий и пулеметов.

— А ить могут подшибить его! — проговорил Прохор, яростно охаживая щеткой привязанного к коновязи высокого рыжего жеребца. — Гляди, Пантелейвич, какого чорта под тебя прислали!

Григорий бегло осмотрел жеребца, довольный, спросил:

— Не поглядел я: сколько ему годов? Шестой, должно?

— Шестой.

— Ох, хорош! Ножки под ним точеные и все в чулках. Нарядный конишка... Ну, седлай его, поеду погляжу, кто это прилетел.

— Уж хорош — слов нету. Как-то он будет на побегку. Но по всем приметам должен бы быть дужее резвым, — бормотал Прохор, затягивая подпруги.

Еще одно дымчато-белое облачко шрапнельного разрыва вспыхнуло около аэроплана.

Выбрав место для посадки, летчик резво пошел на снижение. Григорий выехал из калитки, поскакал к станичной конюшне, за которой опустился аэроплан.

В конюшне для станичных жеребцов — длинном каменном здании, стоявшем на краю станицы, — было битком набито более восьмисот пленных красноармейцев. Стража не выпускала их оправляться, параш в помещении не было. Тяжкий густой запах человеческих испражнений стеною стоял около конюшни. Из-под дверей стекали зловонные потоки мочи; над ними тучами роились изумрудные мухи...

День и ночь в этой тюрьме для обреченных звучали глухие стоны. Сотни пленных умирали от истощения и свирепствовавших среди них тифа и дизентерии. Умерших иногда не убирали по суткам.

Григорий, об'ехав конюшню, только что хотел спешиться, как снова глухо ударило орудие с той стороны Дона. Скрежет приближающегося снаряда вырос и сомкнулся с тяжким гулом разрыва.

Пилот и прилетевший с ним офицер вылезли было из кабинки, их окружили казаки. Тотчас же на горе заговорили все орудия батареи. Снаряды стали аккуратно ложиться вокруг конюшни.

Пилот быстро влез в кабинку, но мотор отказался работать.

— Кати на руках! — зычно скомандовал казакам прилетевший из-за Дона офицер и первый взялся за крыло.

Покачиваясь, аэроплан легко двинулся к соснам. Батарея провожала его беглым огнем. Один из снарядов попал в набитую пленными конюшню. В густом дыму, в клубах подымавшейся известняковой пыли обрушился угол. Конюшня дрогнула от животного рева охваченных ужасом красноармейцев. В образовав-

шийся пролом выскочило трое пленных, сбежавшиеся казаки изрешетили их выстрелами в упор.

Григорий отскакал в сторону.

— Убьют! Езжай в сосны! — крикнул пробежавший мимо казак с испуганным лицом и вытаращенными белесыми глазами.

«А и в самом деле могут накинуть. Чем чорт не шутит» — подумал Григорий и неспеша повернул домой.

В этот день Кудинов, обойдя приглашением Мелехова, созвал в штабе строго секретное совещание. Прилетевший офицер Донской армии коротко сообщил, что со дня на день красный фронт будет прорван частями ударной группы, сконцентрированной возле станицы Каменской, и конная дивизия Донской армии под командой генерала Секретева двинется на соединение с повстанцами. Офицер предложил немедленно подготовить средства переправы, чтобы по соединении с дивизией Секретева тотчас же перебросить конные повстанческие полки на правую сторону Дона; посоветовал стянуть резервные части поближе к Дону и уже в конце совещания, после того, как был разработан план переправы и движения частей преследования, спросил:

— А почему у вас пленные находятся в Вешенской?

— Больше их негде держать, в хуторах нет помещений, — ответил кто-то из штабных.

Офицер тщательно вытер носовым платком гладко выбритую вспотевшую голову, расстегнул ворот защитного кителя, со вздохом сказал:

— Направьте их в Казанскую.

Кудинов удивленно поднял брови:

— А потом?

— А оттуда — в Вешенскую... — несходительно пояснил офицер, шуря холодные голубые глаза. И, плотнее сжав губы, жестко закончил: — Я не знаю, господа, почему вы с ними церемонитесь? Время сейчас как будто не такое. Эту сволочь, являющуюся рассадником всяких болезней как физических, так и социальных, надо истребить. Няньчиться с ними нечего! Я на вашем месте поступил бы именно так.

На другой день в пески вывели первую партию пленных в двести человек. Изможденные, иссиня-бледные, еле передвигающие ноги красноармейцы шли, как тени. Конный конвой плотно окружал их нестройно шагающую толпу... На десятиверстном перегоне Вешенская—Дубровка двести человек были вырублены до одного. Вторую партию выгнали перед вечером. Конвою было строго приказано: отстающих только рубить, а стрелять лишь в крайнем случае. Из полутораста человек восемнадцать дошли до Казанской... Один из них, молодой цыгановатый красноармеец, в пути сошел с ума. Всю дорогу он пел, плясал и плакал, прижимая к сердцу пучок сорванного душистого чеборца. Он часто падал лицом в раскаленный песок, ветер трепал грязные лохмотья бязевой рубашки, и тогда конвоирам были видны его туго обтянутая кожей костистая спина и черные порепавшиеся подошвы раскинутых ног. Его поднимали, брызгали на него водой из фляжек, и он открывал черные блестящие безумием глаза, тихо смеялся и, раскачиваясь, снова шел.

Сердобольные бабы на одном из хуторов окружили конвойных, и одна величественная и дородная старуха строго сказала начальнику конвоя:

— Ты ослобони вот этого чернявенького. Умом он тронулся, к богу стал ближе, и вам великий грех будет, коли такого-то загубите.

Начальник конвоя — бравый рыжеусый подхорунжий — усмехнулся:

— Мы, бабуня, лишнего греха не боимся на душу принимать. Все одно из нас праведников не получится!

— А ты ослобони, не противься, — настойчиво просила старуха. — Смертьто над каждым из вас крылом машет...

Бабы дружно поддержали ее, и подхорунжий согласился:

— Мне не жалко, возьмите его. Он теперь не вредный. А за нашу доброту — молочка нам неснятого по корчажке на брата.

Старуха увела сумасшедшего к себе в хатенку, накормила его, постелила ему в горнице. Он проспал сутки напролет, а потом проснулся, встал спиной к

окошку, тихо запел. Старуха вошла в горенку, присела на сундук, подперла щеку ладонью, долго и зорко смотрела на художавое лицо паренька, потом бабовито сказала:

— Ваши-то, слышать, недалеко...

Сумасшедший на какую-то секунду смолк и сейчас же снова запел, но уже тише.

Тогда старуха строго заговорила:

— Ты, болезный мой, песенки брось играть, не прикидывайся и голову мне не морочь. Я жизнью прожила, и меня не обманешь, не дурочка! Умом ты здоровый, знаю... Слыхала, как ты во сне гутарил, да таково складно!

Красноармеец пел, но все тише и тише. Старуха продолжала:

— Ты меня не бойсь, я тебе не лиха желаю. У меня двух сынков в германскую войну сразили, а меньший в эту войну в Черкасском помер. А ить я их всех под сердцем выносила... Вспоила, вскормила, ночей смолоду не спала... Вот через это и жалею я всех молодых юношев, какие в войсках служат, на войне воюют... — Она помолчала немного.

Смолк и красноармеец. Он закрыл глаза, и чуть заметный румянец проступил на его смуглых скулах, на тонкой, худой шее напряженно запульсировала голубая жилка.

С минуту стоял он, храня выжидающее молчание, затем приоткрыл черные глаза. Взгляд их был осмыслен и полыхал таким нетерпеливым ожиданием, что старуха чуть приметно улыбнулась:

— Дорогу на Шумилинскую знаешь?

— Нет, бабуня, — чуть шевеля губами, ответил красноармеец.

— А как же ты пойдешь?

— Не знаю...

— То-то и оно! Что же мне с тобой теперича делать? — Старуха долго выжидала ответа, потом спросила:

— А ходить-то ты можешь?

— Пойду как-нибудь.

— Зараз тебе как-нибудь нельзя ходить. Надо иттить ночью и шагать пошибче, ох, пошибче! Переднюю ишо, а тогда дам я тебе харчей и в поводьри внучонка, чтоб он дорогу указывал, и — в час добрый! Ваши-то, красные, за

Шумилинской стоят, верно знаю. Вот ты к ним и припожалуешь. А шляхом вам нельзя иттить, надо — степью, логами да лесами, бездорожно, а то казакки перевстренут и беды наберетесь. Так-то, касатик мой!

На другой день, как только смерклось, старуха перекрестила собравшихся в дорогу своего двенадцатилетнего внучонка и одетого в казачий зипун красноармейца, сурово сказала:

— Идите с богом. Да глядите, нашим служивым не попадайтесь!.. Не за что, касатик, не за что! Не мне кланяйся — богу святому! Я не одна такая-то, все мы матери добрые... Жалко ить вас, окаянных, до смерти! Ну, ну, ступайте, оборони вас господь! — И захлопнула окрашенную желтой глиной покосившуюся дверь хатенки.

ГЛАВА IV

Каждый день Ильинична просыпалась чуть свет, доила корову и начинала стряпаться. Печь в доме не топила, а разводила огонь в летней кухне, готовила обед и снова уходила в дом к детишкам.

Наталья медленно оправлялась после тифа. На второй день троицы она впервые встала с постели, прошлась по комнатам, с трудом переставляя иссохшие от худобы ноги, долго искала в головах у детишек и даже попробовала, сидя на табуретке, стирать детскую одежду.

И все время с исхудавшего лица ее не сходила улыбка, на ввалившихся щеках розовел румянец, а ставшие от болезни огромными глаза лучились такой сияющей, трепетной теплотой, как будто после родов.

— Полюшка, расхороша моя! Не забивал тебя Мишатка, как я хворала? — спрашивала она слабым голосом, протяжно и неуверенно выговаривая каждое слово, глядя рукою черноволосую головку дочери.

— Нет, маманя! Мишка толечко раз меня побил, а то мы с ним хорошо игрались, — шопотом отвечала девочка и крепко прижималась лицом к материнским коленям.

— А бабушка жалела вас? — улыбаясь, допытывалась Наталья.

— Дюже жалела!

— А чужие люди, красные солдаты вас не трогали?

— Они у нас телушку зарезали, проклятые! — баском ответил разительно похожий на отца Мишатка.

— Ругаться нельзя, Мишенька. Ишь ты, хозяин какой! Больших нельзя черкым словом обзывать! — назидательно сказала Наталья, подавляя улыбку.

— Это бабка их так обзывала, спроси хоть у Польки, — угрюмо оправдывался маленький Мелехов.

— Верно, маманя, и курей они у нас всех дочиста порезали!

Полюшка оживилась: блестя черными глазенками, стала рассказывать, как приходили на баз красноармейцы, как они ловили кур и уток, как просила бабка Ильинична оставить на завод желтого петуха с обмороженным гребнем и как ей веселый красноармеец ответил, размахивая петухом: «Этот петух, бабка, кукарекал против советской власти, и мы его присудили за это к смертной казни! Хоть не проси, сварим мы из него лапши, а тебе взамен старые валенки оставим».

И Полюшка развела руками, показывая:

— Во какие валенки оставил! Большие-разбольшие и все на дырках!

Наталья, смеясь и плача, ласкала детишек и, не сводя с дочери восхищенных глаз, радостно шептала:

— Ах ты, моя Григорьевна! Истованная Григорьевна! Вся-то ты, до капельки, на своего батю похожа.

— А я похож? — ревниво спросил Мишатка и несмело прислонился к матери.

— И ты похож. Гляди только: когда вырастешь — не будь таким непутевым, как твой батя...

— А он непутевый? А чем он непутевый? — заинтересовалась Полюшка.

На лице Натальи тенью легла грусть. Наталья промолчала и с трудом поднялась со скамьи.

Присутствовавшая при разговоре Ильинична недовольно отвернулась. А Наталья, уже не вслушиваясь в детский

говор, стоя у окна, долго глядела на закрытые ставни астаховского куреня, вздыхала и взволнованно теребила оборку своей старенькой вылинявшей кофточки...

На другой день она проснулась чуть свет, встала тихонько, чтобы не разбудить детей, — умылась, достала из сундука чистую юбку, кофточку и белый зонтовый платок. Она заметно волновалась, и по тому, как она одевалась, как хранила грустное и строгое молчание, — Ильинична догадалась, что сноха пойдет на могилку деда Гришаки.

— Куда это собралась? — нарочно спросила Ильинична, чтобы убедиться в верности своих предположений.

— Пойду дедушку проведаю, — не поднимая головы, боясь расплакаться, обронила Наталья.

Она уже знала о смерти деда Гришаки и о том, что Кошевой сжег их дом и подворье.

— Слабая ты, не дойдешь.

— С передышками дотяну. Детей покормите, мамаша, а то я там, может, долго задержусь.

— И кто его знает — чего ты там будешь задерживаться! Ишо в недобрый час найдешь на этих чертей, прости бог. Не ходила бы, Натальюшка!

— Нет, я уж пойду. — Наталья нахмурилась, взялась за дверную ручку.

— Ну, погоди, чего ж ты голодная-то пойдешь? Сем-ка я молочка кислого положу?

— Нет, мамаша, спаси Христос, не хочу... Прийду, тогда поем.

Видя, что сноха твердо решила итти, Ильинична посоветовала:

— Иди лучше над Доном, огородами. Там тебя не так видно будет.

Над Доном наволочью висел туман. Солнце еще не всходило, но на востоке багряным заревом полыхала закрытая тополями кромка неба, и из-под тучи уже тянуло знобким предутренним ветерком.

Перешагнув через поваленный, опутанный повиликой плетень, Наталья вошла в свой сад. Прижимая руки к сердцу, остановилась возле свежего холмика земли.

Сад буйно зарастал крапивою и бурьяном. Пахло мокрыми от росы лопухами, влажной землей, туманом. На старом, засохшей после пожара яблоне одиноко сидел нахохлившийся скворец. Могильная насыпь осела. Кое-где между комьями ссохшейся глины уже показались зеленые жальца выметавшейся травы.

Потрясенная нахлынувшими воспоминаниями, Наталья молча опустила на колени, припала лицом к неласковой, извечно пахнувшей смертным тленом земле...

Через час она, крадучись, вышла из сада, в последний раз со стиснутым болью сердцем оглянулась на место, где некогда отцвела ее юность, — пустынный двор угрюмо чернел обуглившимися сохами сараев, обгорелыми развалинами печей и фундамента, — и тихо пошла по проулку.

С каждым днем Наталья поправлялась все больше. Крепли ноги, округлялись плечи, здоровой полнотой наливалось тело. Вскоре стала помогать свекрови в стряпне. Возясь у печи, они подолгу разговаривали.

Однажды утром Наталья с сердцем сказала:

— И когда же это кончится? Вся душа изболелась!

— Вот поглядишь, скоро переправятся наши из-за Дона, — уверенно отозвалась Ильинична.

— А почему вы знаете, мамаша?

— У меня сердце чувствует.

— Лишь бы наши казаки были целые. Не дай бог — убьют кого или поранят. Гриша, ить он отчаянный, — вздохнула Наталья.

— Небось, ничего им не сделается, бог не без милости. Старик-то наш сулился опять переправиться, проведать нас, да, должно, напужался. Кабы приехал — и ты бы с ним переправилась с своим от греха. Наши-то, хуторные, супротив хутора лежат, обороняются. Надьсь, когда ты ишо лежала без памяти, пошла я на заре к Дону, зачерпнула воды и слышу — из-за Дона Аникушка шумит: «Здорово, бабушка! Поклон от старика!».

— А Гриша где? — осторожно спросила Наталья.

— Он ими всеми командует издаля, — простодушно отвечала Ильинична.

— Откуда ж он командует?

— Должно, из Вешек. Больше неоткуда.

Наталья надолго умолкла. Ильинична глянула в ее сторону, испуганно спросила:

— Да ты чего это? Чего кричишь-то?

Не отвечая, Наталья прижимала к лицу грязную завеску, тихо всхлипывала.

— Не кричи, Натальюшка, слезой тут не поможешь. Бог даст — живых-здоровых увидим. Ты сама-то берегись, зря не выходи на баз, а то увидят эти анчихристы, воззрятся...

В кухне стало темнее. Снаружи окно заслонила чья-то фигура. Ильинична повернулась к окну и ахнула:

— Они! Красные! Натальюшка! Скорей ложись на кровать, прикинься, будто ты хвораешь... Как бы греха... Вот дерюжкой укройся!

Только-что Наталья, дрожа от страха, упала на кровать, как звякнула щекотка и в стряпку, пригинаясь, вошел высокий красноармеец. Детишки вцепились в подол побелевшей Ильиничны. А та, как стояла возле печи, так и присела на лавку, опрокинув корчажку с топленным молоком.

Красноармеец быстро оглядел кухню, громко сказал:

— Не пугайтесь. Не с'ем. Здравствуйте!

Наталья, притворно стоная, с головой укрылась дерюгой, а Мишатка исподлобья всмотрелся в гостя и обрадованно доложил:

— Бабуня! Вот этот самый и зарезал нашего кочета! Помнишь?

Красноармеец снял защитного цвета фуражку, поцокал языком, улыбнулся:

— Угадал шельмец! И охота тебе про этого петуха вспоминать? Однако, хозяйюшка, вот какое дело: не можешь ли ты выпечь нам хлеба? Мука у нас есть.

— Можно... Что ж... Испеку... — торпливо заговорила Ильинична, не гля-

дя на гостя, стирая с лавки пролитое молоко.

А красноармеец присел около двери, вытащил кисет из кармана и, сворачивая папироску, затеял разговор:

— К ночи выпечешь?

— Можно и к ночи, ежели вам спешно.

— На войне, бабушка, завсегда спешно. А за петушка вы не обижайтесь.

— Да мы ничего! — испугалась Ильинична. — Это дите глупое... Вспомнит же что не надо!

— Однако скупой ты, паренек... — добродушно улыбался словоохотливый гость, обращаясь к Мишатке. — Ну чего ты таким волчком смотришь? Подойди сюда, потолкуем всласть про твоего петуха.

— Подойди, болезный! — шопотом просила Ильинична, толкая коленом внука.

Но тот оторвался от бабушкиного пода и норовил уж выскользнуть из кухни, боком-боком пробираясь к дверям. Длинной рукой красноармеец при-тянул его к себе, спросил:

— Сердишься, что ли?

— Нет, — шопотком отозвался Мишатка.

— Ну, вот и хорошо. Не в петухе счастье. Отец-то твой где? За Доном?

— За Доном.

— Воюет, значит, с нами?

Подкупленный ласковым обращением, Мишатка охотно сообщил:

— Он всеми казаками командует!

— Ох, врешь, малый!

— Спроси вот хучь у бабки.

А бабка только руками всплеснула и застонала, окончательно сокрушенная разговорчивостью внука.

— Командует всеми? — переспросил озадаченный красноармеец.

— А может, и не всеми... — уже неуверенно отвечал Мишатка, сбитый с толку отчаянными взглядами бабки.

Красноармеец помолчал немного, потом, искоса поглядывая на Наталью, спросил:

— Молодаякa болеет, что ли?

— Тиф у нее, — неохотно ответила Ильинична.

Двое красноармейцев внесли в кухню

мешок с мукой, поставили его около порога.

— Затопляй, хозяйка, печь! — сказал один из них. — К вечеру придем за хлебами. Да смотри, чтобы припек был настоящий, а то худо тебе будет!

— Как умею, так и испеку, — ответила Ильинична, донельзя обрадованная тем, что вновь пришедшие помешали продолжению опасного разговора и Мишатка выбежал из кухни.

Один спросил, кивком головы указывая на Наталью:

— Тифозная?

— Да.

— Ну, счастье ее! Была бы здорова, мы бы ее распатронили... — И, улыбаясь, вышел из кухни.

Красноармейцы поговорили о чем-то вполголоса, покинули кухню. Не успел последний из них свернуть за угол — из-за Дона зацелкали винтовочные выстрелы.

Красноармейцы, согнувшись, подбежали к полуразваленной каменной огороже, залегли за ней и, дружно клацая затворами, стали отстреливаться.

Испуганная Ильинична бросилась во двор искать Мишатку. Из-за огорожи ее окликнули:

— Эй, бабка! Иди в дом! Убьют!

— Парнишка наш на базу! Мишенька! Родименький! — со слезами в голосе звала старуха.

Она выбежала на середину двора, и тотчас же выстрелы из-за Дона прекратились. Очевидно, находившиеся на той стороне казаки увидели ее. Как только она схватила на руки прибежавшего Мишатку и ушла с ним в кухню, стрельба снова возобновилась и продолжалась до тех пор, пока красноармейцы не покинули мелеховский двор.

Ильинична, шопотом переговариваясь с Натальей, поставила тесто, но выпечь хлеб ей так и не пришлось.

К полудню находившиеся в хуторе красноармейцы пулеметных застав вдруг спешно покинули дворы, по ярам двинулись на гору, таща за собою пулеметы.

Рота, занимавшая окопы на горе, построилась, быстрым маршем пошла к Гетманскому шляху.

Великая тишина как-то сразу распростерлась надо всем Обдонецем. Умолкли орудия и пулеметы. По дорогам, по затравешшим летникам, от хуторов к Гетманскому шляху нескончаемо потянулись обозы, батареи; колоннами пошла пехота и конница.

Ильинична, смотревшая из окна, как по меловым мысам карабкаются на гору отставшие красноармейцы, вытерла о завеску руки, с чувством перекрестилась:

— Привел-то господь, Натальюшка! Уходят красные!

— Ох, маманя, это они из хутора на гору в окопы идут, а к вечеру вернутся.

— А чего же они бегом поспешают? Пихнули их наши! Отступают проклятые! Бегут анчихристы!.. — ликовала Ильинична, а сама снова взялась вымешивать тесто.

Наталья вышла из сенцев, стала у порога и, приложив ладонь к глазам, долго глядела на залитую солнечным светом меловую гору, на выгоревшие бурые отроги.

Из-за горы в предгрозовом величавом безмолвии вставали вершины белых клубящихся туч. Жарко калило землю послуденное солнце. На выгоне свистели суслики, и тихий, грустноватый их свист странно сочетался с жизнерадостным пением жаворонков. Так мила сердцу Натальи была установившаяся после орудийного гула тишина, что она, не шевелясь, с жадностью вслушивалась и в бесхитростные песни жаворонков, и в скрип колодезного журавля, и в шелест напитанного полынной горечью ветра.

Он был горек и духовит, этот крылатый, степной, восточный ветер. Он дышал жаром раскаленного чернозема, пьянящими запахами всех полегших под солнцем трав, но уже чувствовалось приближение дождя: тянуло пресной влагой от Дона, почти касаясь земли раздвоенными остриями крыл, чертили воздух ласточки, и далеко-далеко в синем поднебесьи парил, уходя от подступавшей грозы, степной подорлик.

Наталья прошла по двору. За каменной огорожей на помятой траве лежа-

ли золотистые груды винтовочных гильз. Стекла и выбеленные стены дома зияли пулевыми пробоинами. Одна из уцелевших кур, завидев Наталью, с криком взлетела на крышу амбара.

Ласковая тишина недолго стояла над хутором. Подул ветер, захлопали в покинутых домах распахнутые ставни и двери. Снежно-белая градовая туча властно заслонила солнце и поплыла на запад.

Наталья, придерживая растрепанные ветром волосы, подошла к летней кухне, оттуда снова поглядела на гору. На горизонте — окутанные сиреневой дымкой пыли — на-рысях шли двуколки, скакали одиночные всадники. «Значит, верно, уходят!» — облегченно решила Наталья.

Не успела она войти в сенцы, как где-то далеко за горою раскатисто и немно загремели орудийные выстрелы, и, точно перекликаясь с ними, поплыл над Доном радостный колокольный трезвон двух вешенских церквей.

На той стороне Дона из леса густо высыпали казаки. Они тащили волоком и несли на руках баркасы к Дону, спускали их на воду. Гребцы, стоя на кормах, проворно орудовали веслами. Десятка три лодок наперегонки спешили к хутору.

— Натальюшка! Родимая моя! Наши едут!.. — плача навзрыд, причитала выскочившая из кухни Ильинична.

Наталья схватила на руки Мишатку, высоко подняла его. Глаза ее горячечно блестели, а голос прерывался, когда она, задыхаясь, говорила:

— Гляди, родненький, гляди, у тебя глазки острые... Может, и твой отец с казаками... Не угадаешь? Это не он едет на передней лодке? Ох, да не туда ты глядишь!..

На пристани встретили одного исхудавшего Пантелея Прокофьевича. Старик прежде всего справился, целы ли быки, имение, хлеб, всплакнул, обнимая внучат. А когда, спеша и прихрамывая, вошел на родное подворье, — побледнел, упал на колени, широко перекрестился и, поклонившись на восток, долго не поднимал от горячей, выжженной земли свою седую голову.

ГЛАВА V

Под командованием генерала Секретева трехтысячная конная группа Донской армии при 6 конорудиях и 18 вьючных пулеметах 10 июня сокрушительным ударом прорвала фронт вблизи станицы Усть-Белокалитвенской, двинулась вдоль линии железной дороги по направлению к станице Казанской.

Ранним утром третьего дня офицерский раз'езд 9-го Донского полка наткнулся около Дона на повстанческий полевой караул. Казаки, завидя конный отряд, бросились в яры, но командовавший раз'ездом казачий есаул по одежде угадал повстанцев, помахал нацепленным на шапку носовым платком и व्यчно крикнул:

— Свои!.. Не бегай, станичники!..

Раз'езд без опаски подскочил к отложине яра. Начальник повстанческого караула — старый седой вахмистр, — на ходу застегивая заплечную по росе шинель, вышел вперед. Восемь офицеров спешились, и есаул, подойдя к вахмистру, снял защитную фуражку с ярко белевшей на околыше офицерской кокардой, улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуйте, станичники! Что ж, по старому казачьему обычаю — поцелуемся. — Крест-накрест поцеловал вахмистра, вытер платком губы и усы и, чувствуя на себе выжидающие взоры своих спутников, с многозначительной усмешкой, с расстановкой спросил:

— Ну, как, опомнились? Свои-то оказались лучше большевиков?

— Так точно, ваше благородие! Покрыли грех... Три месяца сражались, не чаяли дожидаться вас!

— Хорошо, что хоть поздно, да взяли за ум. Дело прошлое, а кто старое вспоманет — тому глаз вон. Какой станицы?

— Казанской, ваше благородие!

— Ваша часть за Доном?

— Так точно!

— Красные куда направились от Дона?

— Вверх по Дону, должно, — на Донецкую слободку.

— Конница ваша еще не переправлялась?

— Никак нет.

— Почему?

— Не могу знать, ваше благородие. Нас первых направили на эту сторону.

— Артиллерия была у них тут?

— Две батареи были.

— Когда они снялись?

— Вчера на ночь.

— Преследовать надо было! Эх, вы, раззявы! — укоризненно проговорил есаул и, подойдя к коню, достал из полевой сумки блокнот и карту.

Вахмистр стоял на-вытяжку, руки по швам. В двух шагах сзади него толпились казаки, со смешанным чувством радости и неосознанного беспокойства рассматривая офицеров, седла, породистых, но истощенных переходом лошадей.

Офицеры, одетые в аккуратно пригнанные английские френчи с погонами и в широкие бриджи, разминали ноги, похаживая возле лошадей, искоса поглядывали на казаков. Уже ни на одном из них не было, как осенью 1918 года, самодельных погонов, нарисованных чернильным карандашом. Обувь, седла, патронные сумки, бинокли, притороченные к седлам карабины — все новое и не русского происхождения. Лишь самый пожилой по виду офицер был в черкеске тонкого синего сукна, в кубанке золотистого бухарского каракуля и в горских, без каблуков, сапогах. Он первый, мягко ступая, приблизился к казакам, достал из планшетки нарядную пачку папирос с портретом бельгийского короля Альберта, предложил:

— Курите, братцы!

Казаки жадно потянулись к папиросам. Подошли и остальные офицеры.

— Ну, как жилось под большевиками? — спросил большеголовый и широкоплечий хорунжий.

— Не дже сладко... — сдержанно отвечал одетый в старый зипун казак, жадно затягиваясь папироской, глаз не сводя с высоких зашнурованных по колену гетр, туго обтягивавших толстые икры хорунжего.

На ногах казака еле держались стоптанные рваные чирики. Белье многократно штопаные шерстяные чулки, с заправленными в них шароварами, были изорваны; потому-то казак и не сводил очарованного взгляда с английских ботинок, прельщавших его толщиной неизносных подошв, ярко блестящими медными пистонами. Он не утерпел и простодушно выразил свое восхищение:

— А и хороша же у вас обувка!

Но хорунжий не был склонен к мирному разговору. С ехидством и вызовом он сказал:

— Захотелось вам заграничную экипировку променять на московские лапти, так теперь нечего на чужое завидовать!

— Промашка вышла. Обвиновались... — смущенно отвечал казак, оглядываясь на своих, ища поддержки.

Хорунжий продолжал издевательски отчитывать:

— Ум у вас оказался бычий. Бык, он ведь всегда так: сначала шагнет, а потом стоит думает. Промашка вышла! А осенью, когда фронт открыли, о чем думали? Комиссарами хотели быть! Эх, вы, защитники отечества!..

Молоденький сотник тихо шепнул на ухо расходившемуся хорунжему: «Оставь, будет тебе!». И тот затоптал папирску, сплюнул, развалисто пошел к лошадям.

Есаул передал ему записку, что-то сказал вполголоса.

С неожиданной легкостью тяжелолапый хорунжий вскочил на коня, круто повернул его и поскакал на запад.

Казаки смущенно молчали. Подошедший есаул, играя низкими нотами звучного баритона, весело спросил:

— Сколько верст отсюда до хутора Варваринского?

— Тридцать пять, — в несколько голосов ответили казаки.

— Хорошо. Так вот что, станичники, ступайте и передайте вашим начальникам, чтобы конные части, не медля ни минуты, переправлялись на эту сторону. С вами отправится до переправы наш офицер, он поведет конницу. А пе-

хста походным порядком пусть движется в Казанскую. Понятно? Ну, как говорится, налево кругом и с богом шагом арш!

Казаки толпою пошли под гору. Сажен сто шагали и молчали, как поговору, а потом невзрачный казакишка в зипуне, тот самый, которого отходил ретивый хорунжий, покачал головой и горестно вздохнул:

— Вот и соединились, братушки...

Другой с живостью добавил:

— А хрен редьки не слаже! — И смачно выругался.

ГЛАВА VI

Тотчас же, как только в Вешенской стало известно о спешном отступлении красных частей, Григорий Мелехов с двумя конными полками вплавь переправился через Дон, выслал сильные разезды и двинулся на юг.

За обдонским бугром шел бой. Глухо, как под землей, громыхали сливавшиеся раскаты орудийных выстрелов.

— Снарядов-то кадеты, видать, не жалеют! Беглым огнем содят! — восхищенно сказал один из командиров, подезжая к Григорию.

Григорий промолчал. Он ехал впереди колонны, внимательно осматриваясь по сторонам. От Дона до хутора Базковского на протяжении трех верст стояли тысячи оставленных повстанцами бричек и арб. Всюду по лесу лежало разбросанное имущество: разбитые сундуки, стулья, одежда, упряжь, посуда, швейные машины, мешки с зерном, все, что в великой хозяйской жадности было схвачено и привезено при отступлении к Дону. Местами дорога по колено была усыпана золотистой пшеницей. И тут же валялись раздувшиеся, обезображенные разложением, зловонные трупы быков и лошадей.

— Вот так нахозяевали! — воскликнул потрясенный Григорий, обнажив голову, стараясь не дышать, осторожно обехал курганчик слежавшегося зерна с распростертым на нем мертвым стариком в казачьей фуражке и окровавленном зипуне.

— Докараулил дедок свое добро! Черти его взмордовали тут оставаться, — с сожалением сказал кто-то из казаков.

— Небось, пшаницу жалко было бросать...

— А ну, трогай рысью! Воняет от него — не дай бог. Эй! Трогай!.. — возмущенно закричали из задних рядов.

И сотня перешла на рысь. Разговоры смолкли. Только цокот множества конских копыт да перезвяк подогнанного казачьего снаряжения согласно зазвучали по лесу.

... Бой шел неподалеку от имени Листницких. По суходолу, в стороне от Ягодного, густо бежали красноармейцы. Над головами их рвалась шрапнель, в спины им били пулеметы, а по бугру, отрезая путь к отступлению, текла лава калмыцкого полка.

Григорий подошел со своими полками, когда бой уже кончился. Две красноармейских роты, прикрывавших отход по Вешенскому перевалу разрозненных частей и обозов 14-й Мироновской дивизии, были разбиты 3-м калмыцким полком и целиком уничтожены. Еще на бугре Григорий передал командование Ермакову, сказал:

— Управились тут без нас. Иди на соединение, а я на минуту забегу в усадьбу.

— Что за нужда? — удивился Ермаков.

— Ну, как тебе сказать, жил тут в работах смолоду, вот и потянуло что-то, поглядеть на старые места...

Кликнув Прохора, Григорий повернул в сторону Ягодного и, когда отъехал с полверсты, увидел, как над головной сотней взвилось и заполоскалось на ветру белое полотнище, предусмотрительно захваченное кем-то из казаков.

«Будто в плен сдаются!» — с тревогой и неосознанной тоской подумал Григорий, глядя, как медленно, как бы пехотя, спускается колонна в суходол, а навстречу ей прямо по зеленым на-рысях идет конная группа секретевцев.

Грустью и запустением пахло на Григория, когда через поваленные ворота в'ехал он на заросший лебедью двор имения. Ягодное стало неузнаваемым. Всюду виднелись страшные следы бесхозяйственности и разрушения. некогда нарядный дом потускнел и словно стал ниже. Давным-давно некрашенная крыша желтела пятнистой ржавчиной, поломанные водосточные трубы валялись около крыльца, кособоко висели сорванные с петель ставни, в разбитые окна со свистом врывался ветер, и оттуда уже тянуло горьковатым плесневелым духом нежии.

Угол дома с восточной стороны и крыльцо были разрушены снарядом грехдуюмовки. В разбитое венецианское окно коридора просунулась верхушка поваленного снарядом клена. Он так и остался лежать, уткнувшись комлем в вывалившуюся из фундамента груды кирпичей. А по завядшим ветвям его уже полз и кучерявился стремительный в росте дикий хмель, прихотливо оплетал уцелевшие стекла окна, тянулся к карнизу.

Время и непогода делали свое дело. Надворные постройки обветшали и выглядели так, будто много лет не касались их заботливые человеческие руки. В конюшне вывалилась подмытая вешними дождями каменная стена, крышу каретника раскрыла буря, и на мертвенно белевших стропилах и перерубах лишь кое-где оставались клочья полу-сгнившей соломы.

На крыльце людской лежали три одичавшие борзые. Завидев людей, они вскочили и, глухо рыча, скрылись в сенцах. Григорий под'ехал к распахнутому окну флигеля; перегнувшись с седла, громко спросил:

— Есть кто живой?

Во флигеле долго стояла тишина, а потом надтреснутый женский голос от-ветил:

— Погодите, ради христа! Сейчас выйду.

Постаревшая Лукерья, шаркая босыми ногами, вышла на крыльцо; шурясь ст солнца, долго всматривалась в Григория.

— Не угадаешь, тетка Лукерья? — спешиваясь, спросил Григорий.

И только тогда что-то дрогнуло в рябом лице Лукерьи, и тупое безразличие сменилось сильным волнением. Она заплакала и долго не могла проронить ни одного слова.

Григорий привязал коня, терпеливо выжидал.

— Натерпелась я страсти... Не дай и не приведи... — начала причитать Лукерья, вытирая щеки грязной холстинной завеской. — Думала, опять они приехали... Ох, Гришенька, что тут было... И не расскажешь!.. Одна ить я осталась...

— А дед Сашка где же? Отступил?

— Кабы отступил, может, и живой бы был...

— Неужли помер?

— Убили его... Третьи сутки лежит на погребу... зарыть бы надо, а я сама расхворалась... Насилу встала... Да и боюсь до смерти иттить туда к нему, к мертвому...

— За что же? — не поднимая глаз от земли, глухо спросил Григорий.

— За кобылу порешили... Наши-то паны отступили поспешно. Один капитал взяли, а имущество почти все на меня оставили. — Лукерья перешла на шопот: — Все до нитки соблюла! Зарытое и до се лежит. А из лошадей только трех орловских жеребцов взяли, остальных оставили на деда Сашку. Как началась восстания, брали их и казаки, и красные. Вороного жеребца «Вихоря» — может, помнишь? — взяли на провесне красные. Насилу заседлали. Он ить под седлом сроду не ходил. Только не пришлось им на нем поездить, поликовать. Заезжали через неделю каргиновские казаки, рассказывали. Сошлись они на буре с красными, зачали палить один в одного. У казаков какая-то немудрячая кобыленка и заржала в тот час. Ништо ж не притянул «Вихорь» красного к казакам? Кинулся со всех ног к кобыле, и не мог его удержать энтот-то ездок, какой на нем сидел. Видит он, что не совладает с жеребцом, и захотел на всем скаку ссигнуть с него. Сигнуть-то сигнул, а ногу

из стремени не вытянул. «Вихорь» его и примчал прямо к казакам в руки.

— Ловко! — воскликнул восхищенный Прохор.

— Теперь на этом жеребце каргиновский подфорунжий ездит, — размеренно повествовала Лукерья. — Сулил, как только пан вернется, — сейчас же «Вихоря» на конюшню представить. И так вот всех позабрали лошадок, и осталась одна рысачка «Стрелка», что от «Примера» и «Суженой». Была она жеребая, через это ее никто и не трогал. Опорожнилась она недавно, и дед Сашка так уж этого жеребеночка жалел, так жалел — и рассказать нельзя! На руках носил и из рожка подпаивал молоком и каким-то травяным настоем, чтобы на ногах крепче был. Вот и случилась беда... Третьего дня прискакали трое перед вечером. Дед в саду траву косил. Они кричат ему: «Иди сюда, такой-сякой!». Он косу бросил, подошел, поздоровался, а они и не глядят, молоко пьют и спрашивают у него: «Лошади есть?». Он и говорит: «Одна есть, но она по вашему военному делу негожая: кобыла, к тому же подсосая, с жеребенком». Самый лютый из них как зашумит: «Это не твоего ума дело! Веди кобылу, старый чорт! У моей лошади спина побитая, и должен я ее сменить!». Ему бы покориться и не стоять за эту кобылу, ну, а он, сам знаешь, характерный старичок был... Пану — и тому, бывало, не смолчит. Помнишь, небось?

— Что же он, так и не дал? — вмешался в рассказ Прохор.

— Ну, как же тут не дашь? Он только и сказал им: «До вас, мол, сколько ни прибегало конных, всех лошадей забрали, а к этой, из-за ее дитя, жалость имели, а вы что ж, аль не люди?». Тут они и поднялись. Ну, и потянули его... Я так и залилась слезьми... Теперь и ума не приложу, как с ним быть. Домовину бы надо ему сделать, да разве это бабьего ума дело?

— Дай две лопаты и рядно, — попросил Григорий.

— Думаешь похоронять его? — спросил Прохор.

— Да.

— И охота тебе утруждаться, Григорий Пантелевич! Давай я зараз смогаюсь за казаками. Они и гроб сделают, и могилку ему выроют подходящую...

Прохору, как видно, не хотелось возиться с похоронами какого-то старика, но Григорий решительно отклонил его предложение:

— Сами и могилу выроем, и похороним. Старик этот хороший был человек. Ступай в сад, возле пруда подождешь, а я пойду гляну на покойника.

Под тем же старым разлапистым тополем, возле одетого ряской пруда, где некогда схоронил дед Сашка дочушку Григория и Аксиньи, нашел и он себе последний приют. Положили его сухонькое тело, завернутое в чистый, пахнущий хмелинами дежник, засыпали землей. Рядом с крохотным могильным холмиком вырос еще один, аккуратно притоптанный сапогами, празднично сияющий свежим и влажным суглинком.

Удрученный воспоминаниями, Григорий прилег на траву неподалеку от этого маленького дорогого сердцу кладбища и долго глядел на величаво распростертое над ним голубое небо. Где-то там, в вышних беспредельных просторах, гуляли ветры, плыли осянные солнцем холодные облака, а на земле, только-что принявшей веселого лошадирика и пьяницу деда Сашку, все так же яростно кипела жизнь: в степи, зеленым разливом подступившей к самому саду, в зарослях дикой конопли возле прясел старого гумна, неумолчно звучала гремучая дробь перепелиного боя, свистели суслики, жужжали шмели, шелестела облаканная ветром трава, пели в струистом мареве жаворонки, и, утверждая в природе человеческое величие, где-то далеко-далеко по суходолу настойчиво, злобно и глухо стучал пулемет.

ГЛАВА VII

Генерала Секретева, приехавшего в Вешенскую со штабными офицерами и с

сотней казаков личного конвоя, встречали хлебом-солью, колокольным звоном. В обеих церквях весь день трезвонили, как на пасху. По улицам раз'езжали на поджарых, истощенных переходом дончакх низовские казаки. На плечах у них вызывающе синели погоны. На площади, около купеческого дома, где отвели квартиру генералу Секретеву, толпились ординарцы. Луца семечки, они заговаривали с проходившими мимо принаряженными станичными девками.

В полдень к генеральской квартире трое конных калмыков пригнали человек пятнадцать пленных красноармейцев. Сзади шла пароконная подвода, заваленная духовыми инструментами. Красноармейцы были одеты необычно: в серые суконные брюки и такие же куртки с красным кантом на обшлагах рукавов. Пожилой калмык под'ехал к ординарцам, праздно стоявшим у ворот, спешился, сунул в карман глиняную трубочку:

— Наши красных трубачей пригнала. Понимаешь?

— Чего ж тут понимать-то? — лениво отозвался толстомордый ординарец, сплевывая подсолнечную лузгу на запыленные сапоги калмыка.

— Чего ничего, — прими пленных. Наел жирный морда, болтай зря чего!

— Но-но! Ты у меня поговоришь, курюк бараний! — обиделся ординарец. Но доложить о пленных пошел.

Из ворот вышел дебелый есаул в коричневом туго затянутом в талии бешмете. Раскорячив толстые ноги, картинно подбоченясь, оглядел столпившихся красноармейцев, пробасил:

— Комиссаров музыкой ус-слаж-дали, рвань тамбовская! Откуда серые мундиры? С немцев поснимали, что ли?

— Никак нет, — часто мигая, ответил стоявший впереди всех красноармеец. И скороговоркой пояснил: — Еще при Керенском нашей музыкантской команде пошили эту форму, перед июньским наступлением... Так вот и носим с той поры...

— Поносишь у меня! Поносишь! Вы у меня понесите! — Есаул сдвинул на затылок низко срезанную кубанку, обнажив на бритой голове малиновый незарубцевавшийся шрам, и круто повернулся на высоких стоптанных каблуках лицом к калмыку. — Чего ты их гнал, некрещеная харя? За каким чортом? Не мог по дороге на распыл пустить?

Калмык весь как-то незаметно подбрался, ловко сдвинул кривые ноги и, не отнимая руки от козырька защитной фуражки, ответил:

— Командир сотни приказала гони сюда надо.

— «Гони сюда надо»! — передразнил франтоватый есаул, презрительно скривив тонкие губы, и грузно ступая стечными ногами, подрагивая толстым задом, обошел красноармейцев: долго и внимательно, как барышник — лошадей, осматривал их.

Ординарцы потихоньку посмеивались. Лица конвойных калмыков хранили всегдашнюю бесстрастность.

— Открыть ворота! Загнать их во двор! — приказал есаул.

Красноармейцы и подвода с беспорядочно наваленными инструментами остановились у крыльца.

— Кто капельмейстер? — закуривая, спросил есаул.

— Нет его, — ответили сразу несколько голосов.

— Где же он? Сбежал?

— Нет, убит.

— Туда и дорога. Обойдетесь и без него. А ну, разобрать инструменты!

Красноармейцы подошли к подводе. Смешиваясь с назойливым перезвоном колоколов, во дворе робко и нестройно зазвучали медные голоса труб.

— Приготовиться! Давайте «Боже, царя храни».

Музыканты молча переглянулись. Никто не начинал. С минуту длилось тягостное молчание, а потом один из них, босой, но в аккуратно закрученных обмотках, глядя в землю, сказал:

— Из нас никто не знает старого гимна...

— Никто? Интересно... Эй, там! Полувзвод ординарцев с винтовками!

Есаул отбивал носком сапога неслышный такт. В коридоре, гремя карабинами, строились ординарцы. За палисадником в густо разросшихся акациях чирикали воробьи. Во дворе жарко пахло раскаленными железными крышами сараев и человеческим едким потом. Есаул отошел с солнцепека в тень, и тогда босой музыкант с тоскою глянул на товарищей, негромко сказал:

— Ваше высокоблагородие! У нас все тут — молодые музыканты. Старое не приходилось играть... Революционные марши все больше играли... Ваше высокоблагородие!

Есаул рассеянно вертел кончик своего наборного ремешка, молчал.

Ординарцы выстроились возле крыльца, ждали приказа. Расталкивая красноармейцев, из задних рядов поспешно выступил пожилой с бельмом на глазу музыкант; покашливая, спросил:

— Разрешите? Я могу исполнить. — И, не дожидаясь согласия, приложил к дрожащим губам накаленный солнцем фагот.

Гнусавые, тоскующие звуки, одиноко взметнувшиеся над просторным купеческим двором, заставили есаула гневно поморщиться. Махнув рукой, он крикнул:

— Перестать! Как нищего за.... тянешь! Разве это музыка?

В окнах показались улыбающиеся лица штабных офицеров и адъютантов.

— Вы им похоронный марш закажите! — юношеским тенорком крикнул до половины свесившийся из окна молодецкий сотник.

Надсадный звон колоколов на минуту смолк, и есаул, шевеля бровями, вкрадчиво спросил:

— «Интернационал», надеюсь, исполняете? Давайте-ка! Да не бойтесь! Давайте, раз приказываю.

И в наступившей тишине, в полуденном зное, словно зовя на бой, вдруг со-

гласно и величаво загремели трубные негодующие звуки «Интернационала».

Есаул стоял, как бык перед препятствием, наклонив голову, расставив ноги. Стоял и слушал. Мускулистая шея его и синеватые белки прищуренных глаз наливались кровью.

— От-ста-вить!.. — не выдержав, яростно заорал он.

Оркестр разом умолк, лишь валторна запоздала, и надолго повис в раскаленном воздухе ее страстный незаконченный призыв.

Музыканты облизывали пересохшие губы, вытирали их рукавами, грязными ладонями. Лица их были усталы и равнодушны. Только у одного предательская слеза сбегала по запыленной щеке, оставив влажный след...

Тем временем генерал Секретев отбедал у родных своего сослуживца еще по русско-японской войне и, поддерживаемый пьяным адъютантом, вышел на площадь. Жара и самогон одурманили его. На углу против кирпичного здания гимназии ослабевший генерал споткнулся, упал ничком на горячий песок. Растерявшийся адъютант тщетно пытался поднять его. Тогда из толпы, стоявшей неподалеку, поспешили на помощь. Двое престарелых казаков под руки почтительнейше приподняли генерала, которого тут же всенародно стошнило. Но в перерывах между приступами рвоты он еще пытался что-то выкрикивать, воинственно потрясая кулаками. Кое-как угорворили его, повели на квартиру.

Стоявшие поодаль казаки провожали его долгими взглядами, вполголоса переговаривались:

— Эк его, болезного, развезло-то! Не в аккурате держит себя, даром что генерал.

— Самогонка-то на чины-ордена не глядит.

— Хлебать бы надо не всю, какую становили...

— Эх, сваток, не всякий вытерпит! Иной в пьяном виде сраму наберется и зарекается сроду не пить... Да ить оно как говорится: зарекалась свинья чегой-то ест, бежит, а их два лежит...

— То-то и оно! Шумни ребятишкам,

чтобы отошли. Идут рядом, вылупились на него враженьты, как, скажи, сроду они пьяных не видали.

... Трезвонили и самогон пили по станице до самых сумерек. А вечером в доме, предоставленном под офицерское собрание, повстанческое командование устроило для прибывших банкет.

Высокий, статный Секретев — исконный казак, уроженец одного из хуторов Краснокутской станицы — был страстным любителем верховых лошадей, превосходным наездником, лихим кавалерийским генералом. Но он не был оратором. Речь, произнесенная им на банкете, была исполнена пьяного бахвальства и в конце содержала недвусмысленные упрёки и угрозы по адресу верхнедонцев.

Присутствовавший на банкете Григорий с напряженным и злобным вниманием вслушивался в слова Секретева. Не успевший протрезвиться генерал стоял, опираясь пальцами о стол, расплескивая из стакана пахучий самогон; говорил, с излишней твердостью произнося каждую фразу:

— ... Нет, не мы вас должны благодарить за помощь, а вы нас. Именно вы, это надо твердо сказать. Без нас красные вас уничтожили бы. Вы это сами прекрасно знаете. А мы и без вас раздавили бы эту сволочь. И давим ее, и будем давить, имейте в виду, до тех пор, пока не очистим наголо всю Россию. Вы бросили осенью фронт, пустили на казачью землю большевиков... Вы хотели жить с ними в мире, но не пришлось! И тогда вы восстали, спасая свое имущество, свою жизнь. Попросту — спасая свои и бычьи шкуры. Я вспоминаю о прошлом не для того, чтобы попрекнуть вас вашими грехами... Это не в обиду вам говорится. Но истину установить никогда не вредно. Ваша измена была нами прощена. Как братья, мы пошли к вам в наиболее трудную для вас минуту, пошли на помощь. Но ваше позорное прошлое должно быть искуплено в будущем. Понятно, господа офицеры? Вы должны искупить его своими подвигами и безупречным служением Тихому Дону, понятно?

— Ну, за искупление! — ни к кому не обращаясь в отдельности, чуть приметно улыбаясь, сказал сидевший против Григория пожилой войсковой старшина и, не дожидаясь остальных, выпил первый. У него — мужественное, слегка тронутое оспой лицо и насмешливые карие глаза. Во время речи Секретева губы его не раз складывались в неопределенную блуждающую усмешку, и тогда глаза темнели и казались совсем черными. Наблюдая за войсковым старшиной, Григорий обратил внимание на то, что тот был на «ты» с Секретевым и держался по отношению к нему крайне независимо, а с остальными офицерами был подчеркнуто сдержан и холоден. Он один из присутствовавших на банкете носил вшитые погоны цвета хаки на таком же кителе и нарукавный корниловский шеврон. «Какой-то идейный. Должно, из добровольцев» — подумал Григорий. Пил войсковой старшина, как лошадь. Не закусывал и не пьянел, лишь время от времени отпускал широкий английский ремень.

— Кто это, насупротив меня, рябоватый такой? — шопотом спросил Григорий у сидевшего рядом Богатырева. — А чорт его знает! — отмахнулся подвыпивший Богатырев.

Кудинов не жалел для гостей самогона. Откуда-то появился на столе спирт, и Секретев, с трудом окончив речь, распахнул защитный сюртук, тяжело опустился на стул. К нему наклонился молодой сотник с ярко выраженным монгольским типом лица, что-то шепнул.

— К чорту! — побагровев, ответил Секретев и залпом выпил рюмку спирта, услужливо налитую Кудиновым.

— А это кто с косыми глазами? Адъютант? — спросил Григорий у Богатырева.

Прикрывая ладонью рот, тот ответил:

— Нет, это его вскормленник. Он его в японскую войну привез из Манчжурии мальчишкой. Воспитал и отдал в юнкерское. Получился из китайчонка толк. Лихой, чорт! Вчера отбил под Макеевкой денежный ящик у красных. Два миллиона денег хапнул. Глянь-ка, они у него изо всех карманов пачками торчат! Повезло же проклятому! Чи-

стый клад! Да пей ты, чего ты их разглядываешь?

Ответную речь держал Кудинов, но его почти никто уже не слушал. Попойка принимала все более широкий размах. Секретев, сбросив сюртук, сидел в одной нижней рубашке. Голо выбритая голова его лоснилась от пота, и безупречно чистая полотняная рубашка еще резче оттеняла багровое лицо и оливковую от загара шею. Кудинов что-то говорил ему вполголоса, но Секретев, не глядя на него, настойчиво повторял:

— Не-е-ет, извини! Уж это ты извини! Мы вам доверяем, но постольку — поскольку... Ваше предательство не скоро забудется. Пусть это зарубят себе на носу все, кто переметнулся осенью к красным...

«Ну, и мы вам послужим постольку-поскольку!» — с холодным бешенством подумал опыневший Григорий и встал.

Не надевая фуражки, вышел на крыльцо, с облегчением, всей грудью вдохнул свежий ночной воздух.

У Дона, как перед дождем, гомонили лягушки, угрюмовато гудели водяные жуки. На песчаной косе тоскливо перекликались кулики. Где-то далеко в займище залиvisto и тонко ржал потерявший матку жеребенок. «Сосватала нас с вами горькая нужда, а то и на понюх вы бы нам были не нужны. Сволочь проклятая! Ломается, как копеечный пряник, попрекает, а через неделю прямо начнет на глотку наступать... Вот подошло, так подошло! Куда ни кинь — везде клин. А ить я так и думал... Так оно и должно было получиться. То-то казаки теперь носами закрутят! Отвыкли козырять да тянуться перед их благородиями» — думал Григорий, сходя с крыльца и ощупью пробираясь к калитке.

Спирт подействовал и на него: кружилась голова, движения обретали неуверенную тяжеловесность. Выходя из калитки, он качнулся, нахлобучил фуражку, — волоча ноги, пошел по улице.

Около домика аксиньиной тетки на минуту остановился в раздумьи, а потом решительно шагнул к крыльцу. Дверь в сени была не заперта. Григорий без стука вошел в горницу и прямо пе-

ред собой увидел сидевшего за столом Степана Астахова. Около печи сутилась аксиньина тетка. На столе, покрытом чистой скатертью, стояла недопитая бутылка самогона, в тарелке розовела порезанная на куски вяленая рыба.

Степан только-что опорожнил стакан и, как видно, хотел закусить, но, увидев Григория, отодвинул тарелку, прислонился спиной к стене.

Как ни был пьян Григорий, он все же заметил и мертвенно побледневшее лицо Степана, и его по-вольчи вспыхнувшие глаза. Ошеломленный встречей, Григорий нашел в себе силы хрипаво проговорить:

— Здорово дневали!

— Слава богу, — испуганно ответила ему хозяйка, безусловно осведомленная об отношениях Григория с ее племянницей и не ожидавшая от этой нечаянной встречи мужа и любовника ничего доброго.

Степан молча гладил левой рукою усы, загоревшихся глаз не сводил с Григория.

А тот, широко расставив ноги, стоял у порога, криво улыбаясь, говорил:

— Вот, зашел проведать... Извиняйте.

Степан молчал. Неловкая тишина длилась до тех пор, пока хозяйка не осмелилась пригласить Григория:

— Проходите, садитесь.

Теперь Григорию уж нечего было скрывать. Его появление на квартире у Аксиньи объяснило Степану все. И Григорий пошел направо:

— А где же жена?

— А ты... ее пришел проведать? — тихо, но внятно спросил Степан и прикрыл глаза затрепетавшими ресницами.

— Ее, — со вздохом признался Григорий.

Он ждал в этот миг от Степана всего и, трезвея, готовился к защите. Но тот приоткрыл глаза (в них уже погас недавний огонь), сказал:

— Я послал ее за водкой, она зараз придет. Садись, подожди.

Он даже встал — высокий и ладный — и подвинул Григорию стул; не глядя на хозяйку, попросил:

— Тетка, дайте чистый стакан. —

И — Григорию: — Выпьешь?

— Немножко можно.

— Ну, садись.

Григорий присел к столу... Оставшееся в бутылке Степан разлил поровну в стаканы, поднял на Григория задернутые какой-то дымкой глаза:

— За все хорошее!

— Будем здоровы!

Чокнулись. Выпили. Помолчали. Хозяйка, проворная, как мышь, подала гостью тарелку и вилку с выщербленным черенком:

— Кушайте рыбку! Это малосольная.

— Благодарствую.

— А вы кладите на тарелку, угощайтесь! — потчевала повеселевшая хозяйка. Она была донельзя довольна тем, что все обошлось так по-хорошему, без драки, без бития посуды, без огласки. Суливший недоброе разговор окончился. Муж мирно сидел за общим столом с дружкой жены. Теперь они молча ели и не смотрели друг на друга. Предупредительная хозяйка достала из сундука чистый рушник и как бы соединила Григория со Степаном, положив концы его обоим на колени.

— Ты почему не в сотне? — обгладывая подлещика, спросил Григорий.

— Тоже проведать пришел, — помолчав, ответил Степан, и по тону его никак нельзя было определить, серьезно он говорит или с издевкой.

— Сотня дома, небось?

— Все в хуторе гостюют. Что ж, дольем?

— Давай.

— Будем здоровы!

— За все доброе!

В сенцах звякнула щеколда. Окончательно отрезвевший Григорий глянул исподлобья на Степана, заметил, как бледность снова волной омыла его лицо.

Аксинья, закутанная в ковровый платок, не угадывая Григория, подошла к столу, глянула сбоку, и в черных расширившихся глазах ее плеснулся ужас. Задохнувшись, она насилиу выговорила:

— Здравствуйте, Григорий Пантелевич!

Лежавшие на столе большие, узловатые руки Степана вдруг мелко задрожали, и Григорий, видевший это, молча поклонился Аксинье, не проронив ни слова.

Ставя на стол две бутылки с самогонном, она снова метнула на Григория взгляд, полный тревоги и скрытой радости, повернулась и ушла в темный угол горницы, села на сундук, трясущимися руками поправила прическу. Преодолев волнение, Степан расстегнул воротник душившей его рубахи, налил дополна стаканы, повернулся лицом к жене:

— Возьми стакан и садись к столу.

— Я не хочу.

— Садись!

— Я же не пью ее, Степа!

— Сколько раз говорить? — Голос Степана дрогнул.

— Садись, соседка! — Григорий ободряюще улыбнулся. Она с мольбой взглянула на него, быстро подошла к шкафчику. С полки упало блюдечко, со звоном разбилось.

— Ах, беда-то какая! — Хозяйка огорченно всплеснула руками.

Аксинья молча собирала осколки.

Степан налил и ей стакан доверху, и снова глаза его вспыхнули тоской и ненавистью.

— Ну, выпьем... — начал он и умолк.

В тишине было отчетливо слышно, как бурно и прерывисто дышит присевшая к столу Аксинья.

— ... Выпьем, жена, за долгую разлуку. Что же, не хочешь? Не пьешь?

— Ты же знаешь...

— Я зараз все знаю... Ну, не за разлуку! За здоровье дорогого гостя Григория Пантелевича.

— За его здоровье выпью! — звонко сказала Аксинья и выпила стакан залпом.

— Победная твоя головушка! — прошептала хозяйка, выбежав на кухню.

Она забилась в угол, прижала руки к груди, ждала, что вот-вот с грохотом упадет опрокинутый стол, оглушительно грянет выстрел... Но в горнице мертвая стояла тишина. Слышно было только, как жужжат на потолке потревоженные

светом мухи да за окном, приветствуя полночь, перекликаются по станице пети.

ГЛАВА VIII

Темны июньские ночи на Дону. На аспидно-черном небе в томительном безмолвии вспыхивают золотые зарницы, падают звезды, отражаясь в текучей быстрине Дона. Со степи сухой и теплый ветер несет к жилью медвяные запахи цветущего чобора, а в займище пресно пахнет влажной травой, илом, сыростью, неумолчно кричат коростели, и прибрежный лес, как в сказке, весь покрыт серебристой парчою тумана.

Прохор проснулся в полночь. Спросил у хозяина квартиры:

— Наш-то не пришел?

— Нету. Гуляет с генералами.

— То-то там, небось, водки попьют! — завистливо вздохнул Прохор и, позевывая, стал одеваться.

— Ты куда это?

— Пойду коней напою да зерна насыплю. Говорил Пантелевич, что с рассветом выедем в Татарский. Переднюю там, а потом свои частя надо догонять.

— До рассвета ишо далеко. Позаревал бы.

Прохор с неудовольствием ответил:

— Сразу по тебе, дед, видать, что нестроевой ты был смолоду! Нам при нашей службе, ежели коней не кормить да не ухаживать за ними, так, может, и живым не быть. На художонке разве расскачешься! Чем ни добрее под тосью животины, тем скорее от неприятеля ускачешь. Я такой: мне догонять их нету надобностей, а коли туго придется, подопрет к кутнице — так я первый махну! Я и так уж какой год лоб под пули подставляю, осточертело! Зажги, дедок, огонь, а то портянки не найду. Вот спасибо! Да-а-а, это наш Григорий Пантелевич кресты да чины схватывал, в пекло лез, а я не такой дурак, мне это без надобностей. Ну, никак, несут его черти, и, небось, пьяный в дымину.

В дверь тихонько постучали.

— Взойдите! — крикнул Прохор.

Вошел незнакомый казак с погонами

младшего урядника на защитной гимнастерке и в фуражке с кокардой.

— Я ординарец штаба группы генерала Секретева. Могу я видеть их благородие господина Мелехова? — спросил он, козырнув и вытянувшись у порога.

— Нету его, — ответил пораженный выправкой и обращением вышколенного ординарца Прохор. — Да ты не тянись, я сам смолоду был такой дурак, как ты. Я его бестовой. А по какому ты делу?

— По приказанию генерала Секретева за господином Мелеховым. Его просили сейчас же явиться в дом офицерского собрания.

— Он туда потянул ишо с вечера.

— Был, а потом ушел оттуда домой.

Прохор свистнул и подмигнул сидевшему на кровати хозяину:

— Понял, дед? Зафитилил, значит, к своей жалечке... Ну, ты иди, служивый, а я его разыщу и представлю туда прямо тепленького!

Поручив старику напоить лошадей и задать им зерна, Прохор отправился к аксиньиной тетке.

В непроглядной темени спала станица. На той стороне Дона, в лесу, наперебой высвистывали соловьи. Не торопясь, подошел Прохор к знакомой хатенке, вошел в сени и, только-что взялся за дверную скобу, — услышал басистый степанов голос. «Вот это я нарвался! — подумал Прохор. — Спросит, зачем пришел? А мне и сказануть нечего. Ну, была, не была, — повидалась! Скажу, зашел самогонки купить, направили, мол, соседи в этот дом».

И, уже осмелев, вошел в горницу, — пораженный изумлением, молча раскрыл рот: за одним столом с Астаховыми сидел Григорий и — как ни в чем не бывало — тянул из стакана мутно-зеленый самогон.

Степан глянул на Прохора, натужно улыбаясь, сказал:

— Чего же ты зевало раскрыл и не здороваешься? Али диковину какую увидал?

— Вроде этого... — переминаясь с ноги на ногу, отвечал еще не пришедший в себя от удивления Прохор.

— Ну, не пужайся, проходи, садись, — приглашал Степан.

— Мне садиться время не указывает... Я за тобой, Григорий Пантелевич. Приказано к генералу Секретеву явиться зараз же.

Григорий и до прихода Прохора несколько раз порывался уйти. Он отодвигал рюмку, вставал и тотчас же снова садился, боясь, что уход его Степан расценит как открытое проявление трусости. Гордость не позволяла ему покинуть Аксинью, уступить место Степану. Он пил, но самогон уже не действовал на него. И, трезво оценивая всю двусмысленность своего положения, Григорий выжидал развязки. На секунду ему показалось, что Степан ударит жену, когда она выпила за его — Григория — здоровье. Но он ошибся: Степан поднял руку, потер шершавой ладонью загорелый лоб и после недолгого молчания, с восхищением глядя на Аксинью, сказал: «Молодец жена! Люблю за смелость!».

Потом вошел Прохор.

Поразмыслив, Григорий решил не идти, чтобы дать Степану высказаться.

— Пойди туда и скажи, что не нашел меня. Понял? — обратился он к Прохору.

— Понять-то понял. Только лучше бы тебе, Пантелевич, сходить туда.

— Не твое дело! Ступай.

Прохор пошел было к дверям. Но тут неожиданно вмешалась Аксинья. Не глядя на Григория, она сухо сказала:

— Нет, чего уж там, идите вместе, Григорий Пантелевич! Спасибо, что зашли, погостевали, разделили с нами время... Только не рано уж, вторые кочета прокричали. Скоро рассвет, а нам с Степой на зорьке надо домой иттить... Да и выпили вы достаточно. Хватит!

Степан не стал удерживать, и Григорий поднялся. Прощаясь, Степан задержал руку Григория в своей холодной

и жесткой руке, словно бы хотел напоследок что-то сказать, — но так и не сказал, молча до дверей проводил Григория глазами, неспеша потянулся к недопитой бутылке...

Страшная усталость овладела Григорием, едва он вышел на улицу. С трудом передвигая ноги, дошел до первого перекрестка, попросил следовавшего за ним неотступно Прохора:

— Иди, седлай коней и под'езжай сюда. Не дойду я...

— Не доложить об том, что едешь-то?

— Нет.

— Ну, погоди, я — живой ногой!

И всегда медлительный Прохор на этот раз пустился к квартире рысью.

Григорий присел к плетню, закурил. Восстанавливая в мыслях встречу со Степаном, равнодушно подумал: «Ну, что ж, теперь он знает... Лишь бы не бил Аксинью». Потом усталость и пережитое волнение заставили его прилечь. Он задремал.

Вскоре под'ехал Прохор.

На пароме переправились на ту сторону Дона, пустили лошадей крупной рысью.

С рассветом в'ехали в Татарский. Около ворот своего база Григорий спешился, кинул повод Прохору, — торопясь и волнуясь, пошел к дому.

Полуодетая Наталья вышла зачем-то в сенцы. При виде Григория заспанные глаза ее вспыхнули таким ярким, брызжущим светом радости, что у Григория дрогнуло сердце и мгновенно и неожиданно увлажнились глаза. А Наталья молча обнимала своего единственного, прижималась к нему всем телом, и по тому, как вздрагивали ее плечи, Григорий понял, что она плачет.

Он вошел в дом, перецеловал стариков и спавших в горнице детишек, стал посреди кухни.

— Ну, как пережили? Все благополучно? — спросил, задыхаясь от волнения.

— Слава богу, сынок, страху повидали, а так чтобы дюже забижать — этого не было, — торопливо ответила Ильинична и, косо глянув на заплаканную Наталью, сурово крикнула ей: — Рад-

ваться надо, а ты кричишь, дура! Ну, не стой же без дела! Неси дров, печь затоплять...

Пока они с Натальей спешно готовили завтрак, Пантелей Прокофьевич принес сыну чистый рушник, предложил:

— Ты умойся, я солью на руки. Оно голова-то и посвежеет... Шибает от тебя водочкой. Должно, выпил вчера на радостях?

— Было дело. Только пока неизвестно: на радостях или при горести...

— Как так? — несказанно удивился старик.

— Да уж дюже Секретев злует на нас.

— Ну, это не беда. Неужли и он выпивал с тобой?

— Ну да.

— Скажи на милость! В какую ты честь попал, Гришка! За одним столом с настоящим генералом! Подумать только! — И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением поцокал языком.

Григорий улыбнулся. Уж он-то никак не разделял наивного стариковского восторга.

Степенно расспрашивая о том, в сохранности ли скот и имущество и сколько потравили зерна, Григорий замечал, что разговор о хозяйстве, как прежде, не интересует отца. Что-то более важное было у старика на уме, что-то тяготило его.

И он не замедлил высказаться:

— Как же, Гришенька, теперича быть? Неужли опять придется служить?

— Ты про кого это?

— Про стариков. К примеру, хоть меня взять.

— Пока неизвестно.

— Стало быть, надо выступать?

— Ты можешь остаться.

— Да что ты! — обрадованно воскликнул Пантелей Прокофьевич и в волнении захромал по кухне.

— Усядься ты, хромой бес! Сор-то не греби ногами по хате! Возрадовался, забегал, как худой щенок! — строго прикрикнула Ильинична.

Но старик и внимания не обратил на окрик. Несколько раз проковылял он от

стола до печки, улыбаясь и потирая руки. Тут его настигло сомнение:

— А ты можешь дать освобождение?

— Конечно, могу.

— Бумажку напишешь?

— А то как же!

Старик замялся в нерешительности, но все же спросил:

— Бумажка-то, как она... Без печати-то? Али, может, и печать при тебе?

— Сойдет и без печати! — улыбнулся Григорий.

— Ну, тогда и гутарить нечего! — снова повеселел старик. — Дай бог тебе здоровья! Сам-то когда думаешь ехать?

— Завтра.

— Частя твои пошли вперед? На Усть-Медведицу?

— Да. А за себя, батя, ты не беспокойся. Все равно вскорости таких, как ты, стариков, будут спускать по домам. Вы свое уж отслужили.

— Дай-то бог! — Пантелей Прокофьевич перекрестился и, как видно, успокоился окончательно.

Проснулись детишки. Григорий взял их на руки, усадил к себе на колени и, целуя их поочередно, улыбаясь, долго слушал веселое их щебетанье.

Как пахнут волосы у этих детишек! Солнцем, травой, теплой подушкой и еще чем-то бесконечно родным. И сами они — эта плоть от плоти его — как крохотные степные птицы. Какими немелыми казались большие, черные руки отца, обнимавшие их. И до чего же чужим в этой мирной обстановке выглядел он — всадник, на сутки покинувший коня, насквозь пропитанный едким духом солдатчины и конского пота, горьким запахом походов и ременной амуниции...

Глаза Григория застилала туманная дымка слез, под усами дрожали губы... Раза три, он не ответил на вопросы отца и только тогда подошел к столу, когда Наталья тронула его за рукав гимнастерки.

Нет, нет, Григорий положительно стал не тот! Он никогда ведь не был особенно чувствительным и плакал редко даже в детстве. А тут — эти слезы, глухие и частые удары сердца и такое ощущение, будто в горле беззвучный

бьется колокольчик... Впрочем, все это могло быть и потому, что он много пил в эту ночь и провел ее без сна...

Пришла Дарья, прогонявшая коров на выгон. Она подставила Григорию улыбающиеся губы и, когда он, шутливым жестом разгладив усы, приблизил к ней лицо, закрыла глаза. Григорий видел, как, словно от ветра, дрогнули ее ресницы, и на миг ощутил пряный запах помады, исходивший от ее неблекнущих щек.

А вот Дарья была все та же. Кажется, никакое горе не было в силах не только сломить ее, но даже пригнуть к земле. Жила она на белом свете, как красноталовая хворостинка: гибкая, красивая и доступная.

— Цветешь? — спросил Григорий.

— Как придорожная белена! — прижмурив лучистые глаза, ослепительно улыбнулась Дарья. И тотчас же подошла к зеркалу поправить выбившиеся из-под платка волосы, прихорошиться.

Такая уж она была, Дарья. С этим, пожалуй, ничего нельзя было поделать. Смерть Петра словно подхлестнула ее, и, чуть оправившись от перенесенного горя, она стала еще жаднее к жизни, еще внимательнее к своей наружности.

Разбудили спавшую в амбаре Дуняшку. Помолясь, всей семьей сели за стол.

— Ох, и постарел же ты, братушка! — сожалеюще сказала Дуняшка. — Серый какой-то стал, как бирюк.

Григорий через стол молча и без улыбки посмотрел на нее, а потом сказал:

— Мне так и полагается. Мне стареть, тебе в пору входить, жениха искать... Только вот что я тебе скажу: о Мишке Кошевом с нынешнего дня и думать позабудь. Ежли услышу, что ты и после этого об нем сохнуть будешь, — на одну ногу наступлю, а за другую возьмусь — так и раздеру, как лягушонка! Поняла?

Дуняшка вспыхнула, как маков цвет, — сквозь слезы посмотрела на Григория.

Он не сводил с нее злого взгляда, и во всем его ожесточившемся лице — в ощеренных под усами зубах, в сужен-

ных глазах — еще ярче проступило врожденное мелеховское, звероватое.

Но и Дуняшка была этой породы: оправившись от смущения и обиды, она тихо, но решительно сказала:

— Вы, братушка, знаете? — сердцу не прикажешь!

— Вырвать надо такое сердце, какое тебя слушаться не будет, — холодно посоветовал Григорий.

«Не тебе бы, сынок, об этом гутарить...» — подумала Ильинична. Но тут в разговор вступил Пантелей Прокофьевич. Грохнув по столу кулаком, заорал:

— Ты, сукина дочь, цыц у меня! А то я тебе такое сердце пропишу, что и волос с головы не соберешь! Ах ты, паскуда этакая! Вот пойду зараз, возьму вожжи...

— Батенка! Вожжей-то ни одних у нас не осталось. Все забрали! — со смиренным видом прервала его Дарья.

Пантелей Прокофьевич бешено сверкнул на нее глазами и, не сбавляя голоса, продолжал отводить душу:

— ... Возьму чересседельню — так я тебе таких чертей...

— И чересседельню красные тоже взяли! — уже громче вставила Дарья, попережнему глядя на свекора невинными глазами.

Этого Пантелей Прокофьевич снести уже не мог. Секунду глядел он на сноху, багровея в немой ярости, молча зевая широко раскрытым ртом (был похож он в этот миг на вытащенного из воды судака), а потом хрипло крикнул:

— Замолчи, проклятая, сто чертей тебе в душу! Слова не дадут сказать! Да что это такое? А ты, Дунька, так и знай: сроду не бывать этому делу! Отцовским словом тебе говорю! И Григорий правильно сказал: об таком подлеце будешь думать — так тебя и убить мало! Нашла присуху! Запек ей душу висельник! Полхутора спалил, немощных стариков расстреливал — да ништо ж это человек? Да чтобы такой христопродавец был моим зятем?! Попадись он мне зараз — своей рукой смерти предам! Только пикни ишо: возьму шелужину, так я тебе...

— Их, шелужининов-то, на базу днем с огнем не сыщешь, — со вздохом ска-

зала Ильинична. — По базу хоть шаром покати, хворостины на растопку, и то не найдешь. Вот до чего дожили!

Пантелей Прокофьевич и в этом бесхитростном замечании усмотрел злой умысел. Он глянул на старуху остановившимися глазами, вскочил, как сумасшедший, выбежал на баз.

Григорий бросил ложку, закрыл лицо рушником и трясся в беззвучном хохоте. Злоба его прошла, и он смеялся так, как не смеялся давным-давно. Смеялись все, кроме Дуняшки. За столом царило веселое оживление. Но, как только по крыльцу затопотал Пантелей Прокофьевич, лица у всех сразу стали серьезные. Старик ворвался ураганом, волоча за собой длиннейшую ольховую жердь.

— Вот! Вот! На всех на вас, на проклятых, языкастых, хватит! Ведьмы длиннохвостые!.. Шелужины нету?! А это что? И тебе, старая чертовка, достанется! Вы ее у меня отпробуете!..

Жердь не помещалась в кухне, и старик, опрокинув чугуи, с грохотом бросил ее в сенцы, — тяжело дыша, присел к столу.

Настроение его было явно испорчено. Он сопел и ел молча. Молчали и остальные. Дарья не поднимала от стола глаз, боясь рассмеяться. Ильинична вздыхала и чуть слышно шептала: «О, господи, господи! Грехи наши тяжкие!». Одной Дуняшке было не до смеха, да Наталья, в отсутствие старика улыбавшаяся какой-то вымученной улыбкой, снова стала сосредоточенна и грустна.

— Соли подай! Хлеба! — изредка и грозно рычал Пантелей Прокофьевич, обводя домашних сверкающими глазами.

Семейная передряга закончилась довольно неожиданно. При всеобщем молчании Мишатка сразил деда новой обидой. Он не раз слышал, как бабка в ссоре обзывала деда всяческими бранными словами, и, по-детски глубоко взволнованный тем, что дед собирался бить всех и орал на весь курень, — дрожа ноздрями, вдруг звонко сказал:

— Развоевался, хромой бес! Дрючком бы тебя по голове, чтоб ты не пужал нас с бабуней!..

— Это ты меня... то-есть деда... так?

— Тебя! — мужественно подтвердил Мишатка.

— Да нешто родного деда можно... такими словами?!

— А ты чего шумишь?

— Каков вражененок? — поглаживая бороду, Пантелей Прокофьевич изумленно обвел всех глазами. — А это все от тебя, старая карга, таких слов наслушался! Ты учишься!

— И кто его учит? Весь в тебя да в папаню необузданный! — сердито оправдывалась Ильинична.

Наталья встала и отшлепала Мишатку, приговаривая:

— Не учишь так гутарить с дедом! Не учишь!

Мишатка заревел, уткнулся лицом в колени Григория. А Пантелей Прокофьевич, души не чаявший во внуках, вскочил из-за стола и, прослезившись, не вытирая струившихся по бороде слез, радостно закричал:

— Гришка! Сынок! Фитинòв твоей матери! Верное слово старуха сказала! Наш! Мелеховских кровей!.. Вот она, когда кровь сказалась-то!.. Этот никому не смолчит!.. Внучек! Родимый мой!.. На, бей старого дурака чем хошь!.. Тягай его за бороду!.. — И старик, выхватив из рук Григория Мишатку, высоко поднял его над головой.

Окончив завтрак, встали из-за стола. Женщины начали мыть посуду, а Пантелей Прокофьевич закурил, сказал, обращаясь к Григорию:

— Оно вроде и неудобно просить тебя, ты ить у нас — гость, да делать нечего... Пособи плетни поставить, гумне загородить, а то скрозь все повалено, а чужих зараз не допросишься. У всех одинаково все рухнулось.

Григорий охотно согласился, и они вдвоем до обеда работали на базу, приводя в порядок огорожу.

Врывая стоянки на огороде, старик спросил:

— Покос начнется, что не видно, и не знаю — прикупать травы али нет. Ты как скажешь в счет хозяйства? Стоит дело хлопотать? А то, может, через месяц красные опять припожалуют, и все сызнава пойдет к чертям на выделку?

— Не знаю, батя, — откровенно сознался Григорий. — Не знаю, чем оно обернется и кто кого придолеет. Живи так, чтобы лишнего ни в закромах, ни на базу не было. По нынешним временам все это ни к чему. Вон возьми теста: всю жизнь хрип гнул, наживал, жилы из себя и из других выматывал, а что осталось? Одни горелые пеньки на базу!

— Я, парень, и сам так думаю, — подавив вздох, согласился старик.

И разговора о хозяйстве больше не заводил. Лишь после полудня, заметив, что Григорий с особой тщательностью приклячивает воротца на гумне, сказал с досадой и нескрываемой горечью:

— Делай абы как. Чего ты стараешься? Не век же им стоять!

Как видно, только теперь старик осознал всю тщетность своих усилий наладить жизнь по-старому...

Пред закатом солнца Григорий бросил работу, пошел в дом. Наталья была одна в горнице. Она принарядилась, как на праздник. На ней ловко сидели синя шерстяная юбка и поплиновая голубенькая кофточка с прошивкой на груди и с кружевными манжетами. Лицо ее тонко розовело и слегка лоснилось оттого, что она недавно умывалась с мылом. Она что-то искала в сундуке, но при виде Григория опустила крышку, с улыбкой выпрямилась.

Григорий сел на сундук, сказал:

— Присядь на-час, а то завтра уеду и не погутарим.

Она покорно села рядом с ним, посмотрела на него сбоку чуть-чуть испуганными глазами. Но он неожиданно для нее взял ее за руку, ласково сказал:

— А ты гладкая, как будто и не хворала.

— Поправилась... Мы, бабы, живущие, как кошки, — сказала она, несмело улыбаясь и наклоняя голову.

Григорий увидел нежно розовеющую, покрытую пушком мочку уха и в просветах между прядями волос желтоватую кожу на затылке, спросил:

— Лезут волосы?

— Вылезли почти все. Облиняла, скоро лысая буду.

— Давай я тебе голову побрею сейчас? — предложил вдруг Григорий.

— Что ты! — испуганно воскликнула она. — На что же я буду тогда похожа?

— Надо побриться, а то волосы не будут рость.

— Маманя сулила остричь меня ножницами, — смущенно улыбаясь, сказала Наталья и проворно накинула на голову снежно-белый, густо подсиненный платок.

Она была рядом с ним, его жена и мать Мишатки и Полюшки. Для него она принарядилась и вымыла лицо. Торопливо накинув платок, чтобы не было видно, как безобразна стала ее голова после болезни, слегка склонив голову набок, сидела она такая жалкая, некрасивая и все же прекрасная, сияющая какой-то чистой внутренней красотой. Она всегда носила высокие воротнички, чтобы скрыть от него шрам, некогда обезобразивший ее шею. Все это из-за него... Могучая волна нежности залила сердце Григория. Он хотел сказать ей что-то теплое, ласковое, но не нашел слов и, молча притянув ее к себе, поцеловал белый покатый лоб и скорбные глаза.

Нет, раньше никогда он не баловал ее лаской. Аксинья заслоняла ее всю жизнь. Потрясенная этим проявлением чувства со стороны мужа и вся вспыхнувшая от волнения, она взяла его руку, поднесла к губам.

Минуту они сидели молча. Закатное солнце роняло в горницу багровые лучи. На крыльце шумели детишки. Слышно было, как Дарья вынимала из печи обжаривавшиеся корчажки, недовольно говорила свекрови: «Вы и коров-то, небось, не каждый день доили. Что-то старая меньше дает молока...».

С попаса возвращался табун. Мычали коровы, шелкали волосяными нахвостниками кнутов ребята. Хрипло и прерывисто ревел хуторской бугай. Шелковистый подгрудок его и литая, покатая спина в кровь были искусаны оводами. Бугай зло помахивал головой; на-ходу поддев на свои короткие, широко расставленные рога астаховский плетень,

опрокинул его и пошел дальше. Наталья глянула в окно, сказала:

— А бугай тоже отступал за Дон. Маманя рассказывала: как только застреляли в хуторе, он прямо со стойла переплыл Дон, в луке и спасался все время.

Григорий молчал, задумавшись. Почему у нее такие печальные глаза? И еще что-то тайное, неуловимое то появлялось, то исчезало в них. Она и в радости была грустна и как-то непонятна... Может быть, она прослышала о том, что он в Вешенской встречался с Аксиньей? Наконец он спросил:

— С чего это ты нынче такая пасмурная? Что у тебя на сердце, Наташа? Ты бы сказала, а?

И ждал слез, упреков... Но Наталья испуганно ответила:

— Нет, нет, тебе так показалось, я ничего... Правда, я ишо не совсем поздоровела. Голова кружится, и, ежели нагнусь или подыму что, — в глазах темнеет.

Григорий испытующе посмотрел на нее и снова спросил:

— Без меня тут тебя ничего?.. Не трогали?

— Нет, что ты! Я же все время лежала хвора. — И глянула прямо в глаза Григорию и даже чуть-чуть улыбнулась. Помолчав, она спросила: — Рано завтра тронешься?

— С рассветом.

— А передневать нельзя? — в голове Натальи прозвучала неуверенная, робкая надежда.

Но Григорий отрицательно покачал головой, и Наталья со вздохом сказала:

— Зараз тебе как... погоны надо надевать?

— Придется.

— Ну, тогда сыми рубаху, пришью их, пока видно.

Григорий, крикнув, снял гимнастерку. Она еще не просохла от пота. Влажные пятна темнели на спине и на плечах, там, где остались натертые до глянца полосы от боевых наплечных ремней. Наталья достала из сундука выгоревшие на солнце защитные погоны, спросила:

— Эти?

— Эти самые. Соблюла?

— Мы сундук зарывали, — продевая в угольное ушко нитку, невнятно сказала Наталья, а сама украдкой поднесла к лицу пропыленную гимнастерку и с жадностью вдохнула такой родной, солоноватый запах пота...

— Чего это ты? — удивленно спросил Григорий.

— Тобой пахнет... — блестя глазами, сказала Наталья и наклонила голову, чтобы скрыть внезапно проступивший на щеках румянец, стала проворно орудовать иглой.

Григорий надел гимнастерку, нахмурился, пошевелил плечами.

— Тебе с ними лучше! — сказала Наталья, с нескрываемым восхищением глядя на мужа.

Но он косо посмотрел на свое левое плечо, вздохнул:

— Век бы их не видать. Ничего-то ты не понимаешь!

Они еще долго сидели в горнице на сундуке, взявшись за руки, молча думая о своем.

Потом, когда смерклось и лиловые густые тени от построек легли на остывшую землю, пошли в кухню вечерять.

И вот прошла ночь. До рассвета полыхали на небе зарницы, до белой зорьки гремели в вишневом саду соловьи. Григорий проснулся, долго лежал с закрытыми глазами, вслушиваясь в певучие и сладостные соловьиные выщелки, а потом тихо, стараясь не разбудить Наталью, встал, оделся, вышел на баз.

Пантелей Прокофьевич выкармливал строевого коня, услужливо предложил:

— Сем-ка я его свожу искупаю перед походом?

— Обойдется, — сказал Григорий, ежась от предутренней сырости.

— Хорошо выспался? — осведомился старик.

— Дюже спал! Только вот словушки побудили. Беда, как они разорались всю ночь!

Пантелей Прокофьевич снял с коня торбу, улыбнулся:

— Им, парнишка, только и делов. Иной раз позавидуешь этим божьим птахам... Ни войны им, ни разору...

К воротам под'езжал Прохор. Был он свежеевыбрит и, как всегда, весел и разговорчив. Привязав чумбур к сохе, пошел к Григорию. Парусиновая рубашка его гладко выутюжена. На плечах новехонькие погоны.

— И ты погонники нацепил, Григорий Пантелевич? — крикнул он, подходя. — Долежались, проклятые! Теперь их нам носить не износить! До самой погибели хватит! Я говорю жене: «Не пришивай, дура, насмерть. Чудок приколни, лишь бы ветром не сорвало, и хорош!». А то наше дело какое? Попадешь в плен, и сразу по лычкам смикитят, что я — чин хоть и не офицерский, а все же старшего урядника имею. «А, скажут, такой-сякой, умел заслуживать — умеи и голову подставлять!». Видал, на чем они у меня зависли? Умора!

Погоны Прохора действительно были пришиты на живую нитку и еле-еле держались.

Пантелей Прокофьевич захохотал. В седоватой бороде его блеснули не тронутые временем белые зубы:

— Вот это служивый! . Стал-быть, чуть чего — и долой погоны?

— А ты думаешь — как? — усмехнулся Прохор.

Григорий, улыбаясь, сказал отцу:

— Видал, батя, каким вестовым я раздобылся? С этим в беду попадешь — сроду не пропадешь!

— Да ить оно, как говорится, Григорий Пантелевич... Умри ты нынче, а я завтра, — оправдываясь, сказал Прохор и легко сорвал погоны, небрежно сунул их в карман. — К фронту под'едем, там их и пришить можно.

Григорий наскоро позавтракал, — попрощался с родными.

— Храни тебя царица небесная! — исступленно зашептала Ильинична, целуя сына. — Ты ить у нас один остался...

— Ну, дальние проводы — лишние слезы. Прощайте! — дрогнувшим голосом сказал Григорий и подошел к коню.

Наталья, накинув на голову черную свекровьину косынку, вышла за ворота. За подол ее юбки держались детишки. Полюшка неутешно рыдала, захлебываясь слезами, просила мать:

— Не пускай его! Не пускай, мамашка! На войне убивают! Папанька, не езди туда!

У Мишатки дрожали губы, но — нет, он не плакал. Он мужественно сдерживался, сердито говорил сестренке:

— Не брешь, дура! И вовсе там не всех убивают!

Он крепко помнил дедовы слова, что казаки никогда не плачут, что казакам плакать — великий стыд. Но, когда отец, уже сидя на коне, поднял его на седло и поцеловал, — с удивлением заметил, что у отца мокрые ресницы. Тут Мишатка не выдержал испытания: градом покатились из глаз его слезы! Он спрятал лицо на опоясанной ремнями отцовской груди, крикнул:

— Нехай лучше дед едет воевать! На что он нам сдался!.. Не хочу, чтобы ты!..

Григорий осторожно опустил сынишку на землю, тылом ладони вытер глаза и молча тронул коня.

Сколько раз боевой конь, круто повернувшись, взрыв копытами землю возле родимого крыльца, нес его по шляхам и степному бездорожью на фронт, туда, где черная смерть метит казаков, где, по словам казачьей песни, «страх и горе каждый день, каждый час», — а вот никогда Григорий не покидал хутора с таким тяжелым сердцем, как в это ласковое утро.

Томимый неясными предчувствиями, гнетущей тревогой и тоской, ехал он, кинув на луку поводья, не глядя назад, до самого бугра. На перекрестке, где пыльная дорога сворачивала к ветряку, оглянулся. У ворот стояла одна Наталья, и свежий предутренний ветерок рвал из рук ее черную траурную козынку.

Плыли,плыли в синей омутной глубине вспененные ветром облака. Струилось марево над волнистой кромкой горизонта. Кони шли шагом. Прохор дремал, покачиваясь в седле. Григорий, стиснув зубы, часто оглядывался. Сначала он видел зеленые купы верб, серебряную, прихотливо извивавшуюся ленту Дона, медленно взмахивавшие крылья ветряка. Потом шлях отошел на

юг. Скрылись за вытоптанными хлебами займище, Дон, ветряк... Григорий насвистывал что-то, упорно смотрел на золотисто-рыжую шею коня, покрытую мелким бисером пота, и уже не поворачивался в седле... Чорт с ней, с войной! Были бои по Чиру, прошли по Дону, а потом заремят по Хопру, по Медведице, по Бузулуку. И — в конце-концов — не все ли равно, где кинет его на землю вражеская пуля? — думал он.

ГЛАВА IX

Бой шел на подступах к станице Усть-Медведицкой. Глухой орудийный гул слышал Григорий, выбравшись с летника на Гетманский шлях.

Всюду по шляху виднелись следы спешного отступления красных частей. Во множестве попадались брошенные двуколки и брички. За хутором Матвеевским в логу стояло орудие с перебитой снарядом боевой осью и исковерканной люлькой. Постромки на вальках передка были косо обрублены. В полуверсте от лога, на солончаках, на низкорослой, спаленной солнцем траве, густо лежали трупы бойцов в защитных рубашках и штанах, в обмотках и тяжелых окованных ботинках. Это были красноармейцы, достигнутые и порубленные казачьей конницей.

Григорий, проезжая мимо, без труда установил это по обилию крови, засохшей на покоробившихся рубашках, по положению трупов. Они лежали, как скошенная трава. Казаки не успели их раздеть, очевидно, лишь потому, что не прекращали преследования.

Возле куста боярышника запрокинулся убитый казак. На широко раскинутых ногах его рдели лампасы. Неподалеку валялась убитая лошадь светлогнедой масти, подседланная стареньким седлом с выкрашенным охрой ленчиком.

Кони Григория и Прохора приустиали. Их надо было подкормить, но Григорий не захотел останавливаться на месте, где недавно проходил бой. Он проехал еще с версту, спустился в балку, приостановил коня. Неподалеку виднелся пруд с размытой до материка плотиной. Прохор подехал, было, к пруду с зачер-

ствевшей и потрескавшейся землей у краев, но тотчас повернул обратно.

— Ты чего? — спросил Григорий.

— Под'езжай, глянь.

Григорий тронул коня к плотине. В промоине лежала убитая женщина. Лицо ее было накрыто подолом синей юбки. Полные белые ноги с загорелыми икрами и с ямочками на коленях были бесстыдно и страшно раздвинуты. Левая рука подвернута под спину.

Григорий торопливо спешился, снял фуражку, нагнулся и поправил на убитой юбку. Смуглое молодое лицо было красиво и после смерти. Под страдальчески изогнутыми черными бровями тускло мерцали полузакрытые глаза. В оскале мягко очерченного рта перламутром блестели стиснутые плотно зубы. Тонкая прядь волос прикрывала прижатую к траве щеку. И по этой щеке, на которую смерть уже кинула шафранно-желтые, блеклые тени, ползали суетливые муравьи.

— Какую красоту загубили, сукины сыны! — вполголоса сказал Прохор.

С минуту он молчал, потом с ожесточением сплюнул:

— Я бы таких... таких умников к стенке становил! Поедем отсюда, ради бога! Я на нее глядеть не могу. У меня сердце переворачивается!

— Может, похороним ее? — спросил Григорий.

— Да мы что, подряд взяли всех мертвых хоронить? — возмутился Прохор. — В Ягодном деда какого-то зарывали, тут эту бабу... Нам их всех ежели похоронять, так и музлей на руках нехватит! А могилку чем копать? Ее, брат, шашкой не выроешь, земля от жары на аршин заклекла.

Прохор так спешил, что насилу попал носком сапога в стремя.

Снова выехали на бугор, и тут Прохор, напряженно о чем-то думавший, спросил:

— А что, Пантелевич, не хватит кровицу-то наземь цедить?

— Почти-что.

— А как, по твоему разумению, скоро это прикончится?

— Как набьют нам, так и прикончится.

— Вот веселая жизнь заступила, да чорт ей рад! Хоть бы скорей набили, что ли. В германскую, бывало, самострел палец себе отобьет, и спущают его по чистой домой, а зараз хоть всю руку оторви себе, — все одно заставят служить. Косоруких в строй берут, хромых берут, косых берут, грызных берут, всякую сволочь берут, лишь бы на двух ногах тилипал. Да разве же так она, война, прикончится? Чорт их всех перебьет! — с отчаянием сказал Прохор и с'ехал с дороги, спешился, бормоча что-то вполголоса, начал отпускать коню подпруги.

В хутор Хованский, расположенный неподалеку от Усть-Медведицкой, Григорий приехал ночью. Выставленная на краю хутора застава 3-го полка задержала его, но, опознав по голосу своего командира дивизии, казаки, на вопрос Григория, сообщили, что штаб дивизии находится в этом же хуторе и что начальник штаба сотник Копылов ждет его с часу на час. Словоохотливый начальник заставы отрядил одного казака, поручив ему проводить Григория до штаба, напоследок сказал:

— Дюже они укрепились, Григорий Пантелевич, и, должно, не скоро мы заберем Усть-Медведицу. А там, конечно, кто его знает... наших силев тоже достаточно. Гутарют, будто англицкие войска идут с Морозовской. Вы не слышали?

— Нет, — трогая коня, ответил Григорий.

В доме, занятом под штаб, ставни были наглухо закрыты. Григорий подумал, что в комнатах никого нет, но, войдя в коридор, услышал глухой, оживленный говор. После ночной темноты свет большой лампы, висевшей в горнице под потолком, ослепил его, в ноздри ударил густой и горький запах махорочного дыма.

— Наконец-то и ты! — обрадованно проговорил Копылов, появляясь откуда-то из сизого табачного облака, клубившегося над столом. — Заждались мы, брат, тебя!

Григорий поздоровался с присутствовавшими, снял шинель и фуражку, прошел к столу.

— Ну, и накурили! Не продыхнешь. Откройте же хучу одно окошко, что вы запечатались! — морщась, сказал он.

Сидевший рядом с Копыловым Харлампий Ермаков улыбнулся:

— А мы принюхались и не чуем.

И, выдавив локтем оконный глазок, с силой распахнул ставню.

В комнату хлынул свежий ночной воздух. Огонь в лампе ярко вспыхнул и погас.

— Вот это по-хозяйски! На что же ты стекло выдавил? — с неудовольствием сказал Копылов, шаря по столу руками. — У кого есть спички? Осторожней, тут возле карты чернило.

Зажгли лампу, прикрыли створку окна, и Копылов торопливо заговорил:

— Обстановка на фронте, товарищ Мелехов, на нынешний день такова: красные удерживают Усть-Медведицкую, прикрывая ее с трех сторон силами, приблизительно, в четыре тысячи штыков. У них достаточное количество артиллерии и пулеметов. Возле монастыря и еще в ряде мест ими порыты траншеи. Обидонские высоты заняты ими. Ну, и позиции их, нельзя сказать чтобы были неприступные, но, во всяком случае, довольно-таки трудные для овладения. С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхелаурова и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком шестая бригада Богатырева и наша первая дивизия. Но она не в полном составе, пешего полка нет, он где-то еще под Усть-Хоперской, а конные прибыли все, но в сотнях состав далеко не комплектный.

— К примеру, у меня в полку в третьей сотне только тридцать восемь казаков, — сказал командир 4-го полка подхорунжий Дударев.

— А было? — осведомился Ермаков.

— Было девяносто один.

— Как же ты позволил распустить сотню? Какой же ты командир? — хмурясь и барабая пальцами по столу, спросил Григорий.

— А чорт их удержит! Растряслись по хуторам, на провед поехали. Но за-

раз подтягиваются. Ноне прибегли трое.

Копылов подвинул Григорию карту, — указывая мизинцем на месторасположение частей, продолжал:

— Мы еще не втянулись в наступление. У нас только второй полк вчера в пешем строю наступал на этом вот участке, но неудачно.

— Потери большие?

— По донесению командира полка, у него за вчерашний день вышло убитыми и ранеными двадцать шесть человек. Так вот о соотношении сил: у нас численный перевес, но для поддержки наступления пехоты нехватает пулеметов, плохо со снарядами. Их начальник боепитания обещал нам, как только подвезут, четыреста снарядов и полтораста тысяч патронов. Но ведь это когда они придут, а наступать надо завтра же, таков приказ генерала Фицхелаурова. Он предлагает нам выделить полк для поддержки штурмовиков. Они вчера четыре раза ходили в атаку и понесли огромные потери. Чертовски настойчиво дрались! Так вот, Фицхелауров предлагает усилить правый фланг и перенести центр удара сюда, видишь? Здесь местность позволяет подойти к окопам противника на сто — сто пятьдесят сажен. Кстати, только-что уехал его адъютант. Он привез нам с тобой устное распоряжение прибыть завтра к шести утра на совещание для координирования действий. Генерал Фицхелауров и штаб его дивизии сейчас в хуторе Большом Сенином. Задача, в общем, сводится к тому, чтобы немедленно сбить противника до подхода его подкреплений со станции Себряково. По той стороне Дона наши не очень-то активны... Четвертая дивизия переправилась через Хопер, но красные выставили сильные заслоны и упорно удерживают пути к железной дороге. А сейчас пока они навели понтонный мост через Дон и спешно вывозят из Усть-Медведицкой снаряжение и боеприпасы.

— Казаки болтают, будто союзники идут, верно это?

— Есть слух, что из Чернышевской идет несколько английских батарей и танков. Но вот вопрос: как они эти танки будут через Дон переправлять? По-

моему, насчет танков — это брехня! Давно уж о них разговаривают...

В горнице надолго установилась тишина.

Копылов расстегнул коричневый офицерский френч, подпер ладонями поросшие каштановой щетиной пухлые щеки, раздумчиво и долго жевал потухшую папироску. Широко расставленные, круглые, темные глаза его были устало прижмурены, красивое лицо измято бессонными ночами.

Когда-то учительствовал он в церковно-приходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стуюлку и с купцами по маленькой в преферанс, мастерски играл на гитаре и был веселым, общительным молодым человеком; потом женился на молоденькой учительнице и так бы и жил в станице и наверняка дослужился бы до пенсии, но в великую войну его призвали на военную службу. По окончании юнкерского училища он был направлен на Западный фронт, в один из казачьих полков. Война не изменила характера и внешности Копылова. Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной, низкорослой фигуре, в добродушном лице, в манере носить шашку, в форме обращения с младшими по чину. В голосе его отсутствовал командный металл, в разговоре не было присущей военным сухой лаконичности выражений, офицерская форма сидела на нем мешковато, строевой подтянутости и выправки он так и не приобрел за три года, проведенных на фронте; все в нем изобличало случайного на войне человека. Больше походил он на разжиревшего обывателя, переодетого офицером, нежели на подлинного офицера, но, несмотря на это, казаки относились к нему с уважением, к его слову прислушивались на штабных совещаниях, и повстанческий комсостав глубоко ценил его за трезвый ум, покладистый характер и непоказную, неоднократно проявляемую в боях храбрость.

До Копылова начальником штаба у Григория был безграмотный и неумный хорунжий Кружилин. Его убили в одном из боев на Чиру, и Копылов, приняв штаб, повел дело умело, расчетливо,

толково. Он так же добросовестно про-суживал в штабе над разработкой операций, как когда-то над исправлением ученических тетрадей, однако, в случае необходимости, по первому слову Григория бросал штаб, садился на коня и, приняв командование полком, вел его в бой.

Григорий вначале относился к новому начальнику штаба не без предвзятости, но за два месяца узнал его ближе и однажды после боя сказал напрямик: «Я о тебе погано думал, Копылов, зараз вижу, что ошибался, так ты вот чего, извиняй уж как-нибудь». Копылов улыбнулся, промолчал, но грубоватым этим признанием был, очевидно, польщен.

Лишенный честолюбия и устойчивых политических взглядов, к войне Копылов относился как к неизбежному злу и не чаял ее окончания. Вот и сейчас он вовсе не размышлял о том, как развернутся операции по овладению Усть-Медведицкой, а вспоминал домашних, родную станицу и думал, что было бы неплохо закатиться домой в отпуск, месяца на полтора...

Григорий долго смотрел на Копылова, потом встал.

— Ну, братцы-атаманцы, давайте расходиться и спать. Нам нечего голову морочить об том, как братъ Усть-Медведицу. За нас теперича генералы будут думать и решать. Поедем завтра к Фицхеллаурову, нехай нас, горемык, уму-разуму поучит... А в счет второго полка думаю так: пока наша власть — нынче же командира полка Дударева надобно разжаловать, лишить всех чинов-орденов...

— И порции каши, — вставил Ермаков.

— Нет, без шуток, — продолжал Григорий, — надо нынче же его перевести в сотенные, а командиром послать Харлампия. Зараз же дуй, Ермаков, туда, прймай полк и утром жди наших распоряжений. Приказ о смене Дударева напишет сейчас Копылов, вези его с собой. Я так гляжу, Дударев не управится. Ни черта он ничего не понимает, и как бы не подсунул он казаков ишо раз под удар. Пеший бой — это дело такое... Тут нехитро людей в трату дать, ежели командир — бестолочь.

— Правильно. Я — за смену Дударева, — поддержал Копылов.

— Ты что, Ермаков, против? — спросил Григорий, заметив некое неудовольствие на лице Ермакова.

— Да нет, я ничего. Мне уж и бровями двинуть нельзя?

— Тем лучше. Ермаков не против. Конный полк его возьмет пока Рябчиков, Пиши, Михайло Григорич, приказ и ложись позарюй. В шесть чтобы был на ногах. Поедем к этому генералу. С собой беру четырех ординарцев.

Копылов удивленно поднял брови:

— Для чего их столько?

— Для вида! Мы ить тоже не лыком шиты, дивизией командуем. — Григорий, посмеиваясь, ворохнул плечами, накинул знапашку шинель, пошел к выходу.

Он лег под навесом сарая, подстелив попонку, не разуываясь и не снимая шинели. На базу долго гомонили ординарцы, где-то близко фыркали и мерно жевали лошади. Пахло сухими кизьяками и не остывшей от дневного жара землей. Сквозь дремоту Григорий слышал голоса и смех ординарцев, слышал, как один из них, судя по голосу — молодой парень, седлая коня, со вздохом проговорил:

— Эх, братушки, да и набрыдло же! Ночь-полночь, — ездай с пакетом, ни сна тебе, ни покою... Да стой же ты, чертяка! Ногу! Ногу, говорят тебе!..

А другой глуховатым, простуженным басом вполголоса пропел:

— Надоела ты нам, службица, надоскучила. Добрых коников ты наших призамучила...» — И перешел на просящую, деловитую скороговорку: — Всыпь на цыгарочку, Прошка! А и жадоба ж ты! Забыл, как я тебе под Белавином красноармейские ботинки отдал? Сволочь ты! За такую обувку другой бы век помнил, а у тебя и на цыгарку не выблазнишь!

Звякнули и загремели на конских зубах удила. Лошадь вздохнула всем нутром и пошла, сухо щелкая подковами по сухой и крепкой, как кремень, земле. «Все об этом гутарют... Надоела ты нам, службица, надоскучила» — улыбаясь, мысленно повторил Григорий и тотчас

заснул. И как только заснул — увидел сон, снившийся ему и прежде: по бурому полю, по высокой стерне, идут цепи красноармейцев. Насколько видит глаз, протянулась передняя цепь. За ней еще шесть или семь цепей. В гнетущей тишине приближаются наступающие. Раствут, увеличиваются черные фигурки, и вот уже видно, как спотыкающимся, быстрым шагом идут, идут, подходят на выстрел, бегут с винтовками наперевес люди в ушастых шапках, с безмолвно разверстыми ртами. Григорий лежит в неглубоком окопчике, судорожно двигает затвором винтовки, часто стреляет; под выстрелами его, запрокидываясь, падают красноармейцы; вгоняет новую обойму и, на секунду глянув по сторонам, видит: из соседних окопов вскакивают казаки. Они поворачиваются и бегут; лица их перекошены страхом. Григорий слышит страшное бинение своего сердца, кричит: «Стреляйте! Сволочи! Куда?! Стой, не бегай!..». Он кричит изо всей силы, но голос его парализованно слаб, еле слышен. Ужас охватывает его! Он тоже вскакивает, уже стоя стреляет последний раз в немолодого, смуглого красноармейца, молча бегущего прямо на него, и видит, что промахнулся. У красноармейца возбужденно-серьезное, бесстрашное лицо. Он бежит легко, почти не касаясь ногами земли, брови его сдвинуты, шапка на затылке, полы шинели подоткнуты. Какой-то миг Григорий рассматривает подбегающего врага, видит его блестящие глаза и бледные щеки, поросшие молодой курчавой бородкой, видит короткие, широкие голенища сапог, черный глазок чуть опущенного винтовочного дула и над ним колеблющееся в такт бега острие темного штыка. Непостижимый страх охватывает Григория. Он дергает затвор винтовки, но затвор не подается, его заело. Григорий в отчаянии бьет затвором о колено, — никакого результата! А красноармеец уже в пяти шагах. Григорий поворачивается и бежит. Впереди него все бурое, голое поле пестрит бегущими казаками. Григорий слышит сзади тяжелое дыхание преследующего, слышит звучный топот его ног, но убегать бег не может. Требуется страш-

ное усилие, чтобы заставить безвольно подгибающиеся ноги бежать быстрее. Наконец он достигает какого-то полуразрушенного, мрачного кладбища, прыгает через поваленную изгородь, бежит между осевшими могилами, покосившимися крестами и часовенками. Еще одно усилие, и он спасется. Но тут топот сзади нарастает, звучит. Горячее дыхание преследователя опалает шею Григория, и в тот же миг он чувствует, как его хватают за хлястики шинели и за полу. Глухой крик исторгает Григорий и просыпается. Он лежит на спине. Ноги его, сжатые тесными сапогами, затекли, на лбу холодный пот, все тело болит, словно от побоев. «Фу, ты, черт!..» — говорит он сплю, с удовольствием вслушиваясь в собственный голос и еще не веря, что все только-что испытанное им — сон. Затем поворачивается на бок, с головой укутывается шинелью, мысленно говорит: «Надо было подпустить его, отвести удар, сшибить прикладом, а потом уж убежать...». Минуту он размышляет о приснившемся вторично сне, испытывая радостное волнение от того, что все это — только скверный сон и в действительности пока ничто ему не угрожает. «Диковинно, почему во сне это в десять раз страшнее, чем наяву? Сроду в жизни не испытывал такого страха, сколько ни приходилось бывать в переплетках!» — думает он, засыпая, и с наслаждением вытягивает затекшие ноги.

ГЛАВА X

На рассвете его разбудил Копылов:

— Вставай, пора собираться, ехать! Приказано ведь быть к шести часам.

Начальник штаба только-что побрился, вычистил сапоги и надел помятый, но чистый френч. Он, как видно, спешил: пухлые щеки в двух местах порезаны бритвой. Но во всем его облике была видна какая-то ранее не свойственная ему щеголеватая подтянутость.

Григорий критически осмотрел его с ног до головы, подумал: «Ишь, как выщелкнулся! Не хочет к генералу явиться абы в чем!..».

Словно следя за ходом его мыслей, Копылов сказал:

— Неудобно являться неряхой. Советую и тебе привести себя в порядок.

— Продерет и так! — пробормотал Григорий, потягиваясь. — Так, говоришь, приказано быть к шести? Нам с тобой уж приказывать начинают?

Копылов, посмеиваясь, пожал плечами:

— Новое время — новые песни. По старшинству мы обязаны подчиниться. Фицхелауров — генерал, не ему же к нам ехать.

— Оно-то так. К чему шли, к тому и пришли, — сказал Григорий и пошел к колодезю умываться.

Хозяйка бегом бросилась в дом, вынесла чистый расшитый рушник, с поклоном подала Григорию. Тот яростно потер концом рушника кирпично-красное, обожженное холодной водой лицо, сказал подошедшему Копылову:

— Оно-то так, только господам генералам надо бы вот о чем подумать: народ другой стал с революции, как, скажи, заново народился! А они все старым аршином меряют. А аршин, того и гляди, сломается... Туговаты они на поворотах. Колесной мази бы им в мозги, чтобы скрипу не было!

— Это ты насчет чего? — рассеянно спросил Копылов, сдувая с рукава приставшую соринку.

— А насчет того, что все у них на старинку сбивается. Я вот имею офицерский чин с германской войны. Кровью его заслужил! А как попаду в офицерское общество — так вроде как из хаты на мороз выйду в одних подштанниках. Таким от них холодом на меня попрет, что аж всей спиной его чую! — Григорий бешено сверкнул глазами и незаметно для себя повысил голос.

Копылов недовольно оглянулся по сторонам, шепнул:

— Ты потише, ординарцы слушают.

— Почему это так, спрашивается? — сбавив голос, продолжал Григорий. — Да потому, что я для них белая ворона. У них — руки, а у меня — от старых музлей — копыто! Они ногами шаркают, а я как ни повернусь — за все

цепляюсь. От них личным мылом и разными бабьими притирками пахнет, а от меня конской мочой и потом. Они все ученые, а я со трудом церковную школу кончил. Я им чужой от головы до пяток. Вот все это почему! И выйду я от них, и все мне сдается, будто у меня на лице паутина насела: щелоктно мне и неприятно страшно, и все хочется пообчиститься. — Григорий бросил рушник на колодезный сруб, обломком костяной расчески причесал волосы. На смуглом лице его резко белое не тронутый загаром лоб. — Не хотят они понять того, что все старое рухнулось к едреной бабушке! — уже тише сказал Григорий. — Они думают, что мы из другого теста деланные, что неученый человек, какой из простых, вроде скотины. Они думают, что в военном деле я, или такой, как я, меньше их понимаем. А кто у красных командирами? Буденный — офицер? Вахмистр старой службы, — а не он генералам генерального штаба вкалывал? А не от него топали офицерские полки? Гусельщиков из казачьих генералов самый боевой, засланный генерал, а не он этой зимой в одних исподниках из Усть-Хоперской ускакал? А знаешь, кто его нагнал на склизкое? Какой-то московский слесарек — командир красного полка. Пленные потом говорили об нем. Это надо понимать! А мы, неученые офицеры, аль плохо водили казаков в восстание? Много нам генералы помогли?

— Помогали немало, — значительно ответил Копылов.

— Ну, может, Кудинову и помогали, а я ходил без помочей и бил красных, чужих советов не слухаясь.

— Так ты что же — науку в военном деле отрицаешь?

— Нет, я науки не отрицаю. Но, брат, не она в войне главное.

— А что же, Пантелеевич?

— Дело, за какое в бой идешь.

— Ну, это уж другой разговор... — Копылов, настороженно улыбаясь, сказал: — Само собою разумеется... Идея в этом деле — главное. Побеждает только тот, кто твердо знает, за что он сражается, и верит в свое дело. Исти-

на эта стара, как мир, и ты напрасно выдаешь ее за сделанное тобою открытие. Я за старое, за доброе старое время. Будь иначе, я и пальцем бы не ворохнул, чтобы итти куда-то и за что-то воевать. Все, кто с нами, — это люди, отстаивающие силой оружия свои старые привилегии, усмиряющие взбунтовавшийся народ. В числе этих усмирителей и мы с тобой. Но, я вот давно к тебе приглядываюсь, Григорий Пантелеевич, и не могу тебя понять...

— Потом поймешь. Давай ехать, — бросил Григорий и направился к сараю.

Хозяйка, караулившая каждое движение Григория, желая угодить ему, предложила:

— Может, молочка бы выпили?

— Спасибо, мамаша, времени нету молочки распивать. Как-нибудь потом.

Проход Прохор Зыков около сарая истово хлебал из чашки кислое молоко. Он и глазом не мигнул, глядя, как Григорий отвязывает коня. Рукавом рубахи вытер губы, спросил:

— Далеко поедешь? И мне с тобой?

Григорий вскипел, с холодным бешенством сказал:

— Ты, зараза, так и этак тебе в душу, службы не знаешь? Почему конь занузанный стоит? Кто должен коня мне подать? Прорва чортова! Все жрешь, никак не нажрешься! А ну, брось ложку! Дисциплины не знаешь!.. Ляда чортова!

— И чего ты расхотелся? — обиженно бормотал Прохор, угнездившись в седле. — Орешь, а все зря. Тоже не велик в перьях! Что ж, мне и перекусить нельзя перед дорогой? Ну, чего шумишь-то?

— А того, что ты с меня голову съешь, требуха свиная! Как ты со мной обращаешься? Зараз к генералу едем, так ты у меня гляди!.. А то привык за панибрата!.. Я тебе кто есть? Езжай пять шагов сзади! — приказал Григорий, выезжая из ворот.

Прохор и трое остальных ординарцев приотстали, и Григорий, ехавший рядом с Копыловым, продолжая начатый разговор, насмешливо спросил:

— Ну, так чего ты не поймешь? Может, я тебе растолкую?

Не замечая насмешки в тоне голоса и в форме вопроса, Копылов ответил:

— А не пойму я твоей позиции в этом деле, вот что! С одной стороны ты — борец за старое, а с другой — какое-то, извини меня за резкость, какое-то подобие большевика.

— В чем это я — большевик? — Григорий нахмурился, рывком подвинулся в седле.

— Я не говорю — большевик, а некое подобие большевика.

— Один чорт. В чем, спрашиваю?

— А хотя бы и в разговорах об офицерском обществе, об отношении к тебе. Чего ты хочешь от этих людей? Чего ты вообще хочешь? — добродушно улыбаясь и поигрывая плеткой, допытывался Копылов. Он оглянулся на ординарцев, что-то оживленно обсуждавших, заговорил громче: — Тебя обижает то, что они не принимают тебя в свою среду, как равноправного, что они относятся к тебе свысока. Но они правы со своей точки зрения, это надо понять. Правда, ты офицер, но офицер абсолютно случайный в среде офицерства. Даже нося офицерские погоны, ты остаешься, прости меня, неотесанным казаком. Ты не знаешь приличных манер, неправильно и грубо выражаешься, лишен всех тех необходимых качеств, которые присущи воспитанному человеку. Например: вместо того, чтобы пользоваться носовым платком, как это делают все культурные люди, ты сморкаешься при помощи двух пальцев, во время еды руки вытираешь то о голенища сапог, то о волосы, после умывания не брезгуешь вытереть лицо лошадиной попонкой, ногти на руках либо обкусываешь, либо срезаешь кончиком шашки. Или еще лучше: почишь, зимой как-то в Каргиновской разговаривал ты при мне с одной интеллигентной женщиной, у которой мужа арестовали казаки, и в ее присутствии застегивал штаны...

— Стал-быть, было лучше, если б штаны оставил расстегнутыми? — хмуро улыбаясь, спросил Григорий.

Лошади их шли шагом бок о бок, и Григорий искоса поглядывал на Копылова, на его добродушное лицо, и не без огорчения выслушивал его слова.

— Не в этом дело! — досадливо морщась, воскликнул Копылов. — Но как ты вообще мог принять женщину, будучи в одних брюках, босиком? Ты даже кителя на плечи не накинул, я это отлично помню! Все это, конечно, мелочи, но они характеризуют тебя как человека... Как тебе сказать...

— Да уже говори как проще!

— Ну, как человека крайне невежественного. А говоришь ты как? Ужас! Вместо квартира — фатера, вместо экуироваться — экуироваться, вместо как будто — кубыть, вместо артиллерия — антиллерия. И, как всякий безграмотный человек, ты имеешь необъяснимое пристрастие к звучным иностранным словам, употребляешь их к месту и не к месту, искажаешь невероятно, а когда на штабных совещаниях при тебе произносятся такие слова из специфически военной терминологии, как дислокация, форсирование, диспозиция, концентрация и прочее, то ты смотришь на говорящего с восхищением и, я бы даже сказал, — с завистью.

— Ну, уж это ты брешешь! — воскликнул Григорий, и веселое оживление прошло по его лицу. Глядя коня между ушей, почесывая ему под гривой шелквисто-теплую кожу, он попросил: — Ну, валяй дальше, разделявай своего командира!

— Слушай, чего ж разделявать-то? И так тебе должно быть ясно, что ты с этой стороны неблагополучен. И после этого ты еще обижаешься, что офицеры к тебе относятся не как к равному. В вопросах приличий и грамотности ты, просто,—пробка! — Копылов сказал нечаянно сорвавшееся оскорбительное слово и испугался. Он знал, как неводержан бывает Григорий в гневе, и боялся вспышки, но, бросив на Григория мимолетный взгляд, тотчас успокоился: Григорий, откинувшись на седле, беззвучно хохотал, сияя из-под усов ослепительным оскалом зубов. И так неожиданен был для Копылова результат его слов, так заразителен смех Григо-

рия, что он сам рассмеялся, говоря: — Вот видишь, другой, разумный, плакал бы от такого разнуса, а ты ржешь... Ну, не чудак ли ты?

— Так, говоришь, стало быть, пробка я? И чорт с вами! — отсмеявшись, проговорил Григорий. — Не желаю учиться вашим обхождениям и приличиям. Мне они возле быков будут ни к чему. А бог даст, — жив буду, — мне же с быками возиться и не с ними же мне расшаркиваться и говорить: «Ах, подвиньтесь, лысый! Извините меня, рябый! Разрешите мне поправить на вас ярмо? Милостивый государь, господин бык, покорнейше прошу не заламывать борозденного!». С ними надо покороче: цоб-цобэ, вот и вся бычина дислокация.

— Не дислокация, а дислокация! — поправил Копылов.

— Ну, нехай дислокация. А вот в одном я с тобой не согласный.

— В чем это?

— В том, что я — пробка. Это я у вас — пробка, а вот, погоди, дай срок, перейду к красным, так у них я буду тяжелей свинца. Уж тогда не попадитесь мне, приличные и образованные дармоеды! Души буду вынать прямо с потрохом, — полушутя-полусерьезно сказал Григорий и тронул коня, переводя его сразу на крупную рысь.

Утро над Обдонецем вставало в такой тонко выпряженной тишине, что каждый звук, даже нерезкий, рвал ее и будил отголоски. В степи властвовали одни жаворонки да перепела, но в смежных хуторах стоял тот неумолчный негромкий роковитый шум, который обычно сопровождает передвижения крупных войсковых частей. Гремели на выбоинах колеса орудий и зарядных ящиков, возле колодцев ржали кони, согласно, глухо и мягко гоцали шаги проходивших пластунских сотен, погромыхивали брички и хода обывательских подвод, подвозивших к линии фронта боеприпасы и снаряжение; возле походных кухонь сладко пахло разопревшим пшеном, мясным кондером, сдобренным лавровым листом, и свежеспеченным хлебом.

Под самой Усть-Медведицкой трещала частая ружейная перестрелка, лениво

и звучно бухали редкие орудийные выстрелы. Бой только-что начинался.

Генерал Фицхелауров завтракал, когда немолодой, потасканного вида, адъютант доложил:

— Командир первой повстанческой дивизии Мелехов и начальник штаба дивизии Копылов.

— Проси в мою комнату. — Фицхелауров большой жилистой рукой отодвинул тарелку, заваленную яичной скорлупой, неспеша выпил стакан парного молока и, аккуратно сложив салфетку, встал из-за стола.

Саженого роста, старчески грузный и рыхлый, он казался неправдоподобно большим в этой крохотной казачьей горенке с покосившимися притолоками дверей и подслеповатыми окошками. На ходу поправляя стоячий воротник безупречно сшитого мундира, гулко кашляя, генерал прошел в соседнюю комнату, коротко поклонился вставшим Копылову и Григорию и, не подавая руки, жестом пригласил их к столу.

Придерживая шашку, Григорий осторожно присел на краешек табурета, искоса глянул на Копылова.

Фицхелауров тяжело опустился на хрустнувший под ним венский стул, согнул голенастые ноги, положив на колени крупные кисти рук, густым, низким басом заговорил:

— Я пригласил вас, господа офицеры, для того, чтобы согласовать кое-какие вопросы... Повстанческая партизанщина кончилась! Ваши части перестают существовать как самостоятельное целое, да целым они, по сути, и не были. Фикция! Они вливаются в Донскую армию. Мы переходим в планомерное наступление, пора все это осознать и безоговорочно подчиняться приказам высшего командования. Почему, извольте ответить, вчера ваш пехотный полк не поддержал наступление штурмового батальона? Почему полк отказался идти в атаку, несмотря на мое приказание? Кто командир вашей, так называемой, дивизии?

— Я, — негромко ответил Григорий.

— Потрудитесь ответить на вопрос!

— Я только вчера прибыл в дивизию.

— Где вы изволили быть?

— Заезжал домой.

— Командир дивизии во время боевых операций изволил гостить дома! В дивизии — бардак! Распущенность! Безобразия! — Генеральский бас все громче грохотал в тесной комнатухе; за дверями уже ходили на цыпочках и шептались, пересмеиваясь, адъютанты; щеки Копылова все больше и больше бледнели, а Григорий, глядя на побагровевшее лицо генерала, на его сжатые отечные кулаки, чувствовал, как и в нем самом просыпается неудержимая ярость.

Фицхелауров с неожиданной легкостью вскочил, — ухватясь за спинку стула, кричал:

— У вас не воинская часть, а красногвардейский сброд!.. Отребье, а не казаки! Вам, господин Мелехов, не дивизией командовать, а денщиком служить!.. Сапоги чистить! Слышите вы?!.. Почему не был выполнен приказ?! Митинга не провели? Не обсудили? Зарубите себе на носу: здесь вам не товарищи и большевицких порядков мы не позволим заводить!.. Не позволим!..

— Я попрошу вас не орать на меня! — глухо сказал Григорий и встал, отодвинув ногой табурет.

— Что вы сказали?!.. — перегнувшись через стол, задыхаясь от волнения, прохрипел Фицхелауров.

— Прошу на меня не орать! — громче повторил Григорий. — Вы вызвали нас для того, чтобы решать... — На секунду смолк, опустил глаза и, не отрывая взгляда от рук Фицхелаурова, сбавил голос почти до шопота: — Ежли вы, ваше превосходительство, спробуете тронуть меня хоть пальцем, — зарублю на месте!

В комнате стало так тихо, что отчетливо слышалось прерывистое дыхание Фицхелаурова. С минуту стояла тишина. Чуть скрипнула дверь. В шелку заглянул испуганный адъютант. Дверь так же осторожно закрылась. Григорий стоял, не снимая руки с эфеса шашки. У Копылова мелко дрожали колени, взгляд его блуждал где-то по стене. Фицхелауров тяжело опустился на стул, старчески покряхтел, буркнул:

— Хорошенькое дело! — И уже совсем спокойно, но не глядя на Григория: — Садитесь. Погорячились, и хватит. Теперь извольте слушать: приказываю вам немедленно перебросить все конные части... Да садитесь же!..

Григорий присел, рукавом вытер обильный пот, внезапно проступивший на лице.

— ... Так вот, все конные части немедленно перебросьте на юго-восточный участок и тотчас же идите в наступление. Правым флангом вы будете соприкасаться со вторым батальоном войскового старшины Чумакова...

— Дивизию я туда не поведу, — устало проговорил Григорий и полез в карман шаровар за платком. Кружевной нательной утиркой еще раз вытер пот со лба, повторил: — Дивизию туда не поведу.

— Это почему?

— Перегруппировка займет много времени...

— Это вас не касается. За исход операции отвечаю я.

— Нет, касается, и отвечаете не только вы...

— Вы отказываетесь выполнить мое приказание? — с видимым усилием сдерживая себя, хрипло спросил Фицхелауров.

— Да.

— В таком случае потрудитесь сейчас же сдать командование дивизией! Теперь мне понятно, почему не был выполнен мой вчерашний приказ...

— Это уж как вам угодно, только дивизию я не сдам.

— Как прикажете вас понимать?

— А так, как я сказал. — Григорий чуть заметно улыбнулся.

— Я вас отстраняю от командования! — Фицхелауров повысил голос, и тотчас же Григорий встал.

— Я вам не подчиняюсь, ваше превосходительство!

— А вы вообще-то кому-нибудь подчиняетесь?

— Да, командующему повстанческими силами Кудинову подчиняюсь. А от вас мне все это даже удивительно слушать... Пока мы с вами на равных правах. Вы командуете дивизией, и я то-

же. И пока вы на меня не шумите... Вот как только переведут меня в сотенные командиры, — тогда пожалуйста. Но драться... — Григорий поднял грязный указательный палец и, одновременно и улыбаясь, и бешено сверкая глазами, закончил: — ... драться и тогда не дам!

Фицхелауров встал, поправил душивший его воротник, с полупоклоном сказал:

— Нам больше не о чем разговаривать. Действуйте, как хотите. О вашем поведении я немедленно сообщу в штаб армии, и, смею вас уверить, результаты не замедлят сказаться. Военно-полевой суд у нас пока действует безотказно.

Григорий, не обращая внимания на отчаянные взгляды Копылова, нахлобучил фуражку, пошел к дверям. На пороге он остановился, сказал:

— Вы сообщайте куда следует, но меня не пугайте, я не из полохливых... И пока не трожьте меня. — Подумал и добавил: — А то боюсь, как бы вас мои казаки не потрепали... — Пинком отворил дверь, гремя шашкой, размашисто зашагал в сенцы.

На крыльце его догнал взволнованный Копылов.

— Ты с ума сошел, Пантелеевич! — шепнул он, в отчаянии сжимая руки.

— Коней! — зычно крикнул Григорий, комкая в руках плеть.

Проخور подлетел к крыльцу чортом.

Выехав за ворота, Григорий оглянулся: трое ординарцев, суетясь, помогали генералу Фицхелаурову взобраться на вышоченного, подседланного нарядным седлом коня...

С полверсты скакали молча. Копылов молчал, понимая, что Григорий не расположен к разговору и спорить с ним сейчас небезопасно. Наконец Григорий не выдержал:

— Чего молчишь? — резко спросил он. — Ты из-за чего ездил? Свидетелем был? В молчанку играл?

— Ну, брат, и номер же ты выкинул!

— А он не выкинул?

— Положим, и он не прав. Тон, каким он с нами разговаривал, прямо-таки возмутителен!

— Да разве ж он с нами разговаривал? Он с самого начала заорал, как, скажи, ему шило в зад воткнули!

— Однако и ты хорош! Неповиновение старшему по чину... в боевой обстановке, это, брат...

— Ничего не это! Вот жалко, что не намахнулся он на меня! Я б его потянул клинком через лоб, ажник черепок бы его хрустнул!

— Тебе и без этого добра не ждать, — с неудовольствием сказал Копылов и перевел коня на шаг. — По всему видно, что теперь они качнут дисциплину подтягивать, держись!

Лошади их, пофыркивая, отгоняя хвостами оводов, шли рядом. Григорий насмешливо оглядел Копылова, спросил:

— Ты из-за чего наряжался-то? Думал, небось, что тебя чаем угощать будут? К столу под белы руки поведут? Побрился, френч вычистил, сапоги наяснил... Я видал, как ты утирку слюнявил да пятнышки на коленях счищал!

— Оставь, пожалуйста! — румянея, защищался Копылов.

— Зря пропали твои труды! — издевался Григорий. — Не токмо чаю, но и к ручке тебя не подпустил.

— С тобой еще и не этого можно было ожидать, — скороговоркой пробормотал Копылов и, сощуриив глаза, изумленно-радостно воскликнул: — Смотри! Это — не наши. Союзники!

Навстречу им по узкому проулку шестерная упряжка мулов везла английское орудие. Сбоку на рыжей куцехвостой лошади ехал англичанин-офицер. Ездовой переднего выноса тоже был в английской форме, но с русской офицерской кокардой на околыше фуражки и с погонами поручика.

Не доезжая нескольких сажен до Григория, офицер приложил два пальца к козырьку своего пробкового шлема, движением головы попросил посторониться. Проулок был так узок, что разминуться можно было, только поставив верховых лошадей вплотную к каменной огороже.

На щеках Григория заиграли желваки. Стиснув зубы, он ехал прямо на офицера. Тот удивленно поднял брови, чуть посторонился. Они с трудом раз-

ехались, и то лишь тогда, когда англичанин положил правую ногу, туго обтянутую крагой, на лоснящийся, гладко вычищенный круп своей породистой кобылицы.

Один из артиллерийской прислуги, тоже русский офицер, судя по внешности, злобно оглядел Григория:

— Кажется, вы могли бы посторониться! Неужто и здесь надо оказывать свое невежество?

— Ты проезжай да молчи, сучье вымя, а то я тебе посторонюсь!.. — вполголоса посоветовал Григорий.

Офицер приподнялся на передке, обернулся назад, крикнул:

— Господа! Задержите этого наглеца!

Григорий, выразительно помахивая плетью, шагом пробирался по проулку. Усталые, пропыленные артиллеристы, слыша беззвучные, молодые офицерские, озирали его недружелюбными взглядами, но никто не попытался задержать. Шестиорудийная батарея скрылась за поворотом, и Копылов, покусывая губы, подехал к Григорию вплотную:

— Дуришь, Григорий Пантелевич! Как мальчишка, ведешь себя!

— Ты что, ко мне воспитателем представлен? — огрызнулся Григорий.

— Мне понятно, что ты озлился на Фицхелаурова, — пожимая плечами, говорил Копылов, — но при чем тут этот англичанин? Или тебе его шлем не понравился?

— Мне он тут, под Усть-Медведицей, что-то не понравился... ему бы его в другом месте носить... Две собаки грызутся — третья не мешайся, знаешь?

— Ага! Ты, оказывается, против иностранного вмешательства? Но, по моему, когда за горло берут — рад будешь любой помощи.

— Ну, ты и радуйся, а я бы им на нашу землю и ногой ступить не дозволил!

— Ты у красных китайцев видел?

— Ну?

— Это не все равно? Тоже ведь чужеземная помощь.

— Это ты зря! Китайцы к красным добровольцами шли.

— А этих, по-твоему, силою сюда тянули?

Григорий не нашелся, что ответить, долго ехал молча, мучительно раздумывая, потом сказал, и в голосе его зазвучала нескрываемая досада:

— Вот вы, ученые люди, всегда так... Скидок наделаете, как зайцы на снегу! Я, брат, чувю, что тут ты неправильно гутаришь, а вот припереть тебя не умею... Давай бросим об этом. Не путай меня, я и без тебя запутанный!

Копылов обиженно умолк, и больше до самой квартиры они не разговаривали. Один лишь, снедаемый любопытством Прохор догнал, было, их, спросил:

— Григорий Пантелевич, ваше благородие, скажи на милость, что это такое за животная у кадетов под орудиями? Ухи у них, как у олов, а остальная справа — натуральная лошадиная. На эту скотину аж глядеть неудобно... Что это за чорт, за порода, — объясни, пожалуйста, а то мы под деньги заспорили... — Минут пять ехал сзади, так и не дождался ответа, отстал и, когда поровнялись с ним остальные ординарцы, шопотом сообщил: — Они, ребята, едут молчаком и сами, видать, диву такутся и ни черта не знают, откуда такая пакость на белом свете берется...

ГЛАВА XI

Казачьи сотни четвертый раз вставляли из неглубоких окопов и под убийственным пулеметным огнем красных залегали снова. Красноармейские батареи, укрытые лесом левобережья, с самой зари безостановочно обстреливали позиции казаков и накопившиеся в ярах резервы.

Молочно-белые тающие облачка шрапнели вспыхивали над обдонскими высотами. Впереди и сзади изломанной линии казачьих окопов пули схватывали бурую пыль.

К полудню бой разгорелся, и западный ветер далеко по Дону нес гул артиллерийской стрельбы.

Григорий с наблюдательного пункта повстанческой батареи следил в бинокль за ходом боя. Ему видно было, как, не-

смотря на потери, перебежками упорно шли в наступление офицерские роты. Когда огонь усиливался, они ложились, окапываясь, и опять бросками передвигались к новому рубежу; а левее, в направлении к монастырю, повстанческая пехота никак не могла подняться. Григорий набросал записку Ермакову, послал ее со связным.

Через полчаса прискакал распаленный Ермаков. Он спешил возле батареиской коновязи, — тяжело дыша, поднялся к окопу наблюдателя.

— Не могу поднять казаков! Не встают! — еще издали закричал он, размахивая руками. — У нас уж двадцати трех человек как не было! Видал, как красные пулеметами режут?

— Офицеры идут, а ты своих поднять не можешь? — сквозь зубы процедил Григорий.

— Да ты погляди, у них на каждый взвод по ручному пулемету да патронов по ноздри, а мы с чем?!

— Но-но, ты мне не толкуй! Зараз же веди, а то голову съем!

Ермаков матерно выругался, сбегал с кургана. Следом за ним пошел Григорий. Он решил сам вести в атаку 2-й пехотный полк.

Около крайнего орудия, искусно замаскированного ветками боярышника, его задержал командир батареи:

— Полюбуйся, Григорий Пантелевич, на английскую работу. Сейчас они начнут по мосту бить. Давай подыместся на курганик?

В бинокль была чуть видна тончайшая полоска понтонного моста, перекинутого через Дон красными саперами. По ней непрерывным потоком катились подводы.

Минут через десять английская батарея, расположившаяся за каменной грядой в ложине, повела огонь. Четвертым снарядом мост был разрушен почти на середине. Поток подвод приостановился. Видно было, как красноармейцы, суетясь, сбрасывали в Дон разбитые брички и трупы лошадей.

Тотчас же от правого берега отвалили четыре баркаса с саперами. Но не успели они заделать разрушенный настил на мосту, как английская батарея

снова послала пачку снарядов. Один из них разворотил вездную дамбу на левом берегу, второй взметнул возле самого моста зеленый столб воды, и возобновившееся движение по мосту снова приостановилось.

— А и точно же бьют сукины сыны! — с восхищением сказал командир батареи. — Теперь они до ночи не дадут им переправляться. Мосту этому не быть живу!

Григорий, не отнимая от глаз бинокля, спросил:

— Ну, а ты чего молчишь? Поддержал бы свою пехоту. Ведь вон они, пулеметные гнезда.

— И рад бы, да ни одного снаряда нету! С полчаса назад кинул последний и заговел.

— Так чего же ты тут стоишь? Берись на передки и езжай к чортовой матери!

— Послал к кадетам за снарядами.

— Не дадут, — решительно сказал Григорий.

— Раз уж отказали, послал в другой раз. Может, смилуются. Да нам хоть бы десяточка два, чтобы подавить вот эти пулеметы. Шутка дело — двадцать три души наших побили. А еще сколько покладут? Глянь, как они строчат!..

Григорий перевел взгляд на казачьи окопы: возле них на косогоре пули попрежнему рыли сухую землю. Там, где ложилась пулеметная очередь, возникала полоска пыли, словно кто-то невидимый молниеносно проводил вдоль окопов серую тающую черту. На всем протяжении казачьи окопы как бы дымилась, заштрихованные пылью.

Теперь Григорий уже не следил за попаданиями английской батареи. Минуту он прислушивался к неумолчной артиллерийской и пулеметной стрельбе, а потом сошел с кургана, догнал Ермакова:

— Не ходи в атаку до тех пор, пока не получишь от меня приказа. Без артиллерийской поддержки мы их не собьем.

— А я тебе не это говорил? — укоризненно сказал Ермаков, садясь на своего разгоряченного скачкой и стрельбой коня.

Григорий провожал глазами бесстрашно скакавшего под выстрелами Ермакова, с тревогой думая: «И чего его чорт понес напрямки? Скосят пулеметом! Спустился бы в лошину, по теклине поднялся вверх и за бугром без опаски добрался бы до своих». Ермаков бешеным карьером доскакал до лощины, нырнул в нее и на той стороне не показался. «Значит, понял! Теперь доберется» — облегченно решил Григорий и прилег возле кургана, неспеша свернул папироску.

Странное равнодушие овладело им! Нет, не поведет он казаков под пулеметный огонь. Незачем. Пусть идут в атаку офицерские штурмовые роты. Пусть они забирают Усть-Медведицкую. И тут, лежа под курганом, впервые Григорий уклонился от прямого участия в сражении. Не трусость, не боязнь смерти или бесцельных потерь руководили им в этот момент. Недавно он не щадил ни своей жизни, ни жизни вверенных его командованию казаков. А вот сейчас словно что-то сломалось... Еще никогда до этого не чувствовал он с такой предельной ясностью всю ничтожность происшедшего. Разговор ли с Копыловым или стычка с Фицхеларовым, а может быть, то и другое, вместе взятые, были причиной того настроения, которое так неожиданно сложилось у него, но только под огонь он решил больше не итти. Он неясно думал о том, что казаков с большевиками ему не примирить, да и сам в душе не мог с ними примириться, а защищать чуждых по духу, враждебно настроенных к нему людей, всех этих Фицхеларовых, которые глубоко его презирали и которых не менее глубоко презирал он сам, — он тоже больше не хотел и не мог. И снова со всей беспощадностью встали перед ним прежние противоречия. «Нехай воюют. Погляжу со стороны. Как только возьмут у меня дивизию, буду проситься из строя в тыл. С меня хватит!» — думал он и, мысленно вернувшись к спору с Копыловым, поймал себя на том, что ищет оправдания красным: «Китайцы идут к красным с голыми руками, поступают к ним и за хреновое солдатское жало-

ванье каждый день рискуют жизнью. Да и при чем тут жалованье? Какого чорта на него можно купить? Разве что в карты проиграть... Стало быть, тут корысти нету, что-то другое... А союзники присылают офицеров, танки, орудия, вон даже мулов, и то прислали! Потом будут за все это требовать длинный рубль. Вот она в чем разница! Ну, да мы об этом еще вечером поспорим! Как приеду в штаб, так отзову его в сторону и скажу: «А разница-то есть, Копылов, и ты мне голову не морочь!».

Но поспорить так и не пришлось. Во второй половине дня Копылов поехал к месторасположению 4-го полка, находившегося в резерве, и по пути был убит шальной пулей. Григорий узнал об этом два часа спустя...

Наутро Усть-Медведицкую с боем заняли части 5-й дивизии генерала Фицхеларова.

ГЛАВА XII

Дня через три после отъезда Григория в хутор Татарский явился Митька Коршунов. Приехал он не один, его сопровождали двое сослуживцев по карательному отряду. Один из них был немолодой калмык, родом откуда-то с Маныча, другой — невзрачный казачишка Распопинской станицы. Калмыка Митька презрительно именовал «ходей», а распопинского пропойцу и бестию величал Силантием Петровичем.

Видно, немалую службу сослужил Митька Войску Донскому, будучи в карательном отряде: за зиму был он произведен в вахмистры, а затем в подхорунжие и в хутор приехал во всей красе новой офицерской формы. Надо думать, что неплохо жилось ему в отступлении, за Донцом; легкий защитный френч так и распирала широченные митькины плечи, на тугой стоячий воротник набегали жирные складки розовой кожи, сшитые в обтяжку синие диагональные штаны с лампасами чуть не лопались сзади... Быть бы Митьке по его наружным достоинствам лейб-гвардии атаманцем, жить бы при дворце и охранять священную особу его импе-

раторского величества, если б не эта окаянная революция. Но Митька и без этого на жизнь не жаловался. Добился и он офицерского чина, да не так, как Григорий Мелехов, рискуя головой и бесшабашно геройствуя. Чтобы выслужиться, в карательном отряде от человека требовались иные качества... А качеств этих у Митьки было хоть отбавляй: не особенно доверяя казакам, он сам водил на распыл заподозренных в большевизме, не брезговал собственноручно, при помощи плети или шомпола, расправляться с дезертирами, а уж по части допроса арестованных — во всем отряде не было ему равного, и сам войсковой старшина Прянишников, пожимая плечами, говорил: «Нет, господа, как хотите, а Коршунова превзойти невозможно! Дракон, а не человек!». И еще одним замечательным свойством отличался Митька: когда карателям арестованного нельзя было расстрелять, а не хотелось выпустить живым из рук, — его присуждали к телесному наказанию розгами и поручали выполнить это Митьке. И он выполнял, да так, что после пятидесяти ударов у наказываемого начиналась безудержная кровавая рвота, а после ста — человека, не ослушивая, уверенно заворачивали в рогожу... Из-под митькиных рук еще ни один осужденный живым не вставал. Он сам, посмеиваясь, не раз говаривал: «Ежли б мне со всех красных, пби-тых мною, посымать штаны да юбки, — весь хутор Татарский одел бы!».

Жестокость, свойственная митькиной натуре с детства, в карательном отряде не только нашла себе достойное применение, но и, ничем не будучи взнуздываема, чудовищно возросла. Соприкасаясь по роду своей службы со всеми стекавшимися в отряд подонками офицерства, — с кокаинистами, насильниками, грабителями и прочими интеллигентными мерзавцами, — Митька охотно, с крестьянской старательностью, усваивал все то, чему они его в своей ненависти к красным учили, и без особого труда превосходил учителей. Там, где уставший от крови и чужих страданий неврастеник-офицер не выдерживал, — Митька только щурил свои желтые,

мелкой искрой крапленые глаза и дело доводил до конца.

Таким стал Митька, попав из казачьей части на легкие хлеба — в карательный отряд войскового старшины Прянишникова.

Появившись в хуторе, он, важничая и еле отвечая на поклоны встречавшихся баб, шагом проехал к своему поместью. Возле полуобгоревших, задымленных ворот спешился, отдал поводья калмыку, — широко расставляя ноги, прошел во двор. Спровожаемый Силантием, молча обошел вокруг фундамента, кончиком плети потрогал слившийся во время пожара, отсвечивающий бирюзой комок стекла, сказал охрипшим от волнения голосом:

— Сожгли... А курень был богатый! Первый в хуторе. Наш хуторной сжег, Мишка Кошевой. Он же и деда убил. Так-то, Силантий Петров, пришлось проотведать родимую пепелищу...

— А с этих Кошевых есть кто дома? — с живостью спросил тот.

— Должно быть, есть. Да мы повидаемся с ними... А зараз поедем к нашим сватам.

По дороге к Мелеховым Митька спросил у встретившейся снохи Богатыревых:

— Мамаша моя вернулась из-за Дону?

— Кубыть не вернулась ишо, Митрий Мироныч.

— А сват Мелехов дома?

— Старик-то?

— Да.

— Старик дома, словом — вся семья дома, опричь Григория. Петра-то убили зимой, слышал?

Митька кивнул головой и тронул коня рысью.

Он ехал по безлюдной улице, и в желтых кошачьих глазах его, пресыщенных и холодных, не было и следа недавней взволнованной живости. Подъезжая к мелеховскому базу и ни к кому из спутников не обращаясь в отдельности, негромко сказал:

— Так-то встречает родимый хутор! Пообедать, и то надо к родне ехать... Ну-ну, ишо потягаемся!..

Пантелей Прокофьевич ладил под сараем лобогрейку. Завидев конных и признав среди них Коршунова, пошел к воротам.

— Милости просим, — радушно сказал он, открывая калитку. — Гостям рады! С прибытием!

— Здравствуй, сват! Живой-здоровый?

— Слава богу, покуда ничего. Да ты никак уж в офицерах ходишь?

— А ты думал, одним твоим сынам белые погоны носить? — Самодовольно сказал Митька, подавая старику длинную жилистую руку.

— Мои до них не дюже охочи были, — с улыбкой ответил Пантелей Прокофьевич и пошел вперед, чтобы указать место, куда поставить лошадей.

Хлебосольная Ильинична накормила гостей обедом, а уж потом начались разговоры. Митька подробно выпрашивал обо всем, касающемся его семьи, и был молчалив и ничем не выказывал ни гнева, ни печали. Будто мимоходом спросил, остался ли в хуторе кто из семейства Мишки Кошевого, и, узнав, что дома осталась мишкина мать с детьми, коротко и незаметно для других подмигнул Силантию.

Гости вскоре засобирались. Провожая их, Пантелей Прокофьевич спросил:

— Долго думаешь прогостить в хуторе?

— Да так, дня два-три.

— Матерю-то повидаешь?

— А это как придется.

— Ну, а зараз далеко отъезжаешь?

— Так... Повидать кое-кого из хуторных. Мы скоро прибудем.

Митька со своими спутниками не успел еще вернуться к Мелеховым, а уж по хутору покатила молва: «Коршунов с калмыками приехал, всю семью Кошевого вырезали!».

Ничего не слышавший Пантелей Прокофьевич только-что пришел из кузницы с косогоном и снова собрался было налаживать лобогрейку, но его позвала Ильинична:

— Поди-ка сюда, Прокофьич! Да попроворней!

В голосе старухи прозвучали нотки нескрываемой тревоги, и удивленный Пантелей Прокофьевич тотчас направился в хату.

Заплаканная, бледная Наталья стояла у печки. Ильинична указала глазами на аникушкину жену, глухо спросила:

— Слышал новость, старик?

«Ох, с Григорием что-то... Сохрани и помилуй!» — опалила Пантелея Прокофьевича догадка. Он побледнел и, в страхе и ярости оттого, что никто ничего не говорит, крикнул:

— Скорей выкладывайте, будь вы прокляты!.. Ну, что случилось? С Григорием?.. — И, словно обессиленный от крика, опустился на лавку, доглаживая трясущиеся ноги.

Дуняшка первая сообразила, что отец боится черных вестей о Григории, поспешно сказала:

— Нет, батенька, это не об Грише весть. Митрий Кошевых побил.

— Как, то-есть, побил? — У Пантелея Прокофьевича разом отлегло от сердца, и, еще не понимая смысла сказанных Дуняшкой слов, он снова переспросил: — Кошевых? Митрий?

Аникушкина жена, прибежавшая с новостями, сбиваясь, начала рассказывать:

— Ходила я, дяденька, телка искать, и вот иду мимо Кошевых, а Митрий и с ним ишо двое служивых подехали к базу и пошли в дома. Я и думаю: телок дальше ветряка не уйдет, очередь пасть телят была...

— Да на чорта мне твой телок! — гневно прервал Пантелея Прокофьевич.

— ... И пошли они в дома, — захлебываясь, продолжала баба, — а я стою, жду. «Не с добром, — думаю, — они сюда приехали». И начался там крик, и слышно — бьют. Испугалась я до смерти, хотела бечь, да только отошла от плетня, слышу — топочут сзади; оглянулась, а это Митрий ваш накиннул старухе оборку на шею и волокет ее по земле, чисто как собаку, прости господи! Подтянул ее к сараю, она, сердешная, и голосу не отдает, должно, уж без памяти была; калмык, какой с ним был, сигнул на переруб... Гляжу —

Митрий конец оборки ему кинул и шумит: «Подтяни и завязывай узлом!». Ох, страсти я натерпелась! На моих глазах и задушили бедную старуху, а посла вкочили на коней и поехали по проулку, должно, к правлению. В хату-то я побоялась иттить... А видала, как из сенцев, прямо из-под дверей, кровь на приступки текла. Не дай и не приведи, господи, ишо раз такую страсть видать!

— Хороших гостей нам бог послал! — выжидающе глядя на старика, сказала Ильинична.

Пантелей Прокофьевич в страшном волнении выслушал рассказ и, не сказав ни слова, сейчас же вышел в сени.

Вскоре возле ворот показался Митька со своими подручными. Пантелей Прокофьевич проворно захромал им навстречу.

— Пстой-ка! — крикнул он еще издали. — Не вводи коней на баз!

— Что такое, сваток? — удивленно спросил Митька.

— Поворачивай обратно! — Пантелей Прокофьевич подошел вплотную и, глядя в желтые мерцающие митькины глаза, твердо сказал: — Не гневайся, сват, но я не хочу, чтобы ты был в моем курене. Лучше по-добру уезжай, куда знаешь.

— А-а-а... — понимающе протянул Митька и побледнел. — Выгоняешь, стало быть?..

— Не хочу, чтобы ты поганил мой дом! — решительно повторил старик. — И больше чтоб и нога твоя ко мне не ступала. Нам, Мелеховым, палачи не сродни, так-то!

— Понятно! Только больно уж ты жалостлив, сваток!

— Ну, уж ты, должно, милосердия не поймешь, коли баб да детишков начал казнить! Ох, Митрий, негожее у тебя рукомесло... Не возрадовался бы твой покойный отец, глядячи на тебя!

— А ты, старый дурак, хотел бы, чтобы я с ними цацкался? Батю убили, деда убили, а я бы с ними христовался? Иди ты — знаешь куда?.. — Митька яростно дернул повод, вывел коня за калитку.

— Не ругайся, Митрий, ты мне в сыны гожд. И делить нам с тобой нечего, езжай с богом!

Все больше и больше бледнея, грозя плетью, Митька глухо покрикивал:

— Ты не вводи меня в грех, не вводи! Наталью жалко, а то бы я тебя, милостивца... Знаю вас! Вижу наскрозь, каким вы духом дышите! За Донец в отступ не пошли? Красным передались? То-то!.. Всех бы вас надо, сукиных сынов, как Кошевых перевести! Поехали, ребята! Ну, хромой кобель, гляди, не попадайся мне! Из моей горсти не высигнешь! А хлеб-соль твою я тебе помню! Я такую родню тоже намахивал!..

Пантелей Прокофьевич дрожащими руками залер калитку на засов, похромал в дом.

— Выгнал твоего братца, — сказал он, не глядя на Наталью.

Наталья промолчала, хотя в душе она и была согласна с поступком свекора, а Ильинична быстро перекрестилась и обрадованно сказала:

— И слава богу: унесла нелегкая! Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш оказался истым супостатом! И службу-то себе такую нашел: нет, чтобы, как и другие казаки, в верных частях служить, а он — вишь! — поступил в казнительный отряд! Да разве ж это казацкое дело — казнителем быть, старух вешать да детишков безвинных шашками рубить?! Да разве они за Мишку своего ответчики? Этак и нас с тобой, и Мишатку с Полюшкой за Гришу красные могли бы порубить, а ить не порубили же, поимели милость? Нет, оборони, господь, я с этим несогласная!

— Я за брата и не стою, маманя... — только и сказала Наталья, кончиком платка вытирая слезы.

Митька уехал из хутора в этот же день. Слышно было, будто пристал он к своему карательному отряду где-то около Каргинской и вместе с отрядом отправился наводить порядки в украинских слободах Донецкого округа, население которых было повинно в том, что участвовало в подавлении верхнедонского восстания.

После его отъезда с неделю шли по хутору толки. Большинство осуждало самосудную расправу над семьей Кошевого. На общественные средства похоронили убитых; хатенку Кошевых хотели было продать, но покупателей не нашлось. По приказу хуторского атамана ставни накрест забили досками, и долго еще ребятишки боялись играть около страшного места, а старики и старухи, проходя мимо выморочной хатенки, крестились и поминали за упокой души убиенных.

Потом наступил степной покос, и недавние события забылись.

Хутор попрежнему жил в работе и слухах о фронте. Те из хозяев, у которых уцелел рабочий скот, кряхтели и поругивались, поставляя обывательские подводы. Почти каждый день приходилось отрывать быков и лошадей от работы и посылать в станицу. Выпрягая из косилок лошадей, не один раз недобрый словом поминали старики затянувшуюся войну. Но снаряды, патроны, мотки колючей проволоки, продовольствие надо было подвозить к фронту. И везли. А тут, как назло, установились такие погожие дни, что только бы косить да грести подоспеющую, наредкость кормовистую траву.

Пантелей Прокофьевич готовился к покосу и крепко досадовал на Дарью. Повезла она на паре быков патроны, с перевалочного пункта должна была возвратиться, но прошла неделя, а о ней и слуха не было; без пары же старых, самых надежных быков в степи нечего было и делать.

По сути — не надо бы посылать Дарью... Пантелей Прокофьевич скрепя сердце доверил ей быков, зная, как охоча она до веселого времяпровождения и как нерадива в уходе за скотом, но, кроме нее, никого не нашлось. Дуняшку нельзя было послать, потому что — не девичье дело ехать с чужими казаками в дальнюю дорогу; у Натальи — малые дети; не самому же старику было везти эти проклятые патроны? А Дарья с охотой вызвалась ехать. Она и раньше с большим удовольствием ездила всюду: на мельницу ли,

на просорушку или еще по какой-либо хозяйской надобности, и все лишь потому, что вне дома чувствовала себя несравненно свободнее. Ей каждая поездка приносила развлечение и радость. Вырвавшись из-под свекровьиного призора, она могла и с бабами досыта посудачить и — как она говаривала — «на-ходу любовь покрутить» с каким-нибудь приглянувшимся ей расторопным казачком. А дома и после смерти Петра строгая Ильинична не давала ей воли, как будто Дарья, изменявшая живому мужу, обязана была соблюдать верность мертвому.

Знал Пантелей Прокофьевич, что не будет за быками хозяйского догляда, но делать было нечего, — снарядил в поездку старшую сноху. Снарядить-то снарядил, да и прожил всю неделю в великой тревоге и душевном беспокойстве. «Луснули мои бычки!» — не раз думал он, просыпаясь среди ночи, тяжело вздыхая.

Дарья приехала на одиннадцатые сутки утром. Пантелей Прокофьевич только-что вернулся с поля. Он косил в супряге с аникушкиной женой и, оставив ее и Дуняшку в степи, приехал в хутор за водой и харчами. Старики и Наталья завтракали, когда мимо окон со знакомым перестуком загремели колеса брички. Наталья проворно подбежала к окну, увидела закутанную по самые глаза Дарью, вводящую усталых, исхудавших быков.

— Она, что ли? — спросил старик, давась непрожеванным куском.

— Дарья!

— Не чаял и увидеть быков! Ну, слава тебе господи! Хлюстанка проклятая! Насилу-то прибилась к базу... — забормотал старик, крестясь и сыто рыгая.

Разналыгав быков, Дарья вошла в кухню, положила у порога вчетверо сложенное рядно, поздоровалась с домашними.

— А то чего ж, милая моя! Ты бы ишо неделю ездила! — с сердцем сказал Пантелей Прокофьевич, исподлобья глянув на Дарью и не отвечая на приветствие.

— Ехали бы сами! — огрызнулась та, снимая с головы пропыленный платок.

— Чего ж так долго ездил? — вступила в разговор Ильинична, чтобы сгладить неприязненность встречи.

— Не пускали, того и долго.

Пантелей Прокофьевич недоверчиво покачал головой, спросил:

— Христонину бабу с перевалочного пустили, а тебя нет?

— А меня не пустили! — Дарья зло сверкнула глазами, добавила: — Ежли не верите — поезжайте, спросите у начальника, какой обоз сопровождал.

— Справляться о тебе мне незачем, но уж в другой раз посиди дома. Тебя только за смертью посылать.

— Загрозили вы мне! Ох, загрозили! Да я и сама не поеду! Посылать будете — и не поеду!

— Быки-то здоровые? — уже мирнее спросил старик.

— Здоровые. Ничего вашим быкам не поделалось... — Дарья отвечала нехотя и была мрачнее ночи.

«Разлучилась в дороге с каким-нибудь милым, через это и злая» — подумала Наталья.

Она всегда относилась к Дарье и к ее нечистоплотным любовным увлечениям с чувством сожаления и брезгливости.

После завтрака Пантелей Прокофьевич собрался ехать, но тут пришел хуторской атаман.

— Сказал бы — в час добрый, да погоди, Пантелей Прокофич, не выезжай.

— Уж не сызнава ли за подводой прибеж? — с деланным смирением спросил старик, а у самого от ярости даже дух захватило.

— Нет, тут другая музыка. Нынче приезжает к нам сам командующий всей Донской армией, сам генерал Сидорин, понял? Зараз получил с нарочным бумажку от станичного атамана, приказывает стариков и баб всех до одного собирать на сходку.

— Да они в уме! — вскричал Пантелей Прокофьевич. — Да кто же это в такую горячую пору сходки устраивает?

А сена мне на зиму припасет твой генерал Сидорин?!

— Он одинаково и твой такой же, как и мой, — спокойно ответил атаман. — Мне что приказано — то и делаю. Распрягай! Надо хлебом-солью встречать. Гутарют, промежду прочим, будто с ним союзников генералы едут.

Пантелей Прокофьевич молча постоял около арбы, поразмыслил и начал распрягать быков. Видя, что сказанное им возымело действие, повеселевший атаман спросил:

— Твоей кобылкой нельзя ли попользоваться?

— Чего тебе ей делать?

— Приказано, еж их накопи, две тройки выслать навстречу ажник к Дурному логу. А где их, тарантасы, брать и лошадей — ума не приложу! До света встал, бегаю, раз пять рубаха взмокла, — и только четырех лошадей добыл. Народ весь в работе, прямо хучь криком кричи.

Смирившийся Пантелей Прокофьевич согласился дать кобылу и даже свой рессорный тарантасишко предложил. Как-никак, а ехал командующий армией, да еще с иноземными генералами, а к генералам Пантелей Прокофьевич всегда испытывал чувство трепетного уважения...

Стараниями атамана две тройки кое-как были собраны и высланы к Дурному логу встречать почетных гостей. На плацу собирался народ. Многие, бросив покос, спешили со степи в хутор.

Пантелей Прокофьевич, махнув рукой на работу, принарядился, надел чистую рубаху, суконные шаровары с лампасами, фуражку, некогда привезенную Григорием в подарок, и степенно похромал на майдан, наказав старухе, чтобы отправила с Дарьей воду и харчи Дунышке.

Вскоре густая пыль взвихрилась на шляху и потоком устремила к хутору, а сквозь нее блеснуло что-то металлическое, и издалека донесся певучий голос автомобильной сирены. Гости ехали на двух новехонких блещущих темносиней краской автомобилях; где-то далеко сзади, обгоняя едущих с покоса косарей, порожняком скакали тройки, и уныло

позванивали под дугами почтарские колокольчики, добытые для торжественного случая атаманом. На плацу в толпе прошло заметное оживление, зазвучал говор, слышались веселые восклицания ребят. Растерявшийся атаман засновал по толпе, собирая почетных стариков, коим надлежало вручать хлеб-соль. На глаза ему попался Пантелей Прокофьевич, и атаман обрадованно вцепился в него:

— Выручай ради Христа! Человек ты бывалый, знаешь обхождение... Уж ты знаешь, как с ними и ручкаться и все такое... Да ты же и член Круга, и сын у тебя такой... Пожалуйста, бери хлеб-соль, а то я, вроде, робею и дрожание у меня в коленях.

Пантелей Прокофьевич — донельзя польщенный честью — отказывался, соблаждая приличия, потом, как-то сразу вобрав голову в плечи, проворно перекрестился и взял покрытое расшитым рушником блюдо с хлебом-солью; расталкивая локтями толпу, вышел вперед.

Автомобили быстро приближались к плацу, сопровождаемые целым табуном охрипших от лая разномастных собак.

— Ты... как? Не робеешь? — шопотом справился у Пантелея Прокофьевича побледневший атаман. Он впервые видел столь большое начальство. Пантелей Прокофьевич искоса блеснул на него синеватыми белками, сказал осипшим от волнения голосом:

— На, подержи, пока я бороду причешу. Бери же!

Атаман услужливо принял блюдо, а Пантелей Прокофьевич разгладил усы и бороду, молодецки расправил грудь и, опираясь на кончики пальцев искаленной ноги, чтобы не видно было его хромоты, снова взял блюдо. Но оно так задрожало в его руках, что атаман испуганно осведомился:

— Не уронишь? Ох, гляди!

Пантелей Прокофьевич пренебрежительно дернул плечом. Это он-то уронит? Может же человек сказать такую глупость! Он, который был членом Круга и во дворце наказного здоровался со всеми за руку, и вдруг испугается какого-то генерала? Эгот не-

счастный атаманишка окончательно спятил с ума!

— Я, братец, ты мой, когда был на Войсковом кругу, так я с самим наказным атаманом чай внакладку... — начал было Пантелей Прокофьевич и умолк.

Передний автомобиль остановился от него в каких-нибудь десяти шагах. Бритый шофер в фуражке с большим козырьком и с узенькими нерусскими погонами на френче ловко вскочил, открыл дверцу. Из автомобиля степенно вышли двое одетых в защитное военных, направились к толпе. Они шли прямо на Пантелея Прокофьевича, а тот, как стал навытяжку, так и замер. Он догадался, что именно эти скромно одетые люди и есть генералы, а те, которые шли сзади и были по виду наряднее, — попросту чины сопровождающей их свиты. Старик смотрел на приближающихся гостей не мигая, и во взгляде его все больше отражалось нескрываемое изумление. Где же висячие генеральские эполеты? Где аксельбанты и ордена? И что же это за генералы, если по виду их ничем нельзя отличить от обыкновеннейших солдатских писарей? Пантелей Прокофьевич был мгновенно и горько разочарован. Ему стало даже как-то обидно и за свое торжественное приготовление к встрече, и за этих позорящих генеральское звание генералов. Чорт возьми, если б он знал, что явятся этакие-то генералы, так он и не одевался бы столь тщательно, и не ждал бы с таким трепетом, и уж, во всяком случае, не стоял бы, как дурак, с блюдом в руках и с плохо пропеченным хлебом на блюде, который и пекла-то какая-нибудь сопливая старуха. Нет, Пантелей Мелехов еще никогда не был посмешищем для людей, а вот тут пришлось: минуту назад он сам слышал, как за его спиной хихикали ребяташки, а один чертенок даже крикнул во всю глотку: «Ребята! Гля, как хромой Мелехов наконился! Будто ерша проглотил!». Было бы из-за чего переносить насмешки и утруждать больную ногу, вытянувшись в струну... Внутри у Пантелея Прокофьевича все клокотало от негодования. А всему виной этот

проклятый трус атаманишка! Пришел, набрехал, взял кобылу и тарантас, по всему хутору бегал, высунувши язык, громышки и колокольцы для троек искал. Воистину: хорошего не видал человек, так и ветошке рад. За свою бытность Пантелей Прокофьевич не таких генералов видывал! Взять хотя бы на императорском смотре: иной идет — вся грудь в крестах, в медалях, в золотом шитве; глядеть, и то душа радуется — икона, а не генерал! А эти — все в зеленом, как сизоворонки. На одном даже не фуражка, как полагается по всей форме, а какой-то котелок под кисеей, и морда вся выбрита наголо, ни одной волосинки не найдешь, хоть с фонарем ищи... Пантелей Прокофьевич нахмурился и чуть не сплюнул от отвращения, но его кто-то сильно толкнул в спину, громко зашептал:

— Иди же, подноси!

Пантелей Прокофьевич шагнул вперед. Генерал Сидорин через его голову бегло оглядел толпу, звучно произнес:

— Здравствуйте, господа старики!

— Здравия желаем, ваше превосходительство! — вразброд загомонили хуторяне.

Генерал милостиво принял хлеб-соль из рук Пантелея Прокофьевича, сказал «спасибо!» и передал блюдо адъютанту.

Стоявший рядом с Сидориным высокий, поджарый английский полковник из-под низко надвинутого на глаза шлема с холодным любопытством рассматривал казаков. По приказу генерала Бритгса — начальника британской военной миссии на Кавказе — он сопровождал Сидорина в его инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского и при посредстве переводчика добросовестно изучал настроения казаков, а также знакомился с обстановкой на фронтах.

Полковник был утомлен дорожными лишениями, однообразным степным пейзажем, скучными разговорами и всем сложным комплексом обязанностей представителя великой державы, но интересы королевской службы — прежде

всего! — и он внимательно вслушивался в речь станичного оратора и почти все понимал, так как знал русский язык; скрывая это от посторонних. С истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, которое всегда бросается в глаза при взгляде на казачью толпу; рядом с белокурый казак-славянином стоял типичный монгол, а по соседству с ним черный, как вороново крыло, молодой казак, с рукою на грязной перевязи, вполголоса беседовал с седым библейским патриархом, и можно было биться об заклад, что в жилах этого патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомодный казачий чекмень, течет чистойшей кровью кавказских горцев...

Полковник был истинным патриотом и немного знал историю: рассматривая казаков, он думал о том, что не только этим варварам, но и внукам их придется идти в Индию под командованием какого-нибудь нового Платова. После победы над большевиками обескровленная гражданской войной Россия надолго выйдет из строя великих держав и в течение ближайших десятилетий восточным владениям Британии уже ничто не будет угрожать. А что большевиков победят, — полковник был твердо убежден. Он был человеком трезвого ума, до войны долго жил в России и, разумеется, никак не мог верить, чтобы в полудикой стране восторжествовали утопические идеи коммунизма...

Внимание полковника привлекли громко перешептывавшиеся бабы. Он, не поворачивая головы, оглядел их скуластые обветренные лица, и твердо сжатые губы его тронула чуть приметная презрительная усмешка.

Пантелей Прокофьевич, вручив хлеб-соль, замешался в толпе. Он не стал слушать, как от имени казачьего населения станицы Вешенской приветствовал приехавших какой-то вешенский краснобай, а, околесив толпу, направился к стоявшим поодаль тройкам.

Лошади были все в мыле и тяжело носили боками. Старик подошел к своей впряженной в корень кобылке, рукавом

протер ей ноздри, вздохнул. Ему хотелось выругаться, тут же выпрячь кобылу и увести ее домой, — так велико было его разочарование.

В это время генерал Сидорин держал к татарцам речь. Одобрительно отозвавшись об их боевых действиях в тылу у красных, он сказал:

— Вы мужественно сражались с нашими общими врагами. Ваши заслуги не будут забыты родиной, постепенно освобождающейся от большевиков, от их страшного ига. Мне хотелось бы отметить наградой тех женщин вашего хутора, которые, как нам известно, особенно отличились в вооруженной борьбе против красных. Я прошу выйти вперед наших героинь-казачек, фамилии которых будут сейчас оглашены!

Один из офицеров прочитал короткий список. Первой в нем значилась Дарья Мелехова, остальные были вдовы казаков, убитых в начале восстания, участвовавшие, как и Дарья, в расправе над пленными коммунистами, признанными в Татарский после сдачи Сердобского полка.

Дарья не поехала в поле, как приказывал Пантелей Прокофьевич. Она оказалась тут же, в толпе хуторских баб, и была разнаряжена, словно на праздник.

Как только она услышала свою фамилию, растолкала баб и смело пошла вперед, на-ходу поправляя белый, с кружевной каемкой платок, щуря глаза и слегка смущенно улыбаясь. Даже усталая после дороги и любовных приключений она была дьявольски хороша! Не тронутые загаром бледные щеки резче оттеняли жаркий блеск прищуренных, ищущих глаз, а в своевольном изгибе накрашенных бровей и в складке улыбающихся губ тайлось что-то вызывающее и нечистое.

Ей загородил дорогу стоявший спиной к толпе офицер. Она легонько оттолкнула его, сказала: «Пропустите женихову родню!». И подошла к Сидорину.

Он взял из рук адъютанта медаль на георгиевской ленточке, — неумело дей-

ствуя пальцами, приколот ее к дарьиной кофточке на левой стороне груди и с улыбкой посмотрел Дарье в глаза.

— Вы — вдова убитого в марте хорунжего Мелехова?

— Да.

— Сейчас вы получите деньги, пятьсот рублей. Выдаст их вам вот этот офицер. Войсковой атаман Африкан Петрович Богаевский и правительство Дона благодарят вас за выказанное вами высокое мужество и просят принять сочувствие... Они сочувствуют вам в вашем горе.

Дарья не все поняла из того, что ей говорил генерал. Она поблагодарила кивком головы, взяла из рук адъютанта деньги и тоже, молча улыбаясь, посмотрела прямо в глаза нестарому генералу. Они были почти одинакового роста, и Дарья без особого стеснения разглядывала сухощавое генеральское лицо. «Дешево расценили моего Петра, не дороже пары быков... А генералик ничего из себя, подходящий» — со свойственным ей цинизмом думала она в этот момент. Сидорин ждал, что она вот-вот отойдет, но Дарья что-то медлила. Адъютант и офицеры, стоявшие позади Сидорина, движениями бровей указывали друг другу на разбитную вдову; в глазах их забегали веселые огоньки; даже полковник-англичанин оживился, поправил пояс, переступил с ноги на ногу, и на бесстрашном лице его появилось нечто, отдаленно похожее на улыбку.

— Мне можно итти? — спросила Дарья.

— Да-да, разумеется! — торопливо разрешил Сидорин.

Дарья неловким движением сунула в разрез кофточки деньги, — направилась к толпе. За ее легкой, скользкой походкой внимательно следили все уставшие от речей и церемоний офицеры.

К Сидорину неуверенно подходила жена покойного Мартина Шамиля. Когда и к ее старенькой кофтенке была приколот медаль, Шамилиха вдруг заплакала, да так беспомощно и по-женски горько, что лица офицеров сразу

утратили веселое выражение и стали серьезными, сочувственно-кислыми.

— Ваш муж тоже убит? — нахмурясь, спросил Сидорин.

Плачущая женщина закрыла лицо руками, молча кивнула головой.

— У нее детей на воз не покладешь! — басом сказал кто-то из казаков.

Сидорин повернулся лицом к англичанину, громко сказал:

— Мы награждаем женщин, проявивших в боях с большевиками исключительное мужество. У большинства из них мужья были убиты в начале восстания против большевиков, и эти женщины-вдовы, мстя за смерть мужей, уничтожили целиком крупный отряд местных коммунистов. Первая из награжденных мною — жена офицера — собственноручно убила прославившегося жестокостями комиссара-коммуниста.

Переводчик-офицер бегло заговорил по-английски. Полковник выслушал, наклонил голову, сказал:

— Я восхищаюсь храбростью этих женщин. Скажите, генерал, они участвовали в боях наравне с мужчинами?

— Да, — коротко ответил Сидорин и нетерпеливым движением руки пригласил подойти поближе третью вдову.

Вскоре после вручения наград гости отбыли в станицу. Народ торопливо стал расходиться с плаца, спеша на покос, и через несколько минут после того, как скрылись сопровождаемые собачьим лаем автомобили, возле церковной ограды осталось только трое стариков.

— Диковинные времена заступили! — сказал один из них и широко развел руками. — Бывалоча, на войне егорьевский крест али медаль давали за больши-и-ие дела, за геройство, да кому давали-то? Самым ухахам, отчаюгам! Добывать кресты не дюже много риска-телей находилось. Не даром сложили поговорку: «Иль домой с крестом, иль лежать пластом». А нынче медали бабам повешали... Да хучь бы было за что, а то так... Казаки пригнали в хутор, а они кольями побили пленных,

обезруженных людей. Какая ж тут геройства? Не пойму, накажи господь!

Другой старик, подслеповатый и немощный, отставил ногу, неспеша достал из кармана свернутый в трубку матерчатый кисет, сказал:

— Им, начальству, виднее из Черкасскова. Стало быть, там рассудили так: надо и бабам приманку сделать, чтоб духом все поднялись, чтобы дюжей воевали. Тут медаль, а тут по пятисот деньгами, — какая баба супротив такой чести устоит? Иной из казаков и не схотел бы выступать на фронт, думал бы прихорониться от войны, да разве зараз сможет он усидеть? Ему баба все уши прожужжит! Ночная кукушка, она всегда перекукует! И каждая будет думать: «Может, и мне медаль навесют?».

— Это ты зря так говоришь, кум Федор! — возразил третий. — Следовало наградить, вот и наградили. Бабы повдовели, им деньги будут большой подмогой по хозяйству, а медали им за лихость пожалованы. Дашка Мелеховых первая суд навела Котлярову, и правильно! Господь им всем судья, но и баб нельзя винить: своя-то кровь резко гутарит...

Старики спорили и переругивались до тех пор, пока не зазвонили к вечерне. А как только звонарь ударил в колокол — все трое встали, сняли шапки, перекрестились и чинно пошли в ограду.

ГЛАВА XIII

Удивительно, как изменилась жизнь в семье Мелеховых! Совсем недавно Пантелей Прокофьевич чувствовал себя в доме полновластным хозяином, все домашние ему безоговорочно подчинялись, работа шла ряд-рядом, сообща делили и радость, и горе, и во всем быту сказывалась большая, долголетняя слаженность. Была крепко спаянная семья, а с весны все переменялось. Первой откололась Дуняшка. Она не проявляла открытого неповиновения отцу, но всякую работу, которую приходилось ей

выполнять, делала с видимой неохотой и так, как будто работала не для себя, а по найму; и внешне стала как-то замкнутой, отчужденной; редко-редко слышался теперь беззаботный дуняшкин смех.

После отъезда Григория на фронт и Наталья отдалась от стариков; с детишками проводила почти все время, с ними только охотно разговаривала и занималась, и было похоже, что втихомолку о чем-то крепко горюет Наталья, но ни с кем из близких о своем горе ни разу и словом не обмолвилась, никому не пожаловалась и всячески скрывала, что ей тяжело.

Про Дарью и говорить было нечего: совсем не та стала Дарья после того, как съездила с обывательскими подводами. Все чаще она противоречила свекору, на Ильиничну и внимания не обращала, безо всякой видимой причины злилась на всех, от покоса отделялась нездоровьем и держала себя так, как будто доживала она в мелеховском доме последние дни.

Семья распалась на глазах у Пантелея Прокофьевича. Они со старухой оставались вдвоем. Неожиданно и быстро были нарушены родственные связи, утрачена теплота взаимоотношений, в разговорах все чаще проскальзывали нотки раздражительности и отчуждения... За общим стол садилась не так, как прежде — единой и дружной семьей, а как случайно собравшиеся вместе люди.

Война была всему этому причиной, Пантелей Прокофьевич это отлично понимал. Дуняшка злилась на родителей за то, что те лишили ее надежды когда-нибудь выйти замуж за Мишку Кошевого — единственного, кого она любила со всей беззаветной девичьей страстью; Наталья молча и глубоко, с присущей ей скрытностью переживала новый отход Григория к Аксинье. А Пантелей Прокофьевич все это видел, но ничего не мог сделать, чтобы восстановить в семье прежний порядок. В самом деле, не мог же он после всего того, что произошло, давать согласие на брак своей дочери с заядлым большевиком, да и что толку было бы от его согласия, ко-

ли этот чортов жених могался где-то на фронте, к тому же в красноармейской части? То же самое и с Григорием: не будь он в офицерском чине, Пантелей Прокофьевич живо управился бы с ним. Так управился бы, что Григорий после этого на астаховский баз и глазом бы не косил. Но война все перепутала и лишила старика возможности жить и править своим домом так, как ему хотелось. Война разорила его, лишила прежнего рвения к работе, отняла у него старшего сына, внесла разлад и сумятицу в семью. Прошла она над его жизнью, как буря над деляной пшеницы, но пшеница и после бури встает и красуется под солнцем, а старик подняться уже не мог. Мысленно он махнул на все рукой, — будь что будет!

Получив из рук генерала Сидорина награду, Дарья повеселела. Она пришла с плаца в тот день оживленная и счастливая. Блестя глазами, указала Наталье на медаль.

— За что это тебе? — удивилась Наталья.

— Это за кума Ивана Алексеича, царство ему небесное, сукину сыну! А это — за Петю... — И, похваляясь, развернула пачку хрустящих донских кредиток.

В поле Дарья так и не поехала. Пантелей Прокофьевич хотел было отправить ее с харчами, но Дарья решительно отказалась:

— Отвяжитесь, батенка, я уморилась с дороги!

Старик нахмурился. Тогда Дарья, чтобы сгладить грубоватый отказ, полушутливо сказала:

— В такой день грех вам будет заставлять меня ехать на поля. Мне нынче праздник!

— Отвезу и сам, — согласился старик. — Ну, а деньги как?

— Что — деньги? — Дарья удивленно приподняла брови.

— Деньги, спрашиваю, куда денешь?

— А это уж мое дело. Куда захочу, туда и дену!

— То-есть как же это так? Деньги-то за Петра тебе выдали?

— Выдали их мне, и вам ими не рас-
поряжаться.

— Да ты семьянинка или кто?

— А вы чего от этой семьянинки
хотите, батенка? Деньги себе за-
брать?

— Не к тому, что все забрать, но
Петро-то сын нам был или кто, по-
твоему? Мы-то со старухой должны
быть в части?

Притязания свекора были явно не-
уверенны, и Дарья решительно взяла
перевес. Издевательски-спокойно она
сказала:

— Ничего я вам не дам, даже рубля
не дам! Вашей части тут нету, ее бы
вам на руки выдали. Да с чего вы взя-
ли, будто и ваша часть тут есть? Об
этом и разговору не было, и вы
за моими хоть не тянитесь, не полу-
чите!

Тогда Пантелей Прокофьевич пред-
принял последнюю попытку:

— Ты в семье живешь, наш хлеб
ешь, значит — и все у нас должно быть
общее. Что это за порядки, ежели ка-
ждый зачнет поврозь свое хозяйство
заводить? Я этого не позволю! — ска-
зал он.

Но Дарья отразила и эту попытку
овладеть собственно ей принадлежащи-
ми деньгами. Бесстыдно улыбаясь, она
заявила:

— Я с вами, батенка, не венченная,
ныне у вас живу, а завтра замуж вый-
ду, и только вы меня и выдали! А за
прокорм я вам не обязана
платить. Я на вашу семью десять
лет работала, спину не разги-
нала!

— Ты на себя работала, сука по-
блудная! — возмущенно крикнул Панте-
лей Прокофьевич. Он еще что-то орал,
но Дарья и слушать не стала, повернув-
шись перед самым его носом, взмахнув
подолом, ушла к себе в горницу. «Не
на таковскую напал!» — шептала она,
насмешливо улыбаясь.

На том разговор и кончился. Воисти-
ну, не такая была Дарья, чтобы усту-
пить свое, убоявшись стариковского
гнева.

Пантелей Прокофьевич собрался ехать

в поле и перед отъездом коротко пого-
ворил с Ильиничной.

— Ты за Дарьей поглядывай... — по-
просил он.

— А чего за ней глядеть? — удиви-
лась Ильинична.

— Того, что она сорвется и уйдет из
дому и из нашего добра с собой при-
хватит. Я так гляжу, что неспроста она
крылья распускает... Видать, прискала
себе в пару и не нынче-завтра выскочит
замуж.

— Должно быть, так, — со вздохом
согласилась Ильинична. — Живет она,
как хохол на отживе, ничего ей не ми-
ло, все не по ней... Она зараз — отре-
занный ломоть, а отрезанный ло-
моть, как ни старайся, — не приле-
пишь.

— Нам ее и прилепливать не к че-
му! Гляди, старая дура, не вздумай ее
удерживать, ежели разговор зайдет.
Нехай идет с двора. Мне уж надоело
с ней возжаться! — Пантелей Прокофье-
вич взобрался на арбу; погоняя быков,
закончил: — Она от работы хороנית-
ся, как собака от мух, а сама все нор-
вит сладкий кусок сожрать да увяеть-
ся на игрища. Нам после Петра, цар-
ство ему небесное, такую в семье не
держать. Это не баба, а зараза липу-
чая!

Предположения старикоз были оши-
бочны. У Дарьи и в помыслах не бы-
ло выходить замуж. О замужестве она
не думала, иная у нее на сердце была
забота...

Весь этот день Дарья была общи-
тельной и веселой. Даже стычка из-за
денег не отразилась на ее настроении.
Она долго вертелась перед зеркалом,
всячески рассматривая медаль, раз пять
переодевалась, примеряя, к какой коф-
точке больше всего идет полосатая ге-
оргиевская ленточка, шутила: «Мне бы
теперича ишо крестов нахватать!», по-
том отозвала Ильиничну в горенку, су-
нула ей в рукав две бумажки по два-
дцать рублей и, прижимая к груди горя-
чими руками узловатую руку Ильинич-
ны, зашептала: «Это — Петю поми-
нать... Закажите, мамаша, вселенскую
панихиду, кутьи наварите...» — И запла-

кала... Но через минуту, еще с блестящими от слез глазами, уже играла с Мишаткой, покрывала его своей шелковой праздничной шалькой и смеялась так, как будто никогда не плакала и не знала соленого вкуса слез.

Окончательно развеселилась после того, как с поля пришла Дуняшка. Рассказала ей, как получала медаль, и шутливо представила, как торжественно говорил генерал и каким чучелом стоял и смотрел на нее англичанин, а потом, лукаво, заговорщически подмигнув Наталье, с серьезным лицом стала уверять Дуняшку, что скоро ей, Дарье, как вдове офицера, награжденной георгиевской медалью, тоже дадут офицерский чин и назначат ее командовать сотней старых казаков.

Наталья чинила детские рубашонки и слушала Дарью, подавляя улыбку, а сбитая с толку Дуняшка, умоляюще сложив руки, просила:

— Дарьюшка! Милая! Не бреши, ради Христа! А то я уж и не пойму, где ты брешешь, а где правду говоришь. Ты рассказывай серьезно.

— Не веришь? Ну, значит, ты глупая девка! Я тебе истинную правду говорю. Офицеры-то все на фронте, а кто будет стариков обучать маршировке и всему такому прочему, что по военному делу полагается? Вот их и предоставят под мою команду, а уж я с ними, со старыми чертями, управлюсь! Вот как я ими буду командовать! — Дарья притворила дверь в кухню, чтобы не видела свекровь, быстрым движением просунула между ног подол юбки и, захватив его сзади рукой, сверкая оголенными лоснящимися икрами, промаршировала по горнице, стала около Дуняшки, басом скомандовала: «Старики, смирно! Бороды поднять выше! Кругом налево ша-а-гай!».

Дуняшка не выдержала и пырснула, спрятав в ладонях лицо. Наталья сквозь смех сказала:

— Ох, будет тебе! Ты как не перед добром расходилась!

— Так уж и не перед добром! Да вы его, добра-то, видите? Вас ежли не расчудить, так вы тут от тоски заплеснеете!

Но этот порыв веселья у Дарьи кончился так же внезапно, как и возник. Спустя полчаса она ушла к себе в бокоушку, с досадой сорвала с груди и кинула в сундук злополучную медаль; подперев щеки ладонями, долго сидела у окошка, а в ночь куда-то исчезла и вернулась только после первых петухов.

Дня четыре после этого она прилежно работала в поле.

Покос шел невесело. Нехватало рабочих рук. За день выкашивали не больше двух десятин. Сено в валках намочил дождь, прибавилось работы: пришлось валки растрясать, сушить на солнце. Не успели сметать в копны — снова спустился проливной дождь и шел с вечера до самой зари с осенним постоянством и настойчивостью. Потом установилось ведро, подул восточный ветер, в степи снова застрекотали косилки, от почерневших копен понесло сладковато-прогорклым запахом плесени, степь окуталась паром, и сквозь голубоватую дымку чуть-чуть наметились неясные очертания сторожевых курганов, синеющие русла балок и зеленые шапки верб над далекими прудами.

На четвертые сутки Дарья прямо с поля собралась идти в станицу. Она заявила об этом, когда сели на стану полудновать.

Пантелей Прокофьевич с неудовольствием и насмешкой спросил:

— Чего это тебе приспичило? До воскресенья не можешь подождать?

— Стало быть, дело есть и ждать некогда.

— Так-таки и дня подождать нельзя?

Дарья сквозь зубы ответила:

— Нет!

— Ну, уж раз так гребтится, что и трошки потерпеть нельзя, — иди. А все-таки, что это у тебя за дела такие спешные проявились? Прознать можно?

— Все будете знать — раньше времени помрете.

Дарья, как и всегда, за словом в карман не лазила, и Пантелей Про-

кофьевич, сплюнув от досады, прекратил расспросы.

На другой день по дороге из станции Дарья зашла в хутор. Дома была одна Ильинична с детишками. Мишатка подбежал было к тетке, но она холодно отстранила его рукой, спросила у свекрови:

— А Наталья где же, мамаша?

— Она на огороде, картошку полет. На что она тебе понадобилась? Либо старик за ней прислал? Нехай он с ума не сходит! Так ему и скажи!

— Никто за ней не прислал, я сама хотела кое-что ей сказать.

— Ты пеши пришла?

— Пеши.

— Скоро управятся наши?

— Должно, завтра.

— Да погоди, куда ты летишь? Сезон-то дюже дожди испортили? — назойливо выпрашивала старуха, идя следом за сходящей с крыльца Дарьей.

— Нет, не дюже. Ну, я пойду, а то некогда...

— С огорода зайди, рубаху старику возьми, слышишь?

Дарья сделала вид, будто не слышала, и торопливо направилась к скотиньему базу. Возле пристани остановилась, — прищурившись, оглядела зеленоватый, дышащий пресной влагой простор Дона, медленно пошла к огородам.

Над Доном гулял ветер, сверкали крыльями чайки. На пологий берег лениво напозала волна. Тускло сияли под солнцем меловые горы, покрытые прозрачной сиреневой марью, а омытый дождями прибрежный лес за Доном зеленел молодо и свежо, как в начале весны.

Дарья сняла с натруженных ног чирки, вымыла ноги и долго сидела на берегу, на раскаленной гальке, прикрыв глаза от солнца ладонью, вслушиваясь в тоскливые крики чаек, в равномерные всплески волн. Ей было грустно до слез от этой тишины, от хватающего за сердце крика чаек, и еще тяжелей и горше казалось то несчастье, которое так внезапно обрушилось на нее...

Наталья с трудом разогнула спину, прислонила к плетню мотыгу и, завидев Дарью, пошла к ней навстречу:

— Ты за мной, Даша?

— К тебе со своим горюшком...

Они присели рядом. Наталья сняла платок, поправила волосы, выжидающе глянула на Дарью. Ее поразила перемена, происшедшая с дарьиным лицом за эти дни: щеки осунулись и потемнели, на лбу наискось залегла глубокая морщинка, в глазах появился горячий тревожный блеск.

— Что это с тобой? Ты ажник с лица почернела, — участливо спросила Наталья.

— Небось, почернеешь... — Дарья насильственно улыбнулась, помолчала. — Много тебе ишо полоть?

— К вечеру кончу. Так что с тобой стряслось?

Дарья судорожно проглотила слюну и глухо и быстро заговорила:

— А вот что: захворала я... У меня — дурная болезнь... Вот как ездила в этот раз, и зацепила... Наделил проклятый офицеришка!

— Догулялась!.. — Наталья испуганно и горестно всплеснула руками.

— Догулялась... И сказать нечего, и жаловаться не на кого... Слабость моя... Подсыпался проклятый, уместил. Зубы белые, а сам оказался червивый... Вот я и пропала теперь.

— Головушка горькая! Ну, как же это? Как же ты теперь? — Наталья расширившимися глазами смотрела на Дарью, а та, овладев собой, глядя себе под ноги, уже спокойнее продолжала:

— Видишь, я ишо в дороге за собой стала примечать... Думаю спервоначалу: может, это так что... У нас, сама знаешь, по бабьему делу бывает всякое. Я вон весной подняла с земли чувал с пшеницей, и три недели месячные шли. Ну, а тут вижу, чтой-то не так... Знаки появились... Вчера ходила в станцию к фершалу. Было со стыда пропала... Зараз уж все, отыгралась бабочка!

— Лечиться надо, да ить страмы сколько! Их, эти болезни, говорят, залечивают.

— Нет, девка, мою не вылечишь. — Дарья криво улыбнулась и впервые за разговор подняла польшущие огнем глаза. — У меня — сифилис. Это от какого не вылечивают. От какого носы проваливаются... Вон, как у бабки Андроники, видала?

— Как же ты теперь? — спросила Наталья плачущим голосом, и глаза ее налились слезами.

Дарья долго молчала. Сорвала прилепившийся к стеблю кукурузы цветок повителя, близко поднесла его к глазам. Нежнейший, розовый по краям раструб крохотного цветочка, такого прозрачно-легкого, почти невесомого, источал тяжелый плотский запах нагретой солнцем земли. Дарья смотрела на него с жадностью и изумлением, словно впервые видела этот простенький и невзрачный цветок; понюхала его, широко раздувая вздрагивающие ноздри, потом бережно положила на взрыхленную, высушенную ветрами землю, сказала:

— Как я буду, спрашиваешь? Я шла из станицы — думала, прикидывала... Руки на себя наложу, вот как буду! Оно и жалковато, да, видно, выбирать не из чего. Все равно, ежели мне лечиться — все в хуторе узнают, указывать будут, отворачиваться, смеяться... Кому я такая буду нужна? Красота моя пропадет, выдохну вся, живьем буду гнить... Нет, не хочу! — Она говорила так, как будто рассуждала сама с собой, и на протестующее движение Натальи не обратила внимания. — Я думала, как ишо в станицу не ходила, ежели это у меня дурная болезнь — буду лечиться. Через это и деньги отцу не отдала, думала — они мне пригодятся фершалам платить... А зараз иначе решила. И надоело мне все! Не хочу!

Дарья выругалась страшным мужским ругательством, сплюнула и вытерла тыльной стороной ладони повисшую на длинных ресницах слезинку.

— Какие ты речи ведешь... Бога

побоялась бы! — тихо сказала Наталья.

— Мне он, бог, зараз ни к чему. Он мне и так всю жизнь мешал. — Дарья улыбнулась, и в этой улыбке, озорной и лукавой, на секунду Наталья увидела прежнюю Дарью. — Того нельзя было делать, этого нельзя, всё грехами да страшным судом пужали... Страшнее этого суда, какой я над собою сделаю, не придумаешь. Надоело, Наташка, мне все! Люди все поопостытели... Мне легко будет с собой расквитаться. У меня — ни сзади, ни спереди никого нет. И от сердца отрывать некого... Так-то!

Наталья начала горячо уговаривать, просила одуматься и не помышлять о самоубийстве, но Дарья, рассеянно слушавшая вначале, опомнилась и гневно прервала ее на полуслове:

— Ты это брось, Наташка! Я не затем пришла, чтоб ты меня отговаривала да упрашивала! Я пришла сказать тебе про свое горе и предупредить, чтобы ты ко мне с нынешнего дня ребят своих не подпускала. Болезнь моя прилипчивая, фершал сказал, да я и сама про нее слышала, и как бы они от меня не заразились, поняла, глупая? И старухе ты скажи, у меня совести нехватает. А я... я не сразу в петлю полезу, не думай, с этим успеется... Поживу, порадуюсь на белый свет, попрощаюсь с ним. А то ить мы, знаешь, как? Пока под сердце не кольнет — ходим и округ себя ничего не видим... Я вон какую жизнь прожила и была вроде слепой, а вот как пошла из станицы по-над Доном да как вздумала, что мне скоро надо будет расставаться со всем этим, и кубыгть глаза открылись! Гляжу на Дон, а по нему зыбь, и от солнца он чисто серебряный, так и переливается весь, аж глазам глядеть на него больно. Повернись кругом, гляну, — господи, красота-то какая! А я ее и не примечала... — Дарья застенчиво улыбнулась, смолкла, сжала руки и, справившись с подступившим к горлу рыданием, заговорила снова, и голос ее стал еще выше и напряженнее: — Я уж за дорогу и отрехала разов несколько... Подошла к хутору, гляжу — ребяташки махонькие купаются в Дону... Ну, по-

глядела на них, сердце зашлось, и разревелась, как дура. Часа два лежала на песке. Оно и мне нелегко, ежели подумать... — Поднялась с земли, отрянула юбку, привычным движением поправила платок на голове. — Только у меня и радости, как вздумаю про смерть: придется же на том свете увидеться с Петром... «Ну, скажу, дружка мой, Петро Пантелевич, принимай свою непутевую жену!».—И с обычной для нее циничной шутливостью добавила: — А драться ему на том свете нельзя, драчливых в рай не пускают, верно? Ну, прощай, Наташенька! Не

забудь свекрухе сказать про мою беду.

Наталья сидела, закрыв лицо узкими грязными ладонями. Между пальцев ее, как в расщепках сосны смола, блестели слезы. Дарья дошла до плетеных хворостяных дверей, потом вернулась, деловито сказала:

— С nonешнего дня я буду есть из отдельной посуды. Скажи об этом матери. Да, ишо вот что: пушай она отцу не говорит про это, а то старик взбесится и выгонит меня из дому. Этого ишо мне недоставало. Я отсюда пойду прямо на покос. Прощай!

(Продолжение следует.)

Товарищ Сталин

Т. ШАМШИЕВ

Давивший вечной тьмой ислам — киргизы знали,
Тоску с нуждою пополам — киргизы знали,
Неволи зло, неправды срам — киргизы знали,
Но дал богатство беднякам — товарищ Сталин!

И радостно в родном краю — живет киргиз.
Со всей страной в одном строю — идет киргиз.
Готовишь, враг, стрелу свою, — но берегись:
Еще почувешь ты в бою, — как бьет киргиз.

Полей искусных мастеров — киргизы дали,
Учителей и докторов — киргизы дали,
И Красной армии бойцов — киргизы дали,
Взрастил нас лучший из отцов — товарищ Сталин!

Какое счастье рождено — у нас в горах!
Какое солнце зажжено — у нас в горах!
Как согревает нас оно — в своих лучах!
Все Сталиным озарено — у нас в горах!

Политиками пастухи — киргизы стали,
Лепить, играть, слагать стихи — киргизы стали,
Орденоносцами сейчас — киргизы стали,
Не даром выпестовал нас — товарищ Сталин!

С вершин своих Тяньшанских гор — к вождю придем.
Найдем зажженный лаской взор, — тепло найдем,
И задушевный разговор — начнем с вождем,
Когда с вершин Тяньшанских гор — к вождю придем.

Гроза, что встала над врагом, — товарищ Сталин!
Заря, что светится кругом, — товарищ Сталин!
Рукоплесканий наших гром — товарищ Сталин!
И наша речь, когда поем, — товарищ Сталин!

Перевел с киргизского
СЕМ. ЛИПКИН.

Патриоты

Повесть

С. ДИКОВСКИЙ

ГЛАВА I

Вдоль границы, от заставы Казачка к Медвежьей губе, ехали трое: капитан Дубах, доброволец Павел Корж и отец молодого бойца, сельский кузнец Никита Михайлович.

Ехали молча. Запоздалая уссурийская весна бежала от океана таежной тропой, рушила пятками лед, дышала на голые сучья дубов и кидала жаворонков в повеселевшее небо. Вслед за ней, обгоняя всадников, летели птицы и пчелы.

Весело было взбираться вверх каменистой, звонкой тропой. Ветер раздувал на ветлах зеленое пламя, орешник и жимолость подставляли солнцу прозрачные листья, папоротник выбрасывал тугие, острые стрелы, только вязы не слушались уговоров ручья, еще тянуло из падей ровным погребным холодком.

Ехали долго. Через ручьи, сквозь шиповник и ожину, мимо низкорослых, ровных дубков, и выбрались наконец на самый гребень сопки.

Открылась земля такая просторная, что кони сами перешли в рысь. Манчжурия уходила на юг — пустынная, затянутая травой цвета шинельного сукна. Земля была беспокойной, горбатой, точно под ее пыльной шкурой перекатывалась мертвая зыбь.

Никита Михайлович толкнул сына локтем. Старик любил вспомнить при случае сумасшедший мукденский поход.

— Видел, где твой батька подметки оставил? — крикнул он, выезжая вперед.

— Поедем, поищем, — сказал сын, смеясь. — А ты разве в пехоте служил?

— Нет, в гусарах....

— То-то привык за гриву держаться.

— Сказал бы я тебе, Пашка...

— Скажи.

— Коня конфузить не хочется.

Они стали взбираться дальше, дружески шпыняя друг друга и завидуя легким ногам капитана, сжимавшим дончика, как пружины; впереди—маленький краснощекий отец, накрытый, как кололом, тяжелым плащом, за ним сын, большеголовый крепыш, озадаченный скрипом новых сапог и ремней. А тропа все крутилась по гребню, ныряла в ручьи, исчезала в камнях и снова бросалась под ноги коням — звонкая, усыпанная блесками кварца. Голова кружилась от ее озорства.

Между тем трава исчезла. Ноги коней по бабку стали уходить в жесткий пепел. Дико чернели вокруг всадников прошлогодние палы. Никита Михайлович с'ежился, помрачнел. Разговор оборвался.

Наконец лошади стали. За ручьем лежал город — незнакомый, глиняный, с четырьмя толстыми башнями по углам. Начальник не взглянул на него. Он спрыгнул с коня и снял линялую фуражку перед каменной глыбой.

— Читайте сами, — сказал он Никите Михайловичу.

Во впадинах надписей, высеченных на глыбе неумелой, но сильной рукой, светила дождевая вода.

*Он был пулеметчиком, сыном народа,
Грозой для бандитов, стеною для
родины.*

А. Н. Корж. 1935 год. Ноябрь.

Теперь был апрель. Мимо глыбы лети пронизанные солнцем облака и отжимавшие на дубах упругие листья.

Никита Михайлович вынул записную книжку и переписал надпись. Начальник смотрел на него прищуренным глазом. Другой глаз закрывала черная блямба.

— Не знаю, как насчет рифмы, — сказал капитан осторожно, — а смысл мне кажется правильным.

Никита Михайлович нагнулся, поднял из пепла пулеметную гильзу и долго вертел ее, точно сомневаясь, мог ли быть озорной, большеротый Андришка «грозою для бандитов». Гильза еще не успела позеленеть.

— Это его позиция? — спросил он наконец, не глядя на Дубаха.

— Да, — ответил начальник.

— Он умер сразу?

— Нет, — ответил начальник.

Вдруг Никита Михайлович повернулся и, ухватив жесткими пальцами красноармейца за пояс, затряс его с неожиданной яростью.

— Подбери боталы! — закричал он стариковским фальцетом. — Какой ты к чорту солдат! Нудька! Простокваша!

Он долго кричал, поминая крепким словом и Андрея, и Павла, забыв, что сам привез сына на Дальний Восток. Рослый красноармеец пошатывался от взрывов яростного отцовского горя. Наконец он поймал отца за руки и грубовато заметил:

— Давайте, папаша, успокоимся...

Никита Михайлович сунул гильзу в карман и сказал капитану более спокойно:

— Баба, совсем баба... Это он такой только сегодня... квелый...

— Вижу, — ответил Дубах и, отойдя от камня, стал снова рассказывать, как в стычке с японцами, прикрывая собой

левый край сопки, был убит пулеметчик Корж.

Это был долгий рассказ, потому что, пока во фланг японцам ударил эскадрон маневренной группы, прошло четыре часа, и Корж шесть раз отбивал атаку противника.

Когда капитан кончил рассказ, ветер успел высушить камень. Фазаны выбрались из кустов и грелись на солнце, не обращая внимания на людей. Весна бежала по тропам, тормоза, щекоча, путая прошлогоднюю траву.

— В десяти шагах от пулемета мы подобрали японца, — сказал в заключение Дубах, — он упал на собственную гранату. Это бывает, когда слишком рано снимают кольцо.

— Он был офицером? — спросил Павел.

— Нет, рядовой второго разряда.

— Самурай оголтелый, — сказал зло Никита Михайлович и, путаясь в плаще, стал садиться на лошадь.

ГЛАВА II

... Самураем он не был и никогда не задумывался о таких высоких вещах. В цейхгаузе 6-го стрелкового полка еще лежали проолифенный плащ новобранца и синяя хантэн¹ с хозяйским клеймом на спине.

Четыре года этот рослый парень работал на туковарнях Хоккайдо и так провонял тухлой сельдью, что в казарме его тотчас окрестили рыбьей головой. Это было сказано точно. Все мысли Сато были заняты сельдью, камбалой и кетой. Воспитанный в уважении перед деревенскими писцами, он был почитаем к начальству, старателен на занятиях и сдержан в разговорах с приятелями... Он молчал даже в праздничные дни, когда теплое саке развязывает солдатские языки и отпускники наперебой начинают врать о своих похождениях в кварталах «джорой»... Но стоило только завести речь о ценах на сельдь или о шпаклевке кунгасов, как Сато преображался: его глаза становились веселыми, голос убедительным, а движения сильных рук такими размаши-

¹ Рабочая куртка.

стыми, точно перёд ними были не казарменные нары, а морской берег. Уж тут-то он мог поспорить с кем угодно, хоть с самим господином синдо¹.

Сато вырос на западном побережье Хоккайдо и знал все: сколько локтей в ставном неводе, когда начинается нерест кеты, почему камбала любит холодную воду и сколько дакт скупщики за корзину свежих креветок...

За три месяца жизни в казарме Сато успел смочь терпкий запах рыбы, водорослей и смолёных сетей, но кличка прилипла, как рыба чешуя... По вечерам, после занятий, приятели любили подсмеиваться над старательным и наивным северянином.

— Анна-нэ!² — объявлял во всеуслышание горнист Тарада. — Кто знает, почему возле Карафуто стало видно морское дно?

Ответ был известен заранее, но тотчас несколько шутников с самым удивленным видом подхватывали невинный вопрос:

— В самом деле...

— Что случилось с морем, Тарада?

— Я думаю, оно высохло от тоски, — замечал с глубокомысленным видом толстяк Миура.

— Нет, — объявлял Тарада торжественно, — дно видно потому, что Сато съел всю морскую капусту...

Жаловаться в таких случаях было бесполезно. Фельдфебель, сам любивший шпынять деревенщину, сидел поблизости, багровый от смеха, и делал вид, что не слышит шуток Тарада.

Впрочем и казармы, и фельдфебель были давно позади. Восьмые сутки «Вуго-мару» шел вдоль западного побережья Хонсю, собирая переселенцев в свои обширные трюмы. Пароход опаздывал. Он брал крестьянские семьи в Отару и Акита, лесорубов из Аомори, плотников в Муроране, плетельщиков корзин из префектуры Гояма, гончаров из Фукуи. Он грузил бочки с квашеной редькой и агэр-агаром, мотыги, котлы, брезентовые чаны для засолки, тысячи корзин и свертков самых фанта-

стических очертаний. Чем дальше к югу полз «Вуго-мару», тем глубже уходили в воду его ржавые борты. В Аомори еще видны были концы огромных винтов, а в Канавава исчезла под водой даже марка. Капитан прекратил погрузку.

Последними поднялись на борт шесть храбрых молодцов в одинаковых сиреневых шляпах. У них были документы парикмахеров и чемоданы, слишком толстые для переселенцев. Разместились они вместе с коммерсантами и учителями в каютах второго класса.

Наконец пароход вышел в открытое море, увозя с Хонсю и Хоккайдо ровно полторы тысячи будущих жителей Манчжу-Го и охранную роту стрелков.

Стойкий запах разворошенных человеческих гнезд поселился в трюмах. Люди разместились на двойных деревянных нарах; семейные завесились занавесками, зажгли свечи.

В глубоких железных колодцах голова плескались, как в бочках. Были здесь крестьяне из южных районов, рыбаки, прачки, безработные матросы, уличные торговцы, проститутки, монахи, садовники и просто искатели счастья и славы. Только детей почти не замечал Сато в трюмах. Переселенцы еще осторожничали, хотя официальные бюллетени военного министерства сообщали, что партизанский отряд «братья Севера» давно разгромлен возле Цин-Цзяна.

Все это пестрое население орало, переругивалось, грохотало на железных палубах своими гета и приставало к караульным солдатам с расспросами. Больше всего возни было с крестьянами. Точно вырванные из земли кусты, захватившие корнями комья земли, переселенцы стремились перенести на материк частицу Японии. Они везли с собой все, что смогли захватить: рисовые рогожи, шести для сушки белья, холодные хибати, домашние божницы, соломенные плащи, садовые ножницы и круглые деревянные ванны, не просыхавшие целое столетие. Старики захватили с собой даже обрывки сетей. Они покорно кивали головами, когда господин старшина объяснял, что никакого мо-

¹ Старшина на рыбалках.

² Послушайте!

ря в Манчжурии нет, и хитро подмигивали друг другу, едва этот толстяк поворачивался к ним спиной. Не могло быть в мире такой земли, где бы не блеснула вода. А там, где вода, — наверно, найдется и сельдь, и крабы, и камбала.

Если бы была возможность, упрямыцы погрузили бы с собой и паруса, и древние сампасены, и стеклянные шары поплавков, но пароход уже шел открытым морем, покачиваясь и поплеывая горячей водой.

— Каммата-нэ! ¹ — сказал наконец старшина, совершенно отчаявшись. — Спорить с вами все равно, что кричать ослиному уху о будде..

— Извините, мы тоже так думаем, — поспешно ответили с нар.

— Всю эту рвань придется оставить в Сейсине.

— Мы тоже так думаем..

— Уф-ф.. — сказал господин старшина, озадаченный таким покорным лукавством.

И он ушел наверх к капитану заканчивать партию в маджан, начатую еще по дороге в Цуругу.

Между тем голубая полоска берега все таяла и таяла. Реже стали попадаться сети, отмеченные красными буйками. Исчезли парусники с квадратными, темными парусами и легкие исабунэ ² рыбаков. По левому борту «Вуго-мару» проплыл последний остров — горбатый, с карликовыми соснами на гребне. Видимо, ветер дул здесь в одну сторону — деревья стояли, вытянув ветви к юго-западу, точно собираясь улететь вслед за облаками. «Вуго-мару» — ржавый утюг в шесть тысяч тонн весом — шел, покачиваясь, неспеша разглаживая пологую волну. За кормой дрались чайки, раздирая выброшенные коком рыбы кишки.

Наконец Хонсю стал таким далеким, что никто уже не мог сказать — остров это или просто клочок пароходного дыма.

— Третье отделение, в носовую каюту! — крикнул ефрейтор, рысцой пробегая по палубе.

Сато нехотя отвалился от борта. Чертовски неприятно было покидать палубу ради двухчасового урока русского языка. Легче пройти с полной выкладкой полсотни километров, чем произнести правильно «корухоз» или «пуримет».

Сато нарочно пошел на бак кружным путем, через весь пароход. Когда он вошел в узкую железную каюту, третье отделение уже сидело за столом, выкрикивая гоговые фразы из учебника майора Цугияма. Это был странный язык, в котором «а» и «о» с трудом прорезывались среди шипящих и свистящих звуков, а «р» прыгал, как горошина в свистке.

Собеседником Сато был Тарада — гнилозубый, насмешливый морячок из Осака. Он знал немного английский, ругался по-китайски и утверждал, что русский понятен только после бутылки саке.

Третье отделение повторяло «разговор с пленным солдатом».

— Руки вверх! — кричал Сато. — Стой! Иди сюда. Кто ты есть?

— Я есть солдат шестой стрелковой дивизии, — отвечал залпом Тарада..

— Куда вы шел?.. Не смей молчать!.. Сколько есть пуриметов в вашем полку?.. Высказывай правду.. Как зовут вашего командира?

— Он есть майор Иванов. Сколько есть пуриметов? Наверное, тридцать четыре.

Потом они разучивали разговор с почальоном, с девушкой, с мальчиком, стариком и прохожим.

— Эй, девушка! Пойди сюда, — предлагал Сато. — Оставь бояться.. Японский солдат наполнен добра.

— Я здесь, господин офицер, — покорно отвечал Тарада, стараясь смягчить свой застуженный голос.

— Смотри на меня, отвечай с честью. Где русский офицер и солдат?.. Они прыгнули сюда парашютом.

— Простите.. Радуюсь вами, я их не заметил..

— Однако это есть ложь. Не говори так обманно. Этот колодец еще не отравлен солдатами? Слава богу, мы не грабители. Мы тоже немного есть христианцы.

¹ Экая напасть!

² Рыбачьие лодки.

— Покажи язык, — сказал Тарада, когда Сато захлопнул учебник. — Эти упражнения — чертовски опасная штука... Одному солдату из третьего взвода пришлось ампутировать язык...

— Глупости, — сказал Сато недоверчиво.

— Клянусь... Бедняга орал на весь госпиталь. — Подвижное лицо Тарада приняло грустное выражение. — Бедняга вывихнул язык на четвертом упражнении, — добавил он тихо, — а ведь его еще можно было спасти.

Все еще сомневаясь, Сато осторожно высунул язык.

— Шире, приятель, шире, — посоветовал Тарада серьезно. — Так и есть... Он скрутился, как штопор...

И шутник сразмаху ударил Сато в подбородок.

Раздался смех. Жизнь на пароходе была так однообразна, что даже прикушенный язык вызвал общее оживление. Обезумев от боли, Сато бросился на обидчика с кулаками.

— На место! — крикнул грозно фельдфебель Огава. — Тарада, вы опять?

— Я объяснял ему произношение, — сказал смиренно Тарада.

— Молчать!.. Вы ведете себя, как в борделе...

И он вышел из каюты, чтобы доложить о случившемся господину подпорщику.

Язык Сато горел. Чувствуя солоноватый вкус крови, солдат с ненавистью смотрел на маленького, развязного человечка, которого он мог сшибить с ног одним ударом кулака. Всем было известно, что Тарада—хвостун и наглец. Он держал себя так, как будто не к нему относилось замечание господина ефрейтора.

— Кстати, о языке, — заметил Тарада, едва захлопнулась дверь каюты. — Вы знаете, как в Осака ловят кошек? Берешь железный крючок № 4 и самый тухлый рыбий хвост. Потом делаешь насадку и ложишься за дерево. Мямя, — говоришь ты какой-нибудь рыжей твари как можно ласковей... Мияу-у, — отвечает она, давась от жад-

ности. Тут ее и подсекаешь, как камбалу, за язык или щеку... Котята здесь не годятся. Их кишки слишком слабы для струн сэми-сена... Хотя за последнее время...

Стукнула дверь. Вошел очень довольный фельдфебель Огава.

— Тарада! Двое суток карцера! — объявил он во всеуслышание.

— Слушаю, — ответил Тарада спокойно. — Сейчас?

— Нет, по прибытии на квартиры. Остальные могут приступить к развлечениям.

Развлечений было два: домино и патефон с несколькими пластинками, отмеченными личным штемпелем капитана. Кроме того, можно было перечитывать наклеенное на железный столб расписание дежурств и разглядывать плакат «Дружба счастливых». Плакат был прекрасен. Два веселых мальчика — японский и манчжурский — ехали на ослах навстречу восходящему солнцу. Вокруг всадников расстилалась трава цвета фиесташки, и мальчики, обнимая друг друга, улыбались насколько возможно искренно. Внизу была надпись: «Солнце озарило Манчжурию. Вскоре весь мир станет раем».

Однако никто не любовался плакатом. За десять дней плавания мальчики примелькались, как физиономии фельдфебелей.

Четверо солдат завладели домино. Остальные, сидя на койках, ждали своей очереди и вполголоса обсуждали ближайшие перспективы переселенцев.

— Г-говорят, и расселят на самой границе, — сказал заика Мияко.

— Да... Им будут давать по пятьсот цубо¹ на душу.

— Кто это вам сообщил? — заинтересовался ефрейтор.

— Я слышал от господина ротного писаря.

— Ничего не известно, — оборвал ефрейтор.

Наступила пауза.

— Г-говорят, что русские могут спать прямо на снегу, — сказал невпопад Мияко.

¹ Цубо — 3,305 кв. метра.

— Ну, это враки...

— Они очень сильны... Я сам видел, как русский грузчик поднял два мешка бобов.

— Это потому, что они едят мясо, — пояснил с важностью ефрейтор. — Зато они неуклюжи.

— «Симбун-майничи» пишет, что у них отличные самолеты.

— Глупости. Наши истребители самые быстроходные... — И господин фельдфебель стал подробно пересказывать вторую главу из брошюры «Что должен знать о русских японский солдат». По его словам, на пространстве от Байкала до Тихого океана населения меньше, чем в Осака. Русские так богаты землей, что тысяча хори¹ считается у них пустяком. Они ленивы, как айносы², и жадны, как англичане. Железо и уголь валяются у них под ногами, но они ищут на севере только золото.

О русских солдатах фельдфебель отозвался весьма пренебрежительно, как подобает настоящему патриоту.

— Партизаны опаснее регулярных войск, — сказал он в заключение. — Партизан может попасть из ружья ночью в мышиный глаз, если не пьян, конечно.

Зашипела пластинка, и солдаты умолкли. Грустный женский голос запел известную песню о японском солдате, убитом сибирскими партизанами. Пела мать героя. Голос ее был мягок и глух. Если закрыть глаза, можно легко представить пустой дом, бречание семи-сэна на улице и мать, протянувшую руки над хибати. Тихо звенят угли. Остриженная траурно-коротко, она раскачивается и поет:

В дом вошел солдат незнакомый,
Снега чистого горсть передал.
Снег, как горе: он может растаять, —
Незнакомый солдат мне сказал.

— Где Хакино? — его я спросила,
Сети пусты, и лодка суха.
— Тонет тот, кто плавает смело, —
Незнакомый солдат мне сказал.

Над головами слушателей гудела от ударов воды железная палуба. Светло-

¹ Хори — 15,423 кв. км.

² Небольшая, почти вымершая национальность на севере Японии.

зеленые волны беспрестанно заглядывали в иллюминаторы. Временами распахивалась дверь, и мелкая водяная пыль обдавала собравшихся. Впрочем, солдаты не обращали на это внимания. Это были рослые, круглоголовые парни с Хоккайдо, которым предстояло увидеть если не Сибирь, то нечто на нее похожее. Каждый из них представлял себя на месте «убитого Хакино»... Голос женщины был мягок, но слова будили в солдатах тревогу и злость.

— Был бы он лейтенантом сегодня, — вспомнила мать и умолкла. Тарада, успевший заглянуть в костяшки соседей, с треском положил плашку на стол:

— Был бы я ефрейтором сегодня, — сказал он с досадой. Раздался смех. Всем было известно, что Тарада за драку на Каботажной пристани был разжалован в рядовые второго разряда.

Язык Сато горел. Противно было смотреть на оттопыренные уши Тарада и слушать его дурацкие шутки.

— Разрешите выйти по надобности? — спросил Сато ефрейтора.

— Ступайте. Это уже шестой раз...

— Извините... Меня укачало.

Он долго бродил по железной палубе, побелевшей от соли. За два часа все изменилось неузнаваемо. Туман закрывал теперь мачты, трубу и даже часть капитанского мостика. Беспрестанно бил колокол. Надстройки на баке казались страшно далекими, точно очертания идущего впереди корабля. Казалось, что «Вуго-мару» покачивается на якоре, но стоило только посмотретья внимательнее, и тотчас десятки деталей выдавали непрерывное движение парохода. Тихо повизгивали по краям палубы цепи рулевого управления, вздрагивал корпус, вертелось на корме колесо лага, а когда Сато заглянул за борт, то поразился быстроте мутной реки, бежавшей вдоль «Вуго-мару».

Все четыре люка были открыты. Капитан сэкономил электричество; на дне трехэтажных трюмов горели свечи. Люди успокоились, привыкли к сумраку, постоянному дрожанию железных нар и резкому запаху карболки, играли в маджан и хацци-дзи-хацци. Сквозь ровный

гул, поднимавшийся из трюмов, иногда прорезывалась песня, затянутая одиноким певцом.

Трюм походил на дом в разрезе. Странно было видеть на крыше этого мирного дома скорострельную пушку Гочкиса. Закрытая чехлом, перехлестнутая тросами, она стояла на корме «Вуго-мару», напоминая переселенцам о возможных опасностях.

Возле пушки всегда толпились любопытные. Бравый вид солдат, их металлические шлемы и суровые лица вызывали у деревенщины почтительный восторг.

Один из зевак — крестьянин с сухими руками, отмеченными пятнами фурункул, — остановил Сато.

— Простите, почтенный, — начал он робко, — ведь вы уже были на Севере?

Почтенный! Это было сказано снизу вверх. Первый раз за полгода службы Сато почувствовал себя настоящим солдатом. Уши его побагровели от удовольствия. Он хотел ответить наивному собеседнику «нет», но язык опередил желание Сато.

— Да, — сказал он поспешно, — я был в Манчжу-Го.

— Говорят, что там нет ни деревьев, ни рек...

Подражая господину фельдфебелю, Сато выпятил губы:

— Глупости!

— Однако многие возвращаются обратно...

— Глупости, — повторил Сато твердо, — ничего не известно.

И он зашагал дальше, заметно важничая, не замечая своих распустившихся обмоток.

ГЛАВА III

Он приехал в отряд прямо со знаменитой стройки №... — маленький, озабоченный человечек в резиновых тапочках и пыльном ватнике, надетом на шевиотовый пиджак. Его глаза были красны от известковой пыли и бессонницы. Голубые, белые, зеленые, желтые брызги покрывали плечи и кепи при-

ехавшего, точно по дороге в отряд призывник попал под дождь из масляных красок.

— Фу ты, какой запорожец, — заметил командир-пограничник, пораженный такой пестротой. — Ваша фамилия?

— Корж!

Это было сказано с достоинством. Бригадир штукатуров и маляров был заслуженно знаменит. За свои двадцать два года он успел выкрасить четыре волжских моста, два теплохода, фасад Дома союзов, шесть водных станций, решетку зоосада и не меньше тысячи крыш.

Впрочем, он нес свою славу легко. Она не обременяла ни стремянок, ни люлек, на которых работал знаменитый маляр.

Корж назвал себя и ждал от командира достойного ответа.

— А-а-а, — сказал пограничник довольно спокойно и поставил карандашом синюю птичку. — Сейчас вас проводят в каптерку.

И все. Корж даже немного обиделся.

— Стройка? Слыхали?

— Нет, — сказал командир с сожалением. — Где же слышать?

В тот же вечер Коржу срезали чуб и выдали сапоги, скрипевшие, как пара телег. Он получил также измятую шинель, учебную винтовку с черным прикладом и старенький клинок.

Затем отделком, старательный толстощекий барабинец, показал Коржу, как подшивать воротничок и заправлять койку. Он долго умащивал круглый, как колбаса, матрац, расправляя одеяло и, наконец, отойдя в сторону, наклонил голову набок, любуясь дивной заправкой.

— Как яечко, — сказал он мечтательно.

— Яичко...

— Вот, вот... Теперь глядите, что тут обозначено... Тут обозначена буква «ны»... Ну — значит ноги...

— Эн, — поправил Корж.

Отделком обиделся. Он вкладывал в обучение душу и не любил, когда его поправляли первогодки, не умевшие даже фуражку толком надеть.

— Давайте не будем вступать в пререканья, — заметил он строго. — Ны есть буква «ны». А теперь возьмите бирку, напишите фамилию и повесьте у изголовья...

Корж нехотя подчинился. Как не походило все это на бурную жизнь пограничника, которую он так ясно себе представлял.

Корж рассчитывал в первый же день увидеть Манчжурию, но отряд стоял в 80 километрах от границы, в селе, ничем не напоминавшем Дальний Восток. Совсем как на Кубани, белели здесь мазанки, шатались по улицам гусаки, и скрипели над колодцами журавли, только вместо соломенных крыш всюду лежал американский гофрированный цинк.

Кому в 22 года не снится бурка Чапэева? Корж мечтал о кавалерийской атаке, о буденновской рубке, погоне, перестрелке в горах. Он уже видел под собой золотистого дончика, высокое седло и непременно голубой чепрак со звездой.

Вместо этого его привели в класс и посадили за стол. Молодой командир в галифе, подшитых кожей, в щегольских джимми, нарисовал на доске подобие бочки на четырех тумбах.

— Что мы наблюдаем? — спросил он, обводя строгими глазами бойцов.

— Лошадь.

— Нет... Мы наблюдаем, как такового, боевого коня.

Затем посреди бочки появилось сердце в виде туза, два венка — легкие, и командир начал подробно объяснять украинским и сибирским колхозникам, для чего нужен боевому коню пищевод.

Корж не выдержал:

— А когда же будет езда?

— Практические занятия — завтра.

После урока к Коржу подошел отделком.

— Если что неясно, требуйте у меня разъяснения, — сказал он приветливо. — Конь, как таковой, устроен просто...

— Да мне...

Но отделенный командир уже стучал о доску мелком.

... Ночью, скатываясь с гладкого, как «яечко», матраца, Корж видел себя главным объектом лошадиной науки. Голый, он стоял посреди кабинета директора 618-й стройки, и маленький, лысый Бровман, тыкая Коржу в живот счетной линейкой, рассудительно спрашивал: А что мы наблюдаем? А мы наблюдаем пищевод боевого коня.

Как многие первогодки, Корж проснулся раньше побудки. Он долго лежал, представляя своего гнедого дончика, и звон шпор, и высокое скрипучее седло, пока крик «подымайсь» не потрянул кавалериста с постели.

На манеже его ждало разочарование. Вместо гнедого жеребца Коржу дали толстого белого мерина, одинаково равнодушно возившего и почту со станции, и новичков из учебного батальона. У коня были лукавые глаза, седые ресницы и мохнатые мягкие губы, тронутые зеленью по краям. Стоило только вывести бывалого коня на манеж, и он начинал бегать, точно заведенный, — ровной и страшно тряской рысью. При этом голова его ритмично качалась, а в глубине толстого брюха отчетливо слышалось: вурм-вурм-вурм.

Звали мерина «Кайзером», и начальник маневренной группы клялся, что он встречал коня еще под Перемышлем в 1915 году.

Обиднее всего, что «Кайзер» был без седла. Вместе с другими первогодками Корж должен был трястись на голой лошадиной спине, как деревенский мальчишка, соскакивать, бежать рядом, положив руку на холку, потом делать толчок, снова соскакивать — и так без конца.

Охотно ходил Корж только на полигон. Здесь по-настоящему чувствовалась граница. В густой рыжей траве перекликались фазаны. Пахло мертвыми листьями, юфтью, кисловатым пороховым дымком. На солнце было тепло, а в тени уже звенели под каблуком тонкие ледяные иглы.

Тир находился в ложине. Бесконечными цепями расходились отсюда сопки. Первый ряд был грязновато-песочного цвета, второй немного светлей, третий отвечивал голубизной, а уже дальше

шли горы богатейших черноморских оттенков, от темносиних до пепельных.

Приятно было улечься на густую травяную кошму, найти упор для локтей и, приподняв винтовку, почувствовать ее холодок и бодрящую тяжесть. Стреляли, туго перехватив руку ремнем, — приклад ложился, как врезанный. В прорезь прицела виднелся маленький аккуратный солдат в круглом шлеме. Он тоже целился из винтовки.

Первые дни солдат бесстрашно стоял во весь рост. Потом он припал на колени, потом лег. Эта хитрость даже понравилась Коржу. Каждый день он мысленно разговаривал с солдатом.

— Хочешь в лоб? — спрашивал он, щупая переносицу. Круглый глаз противника заметно подмигивал.

— Прячешься?.. Ну, держи.

Ветер шевелил мишень, и солдат откровенно смеялся.

— Мало? На еще...

Вместе с обоймой кончался и разговор.

— Корж... Чего вы колдуете? — спрашивал командир взвода. — Придержите дыхание.

Впрочем, это говорилось только для порядка. У первогодка были крепкие руки и глаза цейсовской дальнобойности.

Все чаще и чаще картонный солдат возвращался из тира с простреленным шлемом или дырой в подбородке.

Приближалась зима. По утрам, как чугунная, звенела на манеже земля. Осыпались последние жолуди. Над станицей, где стоял отряд, висел синий кизячий дым — во всех печах гудело пламя. А Коржа попрежнему держали в учебном батальоне.

Все шло по-старому. Дни ложились плотно, как патроны в обойму, только обойма эта не заряжалась ни разу. «Живем, как в Пензе, — писал отцу Корж, — чистим сапоги, вместо пороха нюхаем ваку... Того гляди, назначат в каптеры».

А между тем на границе было далеко не спокойно.

По ночам натужными голосами орали завязшие в болотах грузовики, и прожектора прощупывали мосты и беспокойную, горбатую землю.

На краю села казачки накрест заклеили стекла бумагой — промерзшая земля гудела от взрывов. Станичные девчата делились с первогодками калеными семечками и новостями.

Шел 35-й год. С укреплений восточной полосы еще не сняли опалубки, но бетон уже затвердел. Упустив время, противник нервничал. Изо дня в день с застав сообщали о выкопанных пограничных столбах и задержанных диверсантах.

Появились раненые. По двору лазарета вторую неделю катался в ручной коляске красноармеец с пергаментно-светлым лицом. Один глаз у него был голубой, веселый, другой закрывала черная блямба. Девчата передавали красноармейцу через ограду целые веники подмерзшей резеды и гвоздики.

Однажды Корж не выдержал:

— Где это вас?

— За Утиной протокой, — сказал негромко боец.

— Японцы?

— Нет, свои... земляки...

Ловко перехватывая колеса худыми руками, он ехал вдоль ограды, вспоминая пограничные встречи.

... Шел из Владивостока ясноглазый, застенчивый паренек-комбайнер. И в расчетной книжке, среди бухгалтерских отметок, были найдены цифры, вписанные симпатическими чернилами.

... Шла из Манчжурии полуслепая китаянка-старуха с теленком. Было известно заранее — переправляется партия опиума. Но только на третий день на брюхе теленка пограничники обнаружили два кило липкой отравы, размазанной по шерсти, точно грязь.

... Шел охотник с берданкой и парой фазанов у пояса. И в картонных патронах к берданке нашлись чертежи, свернутые пыжами.

А в последний раз на тропе возле Утиной протоки пограничный наряд встретил подгулявших козцов. Три казака, в рубахах нараспашку, с узелками и «литовками» на плечах, шли, размазывая тягучую песню, завезенную дедами с Дона.

Их окликнули. Они отозвались охотно. Оказались — колхозники.

Их спросили: «А какой бригады?». Старший ответил: «Первой лыськовской». И точно — такая бригада слыла лучшей в колхозе.

Их еще раз спросили: «Зачем в сумерках бродите вдоль границы?». Тогда старший, — сквернослов, с толстой шеей и выправкой старого солдата, — подмигнув товарищам, ответил, что идут козцы брать на буксир отстающий колхоз.

И, уже совсем было поверив козцам, отделком порядка ради потребовал пропуск: ведь шел же однажды бандит с крутом пастуха и шашкой динамита в кармане.

— Ну, а как же, — сказал весело старший козец, — есть и пропуск.

Тут, присев на корточки, он развернул пестрый свой узелок и, вынув бутылку-гранату, с матерщиной метнул ее в пограничников.

В трех козцах опознали москитную белую банду из соседнего манчжурского городишки Цин-Цзяна.

Корж хотел было спросить, что случилось дальше с козцами, но из лазарета вышел санитар и, ворча, увез больного в палату.

После этого разговора Корж помрачнел. Сытая, толстая морда «Кайзера» казалась ему удивительно глупой, гармонь фальшивой. Было ясно одно: в то время как он метит в картонную рожу, где-то возле Утиных проток идет настоящий аврал.

В тот же вечер он сел писать громовую статью в «Ильичевку», но докончить ее не успел. Коржа вызвали в штаб к командиру учебного батальона.

— Ну и что ж, — сказал батальонный, поздоровавшись с Коржем, — поздравляю с назначением и все такое прочее. Застава Казачка. Выезжайте завтра. Кстати тут и начальник.

Возле печки грелся бритоголовый командир в забрызганных грязью ичигах. У него были массивные плечи, пшеничные усы и пристальные, слегка насмешливые глаза бывалого человека.

Он шагнул к Коржу и загремел палашом.

— Сибиряк?

— Наполовину...

Командир засмеялся.

— Ну, добре... потом разберемся, — сказал он сильным баском. — А пока спать. Побудка без четверти три. — И он постучал по стеклышку часов крепким обкуранным ногтем.

ГЛАВА IV

Автомобили шли степью. Шестнадцать крупновских грузовиков с воем и скрежетом взбирались на сопки, затян timer мертвой травой.

Стоял март — месяц последних морозов. Солнце освещало голые сучья кустов, низкие клены и сверкавшую, как наждак, мерзлую землю.

Степь пугала переселенцев простором и холодом. Ржавая посредине, сиренево-пыльная по краям, она трети сутки плыла мимо автомобильных бортов. Вероятно, весной здесь было прекрасно... Высокие кусты богульника, какие-то черные зонтики, пыльная мята, крепкая, как проволока, повилика, толстые стебли лилий в низинах — все это, перепутавшееся листьями и корнями, напоминало о стремительном и могучем цветении.

Стоял март... Степь была еще безобразна. Пепел и ржавчина — два любимых цвета манчжурской зимы — провожали отряд от самой железной дороги.

Замотав головы бумажными платками, укутавшись в одеяла, переселенцы дремали, подскакивая на уздах и корзинах. Солдаты были лишены и такого отдыха. Они сидели в открытых машинах, выпрямившись, зажав винтовки между колен. Нестерпимо ярки были иней и голубой лед ручьев. От резкого ветра слезились глаза. Многие солдаты

надели шелковые маски, предохраняющие нос и скулы. Это придало отряду зловещий вид.

Светлосерый «Фиат» поручика Амакасу скользил впереди колонны, парусиновый верх машины был демонстративно откинут.

Амакасу не поднял даже теплого, обезьяньего воротника. Он сидел, выпрямившись, положив руки на эфес сабли — олицетворение спокойствия и воинской выдержки. Из-под мехового козырька торчали пепельный нос и выбеленные морозом усы.

Люди молчали. Нудный стон телеграфного провода, треск морозной травы и грохот солдатских ботинок, — только эти звуки сопровождали колонну в степи. Продроганные стрелки, что было сил, стучали ногами в дно грузовиков. Когда стук становился особенно сильным, Амакасу останавливал головные машины. Он высаживал солдат и переселенцев и заставлял их бежать по дороге.

Это было фантастическое зрелище. Полтораста мужчин, в платках и шляпах, резиновых плащах, грубых фуфайках, пальто, рыбацких куртках, в резиновой обуви или обмотанных соломой гета, взбегали на сопку. Их подгоняли проворные и старательные солдаты в меховых шапках и коротких полушубках.

Сам господин Амакасу, жилистый, в легких, начищенных сапогах, бежал впереди орущей, окутанной паром колонны, придерживая блестящую саблю и маузер.

Бравый вид поручика, его равнодушные к морозу вселили бодрость в притихших переселенцев. Слышался смех, удары ладоней по спинам, из застуженных глоток вырывались остроты. Но все сразу умолкало, едва автомобили трогались в путь.

Так миновали, не останавливаясь, поселки Шансин и Хай-Чун, низкие, глиняные, с тощими псами на площадях, переправившись по льду через реку Хаяр и повернули на запад, где переселенцев ждала земля, а солдат — жизнь, полная приключений и подвигов...

... Еще в Осака, по совету фельдфебе-

ля, Сато купил никки¹, маленький, темнозеленый, с изображением девушки, приложившей палец к губам. Старательно и бестолково заносил сюда Сато свои впечатления о дороге. Покамест они не отличались особым разнообразием:

«... 22-е февраля. Проехали 110 километров. Выдавали сигареты и по одной сакадзукэ сакэ. Господин фельдфебель осматривал ноги. Табак по-китайски зовется хун-иен.

23-е февраля. Проехали 116 километров. Господин поручик приказал зажечь гаолян. Мяко ложно утверждает, что видел ночью хунхузов. Получил порицание... Огурец по-китайски—хун-гуа... Капуста—бай-дза... Выдали мисо тофу², по четыре конфеты... Холодно.

24-е февраля. Проехали сто три километра. Раздавили одну собаку. Когда распухают пальцы, следует опускать в горячую воду. Господин фельдфебель сказал: трусость — врожденное свойство манчжур. Перец — лидзиау. Дыня — сянг-гуа. Утром лопнула шина...».

Только одно происшествие случилось с отрядом на пути в Гусоулин.

Был солнечный, ветреный полдень, когда колонна пересекла плато и стала углубляться в рошу. Отряд сильно растянулся. Головные машины уже катились в роше, подсакивая на корнях, а взвод, замыкающий движение, еще двигался по открытому месту.

Неожиданно степь задымилась от пыли. Три огромных бурых воронки появились на горизонте. Они долго раскачивались, то подходя друг к другу, то расставаясь, похжие на трех дозорных, осматривающих степь, и вдруг, точно сговорившись, сразу двинулись к северу.

Шофер прибавил газ. Машина была уже на краю роши, когда туча режущей пыли, снега, сухой травы обдала солдат. Над головами переселенцев заколыхались деревья. Заскрипели стволы. Роша наполнилась резким свистом и шумом. Туча листьев отделилась от земли и унеслась вверх, в голубые просветы.

¹ Дневник.

² Творог из бобов.

Вместе с ней поднялось несколько солдатских шлемов.

Невидимые грабли с шумом прочесывали лес. Клены раскачивались, точно выбирая, в какую сторону свалиться, и вдруг одно из деревьев рухнуло, едва не придавив автомобиль с пулеметчиками. Раздалась команда:

— Все из машины! Очистить дорогу!

Но смерчи уже удалялись, взвывая траву, пыль и листья. Десять солдат с трудом оттащили в сторону упавшее дерево.

Пыль улеглась, и в лесу стало заметно светлее. Вершины кленов еще раскачивались, но внизу было совсем тихо. Охваченные тревогой, переселенцы продолжали придерживать растрепанные ветром цыновки.

Солдаты, суеверные, как все крестьяне, зашептались, провожая глазами вихрящиеся воронки. Сато вытащил кирманый компас и постучал по стеклышку. Синяя стрелка вздрогнула и замерла. Смерчи шли на северо-восток.

— К чорту в ворота, — сказал негромко Тарада.

— Это бывает только в год засухи.

— Плохое начало.

— Да... И притом сегодня, кажется, пятница, — заметил встревоженно Сато.

— Замолчать! — крикнул ефрейтор, которому тоже было не по себе.

Они снова выбрались в степь. Столбов смерча уже не было видно. Отъехали километров пять, и вдруг из облаков, с огромной высоты, стали падать холодные кленовые листья, унесенные смерчем.

Чтобы рассеять тягостное впечатление, господин поручик распорядился выдать по две рюмки сакэ.



Отряд медленно двигался к северу. Не легко было добраться до пустынного рая, о котором уже третий год кричали газеты. Двое молодых солдат умерли от бери-бери еще по дороге в Сейсин, несколько южан отморозили ноги на перегоне Муляо — Дун-Чжун, а неразговорчивый пулеметчик Цугамо был списан на острова после очередного просмотра солдатских дневников.

На вечерней поверке господин фельдфебель объявил об этом печальном случае так:

— Не чувствуя под собой почвы Ямато¹, рядовой 2-го разряда Цугамо проявил малодушие и в тоске возвратился в казармы 6-го полка.

... Тоска по Ямато... Вот уж чего Сато никак не мог понять. Он долго посмеивался, вспоминая унылую фигуру Цугамо... Стоит ли тосковать по вяленой камбале и сорному ячменю, если здесь каждый день дают мисо, тофу, рис, сахар и овощи, а по праздникам леденцы и сакэ? С гордостью Сато оглядывал новый полушубок, подбитый белой овчиной, бурки и шерстяные перчатки. Чего стоил один только китель с прекрасными бронзовыми пуговицами, жестким воротником и поперечными красными погонами. А просторный ранец, набитый запасными башмаками, бельем, патронами и галетами, скрипучий, восхитительно воняющий свежей кожей и лаком... А гладкий, алюминиевый котелок... А ящик с лекарствами... Нет, надо быть грязной свиньей, чтобы после всего этого зубоскалить, подобно Цугамо.

Щеки Сато лоснились. Он был сыт, благодарен, счастлив. Еще ни разу он не открывал банки с гусиным салом, не растирал спиртом побелевших пальцев. Толстая фуфайка, горячая кровь и ладанка из хвоста ската отлично защищали его от мороза и ветра. С первого взгляда ладанка не внушала доверия, но гадальщик был так назойлив, что Сато пришлось раскошелиться. За три иены он получил шершавый мешочек и несколько ценных советов. Он узнал, что должен остерегаться пятницы, не спать с раскосыми женщинами и ждать несчастья на 43-м году жизни.

Сато шел двадцать второй. Подпрыгивая на высокой автомобильной скамье, он спокойно рассматривал мертвую степь. Земля поражала Сато безлюдьем. Он привык к побережью Хоккайдо, где на каждом шагу видишь мокрые сети и слышишь «охай!»». Здесь только арбы, скрипевшие в стороне от дороги, напо-

¹ Древнее название Японии.

минали о жизни. Фанзы манчжур были пусты, пергамент на окнах разорван, печи холодны. На глиняных полах валялись груды тряпья и бумаги. Встречались и трупы — темные, занесенные пылью, застывшие в удивительных позах. Возле потухших кузниц валялись колеса. Меха и железо были унесены в горы, где ковались самодельные сабли и пики.



Несколько раз ночь заставляла колонну в мертвых поселках. Это были короткие остановки без приключений и занимательных встреч. Одна ночевка была похожа на другую, как потертые цыновки, на которых спали солдаты. Сначала санитарный врач исследовал воду в колодцах и отмечал желтым мелком неподвижные фанзы, затем отряд располагался на ночлег.

Света в фанзах не зажигали. Только пламя, ворошившееся в низких печах, освещало то стриженные солдатские головы, то руки, жадно ловившие тепло. Странно было видеть издали темные, молчаливые фанзы, из труб которых вылетали искры и дым.

Обыскивая один из таких поселков, отделение Сато обнаружило в фанзе старуху. Растрепанная ведьма в стеганых солдатских штанах сидела на корточках возле казанка. Она даже не обернулась, когда в дверь вошел господин поручик в сопровождении переводчика и солдат.

— Встать! — кричал Сато, но старуха не шелухнулась, только глубже вобрала голову в плечи.

В порыве усердия Сато ударил чертовку прикладом и получил за это замечание от господина поручика.

— Отставить, — сказал Амакасу, — вы слишком старательны...

— Слушаю, господин поручик.

— ... старательны и глупы. Вы должны разъяснить населению их ошибки и внушать уважение к императорской армии. Господин Мито, переведите этой женщине, что я порицаю поступок солдата.

Но и это великодушное замечание не подействовало на старуху. Она продол-

жала сидеть на корточках, размешивая ложкой какое-то клейкое варево. Переводчик подумал, что старуха глуховата, он наклонился к ней и крикнул прямо в ухо:

— Господин поручик порицает поступок солдата!

Старуха медленно повернула голову и уставилась на сапоги господина поручика, точно завороченная их блеском.

— Сын, — сказала она монотонно.

Господин Амакасу не понял. Он присел на корточки напротив старухи и стал терпеливо объяснять, почему население сделало ошибку, уйдя в горы. Поручик умел говорить увлекательно. Не повышая голоса, не угрожая репрессиями, он осуждал безрассудство ушедших и рассказывал о великой миссии императорской армии. Шесть солдат и фельдфебель почтительно слушали прекрасную речь господина поручика.

Желая дать низшим чинам наглядный урок вежливости, Амакасу назвал грязную старуху почтенной.

— Терпение и благоразумие — лучшие качества земледельца. Пусть очаг обещает вашу почтенную старость.

С этими словами господин поручик привстал и с любопытством заглянул в котелок.

— Сын, — повторила старуха.

— Ну-ну... Вы еще увидите лучшие времена.

Что-то похожее на любопытство засветилось на сморщенном лице китайки. Губы ее растянулись, и не успел переводчик закончить фразу, как старуха схватила темными руками казанок и выплеснула горячее варево на Амакасу.

... Ее не расстреляли, хотя новая куртка господина поручика была основательно испорчена. Ведьму просто выдрали шомполами.

После этого к ней вернулась любезность. Утром, когда господин фельдфебель умывался, старуха держала кувшин. Она стояла согнувшись и сухими глазами смотрела на упрямый толстый затылок, оттопыренные уши и скачущую струйку воды. Руки ее дрожали от тяжести кувшина.

Умывшись, фельдфебель великодушно сунул обмылок в сухую старушечью лапку.

Через час ветер и моторы соединили свои монотонные голоса. Снова понеслась вдоль бортов промерзшая земля, блестящая, как наждак. Взгляды скользили по ней, не задерживаясь на пологих холмах. Изредка, делая огромные прыжки, перебегали дорогу шары перекати-поля. Сато с любопытством провожал их глазами; дико выглядели горбатая земля и скачущие по ней клочья травы.



Дальше к северу стали чаще встречаться леса и постройки из бревен. В одном из поселков солдаты увидели странные мелкоглазые дома с высокими крышами. Пахло дымом, сеном, скотом. Стаями маршировали злые, жирные гуси. Из многих калиток выглядывали женщины с большими, красными щеками. Точно рыбаки, они повязывали головы цветными фуросики¹.

У вьезда в село трое мужчин остановили головную машину. То были носатые, рослые старики в бараньих шубах и войлочной обуви. Самый старший — великан с раздвоенной бородой и колючими, светлыми глазами — держал блюдо, прикрытое полотенцем. От блюда шел пар.

— Кто это? — спросил Сато, пораженный необычайной внешностью жителей.

Сидевший рядом с ним пулеметчик Кондо вздрогнул и открыл глаза. Равнодушный и ленивый, он всегда дремал в машине, несмотря на запрещение господина ефрейтора.

— Кажется, это русские, — сказал он спокойно.

— Разве мы ошиблись дорогой?

— Не знаю.

Многие вскочили, чтобы лучше разглядеть, что происходит у головной машины.

— Сесть! — крикнул ефрейтор. — Можно подумать, что вы ни разу не видели росские.

— Простите, я не уяснил...

— Потому что вы хлопаете ушами на занятиях. Это росские, но они враждебны России. Коммунисты расстреляли их императора и семь русских генро¹.

— Расстрелять императора! — Сато осторожно хихикнул. Он не знал еще, что полагается делать — негодовать или смеяться? — Сына Аматерасу. Человека с кровью богов. Шутник этот Акита! Но лицо ефрейтора было серьезным, и солдат остолбенело уставился на начальника. Это звучало так дико, что Сато даже заспел от изумления. Микадо. Овальное, матовое лицо, густые брови, лишенные блеска глаза, яркий рот, оттененный усами. Это лицо, загадочное и спокойное, было с детства знакомо каждому сыну Ямато. Оно глядело с газетных страниц и открыток, с детских кубиков и обложек журналов...

Сато попробовал представить себе другого, русского, императора, бородатого, в каске и лакированных сапогах, с голубой лентой, усеянной орденами коршуна всех степеней. Но и русский император был грозный, живой, — мертвого Сато никак представить не мог.

С чувством уважения смотрел он на трех русских самураев, потерявших царя. Из рта старшего вырывались клубы пара. Он точно давился свистящими и рычащими звуками. Переводчик еле успевал подхватывать отдельные фразы:

—... Свет с Востока... Трудлюбивые сеятели, тоскующие по отчизне... Монаршая милость...

— Чего они хотят? — поинтересовался поручик.

— Они приветствуют воинов Ямато и просят принять пирог и шкуру медведя...

Подарки были положены на сиденье машины, но казак продолжал говорить, поблескивая острыми, хитрыми глазами:

— Русские сироты... Братство закона и правды...

Господин Амакасу терпеливо ждал, когда оборвется поток свистящих и рычащих звуков. Наконец он поднял ру-

¹ Платки.

¹ Генро — отмирающий институт несменяемых императорских советников в Японии.

ку. Русский самурай почтительно крикнул и придержал дыхание.

— Очиен хоррошо, — сказал господин поручик по-русски. — Передайте населению наше благодарю и ура.

Ротный писарь передал белякам подарки: банку чая «липтон», две зажигалки и коробку трубочного табака.

Колонна медленно проехала мимо стариков, козыряющих каждой машине.

Когда высокие крыши деревни скрылись из глаз, господин Амакасу поднялся и выбросил пирог из машины. Горячее тесто долго дымилось в ржавой траве.



... Термометр показывал минус 30°. Чем дальше продвигался отряд к северу, тем резче сверкал иней и сильнее становились морозы. Многие надели консервы. Темные стекла и наносники придавали солдатам вид угрюмых ночных птиц.

Стали чаще встречаться повозки с огромными колесами, обитыми гвоздями. На дорогах валялось тряпье. Наконец возле самого Цин-Цзяна, в болотистой низине, заросшей шпажником, отряд встретил манчжур.

На берегу протоки белели палатки саперного батальона. Больше тысячи крестьян, мобилизованных на дорожные работы, насыпали высокую дамбу, по гребню которой шел паровой каток. На готовом участке красными кирпичами были выложены иероглифы: «Мир, труд, благоденствие».

Беспомощный вид землекопов, их унылые, темные лица и засаленная одежда отлично подтверждали слова господина фельдфебеля о превосходстве японского духа. Эти люди не умели ни работать, ни ценить родину, ни защищаться.

Увидев отряд, крестьяне опустили мотыги. Землекопы поспешно расчистили узкий коридор для колонны. Однако ни один из них не ответил на приветствие господина фельдфебеля.

— Наверно, они оглохли, — заметил с усмешкой Тарада.

— Кроты!

— Взгляните, какая у этого зверская рожа...

— Типичный хунхуз...

— Вот падаль!

Видя благосклонную усмешку господина фельдфебеля, ротные остряки открыли беглый огонь по молчаливой шеренге манчжур. Каждая шутка вызывала взрыв хохота. Так приятно было прочистить глотки после томительного молчания в степи.

Даже увалень Сато не удержался и крикнул:

— Здорово, навозные черви!

Наконец возле протоки колонна остановилась. Раздалась команда:

— Набрать воды в радиаторы!

Сато и Кондо первые схватили брезентовые ведра и спустились на лед. Протока промерзла до дна. Ветер сдул снег. Гладкая голубая дорожка уходила на юг. Солдаты побежали по ней, скользя и падая.

Это было занятное путешествие. В пузыристой, светлой воде стояли неподвижные рыбы. Сато топнул ногой. Рыбы не шевелились: они вмерзли в лед. Тогда Сато вынул тесак и вырубил кусок льда вместе с рыбой. Она была плоской, с острыми красными плавниками и золотистым брюшком.

Возле поселка работал взвод саперов. Звенела круглая пила, связанная приводом с автомобильным мотором. У солдат были пепельные щеки и седые от мороза ресницы.

Сато поделился сигаретами с одним из саперов. То был настоящий солдат, подвижной, обтертый в походах крепкий с насмешливым, багровым лицом. Глотка его шипела, как испорченный кран.

— Так вы из Хоккайдо? — спросил сапер, с трудом выталкивая слова. — Говорят, в Саппоро несчастье... Ячмень упал еще на две сэны.

— Не знаю, — сказал Сато. — Здесь всегда такой холод?

— Всегда... Две сэны на момме¹. Так вы ничего не слышали насчет ячменя?

— Нет... У нас уже четверо отморозили ноги.

¹ 4 кило.

— Холодно, очень холодно, — повторил сапер, пританцовывая. — Видите свай? Это наш семнадцатый мост. Клен, как железо... Утром сменили два диска. Так вы куда, приятель, — в Цин-Цзян?

— Ничего не известно.

— Видно, вы первый год носите ранец. В пустыках не бывает секретов.

— Говорят, здесь высокие урожаи? — заметил Сато уклончиво.

— Дерьмо. Рай для каторжников.

Пока они разговаривали, вода в брезентовом ведре успела подернуться иглами льда. С берега понеслись нетерпеливые гудки автомобилей.

— Берегите уши, — просипел сапер на прощание. Но Сато не слышал. Держа ведро и замерзшую рыбу, он мчался по голубому, пузыристу льду к автомашине.



Они проехали еще с полсотни километров, и вдруг автомобили подняли дружный рев. Впереди за болотистым полем виднелись две башни. Низкая, глиняная стена, укрепленная контрфорсами, обегала городские постройки.

Тявкал небольшой колокол. На улицах качались разноцветные кисти и шары из бумаги, а из каждой трубы, напоминая о тепле и горячей еде, поднимались колонны синего дыма. То был город, живой и теплый.

Из всех фургонов глазели переселенцы, закутанные в одеяла и разноцветные платки.

— Анна-нэ! — крикнул громко Огава. — Да здравствует Цин-Цзян!!

Ему нестройно ответило несколько застуженных глоток.

Из городских ворот навстречу колонне уже мчались кавалеристы в шлемах, отороченных мехом.

ГЛАВА V

После бесконечных поездок, шума и резкого света новостроек «Казачка» поразила Коржа своей тишиной. Низкое здание заставы, сколоченное из дубовых

бревен, стояло в ложбине. Можно было под'ехать к «Казачке» вплотную и не заметить ни темной крыши, ни мачт радиостанции, ни забора, раскрашенного черно-желтыми пятнами.

Здесь лошади не ржали, собаки не лаяли, сапоги не скрипели. Многие из красноармейцев, отправляясь в дозор, заматывали копыта коней тряпками, а пешие надевали ичиги.

День и ночь на заставе не имели границ: люди жили здесь в нескольких сутках сразу. Просыпаясь, бойцы видели в окнах вечернее солнце и засыпали с петухами, чистили сапоги ночью и умывались в полдень.

... Только три дня прошло с тех пор, как на утренней поверке впервые выкликнули фамилию Коржа, но бойцам и начальнику уже казалось, что всю жизнь они видели это безбровое, веселое лицо и беспокойные, крапленные веснушками руки. Корж много ездил и, вероятно, один видел больше, чем целый взвод красноармейцев-барабинцев. Стоило только вспомнить какую-нибудь область, город или новостройку, как он немедленно вмешивался в разговор.

Он знал, что в Новороссийске из города на «Стандарт» ездят на катерах, что в Бобриках выстроили кинотеатр «почище московских», что Таганрог стоит на горе, что в тбилисских банях вода пахнет серой. Он мог рассказать, как пройти к Дому крестьянина в Минске, сколько суток идет пароход от Казани до Астрахани, как выглядит дэмна и в какой цвет окрашен Кремлевский дворец. На заставу Корж привез уйму цепких словечек, смешных рассказов, песен, а главное — настоящий хроматический баян, с могучими мехами, ремнем на зеленой подкладке и таким количеством перламутровых пуговиц, что хватило бы на сотню косовороток.

В первый же вечер Корж вынул баян из футляра и поставил перед бойцами на стол.

— Кто желает? — предложил он небрежно.

Все замолчали, поглядывая то на баян, то на незнакомого, широкогортого первогодка. Инструмент слепил глаза черным лаком и никелем застежек. Бо-

язно было прикоснуться к его сверкающим клавишам.

Осторожно кашлянул только повар — маленький, кривоногий человечек, с лицом калмыка. Он был запевалой всех песен и первым музыкантом заставы.

— Разрешите? — спросил повар почтительно. — Я сейчас...

Он сбегал к раковине, вымыл руки яичным мылом и только тогда принял на колени тяжелый инструмент.

Многие, предвзвывая удовольствие, даже зажмурились.

— Ну, держитесь! — сказал отделком Гармиз.

— Ой, за гаем, гаем!

— Полечку, Ростя...

Но баян молчал. Повар растерялся. Его руки, привыкшие к тульской трехрядке, вдруг оостенели на перламутровых клавишах. Беззвучно потрогав кнопки, он снял ремень и с сожалением посмотрел на свои короткие, красные пальцы.

— Извиняюсь...

Баян шумно вздохнул.

Заиграл Корж... Уже по одному вступительному аккорду, зарокотавшему, как волна, стало ясно, что баян в хозяйских руках.

Знакомая легкая мелодия венгерки на цыпочках прошла по комнате, пробуя упругим носком половицы. Корж не торопил ее. Он сидел, наклонив голову, шевеля бровями, точно удивляясь отчетливым звукам, вылетающим у него из-под пальцев. Гармонь почти не дышала, хотя на помощь одинокому альту уже выбегали тенора и временами одобрительно поддакивал мягкий басок.

Мелодия медлила. Она еще обегала второй круг, но по лицу Коржа видно было, что вот-вот грянет настоящее. Брови музыканта взлетели высоко и замерли, маленькие, крепкие ноздри раздулись. Движением плеча он поправил ремень. И баян грянул. Все, что было в нем веселого, озорного, звонкого, сразу вырвалось из мехов и осветило казарму. Высоко поднялись девичьи голоса, еще выше их — скрипки и флейты. Ударили по контрабасам смычки, вскрикнули домры, проскулились коло-

кольчики, дружно зарокотали гитары, октавы расстелили под ноги танцующим свое густое гуденье, а бубен, глупый и веселый, побежал вдоль круга, догоняя мелодию.

Корж сидел неподвижно. Только вызолоченные веснушками, беспокойные пальцы легко и цепко трогали пуговки.

И вдруг кто-то крикнул:

— Лампа!

Копотная струйка подымалась к потолку и разлеталась черными мухами. Музыка оборвалась. Отделенный командир, ворча, стал закрывать стол газетными листами.

— Нотно сыграно! — сказал повар почтительно и немного грустно, потому что втайне завидовал музыканту.

Все с уважением посмотрели на крепкого, большеголового первогодка, небрежно перебиравшего лады. У него было простодушное лицо деревенского парня, но в глазах блестели хитринки.

Проводник Нугис, огромный, молчаливый латыш, погладил баян и спросил:

— Тысячу потянет?

Музыкант засмеялся:

— А вот уж не вешал... Премия...

И он показал серебряную дощечку, врезанную в крышку баяна.



Стоял февраль — единственный зимний месяц, когда снег не сохраняет следов. Ветер точно работал по сговору с нарушителями. Он заметал все: лыжи, спички, окурки, остатки костров, прятал в пушистой, снежной толще запахи овчины, сапог, табака.

Участок был трудный. Давно прошли времена, когда нарушители рисковали головой из-за дюжины чулок или банки ханшина. Контрабанда стала не самоцелью, а маскировкой. Шел стреляный зверь — без документов, без адресов, без оружия, агенты доихаровской¹ школы, умевшие с равным искусством лгать и молчать на допросах.

Конные дозоры беспрестанно об'езжали распадки; проводники собак, пуле-

¹ Крупнейший организатор японского шпионажа на Дальнем Востоке.

метчики, снайперы неутомимо прочесывали дубняк и заросли ожины, тянувшиеся вдоль границы.

Задержали старуху, ходившую «исповедываться» к попу на ту сторону границы-реки. Она несла длинный поминальный список усопших, и между именами старушечьих родственников Дубах нашел вписанные молоком фамилии командиров укрепленного участка.

Привели глухонемого корейца с замечательным фотоаппаратом, вделанным в ручные часы.

Подстрелили голубя и в записке, примотанной к лапке, прочли: «Петр будет в субботу. Ждем папирос».

Сам Дубах, надев белый халат, вышел навстречу гостю. Две ночи он провел в секретах вместе с бойцами...

В субботу Петр не пришел, но в понедельник, во время сильной пурги, в соседнем китайском городишке Буйнине поднялась стрельба. На рассвете отделком Гармиз задержал возле знака № 17 двух партизан, бежавших из манчжурской тюрьмы... У обоих были обрезаны уши.

Больше всех задержаний имел Нугис — проводник знаменитого Рекса, — молчаливый латыш с плечами Поддубного и крутым девичьим румянцем во всю щеку.

Не истратив за зиму ни одного патрона, он доставил на заставу 37 человек.

Несколько раз Корж сопровождал арестованных. Это был пестрый народ: зеленщики, макосеи, перебежчики-солдаты из цин-цзянского гарнизона, родственники зарубежных казаков, бандиты, об'единенные одним общим словом «нарушители». С тех пор, как появились первые партии японских переселенцев, стали чаще попадаться манчжурские землеробы. В поисках работы и мира они переходили границы целыми группами и, прежде чем достать документы, показывали широкие и жесткие ладони. Впрочем, трудно было сказать, кто друг, кто враг. Всех без исключения нарушителей распутывали в отряде.

В наряды Корж еще не ходил. Он уже привык по тревоге, одним рывком

сбрасывать одеяло и сон, мог с завязанными глазами собрать пулемет и неплохо держался в седле, но начальник не спешил с назначениями...

Прежде, чем стать командиром, Дубах долгое время водил поезд. На всю жизнь он усвоил жесткое правило машиниста — ничего не делать с рывка. Он набирал скорость постепенно, причая первоходов битв без промаха, угадывать дорогу по звездам, заучивать каждый камень, куст, пеня на земле, которую им предстояло охранять в течение трех лет.

Он воспитывал в молодых бойцах зоркость к обыденному, острое чувство подозрительности к предметам и людям, попавшим в запретную полосу.

Однажды Дубах принес на занятия обыкновенный окуроч, подобранный нарядом в лесу.

— Что вы видите? — спросил он у Коржа.

— Бычок!

— Только-то? Осмотрите и доложите.

Корж старательно осмотрел окуроч... Он был сырой, желтый, с надписью золотом: «Бр. Лопато. Харбин».

— Китайский бычок, товарищ начальник!

Дубах улыбнулся:

— На этикетку не смотрите... У нас не школа ликбеза. А видим мы вот что...

И Дубах прочел десятиминутную лекцию об окурке. Оказалось, что переход был совершен давно (окуроч успел пожелтеть), нарушитель шел из-за границы (на нашей стороне харбинские папиросы не курят). Нарушитель шел днем (ночью курят только сумасшедшие). Нарушитель был или малоопытен, или неосторожен (иначе спрятал бы окуроч), нарушителю помешали (половина папиросы не докурена). Нарушитель пользуется мундштуком с очень узким отверстием (конец папиросы сильно скручен).

— Замечайте, — сказал Дубах, пряча окуроч в коробку, — все замечайте. Как дятел кричит... Когда японцы караулы сменяют... Где Пачихезу можно вброд перейти. Замечайте и подозревай-

те. Вопросительный знак — великое дело.



Как всякий начальник, Дубах был одновременно командиром и педагогом. Одним и тем же красным карандашом он отмечал пулевые следы на мишенях и ошибки первогодков в диктанте. Чертовски много нужно было знать молодому бойцу в 35-м году:

Как влияет ветер на пулю и велик ли в этом году урожай на Кубани? Сколько выстрелов в минуту дает пулемет Дегтярева и каковы тактические особенности японской пехоты? Что есть баллистика? Как устроен фильтр противогаза? Как изображают на картах сопки и лес? Сколько ребер у лошади? Для чего служит печень? Как перевязывать голень?

Это были своего рода обоймы, которые каждый боец получал на заставе вместе с конем, клинком и винтовкой.

Знаний было много, пожалуй, больше, чем имели иные комдивы времен гражданской войны. И все же, по мнению Дубаха, чего-то в занятиях не хватало. Чего именно, он еще сам не знал. Не установок, не новых идей... Скорее какой-то очень простой и мудрой формулы, объединяющей в себе все, что защищали на этом участке. Народы всех союзных республик, их земли, моря, их хлеб, железо, корабли, города. Нехватало одного короткого слова, доступного пониманию всех, слова, с которым идут в атаку и опрокидывают любого врага, которое, как материнское имя, вырывается у бойца перед смертью.

Это слово в 35-м году носилось в воздухе, но его не произносили.

Однажды Дубах пытался сформулировать свои мысли в статье для отрядной многотиражки. Он назвал свою статью «Патриоты», потом подумал и написал слово «красные». Письмо было напечатано с довольно ехидным редакционным замечанием, а на следующий день Дубаху позвонили из отряда.

— Нужно иметь чувство меры, — сказал помполит. — ... Прежде всего

интернационализм, идея... А вы прямо с плеча... Если хотите — это заскок.

— Не вижу, — ответил Дубах упрямо, — прошу раз'яснить...

Ни телефонный разговор, ни последующая беседа в отряде не разубедили начальника. Он был согласен с тем, что «красный патриотизм» выглядит неуклюже. Нужно было сказать какое-то более прямое, точное слово.

И слово было сказано «Правдой». Родина. Сильнее, короче, ясней не придумаешь.

Сначала Дубах стал вырезать все передовые на тему о патриотизме. Потом перешел к статьям, где говорилось о подвигах патриотов. Он решил вести «Книгу героев» — подробную летопись подвигов, совершенных советскими патриотами после эпопеи челюскинцев, когда миллионы людей так ясно почувствовали все могущество родины...

Он разыскал в городе огромный альбом с шишкинскими медведями на переплете и стал наклеивать в него газетные вырезки и портреты героев.

Это была хрестоматия двадцатистрочных рассказов о мужестве, находчивости, скромности сотен малоизвестных советских людей. Системы тут не было никакой. Женщина-врач, привившая себе ради опыта бациллы чумы, встречалась на одной странице с участниками путешествия в стратосферу. Девушки-лыжницы — со студентом, спасшим женщину во время пожара; золотоискатели, раскопавшие сказочный самородок, — с чабаном, отстоявшим от волков отару овец... Были здесь летчики, налетавшие по миллиону километров, лучшие снайперы СССР, профессор, предложивший обезболить роды, пионер, задержавший бандита, советские сталевары, музыканты, танкисты, актеры, пожарные, академики.

День за днем книга рассказывала бойцам, кто такие — Коккинаки, Бабочкин, Лысенко, Ботвинник... Ее цитировали на политзанятиях, читали вслух каждый вечер...

Дубах гордился затеей. Он всерьез утерял коменданта участка, что с тех пор, как появилась «Книга героев», у

всех стрелков пули стали ложиться заметно кучнее, чем прежде.



Приближалась весна. Снег сошел, но в распадах еще лежал темный, мартовский лед. Сторожевые псы скулили. Из цин-цзянской степной полосы полз дым, горел подожженный японскими колонистами гаолян.

Дубах ходил мрачный, посапывал носом, точно принюхиваясь.

Третий месяц на участке существовала дыра. Кто-то, осторожный и опытный, знающий местность, как свою ладонь, водил пограничников за нос. Было использовано все: усиленные наряды, конные дозоры, секреты, лесные облавы — и все напрасно. Каждый переход, как прыжок в воду, — бесследен. Пробовали пускать собак, но даже Рекс, распутовавший на своем веку больше сотни сложных клубков, сконфуженно чихал, окунув нос в траву. Перец и нюхательный табак, рассыпанный нарушителем, жег собачьи ноздри.

Наконец, подвесили на тонких нитках колокольчики. Шесть ночей подряд прислушивались пограничники. Колокольчики молчали. Зато каждый день звонил телефон, и каждый раз начальник отряда суховаты спрашивал: «Ну?». Это «ну» стоило Дубаху многого. Он пожелтел, ссутулился, по суткам пропадал в тайге и, вернувшись, сразу сваливался на тахту. К нему вернулась скверная фронтовая привычка — ложиться, не раздеваясь. Шестилетняя дочка Дубаха — Илька, спавшая рядом, с испугом смотрела на оплетенные жилами руки отца. Они были так неподвижны и так тяжелы, что Ильке казалось — отец совсем не проснется. Но стоило только скрипнуть сверчку, как Дубах, не открывая глаз, поднимал тяжелую руку и говорил: «Я вас слушаю».

Телефон стоял возле самой подушки начальника. Дубах был глуховат и стыдился признаться в этом врачу. В сырую погоду глухота совсем одолевала начальника, тогда он клал трубку с собой в постель и засыпал, привалившись к мембране щекоткой.

Телефонная линия шла тайгой. Птицы садились на проволоку, белки пробовали на обмотке свои зубы, грозы наполняли линию треском и шорохом. Мембрана старательно нащептывала всю эту чепуху на ухо начальнику в то время, как он бормотал и ворочался, отмахиваясь от шопота, как от мухи...

...Илька любила подслушивать в левой телефон разговоры. Это можно было делать только тайком, когда отца нет на заставе. Стоит приложить трубку к уху, нажать клавиш, и она начала болтать всякую чепуху. «Минск! Минск! Минск!» — звал кто-то глухим голосом, точно из подвала. «Когда вы вернете Гуськова?».—«Фр-тюррю-фр-рти-уррю»,—отвечали неожиданные птицы из Минска. Потом трубка начинала храпеть, совсем, как отец, когда разоспится. Илька понимала, что где-то зазвучала часовая. Она знала, что спать на посту нельзя, и, чтобы разбудить красноармейца, несколько раз поворачивала ручку. Храп обрывался... «Кремль шестнадцать! — говорил быстрый, отчетливый голос.—Кого вызываете? Да, да, Кремль шестнадцать». И снова началось старое: комариный писк, гудение, странные разговоры Калуги с Кремлем о комсомольском собрании, валенках, мишенях, щенках... «Кремль шестнадцать!» — надрывался телефон. «Не надо спать!» — отвечала Илька, подражая отцу, и, довольная, выбегала из комнаты.

С тех пор, как Илька стала самостоятельно отворять двери, Дубах окончательно потерял на дочку влияние.

Илька все время пропадала в казарме. Особенно она любила сушилку и кухню. В сушилке всегда замечательно пахло табаком, кожей, дымом. На жердях рядами висели огромные болотные сапоги с подковами, сырые шинели и гремучие плащи с капюшонами. (В этих плащах можно было отлично прятаться от отца.) Красноармейцы сидели на низкой скамье, курили, вспоминали какой-то Барабинск и рассказывали разные интересные истории, в которых Илька почти ничего не понимала.

Еще интереснее было на кухне. Здесь чугунная дверца была румяной от жара,

на больших зеленых кастрюлях плясали крышки, а если Илька подходила близко к плите, черный чугунок говорил «пф-ф».

Повар тоже был совсем особенный, не такой, как другие красноармейцы. Он был не намного выше Ильки; маленький, кривоногий, с широким лицом и розовыми от огня белками. Вместо зеленой фуражки и шинели он носил смешной белый колпак и фартук, в карманах которого всегда лежали стручки гороха и губная гармоника.

Звали повара Беликом. Илька дружила с ним из-за гармоники и интересных рассказов. Белик знал все: как разговаривают собаки и дятлы, до скольких лет живет щука, почему у телефона привешена ручка, может ли пуля долететь до луны и зачем у мухоморов точки на шляпке.

Он мог еще играть авиамарш, склеивать змеи, показывать фокусы с пяточком и предсказывать погоду.

Он знал все. Когда Илька приносила из леса холодные, прозрачные ягоды костяники на тонких стеблях, Белик говорил настойчиво и сурово:

— Бросьте... Это рыбий глаз.

Он не мог точно объяснить, как рыбы глаза попали в тайгу, но Илька верила другу твердо.

Однажды в апреле, когда папоротник выбросил из прогретой земли свои острые стрелы, вдруг снова стало холодно. В ложбину, где стояла застава, прорвался ветер, ивы зябко зашевелили листьями, и отец велел Ильке надеть противное пальто. Встревоженная, испуганная, она побежала к повару.

— Белик, — спросила она грустно, — это опять зима? Да?

— Нет, — ответил повар, смеясь. — Это у дуба лист прорезается. Сегодня ночью будут почки трещать.

Ночью Илька выбежала в носках на крыльцо. Дубы стояли за ручьем, корявые, черные, подняв к месяцу голые руки. Рядом блестели тонкие прутья ветел. Клены укрывали от ночного холода сирень и орешник. Всюду пробилась зелень, даже бархатное дерево выбросило несколько острых листков. Только дубы еще упрямылись, делали вид, что

не замечают травы, щекочущей им корни.

Илька долго прислушивалась. Дубы молчали. Они были так упрямы, что у Ильки застыли ноги. Но все-таки она дождалась и услышала слабый звук, похожий на стук капли. Звук повторился. Сдерживая волнение, Илька бросилась к ручью. Она подбежала к самому толстому и упрямому из дубов и прижалась ухом к шершавой коре. Дерево молчало. Стучали рядом, падая на дно жестянки, капли березового сока: то Белик собирал квас.

Никакого треска Илька не слышала и вернулась в постель раздосадованная, в мокрых чулках. Она долго чихала, прежде чем заснула, а утром снова побежала к дубам. На этот раз Илька увидела, что повар был прав: маленькие, упрямые листочки прорезались из красноватых почек. Илька едва не заплакала от досады. Дуб перехитрил ее. Видимо, почки трещали как-раз тогда, когда она чихала в постели. Впрочем, Белик тут же успокоил ее, сказав, что почки стреляют раз в девяносто два года.

ГЛАВА VI

— Ну и музыка!

Корж в отчаянии устался на сапоги. Чорт знает, что выделявала свежая кожа. Она пела, пищала, ныла, стонала, скрипела, оповещая границу о приближении наряда. Пять километров бесстыдного пороссячьего визга. Ни смалец, ни рыбий жир не могли смягчить расевирепевшую юфть.

Скованный визгом, Корж боялся пошевелиться. А нужно было спешить. Низкое солнце уже било в глаза.

— Шагай на носках, — посоветовал Нугис.

Это был проводник знаменитого Рекса, мрачноватый отделком. Он стоял возле Коржа, заботливый, сероглазый великан, в порыжелых ичихах, и придерживал за щипец овчарку. Рекс повизгивал, нервничал. Запах юфти жег ноздри.

Раздался треск. Корж шел на цыпочках, широко расставив руки. Он поба-

гровел от досады. Он ждал всего: тревожного шопота, взрыва гранаты, выстрела в спину, прыжка оголтелого самурая, только не этого надсадного, мерного визга.

Корж завидовал Нугису, его обмятой шинели, легким ичигам, глуховатому голосу. Все было выверено, обтерто и пригнано у этого спокойного человека. Кобура его нагана была расстегнута, хотя Нугис почти никогда не стрелял на границе. И пули, и слова он расходовал одинаково редко.

... В молчании они перебрались по бревну через ручей, перешли рисовое поле и вошли в падь, такую глубокую и узкую, что раньше срока над их головами блеснула звезда. Потом пролезли под валежиной, свернули в старое русло Пачихезы и стали подниматься вверх, прыгая с камня на камень.

— Запоминай, — сказал Нугис.

А запоминать пришлось много; в глазах рябило от пней, падей, тропок, двойняшек—берез и камней, похожих друг на друга, как пара патронов. Изредка встречались окопчики, закрытые дерном и хворостом, залитые весенней водой. В одном из них валялись кусок патронного ящика и обрывок бинта.

Между тем тропа поднялась на гребень... Точно широкое казацкое седло, лежала гора среди дубняка. Две пади обегали мохнатые бока сопки и, сливаясь в узкую промоину, уходили на юг.

За промоиной, среди кочковатого поля, стоял глиняный город. Таких Корж не видел ни разу. По пустынным улицам носилась солома, чадили жаровни, завывали на площади тощие псы. Китаец в ватных штанах сидел возле харчевни, и ветер тряс над его головой бумажный тюльпан.

Едкий запах бобового масла, чеснока и мочи плыл через ручей, заставляя Рекса чихать. Непролазной нищетой, скукой старой манчжурской провинции несло от глиняной крепости. Не было видно тут ни свежего теса, ни штабелей кирпича, ни прозрачных столбов арматуры, ни бетонщиков, пляшущих в ямах. Корж смотрел на манчжурский город с высоты своих двадцати двух лет.

— Ну и курятник, — заметил он удивленно.

— Это Цин-Цзян, — сказал Нугис, — город серьезный... Два батальона.

— А дохлый...

— У него жизнь ночная... особая.

Раздался резкий звук горна. Нугис поспешно извлек часы.

— Тревога!.. Смотри, засекаю время...

Из глиняной казармы выскакивали и бежали к конюшне солдаты. Тонконогие, похожие на мальчишек, конники приторачивали тючки прессованного сена, термосы и пулеметные коробки. У всех солдат были широкие, меховые наушники, серые перчатки и суконные гамаша, закрывавшие носки ботинок.

Офицер, выделявшийся среди солдат только обезьяньим воротником куртки и блестящими голенищами, взмахнул рукой, — очевидно, скомандовал. Маленький отряд на рысях выехал за глиняные ворота и вскоре исчез в желтоватой мгле, висевшей за сопками.

— Ну, завтра будет гонка, — сказал отделком, — опять в норму не уложились...

— На тактические поехали?

— Какая тут тактика! Вчера переселенца в колодце нашли.

Прячась в кустах, они прошли еще с полкилометра и легли в холодную, мокрую траву. Небо позеленело, замутилось, утратило высоту. Наступили минуты многозначительного молчания, той сумрачной, кратковременной тишины, которая отделяет вечер от ночи, как узкая полоска горизонта — землю от неба. Сопки уже превратились в силуэты, но кроны деревьев еще не потеряли глубоких и нежных оттенков.

Выпь первой нарушила паузу. Глухим, подземным уханьем приветствовала она первую звезду. И сразу, со всех низин, ей ответили лягушки. Согретые болотной водой, изнемогающие от блаженства, они точно ждали сигнала. Восторженный, неистовый рев поднялся над рисовым полем.

Лунь пролетел над водой, поворачивая круглую кошачью голову. В его когтях бился суслик...



Странное чувство подавленности и тревоги охватило Коржа. Только-что все вокруг было так невозмутимо и ясно: блестела вода, лежал на тропе белый голыш, качались кленовые листья. Теперь даже соседний куст жил двойной, загадочной жизнью. Все шуршало, пряталось, шептало, скользило, ползло. Ручей, и тот бормотал по-корейски, только честные собачьи глаза, звезды да циферблат часов были бесспорны в этом мире намеков.

Корж вертел головой, рискуя сорвать позвонки. Он ждал. Он был терпелив. Как всякий новичок, он делал уйму ненужных движений: перекалывал винтовку, лазил в подсумки, ощупывал гранаты, ручной браслет.

Нугис лежал рядом, огромный, теплый, спокойный. Из травы торчал только конец шлема. Казалось, проводник даже посапывает.

Постепенно Корж успокоился. Среди тысяч неясных, случайных звуков он стал различать знакомые шумы. Где-то, бесконечно далеко, за сопками взвыл буксующий грузовик. Голос его то повышался до комариного звона, то гудел возмущенным, ровным баском. Все глуше и глуше звучал утомленный мотор. Металл точно жаловался окружающим сопкам на свое бессилие, на холод и грязь. И вдруг донесся короткий, торжествующий крик клаксона. Шофер вырвал машину. Слышно было, как грузовик, ворча, удаляется от опасного места.

Корж обернулся на звук; там, где недавно исчезла полоска заката, снова горел свет, — не багровый отблеск палов и не дымные прожекторные столбы, — просто небольшой светлый венчик, точно земля отдавала накопленное за день тепло.

Горело электричество. В глубоких котлованах возле Георгиевки, в тайге, на полевых базах, где заправлялись машины, в новом городе Климовске, в окрестных колхозах, вдоль железнодорожной ветки, уходящей на север, — всюду светились огни. Они согревали, ободряли бойцов, лежавших в мокрой

траве, напоминали о великой бессоннице, охватившей Дальний Восток.

Чувство огромного спокойствия охватило Коржа. Радостно было думать, что в каких-нибудь пятнадцати километрах за его спиной по пыльной улице ходят в обнимку девчата, что сейчас, ночью, ворчат бетономешалки, бегают десятники с логарифмическими линейками в карманах, что люди спят в поездах, учат дробь, аплодируют актерам, распрягают коней, пляшут, целуются, ведут автомашины.

И все это охранял он, Корж... Он еще раз нащупал гранаты. Их авторитетная тяжесть успокоила Коржа. Он приподнялся, чтобы подползти ближе к Нугису, но проводник неожиданно поднял руку. Рекс вскочил на ноги. Что-то странное делалось с псом. Он подобрал хвост, приложил уши и стал пятиться, издавая чуть слышный щенячий визг.

Нугис сжал ему пасть. Собака дрожала.

По гребню сопки быстро шли двое. Шли прямо на куст. Потом их оказалось четверо... Что случилось дальше, Корж вспомнил только под утро.

Кажется, он успел окликнуть два раза. Винтовка выстрелила сама по себе, в упор, в черную овчину бандита. Трое бросились в сторону.

— Назад! — крикнул Нугис.

Но Корж не слышал. Он стрелял на бегу. Он знал только одно: трое живы, трое прорвались, трое уходят. Не задумываясь, не ожидая товарища, он устремился за ними.



В два часа ночи Дубах отстегнул маузер и снял болотные сапоги. Он был доволен — день прошел тихо. Никто не оттирал отмороженных пальцев, не просил пополнить подсумки, не счищал с нагана сизую гарь.

Из отряда звонили только два раза, и то по мелочи, требовали сдать стреляные гильзы и спрашивали, готовы ли инвентарные списки библиотеки. Да комендант напомнил под утро, чтобы партийцы выехали на делегатское собра-

ние за два дня, потому что болста еще не всюду замерзли.

На цыпочках, чтобы не разбудить дочь, начальник прошел к полке и достал кусок холодной телятины. Илька спала на тахте, нахмутив пушистые брови, сердито сжав кулачки. Даже во сне она была бирюком. Что-то страшное снилось девочке. Она ворочалась, невнятно шептала, пищала тонко, как суслик...

Дубах посмотрел на нее и вздохнул. Обидно было, что Илька растет дикарем. Мать ее была полькой. Он привез ее из Ростова, прямо со школьной скамьи — веселую, зеленоглазую девочку, с пышной шапкой медных волос. Дубах ворчал — слишком шумно стало в казарме. Потом привык. То была женщина не слишком умная, но с горячим, радостным сердцем. Она любила Ростов, степь, тополя и побаивалась тайги.

Когда банда полковника Хуторова напала на заставу, Регина была на девятом месяце. Ее погубила горячность. Вместо того, чтобы лежать на полу, она вздумала таскать в окопы патроны. Ящики были тяжелыми: Илька родилась к концу перестрелки на койке производника Гущина, исполнявшего обязанности санитаря. Смелый боец, отчаянный кавалерист, он до того растерялся, что перерезал пуповину грязным кухонным ножом...

Илька походила на мать. Те же медные волосы, широкий, мальчишеский рот и озорные глаза. Только характер не тот. У матери смех вспыхивал, когда еще слезы не высохли. Илька редко смеялась, еще реже плакала. Она выросла без сверстников, без палочек-выручалочек, горелок, разбойников, обручей, пятнашек, скакалок — этих смешных и милых игр, без которых не обходится детство. Она ни разу не была в городе, не видела парохода, поезда, самолета, рояля, театра, зато совершенно точно знала, как надеваются подсумки, почему закапчивают мушки и что такое конкур-иппик.

Правда, начальник отряда хотел собрать по заставам всех бирюков, вроде Ильки, и устроить нечто похожее на

интернат, но дальше списков дело не шло. Пришлось выписать на заставу няньку — старуху из уссурийских казаков. Толку из этого вышло мало. Степанида оказалась старательной, но вредной бабой, постоянно огрызавшейся на красноармейцев.

Скрипнула половица. Илька приподнялась и долго смотрела на отца потемневшими от сна глазами. Вдруг она удивленно спросила:

— А сказка?

Спорить с ней было бесполезно. Каждый вечер, сидя на тахте, Дубах рассказывал Ильке самые смешные и милые сказки, на которые только была способна его уставшая за день голова. Прежде он долго колебался — можно ли рассказывать Ильке всю эту симпатичную галиматью об Аленушках и Иван-царевичах? Сомнения рассеял начальник отряда, толстый латыш Цорн. Еще до того, как педагоги амнистировали ковер-самолет, он привез из Москвы и роздал ребятам целый чемодан старых сказок. Ильке достался Андерсен. Его шуточные, лукавые сказки с удовольствием прочел и начальник. Он даже выписал в тетрадку андерсеновскую поговорку: «Что позволено, сотрется, — свинья кожа остается». Это было сказано здорово. Начальник считывал когда-нибудь использовать поговорку на политзанятиях.

Уже два вечера прошли без сказок. Дубах чувствовал себя виноватым. Он ел возле Ильки и начал:

— ... У мухоморья дуб зеленый ..

— Ой, какая неправда, — сказала строго Илька, — не хочу про дуб, хочу про овчарку.

— Жила-была одна немецкая овчарка и жил-был один бессмертный кашей.

Он пересказывал Ильке Андерсена, бесцеремонно вплетая в приключения Оле-лук-оя, заставляя солдатика встречаться с Бармалеем и бабой-ягой. Золотой ларец отыскивали у него овчарки, а серого волка приканчивал Иванушка-дурачок из берданки.

Илька слушала эти истории, забравшись с ногами на тахту. По ее требованию, отец прикрутил лампу. В комнате стало совсем темно, только на стене

светится зеркальная сталь клинков и маузера. От отца пахнет табаком, кожаными ремнями, одеколоном. Подбородок у отца удивительный: если провести рукой вниз — очень гладкий, если вверх — как напильник. Дубах очень сильный — может разорвать любую веревку, поднять стул за переднюю ножку, согнуть пятачок. Когда отец сердится, он фыркает, точно хочет чихнуть. Это очень смешно, но смеяться нельзя...

— Вот и все, — сказал отец, шелкая портсигаром. — Аленушка уехала в Москву к тетке, кашей засох, а ковер-самолет испортился...

— Его моль с'ела?

— Почему моль? Хотя да... Верно, с'ела...

Где-то далеко в тайге сломался сучок. Другой, третий... Дубах поморщился... Плохо, когда по ночам без мороза и ветра трещат сучки.

— А волк где?

— Волк?.. Он тоже пропал.

...Еще два сучка... Дубах машинально надел сапоги... Целая обойма. Возле солонцев чья-то винтовка била без пауз. Так мог стрелять либо новичок, либо боец, которому уже некогда целиться.

— Его овчарки загрызли? — спросила Илька сонно. — Наверно, Рекс? Да? — И, не дождавшись ответа, заснула, схватившись обеими руками за отцовскую портупею.

Дубах осторожно высвободился. Распахнул дверь.

Перед забором визжали на ржавой проволоке кольца. Четыре сторожевых пса скулили, рвались с привязей в темноту.

Через двор к командирскому флигелю рысцой спешил дневальный.



Он бежал. Давно в темноте улинула тропа. Чортовы сучья, мертвые и живые, дышавшие прелью, хвоей, свежим листом, лезли в лицо, хватали за рукава, рвали шинель. Забором вздымались вокруг корни валежин. Соазбегу кидались под ноги ручьи. Ажина железными петлями ловила ноги. С жирным, плотоядным урчаньем присасывалась к по-

дошвам разбухшая земля. Все было свежо, холодно, мокро в апрельской тайге.

Он бежал. Нехватало дыхания. Грудная клетка, сердце, ремень, гимнастерка — стали вдруг тесными. Качалась земля. Медленно кружились над головой стволы и черные кроны, и звездный, уже склонившийся к горизонту, ковш.

Птицы вырывались из кустов и, шумя крыльями, исчезали в темноте. Корж лез в гору на четвереньках. Мускулы ныли, кричали о пощаде. Корж полз. По опыту тренировок он знал, что скоро перейдет на второе дыхание.

Ветер перебросил через сопку дальний гудок паровоза. Прогремел мост. Курьерский шел на восток. Корж выполз на гребень и на спине с'ехал в распадок. Где-то совсем вблизи сорвался под беглецом камень.

— Врешь! — крикнул Корж, и сразу стало тихо. Он снова побежал, охваченный могучим желанием: настичь, схватить за плечи, опрокинуть, вмять в траву — и тогда уже, поставив колено на горло врагу, отдышаться. Бессвязные, яростные слова вырывались против воли у Коржа. Он так ясно представлял брошенное в траву, извивающееся тело диверсанта, что на-бегу повторил обрывки фраз из будущего разговора с японцем. В какой-то картине Корж видел уже такого самурая. Он прыгал вокруг бородача-партизана. У него был странный клинок, — короткий, изогнутый, — не оружие бойца, а какое-то ядовитое жало... Этот тоже прыгнет вбок, затем вперед. Винтовку следует выбросить навстречу и немного вверх... Удар будет звонким. А потом? Судзуканисинасай! Молчи! Откуда пришел? Доко кара кита-ка?..

...Обеими руками Корж схватился за дерево. Листья клена плеснули в лицо пригоршни холодной воды. Он пытался прислушаться... Стоял мокоый, оглушенный толчками сердца. Шлем жег голову. Кровь гудела в висках.

Он оглянулся. Было светло. По седой траве вилась зеленый след, проложенный лапами шинели. Окруженный шпажником, блестел бочажок. На его гладкой поверхности плавал тополевыи пух и гонялись, морщина вода, серые бегунки.

Солнечная рябь дрожала на дне, устланном ржавыми листьями. И тишина, и одинокий след в холодной траве, и расцветавшее небо, и пустые подсумки, и сизая гарь на затворе — все напоминало Коржу, что погоня окончена. Он опустился на колени и, погрузив лицо в воду, тянул ее до тех пор, пока не заняли зубы. Тогда он встал, расправил сырую шинель и пошел на запад, где торчала зеленая луковица георгиевской колокольни.



Трое бойцов с ищейкой и дегтярским пулеметом, высланные начальником к месту стрельбы, к рассвету нашли Нугиса. Он сидел в кустах, вымазанный в грязи, посеревший от злости, и ругался шопотом по-латышски. Это было верным признаком неудачи...

— Кто стрелял? — спросил старший по наряду.

— Наверно, винтовка, — сказал Нугис сухо.

— Переход?

— Нет, передур...

— А где Корж?

— Не знаю, — мрачно сказал проводник. — Я его звал... Я дуракам не желаю быть нянькой...

Он встал и раздвинул кусты. Рекс завыл и попятился...

Посреди поляны, раскрыв лиловую пасть, лежал мертвый медведь... Тянуло горелой шерстью. Зверь был застрелен Коржем в упор.



Выбравшись в поле, Корж убедился в ошибке. Впереди была не Георгиевка. Вместо знакомой кирпичной колокольни здесь торчала часовня, обшитая американским гофрированным цинком.

Тайга кончилась. Земля катилась на юг широкой черной волной, неся на себе тракторы, бензиновые бочки, вербы и зеленые фургоны бригад. Шла пахота. Сверкали лемехи. Голубой керосиновый дым слоями висел над землей.

За спиной Коржа фыркнул мотор. Девчонка с веселым облупленным лицом распахнула дверцу пикапа.

— Ноги... Ноги оботрите, — сказала она домовито.

— А куда? — спросил Корж.

— Как куда? Полдничают... Чуете?

Из кузова машины тянуло пшеничным хлебом, горячим борщом.

— Не выйдет, — сказал Корж дрогнувшим голосом.

— Ну, взвару попробуйте... Товарищ, куда же вы?

— В Георгиевку.

— Тогда извиняюсь, — сказала девчонка, и фورد умчался, обиженно фыркнув.

Корж долго смотрел ей вслед. Ловкая девка. Казачка... Она-то довезет свой борщ до зеленого фургона... Взвар... А что на заставе? Нугис уже вернулся... Отмалчивается... Кормит Рекса. Придется итти через двор одному с постной рожей и пустыми подсумками. Корж уже видел, как навстречу ему, опираясь на стол, поднимается Дубах... Он успел представить эту позорную сцену в сотнях вариантов, прежде чем выбрался к Георгиевке.

Был полдень. Шинель уже высохла. Короткая синяя тень металась под ногами у Коржа.

В трех километрах от станицы, возле мельницы, он встретил попутчика. Паренек-кореец в полосатой футболке, сидя на жернове, строгал палочку. Возле него, скуля и почесываясь, лежала мохнатая собака.

— Здравствуйте, товарищ командир, — отчетливо сказал кореец.

— Я не командир.

— Извините... Я ошибся.

Они помолчали. Корж zalюбовался руками корейца. Мускулистые, голые по локоть, они отливали на солнце золотом... Паренек снимал с палочки зеленые кольца...

— Итти далеко... Итти скучно. Будем играть, — пояснил кореец.

Пес заскулил. Умоляющими, розовыми от жары глазами он уставился на хозяина.

— Что это он у вас? — спросил Корж.

— Так... Блюшка.

Он встал и, приложив дудку к губам, издал гортанный и печальный звук. Глаза музыканта зажмурились, на тон-

кой шее зешевелился кадык. Он заиграл, нагнув стриженую голову, — смешной, большеголовый корейский парняга. Как все корейцы, он немного смахивал на японца. Корж вспомнил госпитальный сад и желтое лицо красноармейца в коляске.

— Ладно будет? — спросил музыкант, кончив играть.

— Ладно...

У корейца были с собой початок вареной кукурузы и немного туфы.

— Хоцице покушать? — спросил он ласково.

Корж отказался. Он даже отвернулся, чтобы не видеть, как тают желтоватые, мучнистые зерна, но и смотреть по сторонам было не легче. Дятел доставал из коры каких-то червей. Промчалась белка-летяга, жирная, пестрая. Корж посмотрел под ноги: толстенькая гусеница, мотая челюстями, грызла лист. Даже ручей бормотал противным, сытым голосом. Все вокруг ело, жрало, сверлило, пило, сосало. Точно стало Коржу.

— Кто вы такой? — спросил он грубовато.

Кореец прищурился:

— Странно... Кажется, это не запрещенная зона. Ну, предположим, механик...

— Все мы механики, — сказал Корж сумрачно. — Ваша фамилия?

— Ким, Афанасий.

— Я партийность не спрашиваю.

— Ким — это фамилия. По-нашему — золото.

Корж задумался.

— Послушайте, — заметил кореец рассудительно, — вам будут из-за меня неприятности. Я член поселкового совета. У нас пахота. Вы не имеете права меня останавливать.

Он говорил убедительно. Корж и сам понимал — придирка была никчемной. Следовало тотчас отпустить этого ясноглазого стриженного ежиком парнишку. Он чувствовал усталость и стыд, но какое-то нелепое подозрение не позволяло ему отступить.

— А что в мешке? — спросил Корж, чтобы спасти положение.

Механик молча вынул тракторный поршень, укутанный в паклю. Поршень был старый, марки Джон-Диера, очень редкой в этих местах.

— По благу достал, — сказал парень горделиво, — знаете, как теперь части рвут.

Они поговорили еще немного и разошлись. Кореец заиграл снова.

Унылые, гортанные звуки дудки долго провожали Коржа. Но, когда оборвалась последняя дрожащая нота, он остановился, снова охваченный подозрением. Шли же вот так, с узелками, кощцы. Музыкант... Блишка... Причем тут поршень Джон-Диера?.. Провел, как перепела, на дудку...

Спотыкаясь о корни, он бросился к мельнице. Музыкант не спешил. Он шел, волоча по тропинке ивовый пруттик. Зеленая дудка торчала подмышкой.

Он с любопытством взглянул на запыхавшегося красноармейца.

— Стой! — крикнул Корж. — Стой! Есть вопрос... Вот вы—механик... А откуда у вас этот поршень?

— Не понимаю... То-есть из склада.

— Я спрашиваю — из Сталинграда или из Харькова?

— Аттестуете?

— Нет... В порядке самообразования.

— Не знаю... Кажется, харьковский.

Корж облегченно вздохнул. Маленькие, крепкие ноздри его раздулись и опустились... Веселые лучики разбежались по обветренному лицу. Он выпрямился, точно нашел точку опоры.

— А с каких это пор ХТЗ ходят с поршнями Джон-Диера? — спросил он почти весело.

— Цубо! — крикнул кореец собаке. Он ударил пса в бок. Рыжий отбежал на почтительное расстояние и горестно взвыл.

— Разрешите итти?

— Да... На заставу.

И они пошли. Через осинник, где орала дрозды, по зеленым, мокрым хребтам Семи Братьев, мимо пади Кротовой, полной холода и грязного льда. Впереди, изнемогающий от блох и любви к хозяину, пес, за ним — кореец

в полосатой футболке и, наконец, озабоченный Корж, застегнувший шинель на все четыре крючка.

ГЛАВА VII

Никогда еще Сато не видел таких странных городов, как Цин-Цзян. Весь, от крепостной стены до собачьей будки, он был слеплен из глины. Пулеметная очередь прошивала любую башню насквозь. И люди, создавшие эту смехотворную крепость, еще верили в ее силу; каждую весну строители замазывали трещины, пулевые дыры и восстанавливали отвалившиеся углы.

Впрочем, за пять месяцев жизни в Цин-Цзяне Сато еще не успел разглядеть город как следует. Солдатские сутки похожи на ранцы, в которых есть все, кроме свободного места.

С тех пор как переселенцы разместились на землях возле Цин-Цзяна, отряд не знал ни одного спокойного дня.

В окрестностях поселка жили прежде огородники манчжуры и десятка два семей росскэ, принадлежавших к какой-то странной секте «стару-о-бряцци». Пришлось потратить немало времени, чтобы заставить их потесниться. Половина манчжур, несмотря на приказ, запрещающий массовые передвижения по провинции, ушла в горы, к партизанам.

Росскэ вели себя совсем странно. Старики надели на себя длинные белые рубахи с черными крестами на груди и легли живыми в гроба. Они не хотели давать объяснения и отказались отвечать даже самому господину поручику, спросившему упрямец:

— Эй, казака! Циго вам хоцице?

Солдаты лопались от смеха, когда бордачей, неподвижных, как сушеная камбала, вытряхивали из гробов на повозки и увозили на другие участки.

В конце-концов такая возня надоела господину поручику. Он выбрал несколько наиболее упрямых стариков, плевавших при виде солдат, и велел их расстрелять, не вынимая из гробов.

После этого все быстро уладилось. Уцелевшие росскэ сами запрягли быков

и ушли на юго-восток, демонстративно сняв с домов даже двери.

Вокруг Цин-Цзяна поднялась первая зелень, возвращенная переселенцами, и солдаты вернулись к обычным занятиям.

Как отмечал господин лейтенант, просматривавший каждый четверг солдатские дневники, записи Сато стали значительно содержательней. Он усвоил уже две главы из брошюры «Дух императорской армии» и мог довольно связно пересказывать статью Араки «Задачи Японии в эпоху Сиова». Когда солдаты затягивали любимую песню господина поручика «Блещут молнией сабли», голос старательного Сато заметно выделялся из хора.

Сато решительно отказался от дружбы с болтливым Мияко и развязным Тарада. Противно было слушать, когда эти сплетники начинали говорить о продажности министерства иностранных дел или тайком передразнивали господина фельдфебеля. Он дружил только с Кондо — молчаливым грузчиком из Мацмая. Во-первых, Кондо был земляком, а во-вторых, считался первым силачом во всей роте.

Мечтая втайне о трех звездочках, Сато тщательно подражал поведению и привычкам рядовых первого разряда и ротного писаря Мито.

У щеголеватого табачника Кавамото он заимствовал замечательный способ замотки обмоток, у крепыша Таки — прекрасную точность поклонов и рапортов, у самого писаря — сразу три вещи: рассудительный тон, пренебрежение к росскэ и любовь к длинным цитатам.

Однажды, набравшись смелости, он попросил у Мито разрешения переписать некоторые выражения героев армии, которые писарь хранил в записной книжке. Господин писарь немного опешил. Он не был склонен делиться высокими мыслями с рядовыми второго разряда.

— Лягушка не может видеть из колодца весь мир, — заметил он сухо.

Но голос Сато был так почтителен, а поклон так глубок, что писарь смягчился. К тому же у этого старательно-

го, неловкого солдата был отличный почерк.

— Хорошо, — сказал Мито, — но сначала ты перепишешь провизионную ведомость.



Жизнь гарнизона не отличалась разнообразием. За все лето Сато отметил в дневнике только две замечательные даты: день рождения господина поручика и прогулку в квартал веселых домов.

Для гарнизона эта прогулка была целым событием. Во-первых, шли через весь город без окриков ефрейторов, свободно глаза по сторонам, а во-вторых, каждый солдат хоть на час забыл о казарме.

Сато досталась очень славная девчонка О-Кики, перекочевавшая сюда из Цуруги вместе с переселенческой партией.

У ней была замечательно гладкая кожа, высокие брови и волосы, уложенные по китайской моде в золоченую сетку.

— Хорошо, когда приходят свои, — сказала она, помогая Сато расшнуровать ботинки. — С лавочниками не о чем говорить...

— Мы это прекратим, — пообещал Сато решительно...

Они недурно провели целый час, дурачась на постели и болтая всякую чепуху.

О-Кики оказалась почти землячкой Сато, дочерью лесоруба с Хоккайдо. Только в прошлом году ее продали в Цуругу за 150 иен. О-Кики несколько раз назвала эту сумму. Видимо, высокая цена льстила ее женскому самолюбию.

Затем она показала малахитовый камень, предохраняющий от скверных болезней, и портрет русского бога, художника и бородатого, как айнос, с медным кружком над головой: девушка была христианкой.

Ее быстрый смех, насмешливые глаза и полная шея так вскружили голову Сато, что он, не споря, купил и арбузных семечек, и миндаль, и четыре кружка подогретого пива.

Захмелев, он стал ни с того, ни с сего жаловаться на грубость ефрейтора

Акита и его привычку вымогать у солдат папиросы. О-Кики слушала, покачивая тяжелой короной волос, видимо, далекая от всего, что ей рассказывал маленький полупьяный солдат.

— Poor boy! — сказала она машинально.

— ... Ему никогда не заработать и трех полосок¹.

— Poor boy... — повторила она и зевнула.

За цыновкой кто-то громко закашлялся. Сато во-время спохватился. Он испуганно взглянул на О-Кики. Девушка спокойно дымил папиросой, равнодушная ко всему на свете. Ее равнодушие успокоило Сато, но на всякий случай он все же заметил:

— Однако это пустяки... Доблесть господина Акита заметна всей роте.

Сато не успел полностью исправить оплошность; по коридору, бесцеремонно отдергивая занавески, уже шел фельдфебель Огава.

Видимо, Сато тоже понравился девушке.

— Приходи еще, — попросила она.

— Когда буду фельдфебелем...

Из всех кабинок доносились довольный смех и остроты солдат.

Их выстроили и повели в казармы. Хвастовства и вранья после этого хватило на целый месяц.

Сато часто вспоминал О-Кики—ее смех и полную шею, и насмешливые глаза, но вскоре более интересное событие вытеснило мысли о хорошенькой девчонке.

Кто-то из предприимчивых переселенцев открыл в городе кинотеатр. Низкий, глиняный сарай, украшенный флагами, стоял как-раз напротив плаца, где упражнялись солдаты.

Вечерами у входа в кино, под большим картонным плакатом, изображавшим японского кавалериста, стоял пожилой кацубэн² в канотье и кричал:

— Подвиг лейтенанта Гаяси! Японский офицер в лагере красных казаков! Секреты русских гаремов!

Господин поручик был недоволен соседством. Крики зазывал перемешива-

¹ Погоны подпрапорщика.

² Лектор в кино.

лись со свистками и словами команды, отвлекая внимание солдат. Несомненно, театр перенесли бы в другую часть города, если бы не патриотизм, одновременно проявленный владельцем сарая. Все господа офицеры получили приглашение посещать театр бесплатно. Кроме того, раз в неделю устраивался дополнительный сеанс для нижних чинов.

Сато достался билет на вторую серию знаменитого боевика «Хитрость лейтенанта Гаяси».

Он увидел все, что обещали плакаты: бой японской кавалерии с пехотинцами и бегство казаков, и пожар на таинственном корабле адмирала Ивана Смирнова. Правда, содержание картины из-за цензурных купюр осталось неясным, но Сато был в восторге и все время подталкивал локтем равнодушного Кондо. Чего стоил один вид горящего самолета или штыковой атаки десанта...

... Мужественный лейтенант Гаяси отбивал Ханаэ — дочь манчжурского советника, похищенную во время прогулки отрядом казаков. Шесть похитителей, толстых, как монахи, наступали с пиками на Гаяси. Русские были свирепы и неуклюжи, лейтенант неуловим. Его сабля слепила противников.

В темноте слышался гибкий голос кацубэна, пересказывавшего содержание картины.

— Он был, как молния! — пояснял рассказчик. — Русский — как дуб. Господин Гаяси знал, что за дверями его ждет Ханаэ...

Тотчас была показана Ханаэ, с крупными слезами на напудренных щеках. Она играла на семи-сэне, а возле нее с бутылкой в руках плясал русский полковник.

Потом экран заполнили толпы растерянных, бородатых людей, державших ружья, как палки. Их было так много, что Сато испугался за участь роты Гаяси. С опаской поглядывал он на толстые ноги и разинутые рты атакующих.

Впрочем, тревога его быстро прошла. Показались самолеты, и через минуту трупы лежали гуще, чем рыба в засольных чанах...

— Лейтенант был ранен в руку, — пояснил кацубэн, увидев перевязанного

Гаяси, — но лекарство и любовь прекрасной Ханаэ быстро залечили рану... Он вернулся в действующую армию в чине майора...

Обсуждая подвиг лейтенанта Гаяси, солдаты нехотя покидали кино.

— Говорят, что многие рядовые вернулись на острова фельдфебелями, — заметил Кондо.

— Осенью ожидаются новые назначения, — ответил в тон ему Сато.

— Значит...

— Это еще неизвестно...

И оба солдата расхохотались — так схожи были их мысли, навеянные кинокартиной.



Приближалась осень. После известного инцидента с листовками в 6-м полку и многочисленных арестов в других частях военное министерство ввело обязательные беседы с солдатами на злободневные темы.

В цин-цзянском гарнизоне эти беседы проводил сам господин поручик. Вскоре после размещения отряда в казармах во всех солдатских тетрадах появились записи лекций: «Чем война обогащает крестьян», «Богатства Манчжу-Го завоеваны для народа».

Особенно интересной показалась Сато вторая беседа. Трудно было вообразить до раз'яснений господина поручика, что эта пыльная, скучная земля таит столько богатств.

Медленно, точно диктуя, описывал Амакасу местные горы, где равнодушные, ленивые манчжуры топчут ногами золото, медь, серебро. Он рассказывал о лесах северной полосы, таких глухих, что птицы позволяют брать себя руками; о пятнах нефти, найденных коммивояжерами вблизи Гунзяна; о южных районах, изнемогающих от избытка хлеба, проса, бобов.

Господин поручик называл еще железо, асбест, серу, уголь, барий, тальк, магний, фосфориты, но Сако запомнил только одно — золото. Еще с детства он знал его непонятную силу. О золоте говорилось в сказках, которые читал в начальной школе учитель госпо-

дин Ямадзаки, во всех кинокартинах и приключенческих романах. О нем с одинаковой почтительностью отзывались и отец, и старый рыбак Нагано, и голубой полицейский, и плетельщики корзины, привозившие с юга свой грошевый товар. Рыбаки, побывавшие на Карафутто¹, с таинственным видом показывали завернутые в бумажки тусклые крупинки металла. На них можно было купить все: рыбный участок, невод, дом, кавасаки, даже благосклонность сельского писаря.

Вечером, сидя в клозете, солдаты обсуждали лекцию господина поручика.

— Хорошо, что мы не пустили в Манчжу-Го р-росскэ, — сказал заика Мияко.

— Чепуха! У них золота больше, чем здесь. Главное — земля.

— Посмотрим, что даст осень...

— Золото выгодней ячменя, — заметил Тарада. — Я бы согнал сюда каторжников со всех островов.

— А посевы?

— Пусть копаются манчжуры...

— Колонизация невозможна без женщин...

— Было бы золото, б... найдутся, — заключил под общий хохот Тарада.

... После лекции господина поручика Сато, всегда отличавшийся на маршировках, стал ходить, повесив голову. Мысль о золоте, валявшемся под ногами, не покидала солдата. Он стал присматриваться к блесткам кварца, пирита, стекла, встречавшимся на плацу. Когда рота выходила за город, Сато украдкой клал в карманы кусочки рыжеватого железняка и других подозрительных камней.

Однажды во время тактических занятий он умудрился набрать в фуросики² и незаметно пронести в казарму с десятков пригоршней желтой и, как ему казалось, особенно золотоносной земли.

Он посвятил в свою затею Кондо, и вскоре они вдвоем натаскали и спрятали возле клозета не меньше ведра драгоценной земли. Позже пришлось втянуть в это дело и повара, потому что

для промывки золота обязательно нужен был тазик.

Они выбрали день стирки белья, когда часть роты отправилась с грязными тюками на ручей в двух милях от города.

Все было обдуманно заранее. Сато выбрал себе самый отдаленный участок и, оставив белье мокнуть, наскоро соорудил из сосновой коры желобок. Ровно в двенадцать часов повар привез завтрак. Он роздал ячмень, передал Сато суконку и тазик и вернулся к повозке.

Кондо находился в наряде и участвовать в промывке не мог, но Сато был даже рад: блестящая на земле кучка песка была слишком мала для троих.

Он расстелил суконку на дне желобка, насыпал землю и стал лить из тазака воду.

Вскоре ему показалось, что в кучке темного песка тускло светятся золотые крупинки... Он так увлекся работой, что не заметил, как ручей подхватил белье и унес его к камню, где сидел господин фельдфебель.

Поймав фундоси¹, Огава стал за дерево и долго следил за манипуляциями солдата.

Наконец, хлесткий удар мокрой тряпкой оторвал Сато от дела. Полуголый солдат вскочил, бормоча извинения.

— Дайте сюда! — приказал Огава спокойно.

Сато протянул фельдфебелю пригоршню темного песка.

— Вы предприимчивы, но глупы, — сказал пренебрежительно Огава.

Он ударил по ладони, и драгоценный песок полетел в кусты.

— Оденьтесь и отправляйтесь к повозке.

Сато вымыл тазик и ушел, с досадой поглядывая на кусты. Повар, которому он показал пустые ладони, не поверил Сато.

— Дай! — сказал он, протянув руку.

Сато рассказал о встрече с фельдфебелем.

— Бакка дес!² — сказал повар,

¹ Южная часть Сахалина

² Платок

¹ Набедренная повязка.

² Дурак.

озясь; он сам захотел порыться в песке.

Ночью Сато долго не мог заснуть. Наказания, одно ужаснее другого, мерещились рядовому. Он видел то карцер, куда его вталкивает торжествующий Тарада, то ранец, набитый камнями, то бесстрастное лицо писаря Мито, приклеивающего на доску приказ о расстреле.

Когда над головой Сато раздался картавый голос трубы, он вскочил и оделся быстрее других.

В этот день, впервые за все время службы, он получил выговор перед строем.



Против ожидания, осень оказалась дождливой. Тучи медленно тащились над сопками, напарываясь на деревья. Воздух, почва, умирающая листва, черная кора кленов — все было насыщено влагой. Запасные ботинки зацвели, белье отсырело.

Грязь на дорогах доходила до щиколотки. Хвосты лошадей, повозки, лица солдат, подсумки, стволы горных орудий — все было облеплено светлой, жирной глиной.

Особенно трудно было подниматься на склоны гор. Усеянные мелкими, острыми камнями, они сочились водой. Нередко, сделав шаг вперед, солдат хватался руками за землю и с'езжал вниз, оставляя на склоне царапины. Деревья, и те плохо держались на таких сопках. Достаточно было небольшого шквала, чтобы деревья начинали падать, увлекая друг друга. Всюду видны были корни, облепленные мокрой землей.

Тренируя солдат к ночным боям, господин поручик распорядился выдать темные очки—консервы. Тот, кто надевал их, даже в полдень не мог различить соседа.

Крестьяне, приезжавшие в город из окрестных селений, с удивлением и страхом наблюдали за солдатами, крадущимися в высокой траве. Когда раздавался свисток ефрейтора, солдаты вскакивали, бежали, вытянув руки, спотыкались, падали, снова бежали — ста-

рательные и неловкие, как молодые слепцы.

На занятиях участились несчастные случаи. Рядовой Умэра оступился в яму и сломал себе ногу. Ефрейтор Ажита разбил очки о дерево. Кондо пропорол штыком плечо санитару Тояма. Однако господин поручик не прекращал тренировок. Ночи становились темнее и длиннее, а партизанские отряды смелее и настойчивее.

Осень не принесла успокоения, о котором мечтали газеты.

Урожай был обилен, но немногим удалось снять его полностью. Манчжурские поселки, в которых всегда можно было нанять десятка два-три батраков, казались вымершими. Потеряв землю, мужчины ушли в горы сеять мак на тайных площадках, подстерегать автоколонны. В холодных фанзах можно было встретить только женщин, стариков и детей. Неизвестно, на что они надеялись, чем питались: котлы были пусты, в очагах лежал пепел.

Стариковские лица детей, их огромные животы и прикрытые только кожей лопатки заставляли отворачиваться в смущении даже солдат. Но женщины не плакали. Они смотрели на пришельцев глазами, сухими от ненависти. У них отобрали ножи, топоры, даже серпы; их пальцы были слишком слабы, чтобы задушить солдат ночью. Но взгляды выдавали желание.

Однажды Сато слышал, как господин фельдфебель, выходя из фанзы, сказал: — Лучше бы эти ведьмы ругались...

Все чаще и чаще вспыхивали пожары. Горели соломенные постройки, склады, посева; иногда сами солдаты поджигали гаолян, чтобы выгнать повстанцев.

Днем и ночью поля об'езжали патрули... Всю осень, по просьбе переселенцев, командование держало в поселках посты, но тревога не разряжалась. Никто из переселенцев не рисковал пройти ночью от одного поселка к другому. Жили без песен, без праздничных прогулок в поля. Даже возле Цин-Цзяна нельзя было шагу ступить, чтобы не натолкнуться на колючую проволоку.



— Когда они кончат играть в прятки? — спросил Мияко, шагавший сзади Сато.

Простодушный Кондо вздохнул:

— Я думаю, никогда.

— Глупости, — заметил Сато, усвоивший от господина фельдфебеля решительный тон. — Голод заставит их вернуться в поселки.

С видом превосходства он оглядел забрызганных грязью, усталых приятелей. Несмотря на сорокакилометровый переход, Сато чувствовал себя превосходно. Ему нравилось все: октябрьский холод, картавый голос трубы, шутки приятелей, ночевки в брошенных фанзах, где можно было украдкой порыться в тряпье. Все это было в несколько раз занимательнее, чем ползание по грязи на брюхе или путешествие в темных очках.

Не все походы кончались удачно. Несколько ящиков, зашитых в просмоленную парусину, уже были отправлены на острова, но за свою жизнь Сато был спокоен. Еще в августе за пачку сигарет и шесть порций саке он выторговал у Мияко самое надежное заклинание, которое только можно было придумать. Оно действовало с одинаковой силой и против пулеметов, и против гранат. Следовало только на-бегу твердить про себя: «Хочу быть убитым... Хочу быть убитым». Известно, что смерть всегда поступает вопреки человеческим просьбам.

... Полсотни стрелков шли к поселку Нань-Фу, где, по донесению агентуры, уже несколько суток ночевал отряд партизан.

По обочинам дороги высокой бурой стеной стоял гаолян. Дул ветер, и стебли издавали монотонное дребезжанье.

Опасаясь хунхузов, господин поручик приказал поджечь гаолян. Пламя зашевелилось сразу в трех местах, сомкнулось, и светлая, желтая полоска побежала вперед, тесня рыжую поросль. Дыма почти не было. Двое пулеметчиков легли на вершине сопки, но только фанзаны, взмахивая короткими крыльями, выбегали на дорогу, спасаясь от огня.

Как и следовало ожидать, партизаны успели во-время покинуть Нань-Фу. Они отравили мышьяком все шесть колодезев, оставив солдат без воды. Пришлось вскрыть резервную бочку, сопровождавшую отряд от самого Цин-Цзяна.

Поселок был мертв, только крысы и тощие псы жили в заброшенных фанзах. Всюду валялись груды сырого тряпья.

Люди устали, и господин поручик решил провести в Нань-Фу целые сутки. Полсотни здоровых, чистоплотных парней быстро преобразили поселок. Нашлась и бумага для окон, и рисовый клей, и хворост для лежанок-печей.

После уборки Амакасу отдал приказ — прошупать все землянки и фанзы по соседству с Нань-Фу.

Посчастливилось только Мияко и Сато. На огородах, в одной из отдаленных землянок, они отыскали человека. Это был пожилой, большеголовый крестьянин, в холщевых штанах и соломенной шляпе. Он оказался достаточно опытным, чтобы не бежать при появлении солдат. На полу его землянки нашли две стрелянных гильзы от винтовки Арисака, будто бы занесенные детьми.

Сато присутствовал на допросе. По приказанию господина Амакасу он поставил крестьянина на колени и, обнажив штык, отошел к двери.

Крестьянин стоял, опустив унылое, темное лицо, и бормотал чепуху, которую господин поручик не считал нужным даже записывать.

Он имел наглость считать себя полуяпонцем и утверждать, что родился на острове Тайван от кореянки Киру и приказчика бакалейной лавки, какого-то господина Дзихей. Поручик едва сдерживал смех, глядя на этого хитроватого и неповоротливого верзилу, подбостранно вытянувшего шею. Кто бы мог подумать, что огородник вырос на островах Ямато. Правда, он без всякого акцента говорил на южнояпонском диалекте, но господин поручик прекрасно знал эти штучки.

Чтобы не затягивать разговора, он сразу оборвал его:

— Довольно! Когда ты выехал из Владивостока?

Этот простой вопрос настолько смутил огородника, что он стал заикаться. Срывающимся от волнения голосом он начал объяснять, что приехал из Цуруги пятнадцать лет назад через Сеул и Владивостока не видел ни разу.

Он продолжал бормотать всякие глупости, в то время как поручик, скучая, рассматривал стоптанные, перепачканные грязью улы пленника. Большие, узловатые ноги крестьянина навели Амакасу на счастливую мысль.

— Разуйтесь, — сказал он почти добродушно.

Еще не понимая, что нужно поручику, пленник покорно снял улы. Ноги его были гладки и кривы, но из этого вовсе не следовало, что родины пленника был остров Тайван. Известно, что и на материке многие матери прибинтовывают детей к своей спине.

— Покажите пальцы!

Не ожидая ответа, поручик нагнулся и, схватив пленника за щиколотку, рванул ногу вверх. Опрокинутый на спину огородник с испугом наблюдал, как густые брови поручика ползли выше, к жесткому бобрику.

Сняв перчатку, Амакасу прощупал внутреннюю сторону большого и смежного с ним пальца. Поручик действовал наверняка. У каждого сына Ямато, носившего гета, на всю жизнь сохраняются твердые, гладкие мозоли — следы креплений, пропущенных между пальцами.

Кожа огородника не имела мозолей.

— Ну? — спросил поручик насмешливо.

Лежа на спине с задранными ногами, пленник пробормотал что-то невнятное насчет пятнадцати лет, проведенных в Манчжурии.

Кивком головы поручик подозвал Сато.

— У вас хороший почерк, — сказал он, отвернувшись от пленного. — Отложите лист картона и напишите следующее... — Подумав, он медленно продиктовал:

— Этот человек — шпион, коммунист и обманщик.

— Господин полковник, клянусь отцом и детьми... — сказал кореец голосом, обесцвеченным страхом.

— ...Погребение воспрещается... Вы поняли?

— Понял! — бойко сказал Сато и с любопытством уставился на шпиона: вся голова огородника была покрыта чистыми, вышуклыми каплями росы.

Кондо штопал перчатки, когда Сато вошел в фанзу и расстелил на полу большой кусок желтого картона.

— Кто он? — спросил Кондо, живая на окно...

Сато с восхищением сообщил приятелю о находчивости поручика, но против ожидания рассказ не произвел впечатления на простодушного Кондо.

— Значит, все, кто не носит гета, — шпионы? — спросил он, перекусывая нитку.

— ... Но он действительно врет...

— А кто здесь не врет?

— Ну, знаешь, — заметил Сато, недовольный равнодушием приятеля. — Я повторяю: пальцы у него совершенно гладкие...

— Ты щупал?

— Бакка! — сказал Сато, энергично растирая палочку туши. — Это видно по лицу господина поручика...

— Са-а... тогда почему ты не пошел в гадальщики?

Не отвечая, Сато начал выводить знак «человек». Желая блеснуть почерком, он старался во-всю. Это удалось. Учитель каллиграфии, столько раз щелкавший Сато по пальцам своей короткой линейкой, был бы теперь доволен этими выразительными, энергичными знаками. Здесь были линии, похожие на обугленный бамбук и на следы комет, изящно округленные и короткие, жесткие, с рваными концами, точно у художника нехватило терпения вести плавно кисть.

Даже Кондо залюбовался работой Сато.

— Это можно повесить на стену, — сказал он одобрительно.

Следующим был весьма трудный знак «шпион», который, как известно, состоит из 29 черт. Когда Сато, набрав тушь, медленно выводил изогнутую ли-

нию, за окном раздался выстрел. Кисть дрогнула, клякса расплзлась на картоне, испортив прекрасный знак.

— Он толкнул тебя под руку, — заметил Кондо злорадно.

— Кто?

— Огородник... Значит, ты был неправ.

Сато задумался. Суеверный, как все крестьяне, он с тревогой уставился на кляксу, медленно расплзавшуюся по картону. Странно, что выстрел раздался, как-раз когда он выводил знак «шпион».

За неряшливость Сато получил от господина поручика замечание. А когда солдат прикреплял позорную надпись к трупу, лежащему на боку среди жесткой травы, ему показалось, что огородник злорадно улыбается.

В наказание за дерзость Сато сразу ударил «шпиона» ботинком в лицо.

ГЛАВА VIII

С тех пор как усталый и торжествующий Корж привел на заставу корейца, прошел ровно год.

Были за это время события поважнее, чем сумасшедшая погоня за медведями.

... Летом, возле колодца, Корж задержал побирешку, с чумными ампулами, запеченными в хлеб.

... Илька полезла за белкой в дупло и нашла пачку харбинских листовок.

... С помощью Рекса накрыли за работой подпольную радиостанцию.

... Выследили и забросали гранатами банду есаула Азарова.

Но стоило только Белику высунуться из кухни во время обеда и показать куцый медвежий хвост, как обедающие раздражались хохотом.

У всех в памяти была свежа карикатура на Коржа в отрядной газете, где медведь и боец были изображены на беговой дорожке, дружно рвущими ленточку.

Сам Корж посмеивался, вспоминая полную шорохов ночь, сапоги с музыкой или зеленую дудочку тракториста. Разве пришло бы тогда в голову прощупать рыжего пса, бежавшего рядом с корейцем?

Старый Рекс, распутавший на своем веку сотни клубков, оказался внимательней бойца-первогодка. Прежде чем начальник успел задать трактористу вопрос, Рекс налетел на рыжего пса и стал трепать его за загривок. Он разорвал фальшивую рыжую шкуру и вытряхнул из нее фокстерьера, оравшего от страха, как поросенок в мешке.

Под шкурой нашли чертежи двух фортов и чистую голубую бумажку, настолько важную, что командир отделения, отвозивший находку в отряд, ехал в сопровождении трех стрелков.

Все это было так неожиданно, что даже Нугис, рассерженный нелепой стрельбой по мишеням, смягчился и, подойдя к первогодку, спросил:

— Это что же, случайность?

— Не знаю...

— Ты подозревал?

— Догадывался...

— По каким признакам?

— По глазам! — сказал Корж, смеясь. — У блудливых они всегда в стороны смотрят.

... Много изменилось на заставе с тех пор, как Белик прибил над кроватью Ильки шкуру черного медвежонка.

Ушли в долгосрочный отпуск старослужащие бойцы Гайчук и Уваров, из отряда привезли библиотеку и дегтяревские пулеметы. Вдоль границы, от солонцев до поворотного знака, прорубили десятиметровую просеку. В мартовский вечер у этой просеки банда Недрезвского подкараулила Дубаха и пыталась увезти его живым за границу. Затея стоила жизни двум закордонным казакам. Но и начальник еле выбрался из тайги. Целое лето залечивал он перебитую пулей ключицу; кости срослись плохо, узлом, и Дубах еще больше сутулился.

... За год Корж мало в чем изменился. Все так же весело было безбровое, озорное лицо и беспокойны крапленные веснушками пальцы. В строю он всегда стоял левофланговым — маленький, похожий скорей на воспитанника музыкантской команды, чем на бойца-пулеметчика. Только сосредоточенный взгляд, точность речи да исцарапанные сучь-

ями темные руки говорили о трудной школе, пройденной первогодком.

Прошло лето, беспокойное, душное. Все чаще и чаще радио сообщало о перестрелках у Турьего рога и выкопанных японцами пограничных столбах.

В августе грянул дождь. Девять суток, напарываясь на сосны, беспрерывно шли низкие тучи. Сухая, рассеченная трещинами земля, листья деревьев, измученная июльским зноем трава, тарбаганьи норы, распадки, реки, колодцы жадно впитывали крупные; теплые капли...

Солнце прорезывалось изредка — багровое от носившейся в воздухе влаги. Птицы и пчелы умолкли. В полях, засеяв в грязь по диффер, стояли сотни машин, и шоферы в ожидании тягачей отсыпались в кабинах.

На заставе, к великой радости бойцов, застряла кинопередвижка. Каждый день в спальне завешивали окна, и по экрану то перекачивались балтийские волны, то мчалась коляска с Чапаевым, то под гудение гармоники неслись самолеты.

Это было единственной неожиданностью в размеренной жизни заставы. Дождь и бураны, жара и морозы влияли только на градусник и барометр. По выражению Дубаха, природа имела на границе только совещательный голос.

Попрежнему по утрам стучал о доску мелок, и начальник терпеливо объяснял первогодкам, что такое баллистика, сколько раз в минуту дышит конь и почему водяное охлаждение надежней воздушного.

На полигоне под проливным дождем стрекотали дегтяревские пулеметы.

Пар валил из сушилки, где рядами висели сапоги и одежда, и нередко, накинув теплый, еще пахнувший дымом, плащ, прямо с половины киносеанса уходили бойцы в дождь, в осеннюю темень.

Тучи продолжали итти. Всюду были слышны монотонный шум ливня, сытое бормотание ручьев. Целые озера, превращенные в капли, обрушивались на сопки и исчезали неведомо где.

Наконец, земля пресытилась. Разом вздулись и потемнели реки. Там,

где вчера бойцы перебирались по суку, с камня на камень, вода сбивала коней.

Пачихеза неслась, взбивая ключья желтой пены, вся в чмокающих и урчащих воронках. В ее кофейной воде кувыркались бревна, плетни, бурелом. Все чаще и чаще стали встречаться бойцам разметанные стога, соломенные крыши и целые срубы. С островов бежало и тонуло зверье.



Ночью с того берега приплыл на бревне человек. Был он рослый, голый и, судя по неторопливым движениям, обстоятельный человек. Выйдя на берег, он растер онемевшие в воде икры, вынул из уха вату и стал приседать и размахивать руками, сылясь согреться.

Дождь барабанил голому по спине, пловец поживался и вполголоса поминал матерком студеную Пачихезу.

Он так долго размахивал руками, что Рекс, лежавший за камнем, не выдержал. Он вздохнул и ткнул влажным носом Нугиса в бок.

— Фу-у... — произнес Нугис одними губами.

Рекс нервно зевнул. Его раздражала смутная белизна голого тела, резкие движения незнакомого человека. Он ждал короткого, как выстрел, слова: «Фас!»—приказа догнать, вскочить бегущему на спину, опрокинуть.

Но хозяин молчал. Накрытый брезентовым капюшоном, он с вечера лежал здесь, неподвижный, похожий на один из обточенных Пачихезой камней. Рядом с Нугисом, в кустах тальника, сидел на корточках Корж, а немного поодаль красноармеец Зимин устанавливал сошки дегтяревского пулемета.

Плащи, гимнастерки, белье — все было мокро. Струйки воды катились по спинам бойцов. Временами, изловчившись, ветер забрасывал под козырьки фуражек целые пригоршни холодной воды. Бойцы даже не пытались вытирать лица. Шестой час, не отрываясь, следили они за Пачихезой.

... Голый отошел к камням и сел возле Коржа. Это был пожилой человек,

с сильной шеей и покатыми плечами. На кистях рук и щиколотках пловца темнели шнуры — старое солдатское средство против судороги в холодной реке. Корж слышал его дыхание, ускоренное борьбой с Пачихезой, видел мокрую спину и крутые бока. В воздухе, очищенном ливнем, отчетливой струей растекался запах махорки и старого перегара. Нарушитель сидел так близко, что, протянув руку, Корж мог бы достать до его плеча.

Отдышавшись, голый сложил ладони рупором и крикнул, подражая жестяному голосу петуха-фазана.

Берег молчал. В темноте слышны были только ровный шум дождя и ворчание реки.

Пловец крикнул громче.

Рекс выполз вперед и уцепился Нугиса за руку. Он приложил уши и подобрался для прыжка. Кожа на щипце овчарки сморщилась, блеснули клыки.

Не оборачиваясь, Нугис положил на голову пса тяжелую ладонь, и Рекс стих и вытянул лапы, только собачьи глаза стали еще зеленее и глубже да хвост вздрагивал в мокрой траве.

... Сдерживая дыхание, трое бойцов ждали ответа. Наконец, с того берега, из высоких зарослей тальника, донесся еле слышный звук жестяной дудочки. Петуху-фазану отвечала подруга.

Крик повторился на середине реки, и вскоре среди желтой пены и сучьев стал виден плот, пересекавший наискось реку.

Голый выпрямился и рассмеялся почти беззвучно. Огромное облегчение, нетерпение, торжество слышались в сдавленном смехе пловца. Он набрал воздуха, чтобы крикнуть еще раз. Но чья-то жесткая ладонь закрыла голому рот.

— Застрелю! — сказал шопотом Корж.

— Спокойно! — посоветовал Нугис.

Вместо ответа голый укусил Коржу ладонь. Он жестоко сопротивлялся, мычал, отбивался коленями и локтями, норовя попасть противнику в пах, и успел несколько раз отрывисто вскрикнуть, прежде чем ему забили рот кляпом и надели браслет

— Это зачтется, — заметил шопотом Корж и замотал платком искусанную ладонь.

Он подошел ближе к воде и крикнул, подражая фазану. С середины реки тотчас тихо ответила птица.

Покачиваясь, плот медленно пересекал фарватер Пачихезы. Поскрипывали связанные из ивы уключины. Кто-то греб по-матросски, рывками, ловко стряхивая воду с весла.

Плот шел почти параллельно берегу, отбиваемый воронками и сильным течением. Вслед за ним, перескакивая с гольша на гольщ, бежали бойцы. Возле связанного разведчика, жарко дыша ему в лицо, сидел Рекс.

Пограничники и плот двигались к одной, еще не известной точке. Она лежала далеко впереди, на пустынном и мокром берегу Пачихезы.

Плащ гремел, бил намокшими лапами по ногам. Корж сорвал его на-бегу. Цепляясь за мокрые сучья, он вскарабкался на сопку, подступившую вплотную к реке, скатился по скользкой траве и очутился у заводи, отгороженной от реки каменистым мыском.

Нугис прибежал минутой позже, тяжеловесный, очень спокойный, и сразу лег за мыском прямо в воду. Несмотря на огромный рост, он обладал замечательным свойством быть невидимым всюду.

Плот уже подходил к самому берегу, когда гребец вдруг сильно затабил веслами и тихо спросил:

— Костя, ты?

Корж не ответил. Стоя в кустах, он расстегнул кобур и вынул наган.

На плоту зашептались.

С шумом ухнул в воду подмытый рекой пласт земли. Зимин спускался с горы, гремя камнями.

— Тьфу, лешман! — сказал с досадой гребец. Он подумал и стал отводить плот от берега.

— Стой! — крикнул Корж.

Пятеро сидевших на плоту вскочили и разом уперлись в отмель шестью. Раздалась громкая ругань.

— Назад!

— Держи чалку, — ответил гребец.

Он приподнялся и сильно взмахнул рукой. Корж растянулся за камнем. Метнулось короткое, неяркое пламя. Осколки гранаты загремели по голышам.

— Наверное, Мильс, — сказал Нугис спокойно и, положив наган на сгиб левой руки, выстрелил в гребца.

Пуля высекала из воды длинную искру. Гребец засмеялся и, сильно работая веслом, повел плот к серединной струе.

Корж плюхнулся на камни и сорвал сапоги. Портянки отлетели сами при первых шагах.

— Заходим с разных сторон! — крикнул он Нугису и сразу с головой ушел в воду.

Нугис свистнул:

— Рекс, сюда!

Из-за сопки донесся отрывистый лай. Не дожидаясь собаки, Нугис взял наган зубами за скобу и бросился в реку.

Корж плыл саженками, гулко хлопая ладонями по воде. Он не чувствовал ни холода, ни вздувшейся пузырями одежды. Плыть было легко, вода возле берега казалась упругой и плотной; при каждом ударе ноги сама река выбрасывала пловца до пояса.

Расстояние между нарушителями и бойцом сокращалось. Маленькие, злые волны теснились вокруг Коржа, толкая пловца в грудь, швыряясь клочьями грязной пены. Временами из воды вдруг высовывались голые сучья, или ладонь загребала пук отяжелевшей соломы. Корж плыл, не оглядываясь. Он слышал пыхтение проводника, знал, что Нугис плывет следом — тяжелый, настойчивый и надежный.

Сильная струя завертела Коржа на месте. Он пробовал сопротивляться ее мягкой и властной настойчивости и вдруг почувствовал, что река сильнее его. Огромные воронки заглатывали сучья, пену, торчмя опускали на дно небольшие валежины. Одна из воронок двинулась к Коржу, он рванулся в сторону, но руки уже не подчинялись пловцу. Мутная вода кипела вокруг Коржа, всюду вспучивалась, и рассыпались пузырями бугры.

Воронка поставила тело пловца почти вертикально. Несколько секунд боец

крутился на месте, сясь стряхнуть с ног страшную тяжесть. Потом он увидел рядом с собой напряженное лицо Нугиса, ветку с черными листьями, обломок доски... Он вспомнил чей-то старый совет — не сопротивляться воронкам, поднял над головой руки, и сразу ровный, томительный звон в ушах напомнил Коржу о глубине.

Струя протащила его по камням и выбросила на поверхность метрах в десяти от плота — оглушенного, исцарапанного, но упрямо размахивающего руками.

— Врешь! — крикнул Корж, чтобы ободрить себя. Сквозь косую сетку дождя он видел небольшой плот, борозду от правила и силуэты застывших напряженно людей.

Гребли двое. Что было сил налегали они на короткие весла, но бревна глубоко сидели в воде. Плот двигался чуть быстрее течения.

Видя, что пловец нагоняет гребцов, человек, сидевший у правила, поднялся. Был он массивен, высок и глядел на запыхавшегося Коржа сверху вниз.

— Эй, мосол! — сказал рулевой негромко. — Дай без крови уйти.

И он вытянул навстречу бойцу непомерно длинную руку.

— Брось оружие! — ответил Корж, задыхаясь.

— Эй... отстань... окалечу.

Вместо ответа Корж повернулся на бок и пошел авераром.

— Прощай, мосол, — сказал рулевой отчетливо, и на миг вспышка осветила его худое лицо. Возле плеча Коржа взметнулись два невысоких фонтанчика. Он поспешно нырнул. Маузер так долго плевался в воду, что у Коржа еле хватило дыхания. Когда он снова поднял голову, Нугис уже обходил плот с другой стороны. Проводник шел брасом, и плечи его погружались и всплывали с удивительной равномерностью. Возле проводника, точно два косых паруса, торчали из воды уши Рекса. Ветер кидал пену в собачьи ноздри, Рекс взвизгивал от нетерпения и жался к хозяину.

— Фас! — сказал Нугис, и овчарка сразу вырвалась вперед, догнала плот

и рывком вскочила на скользкие бревна.

Кто-то испуганно вскрикнул. Рычанье Рекса смешалось с разногласной руганью.

Рулевой обернулся и разрядил в овчарку половину обоймы. Сквозь стиснутые зубы Нугиса вырвался стон; он затряс головой, точно пули вошли в его тело. Страшно было слышать проводнику затихающий голос овчарки, видеть, как бандитня добывает друга шестью. Он опустил голову ниже к воде и стал выгребать с такой силой, что от его плеч потянулись по воде две ровные складки.

— Дотягивалась, — сказал рулевой. — Кто следующий?

— Ты!

Почти не целясь, рулевой выстрелил в подплывавшего к плоту Коржа.

Течение несло их мимо каменистого крутояра. Эхо подхватило звук выстрела, превратив его в долгую пулеметную очередь. Одновременно гулкой струей выскочил из темноты желтый огонь. Пулеметчик Зимин, опередивший плывущих, нащупывал плот. Он бил почти наугад, ориентируясь по силуэтам и вспышкам.

Ругань умолкла. Были слышны только шум дождя и томительно близкий визг пуль.

Рулевой стоял выше всех... Он вскрикнул и схватился за плечо. Маузер шлепнулся в воду.

— Эх... Кабы не пес, — сказал он зло.

— Молчи, — посоветовал Корж, влезая на плот.



Медленно светлела рябая от ветра река. Дождь стих, но тучи еще толпились в горах, отдавая время рассвета.

Рекс лежал на плоту, длинный и плоский. Лапа его провалилась в щель между бревнами, вода облизывала окровавленный бок. Возле овчарки, погрузив руки в мокрую, еще теплую шерсть, сидел на корточках Нугис. Пристальными, светлыми глазами он следил за движениями гребцов, нехотя маковавших весла

в кофейную воду. Один из них, не выдержав тяжести взгляда, отвернулся.

— Бравый был пес, — сказал он соседу.

— Молчи, — посоветовал Нугис.

Постепенно из темноты стали выступать серые лица гребцов. Пять бандитов лежали ничком на мокрых бревнах, и маленький босой Корж заботливо прикрывал соломой индукторный аппарат.

Нарушители молчали. То был пестрый, непонятный народ в стеганых ватниках, ичигах и отслуживших табельный срок военных фуражках. Впрочем, старичок в замасленном плаще, лежавший на краю плота, был вылитый стрелочник. Даже медный рожок и флажки торчали из порыжелого голенища. Только вместо пояска подпоясался «стрелочник» бикфордовым шнуром.

Когда Корж повернул старикашку спиной и стал разматывать шнур, нарушитель тихо шепнул:

— Может, сговоримся, служилый?

— Может, и так...

— В советских возьмешь?

— Все возьмем, — сказал Корж ободряюще. — В отряде сторгуемся... — И он уложил диверсанта на бревна вниз бородой.

ГЛАВА IX

В хате птичницы Пилипенко готовились к празднику. Выстлали сени соломой первого обмолота, повесили свежие ручки. Мятою, чебрецом, опаленными морозом виноградными листьями убрали углы.

Хозяйка расщедрилась: вынула плахты, старинные, заветные, которые вешала только трижды в год: на Октябрь, сочельник и пасху. Их голубой шелк напомнил старухам о Днепре. Не сговариваясь, разом затянули они песню, завезенную на Восток еще дедами.

Давно сносились свитки, шитые шелком сорочки, сбились чоботы, рассыпались, растерялись девичьи монисты. Молодежь уже не помнила, где Нежин, где Миргород, где Полтава. Только старики, собираясь по вечерам, как далекий сон, вспоминали полтавские вишен-

ники и азовские лиманы, океанские пароходы, груженные арбами и волами. А все же то был клочок живой Украины. И мягкий говор, и песни, и степная красота женщин, и цветистые ручки, и упрямство хлопцев, и высокие арбы, и мышастые волы — все напоминало о прошлом.

Пограничный колхоз имени Семена Буденного ждал гостей. То была старая традиция — отмечать первый обмолот конскими скачками, кострами, полуночными песнями в затихающем поле, крепкой выпивкой в каждой избе. Всюду трещала в печах солома, ворчало сало, дым столбами подпирал вечернее небо.

Сидя на корточках, Пилипенко расписывала печь. Возле птичницы стояли глечики с красками. Были тут выварки из лука, конского щавеля, гвоздики, ольховой коры, червеца, листьев гарбуза — краски всех цветов, живучие, горластые, как сама хозяйка.

Мягким квачиком, птичьим крылом расписывала художница печь. Во всем селе не было хозяйки опрятней и домовитей, чем эта высоченная, сухая, как будяк осенью, женщина. Паром дышала печь, и на ее светлеющих боках выступали цветы, один затейливей и горячеей другого.

Шесть колхозниц лепили на дворе пельмени. Уже закипала в котле вода, уже стояли на столах ведра, полные холодного пива, глечики с варенцом и сметаной, миски с медвежатиной, жареной рыбой, холодцом, баклажанами, маринованной вишней, тертой редькой, взваром, липовым медом. Прикрытые ручниками, вздыхали на лавках пироги, начиненные грушами, сливами, голубицей, грибами, дикими яблоками — всем, что принесла в осени богатая уссурийская земля. А гостей все еще не было.

На выгоне, где двумя шпалерами стояло все село, сверкали клинки. Шла джигитовка. Немало конников-пограничников приехало в гости к сельчанам. Был тут Дубах с двумя молодыми бойцами — все выскобленные досиня, в свежих гимнастерках и в сапогах, исцарапанных сучьями. Только зубы да

глаза светились на их обветренных лицах. Был еще комендант участка, толстый мадьяр Ремб, и снайпер-пулеметчик Зимин, и знаменитые братья Айтатовы, лучшие джигиты отряда, и другие командиры, приехавшие на праздник с соседних застав.

Даже старики, помнящие лихую рубку донцов, залюбовались чистой работой Айтатовых. На полном галопе один командир перелез на лошадь другого, стал на плечи брату, а крепкий старый дончак, как ни в чем не бывало, брал «клавиши», «плетни», «гроба» и «вертушки».

Потом, держа железную палку, проскакали двое парней из уссурийских казаков, и третий крутился меж коней колесом. Потом «свечкой», стоя на седле вниз головой, проехал один из бойцов, прибывших с Дубахом. Люди собирались уже расходиться, но вдруг на краю выгона показался рыжий конек. Был он без всадника — только широкое седло блестело на солнце — и летел, распластавшись, прямо на лозы. Не успели люди завернуть коня, как из-под брюха вынырнул всадник — маленький, цепкий, с озорным лицом деревенского парня и белым цветком за оттопыренным ухом.

Он круто завернул коня и стал у контрольной черты.

— Пошел! — крикнул Дубах.

С места в галоп поднял всадник коня. Он бросил повод, два клинка блеснули в руках.

Веселую усмешку разом сдуло с губ бойца. Грозно стало молодое лицо. Он приподнялся на стремях. Два клинка чертили в воздухе быстрые полукруги. Кажется, всадник еще примерялся, в какую сторону обрушить удар, но лозы, не вздрогнув, уже вертикально оседали на землю. Сверкающие капли скатывались к рукояти. То были вымахи неощутимой легкости, быстрые, как укусы.

Председатель колхоза, бывший партизанский вожак, Баковецкий, хромою старичок с голубыми глазами, стоял возле Дубаха. Выгнув шею, он беззвучно шевелил губами, точно завороченный сабельной мельницей.

— Чей это? — спросил он, когда последний прут торчмя ударился оземь. Дубах подбоченился:

— А что, разве по удару не видно?

— Догадываюсь.

— То-то, — сказал Дубах и зашевелил усами, пряча улыбку.

А маленький всадник тем временем показывал новые чудеса. Он наклонился к шее коня, шепнул что-то в сторожкое ухо, и сразу, повинувшись голосу и железным коленям, стал клониться конь, упал на бок и замер. Конник распластался за ним на земле. Только край фуражки да белый цветок были видны с дороги.

Через секунду боец снова очутился в седле. Будто случайно, выронил он из кармана платок, обернулся, разогнал коня и, изловчившись, достал белый комочек зубами.

— Товарищ Корж, — сказал Дубах, когда лихой наездник спешился в группе бойцов. — Старики хотят знать, какой вы станицы.

— Разрешите отрапортовать?

— Только без фокусов.

Но Корж, здороваясь с Баковецким, уже сыпал скороговоркой:

— Казак вятской, из семьи хватской, станицы Пермязкой. Сын тамбовского атамана, отставной есаул войска калужского!

Баковецкий схватился за уши.

— Э... Да он еще пулеметчик, — закричал он, смеясь.

Перебрасываясь шутками, кавалькада потянулась к Куцевке.

Наступал вечер, холодный, пунцовый, один из тех октябрьских вечеров, когда особенно заметна величавая и безнадёжная красота осени.

Все было желто, чисто, спокойно кругом. Березы и клены покорно сбросили листья. Только дубы еще отсвечивали ржавчиной, — ждали первого снега. Ледяными, мачехиными глазами смотрела из колдобин вода. Запоздалый гусь летел низко над лесом, ободряя себя коротким гагаканьем.

Всадники ехали шагом. И с боков, и за ними тучей шли куцевцы. Бежали мальчишки. Неторопливо вышагивали старики в высоких, старинных картузах.

Щеголи, в кубанках, посаженных на затылок, шли по обочинам, чтобы не запылить сапог. Взявшись за руки, с визгом семенили девчата, а на пятки им наезжали велосипедисты. То был веселый, крепкий народ—сыны и правнуки тех, кто огнем и топором расчистил тайгу.

Не в обычае сельчан было шагать молча, если само поле, чистое, открытое ветру, просило песню.

И песня зародилась. Чей-то сипловатый, но гибкий голос вдруг поднялся над толпой. Несколько мгновений один он выбивался из общего гомона. Но незаметно стали влетаться в песню другие, более крепкие голоса. Песня ширилась, зрела, увлекая за собой и свежие, девичьи голоса, и молодые баски, и стариковское дребезжание. Широкая, как река, она разлилась на три рукава. Каждый из них вилял по-своему, но в дружбе с другими. Громко обсуждали свою долю беспокойные тенора, примиряюще гудели басы, светлой, родниковой водой вливались в песню женские голоса.

И вдруг все стихло. Один запевала, все тот же сипловатый, верный тенорок, нес песню дальше, над полем, над посветлевшей рекой. Уже слабел, падал, не долетев до берега голос... Тогда сразу всей грудью грянул тысячный хор, и сразу стало в поле веселей и теплей.

Они вошли в село. Не сразу гости дошли до двора птичницы. Нужно было показать товарищам командирам и племенного быка швицкой породы, и овец рамбуле, и хряков в деревянных ошейниках, и стригунков армейского фонда. Хотели было осмотреть заодно знаменитое гусиное стадо Пилипенко, но при свечах видны были только сотни разинутых клювов да желтые злые глаза.

В этот вечер Пилипенко пришлось занимать столы у соседей. Кроме пограничников в хату набилось много звонкого и незванного народа.

Пришел и сразу стал мешать стряпухам Баковецкий. Пришел старший конюх и главный говорун дедка Гарбуз, приехали на велосипедах почтарь Молодик с приятелями, примчался на собственном газике, насажав полную ма-

шину девчат, знаменитый чернореченский тракторист Максимюк, пришла новая учительница, веснушчатая, семнадцатилетняя, робеющая в такой шумной компании. Заглянул на пельмени художник Чигирик, писавший в местных краях этюды к картине «Жнитво», и много других. Последним явился шестидесятилетний кузнец и охотник Чжан Шу, с внучкой Лиу на плечах.

На лавке, возле печи, сидели девчата.

— Ось дочка, — сказала Пилипенко начальнику. — Мабуть, визьмете в пидчаски? Та поздоровайся, Гапка.

Все с любопытством посмотрели на скамью, где Гапка делилась с подругами серною жвачкой. Девка была славная, коротенькая, крепкая, как грибок. Она сердито взглянула на Пилипенко и выбежала, стуча маленькими, тугими пятками.

— У-у, дикая! — сказала мать с гордостью.

Зажгли лампы, и все сели за стол, не без спора поделив между собой командиров. Зашумели разговоры. Со всех углов посыпались тосты за боевых пограничников, за Блюхера, за хозяйку.

Наклонившись к Дубаху, Баковецкий лукаво заметил:

— Был я, товарищ начальник, на станции. Все посевное везут...

— Семечки?

— Да, семечки... Спрашивается, когда сеять начнем?

Сидевший рядом Чжан Шу покачал головой.

— А я—старая дурака,—сказал он певуче. — Моя думай, семечка лучше лежи, Советский люди лучше чумиза сажай.

— Ну, а все-таки?

— Успеется...

Баковецкий поднял кружку и громко объявил:

— За товарищей командиров! За успех посевной!

Коржу не сиделось на месте. Он был из той славной породы людей, без которых гармонь не играет, пиво не бродит и девчата не смеются. Едва успев одолеть миску пельменей, он выскочил на двор помогать стряпухам. Вслед за

ним отправились братья Айтиаковы, пулеметчик Зимин и молодежь из сельчан. Не прошло и минуты, как оттуда понеслись хлопанье ладоней и дробный треск каблуков. А когда стали обносить гостей снова и Пилипенко вышла на двор собирать ушедших, к бойцам уже нельзя было подступиться.

Окруженные хохочущей толпой, на скамейке стояли пулеметчик Зимин и Корж.

Отрывисто покрякивала гармонь, и огромный Зимин, нагнувшись к Коржу, гудел:

Говорят, что под сосною
Засвистали раки.

Удивленно ахала гармонь, но Корж отвечал, не моргнув даже бровью:

Собирался раз весною
Взять Сибирь Араки.
Подавился пес мочалой,
Околея в воротах.
Не слышали вы случайно,
Где теперь Хирота?

— Убирайтесь во-свояси от советского добра, — начал Корж и вдруг опустил руки. Гармонь вздохнула совсем по-человечески жалобно.

— Дальше, дальше! — кричали стоявшие во дворе и за плетнем.

— Рифма не позволяет.

— Ну, годи! — объявила Пилипенко и, бесцеремонно растолкав круг, увела певцов в хату.

Между тем ведра пустели. Разговор становился всеобщим. Со всех сторон полетели резкие замечания о японцах. Не было в хате человека, у которого интервенты не изрубили, не спустили бы под лед близкого человека.

Горячилась молодежь, но и старики подбрасывали в печку соломку. Под сединой, точно под леплом, жарко светилась ненависть к японскому войску.

Вспомнили николаевскую баню и приказы Ой-оя, и любимую партизанскую тему — японских часовых, укутанных в десять одежек, и перешли, наконец, к последним событиям.

Держался упорный слух, что в Монгольской республике нашел могилу целый японский полк, и хотя точно еще

ничего не было известно, каждый спешил высказать свое мнение о бое.

— Кажуть, пятьдесят самолетов було, — сказал дедка Гарбуз, — таке крошево зробили. Де ахвицер, де кобылячья с...

— Як кони?.. То ж була автоколонна.

— Нехай даже танки.

— Расчет у них был такой: перерезать путь на Кяхту, разрубить Чуйский тракт, а затем...

— А кажуть, их монгольские конники порубали.

— Затем, обеспечив левый фланг, итти к Забайкалью. Помните, меморандум Танака?

— Нехай идуть... Куропаткиных нету!

— Боже ж мий, — сказала птичица громко. — Дали б мне якогонибудь манесенького ахвицера.

И она посмотрела на свои жилистые, темные руки.

Кто-то заметил:

— Тогда уж лучше Быстрых...

Все оглянулись на однорукого, молчаливого казака, стоявшего возле печи. Страшна была судьба этого человека. На его глазах сожгли брата, изнасиловали беременную жену. Лютые муки придумали японцы для пленника. На канате протаскивали из проруби в прорубь, лили в ноздри мочу, срезав кожу на пальцах, опускали руки в серную кислоту. Только выдубленный непогодой таежник мог сохранить силу и память после неслыханных бедствий.

Услышав свое имя, он улыбнулся, блеснув золотыми зубами, но ничего не сказал:

— Вин немый, — шепнула Гапка Коржу.

— Чудной японцы народ, — сказал подвыпивший дедка Гарбуз, — а характер самый насекомый, жестокий. Кажуть, характери, характери... А що воно таке? Чи демонстрация духа, чи що?

— Дикость.

— Ни, ни то.

— Дисциплина!

— Расстройство рассудка!

— Самурайская гордость!

Каждый спешил высказать свое мнение. Помалкивал только Чжан Шу. Для кузнеца согрели в жестином жбане пива, поджарили арбузных семечек. Старик сидел в распахнутой синей куртке, взмокший, довольный. Маленькая Лиу заснула у него на коленях.

Наконец гости услышали кашель и тоненький смех старика.

— Прошлый зима, — сказал он медленно, — моя ловил одна лиска капкан. Лиска думал всю ночь, потом говори: ладно, прощай, нога! Отгрыз и ушел... Это тоже есть самурай?

Все засмеялись.

— Ну, такое хакакири и мы тоже раз делали, — заметил Баковецкий. — Было нас четверо: Антонов Федя, я, Седых младший и еще один серб, Гансином звали. Мы в отряде Сметанина с орудийной бочкой ездили.

— Бочкой?

— Да. Федя патент взял. В каждом днище по дыре. В одну из карабина холостым бьешь, в другую, газы выходят, а звук... ей-богу, как гаубица! Наша бочка у Семенова в сводках за батарею ходила. Однажды насаживали в Черниговке новые обручи, вдруг — га-га-га! Белые вдоль села из четырех льюисов. Мы в огороды — та же история. Вернулись в избу — стали отстреливаться, а уговор был старый — все патроны семеновцам, себе по одному. Все равно кишки на телефонную катушку наматывают... Вскоре отстрелялись, стали прощаться... Да... вдруг наш серб побледнел: «Братушки, как же, патронто я вытряхнул!». А в дверь уже лмятся. Спасибо Федя сообразил. «Что ж,—говорит,—сядем к столу, будем полдневать». Вынул гранату, снял кольцо и положил между нами. Вот так, как глечик стоит.

Рассказчик полез в печку за угольком. Все ждали конца истории. Но Баковецкий раскурил трубку и замолчал.

— А що? Граната испортилась?

— Ну, как сказать, — ответил рассказчик медленно. — Про то из всех четверых у одного меня можно спросить.

— Ни це не то... Нехай товарищ начальник раз'яснит характери.

— Хорошо, — согласился Дубах. И вдруг, обернувшись к Гарбузу, быстро спросил:

— Что легче свалить — столб или дерево?

— Столб, — сказали сельчане.

— Вот именно... Столб не имеет корней. Так вот японский патриотизм особого качества. Он не выращен, а вкопан в землю насильно, как столб. Не знаю, как объясняет наука, а нам кажется, что в основе харакири лежит страх. Перед отцом, перед школьным учителем, перед богом, перед последним ефрейтором. Для японцев, по сути говоря, родина — мачеха...

Баковецкому передали записку. Он быстро прочел ее и вышел на улицу.

— Смешно подумать, — сказал Дубах, поднимаясь из-за стола, — чтобы кто-либо из нас, попав в беду, вскрыл себе пузо. Это ли геройство?

— Та ни боже ж мой, — воскликнул Гарбуз, — нет у меня самурайского воспитания!

— А ну их в болото, — сказал из дверей Баковецкий и, отведя Дубаха в сторону, что-то шепнул.

— Где?

— В бане, у Игната Закорко.

Они вышли во двор и огородами прошли к темной хате, стоявшей на самом краю села.

Хозяин ждал их возле калитки.

— Здесь, — сказал он и распахнул дверь маленькой баньки.

На скамье, свесив голову, сидел человек в солдатской рубашке. Увидев начальника, он вскочил и вытянул руки по швам.

— Заарестуйте его, — сказал поспешно хозяин. — То мой брат.

Начальник не удивился. В приграничных колхозах такие случаи были в порядке вещей.

— Откуда?

— Ей-богу, я тут не при чем. Скажи, Степан, я тебя звал?

— Нет, — сказал Степан, — не звал.

— Вот видите. Чего ж ты стоишь, чортов блазень! Кажись...

Степан вздохнул и, повернувшись к начальнику спиной, поднял рубашку. Вся спина перебежчика была в стружьях и узких багровых рубцах.

— Понимаю, — сказал начальник. — Японцы?

— Да.

— За что?

— За ничто... За лучшую землю. Больше не можно терпеть. Я ж русский человек, гражданин комиссар... Заарестуйте меня.

— Сучий ты сын, — с сердцем сказал Баковецкий. — Видно, без японского шомпола и совесть не чешется!

ГЛАВА X

... Знакомая каменистая тропинка бежала вдоль берега моря. Она прыгала с камня на камень, ныряла в ручьи, кралась по краю обрыва, исчезала в кустарнике и вдруг появлялась снова, лукавая, вызолоченная хвоей и солнцем.

Глядя на нее, Сато подумал, что пора бы теперь расстаться с ботинками. Еще в порту он купил пару отличных гета с подкладкой из плетеной соломы. С каким наслаждением он сбросил бы сейчас тупорылые ботинки и вонючие носки. Сато даже присел было на камень и взялся за обмотки, но во-время спохватился. Нет, он явится домой в полной солдатской форме, в кителе, застегнутом на все пять пуговиц, в шароварах, обмотках и стоптанных ботинках (фельдфебель оказался изрядной скрягой и отобрал новые). Вопреки приказу начальства, он даже не спорил с погон три звездочки, на которые имеет право только ефрейтор.

Сато с облегчением подумал, что никогда уже не увидит материка с его унылыми холмами, глиняными крепостями и травой цвета шинельного сукна. Он даже обернулся, точно желая в последний раз взглянуть на обрывистый берег Кореи, но море было бескрайно, как радость, переполнявшая отпускника.

Неясные, только-что родившиеся облака висят над водой, пронизанной утренним светом. Волны робко толпятся вокруг мокрых камней, где сидят, под-

ставив солнцу панцыри, багровые крабы. Над ними мечутся чайки. Их короткие крики звучат, как визжание блоков на парусниках.

Сато шел и громко смеялся. Мокрые сети, растянутые через тропинку, били его по лицу. Он не старался даже уклоняться. Он вдыхал запах Хоккайдо, исходивший от этих сетей, — запах охры, смолы, рыбы и водорослей. Еще два мыса, зыбкий мост на канатах — и откроется дом.

Он прошел мимо рыбаков. Рослые парни в синих хантэн с хозяйскими клеймами на спине сталкивали лодки в прозрачную воду. Они спешили в море выбирать невода, изнемогавшие под тяжестью рыбы.

По зеленым вельветовым штанам Сато узнал Яритомо; два года назад на базаре в Хоккайдо приятели выбрали одинаковые штаны и ножи с черенками в виде дельфинов. Правда, Яритомо утонул возле Камчатки во время сильного шторма, но Сато нисколько не удивился, увидев утопленника, дымящего трубкой на корме лодки. Ведь о шторме рассказывал шкипер Доно, любивший прирать.

Он перевел взгляд на другую лодку и без труда отыскал седую голову самого шкипера. Возле него почему-то сидели господин ротный писарь и заика Мияко.

Кунгасы вереницей уходили от берега и прятались в дымке — предвестнице жаркого дня.

— Анна-нэ! — крикнул Сато, сложив руки рупором. Рыбаки подняли головы. Видимо, никто не узнал Сато в маленьком, бравом солдате, обремененном двумя сундуками. Только Доно что-то крикнул, отвечая на приветствие. Шкипер взмахнул рукой, и флотилия исчезла среди солнечных бликов.

... Как трудно разговаривать после долгой разлуки. Вот уже полчаса отец и Сато обмениваются односложными восклицаниями.

Ставни раздвинуты. Блестят свежие дыновки. Отец хочет, чтобы все односельчане видели сына в кители и фуражке с красным околышем, со звез-

дочками ефрейтора на погонах. Рыжими от охры, трясушимися руками он подбрасывает угли в хибати¹, достает плоскую фарфоровую бутылку саке и садится напротив.

Они сидят молча, протянув руки над хибати, и слушают, как потрескивают и звенят угли. Сестра Сато, маленькая Юкико, движется по комнате так быстро, что кимоно не успевает прикрывать ее мелькающие пятки.

Она ставит перед братом туфа, квашеную редьку, соленые креветки и засохший русский балык — лакомство, доступное только отцу.

Они молчат. Они так редко встречаются, что отец не знает даже, о чем спросить удачливого сына.

— Вероятно, у вас мерзли ноги? — говорит он, глядя на ботинки Сато.

— Нет, мы привыкли, — отвечает Сато небрежно.

Между тем дом наполняется гостями. Приходит аптекарь Ватари, плетельщик корзины Судзумото, шкипер Кимура. Появляется гадалщик Хаяма — высокий, неряшливый старик в котелке, предсказавший Сато жизнь, полную приключений и перемен. Хаяма рад, что предсказания так быстро сбываются. Он треплет Сато по плечу и дышит винным перегаром. Отец, сделав приветливое лицо, с тоской и неприязнью смотрит, как господин Хаяма, бесцеремонно завладев чашкой с лапшой, со свистом втягивает клейкие нити... Если не подойдут остальные, этот обжора съест и креветки, и соленый миндаль, и балык.

Но Юкико уже пятится от входа, кланяясь и бормоча приветствия. Сам господин писарь, услышав о приезде Сато, решил засвидетельствовать почтение новоиспеченному герою. Вытирая клетчатый платком свое раскисшее лицо, он здоровается с собравшимися и косится на милостивую Юкико.

Вместе с писарем входит учитель каллиграфии господин Ямадзакэ — маленький, кадыкастый, с широким ртом, где зубы натыканы, как попало. Сато раскланивается с ним особенно почти-

¹ Жаровни.

тельно. После отца старый сэн-сэй¹ для него самая почтенная фигура в деревне.

Подогретое сакэ делает гостей разговорчивыми. Сато ждет, когда его будут расспрашивать о службе и последних подвигах армии, но гости наперебой начинают делиться собственными впечатлениями.

— Перед тем как итти в сражение, — вспоминает господин Ямадзакэ, — роскэ нагревают над кострами свои шубы... Однажды, возле Куачензы...

Всем известно доблестное поведение господина Ямадзакэ в стычке с казаками, когда на одного учителя напали шесть великанов в бараньих тулупах, но никто, из боязни проявить неучтивость, не прерывает рассказчика.

Наконец Сато получает возможность говорить, но все рассказы, приготовленные заранее, когда он поднимался по тропинке, вылетели у него из головы.

— У них трехмоторные самолеты, — начинает он невпопад... — Мы видели их каждый день...

— Они купили их на деньги от Китайской дороги, — с возмущением кричит учитель. — Купили во Франции... Вы видели покрашенные знаки французов?

— Нет... Они были высоко.

Наступает пауза.

— Я всегда предсказывал ему повышение, — бормочет господин Хаяма, бесцеремонно почесываясь.

— Вы знаете новость? — спрашивает писарь. — Сегодня умер полицейский Миура. Говорят, от разрыва сердца. Он сильно огорчался последнее время.

Несомненно, что господин Миура — весельчак и бабник—мог умереть не от огорчения, а только от пьянства, но слушатели почтительно склоняют головы.

— Теперь освободилась вакансия... Если соединить настойчивость и хорошие рекомендации...

Все многозначительно смотрят на Сато. Отец — с гордостью, соседи — с печтением, Юкико — с испугом: она не может даже представить себе брата с

такой же толстой, красной шеей, как у господина Миура.

— Надо подумать, — говорит Сато с важностью, хотя чувствует, что готов сию минуту бежать в канцелярию.

— Я подумаю, — повторяет он, наслаждаясь впечатлением... И вдруг учитель приподнимается и, ухватив плечи Сато своими худыми, цепкими руками, злобно кричит в уши отпускинику:

— Вот новость!.. Он хочет подумать... Встать... Живо!

И сразу пропадает все: море в светлых бликах, тропинка, рыбаки, отец, писарь, Юкико. В казарме полутемно. На потолке мигает фонарь «летучая мышь». Фельдфебель, сдернув с Сато одеяло, грубо трясет солдата за плечи.

... Одним рывком Сато надевает штаны. Полурота выстроилась на дворе возле казармы. Пока нет команды «смирно», солдаты трут уши, щиплют себя за плечи и ляжки, стремясь стряхнуть остатки сна. Косо летит снежная пыль.

— Говорят, Блюхер перешел в наступление, — шепчет, лягая зубами, Мияко.

— Но ведь пока еще...

— Прекратить разговоры! Смирно!

Господин фельдфебель выкликает по списку солдат. В морозном воздухе, точно отрывистый лай, звучат застуженные солдатские глотки. Стрелки ждут приказания, вытянув руки по швам, боясь прикоснуться к покрасневшим на морозе ушам.

Господин поручик скороговоркой поясняет задачу:

— ... Пользуясь миролюбием правительства, роскэ нарушили границу и захватили часть территории Манчжу-Го от мельницы до знака № 17... Солдатам второй роты выпала честь доказать роскэ, что такое истинный дух сынов Ямато. Двигаться в полной тишине. Возможен бой с провходящим по силе противником... Надеть металлические шлемы... Наушники не опускать.

... Рысцой солдаты сбегают в падь, пересекают дорогу и углубляются в лес. Здесь теплее и тише. Звезды еле видны в путанице черных сучьев. Сухие листья гремят под ногами. Крепкий, морозный воздух, быстрое движение отряда и не-

¹ Учитель.

известность цели опьяняют Сато. Он чувствует, как начинают гореть щеки.

Они идут долго. Пот выступает через шинели и оседает инеем на сукне. Лес давно исчез в морозном тумане. Они идут гуськом, между скал, по дну пересохшего ручья. Под ногами лопаются ледяные корки, и фельдфебель то-и-дело предостерегающе поднимает руку.

Потом солдаты долго ползут в кустарнике, где, несмотря на мороз, сочится вода. Перчатки Сато намокают. Он чувствует, как влага проникает сквозь двойную материю на коленях...

Перед ними поляна, клином врезавшаяся в лес. Справа, из темноты, проступает крыша мельницы. Здесь проходит граница.

Охваченный волнением, Сато смотрит на высокий столб, раскрашенный белыми и зелеными полосами... Он так высок, что, даже протянув руку, нельзя достать до железного герба. Какие, однако, ловкачи, эти росскэ, сумевшие так быстро присвоить поляну.

— Здесь! — говорит шопотом фельдфебель. — Осмотреть оружие! Приготовить гранаты...

В разведку уходят двое: ефрейтор Акита и рядовой Мияко. Туман расстучается и сразу смыкается за ними.

Лежа в жесткой траве, солдаты поглядывают на столб и растирают озябшие пальцы.

ГЛАВА XI

— Тише! — попросил Нугис.

Он согнулся над старым трехламповым приемником, сясь поймав Москву.

Это было нелегким делом. С тех пор, как Илька разбила четвертую лампу, Москва отодвинулась на лишнюю тысячу километров.

— Волновей... переда...

Восемь теней на потолке замерли, да же игроки в домино осторожнее застучали костяшками... Где-то выше антенны, выше дубов, окружавших заставу, несся тихий голос Москвы:

«... рит... расная площадь...».

И снова пороссячий визг, шелканье, дробь морзянки вырвались из-под тер-

пеливых пальцев Нугиса. Как всегда бывает в октябрьские дни, разговаривали сразу сотни станций...

Во Владивостоке выступал китайский театр. Глухо гудел бубен. Точно ивовая дудочка, звучала горловая фистула певца.

В Хабаровске вынесли микрофон в городской сад, к обрыву над Амуром, и дикторша, торопясь, говорила:

— ... Вот вижу лодки с флагами на корме... На всех гребцах синие береты и желтые майки... Вот четыре катера с масками... Вот плывет пароход... А на палубе танцуют мазурку... Вот...

— ... Лейтенант Вдовцов исполнит арию Хозе, — предупреждала радиостанция, — у рояля жена воентехника третьего ранга Клавдия Семеновна Воробьева.

В радиостудии Николаевска-на-Амуре собрались старики-партизаны. Второй час сипловатый стариковский басок, перебиваемый морзянкой, неспеша вспоминал:

— ...Тогда, оставив в затоне шесть раненых, мы решили дать бой и пробиться к товарищу Шилову. На ут...

— Крути назад! — крикнул Корж. — Дай партизан послушать...

— Хочу про японцев, — сказала Илька.

Но Нугис только мотнул квадратной головой. Он страшно торопился. Перед ним лежали часы. Было без четверти пять по местному и около десяти по московскому...

С минуты на минуту должен был начаться парад. Нугис упрямо пытался пробиться к Москве сквозь морзянки пароходов, плывущих вдоль тихоокеанского побережья, сквозь кабацкие фокстроты, летевшие из Харбина. Капитаны краболовов поздравляли друг друга и спрашивали об уловах, японский диктор без конца повторял какое-то рекламное об'явление, радисты передавали, что в бухте Ольга опять битый лед...

А Москва, лежавшая на другом краю мира, все еще молчала.

Бойцы сидели вокруг Нугиса, одетые по случаю Октября в свежие гимнастерки. Пулеметчики, снайперы, стрелки,

проводники собак терпеливо ждали конца путешествия Нугиса по эфиру.

— Пошелкай, — посоветовал повар. — Бывает, лампы застываются...

Подняли крышку, и Нугис осторожно пошелкал по стеклам, чуть освещенным изнутри золотистым сиянием.

Раздался оглушительный визг. За окном горестно взывала овчарка. Раздался хохот.

Нугис был раздосадован неудачей. Он встал и спрятал часы.

— Отставить! — об'явил Корж. — Задержка номер четыре...

— Пойду, поищу запасные, — сказал Нугис упрямо.

Но старый приемник уже не внушал бойцам доверия. Кто-то из пулеметчиков заметил:

— Опять парад проворонили...

— Хотя бы танки послушать...

— А у нас в Верхних Кутах сегодня оладьи пекут, — вспомнил неожиданно пулеметчик Зимин.

Это случайное замечание точно запахло стены казармы. Сразу стали видны барабинские степи, Новосибирск, Смоленск, Свердловск, Орша, Елабуга — все, что лежало по ту сторону тайги. Каждому бойцу захотелось вспомнить добрым словом родные города и поселки.

— А у нас в Мурманске на каждой мачте—звезда,—сказал Белик. — Днем флаги, ночью иллюминация. Ледокол «Чайка» портрет Буденного вывесил. Весь из рыбьей чешуи... Серебряный чекан—и только! Его норвежцы у себя в Тромсэ склеили и в подарок рыбакам привезли. Начальник порта хотел в Третьяковскую галерею отправить, да ледокол не отдал.

Повар стал было описывать, из какой чешуи был сделан портрет, но Белика перебил Гармиз.

— Нет, ты послушай! — закричал он, вскочив с табурета. — Какой Мурманск? Ты Лагодех видел? Через Гамборы ночью ходил? Там есть поляна — каждому дереву тысяча лет. Больше! Две с половиной! Листья с ладонь. Вся ночь пляшем. Внизу на дорогах арбы скрипят, виноград, вино в город везут...

«Новый мир», № 11.

Потом девушек провожаем... В горах темно... Фонари к звездам идут. Крикнешь один — тысяча отвечает... Послушай! — какой ветер у нас... Станешь спиной к пропасти, раскинешь рукава... Весь день будешь стоять... Вот!

Гармиз взмахнул руками и замер, обводя всех глазами, точно ища того, кто усомнился бы в силе гамборских ветров.

Никто не ответил... Сибиряки, украинцы, белоруссы, татары — бойцы с руками, исцарапанными камнями, сучьями, хвоей, — сидели, задумавшись... Молчал даже Корж — беспокойный, не умеющий минуты прожить без острого слова.

Он сидел верхом на табурете и силится представить, что делается теперь дома. Он так редко бывал в деревне, что сразу не мог сообразить, чем же занят сегодня отец.

Сейчас 10 утра... Вероятно, он вместе с Павлом находится в кузне... Кузня низкая, точно вырубленная из сплошного куска угля... В раскрытые двери видны горы, руки, взлетающие над наковальней. Когда молот опускается, открывается отцовское лицо — черное, с толстыми солдатскими усами, из-под которых сверкают зубы...

Маленький, длиннорукий Павел раздувает горн. У него, как у всех Коржей, светлые, озорные глаза и большой рот. Он приплясывает на одной ноге, насвистывает и бесстрашно лезет короткими щипцами в самый жар, где нежно розовеет железо.

Весело смотреть на отца с сыном, когда они в два молота охаживают толстенную полосу, а железо вьется, изгибается, багровеет, превращаясь в тракторный крюк или шкворень фургона... Впрочем сегодня...

— ...Внимание!.. Здесь Красная площадь,—негромко сказал репродуктор.— Все глаза обращены... асской башне... Через ...уту ...чнется парад.

Корж вскочил. Все обернулись к приемнику.

— Я нечаянно! — закричала Илька, поспешно отдернув руку.

Говорила Москва. Затухая, точно колеблемый ветром, звучал голос диктора. Он описывал все: простор площади и

свежесть осеннего утра, освещенные солнцем звезды Кремля, появление делегаций, стальные шлемы пехоты, скульптурную группу напротив ворот Спасской башни, называл людей, стоявших у Кремлевской стены,—имена, знакомые всем,—от чукотских яранг до поселков горной Сванетии.

Накапливались войска. Оживали трибуны. Кому-то аплодировали. Где-то музыканты пробовали трубы. Прозрачный, неясный гул висел над Красной площадью.

И вдруг сразу стало тихо, как в поле. На том краю мира неспеша били часы.

— Десять, — сказал тихо Белик, и все бойцы услышали дальний звон подков.

Ворошилов об'езжал войска, здороваясь и поздравляя бойцов. Площадь отвечала ему всей грудью, грозно и коротко.

Потом они слышали глуховатый голос наркома. Он говорил отчетливо и так просто, что забывалась торжественная обстановка парада. Он напоминал о том, что было сделано за год, о силе и целеустремленной воле народа. Последние его слова, обращенные к Красной армии, были заглушены треском атмосферных разрядов, точно по всей стране прогремели ружейные залпы салюта.

... Вошел на цыпочках Дубах и сел сзади бойцов... Илька вскочила к нему на колени.

— Танк больше лошади? — спросила она.

— Тсс... Больше.

— Значит, главнее. А почему пустили вперед академию? Она больше танка?

Сделав страшные глаза, Дубах закрыл Ильке рот ладонью... Сквозь марш пробивались отчетливые и мерные удары. Разом впечатывая многотысячный шаг, проходила пехота.

— Товарищ начальник! — спросил Корж. — Что сначала идет — артиллерия или конница?

Дубах подумал. Он ни разу не видел московских парадов и стыдился в этом признаться. Ездить приходилось много, но всегда по краю страны. Негорелое, Гродеково или Кушку он знал лучше Москвы.

— Как когда, — ответил он осторожно. — Сегодня не знаю...

По камням Красной площади хлестал звонкий ливень... Скакала конница. Вихрем летели к Москва-реке тачанки.

Потом наступила долгая пауза... Странное, еле слышное пофыркиванье неслось из Москвы.

— Вся площадь в автомашинах, — пояснил диктор. — ... Теперь движутся гаубицы... их колеса обуты в резину.

И вдруг какой-то странный, рокошущий звук ворвался в казарму, точно над Москвой разорвали длинный кусок парусины.

— Слышали? — спросил рупор поспешно. — Это истребитель... Он похож... он похож...

Голос его потонул в низком реве пропеллеров, в лязге танковых гусениц. Парусина над площадью рвалась беспорывно.

— 19... 20... 27... 42! — считал Белик. — ... 43... 50!

— Это целый дредноут! — крикнул диктор. — У него четыре башни. В нашем здании стекла дрожат!

... Зажгли лампу. Закрыли ставни. Шестнадцать бойцов — сибиряков, белоруссов, украинцев—стояли на площади.

Они видели все: Сталина, поднявшего руку на гранитном крыле мавзолея, бескрайное человечье половодье, освещенное солнцем, красногвардейцев с седьми висками, сталеваров, народных артистов, академиков, старых ткачих, детей, сидящих на плечах у отцов,—сотни тысяч лиц, обращенных к Кремлю.

Они стояли бы на Красной площади до конца праздника, но батареи питания заметно слабели, шум демонстрации становился все тише и тише, точно Москва отодвигалась дальше, на самый край мира, и наконец приемник умолк...

— Семичасный, Кульков, Уваров, в наряд! — крикнул дежурный.



Мягкий треск полевого телефона вывел Дубаха из дремоты. Не открывая глаз, он протянул руку и снял трубку. Говорил постовой от ворот:

— Две женщины и лошадь с повозкой — к вам лично. Прикажете пропустить?

— Пропустить, — сказал начальник, безжалостно скручивая ухо, чтобы прогнать сон. Он сидел, навалившись грудью на старенький самоучитель английского языка. Лампа потухла. Сквозь ставни брезжил рассвет.

Дубах успел одеться, прежде чем часовая закрыл за приехавшими ворота, и встретил женщин вспышкой карманного фонарика.

Одна из них — птичница соседнего колхоза — была знакома начальнику. Он не раз охотно беседовал с домовитой хозяйкой, терпеливо выслушивая ее долгие рассказы о муже, утопленном интервентами в проруби. То была опытная, рассудительная женщина, умевшая отлично залечивать мокрец и выводить собачьи глисты. Дубах не стеснялся с нею советоваться.

Вторая — рослая девчонка с суровым, испуганным лицом, одетая в ватник и мужские ичиги, — сначала показалась начальнику незнакомой.

— Ой, лишенько! — сказала Пилипенко, едва начальник показался на крыльце. — Ой, маты моя... Ой, идите сюда скоріше, товарищ начальник...

— Что за паника? — удивился Дубах. — Откуда у вас эти дрючки?

— Боже ж мий... Колы б вы знали... Ось дывыгесь...

Не выпуская валежины из рук, птичница подошла к телеге и разгребла солону. Открылись тонкие ноги в распустившихся обмотках, короткий зеленый мундирчик, затем глянуло чугунное от натуги лицо японского пехотинца. Во рту полузадушенного, скрученного вожжами солдата торчала фуражка.

— Ось злодий! — сказала птичница, дыша злобой и возбуждением. — А ось тесак его. Вин, байстрюк, мини усю робу распорол.

И громким голосом она стала рассказывать, как это случилось.

Они с дочкой ехали в город — забрать лекарство. У кур развелось так много блох, что полынь и зола уже не помогали. Были еще и другие дела. Гапка хотела купить батист. По дороге дочка

накрылась козухом и заснула. Они ехали дубняком... Нет, не возле мельницы... У них, в колхозе, дурниев нема, чтобы нарушать запрещение. Сама Пилипенко тоже сплющила очи. И вдруг выходит той злодий, той скорпиен, блазень, байстрюк с тесаком, той японский офицер и кажет...

— Прошу в канцелярию, — предложил Дубах. Птичница кричала так громко, что из казармы стали выскакивать во двор полураздетые бойцы.

Увидев на столе начальника бумаги и малахитовую чернильницу — подарок уральских гранильщиков, Пилипенко перешла на официальный тон. Нехай товарищ начальник составит протокол. И пусть об этом случае заявят самому маршалу. Если бы не Гапка, она осталась бы там в лесу, а шпион подорвал бы мост... Когда она остановила лошадь, он спросил по-русски, где Куцевка, а потом, как бешеный, кинулся с тесаком. Спасибо, что на дороге была глина и злодей поскользнулся. Офицер только оцарапал шею и пропорол птичнице козух. Они упали на повозку прямо на Гапку, а девка спросонок такхватила японца, что злодей выпустил тесак. Он царапался и искусал Гапке руки, но женщины все-таки связали офицера вожжами.

— Это солдат, — заметил Дубах.

Пожилая женщина в унтах и распахнутым козухе, открывшем сильную шею, взглянула на пленника сверху вниз.

— А я кажу, що це офицер, — сказала она упрямо. — Верно, дочка?

— Офицер, — сказала Гапка, с уважением посмотрев на мать.

— Вин разумие по-русски...

— Скоси мо вакаримасен¹, — сказал торопливо солдат. — Я весима доруго брудила.

— Это видно, — заметил Дубах. — Отсюда до границы четыре километра.

— Годи! — крикнула Пилипенко, со злобой глядя на стриженую голову солдата. — Я стреляная. Чины знаю. Три звезды — офицер. Полоса — капитан.

¹ Ничего не понимаю.

— Мамо, — сказала вдруг Гапка баском, — а мабуть, вин скаженный?

И она с тревогой показала багровые подтеки на своих смуглых, сильных руках. От волнения и страха за дочку Пилипенко расплакалась. Женщин успокоила нянька Ильки — Степанида Семеновна. Она увела казачек к себе, приложила к искусанной руке Гапки примочку из арники, вскипятила чай.

Они сидели долго, перебирая подробности нападения и ожидая Дубаха. Птичица вспомнила, как пятнадцать лет назад японцы, расколотив пешнями лед, загнали в прорубь мужа. Аргунь была мелкой, снег сдуло ветром, и все проезжие видели, как ее Игнат из-под льда смотрит на солнце. Днем труп нельзя было вырубить. Она приехала на сани ночью со свечой и топором. Так, замороженного, в виде куска льда, она привезла мужа домой и захватила его во дворе.

Она обернулась к Гапке, чтобы показать, какую девку она все-таки выходила, но дочка уже не слышала беседы. Забравшись на тахту начальника, утомленная и спокойная, она заснула, забыв об офицере и своей искусанной руке.

ГЛАВА XII

Светало. Звездный ковш свалился за сопку. В сухой траве закричали фазаны. Предвестник утра — северный ветер — пробежал по дубняку; стуча посыпались перезревшие жолуди.

Солдаты ежились, лежа среди высокой, заиндевелой травы. Терли уши шерстяными перчатками, старались укрыть колени полами коротких шинелей. Поручик демонстративно не надевал козьих варежек. Сидел на корточках, терпел, восхищая выдержкой ефрейторов, только изредка опускал руки в карманы шинели, где лежали две, обтянутые бархатом, грелки.

Акита не возвращался... Уходило лучшее время, растрачивалась подогретая водкой солдатская терпеливость. По приказанию поручика, двое солдат, стараясь не звенеть лопатами, выкопали и положили в траву погранзнак. Теперь

Амакасу с досадой поглядывал на поваленный столб. Стоило два часа морозить полуроту из-за такой чепухи.

Закрыв глаза, он пытался представить, что будет дальше... К расвету он опрокинет заслон и выйдет к автомобильному тракту. Пулеметные гнезда останутся в двух километрах слева. Застава будет сопротивляться упорно. К этому времени полковнику пост-фактум донесут о случившемся. По крайней мере министерство еще раз почувствует настроение армии... Он ясно представил очередную ноту советского посла, напечатанную петитом в вечерних изданиях, и уклончиво-удивленный ответ господина министра.

Только осторожность удерживала Амакасу броситься вперед. Благоразумие — оружие сильных. Он вспомнил готические окна академии и пренебрежительную вежливость, с которой полковник Гефтинг объяснял японским стажерам методику рейхсвера в подготовке ночных операций... — Благоразумие — оружие сильных, — говорил он менторским тоном... Амакасу презирал толстозадых гогенцоллерновских офицеров, проигравших войну. Они не понимали ни японского устава, ни наступательного духа императорской армии...

И все-таки Амакасу слегка колебался. Молчание противника было опаснее болтовни пулеметов.

Наконец явился ефрейтор Акита. Рассказ его был подробен и бессвязен... Вместе с Мияко они прошли весь лес от солонцев до заставы. Нарядов не встретили. Окна заставы темны... Потом пошли отдельно... Слышно было, как проехала крестьянская повозка.

— Почему крестьянская? — спросил поручик раздраженно.

— Пахло сеном и разговаривали две женщины.

— От вас пахнет глупостью.

— Не смею знать, господин поручик.

— Где Мияко? Подумайте... Ну?

— Вероятно, заблудился, — сказал ефрейтор, подумав. — Он ждет рассвета, чтобы ориентироваться.

Разведка оказалась явно неудачной, но ждать было больше нельзя. Амакасу отдал приказ выступить...



... Два глухих взрыва сорвали дежурного с табурета. Это было условным сигналом. Наряд Семичасного предупреждал заставу гранатами:

«Тревога! Ждем помощи. Граница нарушена...».

Люди вскакивали с коек, одним рывком сбрасывая одеяла. Света не зажигали. Все было знакомо на ощупь. Руки безошибочно нащупывали винтовки, клинки, разбирали подсумки, гранаты. В темноте слышались только стук кованых сапог, лязг затворов и гроыхание плащей. Бойцы, заснувшие всего час назад, хватали оружие и выскакивали во двор, на-бегу надевая шинель.

Люди двигались с той привычной и точной быстротой, которая свойственна только пограничникам и морякам.

Через минуту отделение заняло окопы впереди заставы.

Через три — небольшой отряд конников, взяв на седла «Максим» и два дегтяревских, на галопе пошел к солонцам.

Сигнал Семичасного, еле слышный на расстоянии нескольких километров, ото звался эхом на соседних заставах. Бойцы Казачки седлали коней, когда дежурные на Гремучей и Маленькой закричали: «В ружье!». Здесь тоже все было известно на ощупь: маузеры, седла, пулеметные ленты, тропы, камни, облюбленные снайперами, сопки, обстрелянные сотни раз на учениях.

Проводники вывели на тропы молчаливых овчарок. Конники на галопе пошли по распадкам, смаху беря ручки и барьеры из валежин. Пулеметчики слились с камнями, хвоей, пропали в траве.

Наконец десятки людей услышали беспорядочные, слабые звуки — точно дятлы вздумали перестукиваться ночью. Прошло полчаса... Соседние заставы, выславшие усиленные наряды, продолжать ждать. Никто не имел права бросить силы к Казачке, оголив свой участок.

И вдруг зеленая ракета беззвучно поднялась в воздух. Описав огромную дугу, она долго освещала мертвенным светом вершины голых дубов и лесные

поляны. Дятлы опешили, а затем застучали еще настойчивее. Дубах вызвал начальника отряда.

— В Минске идет снег, — предупредил он спокойно.

Эта метеорологическая сводка настолько заинтересовала начальника, что он тут же поделился новостью с маневренной группой и авиачастью, находившейся в ста километрах от границы.

— Два эскадрона к Минску, галопом! — приказал он маневренной группе.

— Предупреждаю... В Минске снег, — сообщил он командиру авиачасти.

— Греемся, — лаконически ответила трубка.

... В остальном в Приморьи было спокойно. В полях возле Черниговки гремели молотилки. Посыетские рыбаки уходили в море, поругивая морозец. На амурских верфях электросварщики, работавшие под открытым небом, зажигали звезды ярче Веги и Сириуса... Летчик почтового самолета видел огненное дыхание десятков паровозов. Шли поезда, груженные нефтью, мариупольской сталью, ташкентским виноградом, учебниками, московскими автомобилями. В 60 километрах от места перестрелки рыбак плыл по озеру в поселок за чаем, вез белок, вспугивал веслами глупую рыбу и пел, радуясь тишине осеннего утра.

Ни один чехол не был снят в эту ночь с орудий укреплённой полосы.



Сопка Мать походила на казачье седло. Широкая, затянутая бурой травой, она лежала между падыми Козьей и Рисовой. Правым краем это седло упиралось в ручей, против левого растлались кусты ежевики и солонцы — плешивый клочок земли, истоптанный и изрытый зверьем.

Отделенные от сопки широкой поляной, стояли по ту сторону границы невысокие, голые дубки. Траву на поляне и сопках никогда не косили. Дикой силой обладала рыжеватая почва, не видавшая никогда лемеха. Будяки вытягивало здесь ростом с коня, ромашки раз-

растались пышнее подсолнухов. Щавель, лилии, повилика, курослеп, лебеда, лютик, гвоздика соперничали в силе, ярости и жестокости, с которой они душили друг друга. Иногда властвовали здесь ромашки, делавшие поляну чистой и строгой. Иногда лиловым пламенем вспыхивал богульник, или ноготки заливали сопку медовой желтизной. К осени все это пестрое сборище выгорало, твердо, превращаясь в густую, пыльную шкуру.

... Конники спешили у рисового поля за сопкой. Три пулемета ударили с каменистой вершины по взводу японцев, обходивших сопку с флангов... Клещи разжались, освободив наряд Семичасного, изнемогавший под огнем «Гочкисов».

Лежа в каменной чаше, среди заиндевевой травы, Корж долго не мог отдышаться. Бешено билось сердце, разгоряченное скачкой. Кажется, взяли от лошадей все, что могли. И все-таки не успели. Кульков, запевала, редактор газеты, тамбовский столяр, лежал плотно — пальцы в траву, щека к земле, точно слушал, идут ли. У Огнева пробитая пулей ладонь смотрела в обратную сторону.

Рядом с Коржем лежали Белик и связанная собака Барс. Тревога застала повара на кухне, и Белик не успел даже снять фартук. Теперь он был помощником наводчика. Быстро присоединив пароотводный шланг, он установил патронную коробку и помог Коржу продернуть ленту в приемник...

Три пулемета брили траву за солонцами. «Гочкисы» грызались с той стороны поляны отчетливо, звонко. За спиной Коржа рикошетировали, волчками крутились на сланцевых плитах пули...

Прошло полчаса. Вдруг Дубах, лежавший в 20 метрах от Коржа, поднялся и крикнул:

— Стой!

Пулеметы поперхнулись, не дожидаясь лент. Из дубняка, помахивая белым флажком, вышел молодцеватый солдат в каске и короткой шинели. Трава закрывала его с головой. Каска покачивалась, как плывущая черепаха.

Обвешанный репейником пехотинец взобрался на сопку и молча передал Дубаху записку.

Написанная по-русски печатными буквами, она походила на издевательство:

«Русскому командиру (комиссару).

Покорнейше приказываю немедленно прекратить огонь и отойти в расположение заставы. Сохраняя жизнь доблестных русских солдат, остаюсь в полной надежде

Амакасу.»

— Дивная нота, — проворчал Дубах, поморщившись. — Желаете хамить до конца?

— Вакаримасен, — сказал солдат быстро. — Дозо окаинасай¹.

Дубах вырвал листок из блокнота и вывел тоже печатными буквами:

«На своей территории в переговоры не вступаю. Рассматриваю ваш отряд как диверсионную банду.»

Потом подумал и приписал:

«Покорнейше приказываю прекратить провокацию.»

Маленький солдат отдал честь и, сохраняя достоинство, стал погружаться в заросли будяка. Корж посмотрел ему вслед. Он в первый раз видел японца вблизи.

— Молодой, а до чего коренастый, — заметил он насмешливо.

На левом фланге противника подняли маленький флажок с красным диском. Несколько пуль взвизгнуло над самым гребнем сопки.

— Готово! — крикнул Корж. — Яичница подана! Разрешите завтракать, товарищ начальник?

Вдоль горы, от пулемета к пулемету, прокатилась команда.

— К бою...

— По перебегавшей группе... очередями... пол-ленты... огонь!

— Огонь! — крикнул Корж, и пулемет задрожал от нетерпения и бешеной злости.

Дубах не сидел на месте. Негромкий голос его слышался то на левом краю седловины, то возле пулеметчиков — Зимина и Гармиза, то возле ручья, где

¹ Не понимаю. Напишите.

отделком Нугис с группой бойцов насадил японцам на фланг.

Усатый, в широком брезентовом плаще и выгоревшей добела фуражке, Дубах походил на мирного сельского почтальона. В зубах начальника торчала холодная трубка.

Он отдавал распоряжения так спокойно, точно перед ним была не полурота японских стрелков, а поясные мишени на стрельбище. За полчаса он успел несколько раз изменить расположение пулеметов и направление огня. Это была вдвойне удобная тактика: она не позволяла противнику как следует пристреляться и путала его представление о числе огневых точек на сопке.

Глядя на Дубаха, повеселели бойцы, смущенные было численностью япономанчжур.

Начальник ни разу не повысил голоса, но потухшая трубка сипела все сильнее и сильнее. Дела пограничников были далеко не блестящи. Нугису удалось уничтожить пулеметный расчет, менявший ствол «Гочкиса», но одно отделение и дегтяревский пулемет были не в силах сковать продвижение полуроты стрелков.

Все чаще и чаще, в паузах между очередями, Дубах прислушивался — не звенят ли в Козьей пади копыта.

— Корж перенес огонь вправо, — доложил командир отделения. — Зимин устраняет задержку.

Дубах ответил не сразу. Сидя на корточках, он плевался, но вместо слюны шла розоватая пена. По губам командира отделком угадал приказание:

— Рассеянием... на ширину цели... огонь!

Начальника оттащили вниз, к распадку, где стояли кони. Расстегнули рубашку, начали бинтовать, но Дубах вдруг вырвался и как был — с окровавленной волосатой грудью и волочащимся бинтом — полез на четвереньках в гору. У него еще хватило сил влезть в яму и отдать распоряжение о перемене позиции: Дубаха беспокоила соседняя сопка Затылиха. Она запирала вход в падь, и каски наседали на нее особенно нахраписто. Потом он вздумал написать записку командиру взвода Ерохину.

Морщась, полез в полевую сумку и сразу обмяк, сунувшись носом в колени.

Ответ Дубаха обрадовал Амакасу. Он с удовлетворением отметил твердый почерк и решительный тон записки. Было бы скверно, если бы русские отступили без боя. Глупо с отрядом стрелков торчать на месте возле столба. Но еще хуже двигаться в неизвестность.

Дружные голоса пулеметов вселяли в поручика уверенность в счастливом исходе операции. Он знал твердо: это новая страница блистательного романа Фукунага. Она будет перевернута прежде, чем министерская сволочь успеет продиктовать извинения. Сила не нуждается в адвокатах. Стиснув зубы, русские будут пятиться и бормотать угрозы до тех пор, пока их не заставят драться всерьез.

Между тем перестрелка затягивалась. На правом фланге, возле солонцев, лежал взвод манчжур. До сих пор, пока не требовалось двигаться дальше, солдаты держались неплохо. Многие по старой хунхузской привычке стреляли наугад, упирая приклад в ляжку. Они выбирали неплохие укрытия и готовы были вести перестрелку хоть до обеда.

Как всякие крестьяне, они были прирожденными окопниками, — медлительными, абсолютно лишенными солдатского автоматизма. К свисту пуль они прислушивались старательней, чем к окрикам фельдфебелей.

В конце-концов показная суетня манчжур привела поручика в ярость: он приказал выставить в тылу взвода «Гочкис». Только тогда солдаты, прижимаясь к земле, медленно двинулись к сопке. У края солонцев они снова остановились. Память о разгроме армии Ляна под Чжалайнором¹ была еще свежа в Манчжурии. Никакими угрозами нельзя было заставить солдат продвинуться вперед хотя бы на метр.

Лежа на второй линии, Сато с восхищением поглядывал на Амакасу. Поручик сидел, выпрямившись, не обращающая внимания на пыль, поднятую пуле-

¹ Конфликт на КВЖД с бело-китайцами в 1929 г.

метами пограничников. Из-под зеленого целлюлоидного козырька, защищавшего Амакасу от солнца, торчали обмороженный нос и жестяной свисток, на звук которого подползали ефрейторы. Изредка он отдавал распоряжения своей обычной ворчливой скороговоркой.

Заметив восхищенный взгляд солдата, Амакасу поднял согнутый палец.. Он вызвал еще рядовых второго разряда Тарада и Кондо и в кратких энергичных выражениях объяснил солдатам задачу.

— Храбрость русских обманчива, — заявил Амакасу. — Русские пулеметчики или пьяны, или сошли с ума от страха... Чтобы привести их в себя, нужно пересечь солонцы, зайти к пулеметчику с левого фланга и швырнуть по паре гранат.

— Разнесите их в клочья. Они еще не знают духа Ямато! — С этими словами Амакасу снова взялся за бинокль.

Три солдата поползли к солонцам.

— Прощайте! — крикнул Кондо.

— Вернемся ефрейторами! — отозвался Тарада.

— Хочу быть убитым... — сквозь зубы сказал Сато. Суеверный, как все крестьяне, он знал, что смерть не исполняет желаний.

Пулеметчик на левом фланге противника работал длинными очередями. Его «Максим», подобно швейной машине, неумоимо прошивал шинельное сукно поляны. Возле солонцев Сато остановился в раздумьи. Не так-то просто было двигаться дальше по голой площадке, покрытой вместо травы какими-то листьями. Если русский солдат действительно сошел с ума, то его пулемет сохранил здравый рассудок. Пули свистывали так низко, что голова Сато против воли сама уходила в плечи. «Дз-юр-р-р» — сказала одна из них, и Сато почувствовал резкий щелчок в голову. Он осторожно снял каску. На гребне виднелась узкая вмятина, точно кто-то ударил сверху тупой шашкой.

Между тем Кондо успел переползти солонцы и вскарабкался до половины склона.

— Получи! — крикнул он, размахнувшись.

Граната упала, не долетев до гребня,

и покатилась обратно. Вслед за ней с'ехал на животе Кондо. Донесся звенящий звук взрыва. Пулемет поперхнулся. Русский стал менять ленту.

— Иду! — крикнул Сато.

Он разбежался и кинул гранату прямо в брезентовый капюшон пулеметчика. Ключья материи и травы взметнулись в воздух. Рота ответила торжествующим криком.

Зубами Сато вырвал вторую шпильку. «Хочу быть убитым, хочу быть убитым» — повторял он упрямо, зная, что слова эти прочны, как броня. Пулемет был бессилен, он молчал. Зато все громче и громче раздавались голоса солдат, воодушевленных удачей.

Вся рота видела, как Сато добежал до половины холма, взмахнул рукой и вдруг, точно поскользнувшись, растянулся на склоне. Раздался приглушенный взрыв, и тело солдата сильно вздрогнуло.

Пулемет заговорил снова. Рыльце его высунулось из камней метрах в двадцати от места взрыва. Солдаты слились с землей, утопили в траве свои круглые шлемы. Лежали молча.

Сато грыз землю, чужую, холодную, твердую. Не понимая, что произошло, он выл от ужаса и боли и, наконец, затих, выбросив ноги и раскрыв рот, набитый мерзлой землей.

В полукилометре от него Амакасу смочил палец слюной и выбросил руку вверх.

— Идес! — сказал он, улыбнувшись.

Ветер гнал с юго-востока в сторону сопки грязноватые облачка.

... Два пулемета били с каменистого гребня. Уже кипела вода в кожухе, и дымилась на винтовках накладки, а конца боя еще не было видно.

Гладкие стальные шлемы, сужая полукруг, выползали к солонцам. Отчетливо стали слышны жестяные свистки и резкие выкрики командиров, подымавших солдат для броска.

Подготавливая удар через солонцы, японцы старательно выбривали гребень

¹ Отлично.

сопки. Высушенная морозом земля, на которой пулеметы сосредоточили свою злость, дымилась пылью, точно тлела под зажигательными стеклами.

Иней исчез. Небо стало глубоким и ярким. Перепелки, не обращая внимания на выстрелы, повывезали из кустов греться на солнце.

Семь пограничников удерживали сопку Мать. Они не лежали на месте. Земля дымилась под пулями. Лежать было нельзя. Послав пару обойм, они искали новую складку, камень, яму, бугор. Стреляли... Снова увертывались... Пулеметы вгрызались в землю, согретую телами бойцов.

Семеро знали сопку на ощупь. Три года назад они переживали здесь страхи первых дежурств. Они видели сопку, заваленную снегом, сверкающую всеми красками уссурийской весны, голую после осенних палов. Каждая складка, куст, камень, родник, лист, упавший с дуба, стали близки, как собственная ладонь.

Эта горбатая, беспокойная земля была пограничникам более чем знакома. Она была своей.

Нахрапистый противник не озадачил бойцов. Бывало и хуже. Семеро сибиряков били расчетливо, по-хозяйски. Не спешили, не заваливали мушек, придерживали дыхание, спуская курок.

Стрелки занимали седловину. Пулеметы были вынесены на края. Зимин отжимал правый фланг, работая очередями, короткими, как укусы. Левый фланг и соседнюю сопку Кротовую прикрывал Корж. Барс лежал рядом, повизгивал, хватал воздух зубами, когда осы пролетали над ухом.

В десяти шагах от Коржа отделенный командир Гармиз разрывал пакеты с бинтами. Чорт знает сколько горячей крови было в начальнике! Она вышибала томпоны, пробивала бинты и рубахи, дымилась на промерзших камнях. И все-таки волосатое тело Дубаха не хотело умирать, дышало, ежилось, вздрагивало.

Гармиз был плохим санитаром. Он извел четыре бинта, прежде чем спеленал командира. Странное дело: кровь уходила, а тело становилось все грузнее и грузнее. Наконец оно стало таким

тяжелым, что Гармиз понял—придется драться одним. Он прикрыл начальника плащом и побежал к Зимину менять диск.

Брезентовый плащ мешал Коржу работать. Он скинул его и остался в одной гимнастерке. Холода он не замечал. Трое солдат, медленно извиваясь в траве, ползли к солонцам. Он перенес на них огонь, раздавил одного. Два успели укрыться.

Гармиз взял плащ и, оттащив его метров на двадцать в сторону, поднял сучками капюшон над травой.

— Пускай упражняются, — сказал он, вернувшись.

— Где начальник? — спросил Корж.

— Возле ручья.

— Ранен?

— Не знаю.

Очередью, короткой, как окрик, Корж придержал групу солдат возле дубков. Два японца слева снова оживились и перебежали через солонцы.

Лента кончилась.

— Упустил! — крикнул Корж. И вдруг капюшон плаща разлетелся в клочья. Белик кинулся навстречу гранатометчику, но Зимин уже сшиб со склона два шлема.

«Максим» гулко раскашлялся навстречу бегущим солдатам. Затем наступила пауза, прерываемая только отрывистыми винтовочными выстрелами. Барс выставил вперед уши и звонко чихнул.

— Салют микаде! — заметил Корж.

— Отступают? — спросил Белик, обрадовавшись.

— Нет, перекурку устроили.

Острый камень колот Коржу бок. Он отшвырнул его, лег еще плотнее, удобнее. Никакая сила не могла вырвать теперь его из каменной чаши, усыпанной гильзами. Он слышал голоса товарищей, окликавших друг друга. Красноармейцы отвечали командиру взвода, как на утренней переключке: приемисто, коротко. Трое не ответили вовсе. Но, когда голоса добежали до левого фланга, Корж громко ответил: полный!

Барс снова чихнул. Из дубняка тянуло не то кислым запахом пороха, не то кизячным дымком.

Корж выглянул из-за щитка и выразительно свистнул. Горели луга. Рваной дугой изгибалось неяркое, почти бездымное пламя. Было очень тихо. Над лугами дрожал горячий воздух. Японцы молчали.

Вскоре ветер усилился. Костры, зажженные солдатами в разных частях поляны, слились в один полукруг. Три полосы: голубая, рыжая и седовато-черная,—дым, огонь и выжженная трава,—приблизались к сопке. Сладковатый запах гари уже пощипывал ноздри. Несколько красноармейцев вскочили и стали вырывать траву на пребне. Тогда с той стороны заговорили винтовки и «Гочкисы».

Вслед за пламенем перебежали солдаты. Стали видны простым глазом их жесткие стоячие воротники, гладкие пуговицы и бронзовые звезды на касках. Маленькие и настойчивые, они напоминали назойливых насекомых.

Корж прижимал их к земле. Он чувствовал злость и могучую силу «Максима». До тех пор, пока пулемет пережевывал ленту, солдаты были во власти Коржа. Он мог нащупывать их за камнями, подстергать, настигать набегу. Охваченный яростью к цепким, ядовитым тварям, он не терял головы. Искал... отбрасывал, рассекал.

... Тем временем пламя подкралось к сопке и исчезло из глаз. Сильнее потянуло дымом. Белик поплевал на пальцы и смазал глаза. Корж сделал то же. «Чадит,—подумал он с облегчением, — значит кончилось». Внезапно стая фазанов выскочила из травы и, размахивая короткими крыльями, помчалась по гребню. Их сильные голоса звучали испуганно. Пара бурундуков наткнулась на Барса, подпрыгнула и, точно по команде, бросилась вправо. За бурундуками зигзагами бежали перепелки. Подгоняя рыльцем подругу, прошел еж. Все, что жило в этой рыжей траве, — перлатое, четвероногое, покрытое иглами, мехом,—карабкалось по склону, спасаясь от огня.

Потянуло сухим зноем. Воздух над сопкой поплыл волнами. Горбы сопки стали двойными.

— Рви! — крикнул Корж.

Белик вскинул плащ и выполз вперед. Он запустил руки по плечи в могучую, пыльную шкуру сопки. Ломал, мял, выдергивал жилистый щавель, стволы будяка, рвал крепкую, как проволока, повилику. Но что могли сделать пальцы бойца, если косы не брали здешней травы?

Огонь опередил его, забежал с тыла к Коржу. Белик схватил плащ и, ползая на коленях, душил желтые языки. Барс метался сзади, цеплялся за гимнастерки пулеметчиков и звал людей назад.

Люди не шли. Нельзя было уйти, потому что Мать своим грузным телом закрывала две пади. Тот, кто терял гребень, уступал точку опоры.

Четыре стрелка били с сопки. Били расчетливо, по-хозяйски. Не спешили, придерживали дыхание, спуская курок. Ветер дохнул в лицо Коржу огнем. Пулеметчик утопил голову в плечи. Языки проскользнули под «Максим» и краску на коже повело пузырями.

Пулеметчик крикнул Белика, но вместо повара отозвался кто-то картавый, чужой.

— Эй, русский! — крикнул картавый. — Оставь напрасно стрелять...

Корж хотел крикнуть, но побоялся, что голос сорвется.

— Вр-р-решь! — ответил «Максим» картавому.

— Эй, брат! Оставь стрелять!

— Вр-р-решь! — отозвался «Максим».

Раздался взрыв ругательств. Озлобленные неудачей, прижатые пулеметом к земле, солдаты обливали руганью полумертвого красноармейца.

Они кричали:

— Эй, жареная падаль!

Они кричали:

— Ты подавишься кишками!

Они кричали:

— Собака! Тебе не уйти!

Пулеметчик не слышал. Ему казалось, что горит не трава, а кровь, что живы в нем только глаза и пальцы. Глаза искали картавого, пальцы давили на спуск.

Наконец пулемет поперхнулся. Солдаты взбежали на пребень.

— Стой! Оставь стрелять! — закричал Амакасу.

— Вр-р-решь! — ответили «Максим» и Корж.

Это было последним дыханием их обоих.

ГЛАВА XIII

— Они попали в мешок, — сказал Дубах, придерживая коня. — Мы приняли лобовой удар, а тем временем эскадрон маневренной группы... Видите вот этот распадочек?..

Всадники обернулись. Всюду горбатились сопки, одинаково пологие, мохнатые, испещренные яркими точками гвоздики. Всюду синели ложбины, поросшие дубняком и орешником.

Был полдень — сонный и сытый. Птицы умолкли. Только пчелы, измазанные в желтой пыли, ворча, пролетали над всадниками.

— Не различаю, — признался Никита Михайлович.

— Не важно... Падь безымянная. А сыну вашему придется запомнить: эскадрон на галопе вышел отсюда и смял левый фланг японцев... Одной амуниции две гачанки собрали.

— Говорят, им по уставу отступать не положено.

Дубах улыбнулся, — зубы молодо сверкнули под пшеничными усами. Даже от черной блямбы, прикрывающей глаз, разбежались колючие лучики.

— Ну, знаете, они не формалисты, — сказал он лукаво. — Господин лейтенант, как его, Амакаса... тот, я думаю, сто очков братьям Знаменским даст.

— Ушел?

— Нет, раздумал. Вернее, его Нугис говорил. Не видали? Очень убедительный человек.

— Любопытно вот что, — заметил Дубах, вводя коня в ручей: — Когда стали перевязывать раненых, оказалось, что почти вся самурайская гвардия под хмельком. С манчжурами еще удивительнее: зрачки расширены, сонливость, потеря чувствительности. Врачи утверждают — действие опия.

— Под Ляояном нам водку давали, — вспомнил Никита Михайлович. — Полстакана за здоровье Куропаткина.

Он собирался уже начать рассказ о

памятной манчжурской кампании, но Павел поспешно перебил отца:

— А как же японцы?

— Возвратили... Двадцать три гроба, шестнадцать живых. Нам чужого не нужно.

— С церемонией?

— Не без этого... Их майор даже речь закатил. Говорил по-японски, а кончил по-русски: «Я весьма радовался героически подвигу русских солдат». Пересчитал трупы, подумал и еще раз: «Очи-эн спасибо!». Капитан Гарнич по-японски: «Не за что, — говорит, — а качества наши всегда при себе».

Они под'ехали к заставе. Здесь было тихо. Двое красноармейцев обкладывали дерном клумбу, насыпанную в виде звезды. Возле них, в мокрых тряпках лежала рассада. На ступеньках казармы сидел белоголовый, очень добродушный боец. Он подтачивал клинок брусом, как делают это косари, и комаринным голосом вытягивал длиннейшую песню.

За ручьем, где лежал манеж, фыркали кони, слышалась отрывистая команда.

Как всегда, казарма жила в нескольких сутках сразу: для одних день был в разгаре, для других еще не начинался. В спальнях, на подушках, освещенных солнцем, чернели стриженные головы тех, кто вернулся из тайги на расвете.

Начальник подошел к окну и опустил штору. Подбежал дневальный.

— Надо не зевать, — ворчливо сказал Дубах.

На цыпочках они прошли в соседнюю комнату. Здесь за столом сидели Белик и Илька. Повар наклеивал в «книгу подвигов» газетные заметки о Корже. Илька обводила их цветным карандашом.

На снимках Корж был суровой и красивей, чем в жизни.

Илька оглядела Павла и строго спросила:

— А вы правда Корж? Вы сильный?

Павел согнул руку в локте.

— Ого! А вы на турнике солнце можете сделать? А что вы умеете? Хотите покажу, как диск надевать?

— Началось, — сказал Дубах, смеясь.

Хмурия брови, Илька обошла вокруг Павла.

— Заправочки нет, — заметила она озабоченно. — Ну, ничего. Только, пожалуйста, в наряде не спите.

— Хотите видеть нашу библиотеку? — спросил Дубах. Он открыл шкаф и вынул огромную пачку конвертов.

Все полки были заложены письмами. Здесь были конверты, склеенные из газет, и пергаментные пакеты со штампами, открытки, брошенные на железнодорожном полустанке, и большие листы, испещренные сотнями подписей. Телеграммы и школьные тетради, стихи и рисунки.

Никита Михайлович нерешительно развернул один из листков. Это было письмо мурманского кочегара.

«...Извините за беспокойство, — писал кочегар. — У вас сейчас дозорная служба, а я человек, свободный от вахты, и мешаю участием. Горе наше общее и гордость тоже. Пересылаю вам поэму на смерть товарища Коржа (тетрадь первая). Остальное допишу завтра, потому что с шести мне заступать. Товарищу командир! Прочтите ее, пожалуйста, как голос советского моряка на общем собрании».

— Все зачитать было нельзя, — сказал Белик. — Там, где касается японцев, он как бы на прозу срывается.

Никита Михайлович не ответил. Он растерянно рылся в пиджаке, перекладывая из кармана в карман то очешник, то пулеметную гильзу, подобранную утром на сопке. У него тряслись руки. Ни путешествие к месту боя, ни вчерашний выход в наряд вместе с товарищами сына не взволновали старика так, как этот переполненный письмами шкаф.

Он торопливо надел очки, сел за стол и громким, стариковским тенором стал читать письма, адресованные заставе.

Писали московские ткачихи, парашютисты Ростова, барабинские хлебопеки, подводники, геологи, проводники поездов, народные артисты, ашхабадские шоферы. Писали из таких дальних горо-

дов, о которых старый Корж никогда прежде не слышал.

Это были письма простые и искренние, письма людей, которые никогда не видели и не знали Андрея, но хотели быть похожими на него.

«Дорогие товарищи пограничники! — читал Никита Михайлович. — Мы не можем к вам приехать сегодня, потому что, во-первых, идут зачеты по географии и русскому языку. А во-вторых, Алексей Эдуардович сказал, что ехать сразу — это будут партизанские настроения. Просим вас записать нас заранее в пулеметчики. Мы будем призываться в 1943 году и сразу приедем на смену товарищу Коржу. Пока посылаем пионерский салют и четыре лучших мишени».

— Эту штуку надо списать, — сказал Никита Михайлович. Но писем было так много, что он вздохнул и стал читать дальше.

«...Цоколь памятника предлагаю высесть из лабрадора, а самое фигуру поручить каслинским мастерам. Пусть медный боец вечно стоит на той сопке, где он отдал родине жизнь».

«...Верно ли, что он умер от потери крови? Да неужели же такому человеку нельзя было сделать переливание или вызвать из города самолет?».

«...Мы, шоферы 6-й автобазы, обещаем подготовить четырех снайперов».

Бережно разглаженные ладонями Белика, лежали телеграммы, слетевшие сюда со всех краев родины.

«...Медосвидетельствование прошел. Имею рекомендацию ячейки и краснознаменца-директора. Разрешите выехать на заставу».

«...Телеграфьте Калуга. Почтовый ящик 16. Принимаете ли добровольцами девушек. Имею значок ГТО. Образование среднее».

«...Выездная группа будет в первых числах мая. Готовим «Платон Кречет», «Славу». Сообщите, можно ли доставить вьюками часть реквизита».

«...Молнируйте Москва, Трехгорная мануфактура. Имеет ли товарищ Корж детей. Берем ребят свои семьи».

Давно вернулись с манежа, бойцы. Ушел, извинившись, начальник, и Бе-

лик увел с собой Павла. В казарме уже собирались в дорогу ночные дозоры, а Никита Михайлович все еще сидел за столом и громко читал взволнованные письма незнакомых людей.

Никогда еще он не чувствовал, что мир так широк, что столько тысяч людей искренно опечалены смертью Андрея. Он вспомнил размытую дождями дорогу к Мукдену, штаб полка, письма с тонкой черной каймой, наваленные в патронный ящик, и кислую, бабью физиономию писаря, представлявшего на бланках фамилии мертвецов. Получила бы жена такой конверт, если бы его, Никиту Коржа, разорвала шимоза?

Перед ним лежала груда писем. Горячих, отцовских. Не ему одному — всем был дорог озорной, остроглазый Андрюшка. Он перевел взгляд на стену, где рядом с фотографией Василия Константиновича Блюхера висел портрет Андрея Никитича Коржа. У маршала был суровый рот и пристальные глаза под густыми бровями. У Коржа — лицо смышленного деревенского парня, веселые глаза и брови вразлет.

Никита Михайлович снял очки и облегченно вздохнул. Первый раз после памятной телеграммы он не чувствовал боли.

... Он вышел во двор. На площадке, перед казармой бойцы играли в волей-

бол. Это был крепкий, дружный народ, возмещавший недостаток тренировки волей к победе. Черный мяч, звеня от ударов, метался над площадкой. Раскрасневшиеся лица и короткие возгласы показывали, что бой идет не на шутку.

На ступеньках крыльца, с судейским свистком в зубах, сидел Дубах.

В одной из команд играл Павел. Маленький, большеротый, густо крапленый веснушками, он поразительно походил на Андрея. Только глаза у него казались светлее и строже.

Младший Корж играл цепко.

— Держи! — крикнул Нугис.

Это был трудный «пушечный» мяч. Он шел низко, в мертвую точку площадки.

Павел рванулся к нему, ударил сразлета руками и растянулся на площадке. Мяч, гудя, перелетел над сеткой и упал возле Нугиса.

Дубах забыл даже свистнуть. Он посмотрел на отчаянного игрока и зашевелил усами:

— Ого! Узнаю Коржа по хватке.

Никита Михайлович приосанился, гмыкнул.

— Какова березка, таковы и листочки, — сказал он с достоинством.

— Каков лесок, такова и березка, — ответил начальник.

Стихотворения

ОСИП КОЛЫЧЕВ

ПРИСЯГА

Я, сын трудового народа,
Святую присягу даю —
Со всеми врагами народа
Бороться в смертельном бою.

По первому слову наркома,
По первому зову Кремля
Я выйду из отчего дома —
И мне улыбнется земля.

Покуда не скроюсь из виду,
Мне будут платками махать...
Клянусь, что не дам я в обиду
Тебя, моя родина-мать!

И—ни на воде, ни на суше,
Ни в пешем, ни в конном строю
Я клятвы своей не нарушу,
Какую наркому даю.

Пусть плещется по ветру грива
Буденновского скакуна!
Я — воин, я самый счастливый,
Меня провожает страна!..

Промчусь я от края до края,
Пройду от конца до конца.
Не тонет, в огне не сгорает
Суровая клятва бойца!

ПАРТИЗАН МОРОЗКО

Затянулся папироской
Партизан Морозко.
Был он — храброго десятка,
Пулю звал: «Касатка!»

Немца штык — короткий, плоский—
Не берет Морозки,
И отскакивают пули
Гетмана Петрули...¹.

В скольких ни был переделках,
В скольких перестрелках, —
Выходил он невредимый
Из огня и дыма...

И твердил он, в ус не дую,
Хлопцам зачастую:
— Ще той пули не зробилі,
Щоб мене убили!

Щорс позвал его однажды:
— Вижу, парень, наш ты!
Дунь на хутор Коломиец,
Червонноармиец!

Там разведай, покалякав,
Численность поляков,
Но гляди, Морозко, в оба:
Метка вражья злоба!

И пошел Морозко лесом,
Сосновым навесом,
И пошел Морозко полем,
Гречишным раздольем...

И сказал небрежно этак,
Хлопцам напоследок:
— Ще той пули не зробилі,
Щоб мене убили!

Но ошибся хлопец горько:
Лгала поговорка...
Вже зробили эту пулю,
Злобную, куркулью...

¹ Гетман Петруля — так иронически называли наши бойцы Петлюру.

А лежала накануне
Смертная певунья
В барабане револьвера —
У легионера.

Полетела эта пуля
В рыжий зной июля, —
Огородом, через речку,
Полею, через гречку...

Не успели с клюва цапли
Покатиться капли,
Оторваться не успела
Ветка вишни спелой,

Не успела подломиться
Под серпом пшеница,
Не успел стрельнуть над крышей
Сизокрылый крыжень¹ —

Как шальная, смерть влетела
В молодое тело,
С жалобным вошла напевом
В тот сосок, что слева...
..

В треугольник сбиты доски
Для бойца Морозки.
Полыхают трубы медью
Над солдатской смертью.

Шли богунские ребята,
Трауром об'ята...
Медный грохот «Реквиема» —
И ладонь у шлема...

А вдогонку им медовый
Украинский говор:
— Ще той пули не зробилі,
Щоб мене убилі!

РАФАИЛ КРЕЙНЕР

На одной из станций к нам пришел, к повстанцам,
Из местечка малого еврей...
Свиду был он слабый, — пригодится в штабе,
Нехватает в штабе писарей...

— Раз еврей — так писарь, почерк, значит, — бисер! —
Он с родным акцентом говорил.
— В первой же атаке покажу я-таки,
Что такое Крейнер Рафаил!

День и ночь стрекочет, день и ночь рокочет
Крейнера веселый пулемет,
Точно на машинке бывшей фирмы Зингер
Симону Петлюре саван шьет.

За собой в атаку он повел ватагу
Хмуроусых, медленных дядькив,
Смуглых великанов с хуторов, с баштанов,
С благодатных украинских нив.

Как-то — под снарядом — он попался гадам, —
И стегнула Крейнера лоза,
И друг другу хмуро Крейнер и Петлюра
Заглянули в души и в глаза...

¹ Крыжень — голубь.

— Эй, косое пузо, скажи «ку-ку-ру-за»!
На, собачье племя, получи!
И упал на травы партизан картавый,
И над ним глумились палачи...

В песне поминальной, гордой и печальной,
В будущие солнечные дни,
Как родного сына, ненька¹ Украина,
Рафаила Крейнер помяни!

За тебя, о ненька, умирал Боженко,
За тебя погиб Микола Щорс!
Крейнер вместе с ними, с братьями родными,
Спит в полях величавых верст.

¹ Ченька — мать.

Дагестанские рубайи

СУЛЕИМАН СТАЛЬСКИЙ

I

Грузинский князь, иранский шах
Тебя терзали, Дагестан.
Свободу, жившую в горах,
Теснил и повергал во прах
Нашествий буйный ураган.

Ты помнишь, свет моих очей —
Вольнолюбивый Дагестан,
Как белый царь послал пашей,
Послал нам трезвых палачей,
Чтоб каждый стал от крови пьян!

Вершины гор за горла взяв,
Тебя душил, мой Дагестан,
Самодержавия удав.
Кто был грабитель — тот был прав,
Царили — подлость и обман.

Поработала твой народ
Орда мундиров, Дагестан,
И трутни грабили твой мед!
За нищим годом нищий год —
Нужды тянулся караван.

Чтоб горца превратить в слугу,
Солдатом сделать, Дагестан,
Чтобы джигита гнуть в дугу,
Царь строил крепости в кругу
Аулов, пастбищ и полян.

И вскоре над Дербентом он
Стал господином, Дагестан.
Стал беззаконием — закон:
Бедняк задавлен, заклеймен,
Зато в почете — бек и хан!

И долго гнев народ копил!
 Муллы и ханы, Дагестан,
 Царю несли свой рабский пыл,
 И царь их дешево купил, —
 И псов благословил коран!

Аварский хан Султан-Ахмед
 Царю предался, Дагестан,
 Тюки бумажек и монет
 Шли в Дагестан за войском вслед,
 И наш народ попал в капкан!

II

Голодный волк тогда проник
 К нам в горы — генерал Ермолов!¹
 Медоточивый твой язык
 Отраву прикрывал, Ермолов!

Тебя поддерживал Иран,
 Ты вторгся, бешеный шайтан,
 В страну кровоточащих ран,
 В тиски — кумыков сжал, Ермолов!

Кайтаг, башлу сравнял с землей,
 И берег захватил морской,
 И юг забрал ты золотой,
 И рабством угрожал, Ермолов!

В горах Чечни, среди громад,
 Зажечь пытались газават²
 Абдул-Кадыр и Бей-Булат,
 Но с пылью их смешал Ермолов.

Из сакли в саклю шла беда,
 Аулы жгла, гнала стада,
 И нищих горцев без стыда
 Громил, уничтожал Ермолов!

III

Ослепло дело многих рук.
 И вот враги сомкнули круг,
 Как туча, двигаясь на юг!..
 В горах разор. В печали — горцы.

¹ Ермолов — царский генерал. В 1817 г. с большим трудом и жесточайшими мерами подавил восстание горцев на Кавказе.

² Газават — священная война против «неверных».

О, страшный век, постыдный век!
Жиреет хан, жиреет бек,
На нищих совершив набег.
Муллы народ терзали, горцы.

Стяжатели ночей не спят:
Они сокровища копят,
Они в шелку до самых пят:
Для этих псов — нищали горцы.

Родной язык давно забыт.
Мулла с кораном егозит.
Кади¹ дафтарами² грозит.
И честь всегда в опале, горцы.

И множество семей тогда
Терзала кровная вражда;
Они, как дикие стада,
Друг друга истребляли, горцы.

IV

Душистей, чем душистый мед,
И слаще, чем сладчайший плод,
Народу каменный оплот,
Захватчиков крушил Шамиль³.

Царю он горек был, как яд.
Царю он страшен был, как ад.
Губителен, как долгий град,
Для самодержца был Шамиль.

Прекрасен телом и лицом,
В сужденьях был он мудрецом.
Был славным, как Рустам⁴, бойцом.
Любил военный пыл Шамиль.

Он был непревзойден в езде,
Он был непобедим везде.
Уподобить его звезде?
Но и звезду затмил Шамиль.

— Порабощенная страна
Страною вольной стать должна,
Нам будет матерью она, —
Джигитов так учил Шамиль.

¹ Кади — судья.

² Дафтар — книга законов.

³ Шамиль — имам Чечни и Дагестана. Успешно руководил военными действиями горцев против царских войск в течение 25 лет. В 1859 г. был вынужден сдаться в плен.

⁴ Рустам Зал — герой поэмы Фердоуси.

Он долго набирался сил,
Он лишь родной стране служил,
Ее свободу сторожил.
Лишь для нее он жил — Шамиль.

Познали сладость вольных прав
Анди, Койсу и Салатав.
Судьбу страны, врагов прижав,
Судьбу людей вершил Шамиль.

V

А по аулам (их — не счесть!)
Крылатая летала весть,
Святая весть: надежда есть!
Готовься к бою, родина!

Шамилю предстоит борьба,
Его дружина не слаба,
И связана его судьба
С твоей судьбою, родина.

Он бьется за страну отцов,
Когда жестокий Воронцов¹
В Салты погнал своих бойцов,
Крутой тропюю, родина!

Кровавый и неравный бой
Шел четверть века... Снег и зной,
И дождь сменялись над тобой
Своей чредою, родина.

И вдруг настало время слез:
Отец Гоцинского², как пес,
Шамиля в плен врагам привез,
Продад героя, родина.

Так порождает лжец лжеца,
Подлец рождает подлеца,
Который своего отца
Подлее втрое, родина!

Вновь воцаряется тиран.
В тяжелых узах Дагестан.
И, не оправившись от ран,
Вновь под пятою родина.

¹ Воронцов — князь, «наместник Кавказа» с 1844 по 1853 г.

² Нажмуддин Гоцинский — один из лидеров контрреволюции в Дагестане. Объявил себя имамом. Осенью 1920 г. возглавил контрреволюционное восстание против советской власти.

В России властвовал шакал.
Где б пожить, он искал.
Ел мертвечину, кровь лакал
Струей густою, родина.

Сограт поднялся сквозь туман.
Его повел Абдурахман,
Он шел на бой, презрев обман.
Стезей прямою, родина!

Повел аварцев Умалат.
Дороже золота — булат.
Решили биться стар и млад
Одной семьею, родина.

Ища намуса¹ и побед,
Ахтинцы им пошли вослед,
И доблестный Гази-Ахмед
Был их душою, родина.

Там выказал Гази-Кумух
Свой храбрый, воинский свой дух.
И падали враги вокруг
Сухой листвою, родина.

VI

Но тщетным был отважный взмах:
Меч падал мимо в эти годы.
И мой народ блуждал впотьмах.
Тоской томимый в эти годы.

Орлы тоскуют взаперти.
Кому внимать? Куда итти?
И были для слепцов пути
Неразличимы в эти годы.

Война лютела с каждым днем,
Дома охвачены огнем;
Младенцы погибали в нем
Средь клубов дыма — в эти годы.

Война лютела. Бой гудел.
Был храбрецам — один удел:
Стать грудой искрошенных тел.
Огнем палимой в эти годы.

И Дагестан был слишком слаб,
Чтоб вырваться из цепких лап!

¹ Намус — честь.

В союзе с ханом был сатрап
Неумолимый — в эти годы.

VII

Царь, подавив страну мою
Тяжелою пятой тогда,
Борцов гноил в чужом краю,
В пустыне ледяной тогда!

И жертвы ярости тупой
Прошли усталою стопой,
Сибирской каторжной тропой
Под вьюги злобный вой тогда!

А хан — услужливый холоп,
Кокардою украсив лоб,
Воротником стянувши зоб,
Шел с выгнутой спиной тогда.

Павлином пестрым наряжен,
Пудовым брюхом трясся он.
Сверкало золото погон
Над тушею свиной тогда.

Так щеголяли бек и хан.
И глохли стоны каторжан.
Ты был сжимаем, Дагестан,
Когтистою рукой тогда.

VIII

Многострадальное житье!
Нас молотили, как жнивье,
Нас всюду обирали, братья!
Нас брали, как зверей, в дубье,
Свирепо нас карали, братья!

Тянулась жизнь, как тяжкий сон.
Давил безжалостный закон.
Кровь горскую сосал дракон,
Урча от сытости. И трон
Горбом мы подпирали, братья.

Нам — смерть, а богачам — доход.
Мы были дичью их охот.
Терзали нас из года в год,
Дороже нас ценился скот...
Как скот, мы умирали, братья.

Ходить в яремах, как быки,
Довольно нам! Большевики
Сказали: повернуть штыки
По знаку Ленинской руки
Теперь вам не пора ли, братья!

Мы вняли им. Река времен
Сменила русло. Сто племен
Восстали. Алый лес знамен
Поднялся в небо. Счастья звон
Тогда мы услышали, братья!

IX

Но кто ж разбил металл оков,
Ковавшихся веками? — Партия!
Но кто ж нас вырвал из тисков
Могучими руками? — Партия!

Когда занялся пятый год
Огнем военных непогод,
Кто вел рабочего в поход
Железными путями? — Партия!

Когда в Баку забрезжил свет,
Когда Баку нам слал привет,
Кто всех спаял нас для побед
Над злобными врагами? — Партия!

И Ленин вышел против тьмы,
Народы вывел из тюрьмы!
Зажгла сердца, зажгла умы
Нам — Ленина строками — Партия!

И Сталин нас повел потом
Все тем же ленинским путем.
Мы с радостью за ним идем.
Сильна большевиками — Партия!

В потемках длил я жизнь свою —
Твой свет сверкнул в моем краю!
Твой свет я от души пою
Прозрачными стихами, Партия!

X

И час пришел, и пал престол,
Стоявший столько тяжких лет,
Путями Сталина повел
Нас — храбрый Кази-Магомед¹.

¹ Кази-Магомед Агасиев — старый большевик, рабочий.

Но был наемником убит
 Борец... Стань гневом, боль обид!
 Уже густую тьму дробит
 Борьбы торжественный рассвет!

Уже к восстанью подал знак
 Рабочий русский — наш кунак:
 Вставайте все, кто сир и наг! —
 Народ надеждою согрет.

Царь устремляет очи вверх,
 Но свет в очах его померк,
 И все, что сожрано, изверг
 Обратно этот людоед!

О, счастье без вина пьянит,
 О, счастье, как зурна, звенит
 И вдохновляет, и манит —
 Скорей увидеть яркий свет!

ХІ

Безумствует Владикавказ:
 Клыки Гоцинский точит злобный.
 И, выставляясь напоказ,
 Имамом¹ стать он хочет —
 злобный.

Он тянет край родной назад,
 Он воскрешает шариат²,
 Он проповедует и ад
 Он ропшущим пророчит —
 злобный.

Он целился попасть в вожди,
 Он слабых совращал с пути,
 Слал письма тайные в Анди,
 Кружился, будто кочет злобный.

А непокорным — грабежи,
 Пожары, тюрьмы и ножи.
 С фанатиком Узун-Хаджи³
 О чем-то он бормочет — злобный.

¹ Имам — религиозно-политический вождь.

² Законы мусульманской религии.

³ Узун-Хаджи — один из деятелей контрреволюции в Дагестане, фанатик, проповедывавший «священную» войну с коммунистами.

И чалмоносная орда
Пошла, как мутная вода,
К Шуре. Опять грозит беда,
Опять шайтан хлопочет злобный!

XII

А за Гоцинским шел второй
Поработитель. Целый рой
Бандитов взвился мошкаррой —
На запах крови мчался он.

Шли волки из различных стран.
Наемник властных англичан —
Шел Бичерахов¹ в Дагестан,
Нас погубить пытался он.

Он нес пожары и войну,
Он на прекрасную страну
Точил голодную слюну,
Как дикий зверь, метался он.

Его потом прогнала рать
Султанская. Понесся вспять
Трус Бичерахов. Убежать
От турков догадался он.

Султан послал своих солдат
Топтать полусожженный сад,
И превратить в свой виллоят²
Край горный домогался он.

XIII

Тарковский³, князь, главою стал.
За ханов он горою встал.
Для бедных он бедою стал,
Был тягостен трикраты нам.

В горах стояли стон и плач,
В горах хозяйничал палач.

¹ Бичерахов — белогвардеец, состоял на службе у англичан. Возглавлял отряд белогвардейцев, боровшийся в 1918 г. с советской властью в Закаспийской области

² Виллоят — область (тур.).

³ Шамхал Тарковский, в 1919 г. — «диктатор» Дагестана.

Тарковским был убит Махач¹...
О, не забыть утраты нам.

Срубили благородный ствол,
Но он еще пышной расцвел,
Он полон сил, он полон смол,
Струящих ароматы нам.

Он жив в живых большевиках,
Он жив в полях, он жив в станках,
В штыках, он жив для нас в веках,
Его призывы святы нам.

Звени же дальше, сладкий саз.
Теки же дальше, мой рассказ,
О том, как бурей мчало нас,
Как слышались раскаты нам.

XIV

Час от часу сгущалась мгла,
Над родиной кружила нечисть.
Антанта ханам помогла
И всю вооружила нечисть.

Страна была так молода...
Пришлось большевикам тогда
Сдать проходимцам города.
Пить нашу кровь спешила нечисть.

В чести грабитель стал опять,
Из собственных аулов гнать
Мерзавцы стали нас, и вспять
Жизнь повернуть решила нечисть.

Стремимся руки протянуть
Товарищам, но заперт путь!
Вершины гор покрыла муть,
Потоки отравила нечисть.

Пора насилий, грабежей
Настала, из-за рубежей
Шли пушки; сакли средь межей
Пылали, нас давила нечисть.

Беду познали бедняки.
Им вырывала языки,

¹ Махач Дахадаев — старый революционер.
Его имя носит столица Дагестана — Махач-Кала.

Сдирала кожу и в тиски
Сжимала, их давила нечисть.

XV

Настал в стране ужасный день.
Стал черной ночью ясный день.
Наступит ли прекрасный день? —
Так спрашивал один другого.

Казаться другом недруг рад.
Пчелою притворился гад.
За сладкий мед он выдал яд,
Текло тогда гадючье слово.

Как быть? Что делать? Путь каков?
Тревогой гнуло бедняков.
Но партия большевиков
Согбенных выпрямила снова.

Ты сделалась, страна моя,
Той чашей, где через края
Переливался гнев, кипя.
Да, ты была к борьбе готова.

Аварец, лак, кумык, лезгин —
Отряды женщин и мужчин —
Среди долин, среди вершин
Врага преследовали злого.

Горнилом стал Табасаран,
И выковал он партизан.
Высокий был им жребий дан —
Защита собственного крова.

И стар, и млад точил булат.
С мужьями жены стали в ряд.
Бойцам была их помощь — клад,
Они свой долг несли сурово.

XVI

И так возник в горах Совет —
В кольце неистовых врагов.
Москвы далекой жаркий свет
Отважных озарял борцов.

Тоски рассеялся туман.
Зарылись в пыль и бек, и хан.
Расправил плечи Дагестан,
Освобожденный от оков,

Воззвал ревком: — громить врагов!
Он из вчерашних бедняков
Военных делал знатоков
И преданных большевиков!

Вначале двести было их —
Отважных, пламенных, лихих
Красногвардейцев молодых,
Рожденных бурей смельчаков.

Их вел Буйнакский¹, наш герой.
Возглавил он железный строй.
Замыслил завладеть Шурой
Отряд решительных бойцов.

И двинулся народ — одной
Всесокрушающей волной.
Шура, Петровск, Дербент родной
Уже в руках большевиков!

XVII

Но вновь многоголовый враг
Смог укрепиться в Дагестане,
Грабительский подняли флаг
Вор и убийца в Дагестане.

Все на пути своем круша,
Горами завладеть спеша,
Наш край топтал Нури-паша²...
Земля клубится в Дагестане!

Нури-паша ограбил нас:
Таков султана был приказ...
Растерзан на куски Кавказ,
Беда когтится в Дагестане.

Исчезла вдруг земли краса.
Померкли разом небеса.

¹ Уллубий Буйнакский — известный дагестанский большевик. Его имя носит город Буйнакс (б. Темир-Хан-Шура).

² Нури-паша — командир турецкого экспедиционного корпуса, наступавшего на Баку. Одно время орудовал в Дагестане.

В уныньи — горы и леса,
И зверь, и птица в Дагестане.

Пришлец, змеиная душа,
Народу лгал Нури-паша:
«Жизнь под султаном хороша...».
А кровь струится в Дагестане.

Его Деникин-генерал
Потом сменил, он разорял
Аулы наши, взятки брал,
Чтоб разжиться в Дагестане.

И вот Буйнакский был тайком
Убит предательски врагом.
О, память вечная о нем
Да сохранится в Дагестане!

Но горцы не забыли честь.
Еще в горах отвага есть.
Под старою папашой месть
Еще таится в Дагестане!

XVIII

Величьем Ленина сильны,
Познали волю мы впервые, горцы.
Бураном были сметены
Тираны наши вековые, горцы.

Хотя мы знали храбрецов, —
Дремали силы в нас живые, горцы.
Иосиф Сталин — вождь борцов —
В нас мужество вселил впервые,
горцы.

Была нам воля дорога.
Борясь, мы не сгибали выи, горцы,
Но в настоящего врага
Серго стрелять учил впервые, горцы.

О нем горячие слова
Вплели мы в песни боевые, горцы.
Мы храбрых чтим. Такого льва
Нам даровала жизнь впервые, горцы.

XIX

Тогда отправились к нему
И переплыли море, горцы, —

Посланцы наши, чтоб ему
Поведать наше горе, горцы.

Учил нас будущий нарком,
Как нужно бой вести с врагом.
И мы пошли его путем.
Отвага — в каждом взоре, горцы!

Понине в тысячах сердец
Живущий, — воин, вождь, мудрец, —
Помог нам Киров, как отец.
Нам засверкали зори, горцы!

Помог нам в этот грозный час
И наш товарищ Анастас¹:
Оружье он прислал для нас,
Чтоб одолели в споре горцы.

Уже свободы дни близки.
Уже Серго послал полки!
И, темным силам вопреки,
Мы победили вскоре, горцы.

Уже грабителям невмочь.
Уже для них настала ночь.
Уже шакал Деникин прочь
Бежит от нас в позоре, горцы!

XX

Заботой Сталина согрет,
В аулах вновь родной Совет,
Опять в горах сияет свет,
И горцы радостью об'яты.

Настала вольности пора.
Старья слетала кожа,
Скликала партизан Шура:
Ревком — железный их вожатый!

Довольны властью бедняки.
Но злятся беки-пауки,
И точат подлые штыки
Гоцинским поднятые каты!

Мечтал Гоцинский нас во тьму
Повергнуть, запереть в тюрьму —
Мечталось об одном ему:
Чтоб властвовал опять богатый.

¹ А. И. Микоян.

Сбирались хищники тайком,
Мулла шел вместе с кулаком,
Добычей будущей влеком...
Так начался мятеж проклятый!

XXI

Все мироеды собрались
В Тляроте: власть была мечтой!
Поддержан был их меджлис¹
Меньшевиками, что Тифлис
Тогда держали под пятой.

Где был обычай древних лет
Еще не тронут новизной,
Где не горел Советов свет, —
Нашел Гоцинский там привет,
Слепцов держал он под пятой!

Задумал повернуть он вспять
Мир, обновленный беднотой,
В темницу нас загнать опять,
Мир завоеванный отнять
И вновь держать нас под пятой.

Он Саидбека² вызвал к нам,
Дерьмо назвал он красотой:
— Был дед его Шамиль имам! —
Гоцинский так налгал слепцам,
Дабы держать их под пятой.

Он окружил Гуниб, Хунзах
С кулацкою своей ордой.
Но знали мы: пусть враг — в горах,
Большевикам неведом страх,
Не быть нам больше под пятой!

XXII

И ты на помощь к нам пришел,
К нам горным прилетел орлом, Серго.
С исчадьем бед, с исчадьем зол,
Ты сразу бой повел с врагом, Серго.

До дней Советов, с давних пор
Сдружился ты с народом гор,

¹ Меджлис — парламент, собрание, заседание (тур.).

² Саидбек — авантюрист, выдававший себя за внука Шамиля. Гоцинский им пользовался для обмана горцев.

Провидел твой орлиный взор,
Кто сможет стать большевиком,
Серго.

Ты тем уже для нас велик,
Что Ленина живой язык,
Что Сталина живой язык
Ты сделал нашим языком, Серго.

Когда в наш дом, как друг, стучась,
Пришел великой битвы час,
Себе сподвижников средь нас
Ты подбирал, борьбой влеком,
Серго!

Вот подымается страна:
В последний бой идет она.
То — праведнейшая война
С гнетущим злом, со злым ярмом,
Серго.

И ты тогда возглавил нас,
И каждый легендарный сказ,
Что Северный сложил Кавказ,
Твердит о мужестве твоём, Серго.

Ты — Красной армии титан,
Титан, отбивший Дагестан.
Не даром песи и Сулейман
Слагает о всегда живом Серго!

XXIII

Припомним бранный гул годин,
Когда, как барсы, бились горцы,
Шакал Гоцинский Нажмуддин
Дрожал, когда рубились горцы.

Два месяца тревог и мук!
Замкнул бойцов враждебный круг.
Но вырвались из подлых рук
И вскоре укрепились горцы.

Львы Красной армии тогда
Пришли на помощь нам. Горда
Была их красная звезда.
За ней к борьбе стремились горцы.

Когда был взят бойцами Чох,
К ним в плен попасть Гоцинский мог,
Но ханский сброд ему помог —
Бежал он... Закалились горцы

В горниле битв, Гуниб, Хунзах —
У них в руках. Последний взмах —
И враг разбит. В своих горах
Желанного добились горцы!

XXIV.

Среди листков календаря
Есть радости листок чудесный:
Тринадцатое ноября,
Вот радости листок чудесный!

К нам в этот день приехал тот,
Кто весь — движение вперед,
Кто выпестовал наш народ,
Кто радости залог чудесный.

Чья смелость — смелых создает,
Чья честность — честных создает,
Чья мудрость — мудрых создает,
Кто светлых дел исток чудесный.

Кто Истину возвел в Закон,
Кто весть от будущих времен,
Кем выхолен и кем возвращен
Наш край родной — цветок чудесный!

Кто высится, как исполин,
Над снежной высотой вершин.
Кто изобилия хурджин¹
Раскрыл нам — некий рог чудесный!

Разбил врагов коварство он,
Недужным дал лекарство он,
Их прекратил мытарства он,
Он факел им зажег чудесный.

XXV

Хотите имя знать того,
Кто чище всех кристаллин, горцы?
Уже вы знаете его:
То — наш товарищ Сталин, горцы!

Была та грозная пора,
Как меч наточенный, остра...
Вовек прославлена Шура:
Сюда приехал Сталин, горцы!

¹ Хурджин — горская переметная сума.

Запомнится великий с'езд:
Пришли из самых дальних мест
На с'езд, и слышалось окрест:
— Привез подарок Сталин, горцы!—

Слились в один горящий взор
Все взоры. О, какой простор
Открылся вдруг: отчизну гор
Советской сделал Сталин, горцы!

Советов пламенный паскад¹
Он раз'яснил. И каждый рад:
— Уже мы не пойдем назад,
Когда ведет нас Сталин, горцы!

И в сердце каждого проник
Вождя пророческий язык.
Аварец, лак, лезгин, кумык —
Удел ваш беспечален, горцы!

XXVI

И родина путем побед
Итти широким шагом стала.
Утесом в океане бед
Она под красным флагом стала.

Венец рачительных трудов —
Уже ломятся от плодов
Одиннадцать ее садов.
Она цвести яйлагом² стала.

Губами слабо шевеля,
Сухая трескалась земля.
Теперь поить ее поля
Живительная влага стала.

Следы автомобильных шин
Уже доходят до вершин.
Встал Дагестан, как исполин,
В глазах сверкать отвага стала.

Взгляните, кунаки, вокруг,
Как зреет дело наших рук!
Отчизна битв, отчизна мук
Теперь отчизной блага стала!

¹ Паскад — цель, стремление.

² Яйлаг — летнее пастбище.

XXVII

О, двух десятилетий взлет!
Все выше, выше нас вздымало.
Пора тревог, пора забот,
Пора борьбы, пора работ...
Да, нами сделано немало!

Мы знали горести года:
Аулы, села, города
Оделись в черноту, когда
Угасла мудрости звезда —
Навеки Ленина не стало.

И клятва Сталина в сердца
Проникла. Клятва мудреца
Заветом стала для борца.
И сына, брата и отца
Соревнование спаяло.

Но мы в счастливую семью
Впустили злобную змею.
Нас троцкий предавал в бою,
Он грелся в трудовом краю,
Трусливо притаивши жало...

Я стар, меня гнетет недуг,
Но если б мне попалась вдруг
Гадюка эта из гадюк, —
Ее не выпустив из рук,
Сразил бы лезвием кинжала!

Когда я вспомню о плодах
Отравленных, о поездах,
С путей сошедших, о судах
Потопленных, о тех трудах,
Что червоточиной с'едало, —

Тогда я гневом обуян,
Тогда в груди моей буран,
Тогда неистов Сулейман!
Кто б ни был враг, о, Дагестан, ---
Рази, чтоб гадины не стало!

XXVIII

Провозглашаю за тебя
Я тост застольный, Дагестан!
Правдиво я пою, любя
Свой край — раздольный Дагестан.

Там, где горели искони
 Болот зеленые огни,
 Мы выстроили в эти дни
 Завод стекольный, Дагестан.

Разрушена Аллаха клеть —
 Азан¹ забыт, пуста мечеть.
 Спешат джигиты овладеть
 Наукой школьной, Дагестан!

Станки в тагиевских² цехах
 Ткут сукна; ткут ковры в Ахтах
 Горянки. Радость в их глазах:
 Они довольны, Дагестан.

Гудит арык, гудит канал
 В ущельях первозданных скал.
 То счастье, что всегда искал,
 Нашел привольный Дагестан!

XXIX

Наш большевистский пароход,
 Отчалив от Москвы, плывет.
 Весь мир его к себе зовет,
 Сулит он счастье, Дагестан.

Он с бурей в дружбе оттого,
 Что Ленин — мира торжество —
 Был корабельщиком его, —
 Наш лучший мастер, Дагестан.

Близка грядущего земля!
 Ему на смену у руля,
 Победями нас окрыля,
 Стал мудрый Сталин, Дагестан.

Мы зажили семьей одной.
 Он близкой сделал нам, родной
 Советов власть. Любим страной
 Великий Сталин, Дагестан!

Он ужас во врагов вселил,
 Он старый мир испепелил,
 Путь к изобилию открыл
 Великий Сталин, Дагестан!

¹ Азан — аналой.

² Тагиев — б. фабрикант, крупнейший капиталист в Дагестане.

Усталых воодушевил,
Богатства беднякам явил
И Сулеймана вдохновил
Великий Сталин, Дагестан!

Он будет жить всегда, всегда —
Золотоносная руда,
Которая, как сталь, тверда, —
Великий Сталин, Дагестан.

Не терпит Стальский слов пустых,
И в песне места нет для них!
Нас любит, как детей родных,
Великий Сталин, Дагестан.

Перевод С. ЛИПКИНА.

1935—1937 гг.

Песня 220 полка

В. ПОЛТОРАЦКИЙ

Над просторами нашей
Великой страны,
В золотой подымаясь зенит,
Ходит громкая слава
Гражданской войны,
Красной Армии слава гремит.

О Каховке поют,
О Джанкое поют,
Не забыть волочаевских дней..
Боевые друзья,
Вспомним юность свою
И споем эту песню о ней.

Злые тучи закрыли
Рассвет голубой,
Шел в грозе девятнадцатый год.
Фрунзе поднял ткачей
И повел за собой
В тот, овейный славой, поход.

Сквозь уральские степи
На крыльях знамен
Двадцать пятая¹ славу несла.
Будет помниться долго
Сломихинский звон,
Не забудется Бугуруслан.

По-над Белой рекой
Рыскал ветер, как волк,
Теплой кровью кропили мы дол.

¹ Двадцать пятая — Чапаевская дивизия.

Помнишь: двести двадцатый
Ивановский полк
Сам Чапаев в атаку повел.

Не померкнут огни
Этих дней под Уфой.
Были наши сердца горячи —
Колчака накормили
Свинцовой ухой
Из своих трехлинеек ткачи.

С нами Фурманов был
Комиссар молодой,
Что не кланялся перед бедой...
Мы коней напоили
Уральской водой
И днепровской поили водой.

Разметали врагов
От родимой страны.
И теперь, подымаясь в зенит,
Ходит громкая слава
Гражданской войны,
О чапаевцах слава гремит.

Если ж враг подкрадется,
Оскалясь, как волк, —
Снова в грозной щетине штыков
Встанет двести двадцатый
Ивановский полк,
Встанет армия большевиков.

ЯСНЫЙ МЕСЯЦ

Главы из сказки¹

Н. НЕЗЛОБИН

...Это все лишь присказка,
а сказка впереди.
Ясен-месяц близко стал —
в карман клади... —

КРЕМЛЬ

То не журавли над пашней
с неба голос подают,
то часы
на Спасской башне
древним колоколом бьют.

И парит-парит крылатый,
и горит-горит огнем
выше облака под'ятый
алый сполох
над Кремлем.

По коврам широких лестниц
с каждым шагом все смелей,
спрятав под бок
ясный месяц,
лезет наверх Еремей.

Шел и шел бы без устатку
по ковровой мураве,
да поднялся
на площадку —
закружилось в голове:

зал, как мир,
и в нем народу —
негде яблоку упасть, —
*собрались, чтоб взять природу
в человеческую власть.

Мастера высокой пробы,
знатный род
колхозных нив,
столбовые хлеборобы,
именитый коллектив.

Собрались одной семьей
из республик
и краев
загорелые герои
земледельческих боев.

Казаки из Семиречья,
гуртоправы,
чабаны —
в шапках дымчатых овечьих
наподобие копны.

Полукругом
возле арки

¹ Печатаются главы из третьей части сказки «Клад» — о крестьянине Еремее, пережившем царско-помещичий гнет и нашедшем в наши дни счастливую жизнь.

разнесли свои платки
сероглазые доярки
с крутобережной Оки.

От казаков пахло дегтем,
от доярок молоком;
рядом с ними
локоть с локтем —
академик и нарком...

Между прочим, пробегая
по заветному пути,
твердо стрелка часовая
подходила
к десяти.

И ударил час. И встали
делегаты, как один, —
это в зал
товарищ Сталин
с боковых дверей входил.

И не ливень, нет, не ливень,
не гроза, не вихрь,
не шквал, —

шире моря и бурливей
загудел высокий зал.

Сталин весело кивает,
улыбается в усы,
из кармана вынимает
с ясным стеклышком
часы.

Он улыбкой и часами
хочет шум людской унять, —
дескать, срок,
судите сами,
дескать, время начинать.

И как будто затихает
море бурное,
но вдруг
чей-то голос покрывает
шумовую вьюгу рук.

И опять по залу ливень,
и опять по залу вихрь!
Каждый в зале был счастливей
всех на свете
в этот миг...

ЗНАМЕНИТЫЙ УЗЕЛОК

Выступали из-под Пскова —
от озерных деревень,
с Волги, с Дона, из Ростова,
из Иркутска, из Тамбова,
с Новгорода седого,
из Архангельска лесного, —
Еремею вышло слово
под конец, на пятый день.

Перед ним
для выступленья
бабка древняя прошла;
хоть стара до удивленья,
но стройна и весела.

Кто-то подал бабке воду,
показал на микрофон.
А она — поклон народу
и правительству —
поклон.

Провела рукой по залу:
— обожди, мол,
дайте срок! —
И тихонько развязала
деревенский узелок.

Развязала,
размотала,
призадумалась на миг

и две варежки достала
белоснежных шерстяных.

Уж и связаны, что свиты, —
петля к петле,
как одна.

К Ворошилову с трибуны
обращается она:

— Я связала их на спицах
без нужды
и без угроз,
в чистых комнатах-светлицах,
что построил мне колхоз;

без богов и богородиц,
неподвластная царю...
Я тебе, наш полководец,
эти варежки
дарю.

Ты пошли их утром рано,
ты пошли их, мой сынок,
в пограничную охрану
на заставу,
на восток.

Ты пошли их без задержки,
скорым поездом
пошли.
Пусть красавец-пограничник
носит варежки мои;

чтобы руки не озябли
в урагане ледяном,
чтоб не выронил он саблей,
если схватится
с врагом... —

Губы маршала приветно
улыбнулись бабке вдруг.
Он привстал и молодецки
принял варежки
из рук.

Сапогом сверкнул и с ходу
ловко подал бабке стул,
поднял варежки к народу
и на Сталина
взглянул.

Бабка к Сталину,
а Сталин
сам навстречу к ней идет
и обеими руками
руку бабкину берет.

Жмет. А варежки гуляют,
что котята, по рядам
и снежинками порхают
и мелькают
тут и там.

Еремей, заждавшись слова
на часы глядит тайком.
В сорок пять минут шестого
принял варежки
нарком.

До Калинина доходят
снеговые
ровно в шесть.
Президент очки наводит
на поярковую шерсть.

Хвалит бабкину работу,
щиплет кончик бороды.
Всем вождям
взглянуть охота
на старухины труды.

А начальник Первой Конной,
что на крайчике сидел,
боевой казак
Буденный
даже на руку надел,

чтоб примерить,
чтоб проверить,
ловко ль саблю будет взять,

взвить коня на всем карьере
и поводья разобрать...

Вдруг — а варежки,
как птицы,
к синей фортке и в расход!
Но старуха-мастерица
уж другие подает.

И другие вслед за ними.
Бабка вновь за узелок
и руками молодыми
хватать оттуда
сот пяток!

Ну и бабка, ну старуха!
А от ней,
как в снегопад,
белой вьюгой-завирухой
к фортке варежки летят.

Их не тысяча, их боле,
их, быть может, миллион.
На окошко голубое,
из окошка
на балкон,

друг за дружкой гонят, гонят
по зубцам, зубцам, зубцам
и прямехонькс
в ладони
к пограничникам-бойцам.

В боевом строю,
в колоннах,
пограничники идут,
в белых варежках дареных
ружья наискось несут.

Сзади конница;
за нею
танки с пушками ползут,
дорогому мавзолею
отдают они салют.

И глядят на них из зала
делегаты и вожди.
А старуха повздыхала
да в народ:
поди найди!..

ЯСНЫЙ МЕСЯЦ

Шли минута за минутой,
вот последняя, и с ней
встал большой,
слегка согнутый,
на трибуне Еремей.

Светлый зал,
как бороздами,
разделен,
а в бороздах
разноцветными рядами
люди в искрах и в звездах.

От подвесок ли хрустальных
застилаются глаза,

иль рябит
от стен зеркальных,
иль, действительно, слеза?

Вспомнил он так ярко-ярко,
всю-то жизнь он
вспомнил вдруг:
тянет серая казарка,
тянет поздняя на юг.

Вьется чибис белорудый,
вьется, падает в ручьи
и кричит-кричит оттуда:
чьи вы, слезы,
чьи вы, чьи?

Вспомнил все
до крайней стезжи,
до последней колен:
избу, липовые ложки,
лапти рыжие свои,

рыбью мелочь в бедной речке,
лысый квас,
пустую клеть,
бабу хворую на печке
крест и княжескую плеть.

Отряхнулся,
встал прямее,
плечи смело развернул;
от былого Еремея
этот вон куда шагнул!

Подойди к нему, уверуй:
он не робок,
не угрюм.
На Ереме светлосерый
коверкотовый костюм.

Мягкий свитер пестротканый,
шитый шелком отворот,
из наружного
кармана
уголком глядит блокнот.

Прошлой жизни оголтелой
не осталось
и следа.
От нее лишь уцелела
жуковая борода,

да покойницей расшитый
в две каемки
с васильком
шерстяной кисет, набитый
крепким ряжским табаком.

Кто ж Ереме руку подал?
Кто ж дорогу указал
из Бирючьего-то Брода
к солнцу, в Кремль
и в этот зал?

Вот стоишь сейчас, как дома,
не боишься никого...
Сталин
смотрит на Ерему,
а Ерема — на него.

Точно колос набухает
теплым вечером
к дождю,
так Ерема начинает,
обращаясь к вождю:

— Как в Москве я появился,
ничему не удивился,
будто здесь
давным-давно
жил с тобою заодно.

А когда вот в этом зале,
видел я,
товарищ Сталин,
как народ встречал тебя,
больше матери любя,

вся душа пришла в движенье,
в удивленье,
и волненье;
сам стою, а рвусь все встать. —
просто трудно передать.

Я-то там
в избе сосновой
полагал, что ты суровый.
и в суровости такой
не достать тебя рукой;

а гляжу —
совсем иное:
ты, как солнышко родное,
как отец, как брат старшой,
и такой простой-простой.

Только внутренняя сила —
чую, много ей в тебе.
Нам от ней

тепло и мило,
а врагам — не-по-себе.

И зовет нас эта сила
на работу,
на борьбу.
Чтоб тебе понятней было,
расскажу свою судьбу:

был я жизнью опечален,
дорогой товарищ Сталин,
верил в беса и божбу,
в старшину и ворожбу,

в черных кошек и в лампы,
да еще в лесные клады,
а пришел в колхоз, как в сад,
и подумал:
вот он, клад!

Нет нигде
другого клада,
и ходить за ним не надо:
он, как золото в руде,
в нашей силе и в труде.

Завернул бы после с'езда
к нам в село,
под наши звезды,
подвигаться в добрый час
на природу и на нас,

что мы были, кем мы стали.
Будь здоров,
товарищ Сталин, —
за себя не говорю,
за народ благодарю!..

А теперь, родные гости
и хозяйва
страны,
расскажу вам очень просто
относительно луны.

Передать подарок с'езду
я, признаться, не мечтал.

Но в дороге мне с наездом
месяц
под руку попал.

Я ему про то, про это
да катком, катком в кiset.
Оттого-то из кисета
и сияет
лунный свет.

Вот он здесь,
и кругл и ярк,
в чистом виде, так сказать.
Разрешите мне в подарок
мужикам его отдать.

Пусть от Сталина ученье,
что мы слышали
в Кремле,
передаст во все селенья,
разнесет по всей земле.

Мы дадим ему
картузик
и почтовую суму.
Пусть походит карапузик
по маршруту своему.

Пусть шагает по морозцу
хрустким настом,
целиком, —
деревенским письмоношцем,
золотым кольцевиком!.. —

Тут он дернул за тесемки.
Месяц мячиком на стол
прыг да вверх —
в окно, в потемки,
и пошел, пошел, пошел.

Засиял, засеребрился,
головой слегка кивнул,
снял картузик,
поклонился
и за башню повернул.

Бьют часы на старой башне:
 день длинен,
 длинен, как год!..

А послушный письмоносец
 уж проселками идет.

Утром гуси протянули
 с юга к северу домой.

В полдень
 громы громыхнули
 в синей туче дождевой.

К ночи лошади заржали
 у колхозного двора.
 В темном поле прокричали
 перепелки:
 спать-пора!

Вышел ясный письмоносец
 в теплый сумрак полевой,
 где ни меж,
 ни чресполосиц,
 а хлеба сплошной стеной,

где без бога и без беса
 строит счастье человек.
 Кольцевик шагает лесом,
 по оврагам,
 краем рек.

В камышах степных калужин
 козырьком своим блеснет.
 К пастухам

как-раз под ужин
 из-за стога подойдет.

У студеного колодца
 глянет к девушке в ведро.
 Через край попьет,
 утрется
 и поклонится: добро!

Под окно колхозной хаты
 кинет с ходу письмецо.
 С визгом
 выскочат девчата
 на широкое крыльцо.

Лица белы да румяны.
 Ниже пояса коса.
 Гармонист,
 прильнув к баяну,
 нажимает на баса.

— Ясный, милый да хороший!
 Веселó пройти селом.
 То ли девушки в ладоши,
 то ли лебеди
 крылом: —

ты лети, наш месяц ясный,
 до седой Кремля стены.
 Передай ты, месяц ясный,
 наш поклон столице красной
 и вождю родной страны!

Люди из захолустья

Роман

Ал. МАЛЫШКИН

(Продолжение ¹)

Трудные дни

У бараков с семи утра kloкотали на морозе три-четыре грузовика. В потемках, застегиваясь на ходу, вперегонку кидались из всех дверей барачные обитатели, лохматым шаром облипали каждую машину. Кто после-вал, тот стоя или сидя счастливец летел над снегами до самого места работ, до железнодорожных путей, где ярмаркой кишела разгрузка. Но Журкина путала всякий раз проклятая шуба, крючки не попадали в петли, воротник не заламывался, да и где побежишь притко в таком колоколе! Тишка, хоть и одетый, из согласия поджидал дядю Ивана, свою защиту. Оба выскакивали чуть не последними и кое-как вдавливались, при общей ругани, на переполненный грузовик. Помощник шофера, распоряжающийся посадкой, много не разговаривал. «Поехали!» — кричал он водителю, срывал с лишних, с запоздалых, шапки и кидал наземь. Пока те спрыгивали да подбирали, грузовик тарахтел уже за мостиком и дальше, мельчал...

Приходилось брести три километра пешком. И глаз, и душа не могли еще привыкнуть к новой стороне. Сначала надо перевалить меж невысоких и голых, сугробами облитых гор. На дороге крест скосбочился: помер тут человек, и забыли — кто. А за крестом

внизу неохватимая взглядом снеговая ровень; то сияет она до ломоты в глазах, то смеркнется пургой, и по ту сторону ее навалены те же грозовые, синие от снега горы... Там и сям по пустыне обрубки недоконченных зданий, торчат штыки построечных лесов. Глазасто-оконная и многоэтажная гостиница высятся диким дворцом.

Баракки принадлежали Коксохиму. Журкину некогда было пока разузнать, что это такое, достаточно того, что тут требовался народ всяких специальностей. Спервоначалу его записали в плотничью артель. Запись вел молодой мужик, которого в бараке все звали Васей. Журкин, когда его записывали куда-нибудь, всегда чувствовал себя подчиненно. Вася был простой плотник, а он, Журкин,—столяр-краснодеревец и притом почтеннее его годами: Гробовщик, утаив про себя горечь, только спросил:

— Где ты писать-то навострился эдак борзо?

Вася оказался и плотник не ахти какой: просто после военной службы, после города заскучалось в соломенной деревне... Около него жался неотлучно светловолосый паренек, вроде Тишки. Обоих малых тоже зачислили в артель подносчиками материала.

Но плотничали не больше недели. И мастеровых-артельных из всех шести бараков перекинули в подмогу чернорабочим, на разгрузку железнодорожных

¹ См. «Новый мир», кн 10 с. г.

путей. Неладное, пожарное чуялось там Журкину — на путях, забитых чуть не на десяток километров заметеленными составами. Помнился ночной разговор в халупе...

Буря стих, зато установился кусачий 30-градусный мороз. «Казня, а не ходьба» — роптал даже выносливый гробовщик. Запирало дыхание от стужи, об'едало скулы, и при всем этом к концу дороги из-под шубы у взмокшего Журкина курился пар.

Да и на грузовике, когда удавалось захватить место, приходилось не слаще. На под'еме машина вязла в снегу, буксовала, шла тычками, пассажиров то-и-дело сшибало и валило друг на друга. Достигнув же перевала, ухарь-шофер со смертоубийственной удалью пускал ее вниз на полный газ, — в ушах свистали вихри, на крутых поворотах машина, полупрокидываясь, мчалась только на двух боковых колесах, — два другие неслись в воздухе, Журкин сам видал... В страхе он приседал, выцарапывал пальцем крестики у себя на груди, в плечо ему впивался бледный Тишка. «Ну ее и с ахтомобилью-то» — слезая, говаривал потом осунувшийся гробовщик.

Петр в первые же дни сумел ускользнуть от разгрузки: через знакомого Аграфены Ивановны, которую он навещал ежедневно, через трегубого Санечку пристроился на плотину, в арматурный складик, кем-то вроде помощника заведующего (настоящий заведующий отбыл для приема материалов в командировку). «Место последней работы?» — спросили у него. Сослался на бытность свою помощником на лесопильном складе. По паспорту значилось, что происходит из крестьян бывшего уездного городка, ныне села Мшанск. Приняли, жалованья назначили 90 рублей.

Насчет безработицы больше не тревожились. Каждый день приходило по два поезда в так называемый Красногорск, а все в рабочих руках была недостача, чуть не со станции расхватывали их по артелям, по баракам. Но и с обратными поездами утекало много недовольных. Аграфена Ивановна кар-

кала не зря: зарплату из-за каких-то недочетов в смете, действительно, задерживали второ́й месяц. Но не эти неполадки и не мороз отпугивали таких, как Журкин. Не знал, стерпит ли он до конца артельную эту жизнь, суматошный и парной, похожий на баню, барак, полный чужих мужиков. Ни с кем не мог сойтись, держался скрытно-брезгующим отшельником. Он, ведь, дома-то и чайпил каждое утро и каждый вечер, на окошках у него висели гардиночки, при гостях, бывало, сморкался в платок...

Однажды кто-то из б'арачных, разговорившись, дал ему в починку фальшивившую гармонию. Журкин за два целковых наладил ее в один вечер, попросившись для этой цели к кастилянше Поле в каморку, поближе к лампе. И — первый это был вечер в уютной тишине, у огонька, за своим делом, когда приутишился немного.

Даже Поле наиграл что-то ртом через медные лады, по-комариному. Песня прозывалась: «Истерзанный, измученный»...

Песню услышал и комендант — чахлый, долговязый несчастливцев в длинной шинели. Он занес Журкину гитару, тот мигом вклеил расшатавшиеся ладки. И песня коменданту понравилась. Журкин напевал, а он подбирал на ладках.

Поля сокрушалась:

— Барак в грязище, в срамотище, из матрацев труха лезет, один куб с кипятком на восемь домов, а он либо спит, либо над гитарой убивается. Не комендант, а Степа какой-то, исчадь!

И Журкин поддакивал:

— Как говорится: ешь — потей, работай — зябни, ходи, чтоб в сон бросало.

На другой день комендант заглянул опять: пропала у него песня из слуха. Жаловался вяло:

— Чегой-то у меня все на «Коробушку» сбивается.

— Половички хоть бы достал, — не вытерпела Поля, — на полы-то взглянуть тошно, в каком хаосе народ живет!

— Будут половички, — уныло отмахнулся комендант.

В бараках, верно, было неприглядно, пасмурно сердцу. Понаделаны они из купленных на снос бревенчатых, прокоптелых изб. Посередине—длинный голый деревянный стол под лампой-молнией, которая то коптила с польем, то едва брезжила. Под койками напихано всякого барахла... и чуть не каждый сезонник норовил вывести себе отдельную печурку, не вникая ни в уговорам, ни брани. А Поля видала и другое на участках, — в сенях некоторых барачков устелился серебряный кипятильник «Титан», райски светился... Возможно, то чье-нибудь особенное было жилье.

Ну да, и люди там, на участках, сновали другие, больше рабочая молодежь, бойкие, веселые, с машинной чернью под ресницами, и ватники на них словно стройнее подтянуты. А тут, как нарочно, почти сплошь подобралась хмурые, глухоманные бородачи-сезонники.

Только вздыхала.

...В ту самую ночь, когда размолвился гробовщик с Аграфеной Ивановой и опять пошел осоловелые путники маяться по метели, это она, Поля, на стук отперла дверь барака. «С поезда, что ли? Обморозились-то, чай, как!»—встретило их в темноте участливое, почти домашнее гореванье. Тут же проводила к койкам, подбросила заботливо тюфячки,—всего этого хватало, потому что в бараке, построенном на 60 душ, ютилось тогда только сорок с чем-то.

У Журкина жену тоже звали Полей... Но жена у него была — царь, статная, костлявая, с широкой бровью, а эта Поля — низенькая, тонконосенькая, узкоглазая, с пылко-румяными, как у девочки, скулами (хотя и выходило ей за тридцать), по всему обличению мордовка. И на самом деле, приехала она из мордовского края, из Рузаевки; муж ее служил там в кондукторах. От мужа Поля ушла.

Журкин сразу доверился ее доброте, попросил припрятать в каморке единственную свою драгоценность — сундучок с гармоньей. В бараке всякий народ вертелся... А гармонья была четырехрядная, юлий-генрих-циммермановская,

звончее баяна, больших теперь стоила денег.

О мастерстве гробовщика услышали (кому надо) и другие гармонисты, рассеянные по баракам строительства. Водку не продавали, было запрещено. Гармоньями утешался не обжившийся еще и сомневающийся народ... Спустя немного еще двое — уже бетонщики с плотины — принесли Журкину починку. И опять приспособился с ковыряньем своим на обрубешке, около полина огонька. Сама кастелянша закатилась по свим делам в рабочком на весь вечер. За перегородкой отдаленно пошумливалось бородатое, малахайное население барака — плотники, каменщики, грузчики; тут, в каморке, мастеру оно не мешало, подбирал на слух самые каверзные, тонкие волосинки-голоски.

А с третьего вечера сиденье это почти вошло в обычай. Поля сама поощрила: «А вы чего там, не стесняйтесь! Мне одной тоже скучно». Сама устроилась с шитьем напротив на кровати (одеяло семейное, все из разноцветных ситцевых клиньев) и начала перед гробовщиком ворковать, ворковать... Сначала называла его «товарищ Журкин», потом спросила имя-отчество, показывая этим, что Журкина она считает отдельным от всех, особо уважительным человеком. И гробовщика разморило душевно; главное — эдакое же глазастое одеяло и в Мшанске постлано на сундуке... Только-что собирался он раскрыть рот—рассказать Поле про мшанское свое бедованье, про шесть ртов, шесть кусков — и запнулся. То ли побоялся обидеть ее рассказом о семейственности, когда баба сама все кинула, убегла от мужа, то ли еще что... А Поля, ничего этого не чуя, весело перегрызала нитку, вблизи оказалась она — пухлая на тело бабенка, охотница посудачить, поскалиться, хотя тоже, видать, хлебнула горя всласть. Была она дочерью путевого сторожа. Встречала поезда с флажком, возила птицу в город на базар. К сугробам, к пустошам ей не привыкать.

Сказала, что пополнила даже тут, на новой жизни.

В бараке над этим якшаньем посмеивались, но редко; люд сбился там жад-

ный, озабоченный, гробовщика за лишнее добытничество только уважали и звали мастером.

Но как-то вечером заявилось в барак беспокойство — уполномоченный от рабчома, партицу Подопригора. Первым делом зашел в каморку к кастелянше выпить. Журкин под вопросительным его взглядом резво подхватил чурбашок, смел в охапку починое свое барахлишко и убрался в общее помещение. Чужого как бы племени показался гробовщику этот человек. Пожилое, медное лицо его изморщинилось и обгорело не от солнца, а от плавильного жара где-то в отроде железной, машинной стороне... В бараке уполномоченного ждали, недовольный говор среди артельных — насчет разгрузки — шел давно. Когда же кончится волынка и пошлют на настоящую работу?

Подопригора оглядел всех, улыбаясь открыто, по-свойски. То было еще непривычное для него дело... Бороды, махлахи, космы, упавшие на лоб, лица, заранее несговорчивые, чуждающиеся... Его послали в самые отсталые бараки. Вот если бы на доменный участок, там—слесаря, монтажники, машинисты, кругом бражки,—совсем другой разговор. Но и среди здешних, конечно, найдутся свои, боевые, и немало, надо только суметь достать...

И Подопригора начал пояснять... Что ж, разгрузка выполнена больше, чем наполовину. Подождать осталось немного. Сейчас мы бросаем сюда все, какие возможно, силы, чтобы именно скорее этот прорыв изжить и скорее всем встать на работу по специальности. Не даром разгрузка по ударности приравнивается к работам на плотине. А плотина — все видали, все знают, какой там кипит геройский ураганный разворот! Вот если и мы разовьем такой же темп, это значит... Это значит, товарищи, что уже к концу года здесь замаячат первые, каких на свете не бывало, железные заводы!

Голос у Подопригоры едва не пресекался от возбуждения. Но из слушателей мало кого разгорячил он; молчали. Не утешило их и разъяснение, что зарплата задерживается из-за того, что

израсходованы к концу года все кредиты и что прорыв этот в ближайшем времени будет ликвидирован. А до тех пор мы с вами, товарищи...

Бородатые хмурые слушали, лампа молния сеяла с потолка полусонную одурь на койки и на деревянный общий стол, и на печурки, там и сям вытягивающие верблюжки глиняные шеи. Ох, где-то глубоко еще крылись тут свои...

Рыжий белотелый каменщик, по прозвищу Золотистый, разохотился поговорить.

— Товарищ партийный, тут такое дело... Работаю я по фасонной кладке. Как лето, так всем селом на каменную... Врать нечего, заработать можем так, что всю зиму лежи да пошлевывай. Но я теперь, как прочитал про вашего гиганта в газетке, заместо того, чтоб на печку да на бок, приехал к вам, золотистый, заинтересоваться...

Хмурый голос перебил:

— Значит, как в театр сюда приехал?

— Я не в театр, золотистый, а дотошно мне увидеть, как происходит рабочий человек. Нам с тобой, деревенским, одно долбят: рабочий, рабочий! От какого же такого особенного зерна он происходит? Вот что. А тут — на разгрузку...

Подопригора распахнулся, повыше поднялся, чтоб все слышали.

— Я тебе скажу так для начала. Со знательный рабочий делает то, в чем есть необходимость классу. Я вот мастер коксовых печей, с Донбасса, а приехал сюда, печей-то еще не построили; послали меня на работу в профорганизацию. Значит, надо сейчас для будущего этот участок поднимать. И значит, в интересах пролетариата, должен я в данный момент отдать именно ему всю свою энергию. Так?

— Так, так, — невразумительно поддакивал Золотистый.

Гробовщик роптал вслед за другими:

— Не разбери-бери получается.

Мало надежности примечал он в здешних делах. Будущее виделось ему при этих обстоятельствах и шатким, и малообещающим. Где тут верную копейку выгнать? А новую работу нужно

было делать на морозе, тяжелая это не мастеровая была работа. Пальцы от нее лубенели и вечером с трудом ухватывали деликатный, полагающийся для музыкальной починки инструмент.

В тот раз, когда приходил уполномоченный, опять Поля сгнула до полночи, и Журкин на свободе наработался на своем чурбане досыта: не меньше, чем рублей на восемь. Перед полёгом вернулся Петр, то ли от Аграфены Ивановны, то ли от дружков, которые завелись у него по другим баракам. Не раздеваясь, постоял он над гробовщиком, руки в карманы, словно гость. Оглядел помещение, пощерился.

— Угол-то хорош, а вот бабу зря упускаешь. Сейчас иду, а она по метели с уполномоченным, как барышня, под ручку расширяет.

— Это Поля-то?

— А кто же?

Журкин жикал себе подпилком.

— Ну, и пускай.

А сам впервые подумал, что не простая эта Поля...

Выгружали на путях всякое: проволоку, кровельное железо, рельсы, стальные щиты, шпалы, цемент, части громоздких землекопных и еще каких-то машин. Журкин с Тишкой на первое время попали к составу полегче — с заграничным огнеупорным кирпичом. Он назывался еще шамот; дивились оба на этот кирпич, — одна штука не похожа на другую, кружки и полукружки с дырами, плитки с вырезами и отростками, иные с утолщениями, вроде башмаков; причуда, а не кирпич, и притом сливочного цвета. И Золотистый тоже дивился... Лязгали составы за вагонными заборами, заманивающе свистали паровозы: некоторые рядом, некоторые подалеже, за увалом, а иные и совсем пропадали в ветре. Где? У Мшанска, может быть...

Возвращались в барак при сумерках. Шли, а над головами лохматилась инеем проволока телеграфная, и, догасая над далекими где-то землями, пронизывал и глаза, и душу студеной, пунцово-желтый закат. Сугробы сливались в степь, в темь. Над плотиной краснотой нарывало небо от ранних огней. Жур-

кин с Тишкой сбивались тропкой поближе к этому сумасшедшему месту, где попадались в изобилии щепки, чурбашки и прочий деревянный отброс, годный для топлива, который они и собирали трудолюбиво в вязанки. Иногда удавалось приволочь за собой на веревке полбревна или целую доску. Особенно Тишка жадничал: на каждое полешко кидался коршуном, боясь, как бы не приметили другие, срыву хватал, грех больше хотелось ему нацапать... На каждые три-четыре койки сложена была своя печурка, на которой обладатели варили себе хлебово, кипятили чай, сушили одежду. Петра, вздумавшего было запросто пригреться около одной из них, пугнули прочь с крепким словом... Однажды послал он Тишку добывать глины и кирпичей, где хочет. У Аграфены Ивановны расстарался железную трубу с коленом. К вечеру от вновь сложенной, между петровой и гробовщицкой койками, печурки валил пар, щепки искристо постреливали; раздевшись до рубах, хозяева разлеглись, блаженствовали животами вверх в ласковом пекле воздуха. «Да, брат, за тобой не пропадешь, не даром ты и в Китае побывал!» — мурлыкал Журкин. А Тишка побегал в сени за водой для общего чаепития.

Потом ежевечерне повелись эти носторопливые, в рассидку на койках, чаи. Для Тишки то был во всем дне самый желанный, обжажданный час. Харчились все барачные в столовой, вместо денег расплачиваясь талонами... Вот там, кроме супа из соленого судака и пшенной каши, политой духовитым соусом (Тишка, оголодавший после долгого сухоядия, прямо трясся теперь над тарелкой, огораживая ее локтем, нарочно длил еду — и мучил, и лакомил себя!), давалось по два стакача чая, а к каждому стакану — по два леденца или «монпасетки», как называл Журкин. Тишка чаю выпивал только один стакан (в предвкушении своего, вечернего), а оставшиеся монпасетки припрятывал. И вот вечером, как осветится лампой барачная пасмурь, закипает на печурке чайник, дядя Иван щепоткой засыпает под крышку какой-то травки,

вынимает Тишка завернутый в бумажку заветный запасец.

Он отхлебывает горячего до слез, в глазах вместо ламп прыгают звезды... Так восседает он на койке с заработанной кружкою чая в руках, прилежный и тщедушный; никто его не замечает, никто не трогает. И под чай можно сладко замирать — высчитывать...

Скоро выдадут первую получку за полмесяца. (В бараках теперь не сомневались, что выдадут; знающие люди говорили, что и по закону нельзя дольше задерживать жалованье.) Если скостить долг за обеденные талоны, чистых останется двадцать два рубля. Прохарчиться хватит пяти рублей (на всякий случай еще пятишница в кармане завязана); значит, семнадцать можно послать маманьке. И Тишка невидимо перелетает к ней вслед за деньгами. Маманька, хилая и лебезливая перед всеми, живет Христа ради у свояка за печкой. Погоди, погоди!.. Ей приносят повестку. Старуха не верит. «Чай, не мне это, другому кому-нибудь?..». Нет, Тишка тащит ее на почту, там суют ей через окошко семнадцать рублей, — когда она такие деньги видала у себя? И Тишка видит, как чумает старая, приваливается тут же на крылечке, в лаптях, в зипунишке своим неизносом, и плачет.

И только полмесяца прошло, опять ей семнадцать рублей! Бежи, бежи к окошечку, поворачивайся живее! (Тишка, чуть не хихикая вслух, сам бежит к чайнику, торопится скорее нацедить себе, чтобы не прерывать ликования.) Еще полмесяца прошло, опять семнадцать, ха-ха-ха! Старуха уже сама загодя топает на почту—нет ли повесточки. Как будто так и надо! А свояк-то, он раньше ей и Тишке ногой показывал,— свояк-то!

Если же за целый год взять, сколько составит из этих получек? Однажды доверился гробовщику, высчитали сообща, не торопясь. Вышло: старухе хибарку двухоконную самостоятельную можно осилить рублей за восемьдесят. Двор первым делом огородить. Лошадь... Ну, относительно лошади Тишка, конечно, и сам не верил, так, для забавы дурил под монпасетку. Рубашка на нем

пропаривалась, взмокала, голова сладко и ненасытно чесалась... А что же: лошадь! Теперь, когда у богатых отбирают, если смекнуть, совсем задешево можно...

Журкин похваливал:

— Хозяйственно, Тишка, ударяешь, далеко пойдешь! — У него самого от уюта завивались всякие мечтания. — А если не выйдет, в те времена поступи ко мне в услужение: ты смиренный... не обижу ни жалованьем, ни харчами!

От печки палит жаром, чайник шумит. Петр, прихлебывая из кружки, серьезничает над книжкой «Что нужно знать арматурщику». Гробовщик, разувшись, дав ногам порадоваться, просматривает перед починкой барахлистые гармоньки. «Вона какую кучку ему натаскали,—все денежки» — вздыхает Тишка. Обоих старших обволакивает волшебный воздух добычи.

Иногда к Петру под чай заглядывали дружки. Тишке внушали пугливую тоску их цыгарки, похабные присловья, малахаи, по-разбойному отодвинутые на затылок. Нередко пахло запретной водкой. И дядя Петр при чужих злее хойничал.

— Тишка, мигом налей-ка чайничек!

— Да я весь мокрый, дядя Петра...

— Ж-живо!

И Тишка убито плетется в морозные сени; вечернее удовольствие его разорено. Журкин тоже недолюбливал этих шумных гостей, без стеснения в одежде разваливающихся по койкам. Раньше срока кончал чайпить, с гармоньками удалялся к Поле.

Петр, озоруя, поощрял вдогонку:

— Окручивай, окручивай! — И к дружкам: — Первый ударник у нас на счет баб!

Журкин и гневался, и стыдился этих окриков. Верно, помимо заработка еще потайная отрада какая-то приманивала его в кастеляншину каморку. Поля с рукодельем приваливалась на перину, которая толсто вздувалась по обе стороны от нее, как два бедра, и от бумазейной пухлой кофточки, и от лампы тянуло семейным теплом. И теперь, если Поля уходила гулять, работалось в одиночку грустновато как-то.

Один раз вечером Журкин аккуратно положил перед ней на стол трехрублевую бумажку.

— Вам, — сказал он.

Поля отказывалась.

— Да что вы, что вы, Иван Алексеевич...

— Как—что вы! Вот к огоньку допускаете. Гармошками только и живу... где оно, жалованье-то? Берите.

— Да ну вас, за что?

— Извиняюсь, за характер за ваш за хорший.

— Да ну... — Поля деловито подобрала все-таки трешницу. — Разве в кино на них сходить? Уж я это кино люблю, Иван Алексеевич, как дурная! Муж-то мне не позволял: ты, говорит, туда с мужчинами спать ходишь. Тьфу! Бывало, с дежурства придет, а я из кино... так чем ни попадя норовит. Еще через это я ушла.

— Чистый демон, — поддакивал Журкин, сбываясь над работой.

— Да. Терпела-терпела—и ну, думаю, тебя! Моего и веку-то женского, может быть, лет пять-семь осталось... Так я...

И не домолвила, и недомолвка получилась грешная, доверчиво-бесстыжая. «Ну дак что ж, свобода на это теперь» — про себя согласился Журкин, не в силах затушить каких-то внезапно поднявшихся в нем жгучих, поганых надежд. А век ей — трудный, самая тягота могучего бабьего налива... В первые дни, как поступила в барак, запиралась постоянно на крючок, — мужики ночью щупали дверь, торкались.

— Теперь, как партийный стал почаще ходить, отлынули...

О Подопригоре она знала больше, чем барачные. Он—вдовец, приехал сюда с двумя малыми ребятами, не побоялся дикой степи. Говорила она об уполномоченном смешливо, с ужимками... что-то ущемленно угадывал тут гробовщик. Впрочем, ему-то что за дело?

И Поле, видимо, в удовольствие было досуже пощебетать перед таким согласившимся и степенным слушателем. Подружек еще не завела, а с языка просилось... Сундук-то со своим, нажитым сумела все-таки вывезти от мужа. Шуба у нее лежит лисья, на меху.

Белья столько-то смен. Высокие на шнурках ботинки желтые. Платье горошком маркизетовое, шила беложивая, модное, очень к ней идет. «Горошком к вам пойдет» — согласился и Журкин. Поля про добро рассказывала, будто песню пела, даже призакрыв глаза. Вот только шаль не успела прихватить, хорошая, в клетку маренговая шаль, какой-нибудь нахалке теперь достанется, такая жалость!

«Про шаль неужто она намеком?» — испугался Журкин. Конечно, трешка — какие деньги! А шаль-то рублей двадцать, а то и больше потянет... А сколько раз до путей и обратно по морозу надо прогуляться за двадцать рублей? Да... тепло у нее, у Поли, а все же чужая, как и всякий, и тоже ищет, где бы рвануть.

Когда вышла на минутку — унять чересчур разбушевавшуюся в бараке песню (перед получкой начали притаскивать откуда-то вино), мимоходом с морозу заглянул Петр.

— Все деньгу наколачиваешь? Валяй, валяй.

Хоть и трезвый, но весь дергающийся, разудалый. Видно, уже зацепился где-то за большие дела.

— От Аграфены опять? — сухо спросил Журкин.

— А что ж?

Петр смаху подsunул под себя табуретку, развалился по-трактирному среди полиных уютов, засмердил махоркой.

— Аграфена — она, Ваня, делок! Сама никуда, сидит, как в паутиннике, а через молодых орудует. А здорово я насчет Мишки-то струнку ухватил?

— Иль вправду что знаешь? — сдержанно полюбопытствовал гробовщик.

— А? — вместо ответа нагло отозвался Петр. С загадочной ухмылкой посасывал свою цыгарку. Никогда он просто не давался в руки.

— А Дуся-то у нее... Не барышня, опиум для народа! На меня и сейчас смотреть не хочет. Ваня. (Петр как-то нарочито взгрустнул.) Как приду, так она сразу нырь к себе в чуланчик! Ну, погоди... Эх, Ваня, дай мне только окопироваться по-настоящему...

Под махорку замечтался.

Гробовщик, оставив молчаливое свое ковырянье, поднял голову.

— Есть для тебя один мой совет, Петруша. — Голос у него был серьезный, остерегающий. — Брось ты туда ходить, не надо ходить. Не надо тебе сейчас бесстрашно выдаваться. Ты на работу — вот куда ударяйся сначала, заслугу себе на работе сделай. А то мало ли что может...

Он для внушительности глазами договорил, но до Петра все равно не дошло: далеко куда-то улетел вместе с дымом.

— А насчет Дуси, если жениться, эту думку тоже выкинь: девка с брачком. Ко мне из слободы с починкой ходят, так рассказывали: по осени, как вечер, так инженеры к ней на машинах подкапывают. А после на аборт куда-то ездят. Вот оно как.

Теперь Петр слушал. Хотел презрительно хмыкнуть, но не получилось, — выдавилось стоном. И глаза опять мигали несчастно, по-собачьи.

Он резко перевернул разговор.

— Пуховая постель-то у кастелянши, хороша постель. Чай, уж валялся?

Гробовщик обиженно отвернулся.

— Ну тебя.

— Вот и дурак ты выходишь. Что же она для разговоров тебя в угол к себе приманивает? Эх, голова! Эдакую бабу у него из-под носа рвут! Ты и сам-то... хуже других, что ли?

— Я не говорю, что хуже, — ворчал гробовщик.

И чуть-чуть не хвастнул перед Петром воспоминаниями своими о сызранских временах: как идет он к Воложке в золотой каске, гармонья на ремне, черный ус. Ого, умел тогда почудить с девушками посмешнее нынешних. Да и теперь, кабы не борода...

Иль поздно, жизнь-то смерклась уж?

— Чай, денег ей еще даешь, спасибо, мол, что приютила?

— Ну-к что ж? — смутился Журкин.

— И опять дурак. Тебе без бабы-то сколько? — пожалуй, год надо жить. Как же ты обойдешься? А тут изволь: и баба тебе вполне в аппетит, и мастер-

ская при ней бесплатная. Эх, Ваня! Ты злее в жизнь-то смотри, злее: нас не жалеют, а нам зачем жалеть?

Увидев входящую Полю, Петр вскочил, сорвал с себя шапку и, судорожно прижав ее к сердцу, весь извихлялся в церемоннейшем поклоне.

Поля развеселилась, разрозвелась, даже на махорку за это не посетовала.

— Чисто актер, ха-ха-ха!

— Да я актер и есть! Вот спросите-ка Ваню, как я, бывало, в Народном доме у нас в любительских разыгрывал. Браво-бис кричали! А Иван Алексеич наш на гармоньи выступал: во-от...

Петр даже страдальчески исказился лицом.

— Как грянет: истерзанный, измученный наш брат мастеровой!.. Что говорить! За ним, Поля, один раз, как он заиграл, три села по грязи, разувшись, как за иконой, на пятнадцать верст ушли!

Поля с умиленным вздохом выпрашивала:

— Сыграли бы разок, Иван Алексеич!

— Вот когда зарок кончится, поезд засвистит, сыграю тогда, Поля, вам разлучную, — расшутился и гробовщик.

— А отчего вы про разлуку думаете, иль по супруге взгрустнулось?

Петр не дал Журкину вымолвить.

— А у него и нет ее, он вдовый у нас, Иван Алексеич-то!

Тихонько кулаком подтолкнул смутившегося гробовщика.

— Вдо-овый? — пропела удивленно Поля. — Ну, ребятишки-то, наверно, есть?

Петр опять:

— На кой ему... он насчет этого аккумуляторный!

Поля потянулась к Журкину, и он невольно поднял навстречу ей робкое лицо. Уж не кастелянша... другую какую-то раскопал для него Петр: и стыдится, расплывшись вся, и смеется, и слеза (от смеха, что ль?) просвечивает. Баба...

— И выходит: оба мы с вами одинокие!

Журкин опустил голову, ослепленный. Какая тут работа!

А Петр приплясывал:

— Два друга: колбасник и его супруга, ха-ха-ха!

«За это и на шаль не жалко разориться!» — про себя вдруг разгулялся, запьянел гробовщик. Но как только прилег в своем углу на койке, стало жалить его в самое сердце; будто Поля идет, смеется навстречу — добрая, беззаботная, вся душой для него, а он на эту душевность топор потихоньку вынимает... Или другая здесь горечью вмешалась: Поля-жена? Вот и похоронил ее ни за что.. Во сне, почти что перед побудкой, прокралась к нему из каморки кастелянша, теплая, простоволосая, приоткрыла одеяло, чтоб нырнуть... и не кастелянша, а давнишняя барышня одна с Воложки, тоненькая, невестная. Тишка тормозил потихоньку — вставать и скорее на мороз; грузовики за дверями разались.

Дни подходили еще жесточе, чем раньше.



К концу второй недели, в самый день выдачи жалованья, Тишку с Журкиным выдали на разгрузку мануфактуры. Многие в то утро понесли с собой на работу невнятное, гложущее беспокойство. Иные на всякий случай наперед злобились и грозились, но пока вполголоса. Перегоняя ветер, ухали под гору полные народу грузовики.

Разгружали мануфактуру на отдаленном пустынном пути. Может быть, проведали о неких барачных вождедениях?.. Машины торопливо подкатывали из-за вагонов. «Давай, давай, давай!» — неотступно поторапливали рабочих приемщики, воз разрастался мгновенно и уныривал затем в снега, неведомо куда. Кроме приемщиков, толкались и продавцы, и представители от рабочкомов, пересчитывали тюки, следили по накладным и друг за дружкой, — мельком, исподлобья следили, как показалось Тишке; а может быть, для того только и нагнали их, чтобы заслонить разгрузку от других барачных, работавших вдалеке? Но те уже учуяли, забредали сюда ватажками и, покуривая, смотрели. Только после мно-

гих увещеваний и покрикиваний подавались с неохотой назад.

К полдню дополз до мануфактурных вагонов слух: на плотине давали деньги.

У Тишки вдруг теплее стала греть одежда и ноги побежали резвее. Таскал, прижимая к груди, мягкие тюки, которые пахли девками, ситцевым, праздничным запахом обновки. Тут были пудовые колеса бязи; пухлая, сладко-разноцветная сарпинка; штуки толстой черной материи для верхней одежды; охавками — готовые пиджаки и штаны, на свежей гляцевой подкладке, ни разу не надеванные. (Тишка ненадеванного еще не пробовал никогда!) Бывало, дядя Игнат, хозяин, тоже привозил узлы такого добра, выменяв его в Пензе на базаре на хлеб. Все с оглядкой тут же пряталось в сундук, под замок со звоном. Добро копилось для Фроськи, хозяйской девчонки, и для мужика, который придет и заляжет с ней когда-нибудь... Тишка мимо того сундука проходил с трепетом, как мимо церкви.

Но тут было другое: вещи эти предназначались для общего дележа между Тишкой и прочими. И были они, на минуту прижимаемые к груди вещи, и свои, и еще не свои. Прятались за ними неминуемые драки и страсти...

«Что-ничто, а урву... хоть через дядю Петра». С этой верой Тишка не мог теперь расстаться, одурев от ситцевого и бязевого изобилия. И, кроме того, близился вечер, а значит — сказочное событие получится... От волнения вспыхи приятные прожигали живот. Несколько раз бегал под насыпь к перекувыркнутому, засугробленному вагону.

И там, на безлюдьи, когда оставался один-на-один с собой, блаженно вываливались мысли из головы. Словно мчало его на невидимом, радостном поезде. Вот и двор маманьке огорожен, и куплена лошадь. А если еще на годик здесь остаться да посылать не по семнадцать рублей, а выучиться какой-нибудь специальности, на печника или на плотника, и чтобы, как гробовщику, гнали каждые полмесяца рублей по тридцать пять? Что же, так оно и будет на второй-то год! Тишка мчался, смело

раздирая неохватный, неведомо что тающий туман времени... Весь двор тогда непременно перекрыть соломой, чтобы небушка не было видно, как у дяди Игната: скотине теплее. Матери приказать, чтобы для хозяйства приняла паренька, а то двух: мало ли их теперь шатается, голодных бобылей-ребят! Сама будет только показывать, что и как. Правда, насчет работников стало строго, — из-за этого могут и хозяйство разорить.

Из-под насыпи выбежал играючи, вприпрыжку. Свистал паровозик где-то на-лету. И паровозики, и пути, и вагоны — все стало теперь для Тишки знакомо-перезнакомо, иссмотрено, исхожено, как своя улица. По сугробам, по каторжному морозу гуляло жалованье, стлался мануфактурный, сундучный дух. Вот тут, за речкой, говорят, пошла уже Сибирь... Пускай! «Эх, маманька бы сейчас посмотрела, где я, в какой я Сибири... и все-таки тропку свою нашел!».

Домой возвращались при первых огнях, и тревожился Тишка:

— Не опоздаем ли к расчету, дядя Иван?

— Ну, вот еще, — буркнул гробовщик, однако оба прибавили шагу и прощепки на этот раз забыли.

Но, как только вошли в помещение, как глянули на лежащих без сна или сердито греющихся у печурок мужиков, сразу поняли, что не сбылось ничего и нынче не сбудется совсем. Петр сидел на койке одетый и рылся в своем мешке. Ему-то заплатили полностью.

Дед-плотник, хилый и жуликоватый, слонялся около чужих печей, точил, как червь:

— Оболванивают нас, а мы молчим. Взять вот да подняться всем миром домой. На-кось, мол!

Деда не слушали, он первый был в барак лежебока. От печек его гнали.

Но червивая тоска жила.

К Журкину подсел Обуткин, общительный человек, тоже плотник — из местных, слободских. Он, ночевавший обычно в слободе, на этот раз задержался в бараке до-позднего. Журкин почитал его за осанистость, за речистость и за то, что женат он был на бывшей учительнице (только усы

Обуткина, обсосанные, всегда мокрые, ему противели). Обуткин старался говорить тихо, кротко, но не мог сладить со своим басом, его трубное ворчание перекрывало всех.

— Главное дело—надо артельно двигать, чтобы всем вместе. Что промежду себя бормочем, то и им скажем, по-доброму. Денег нет, следовательно, товаром подавай!

Отзывались другие голоса, прячущиеся, скребучие.

— Его, товар-то, сгружать уж почали, поди, по себе давно рассовали.

— А то нас будут ждать!

Только около вашиной койки, где по вечерам сбивалась своя компания, как будто равнодушествовали. Вася с упоением пересказывал всякие военгеройские и уголовные небылицы, якобы вычитанные им из книг. Слушатели его до одурения наливались чаем. Журкину подумалось, что и побасенки эти—тоже заморачивание, тоже от тоски, вроде пьянства...

А Петр все прислушивался: разговоры в бараке ему не нравились. Уходя, сказал осуждающе:

— Граждане, это вы зря: завсегда полагается сначала руководящую головку окопировать. Возьмите: нам жалованье, им другое; нам барак, им — теплая гостиница, столоваться в ресторане. Соображать надо!

На койках повсеместно оживели, задроптали — про господ, которые, как были, так и остались, про Петра, который жалованье получил—и сразу стал купленный... Один Журкин отвернулся, стыдясь встретиться глазами с братом.

«Уходил бы скорее, зачем над бедой шута ломает?».

Но уйти Петру не пришлось. Дверь загородил уполномоченный, товарищ Подпригора, который, войдя, неспешно и пытливо озирался.

Враз смыло и разговоры, и ругань. С коек уставились на вошедшего, ожидали, что дальше. Койки стояли не дома, а далеко-далеко посреди чужой степи. Вон на плотине полыхает, надрывается ледяное побоище. Вон из тысячи далей в темноте посвистывают поезда... Чем кончится, что дальше?

Подопригора вышел под лампу.

— Здорово, друзья!.. Сообщаю вам, что случилась большая для нашего строительства радость. — Подопригора снял шапку, кругом напрягались могильная глухота, а он нарочно продолжал еще громче, еще горячее. — Наши днепропетровские товарищи-металлисты досрочно выполнили — досрочно! — оборудование для первой домны. Со своими провожатыми они гонят к нам эшелон. Этот эшелон мы должны встретить, товарищи, и так же досрочно разгрузить — понятно? Это будет, друзья, наша последняя разгрузка. И я скажу — радостная для нас разгрузка! А потом каждый опять пойдет работать по специальности. Понятно?

Подопригора откашлялся, снова надел шапку. Снова откашлялся. С него не сводили глаз, жадовали еще услышать... как будто он не сказал пока ничего. Уполномоченный, заметив книжонку на одной койке, взял ее в руки, — это было «Что нужно знать арматурщику». «Чья книжка?» — спросил Подопригора. Петр деловито, по-свойски подшагнул к партийцу: «Моя, по вечерам вместо отдыха занимаюсь маленько». — «Хорошо» — одобрил Подопригора и глазами запомнил Петра.

Потом ко всем:

— Теперь, друзья, нужно на вас списочек составить... для профсоюза. Разгрузку зачтем в стаж, как работу по специальности. Вы к кастелянше в отделение по очереди подходите, там я запишу.

Петр, боком глянув на гробовщика, почему-то сел.

— На мануфактуру, что ль, список-то? — спросили с коек.

— Зачем, мануфактуру кооперация будет распределять. На будущих членов профсоюза список.

На койках не верили.

— Ну да-а...

— А за работу когда будете платить? — выскочил давно ждавший своей минуты голос, и опять на всех койках затревожилось, задвигалось, скопом загалдело.

Подопригора сызнова терпеливо и

дружелюбно объяснил про кредиты, про частичную задержку, которая кончится, без сомнения, дня через два. Сам замнач строительства выехал в Москву... Советская власть — рабочая власть, неужели она рабочего обманет, задаром возьмет его труд!

Галдеж грянул еще громче, разброднее. У большинства укреплялись совсем бесспорные надежды. Ну да, список составлялся, конечно, на тот случай, если придется вместо денег выдать мануфактуру. Понятно, заранее про это не объявят, чтобы не раззадоривать. Что ж, если с деньгами трудно, против мануфактуры никто ничего не скажет. Первых, посетивших каморку, обступили, жадно выспрашивали. Оказалось, что записывали со слов то же, что и всегда: откуда, где работал, сколько человек в семье и так далее. Кто-то уже разгорячился, с обидой доказывал, что на семейных больше должны давать...

Петр подавленно шептал гробовщику:

— Знаешь, куда он, список-то? Всех насквозь проконтролировать хотят. Ну, ладно...

Внезапно закрутилась руготня, свара. Сметливый дед-плотник, наслушавшись разговоров, кому и сколько будут давать, записал на себя двенадцать душ семейства. Барачные негодовали: «Да ведь у тебя, вшивый чорт, дома одна старуха на печи, был сын, и то отделился! Пойдем вот и докажем, что сын-от работника нанимал!..». Старик ничего не отвечал, виновато и хитро посмеивался только, прижимаясь задом к горячей печке. Владельцем печки оказался рыжий печник. «Дедка, вот тебе крест, возьму сейчас дрючок, наломаю зад-от. Киш!». Потом, видя, что деда ничто не берет, стали запугивать по-иному, по-тихому: тюрьмой, да еще какой тюрьмой, если узнается про обман советской власти... Дед с ногами, по-татарски засел на свою койку. Оттуда пытал всех зверковатыми, бегучими глазками, гадая: врут про тюрьму или не врут, и пойти повиниться уполномоченному или не надо?

Про деда забыли, и он решил, что не надо.

Мучительно было итти за перегородку Журкину. За лампой пряталось неулыбчивое, озабоченно-важное полено лицо, она помогала Подопригора: сквозь свет больно было на нее взглянуть. Уполномоченный спросил о семейном положении, и гробовщик еле выдавил из себя, что вдов; на вопрос, есть ли дети, еще тише ответил, что нет. Но, когда возвратился из каморки, напало отчаяние: что наделал-то? Дома их шесть грачат, бесштаных, заплатанных, по рубашке каждому — так дали бы шесть рубах, да на Полю-жену. И всех продал, всех, до самой маленькой, до Саньки!..

Тишка у печки угрюмо разливал чай. Сам выпил только кружку и тут же подшибленно лег, в дерюжку укутавшись с головой.

За чаем гробовщик отошел, пораздумался. На гармоньях, если отдельный угол иметь, вдвойне на рубашки можно заработать. «Вон все без денег сидят, а я с деньгами. Для того и стараюсь, для того и вру». Но самого себя, конечно, не мог обмануть, знал по правде, для чего. Неодолимо-заманчивым, жутковатым баловством потягивало от каморки... Понуро размышлял он, босой, бородатый отец, трусил, что придется когда-нибудь расплатиться за все.



Позже вышел из барака человек. Прямо на снегу лежали барачные крыши, целый городок барачных крыш; тоскливо, придавленно теплились изпод них заледенелые окошечки. Кое-откуда невесело, по-бандитски прорывалась гармошка. «Где они водку берут? Надо выяснить» — подумал Подопригора. За городком мутнела вымершая снеговая пустыня, по ней еще итти да итти; жительствовавал Подопригора не близко. Поднял воротник, поглубже нахлобучил шапку; вот так утепив себя, мог километров двадцать беспамятно отшагать, с кем-то разговоривая и действуя в мыслях.

За горой растекалось высокое сияние, вероятно — от укрытой там огромной, день и ночь работающей электростанции. Впрочем, электростанции еще ни-

какой не было, она только строилась, да и то в другом месте, а тут просто всходила луна. Но Подопригора населял эти волчьи пади, чем ему было свойственно. Он слышал даже стуки дальнего поезда Красногорск — Челябинск — Москва, на котором, бросив все дела, спешно отбыл сегодня в центр сам замнач строительства; вопрос о кредитах, о зарплате для рабочих перекрывал, глушил сейчас все прочее, на стройке, в самом деле, пахло серьезными затруднениями. Над снегами носились призрачные, ярые голоса спорщиков из рабочкома, где целых полдня длилось измотавшее всех бурное совещание — по тому же поводу...

И как отдых вдруг вспоминалось одно лицо, и строптивное, и простодушно-веселое, бабье лицо, оно останавливало мысли, убаюкивало. Приятно, попросту зачесанные назад русые волосы, озорные горячей лампой... В первый раз придя в барак, Подопригора застал Полю врасплох: босоногая, в юбке, подоткнутой со всех сторон, потная, она сердито наскребывала пол в своей каморке. Поспешно отряхнувшись, Поля выпрямилась перед гостем, уперев мокрые руки в бока, и застыдившаяся, и злобно-вызывающая: «Так вы и есть уполномоченный? Слава тебе, дождалась в кои-то веки...». И начала, и начала...

И про корявые, с наростом в два вершка, полы, для мытья которых не дают уборщиц, и что вода в бочке не всегда бывает, и что из-за табуреток драки, и что умываться негде, люди ходят, по четыре дня не мывшись. А где баня? А где ЗРК, как на других участках посмотришь? А медпункт? Комендант — чистый Степа, а не работник, ничего у этой рохли не допросишься... Пряди на растрепанной полиной голове вздыбились, как пики, она уж и то спохватилась, принялась яростно работать гребенкой, в то же время не переставая честить, честить...

Подопригора приглядывался к этой горячке и любопытно, и с усмешкой, как знающий кое-что побольше. Когда Поля приостановилась передохнуть, сказал:

— Это ты все правильно, товарищ, сигнализируешь, только в бараках нам ведь не век жить, а временно... Потом мы тут таких дворцов наворочаем!

Поля, отвернувшись, только фыркнула.

А когда перед уходом из барака Подпригора заглянул еще раз в каморку, Поля сидела уже в белой кофточке, вымытая, причесанная, прельстительно поджидающая. И ему приятно это было. Мало того, Поля увязалась проводить его, чтобы по дороге еще дожаловаться, договорить, что не успела. И где-то весело заплутались тогда в сугробах... Только для чего и кто этот бородатый, которого Подпригора заставлял сидящим у Поли на чурбашке? Глаза вороватые, и из каморки тут же вышмыгнул боком. Шуба с каракулем, в таких шубах лавочники шеголяли. Дознаться бы... Такие, наверно, и лаяют, нашептывают теперь по койкам и по углам,—самое подходящее время.

То, что творилось с зарплатой, даже для него, Подпригоры, становилось непонятным и, пожалуй, грозным... Кредиты, бухгалтерские книги, балансы,—тут он мало что смыслил, только издалека принимал на веру... В корневищах, в делях всего этого мог, да еще с издевочкой, упрятаться кто угодно. Не даром на строительстве все смелее разгуливали разные слушки. Подпригора гнал от себя не эти слушки, он скорее старался превозмочь в себе того, который их слушал, который начинал трепетать. Подпригора когда-то был артиллеристом во 2-й Конармии... Нет, он чувствовал по себе, какое сжатие, какое предельное сжатие газов (как в канале оружейного ствола перед выстрелом) накопилось за эти годы. Не даром не пожалел и своих ребятишек, из теплого угла поволок с собой сюда, под бездомную волчью вьюгу.

Взлетала все выше луна, обливая горы пепельным усыпительным светом. Горы, с мягкими волнистыми изволоками вершин, были, точь-в-точь как в Керчи, где артдивизион квартировал после врангелевской кампании. Подпригора тогда — при шпорах, в малиновых штанах, сам при этом черноскулый,

сызмальства прокопченный от кокса,—к малиновому хорошо подходила эта бронза! Заходил вечером в парикмахерскую, где молодили его со всех сторон, растягивали ему жирно наодеколоненные космы на тугой пробор и, обильно припудрив, выпускали таким пахучим, звякающим красавцем на бульвар. А на бульваре, по-лошадиному роя землю ногой от нетерпения, ждал дружок из того же артдивизиона, Волька Кубасов. Хотя нет, в 1921-м Вольки в Керчи уже не было: после того, как ему прострелили ногу, он прожил дома, у себя на слободе. И Подпригора отзвывал один в известном ему, жутком направлении, среди ветров, зимних акаций и южных белых домиков. Около одной калитки кашлял и притоптывал с полчаса; конечно, выходила девчонка в коротенькой, не хватающей до бедер зимней кофточке, похожей на вазу, милая и проклятая Зинка, которая только смеялась по-ребячьи, когда ветер вдвухвал ей юбку между ног; ветер этот готов был сшибить Подпригору со всем его одеколоном. Ох, одеколон!..

... Вечером, перед обходом бараков, вдруг вздумал побриться в рабочкоме. Дурак, разведенный дурак, значит, первым делом в такое время ты подумал о бабе? И опять гнусный запах одеколона, запах беды...

... А ведь, пожалуй, лет десять назад, когда сколачивали 2-ю Конную, почти так же было: уймаща намобилизованных, никак не похожая на воинскую часть, содомная и горластая; побеги, выступления, почти бунты из-за недоданных обмоток, из-за порции сахара; и в тени немало чубастых с Дону, с отличной выправкой, — ясно, что при случае готовые вожаки... Но зато там же подобрались и сотни своих ребят, доменщиков и шахтеров, и они просекали и формовали эту сырую и необъемную уймащу, как жесткая, хорошо связанная арматура, и вот: дивизионы и эскадроны маневрируют навстречу огню, они дочиста разметаюг землю, они выходят утром на край моря.

А здесь за кого уцепиться?

Каждого сезонника надо взять на ощупь — и глазами, и нюхом. Узнать

своих, верных... Подопригора пытался вспомнить некоторые из многочисленных барачных лиц, но память путала их, освещала слишком малосильным светом эти кудлы, коленки, шапки, исподлобно высматривающие глаза. Список, который лежал в кармане, пожалуй, мог подсобрать немного. Давай ночь не спать, а разберемся!

Подопригора заторопился к дому. Сбоку плотина брызнула солнцами: зажмурься — Харьков или Москва! Подопригора жмурился с завистью: просился туда, в кипень, на время, хотя бы простым бетонщиком, — непустили... На том берегу после света еще темнее темь, а в ней летит тусклый лунный глаз... По проекту там амфитеатром спустится к реке социалистический город, у самой воды завершаемый парком и спортивным дворцом. И он будет жить, этот город, он будет жить, сколько бы ни роились над ним злобствующие тени Волек Кубасовых и еще коекого побольше Вольки... Но нужно еще продавиться грудью сквозь целые горы, сквозь целые обвалы труда.

Вот и тогда, в гражданскую, в обнищало и оскаленное время, тоже трудно порой верилось, что когда-то тихим утром дойдем до края моря. Дошли... И обещания, самые заоблачно-невыполнимые, были выполнены просто, как будто само пришло такое время. Из окраинных и слободских лачуг переселяли рабочих... Подопригоре достался белый флигелек в глубине двора, заросшего хвощом и ковылем; у окошек качались пурпурные чашечки мальвы. «Ливадия, а не квартира!» — раз десять на дню восхищался он, и в комнатах стоял до того чистый, до того белый свет, будто и стен не было. Зине тоже понравилось, походило чем-то на ее собственный керченский домик. Она развесила над комодиком японские веера, карточки военных и папашинных сослуживцев (папаша умер письмоводителем керченской управы), окошки нарядила в подвешенную кисею, на кровати расстелила цвета мальвы, пурпурно-сизо-лиловое шелковое покрывало и с утра, наскоро запахнув себя в пурпурно-сизо-лиловый, из той же материи, хала-

тик, подпоясанный шелковым бело-синим шнуром, хозяйственно резвилась по всему флигелю. Год прошел, два, а Подопригора все еще не верил, что эта стриженная, модно-шелковая, с нарисованным ротиком девочка — его жена... Он не верил, когда, вернувшись с завода и умывшись, заходил к ней, певунье-стряпухе, на кухню и видел ее голые, не знающие устали ножки на высоких изогнутых каблучках. Он не верил, что может, что имеет право сейчас же сделать то, чем трепещет про себя потихоньку. Зина отгоняла его локтем, конечно, любя, пение ее понемногу смолкало, она без мысли, словно телок, прислушивалась к чему-то, каблучки немного раз'езжались сами собой. Потом деловито откладывала ножик и сдавалась. И даже после того, как родились Володька и Петька, все продолжалось так же.

Барышня цвета мальвы...

Да и сама жизнь после войны обернулась чем-то неожиданным, вроде Зины. В шинельную серь, к которой сурово привыкли, которой все равноправно довольствовались, вдруг залетела птица в разноцветном и тревожном опереньи. Она отливала огнистыми цветами сладких и горьких вин, что появились на бакалейном окне, она принесла с собой дорогие деньги и опять желчь, и опять зависть к богатым... Зина три месяца кое на чем выгадывала, а потом пошла и безо всякой очереди купила себе маркизету на сарафан — бронзового, с синим горошком, что очень шло к ее рыжеватым стриженным прядкам, к голубой шейке. А сколько еще оставалось там на прилавке всякого, узорчатого, светящегося... Все это расхватала жены инженеров, разных дельцов и вообще богатеньких (в городе появился даже небольшой частный заводик); ведь, какой-нибудь чертежник из управления получал больше, чем коксовик Подопригора. Ничего! Зина неунывающе мыла ребят, готовила, стирала, бегала из комнаты в комнату на каблучках, деловито насвистывая.

Подопригора про себя настораживался иногда. Из вновь открытого на бульварчике «Эльдорадо» разносилась над

вечерними крышами угорелая музыка: «И все-о, что было, и все-о, что ныло, все да-авным давно уплыло...». Зачем? Ведь, другу, Вольке Кубасову, навеки искалечили ногу. А если бы и он, Подопригора, лежал закопанный, убитый где-нибудь у Перекопа, а тут эдакий вечер?.. Через местечко ехали в поездах элпманы — в шляпах, в песочных легких костюмах, с большими, шальными деньгами. Они ехали на край моря, на курорты, отбитые у Врангеля, у Шкуро. А если бы он лежал там, закопанный?

Подопригора был рядовым членом партии; семь часов в день у печей да еще кое-какая нагрузка (по шефству) в завкоме. Он, рядовой член ячейки, не то, что бы сомневался, он настораживался. Он знал, что говорил о нэпе Ленин. И во флигельке стояла такая светлота; ребятишки, встречая, роняли его на пол, наваливались ему на голову, на глаза телесным своим, беззащитным теплом... И Зинка, молодец, крепко держалась.

Вот с Волькой Кубасовым было хуже...

Над степью, над бредущим Подопригорой стремилась в облаках ярко светящая луна. Проступали с освещенными там и сям окнами ковчеги гостиницы и заводоуправления. Над ними луна стояла неподвижно, а мчались именно освещенные ярусы, приподнятые над нелюдимой землей. Где-нибудь под Самарой проплывал вот так же спящий поезд с замначем. И еще дальше, раскинувшись необозримо-огненными полями, не спала Москва... Ерунда, там не отступят, там знают, что миллионы рук давно ждут этого часа и этого дела, что оно накалило годами.

А если иначе, значит — опять тот ясный и памятный, и недобрый вечерок июньский на станции; подходит скорый на Сочи, Зина волнуется, как-то выйдет с посадкой... Зина едет на курорт в первый раз в жизни,—Подопригора уступил ей свою завкомовскую путевку. «Гуляй там, питайся, Зинок, живи, как феодал!». И вот уже, раскосмаченная, розовая, потная, она смеется из вагонного окна. Подопригора тоже смеется,

поднимая к окну ребят, кричит своему парню, чертежнику Забелло, который возится с вещами за зининой спиной, — кричит, чтобы посмотрел в дороге, помог ей там в чем... Разноцветные летние пассажиры высыпали погулять, поразмяться на воздухе. Среди них острее всего видит Подопригора тех, песочных, откормленных, прохаживающихся с повадкой владык, как-то оскорбительно видит затерянным среди этой раздетости себя, мужичонку в ситцевой рубахе. И стыдно от того, что и Зина, наверно, видит все так же... Чтобы проводить ее, детишкам пришлось отказать в тапочках (побегают и босиком, здоровые!) и от пальто отказать самому Подопригоре, — обойдется и прежним, шинельным. Узнали бы эти, с могучими бумажниками, усмехнулись бы, наверно, сволочи! Нет, Подопригора, конечно, знал, что такое временная передышка, так называемый восстановительный период. «Силушки подкопоть» — объяснял он сам ехидно слушающему, ехидно покуривающему Вольке. За путями, опустевшими после поезда, закат разлился доменной плавкой. В домах — спокойные окошечки, семейные занавески, зелень в горшочках. Мирное время! За местечком, где раньше лунками рытвились окопы, все заплыло густой, как тесто, травой. Четверо дремотных волов тащат жогару с сеном; сверху, с воза, скучно глянет парень в выцветшей гимнастерке,—должно быть, демобилизованный, — глянет и опять приляжет головой...

Оставив ребят с теткой, Подопригора закатился на всю ночь в слободу, к Вольке Кубасову, где выпил и заночевал. До полуночи при этом пробеседовали, распахиваясь друг перед другом настежь, до последнего, с криками, с поцелуями, и много вслух было выкрикнуто такого, что Подопригора до сих пор держал с опаской про себя, заперти.

Зина приехала посмуглевшая, покрасивевшая и чем-то не та, что раньше. Глаза ее смотрели сквозь Подопригору, сквозь ребятишек, не видя, словно носили в самих себе одно чудное видение. Ну да, горы, компании, ночное море,

когда она это еще увидит? Чертежник Забелло стал приходить в гости, забегали чаще и подруги зинины; из флигелька до-позднего падал на мальвы свет, слышался щebet и под мандолину басок чертежника:

Целуй меня, Бетти,
В последний раз.
Завтра на рассвете
Уйдет баркас.

Подопригора, затосковав, проскальзывал в ребячью комнату, прислушивался у постельки, как дышат спящие маленькие. Однажды звененье мандолины оборвалось, в комнату вошел Забелло, во всем белом, в белых башмаках, плечистый, с толстыми румяными губами, с золотой челкой на лбу, на цыпочках вошел и спросил:

— Слушай, Вася, мы ребяток не беспокоим, что шумим-то немножечко?

— Нет, нет, пускай закаляются, привыкают; доктор сказал — лучше, когда под шум спят.

Уйдет на рассвете
В далекий край.
Прощай, моя Бетти!
Радость, прощай.

Забелло был хороший парень — из своей, рабочей родни. Имел думу — учиться дальше. Зина однажды, забывшись, положила ему руку на раскрытую в апашке голую шею. Подопригора не сказал ничего, засовестился, но потянуло скрыться на всю ночь к Вольке. Однако скрылся не в этот, а в другой уже раз, когда наткнулся на комодике у Зины на невиданный граненый флакон с одеколоном, от которого шел сволочной, драгоценный запах... Из «Эльдорадо», словно камни, описывающие дугу, отрывалась одурелая музыка, — могло попасть в голову, проломить... И Зины дома не было.

Когда она уехала с чертежником Забелло на другой завод, Волька тотчас же почувствовал об этом и сам заявился из слободы во флигелек. Всю ночь сидели друзья за мокрым столом, невзирая на то, что в голос плакала тетка, что ре-

вели, ужасаясь, ребяташки. С услужливой готовностью Волька то-и-дело ковылял в шинок. Подопригора учил его песне «Прощай, моя Бетти...». Флигелек провалился в яму, в чад, его шатало... Было вырыдано все, от самого сердца. Однако что-то такое Волька сказал на рассвете, после чего Подопригора надвинул вдруг брови на самые глаза и, замолчав, пригорбившись, занес над столом бешеный кулак. Но не опустил его, ничего не сокрушив; только скупно и совсем трезво сказал:

— Теперь катись.

Волька попытался было скрутить папироску, снисходительно ухмылялся, но Подопригора слепо и жутко вставал.

— Пойду, пойду... Лижи один свою бюрократию!

И ушел, припадая на одну ногу, каждым припаданием как бы отрывая кусок у Подопригоры от сердца, ушел со своим ехидством, с нарочито-жалостной, вызывающей хромотой, со своим смрадом — навсегда.

Прохворав день, Подопригора вышел к печам дельный, сумрачный, неуступчивый. Через год его сделали мастером.

И вот оно — мутно-белая гладь, без деревца, без овражка, постоянно продуваемая бураном, широколобые сарайные бараки — то, что предстало впервые глазам Подопригоры после поезда как новое и, может быть, долговременное его обиталище. Не тоской, а суровой готовностью ответило сердце. Думалось Подопригоре, что именно с таких лишений, с бездомности, не играючи, а всерьез должно было начаться главное, последнее, которое ждалось годы.

Толкнул скрипучую дверь барака, и опять ветром-воспоминаньем пахнула приветливая полина теплынь, белый лоб у лампы. Тут налево тоже была кастеляншина каморка, в ней спала старуха.

«Как там пацаны-то?». Засветил керосиновую коптилку. Весь его штаб — четыре шага вдоль, четыре поперек. Кухонный стол, на доске которого свежесваренные человечки с растопыренными руками. «Опять ножом баловались...». На койке под серым одеялом оба пацана. Один закатился к стенке,

червячок совсем, четыре года. В окне дыра, заткнутая промерзлой тряпкой. Чуется, как бьет ледяная струя. Днем по бараку босиком бегают, старухе какое дело до чужих... Ребячье барахлишко развешано на веревке, разит от него мылом: утром до работы Подопригора, как умел, выстирал сам. Да, по правде, не место тут, на стройке, ребята там!

Разделся, выложил на сковороду кашу из котелка, развел примус. Под домотовое шипенье его присел, вынул из кармана исцарапанные чернильным карандашом листки. Значит, верных первым делом нащупать... Ему приглянулся в бараке тот высокий, усмешливо-угрюмый, в долгополом пиджаке, на лесопилке где-то раньше работал. Как фамилия-то? На молодежь потом упереться, она пороховитее, бойчее. А насчет того, с бородой, посмотреть, куда от него ведут нитки... Горячие, живучие, трудные лица начали шататься, подниматься одно сквозь другое... Неладно получалось, очень наскоро... Но ждать было некогда, завтра же могли разойтись какие-то скрепы, через которые тихомолком засочится вражье.



У вагонов работа творилась невесело, как бы расслабленными руками. Казалось Журкину, что пошатывается, идет к разору даже временное его устройство. Как-никак, а жить-то здесь можно было...

По далекой луке насыпи, закругляясь, бежал пассажирский состав. Вон парок выдохнуло, долетел прощальный гудок. За горы уходит, к дому... И сейчас же многие, что брели с ношей к грузовику, остановились, прихмурились на поезд. Уйдут рассыпают все, одному, что ли, бобылить тогда в пустом бараке?

Вечером к чаю подошел Петр с дружками. Принесли воблы, белых булок и пол-литра под полой, выпили. Один из дружков был с раздвоенной губой и крошечными тоскливыми глазками, давно виданный. Барачные кружили около койки Петра, и, словно невзначай, останавливались. Притягивало чужое

разливное пиршество, и, кроме того, Петр знал и кое-что потайное,—ведь работал в самом пекле, за линией плотинных огней. Ну, что там, на воле-то?

Он делал порицающее и скорбное лицо:

— Наделали вы, братцы, булгу, нечего сказать. Завтра, говорят, кроме ваших трех барачков, никто не выйдет. Нехорошо! Партийным и без вас заботы...

Дед тут как тут—тискался тощим сластолюбивым задом к печке, притворно горячился:

— А то, работай им на дурака? Это при крепостных господах...

С коек подкалывали:

— Ты, чортынька, уж поработал, надсадился!

Пряталась и не могла спрятаться рыкающая гортань:

— Теперь самый раз: артелью, артелью поддержать. Утром чтоб из барака никто. Куда им деваться, дадут!

— Кабы только не заарештовали,—беспокоился дед.

Журкин, все время молчаливо прихлебывавший из кружки, косился тревожно вокруг. У койки незаметно, один по одному, собралось полбарака. Гробовщик не вытерпел.

— Петра-а!..

Петр вскочил, махал рукой, как на мух.

— Ну, чего налезли, чего не видали? Сказано: мы вам этому делу не советчики, мы сполна получили, и дайте нам заработанный кусок спокойно проглотить. Разойдись!

— Мы видим, что не советчики... вам что! свое оторвали!

Барачные разбрехались, глотая слюну, отяжеленные раздумьем и обидой. Кто-то едко вздохнул: «О-хо-хо!..». Через минуту, не вытерпев, начали поманывать к себе дружков в разные углы; сговаривались с ними—по трое, по четверо, чуть не стучаясь лбами. Дружки отходили назад, равнодушные, оправляя на себе, как ни в чем не бывало, толстые пиджаки. Водку у них барачные покупали вскладчину, по

восьми рублей пол-литра: на это наскребались последние рубли. Через дружков водка шла из слободы. Петр как будто не видел ничего. Скоро по углам и у огненных печей разговоры обрели крикливую задущевность, дребезжали в них обида, ласка, геройство; иные, одурев, заносили недуром песню, не песню, вой, не вой.

... Поля, вся в гневных румянцах, выбегала из каморки, где на чурбашке у нее попискивал ладами и постукивал молоточком Журкин, выбегала, оторвавшись от интересного разговора, ругалась, срамила пьяных, ворошила у них подушки и одеяла, но не находила ничего.

Барак долго не засыпал,—ясно было, что ночь канунная, решительная. Хмельные голоса поспали, сменились тихим серьезным говором. Дед лазил то у той, то у другой койки, наставляя ухо, боясь не упустить где-нибудь выгоды. В него досадливо кидали сапогом, кружкой... От родины, от семейного пристанища отделяли людей пустыни, снега, морозы, леса; большие города с часовыми стоянками, с пересадками. Под одеялом постыдно и страшно было думать о возвращении... Барачные ворочались, кряхтели.

У кастаняши в каморке шел поздний разговор:

— Мужики-то всерьез домой собираются. Где же, Поля, у вашего коммуниста рассуждение? Убытков ведь поболее будет, чем от мануфактуры.

Поля искоса пытнула Журкина взглядом:

— А вы тоже собираетесь?

— Да мне зачем? Я ударяюсь, чтоб остаться, я свой заработок имею.

— Ну, так и никто не уйдет.

И Журкину тотчас поверилось, что в самом деле не уйдет. Это не лампа, а Поля жарко светила ему над работой, приветливая, близкая своей усладой... Когда надо было ей пробраться к двери, отводила мешающие его плечи, полуобнимая. Неужто же оборвутся такие вечера?

Поля любопытствовала:

— Ну, а когда денег подработаете,

что же дальше будете делать, Иван Алексеевич?

— Дальше?

Журкин с достоинством помедлил.

— Это, Поля, не скоро еще... Мне на плохой конец—тыщи полторы собрать. Тогда уеду куда-никуда, раздую свою мастерскую... такая у меня думка, Я ведь краснодеревец... нас, эдаких, на всю Россию теперь больше ста не наберется. Значит, мастерскую... ведь не всегда такая политика будет, послабят они. Еше бы, конечно, доходнее гробовое заведение!

И Журкин расписал ей, какой у них в давности имелся катафалк с собственным выездом в Сызрани.

Пусть до конца узнает Поля, кто он такой. Стало душно от гордости, он сам себе представлялся неузнанным князем... И у нее решился сейчас же выведать все начистоту:

— А вы, конечно, с новым муженьком здесь окрутитесь, ясно. Вон ухагор какой у вас: коммунист, фасонный из себя, культурный.

В мыслях хитро посмеивался: «Какой там еще ухагор, наболтает тоже Петр нивесть чего... нарочно подтравливает!».

Поля прилежно шила.

— Это кто, Подопригора что ль?

— Да.

— Что же, он ничего, не нахальный.

И должность ему хорошую дадут, когда завод построят: рассказывал, мастером будет, угли, что ли, спекать... Вином не балуется.

Журкин, не поднимая головы, тихо допрашивал:

— Значит, сватался уж?

— Да сватался, не сватался, а в разговоре, когда гуляем, шутит. Ну, только ребят у него двое, а на чужих ребят итти—сами понимаете, Иван Алексеевич, как тяжело. Да ну... я еще об этом не думаю, хочу вольной жизнью пожить!

— Так.

«Значит, правильно, гуляет она с ним...». И не клеилась дальше беседа. Поля шла где-то на высокой, высокой горе, веселая, коварная, чужая, напевая себе песенку... После, в бараке, Журкин

скрючился под одеялом, совестно было, что вот он, семейный, пожилой человек, томится из-за чужой бабы. Ведь своя Поля есть, может быть,—получше... И в помощь себе силился поласковой, покрасивей, вроде как в песне, вспомнить далекую мшанскую Полю. Но видел только согнувшийся костяк ее в полутемной кухне, среди мух, горшков и нужды. Где уж тут песня!



Разбудили всех грузовики.

Они бурно и настойчиво клекотали за дверями. Человек восемь поднялись, умылись. Остальные притворялись, что не слышат, что еще спят. Даже те, которые вскочили за нуждой, нерешительно кружились около выхода, раньше чем кинуться наружу. Восьмеро, в том числе плотник Вася с неразлучным белоголовым пареньком, тихо оделись и, держась тесной кучкой, прошли через вымерший барак к дверям. Они шли, глядя только перед собой, в спины друг другу, но все-таки не могли не видеть, что около сорока пар глаз украдкой изпод одеял мучаются им вслед. Клекот вдруг стих. Закричали резкие, озорные гудки. Они об'единились вместе, растянулись над недвижимыми буграми зипунов и одеял в один изматывающий, срамящий вой. Из каморки выскочила простоволосая, вспугнутая Поля, выглянула на улицу, потом, с круглыми глазами, кинулась в барак.

— Мужики! — со страхом и укором выкрикнула она. — Мужики, чего выдумали?

Одинокий, жидкий голосишко ее пропал за гудками. На койках и не пошевелились. Поля покосилась на гробовщиков простенок: и там продолжали спать. Только Петр, давно умывшись и причесавшись, осторожно разводил огонь в печурке, под чайником, на этот раз не потревожив даже Тишку.

Гудки оборвались, одни моторы фыркали. Через минуту и эти звуки унесло в степь.

Рыжий каменщик сел на койке, почесывая грудь в смешливом раздумьи.

— Ну, закуривай, золотистые!

Дед-плотник протрусил в одних исподниках к окошку и возликовал:

— Порожные ушли!

Враз проснулись, пораскрылись на всех койках. Петр, уже одевшись, раздумчиво, не разговаривая ни с кем, выкурил цыгарку, окурочок аккуратно бросил в печку. Журкин, сдернув одеяло с головы, увидел удаляющуюся его спину. Тотчас накинул наскоро шубу, сунул босые ноги в валенки, метнулся вдогонку: что-то спросить необходимо было, посоветоваться... Утренний, в солнце, снег так сиял, что глаза заплакали. Петр почему-то свернул не направо, к плотине, а взял тропкой прямо на огороды, на слободу. Гробовщик остановился, не позвал...

И впервые во всей этой булге, которую затеяли бараки, промахнуло в'явь чужое, недоброе крыло.

А барачные потягивались, слонялись от койки к койке, чай пили и с утра начали так зверски накалывать печи, такую нагнали огненную духоту, что Поля засуматошилась опять: кабы не сожгли барак. Равнодушно глядели в огонь:

— Плевать. Сгорит, в другой перейдем.

За этой леностью, за равнодушием крылось настроженное, знобкое ожидание. Иные, ссутулившиеся на койках, про себя каялись уже; брала их оторопь... Иные настойчиво и уже пустословно, в десятый раз, убеждали друг друга: держаться своего. Золотистому, видать, доставляла удовольствие необычность поднятого ералаша. К Журкину подошли с просьбой:

— Мастер, ты за всю артель говори. Ты дюжее всех.

Журкин пугливо отнекивался:

— Ну уж, какой я говороч...

Забился к печурке, клеил гармонные меха. Лихорадные руки плохо слушались. Тишка, отвернувшийся, потемневший, молча латал дерюжку. Смуть, смуть... Только когда в барак появился Обуткин, а вместе с ним степенность, уважительность и вполне безопасная правота (мог ведь человек и не лезть в это охмуренное скандалом логово, вы сидеть у себя на слободе), тогда чуть поуспокоился гробовщик.

Со двора крикнули:

— Идет!

Несвязная суетня быстро улеглась. Наскоро расселись по местам. Мрачный голос буркнул:

— Сейчас обольванивать будут.

Подопригора с разбегу выпил у Поли ковш воды, выпил с такою жадностью, что в горле стучало. Вот и наступила она, первая схватка. Исход зависел от его умелости, от его сил... Барачные чутьем перехватили волнение человека. Они приободрились, посуровели, их стало сразу словно больше.

Пришедший деланно-весело сорвал с себя шапку.

— Что же это вы, ребята? Какой нынче праздник празднуете?

И фамилии, которые запоминал накануне, забылись сразу, и лица торчали кругом неузнаваемые, невиданные никогда,—не понять, которые старые, которые молодые... Да и на что теперь фамилии! Если бы вместо сорока отходников тут, в бараке, сидели по койкам сорок таких, как Подопригора... С этого он и начал. Как бы поступили на их месте настоящие, сознательные рабочие? Сознательные — это те, которые ясно видят цель, куда они идут, за что идут. Надо только одно, только одно: вместе всем понять, заглянуть вперед за нынешний день. Рабочий, который видит, какая новая жизнь светится за его трудами, пойдет не только на задержку жалованья, он пойдет... «Вот в гражданскую, бывало дело, разве не голодали? Кто тут на гражданской участвовал?». Десятка полтора рук поднялось. То были свои, были дружки, вот кого надо в первую голову разбудоражить, расшатать... «Факт, тут кто-то лазит с языком, какой-то враг делает свое дело. Какой враг — мы знаем!» — погрозил Подопригора, оглянувшись на одну из печурок, и за ним все оглянулись, но на которую — непонятно было. «И разве не позор, не стыдно вам, трудящимся, поддаваться ему и на радость ему подрывать свое собственное, рабоче-крестьянское дело?». Уполномоченный неожиданно налетел на деда, плотника:

— Не стыдно разве, отец?

Дед, испуганно соображая, мигал:

— Ясное дело, что стыдно.

— Ну вот...

Подопригора стоял среди барака молодцеватый, распахнуто-дружественный. Ждал, что скажут в ответ. Но никто не хотел в открытую, отзывались только бормотаньями: «Мы от работы не отваливаемся, нам свое подай!..». «В дороге в один конец исхарчились до последнего, теперь на что поедем?».

Подопригора сказал нетерпеливо:

— Говори кто-нибудь один.

На койках согласились:

— За нас Журкин пускай скажет.

— Журкин, сказывай!

Подопригора метнул искоса взглядом на гробовщика, которого подталкивали, который растерянно упрямылся:

— Да ну, какой я говорюк...

На Журкина рычали, его подбадривали. И Обуткин вместе со всеми:

— Мастер, тебя артель просит, не бойся, говори!

Журкин кособоко, боязливо приподнялся.

— Ну, дак тогда что ж... тогда скажу... — Он в ужасе откашлялся. — Каждый, значит, завсегда хочет себе кусок получше оторвать. Так.

И вдруг зацепенел и смолк. От устремленных на него глаз, от тишины все сразу пропало из головы, да и его самого не было на свете. Так и стоял...

— Закуривай! — дерзко, насмех выкрикнул Золотистый. С коек издевались:

— Смарал, мастер! Эх...

Гробовщик мучительно сел. Тишка, побелев, отводил от него глаза. Из-за двери выглядывала Поля, она пылала вся, терзалась... за кого? Подопригора торжествовал, барак сам давался ему, сейчас только цепче ухватить его, порывно увлечь.

— Вот эдакие мастера... они и тянут вас в ту старую, сволочную жизнь! Братки! Не им надо верить, а надо верить нашей партии... нашему правительству... что же, они бросят вас на произвол? они остановят эту громаду, которую рабочий класс поднимает на своих плечах? Кто тут с гражданской руки поднимал, покажи пример, одевайся!

Пятеро еще встали. Подопригора, клочущий, неудержимый в своем озарении, усмотрел Тишку.

— Ты кто, комсомол?

— Нет, я так...

— Одевайся, друг!

И ласково подтолкнул его плечи. Тишка, вопрошая, обернулся к дяде Ивану, защите своей. Но гробовщик сам еще не пришел в себя, застыл подавленно. Тишка потянулся за одеждой.

И поднялся Золотистый, горько качая головой. Баловитую усмешку смыло с его лица, сердито и решительно натягивал он на себя ватник.

— Это что же, в самом деле, получается, дружки? — Он говорил негромко, как бы для себя одного, но тишина слушала его отовсюду, потупленная, нещадно раздираемая бореньем... — Это что же? Взять на тех участках: рабочие-ударники гремят, сверх силы ворочают, про них славу вы сами слышите... и верно партийный говорит, что они своими трудами добиваются жизни, какой еще не было. А мы? выходит, в поле обсевки? Нам из коросты, значит, никогда не вылезать? На готовенькое-то, золотистые, совестно надеяться, вот я как думаю.

Барачные молчали — одни полезли зачем-то рыться в сундучках, другие начали ворошить дрова в печке. А руки их исподволь, не торопясь, как бы нарочито-равнодушно нащупывали шапки, подбирали с коек зипуны... У деда-плотника от недоумения отвисла вместе с губой борода.

И Журкин, потупясь, мешкотно влезал в свою шубу. Слышал, как пронесся мимо него Подопригора опаляющим дуновеньем.

Поля стояла у двери суровая, каменная. Все равно, подбрел к ней.

— За что он меня... эдакими словами?

— А вы зачем поперек делу становитесь? Человек вам правильно говорил. Кабы все так стали самовольничать да требовать...

Гробовщик теребил на себе пояс, бородой угнувшись в грудь, смиренный.

— При старом режиме сколько бедо-

вал... Ну, видно, жизнь моя такая, Поля, что до могилы бедовать надо.

Поля в замешательстве подняла на него глаза и смягчилась. Всей тяжелой грудой своих вздохнула:

— Прямо не знаю — живу я промеж вас, как промежду огней.

И тихо отошла в каморку.

Делались дела...

Кооператив помещался под горой, в бараке из свежесосанного соснового бревна. Целая улочка составила там — кооператив, несколько контор, эвакупункт — все бревенчатое, с заиндевелыми вывесками, по-нежилому оголенные, без двора, без забора: взглянешь, и еще тоскливее ужалит сибирский холод... От плотины до улочки загибался порядочный крюк. Однако Петр с этим не считался, с некоторых пор все чаще и чаще прохаживался сюда.

Пожалуй, в кооператив заходить особой нужды не было. Покупал разве коробку спичек. Задерживался минут на пяток, чтобы пообогреться и выкурить цыгарку, облокотясь где-нибудь в сторонке на прилавок.

Но, покуривая, прикидывал исподтишка туда и сюда глазом, работал глазом, соображал...

План состроился у Петра не вдруг, не единым духом. Мыслишки, выдумки разные насчет какого-либо промысла по торговой линии не покидали его все время. Он приберегал их про запас, на случай, если бы в слободе у Аграфены Ивановны или на стройке ничего не вышло. Все, что касалось так или сяк торговли, было обсосанное, родное. С малых лет обучался около бакалейных полок и торговых счетов... И когда в первый раз толкнулся он в бревенчатый магазин, то, как родиной, шибануло ему в нос рогожно-селечодным духом (так пахла на базаре и мужички деньги) — пускай на полках сплошь одна сода для стирки да кофе «Здоровье» в бумажных, слинявших от давности коробках, а под полками, по низам, — пустота, приукрашенная пышными звездами, понастроенными из спичечных коробок. Знал

Петр: теперь не по-старинному,—добро не хранилось на полках, теперь оно при-текало и вмиг утекало, но умный мог, конечно, всегда словчиться, зачерпнуть.

И чем пронзительнее приглядывался он к прилавку, к человекам, которые орудовали по ту сторону его, тем упорнее становились его надежды. Иной раз едва удерживался, чтобы не подмигнуть туда.

Были некоторые приметы, для других неуловимые, но для Петра вполне достаточные, чтобы в одном из этих орудующих угадать своего. Уже взять одно имя: заведующего звали Сысой Яковлевич. Положим, он мог выйти и из приказчиков. Но Петр подловил и другое—хозяйские окрики: «Жив-ва!», «Дело на безделье не меняют» и т. п., явно вынесенные из лабазного, хозяйского житья-бытья; он заметил и повадку эту, излюбленную Сысоем Яковлевичем, — опереться пальчиками о прилавок, как бы в полной готовности угодить покупателю, а взор — равнодушно в потолок, и не только равнодушно, а утомленно, с презрением: грошовый покупатель-то, муха, а не человек! Сысой Яковлевич возвышался над прилавком сажанный, рыжий и как бы подслеповато дремлющий постоянно; грудь выперта грозно, по-солдатски. «Наверно, с японской еще войны» — определил Петр его года. «А интересно, каменную он имел или дальше ларька не раздул?». По осанке решил, что каменную. И судьбу ему придумал Петр такую же, как у себя: с секретом и гоненьем.

Старший продавец у Сысои Яковлевича—мужичок-мужичком. Одно отличает: свернутая колбаской борода от уха до уха. «Не иначе, жулик» — с первого же раза загадал Петр. Случилось однажды так: привезли на выдачу сахар-песок, и, как полагается, тут же винтом набилась в магазине очередь. Старшего продавца Сысой Яковлевич во время работы ничем не оговорил, но второго, помоложе, попростоватее, отстранил сердито, якобы за нерасторопность, и за весы встал сам. Тут Петр напрягся зорко, во-всю... И в самом деле — Сысой Яковлевич и старший, не глядя, очень тонко работали «пальцем». «Ну, по

мелочам бузят» — Петр даже обиделся: около такого-то дела — и по мелочам! Ясно, все тут было готово, не хватало только человека, такого, как он — с соображением и храбростью.

А как об'явиться?

Не один раз пробовал Петр подать сигналы Сысою Яковлевичу. Коробку спичек норовил всегда купить лично у него, при этом загибая какую-нибудь лабазную прибаутку, многозначительно подмаргивая всей скулой. Но Сысой Яковлевич, опершись на пальчики, нерушимо, надменно смотрел поверх. Петр чувствовал на себе приплюснутый малахайшко, уездный, заплатанный пиджачишко. Такое носит шпана... Нахальная ухмылка его гасла.

Однажды не вытерпел, в рабочие часы ушел со склада (Санечке шепнул, чтоб посмотрел) и чуть не бегом кинулся в заповедную бревенчатую улочку. Предчувствие, что ли, погнало его: или сейчас, или никогда?.. Ни взвешенных заранее слов, ни подходов — ничего не заготовил. Пенился один сладкий риск, несло человека ветром.

Народу в кооперативе почти не виделось: рабочий час. Может, это и приманило Петра? Сысой Яковлевич, подслеповатый, выпрямленный, сторожил за прилавком... Петр, мурлыча песенку, легкими шагами подошел, спросил коробку спичек.

— Холодновато у вас все-таки, — молвил он развязно.

Сысой Яковлевич вперился по-идольски в потолок:

— Не жарко.

Сказано было не человеку, а так, в воздух. Получил, дескать, и проваливай. Петр не отступал:

— Бывают места, где еще холоднее... нам теперь не до горячего. Всяко видели.

Сысой Яковлевич, словно слегка проснувшись, перевел глазки на Петра. Не то недоверие, не то любопытство отобразилось в них. Глядел... кажется, распознавал кое-что.

— Вы где же... на плотине работаете?

— Теперь ни от какой специальности отказываться нельзя... что дают, то

и бери. Жить-то надо, Сысой Яковлевич?

Сысой Яковлевич, услышав имя-отчество, оживел, милостиво согласился:

— Жить надо.

От удачи взмывала сила в Петре. Он подвинулся по прилавку поближе, понастойчивее:

— Да, холодновато у вас. Теперь бы согревательного — в самый раз!

— Согревательного — да. — Сысой Яковлевич крикнул и как бы сладкое воспоминание смахнул ладонью с усов. — На строительство, как знаете, строго насчет этого, скорее птичьего молока достанешь...

— Это кому как! — Петр отогнул ворот пиджачишки и показал сургучную головку. — Одна беда, Сысой Яковлевич: с какими людьми век проживешь, к ним и сердце тянет. Здесь же, скажу (Петр грустно вздохнул): народу кругом много, а людей — их нет!

И попросил смирно:

— Покалякать бы маленько, а?

Сысой Яковлевич, нахмурившись, вдруг как бы осердясь, приоткрыл прилавок:

— В задок пройдите.

Петр готовно нырнул в дверцу между полками. Мерзлое единственное окошко задка глядело в степь, колючую от солнца. Голый, чернилами искапанный стол, на нем ворох наколотых на гвоздь счетов, кучка талонов, жестяный чайник. В углу бочка из-под масла. Сысой Яковлевич, притворив дверь, сердито оглядел литровку на столе, достал с окна два стакана. Петр вынул из кармана достаточный ломоть хлеба. Чтоб не подумал Сысой Яковлевич, что на жратву набивается нахалом.

— Солицы бы...

Сысой Яковлевич сходил в лавку и вернулся с длинной мокрой селедкой в руках. Слупив с нее чешую ногтем, прямо на столе порубил на куски; по столу растекался мутный, запахом своим выгоняющий слюну рассол. По стакану слотнули молча.

— Будем знакомы.

Оглянулся Петр кругом проясневшими глазами и — забыл времена. Сидит он у знакомого купца в задке. В окошке

искрится воскресенье беспечным солнцем. И счета на столе, и масляная бочка, вся в солнечных зайчиках, сладостно свидетельствуют о развернутых, ходко идущих делах... А что же, может быть, и не кончилось это, опять отворится настежь в какое-нибудь воскресенье? Вот сумел же, достиг своего: пробрался куда захотел!

Сразмаху, ликуя, нахлестал еще раз по полному стакану. Любозный знак сделал Сысой Яковлевичу: угощайтесь! Тот в свою очередь повел ручкой:

— Прошу.

Петр вспомнил давние застольные присловья:

— Нет уж: села сорока на гвоздь, как хозяин, так и гости!

Сысой Яковлевич, словнохватило над ним колокольным звоном, выпрямился, истовый, семейно-чинный:

— Не дорога брага, дорога увага!

— Не дорого пито, Сысой Яковлевич, — у Петра бежали в горле сладкие судороги, — дорого быто!

Как песня... Близкое, у тела отогретое... умрет ли когда такое? И с Сысоем Яковлевичем будто сразу об'яснились начистоту. Разговорившись, Петр в пьяном сердечном распахе (может быть, и прикидывался) выложил перед Сысоем Яковлевичем свою горестную биографию, — значит, доверился ему до конца и даже всплакнул. Выходило, что на родине бросил он каменную лавку и долю в лесопильном заводе. Однако Сысой Яковлевича это не прошибло, сидел хоть и подобревший, но столь же непроницаемый. Только слушал. Про себя не молвил ни слова.

— Да, — вздохнул Петр еще раз, когда литровка опустела, — народу много, а друзей искать да искать надо, Сысой Яковлевич. — И вызывающим на доверие, приятельским шопотом: — А для себя продукцию какую-нибудь около дела имеете?

— Какая уж продукция, — со лживо-равнодушным видом развел руками Сысой Яковлевич.

Берегся, осторожен был.

— Ну как же... — смиренно лукавил Петр, — около воды, как говорится, быть, да не замочиться? А вода, боль-

шая тут кругом вода, Сысой Яковлевич, ее не по мелочишкам надо хлебать, бочками ее сейчас можно, Сысой Яковлевич!

Он расписал ему, какую прорву всякого довольствия и материала валят сейчас на строительство. Со временем, конечно, хватятся за разум, наладят насквозь учет, возьмут под тройной строжайший контроль каждую крошку, ну, а до той поры... Вот он, Петр, сам на складе сидит: он может обрисовать, есть ли какой там учет и кто этот учет выполняет. Эх, жалко, что железо на складе такого сорта, ни для какого хозяйства непригодное!

Посмотрел мельком на Сысою Яковлевича: тот все слушал — и учтиво, и якобы подремывая. Получалось так, что Петр распаялся в одиночку. Но это не смущало, такая повадка ему тоже была знакома, она обнаруживала, сколь разборчив и серьезен в делах был Сысой Яковлевич.

«Непременно каменную имел... или двухэтажный трактор с подачей...».

Краешком подходя поближе к самому главному, по-простаковски, беззаботно совсем осведомился:

— А талончики у вас, Сысой Яковлевич, как отмечают: надрывом или проколом?

— Надрывом, — нехотя воркнул тот. И сразу, будто испугавшись, помрачнел, ежасто надулся, того гляди — привстанет, на пальчики обопрется.

Довольный шагал Петр по солнечной пустоши обратно на плотину. Дальше легче пойдет; только бы вытащить разок кооператора в слободу, к Аграфене Ивановне. Как увидит дом — полную чашу, как распознает самое Аграфену Ивановну и почует, какие махинации закручивает она не только на стройке, а на сотню верст кругом, — взвевется из него давний, коренной Сысой Яковлевич!

Очень довольный вышагивал Петр. И на работе все давалось ему легко, играючи. Да и что для такого была складская работа — ребячья азбука! Не без умысла втихомолку почитывал он книжечку свою. «Что нужно знать арматурщику». Вышло так. Прежний

зав, уезжая, оставил на попечение Петру не склад, а скорее свалку всяческой железной рухляди, — тут и сортовое арматурное железо, и проволочка, и разрозненные части бетономешалок и прочее; громоздилось все это колючими курганами, развалами, как попало, и десятники, отыскивая нужное, обдирали себе в кровь локти и колена. В брошюрке же толково и строго было указано, что материал надо держать по сортам в таком-то порядке: такой-то поближе, такой-то подальше. Петр выпросил себе однажды у сменного инженера пяток ребячье-бетонщиков на подмогу; в два дня ненужный хлам был отсортирован, железо легло штабельками и кругами, как в книжечке; и бригады получали что им требовалось в несколько минут — как с полочек в аптеке. Про Петра стало известно, посмотреть на образцовый склад приводили людей с других участков. Прежний зав не возвращался около полутора месяцев из командировки и, возможно, прилепился где-нибудь в другом месте. Не сегодня-завтра Петра могли поставить настоящим штатным завом, он ждал этого как должного, почти с равнодушием.

Чорт его знает, может быть, и на счастье подошло это лихолетье. В Мшанске жил Петр — в пору куски собирать: с одного бока била кооперация, с другого фининспектор, который выжимал весь добыток. Иногда дома и похлебать оказывалось нечего. Зиму эту встретили с сестрой Настей в нетопленной избе. Зарывшись по плечи в рваные и пыльные обноски, валялся Петр на печке, — не с чем стало на базар выйти. Начал запоем читать книжки из библиотеки — романы Тургенева и Диккенса, от них по целым дням мечтательно и удушливо дурел... Раньше хаживала к нему одна вдова из слободы, и та бросила. Так и душился один на печке, голодный, под кучей тряпья, истощая себя чтением и бесплатным рукоблудием... И что было бы дальше, не вышиби его оттуда злосчастный поворот жизни?

А теперь через бараки, через Шанхай проходил с нагловато-делецкой, многознающей ухмылкой. И такие планы-

мечтания распяляли голову... будь это полгода назад, на печке, как горько, как похабно поизмывался бы сам над собой!



Самое главное было — приступить к Дусе.

Голод по ней, пока несмелый, еле познаваемый, проникал все его замыслы. Обернуть бы ее к себе, для начала заставить хоть поглядеть другими глазами. Особенно угнетала Петра непотребная баракхлистая его одежонка. Как раскинешь в ней крылья по-орлиному?

И порой суеверно окидывал памятью былое. Пожалуй, насчет любви никогда не выходило у него по-настоящему. Были сожительницы, скоропреходящие и легкие на ласку, больше из солдаток. А вот не случилось ни одной, чтоб застала около него и чтобы около нее застрадать, полюбить с ошалелой тоской, как в песне: «Зачем ты, безумная, губишь... того, кто увлекся тобой?». В некоей высоте витала Катя Магнусова, дочь мшанского протопопа, чистотелая и надушенная епархиалочка, а впоследствии курсистка. Ее окружали ухажоры из высшего общества — податной инспектор, студенты в белых кителях с орлеными пуговицами. А Петр торговал в ларьке селедками, мылом и прочей низменной мелочью. Но постепенно вывешался Петр, матерел в своих делах, из ларька правил руль на каменный лабаз с красным товаром; и на базаре верили, что доправит. И вот уже завел себе рысака под голубой сеткой! Если бы не война... В Народном доме два раза как-то, на рождество и летом, он, ларешник, прорвав невозможную, казалось, препону, танцевал вальс с Катей Магнусовой. Она, видно, училась с лендой, по полгода не отъезжала на курсы, невестой проживая дома, и Петр мимо нее, гуляющей, протягивал птицей своего рысака, замирая от красоты момента. И все доступнее витала она над его будущим, со своим епархиальным тельцем, модненькая, ученая. Если бы не война... На месте протопоповского палисадника теперь пустырь, накатана через сиреньки широкая проезжая дорога, а Петра вме-

сто красного ряда кинуло в военные годы к Китаю. Может быть, от природы не дано ему было магнита — на любовь?

Он начал чаще бриться, умываться с мылом. Заглядывая в зеркало, делал сонные, мутно-блаженные глаза, будто уже околдовывал женщину. Чем он хуже других? Скулы упитанно округлились, да и весь он даже мыслями помолодел от свежего воздуха, от удач. Лицо—коварное, как у актера, способное изображать самые разнообразныe характеры. После прочитанных на печке книг в сравнении с прочими шанхайскими Петр считал себя интеллигентом. Нет, не в магните было дело. Нужно было скорее явиться перед Дусей в блистании и в настоящей своей силе. Каждую минуту он мог погибельно опоздать.

Теперь ни одного вечера не пропустил, чтобы не побывать у Аграфены Ивановны.

Мануфактуру выдали на участках, и уже с мануфактурой делались дела... Но не только из-за этого бывал. Не столько из-за дела. В халупе Петр жил, дышал... Вечером обязательно расщедривался на выпивку кто-нибудь из дружков. Горница освещалась приятельским трактирным светом. Изредка, как посторонняя всем нахлебница, появлялась Дуся, заспанная и злая от скуки. Петра хватала в ее присутствии сладкая оторопь, будто кто-то кружил и кружил около него с ножом. Пусть, только бы не уходила подольше... А Дуся и не ведала ничего, она никак не хотела замечать его настоячивых, нахально-изнывающих глаз. Очевидно, равнодушно терпела его, как и прочих, подозрительных, но нужных для дела мамашиних ловкачей.

Вот с вербовщиком Никитиным, неведомо откуда взявшимся, обходилась совсем по-другому. Не отказывалась присесть рядом, поговорить, хохотнуть над секретно сказанным ей на ушко словом. Вербовщик был лихо одет, имел шальные деньги и напевал новейшие ресторанные песенки под гитару.

Но Петр исподволь наступал.

Очень хитро выбрал минуту, чтобы подивить Аграфену Ивановну своей

удачей с Сысоем Яковлевичем. Подгадал нарочно к вечернему чаю, когда мать с дочерью наедине сумерничали за самоваром. Дуся, хотя и неприязненно отвернувшись, должна была поневоле, по причине недопитой чашки, прослушать весь разговор до конца. А Петр только этого и хотел для начала: чтобы голос его, не перебитый другими голосами, подивил ее однажды.

И голос, и разговор были припасены, выучены заранее.

Аграфена Ивановна при первых словах поставила блюдечко на стол и насторожилась. Петр рассказывал, как и полагалось рассказывать о таких делах, вполголоса, с недомолвками, в особых местах многозначительно прикашливая. Старухин рот раз'езжался от восхищения. Вот это орел, да, орел! И еще сильнее, чем восхищение, начинала терзать Аграфену Ивановну завистливая боязнь: возьмут ли ее в пай и в какой пай? Иль — себе вершки, а ей корешки? С мануфактурой дело было случайное, налетное, а тут, если взяться с умом, потекли бы обильные и нескончаемые родники. Кроме этого, и страшновато было... На Петра взирали и растерянность, и жадность. И с какой готовностью закивала головой старуха, когда Петр предложил тут же, в Шанхае, принять Сысю Яковлевича и поразить его (словечко портновское пригодилось!). Ясно было, что теперь не Аграфена Ивановна над ним, а Петр царевал над старухой. Какой он там подручный! Понимала ли это Дуся? Не глядя, только одну и видел ее краем глаза... Дуся слушала, и он, чувствуя это, все разнообразнее, все вдохновеннее красовался. Он одевал свой рассказ, свою доблесть в особые благородные слова, после которых уж никак нельзя было смешивать его с прочей шанхайской шпаной; Аграфена Ивановна от этих слов мигала... Про Сысю Яковлевича он, например, выразился, что таких людей можно окручивать только посредством психологии. Много значит при этом являться отчасти артистом, то есть играть с человеком драматически. Ну, он-то, Петр, в свое время участвовал с любителями, разных типов разы-

грывал. Труднее всего, конечно, давать любовь...

Аграфена Ивановна трудно тарашилась, не понимая, к чему это.

— Я раньше к театру очень большое увлечение имел. И сейчас, — Петр задумчиво побарабанил пальцами, — очень, очень скучаю без театра.

А Дуся все слушала, конечно. Петр повернулся, пришло для того время, победоносно всем жаром своим пыхнул ей прямо в глаза. Да, да, чертостви в них нисколько не оставалось, они приветственно усмехались, лукавили. Только смотрели не на Петра, а мимо.

Оглянулся на постылый скрип двери и повял. В дверь входил, само собой разумеется, вербовщик Никитин.

На боевом парне распахнуто красивое оленье полупальто и кругом галстука заправлен шелковый шарф, такого небесного польхающего цвета, что и щеки, и волосы Никитина тоже отдавали голубым. Вошел, как в свой родной дом, даже ног об половику не вытер, прямо к Аграфене Ивановне с дружеской пятерней:

— Ну как, мамаша, в правом боку? Опять мозжит? Сочувствую! Но помочь ничем не могу, га-га-га!

Гогочет нахально ей в глаза, но Аграфена Ивановна не думает обижаться, даже усмехается одобрительно: «Вот какой гораздый, где уж его словом перешибить!». А Дуся запрокинула головку, будто плывет на карусели.

Петр омраченно оперся на локоть за самоваром. Немил, тягостно-излишен душе кооператор, восхищенье старухино... Вот они где цветут, настоящие цветы жизни! Вербовщик развалился на стуле, подобно гусару-покорителю из ромansa; чашки для него бойчее зазвенели; он на все согласен:

— Чайку? Ну что ж, пожалте чайку, с морозу великолепно!

И все-таки: по какой причине вторую неделю проедается в слободе этот молодец? Командирован он в Поволжье, в Самару, и давно бы ему ехать. Бедой кружит... Через полчаса Петр уже один со старухой; молодые табунят за перепородкой. Петр слухом весь там, одна-

ко подробно договаривается с Аграфеной Ивановной, как принять в гости Сысою Яковлевича, какой сделать стол, какие разговоры вести, чтобы получилась почтенно и убедительно. Чтоб чужие не помешали, на тот вечерок дусину комнату занять... Аграфена Ивановна поднялась зажечь лампу, а там, за перегородкой, стихло вдруг, так нехорошо стихло, что — ринуться, завопить с кулаками над недогадливой ведьмой-старухой... Нет, прожалобилась гитара, и волнистым, нестерпимо-душевым, каким баб-дурех наверняка обхаживают, голосом занес вербовщик:

И все-о, что было... и все-о, что ныло,
Все давным-давно-о уп-лы-ло...

Петр так и не мог сдвинуться, уйти. И вечер развернулся в звон, в песни, в кружало. Приехали еще со стройки, из контор, двое друзей Никитина, не то вербовщики, не то хозяйственники. Пришел тяжкодумный и зловеще-обидчивый Санечка-монтажник. Никитин появился из-за перегородки румяно-голубой, радужный, хозяйствующий. После первого литра, когда стало пошумнее, незаметно присоединилась к компании Дуся с гитарой. Все-таки после сегодняшнего чаеванья она стала терпимее к Петру: лафитничек из его рук приняла без прежнего презренья; лафитничек, оплаченный, однако, Никитиным...

За водкой бежал простуженный, закутанный в какой-то половик мужичонка, церковный сторож, услужавший по вечерам гостям за некоторые подачки. Механику этого бегания Петр знал отлично: сторож хлопал дверью для вида, а потом подавался в кухню, где Аграфена Ивановна обтирала уже новый литр. Сседали третью сковороду яичницы; сковорода — еле обхвватить руками. Никитин галдел больше всех, а когда посылал за чем-нибудь, выхватывал деньги из кармана прямо комком и, не считая, выдирал оттуда и ронял кредитки. Сторож улучал момент и цапал со стола лафитничек. Позже заезжие мужики в тулупах обнаружили в халупе; и их настойчиво и крикливо, с надсадом угощал вербовщик. И опять выдирал деньги из кулака? — так, что у

Петра вчуже болело сердце: ворон тут каркал... А садясь, вербовщик все ловчился завить руку вокруг дусиных плеч: та—при гостях, что ли?—не давалась. Не цветы, а мрак кружил теперь около него, голубого и пропащего. И, как бы чуя и расшибая все эти опасенья, вскочил распаленно вербовщик.

— Мамаша, никаких не бойся! При такой башке, — он с похвальбой похлопал себя по темени, — никогда не пропадешь. Одно изобретенье, товарищи, имею... на всю стройку, всех перекрою!

Он пьяно выхватил у Дуси гитару, упал на стул, голова у вербовщика подломилась.

— Забыл... Для мамаша хочу спеть... На всю жизнь есть одна песня! Слушай, мамаш!

Ты жива еще... м-мая стару-шка?
Жив и я... Привет тебе, при-вет!

Вербовщик икающе вздыхал, чересчур плаксивил, но выходило все же хорошо. Не то, чтобы хорошо, а вдруг вот такое этой песней подошло, чего не хватало, чтобы людям, сидящим в чаду халупном, глубоко, во всю тоску вздохнулось... На полочке с иконами мигала лампадка: вечер пришелся субботний. И лампадка под песню вышла показаться вперед. На дворе субботняя всенощная вьюга. На санках мчат милую, как вот на бумажной картинке на стене. Мчат заунывно, как будто напоследок. Прости, прощай, Мшанск!.. И заезжие мужики попритихли; гуще понесло от их тулупов керосином, рыбой, родимой лавкой... У Санечки в кривом рту стиснулись зубы, может быть, и скрипят, только не слышно за гитарой... Хорошо брал всех песнею сволочь-вербовщик:

Не буди... того, что отмечталось...
Не зови того, что не сбылось...

Аграфена Ивановна — ну да, это про Мишу ей пели — не выдержала, сладостно сморщилась и губами, и носом. Сторож, покосившись на нее, стянул еще лафитник; еще раз покосившись, полез к яичнице; тут уж Аграфена Ивановна сверкнула на него казнящим взглядом... А Петра оковала песня: «Не зови... того, что не сбылось...».

«Нет нам счастья и не будет, — забредилось, без слез захныкалось ему, — заупокой один остался...». И гибельно-приятно было поддаваться. Дуся не сводила с певца вкось уставленных одурелых глаз; грудь ее и все тело, даже ноги, разволнованно дышали. «Готова!..» — и Петр царапнул себя ногтями по руке, поборол сразу в себе и песню и расслабленность. Надо было побороть. Надо было не допустить. И Санечка тоже все понял, мелкими и трезвыми глазами моргал на Дуся: не было Дуся, одна подвыпившая, уже взятая мертвой хваткой, готовая ко всему баба-дуреха. «Стравить разве?» — прошла в Петре отчаянность. Санечка-то, может быть, не раз щупал нож в кармане за эти вечера, только брал его вербовщик своей щедростью, напоем, молодечеством. А стравить недолго было, шопотом подбавить только Санечке жарку. Но во-время попридержал, охолодил себя. Шум, скандал, дознание... Все налаженное — сразу на ноль, одно пепелище оставят от халупы. Настоячиво досидел до полуночного часа, пока Никитина на руках не снесли в сани.

... В ближайший вечер Петр, удивясь, заметил вербовщика в своем бараке. В дорожном полушубке и в том же голубом шарфе внакидку, Никитин слонялся меж коек, как бы лениво разыскивая кого-то, присаживался то там, то здесь, балагурия, угощая барачных табачком. Петр забился поближе к печке и хищно наблюдал.

Дольше всех вербовщик задержался около деда. Голубой все уговаривал, хлопая старика по плечу, а старик льстиво мотал головой. Но в чем-то дед так и не удалось уговорить. Вербовщик бился около него и так, и эдак, но дед сидел, бесчувственно мигая; видимо, соображал, с какой стороны его дешевят или обманывают... Обозленный вербовщик перескочил к Золотистому. Но с тем разговором вкось еще меньше. Золотистый вдруг пальнул крепким словом и собрал кулаки. «Ах, ты... шелко-но-гай!» — горланил он вдогонку. Никитин пробирался к дверям с нехорошим и потным лицом. Мимоходом

столкнулся взглядом с Петром, — Петр сам нарочно высунулся ему навстречу; при этом вербовщик изобразил развязную и жуликоватую улыбку, словно на все ему наплевать. «И верно — шелконогий» — с презрением провожал его глазами Петр. Только-что вербовщик скрылся в дверях, дед-плотник проворно напялил на себя зипунок и шапку и, боясь упустить что-то, кошкой стрельнул тоже к дверям.

Через день Петр опять наткнулся на вербовщика в одном из соседних барачков. Здесь голубой, очевидно, снискал кое-какую удачу. На койке охотно обтеснили его человек пять пропойно-гулящего вида; звенела из полы в полу круговая посуда. Петр уже не дивился, он распознал про все; он не удивился бы, если бы повстречал Никитина в тот же вечер в бараках транспортного и доменного участков или даже в степи, у отдаленного бетонитового завода. И Петр жестоко осудил его про себя: «Нет, друг, плохое твое изобретение!». Конечно, обладая соображением в башке, каждый имел право ловить в темной воде, пока она есть; и сам Петр ловил, но то было, по его мнению, торговое фундаментальное дело, и всякий мог продать принадлежащую ему вещь, скажем, ту же мануфактуру, кому и за сколько захочет; а здесь получалось самое наглое мошенничество. Глодала, пожалуй, и зависть: очень уж легко, с наброса задумал молодчик цапнуть то, что другим достается с таким трудом.

Да, первая горячка, с которой барачные начали было разбазаривать выданные им бязь и ситец, явно шла на убыль. Дальновидные попридерживали свой паек. Петру и друзьям добыча давалась все туже и туже. Много значило и то, что близилось опять первое число. Из высоких центральных учреждений возвращался заместитель начальника строительства. По баракам еще до приезда его пошли разговоры об этом, и, хотя не знали еще ни истины, ни подробностей, сквозь воздух, сквозь расстояние чувствовалось: за поездом следует невидимая и могучая волна подержки.

Из разных областей и земель, из самых далеких далей не переставали приваливать люди на стройку. Кроме российских, появились на шестом участке башкиры, украинцы, сибиряки. Все меньше пустовало коек по баракам. Старожилов шестого участка затоплял с головой новый, незнакомый, с новинки злой на работу народ. И, главное, не отпугивали его никакие слухи о безденежье, о голодовке. Старожилы задумывались. Или всерьез подымается здесь, над степью, верное и громадно-добыточное для всех дело, и только из-за печурок и коечных тара-баров не каждому это видно? Да и что было видно по дороге на разгрузочный участок? Леса да тепляки, да бараки, наспех сколоченная черновая жизнь. На плотине, в стороне, адовая, чуть не выше гор, громада всяческого материала, машин, коловорот людской. Однажды забрели кое-кто из барачных туда, к плотине, поближе, задрали голову на сооружение. на обнажаемое бетонное тело, с которого частично сдирали уже отжившую, ненужную большую скорлупу опалубки. И увидели...

То же случилось и с Петром, который, выйдя как-то утром на работу, взял не всегдашней дорогой, а снизу, против речного течения. Сначала даже не угадал, что перед ним та самая плотинная стройка, которую видел-перевидел сверху из чертоломного своего сарайчика. Некая тень поднялась над его головой. Это были высоты грозового чугунного цвета и чугунной твердости. Бетонные бычки плотины ступали вперед, на Петра, как ноги, согнутые для шага. Такого зрелища еще никогда не знавали и не ждали его глаза; и ведь столь же неожиданно могли надстроить над этими ногами и чудовищного, неодушевленно-чугунного человека, в высоту надстроить так, что взглянуть на него — и затрястись... Все-таки Петр в душе был мшанский, уездный.

Он постоял, посмотрел. Бычков проступило пока еще немного, только по краям русла, у берегов; в середине еще громоздилась гигантская путаница свай, опалубки, железных щитов и прочего, струилась и ледяными палками свисала вода. Но ясно было, что и здесь про-

бьются и встанут рано или поздно чугунные упоры. Народ и машины шумели наверху. Да, Петр Филатыч, и не заметил ты, как шагнули тут на первую приступку. Надо смекнуть во-время и самому не отстать. Он и смекал, всматриваясь... Кончится и в бараках когда-нибудь темная вода, и ее просекут подобные же каменные бычки. Не даром все чаще навевались по вечерам на участок Подопригора и другие из рабочкома. И приметливо, и опасновато становилось работать в таких обстоятельствах.

Что ж, на новой приступке и дела следовало зачинать другие. Вот Сысой Яковлевич назревал. На приглашение Петра — пожаловать как-нибудь в слободу, познакомиться — кооператор, с важностью поразмыслив, согласился.

Итак, наступала передышка в делах, но приятная передышка: предстояли подсчет и дележ барышей.

Мануфактуру хранила и пускала в оборот сама Аграфена Ивановна. В трех сундуках — понизу, под дусино приданое, натискано было ситцевое и бязевое добро, недолго погостившее в мужичьих торбах и присоренное еще кое-где хлебными крошками. Что не вошло в сундуки, то побросано между переборками: доска вынималась так, что разрез шел в аккурат по рисунку шпалер. Впрочем залеживался этот беспокойный, скребущий душу товар не очень долго. Заезжие мужики-компаньоны принимали его от Аграфены Ивановны, прятали под необ'ятные тулупы и уезжали промышленлять в окружные башкирские и русские села. Потом ночью приходили одна-две псдводы; из саней, из-под соломы, те же заезжие выволакивали пятерички с мукой. И те же заезжие наутро, на слободском базаре, — а на базар стекались покупатели со всей стройки, начиная с барачных жителей и кончая женами специалистов из управления строительства, — на базаре они же ловко сбывали из-под полы свиные и бараньи тушки, целые стяги говядины. Аграфена Ивановна, обходя с корзиною булочек жратвенные эти ряды, неприметно и враждебно-зорко блюла за компаньона-

ми. Урвав от работы время, помогал ей иногда и Петр.

Старуха, хотя и против сердца, принуждена была ввести его в это деловое подполье. Петр знал и про сундуки, и про переборки. Ночью сам помогал заезжим перетаскивать в баню и складывать под полом пятерички. В бане не мылись; два дюжих голодных пса бегали по двору. Петр подметил кое-что и другое: за переборкой мутнели кульки из сахарной бумаги, неведомые узлы... Оттого уверялся все тверже, что где-нибудь, в самом хитро утаенном гнездовьи, упрятано еще нечто. Золотце, вещички! Сердце его при этих мыслях жгуче буйствовало... Он осязал теперь, какой жирный, хотя и невидимый, зажиток облегал кругом старуху, ее дом. Хватит, да еще с остатком, чтобы Дусе без забот кушать каждодневно сытную пищу, бездельничать на кровати в обнимку с гитарой и наливаться сладью от грудей до коленок, на пагубу... Вообще, при налаженности старухина торгового механизма оборот с мануфактурой получился прибыльный. Петр все настойчивее подторапливал Аграфену Ивановну начтет дележа.

Согласились: рассчитаться после того, как примут Сысою Яковлевича.

Прием готовился в ближайшее воскресенье, около вечерен.

С утра вилась около халупы сдобный угарец. Аграфена Ивановна орудовала кастрюлями и сковородами на кухне истово, самозабвенно, размашисто, как, бывало, в Мшанске в храмовой праздник. От хозяйственной свирепости ее дрожал весь дом. Не для забавы старалась, а для дела. Петр пришел с работы пораньше. От изобилия празднично навороченного на кухне он потерялся даже, о пьянел: «Вот это, тетя Груня, да-а...». Но Аграфена Ивановна тотчас прогнала его, — надо было передвинуть кое-что в дусиной боковушке, расставить на столе угощение. И Дуся послушно, как соучастник, вышла по его просьбе в горницу, захватив с собой только зеркальце и пуховку; струйкой пронеслось за ней душистое. Тоже принаряжалась для гостя.

Петр шагнул в ее комнатку. Чего ни

когда не было — в ее комнатку! Вот, в валенках, в нижнем пиджаке, телом своим, всеми своими членами он пребывает в этом заповедном нежном нутре. На него напало сладкое тряsenье.

И что-то рано заволжало сумерками. Эта белая, пухлая шелковистость постельки, флакончики с духами, отраженные в трюме, посыпанные золотой и серебристой пылью открытки — все это было видано в другой, запаматованной жизни. Тут обитал не человек, а что-то вроде запаха с нежными кудрями... Петр воровато впилился в фотографии, веером разлетевшиеся по стене. Усачи времен германской войны, остолбенелые штатские, до пучеглазия захопленные в воротнички. Его окружило мучительное и мутное ущелье дусина прошлого. Ну да, и этот здесь... Когда успел? Никитин стоял на фотографии, бросив руку на спинку стула с этакой прельстительной наглостью; шею переклестывал тот же шарф... Петр с горечью отодвинул постельку поближе в угол. Кто еще сумеет дать Дусе такое чудо, какое готовит он? Душистая, она взвонится на ковре-самолете туда, где желтые реки и большие цветы! Он отодвинул постельку и смутился почему-то... Обитательница комнатки обратилась сразу в Дусю, Аграфены Ивановны дочь, одних с нею мясов и кровей, только помоложе. Перед сном, раскосматившись, присядет вот тут, на краешек постели, почешется под рубахой, Дуся-баба, простота, жена. И к чему нужны еще разные извороты и труды: ведь, все равно не уйдет!

А когда втаскивал из большой комнаты стол, Дуся сама, без просьбы, помогла, чтобы через дверь прошло ладнее. Помогала и яства таскать от Аграфены Ивановны. Семейственность сблизжала их, как бы заранее укладывала под одно теплое одеяло... Петр растрогался вконец, сбегал в переднюю за одним сверточком, который таил в кармане; хотел вечером при Аграфене Ивановне преподнести, чтобы торжественнее было, но не утерпел.

— Это вам, извиняюсь.

— Что такое? — удивленно свела бровки Дуся.

Петр скромно отступил, заложив руки назад. Дуся, восхищенно клоня голову, развертывала джемпер, великолепный джемпер в коричнево-золотистую стрелку. В тех местах то была невиданная, сумасшедшая по своей модности вещь! Ее заметил Петр на некоторых инженерских женах, под запахнутой шубкой. Заприметил, загорелся — и вот...

Дуся у окна переливала в руках это золото.

— Откуда же вы достали?

«... Петр Филатыч...» — договорил он про себя недоговоренно ею. Вот — и все случилось: стоит перед ним простая, душевная. «Опиум ты мой» — умилялся Петр. Ответил:

— А это прислали в немногом количестве для высших спецов... Ну, я вижу, цвет к вашим глазам подойдет, попросил Сысою Яковлевича по знакомству. Очень подойдет, вы померьте!

Дуся зачарованно хихикнула:

— Я померяю.

И припустилась в боковушку. Тотчас торопливо зашуршало там платье; и дверь осталась полуоткрытой, — вот какое доверие! «Опиум!» — блаженствовал Петр. Но под окном пробрякал и оборвался колокольчик. Петр трясущимися, как бы больными руками торопился зажечь лампу. Так и есть: перекликнувшись весело на кухне с Аграфеной Ивановной, влетел вербовщик, чубастый, заметеленный от езды.

— Готово, Евдокия, как вас по башке? — Крикнув, на-ходу пожал руку Петру, потом начал расчесывать чуб. Он чрезвычайно спешил:

— Я сейчас.

— Куда еще? — подозрительно спросила из кухни Аграфена Ивановна.

— У нас, мамаш, отчаянная вечеринка, будут некто из отдела рабсилы... очень приличная публика... Под танцы два баяна!

Восторгался — слюна летела.

Вышла на свет Дуся, припудренная сияющая, губки едко выведены рябиным цветом. Жалкая была эта изба, несовместимая с молниями ее красоты.

— Как, подходяще для танцев? — кокетливо показывала она плечико в джемпере вербовщику. — Это вот они достали, — мельком посмотрела на Петра и тотчас вспомнила: — А вы, ведь, свои деньги заплатили?

Вербовщик круто повернулся к Петру, полез в нутряной карман:

— Сколько?

С его приходом Петр отодвинулся в сторонку, стоял забытый, вроде мебели. Джемпер обтянул девушку по поясу, как голую: шелконогий уже облизывался. Не подарочек, а позор себе купил... Снедала его охота — убийственным словом пришибить вербовщика, как это на базаре умели делать, с навозом сравнять. Но рано еще было... Молвил с достоинством:

— У нас с их мамашей свои счета, не волнуйтесь.

Тут в прихожей затопталось и закричало: нараспев тараторила, встречая, Аграфена Ивановна. Объявился наконец Сысой Яковлевич. Молодые, не здороваясь, проскользнули мимо — какое им дело? И в темень, в свободу понес их, залился колокольчик.

«Ну, погуляй разок напоследок!» — злобно порешил про себя Петр. И двинулся — оглушить себя делами, Сысоем Яковлевичем.

Тот мешкотно скидывал ботики в передней; постукав их друг о друга, рядом уставил у стенки. Он как будто не решался еще — входить ему или нет... Выпрямившись, сверху недоверчиво взирал на Петра.

— Пожалте!

Петр повел его на сказочный свет боковушки. Аграфена Ивановна копошилась в кухне, принаряжаясь. Сысоем Яковлевичу был любезно и скромно предложен стул, но он, как вошел, как глянул на угощенье, так и окоченел, моргая.

Привык видеть кругом Сысой Яковлевич только скупое и постное пайковое житье. Сурово учитывался каждый грамм хлеба, люди в горсточке подносили его ко рту. По карточкам выдавались лакомства — селедка и сахарок. Сысой Яковлевич состоял раздавателем этих

сокровищ, он учреждал порядок среди рвущихся к нему жадных рук, он повелевал... Он гордился этим, но тут в пыль разлетелась вся его спесь.

И было отчего.

Стол наполнился сумасшедшей вкусно-той, избытком, невидалью. Всего сразу и не усмотришь! Вот наломаны толстые, в четыре пальца толщиной, пироги трех сортов: с мясом, с сагой и сомятиной, с яблоками. Начинка жирно валится из волонисто-пухлых внутренностей. Гусь, разнятый на блюде на куски, наполовину вплавь в соку. Окорок телятины повернут к гостю белейшим срезом и украшен, как и полагается в домах, раскудрявленной, разноцветно-бумажной бахромкой. В бахромке же холодная телячья ножка. Еще необъемное блюдо моченых яблок и два блюда подовых пирожков и пышек, по нежной розоватости никак не похожих на базарные. Тут же примечал взор глянцевитую, поросятинкой чреватую горку студня, не говоря уже о мелочах, вроде грибков, хренка со сметанкой, селедочки под ячно-луковой заправкой и т. п. Два артельных графина с водкой хрусталились на свету, отделив в бутылки кровавились вишневая... Стародавние колокола торжества звонили над столом, оглушали Сысоя Яковлевича. Сколь нищи, сколь раздуты в своей ценности показались ему кооперативные его сокровища! Как же за эти годы приbedнился вкус у человека!

— Богато живете, — подавленно вздохнул Сысой Яковлевич. Он и ростом как-то сразу измельчал.

Петр усмехался победительно.

— Богато, — повторил, вздыхая, кооператор.

— Где уж тут богато! — вступился смиренный голос Аграфены Ивановны. Старуха входила чинная, толстобрюхая, в черном парадном платье, вокруг которого несмолкаемо гремела, казалось, церковная служба. Плетеная шелковая косынка ниспадала с затылка вокруг обветренной ее морды, распалившейся еще больше от печного жара. Подстать столу — представительная, гильдейная старуха.

— Где уж тут... Того нет, сего нет.

Просто собрались для хорошего знакомства посидеть. Петр Филатыч, что же они все стоят?

Сысой Яковлевич воссел наконец, истово-прямой, окаменелый. Аграфене Ивановне посадка его пришлось по сердцу. Действовал кооператор первоначально пугливо, стеснительно. После первой ткнул вилкой в какой-то пустяшный грибок, притом уронил его по дороге. Аграфена Ивановна, не вытерпев, сама взялась, навалила ему в тарелку гусятины, яблоков; холодец с хреном подвинула в самую грудь.

— Благодарствую, — виновато хрипел Сысой Яковлевич.

В немоте кусали, покрякивали, причмокивали. После третьей Аграфена Ивановна не выдержала, спустила, ввиду духоты, косынку на плечи, расселась враскидку пошире и завела разговор про тяжелые погоды.

Да, для приезжего жителя погоды были тяжелые, Сысой Яковлевич вполне согласился. Сам-то он живет покамест бобылем, супруга осталась в Туле... Но Аграфену Ивановну не супруга интересовала, она за своим столом и покалякать желала про свое, для дела интересное. Погоды-то тяжелые, а вот что летом станется, — подуют черные ветра такой непрестанной силы, что булыжники по улице сами катятся. А если какая беда, избави бог? Вон сколько барачков, да теса, да бревен по степи нахаосили; а в бараках людей, как курей в ящичке... Купцы-то, буржуи-то не глупее были, а вот что-то не строились тут. Понимали!

Сысой Яковлевич немного притемнел. Он со службишкой здесь укрепиться думал, супругу к лету выписать... Немного притемнел, зарывшись прилежно с усами в гусиное крылышко.

Аграфена Ивановна ему еще набулькала лафитничек. Три лафитничка уважительно чокнулись опять друг с другом. Сысой Яковлевич, оторвавшись от гуся, почтил хозяйку — выпил.

— Местность пускай, какая она ни на есть, извиняюсь... Самое главное вот, — Сысой Яковлевич растроганно, с влагой на глазах, показал на дивный стол, — вот, чтобы жить хорошо. Я тоже, хо-

зяюшка, с малых лет стремлюсь, чтобы все было хорошо. Не люблю я, хозяйюшка, чтоб плохо жить.

Аграфена Ивановна выразительно поглядела на Петра. Разгорячел гость-то, не пора ли подбираться к делу? Но Петр, словно под трактирный орган, в кручине опустил голову над лафитничком. Приходилось Аграфене Ивановне самой:

— Мы бы жили хорошо, кабы нам давали жить.

Поплакалась на всеобщий нажим, который опять зачинался и в деревне, и в городе. Стройка-то, она бы ничего, при эдакой тьме народа какой бы разворот торговли можно сделать! Но торговлю со злобой душат... Торговый-то человек все бы достал. Аграфена Ивановна через стол, через полную чашу свою, вопрошала теперь Сысою Яковлевича как бывалого многознающего человека: может ли оно так быть, чтобы навеки без вольной торговли обошлось государство?

Сысой Яковлевич снова защитно насторожился. Слушал он хозяйку с любовью и почтением, выворачивая на нее глаза от куска, который сладостно обглядывал. А вот сразу и прямо отвечать на такие вопросы не любил. Сначала подумал, огляделся. Кованный, набитый, очевидно, всяким приданным сундук, тюлевые гардины по окошку, кровать с зеркальными шишками — вся эта зажиточность и добротность опять преисполнили его доверия.

Оперся на пальчики: слов его ждали, жадно прислушивались.

— Никак не обойдется, — вымолвил он наконец.

Аграфена Ивановна с уважением наклонила голову и вновь наполнила лафитнички. —оборот, конечно, и сейчас можно делать, если с умом; только самосильно-то трудно, лучше в компании. Мужик денег теперь не берет; ему, скажем, ниток бы шпулечных, мыльца, керосинца, пуговок. В компании один того расстарается, другой—другого. А уж дело-то пошло бы!—Аграфена Ивановна смолкла, воззрилась испытующе на гостя.

Понятно, Сысой Яковлевич отлично

уразумел всю суть. Да он и до приема знал... Но Сысой Яковлевич вдруг сделался дитем, лазил по потолку невинными глазами.

Петр тоже не подавал никакой помощи. Отвалившись на локоток, молчал; от водки напало не него подобие сна, госкливого, беспорывного. Колокольчики уносились, и страшно было их дослушать, дойти за ними до конца...

Но Аграфена Ивановна сердито ломилась напрямик:

— Вы, значит, тоже раньше-то... собственное дело имели, или как?

— Я-то? Да, ведь, как сказать...

Сысой Яковлевич закашлялся и принялся вязать узелки из скатертной бахромки. Аграфена Ивановна, так и не дождавшись ответа, срыву встала. Будто понадобилось самовар посмотреть. С ущемлением озирала она прорву занеправно наготовленного...

Петр задвигался, стряхивая с себя дурь. Пора, надо было дело делать. Он угадывал все боренья, все трусливые оглядки Сысою Яковлевича. Предложил гостю выйти до ветра, освежиться.

Сыпал снег, все тропки по двору обманно завалило белой пухлотой. За забором, в несусветной дали, вроде Мшанска, чудился колоколец.

А за надкрышной мглой, на плотине, горит и горит невидимая свеча. Горит, не велит спать.

Сысой Яковлевич, оттого ли, что наедине с Петром смелее себя почувствовал, или на морозе больше его разобрало, стал решительнее. Топтался заносчиво в тяжелоступах своих.

— Ты, может быть, и... служишь где-нибудь... но я тебе скажу...

Оказывается, Сысой Яковлевич до войны держал буфет на пассажирской станции в Туле. Буфет с подачей на серебряных блюдах. И от Тулы до Орла все буфеты тоже были от Сысою Яковлевича.

Петр для виду любезно подивился. Он прислушивался сквозь беззвучно несущийся снег.

— Чегой-то? — затревожился Сысой Яковлевич.

— Да ничего, показалось, что подводы идут. Опять должны ночью подводы

из уезда притти. Изволь вот, ворочайся ночью с мешками. — Это Петр нарочно, как сугробами, заваливал бывшие серебряные Сысой Яковлевича буфеты. И баньку ему с намеком показал, смутно показал, но так, что гость уразумел почтенную тайну этого хранилища. И не былого, а именно сегодняшнего. На дворе окончателно взнуздан был посоловевший и покорившийся Сысой Яковлевич.

Дальше говорили обиняками, но коротко.

Сысой Яковлевича с удовольствием принимали в компанию, причем слобода брала на себя все хлопоты по получению и сбыту товара. Для получения в кооперативе, малыми хотя бы дозами, ребят можно найти сколько угодно. Петр успокоил осторожного Сысой Яковлевича, что передатчики при этом ни знать, ни ведать ничего не будут... А в хозупре около талонов сидел знакомый Сысой Яковлевича.

Кооператор все-таки жалобился, плетясь обратно за Петром:

— Мож-быть, ты и служишь где-нибудь...

Петр, похлопывая его по спине, вел опять к угощенью. Изнемогавшей у двери Аграфене Ивановне на-ходу сделал глазами: что сработано чисто. А потом, когда проводили гостя, когда Аграфена Ивановна поспешно начала сносить в кухню остатки пиршества и из скарденности даже лампу-молнию убавила, в полупотемках прижался Петр лицом к окну и тут уж поддался, дал полную сладкую волю тому, что судорогой давило его целый вечер.

Аграфена Ивановна испугалась, услышав всхлип:

— Чего это ты, батюшки!

Петр горлом излеживал рыдания, сладкие-сладкие:

— Как же, тетя Груня... На что моя эта жизнь похожа... собачья? Миша-то, он хоть и скитается, он — счастливый... У него маманя есть, его маманя родная ждет, его свой угол ждет, а я... без угла на всю жизнь, без родного, без близкого... Эх, за что?

Утираясь, все-таки прикинул вкось глазом, поняла ли тут на свой счет кое-

что Аграфена Ивановна. Может быть, и поняла... Тоже пригорюнилась, в фартук сморкалась.

Спросил плаксиво, — вроде для того, чтобы развлечь себя от горя:

— Расчетец-то, тетя Груня, когда сделаем?

— Для чего же расчетец... — старуха хитровато замешкалась. — Деньги за мануфактуру ты мои платил, значит, я тебе за хлопоты накидку сделаю.

— Не накидку, тетя Груня, а исполу со всего оборота.

— Исполу? — ахнула Аграфена Ивановна, но осеклась, встретив равнодушно-бесстыдный, даже скучающий взгляд Петра. — Вот какая у тебя, Петруша, ко мне дружба?

— Дружба — дружбой, а камушек, как говорится, за пазухой держи, — сухо сбалагурил Петр. Да и чего было спорить, торговаться? В руках, ведь, держал старуху с ее банькой и подводами, со всеми ее базарными и уездными разветвлениями. Однако пожалел, приободрил ее: в компанию-то с кооператором присмыкнет он Аграфену Ивановну с собой тоже исполу.

— Ну, хоть за это спасибо тебе.

И оттого, что так по-хозяйски, без лишних слов пересилил ее Петр, еще крепче прониклась она бабьим уважением к нему. За таким можно везде пойти, закрыв глаза...

Чуть не к полуночи прибрякал опять колокольчик, Петр дождался все-таки. Вербовщик весело пошатывался. Дуся раздевалась со счастливыми и виноватыми глазами. «Ну что могло случиться? — врал себе Петр для успокоения.—Ведь, на людях все время толкались там. Ну, сорвал три-четыре поцелуйчика...». Вербовщик манерничал, вихлялся по горнице.

— Танцовали мы, мамаш, новый танец, называется фоксик! Сейчас, мамаш, покажем... Только вы встаньте, мамаш, вот тут, в кучотке, и напевайте нам: та-ти, та-ря, та-ти, та-ря!..

— Да ну тебя, малахольный, — отмахивалась Аграфена Ивановна, но видно было, что приятно ей, что любит-ся по-матерински на парочку. «Дура,— злорадствовал Петр, — может быть,

еще и в мыслях его как жениха держишь?». Да, наверно, так оно и было: держала.

Вербовщик сам, сбросив оленье пальто, стал напевать: та-ти, та-ря.

Петр такого танца еще не видал. Вербовщик у всех на глазах в'елся животом в Дусю и начал на-ходу разгибать женщину вперед и назад. И Дуся охотно поддавалась и, прижатая, ходила за ним, улыбаясь и дуря от этих та-ти, та-ря... Последнее охальство творилось у всех на виду. Аграфена Ивановна даже сплюнула и ушла на кухню.

Петр прокрался туда же. Губы его дрожали:

— Тетя Груня, прикрыть эту лавочку пора.

Старуха поняла по-своему: заметывает опять насчет того же, что и давеча. Нет, тут старуха остерегалась еще:

— Да ведь как ее воля, Петруша, за кого она хочет, теперь на дочерей управы нет.

— Я, тетя Груня, про то, чтобы вам за решеткой не насидеться...

Старуха взирала на него обалдело.

Петр не без мстительного удовольствия наскоро растолковал ей про вербовщика. Вместо того, чтобы ехать в Самару и вербовать там рабочую силу, для чего дадены были ему большие казенные деньги, Никитин выискивал тут по баракам лодырей и нанимал их, будто в Самаре, выплачивая им в половинном размере проездные и кормовые деньги. Другую половину брал себе. И свои командировочные, и проездные тоже в карман положил. Вот на какие мошенские средства пылил он в Шанхае.

Когда подсекут молодчика, а случится это не сегодня-завтра, потянут к ответу и тех, у кого он деньги разбазаривал. Могут и остальное все унюхать...

— Ой, ой, — омертвела Аграфена Ивановна, плюхнулась на табуретку. — Петяша, чего же молчал, как же быть-то?

Петр высился над ней беспощадно:

— Заявить надо, вот что. Но, как вы женщина и по этим делам неопытная, то я лично за вас заявляю в партию. И чтобы дать вам это в заслугу, скажу, что все это мошенство раз'яснили вы и

не потерпели его... И притом, что в дом к вам он шлялся просто нахально.

— Нахально, Петяша, конечно, нахально, — Аграфена Ивановна злобно порывалась в горницу, где вербовщик, уже перед гибелью, издыхающим голосом напевал: та-ти, та-ря...

— И все-таки вы — мать, Аграфена Ивановна, — не сказал, а словно ножом на совести ее вырезал Петр.

И Аграфена Ивановна покорно снесла его строгость. Необорим для нее становился Петр в своих захватах и вожде-леньях. Но, прежде чем сдаться совсем, сдать ему, недавнему проходимцу, право на родство, на Дусю и, значит, на весь в жизни приобретенный достаток свой, не удержалась, чтобы не попытаться еще раз:

— Ты начисто скажи, Петр Филатич... Про Мишу-то так, ведь, зря все наболтал? Ты по совести, Петр Филатич.

— Про Мишу что сказал, то сказал, кроме ничего не могу, Аграфена Ивановна. Знаю, может быть, а не могу.

— Я, ведь, мать...

— И матери нельзя. Надо до срока подождать. Вы то возьмите, — Петр шептал, нагнувшись к ней, — как были раньше разные... борцы и как они скрывались... Так и мы... сейчас нас никто не знает, а придет срок... и Миша и все...

У старухи рука поднималась как бы для крестного знамения.

— Значит... вон какие дела у вас есть?

Но Петр только кашлянул и без слов, одною бровью показал ей на дверь в горницу: вот где было сейчас ее место. И старуха подчинилась, боком-боком понесло ее, ошалелую.

Разноплеменный люд все гуще прибывал на стройку; мимо разгрузочных работ то-и-дело валил со станции целыми базарами. Старых жильцов потеснили, сделали среди них передвижку, вследствие чего вспыхивали ежедневные склоки из-за тех же печурок. Путался мордовский и татарский говор. Ложась

спать, Журкин шапку прятал под подушку, а шубой, несмотря на жару, укрывался, полы подвертывая под себя. Ночью то-и-дело ощупывался.

И тихий страх порой находил на гробовщика. Может быть, через месяц на этой самой разгрузке поработать — и то наприсишься?

Тяжело лежало на сердце оброненное Подопрigorой недоброе слово...

И сплывалась кругом, круче и деятельнее двигала за собой народ та же, всюду хозяйствующая, в одно нацеленная сила. Она проступала и в чудовищно быстро законченном тепляке Коксохима, пустотелой, как цирк, огромине, где начинали лить из бетона невиданной высоты турму; и в красном уголке барака (этот уголок отгородили специально, поставили стол, покрытый красной бумагой, укрепили на стенах портреты, плакаты о тракторе и железнодорожном транспорте, — все железо, железо!); и в массивах все шире и шире разбегающейся полукольцом, от берега к берегу, знаменитой плотины. Журкин с Тишкой тоже завернули как-то с работы полюбопытствовать на нее. Внизу постояли, под слоновыми ногами чудища. «Как мурашки, народ-то, — сказал Журкин, подавленный собственной и тишкиной малостью, — а смотри, чего нагрохали!».

И Поля заметно держалась без прежней душевности. Словно обида залегла в ней после заворочки, случившейся в ее бараке,—на кого? В сердитых полиных речах слышалось Журкину чужое, перенятое:

— Уж такая она противная мне, эта мужицкая жадность. Свое «я» везде на первое место ставят! Государство бьется, чего-то хорошее хочет для всех сделать. Сделаешь с такими! Ха!

Злобно перекусывала нитку:

— Нисколько мне не жалко этих разжирелых, у которых хозяйство промят, а их на холод в ссылку выгоняют. Нагляделась я тут на вашего брата!

При появлении гробовщика она теперь только чуть поводила глазом, не отрываясь от шитья; оттого чувствовал себя Журкин неприятно-назойливым, незванным. И очень уж часто выбегала в барак, будто — усовестить шумящих

мужиков. При этом пропадала подолгу, словно тягостно ей было оставаться вдвоем.

Журкин пораздумался... Как-то спросил: почему реже выходит она на гулянье, каждый вечер, почитай, все в бараке? Или у уполномоченного, у ее компаньона, стало делов больше?

Про компаньона нарочно ввернул за козу, но Поля выслушала, не сморгнув.

— Да где же гулять-то, чудной вы, когда вон какой буран да сугробы? На смерть, что ли, сморозиться? Весной вот, товарищ Подопрigorа обещает, цирк сюда приедет, уж тогда походим! А что нам с ним не ходить, оба—люди вольные, сами по себе. При муже посидела, будет!

— Это верно... — согласился Журкин, но голос у смешка у него были чужие, насильные. — Подольше погуляете, тогда уж не в шутку предложение вам намекнет.

Он поймал на себе полины глаза, они косили от злости.

— Предложение? Ха! Больно мне надо! Он, Иван Алексеич, человек серьезный, он у меня все совета спрашивает... Здесь летом на том берегу новый город построят, дома роскошные, огромные, в садах. Значит, товарищу Подопрigorе если одному с детьми жить, то надо на комнату или на две записываться, а если еще с женой, тогда обязательно на отдельную квартиру...

Поля хитро, мстительно примолкла.

— Ну? — допрашивал гробовщик, чуть трогая подпилком медный ладок.

— Ну, я говорю, чего же тесниться-то! Конечно, берите квартиру. Вольноту гулять хорошо, да ведь когда-никогда надоест же!

— Правильно, — сказал гробовщик. Ладок у него в глазах туманился, дрожал. Волосинки из бороды путались, мешали подпилку. Подопрigorе годов-то, пожалуй, столько же, но, бритый, выглядит он моложаком. Эх, борода!

— Я вот чего у вас, Поля, по душам хочу... Как вы состоите в таком положении с ним... А я вот прихожу, сижу у вас здесь... Может быть, для него и для других тень бросаю?

Сказал смиренхонько, но на Полю не подействовало: без-удержу разбирало ее неистово-сладостное жестокосердие.

— Конечно, разве им языки пооборвешь? По бараку разную гадость плегут. Идешь, а тебе вслед смешки да хаханьки.

Журкин встал и, избегая глядеть на нее, лихорадно собирал свой мастеровой припас.

— Куда же вы?

— Я, Поля, вас больше марать не хочу, вот что, — и пошел, локтями распахивая двери, онемелый.

Вот и остались ему в жизни только печурка да койка... Болело в нем все Подопригорой. Жалобно и злобно придумывалось, чем бы побольнее посрамить его, чем? Присел на койку, пристроил на пальце тот же ладок, взял подпилочек... «Надо коптилку из баночки какой-нибудь сделать, керосину через Петра промыслить. При коптилке вполне...».

Проходил парень с чайником и, зазевавшись на его работу, приостановился. Вот и другой, истомившись от бездельного валянья, встал, припелся. Скоро таких скучливых зевак накопилось человек семь. Стояли, как вприсонках, глядели.

У гробовщика руки вязало от чужих глаз, но нехватало духу прогнать.

Тишка, подкладывавший дровишек в печурку, и то не вытерпел.

— Уйди! — замахнулся полешком.

— Но-но, — огрызнулись парни, продолжая стоять, а один из них для смеху взял ладок, губами через него втянул воздух. Зажалобился тонкий звук.

— Положь! — рывкнул Журкин, вскочив так порывисто, что инструмент брызнул у него с фартука. Бесноватый, оскаленный, засучивал рукава. Любопытные рассеялись.

Какая тут ко псу работа! Догорали угли в печурке, давняя старина бредила в красноватом их глени, тусклые и безутешные воспоминанья. Ниже и ниже клонилась голова гробовщика.

... Когда это было, лет двадцать назад? Журкин перебивался тогда копееч-

ными поделками, работал подручным в базарные дни у деда и у Петра. В те поры случился у Петра удачливый оборот. В дальнем селе усмотрел он пустующую мельницу-ветрянку и купил ее у мира на слов за три ведра водки и сто рублей деньгами; а через неделю продал ее же на вывоз за пять сотен. Удача Петра опалила и гробовщика завистливыми, неудержимыми надеждами. Не тут ли хоронился и его неотысканный в жизни клад? Было у него накоплено полтора ста рублей — последних, кровных. В селе Беликове, верст за восемнадцать от Мшанска, тоже продавался ветряк. Прознав об этом, к вечеру Журкин выехал туда, нарядившись в лаковые сапоги и вышитую рубашку, с деньгами и гармоньей.

На лугу, как полагается, поставил угощение миру.

Никогда раньше не хмелел так Журкин. Уснул тут же на лугу, с гармоньей под головою, толком не договорившись о ветряке, — да и нужен ли был он ему? Утром богатеи раз'ехали по хуторам; осталась беликовская гольтепа, валяльщики, — по зимам уходили они в город валять валенки. И моросил дождь. И окрест под дождем стало все, как безрадостная неизбывная маята жизни... Журкин метал деньги на похмелье, валяльщики трусили по селу с четвертями. Гробовщик встал, яростно разворотив на груди гармонью, и занес навзрыд к небу:

Истерзанный... измученный...
Д'наш брат мастеровой!

И пошел к ветряку. И гольтепа табором шатнулась за ним. Следом поплелись бабы, ребятишки. Мимо ветряка миновали, и не взглянув. Гармонья впереди ахала, расшибала воздух, вопила о горьком горе. И горе, тощее, стоногое, слушая песню, бежало сзади по грязи. Шли десять верст — до села Симбухова. Тамошняя гольтепа уже прослышала, вывалила навстречу за плетни. Симбуховские пошли с беликовскими. Завыли бабы. Гробовщик в упоении, в отчаянии совал тому, другому деньги на вино. И все играл, все играл!

В толпе выехал из Симбухова смысленый кузнец на лошади. Кузнец на ходу торговал вином, огурцами и хлебом. Лаковые сапоги у Журкина скорезжились от грязи, косолапили, а он играл! Народ бежал плечо в плечо с ним, бежал сзади, терзающийся, замороженный... Через пять верст дошли до села Селитьбы. Оно жило подаянием, делало калек, слабоумных, уродцев на всю Россию и Сибирь. Бедово распахнулась казенка. К шестиво пристали прозревшие слепцы, выздоровевшие хромцы и горбуны, трясучки, язвенники... Один валяльщик, который ездил до Саратова, на ухо спросил Журкина, не знает ли он песню: «Отречемся от старого мира». Эх, да как же сам-то не догадался! Журкин слышал ее от петрова брата Николая, который учился на студента; правда, помнил с пятого на десятое, половину слов придумал сам... Журкин оглянулся на войско свое, и оно ослепило его, послушное, любящее, готовое шагать за ним еще хоть тысячу верст. Пронзительная радость-слеза прохватила его.

Как это? —

Богачи, кулаки... разна сво-о-олочь!
Распачают тяжелый твой труд...

Кузнец, заплакав, слез с телеги, раздавал даром и огурцы, и хлеб, и вино. На телегу посадили Журкина, очумелого, охрипшего. В мшанских степях повстречался дядя Филат, пекарь, бражка, по прозвищу Собачка. Он рванулся попереди телеги, раздирая на себе огненную рубашу, выкрикивая хулу. Начинаясь смута.

И в лугах выросли из сумерек высокие конные стражники. Старший, в медалях от плеча до плеча, господин Удинский, нагайкой взъярил коня над телегой.

— Эт-та что?—взвыл он в ужасе.— Ска-а-арлу-па!.. Взя-ать!

Через день мамаша несла к острогу узелок с едой. Журкин, поджидая, ходил за решетчатыми воротами в вышитой рубашке. Когда мамаша протянула узелок, гробовщик, по ту сторону решетки, упал ей в ноги.

Вот как еще раз попытал он счастья!

... Кто-то сзади тронул его за плечо. Не успев оглянуться еще, дрогнул сердцем, узнал. Конечно, это она, Поля, прилегла к нему грудью, и голос ее был тоже туго налитой, льнувший:

— Ну, чего глаза портить, идите уж, идите на свое место.

Журкин вздохнул:

— Да нет уж, Поля, не пойду.

— Ну-ну... Нечего тебе свое «я» показывать. Ступай, коль говорят, — прикрикнула она по-матерински, в первый раз называя его на «ты». — Дома от мужа дрожала, а теперь еще тут сплетухи всякой буду бояться? Я сама себе зарабатываю... Как хочу, так и живу!

Журкин усердно чиркал подпилком, но лишь для виду, без толку. Сама не вытерпела, пришла, утешительная! Знал, что безысходные, неведомые напасти копятя над его головой... пусть! Жмурился, отогревался, как на припеке.

— Мало чего, какие мне предложения делают. На женщину вы, как феодалы, смотрите. (Поля, сама не замечая, перехватила у Подопригоры словечко.) Одному на детей в хожалки ее хочется запречь, другому... Говорят, женщина — наш товарищ, свободу мы ей дали. А все, как между огней, ходишь!

Поля замолчала, а секунду спустя крупинкой скатилась по ее носику неупрятанная слеза. Журкин будто и не видал. Но про себя и слезу учел: значила она, что слабеет, сдается баба. Вспомнились охальные, соблазнительные наущения Петра. А что же... Взять, да от всех черных дум, от напастей убавиться хоть на минуту...

И соображал: в самый раз теперь платок ей купить. И скорей, завтра же.

Если б только не Подопригора! При каждом появлении его у гробовщика неумно-пугливо сжималось сердце.

А Подопригора навевывался в барак все чаще, все неотвязнее. «Прочухались главки-то немного» — на ходу однажды с издевочкой кинул Петр. Он и тут распознал больше других: выловил в газете одну сурово-ругательную статейку и пояснил, что в ней говорится

обиняками именно про неполадки в Коксохиме. Уполномоченных и самый профком жестко стегали сверху, по партийной и профсоюзной линиям, за разгильдяйство, за недосмотр, за лежебочество в отношении культурной и воспитательной работы среди сезонников. Петр почитывал и запоминал для себя про-запас.

Появляясь среди коек, Подопригора кивал тому, другому, кое-кого трепал за руку, но с гробовщиком — или случая не выходило? — не переглянулся, не поздоровался ни разу. Молодняк взмывался за уполномоченным в проходе, как листва за веткой. Даже робкий Тишка (с горечью примечал гробовщик) старался пристроиться позади чьих-нибудь плеч к нему поближе.

Подопригора, не снимая пальто, локтями наваливался на стол с красной бумагой. Кругом тесно, до духоты, сбивались десятка два барачных, тоже прилегали на стол, грудями Подопригоре в грудь, глазами в глаза. Все это были для него насельники будущего социалистического города... Длинношей, кадыкастый парнишка тянулся сзади послушать, тянулся и прятался. Пугливые глаза его запомнились с того ералашного утра. Подопригора мысленно переносил парнишку в будущее, заставлял пройти там со смелым взором, с поднятой и светлой головой. Да, путь до такого был труднее, чем до дворцов над праздничной водой!..

После беседы однажды отыскал Тишку, обхватил за плечи, отвел в сторону:

— Ну, Расскажи, как дела.

Тишка, не ожидавший, с'ежился под его могучей рукой. Он не понимал, о чем рассказывать, только хмыкал, льстиво улыбаясь. Однако Подопригора сумел выпытать подробно и про деревню, и про мать-побирушку, и про Игната Коновалова; и про то, что Тишка видел в жизни вблизи только деревянную телегу. Парень стоял перед ним ясной свечой.

— Погоди. Ты грамотный?

— Грамотный, да не шибко.

Горячий был человек Подопригора! Вдруг вспылала в нем одна мысль, искусительная, необоримая. Парня выплес-

нуло сюда из недр огромного деревенского пролетариата. А что, если сразу оторвать нетронутую эту, дремучую душу от мужицкой родни? Перебороть его — не завтра, а сегодня же, поставить хозяином над ошеломительными, могуче орудующими механизмами? Подопригору заранее обуяло нетерпеливое и злобное торжествование. Словно в отместку кому-то...

Хотел ли Тишка учиться? Конечно. На плотника бы.

— Нет, насчет плотничьего дела ты пока повремени. А вот: у нас на строительстве тридцать грузовиков новых получают... Организуются срочные курсы шоферов: это которые машинами правят. Так мы тебя для начала на грузовой работать выучим. А там, может быть, к другой машине поставим, похитрее. А дальше побачим: ты молодой; если учиться будешь, до инженера допрешь... Эх ты, феодал! Ну?

Тишка ничему не верил, корябал по столу черным ногтем.

— Не знаю...

— А ты подумай, подумай.

Около койки случился Петр. Тишка в смущении рассказал ему про разговор. Тот посмеялся.

— А ты его больше слушай, дурья голова! Им только и дела — выдумывать что-нибудь, фокусы разные из людей выкомаривать. Ты уж сиди около дяди Ивана, как сидел, а то и от своего дела отошьешься... — И Петр внезапно окинул его злым взглядом: — Х-ха, шофер!

Тишка слушал, опустив голову. В первый раз за все время глумливый смех Петра как-то по-особенному уязвил его, расшевелил внутри что-то похужее на злобу, и в первый раз Тишке захотелось самому сказать в отместку Петру что-то каверзное, неприятное. И чутьем нашел, что сказать:

— А еще, дядя Петр, он мне обещал... — Нарочно растягивая слова, Тишка украдкой следил за Петром. — Обещал, слышь: потом тебя на инженера выучим!

У Петра побелело около глаз. Даже не вымолвил ничего, лишь рассмеялся насильным, противным, кашляющим

смехом, хуже, чем словами, опоганивая им только-что сказанное Тишкой.

Тишка же оцудил от этого тайное и неизведанно-терпкое удовольствие.

... И еще поодаль, среди чащобы коек, проступал перед Подопригорой бородастый, сбывшийся, отдельно от всех притаившийся... Вот кому не было уже пути; да и других, наверно, исхитряется исподтишка ухватить, попридерживать... Взор Подопригоры останавливался на мгновение на проволочке с резким прищуром, — вспоминалось невольно то утро... И вспоминалось опять, как с неприятным удивлением заставлял у Поля этого человека... Глаза недолго потупленные, увертливые. Темень...

Однажды вместе вышли из барака Подопригора и Вася-плотник с товарищами. Как бы ни намаялась за день эта молодежь, какая бы метелица ни крутила на дворе, почти ни одного вечера не могли усидеть они в бараке: уходили, плутали компанией нивесть пде... И получилось так, что проводили они Подопригору. По дороге Вася-плотник пожаловался, что живет им немного темновато.

— Вот скоро на электростанцию новый агрегат поставят, — пообещал Подопригора, — зальют вас светом до самой слободы!

Но Вася не совсем это имел в виду: некуда сходить, что-либо интересное посмотреть; есть один клуб на центральном участке, кое-когда показывают кино, да туда не пробиться... Приехали сюда из деревни, а в деревне-то, пожалуй, сейчас и то веселее: сходбища, сиделки. Служил Вася в армии в городе Харькове, — вот это, можно сказать, город, есть что повидать!

Подопригора порадовался поговорить о Харькове, в котором он тоже бывал. И другие ребята видали разные хорошие города. Подопригора, конечно, не преминул рассказать им о завтрашнем Красногорске. Ребята смотрели в сверкучую от метели темноту, — в какие только миражи не слеталась она перед молодыми глазами! Подопригора также сказал, что тем из строителей, которые без перерыва проработают на стройке

с самого ее начала, допустим, с нынешнего момента и до конца, в первую очередь дадут квартирки в новых, хороших домах, и, вообще, как старой гвардии, будет особый во всем почет. Парни жались поближе, наавстривая уши. Через потемки как бы огромный мост провисал в несотворенный, но вероятный уже город, — только наберись сил, иди...

А в бараке беседа часто уходила с нужного пути, потому что вопросы задавались больше о том, что сейчас. Например, насчет валенок, всем ли их выдадут и когда; и почему мало возят угля к бараку; и почему вот за такую-то специальность, явно в обиду, дешево платят; и что в буфете кусок ржаного хлеба, обмазанный повидлом, стоит 35 копеек, так что повидло, стоящее 3 рубля кило, вгоняют рабочему в 7 рублей; и опять насчет зарплаты... И Подопригора именно сейчас должен был выдвинуть им что-то в ответ, — кроме вот этого, оторвавшего их от семейств, барака, кроме хлеба из судака, кроме завтрашнего утра, которое с головой сунет их опять в степную пургу?.. То, что для него самого трубным, зовущим звуком восставало за сегодняшними делами.

В один из вечеров об'явил:

— Сдвигай поближе табуретки, будет доклад.

Раньше он никогда еще не делал докладов и не знал, сумеет ли сделать. Но на плотине ведь пересиливали живыми телами сорокаградусную стужу, до крови кусающее, ледяное железо! Ребята, смешливо-любопытные, как перед представлением, в охотку несли табуреты, постарше — присаживались выжидательно на койках.

Журкина от одних приготовлений взяла жуткая оторопь. В любую минуту мог сотворить позорище над ним этот человек. Еще обреченнее забилось сердце, когда Поля появилась в дверях, в накинута на плечи пальтеце, вынесла лампу-молнию из своей каморки и заботливо поставила на красный стол.

— Доклад, товарищи, будет вот про что, — начал Подопригора, — про пятитетку. Это слово вы слышали...

Тишина обняла его, как река. Лампа-молния, казалось, чересчур близкая к глазам, жгуче ослепляла. Подопригора поправил фитиль, прокашлялся, — надо было унять в себе бурное, ломающее грудь дыхание. Трубы слышались ему над плотиной, над бараками и вдалеке — над похороненными мальвами. Они взвизгивали и над этими лохматыми головами, разверзая будущее. «Самое первое: почему мы выполняем план не в пять, а в четыре года? Почему, скажем, такая чортова трепка на плотине день и ночь? Не зря ли полоумно суматошатся везде большевики?..».

Тишка, до ломоты выпрямленный, руки крестом на груди, сидел в первом ряду. Он ревностно глядел в воспаленные, обложенные потом глазницы Подопригоры. От пристального глядения кругом рябило; иногда он горделиво прикидывал про себя: «Вот я сажу и слушаю, как мне говорят доклад... докла-ад! Посмотрела бы теперь маманька-то!».

Подопригора живописал перед слушателями будущую работу коксовых печей. Тут для него было все свое, как дома, отроду знакомое, об этом рассказывал, играючи. Дальше-то знал, куда вести: к основе будущего гиганта-комбината, к железу. Тишка слушал про кокс, который «испекают в громаднейших печах, как, скажем, лепешки; теперь, зачем его запекают, я сейчас расскажу...». И фантастические небылицы-видения толмошились в тишкиной голове, например, целые порядки огромнейших печей, на вольном ветру, без толчков, заслонки с ворота, в небо торчат шеями коленчатые четырехугольные дымоходы... Подопригора был, несомненно, чудачком.

И дед-плотник тоже наострил уши, воссев на тюфячок, поджав под себя ножки. Но, так как ни выгод, ни обманов никаких тут не предвиделось, соскучился, прилег, только начесывался под тулупом. И еще кое-кто, побородатее, из отцов, растягивался втихомолку, предпочитая думать свою думу в потолок.

Подопригора, конечно, видел это, но не расстраивался. Для него пока было довольно и тех, что с прилежно полу-

открытыми ртами давались ему... Этих он не выпускал, ревниво подхватывал слухом каждое их шевеление, шопот... Вон Вася-плотник плечо о плечо со своими. Яркорыжий каменщик, перехватив пояснуцу руками. словно летел на докладчика, сурово-требующий, испытующий, — он, возможно, решал свою жизнь! Длинношейей парнишка, которому готовил Подопригора невероятную судьбу, смотрел ему прямо в глаза, не мигаючи, у Подопригоры даже кружилась голова... Железо, железо! Здесь кругом от него пучило землю, оно не вмещалось в ней, выширало наружу, валялось под ногами. (И правда, Журкин вспомнил про рыжий валунок у двери, об который однажды больно ушиб щиколотку.) Железо, техника! А для чего они? Чтобы человеку добыть легкое и радостное будущее! Из железа — трактора, сотни тысяч тракторов для колхозников. Из железа — всякие машины, опять же для чего они? Вы знаете, что для облегчения нашему же брату, рабочему человеку. Видали, чего этими машинами в два месяца на плотине наворочали? А вот еще увидите, какие к лету здесь громадины смонтируют, например, на углеподаче транспортер: на полкилометра может человека по воздуху промчать! Но он будет мчать, конечно, только уголь, целыми вагонами, а для человека есть на это самолет.. Из вас никто на самолете не летал? — Собрание безмолствовало, только иные помотали головами. Подопригора загадочно и довольно ухмыльнулся. — Ну вот, теперь скажу вам... к весне нам в Красногорск обещали также два самолета, и на них, между прочим, будем лучших ударников катать. Значит, ребята, и из вас кое-кто скоро летает!

Среди слушателей пронесся шелест, табуретки исподтишка задвигались поближе к столу. А Тишке показалось, что лукавый Подопригора уперся при этом именно в его глаза; словно прежде всех ему, Тишке, обещал... Однажды над Засечным проплыл в подоблачной выси гудящий крестик — неужели с человеком? И за Подопригорой открывалось подоблачное, влекущее, чего еще не знавалось в жизни.

— ... Но нам стараются сорвать это светлое будущее. Разве мы не знаем, как всякая нечисть напрягается кругом нашей страны и только ждет своего момента? Нет, слабить нам ни на минуту нельзя, ни на одну минуту нельзя, рвать надо у врага каждую минуту, чтобы скорее накопить себе железный запас!

А гробовщик ждал, когда дойдет до него, разразится... Мнилось ему, что и сам Подопригора оброс железной коркой и оттого не слышит живого человека. И слово у него только про злобу и про врагов.

Вот:

— И здесь, товарищи, имеется у нас недобитый враг..

Почудилось: зарыскал глазами по барраку, разыскивая кого-то. Руки у Журкина неповинно тряслись. Вот, вот... «Мы уже видали его работу. Они под маской примостились и тут, на стройке, и втихомолку обдeldьвают черные делишки!». (Это про кого?) «Но мы сумели разгромить кулака, вышибить его из сельского нашего хозяйства, мы сумеем его найти и здесь, товарищи, несмотря на маскировку, мы его хорошо видим по его кляузам и провокациям, которыми он втихомолку хочет подорвать наш социалистический фронт... Мы его ви-идим (Журкин содрогнулся), мы его скоро выгтащим за уши на вольный свет!».

И Тишка, выкормленш, прихмурился, тоже позаимствовался злобой; и Поля не оглянется ни разу... Теперь уж ясно: больше ни спокойной жизни не будет здесь, ни добытку.

Сейчас крикнет вслух: «Смотрите же, вот где враг!». Журкин ошеломленно взирал на неостановимый, гремящий рот Подопригоры.

Но тот вовсе и не крикнул ничего; доклад был кончен. Подопригора вынул платок, обтирал лицо, с табуреток по-медвежьи сбрыкивались слушатели. Гробовщик вздохнул со всхлипом, по-ребячьи. «Намахнулся, а не ударил, — растравлял он себя, — оттягивает...».

Но ни Подопригоре, да и никому не было сейчас дела до него. В дверях, среди суматохи, поднимался Петр, с ног

до головы облепленный снегом; он гаркнул:

— Деньги получать!

В самом деле, к красному столу шествовал артельщик с портфелем, сопровождаемый милиционером, и вслед за ними через койки, через табуреты в пляску скакали барачные. Да, деньги не только привезли из Москвы, их разносили по баракам, уважая законное нетерпение рабочих. Подопригора, довольный, обзирал взбурлившую у стола толкучку. Деньги пришли кстати, они твердым массивом ложились под его высокие слова и обещания. И у самого Подопригоры где-то в туманных тайниках облегчительно прояснилось... Им овладела та добродушная усталость, которую испытывает поработавший трудно и с пользой человек. И Поля застенчиво улыбалась ему издали, полноватая и чистенькая, будто только-что умытая душистым мылом. Явно поджидала его, стоя на мягких, чуть раздвинутых ногах, как когда-то домашняя Зинка. Та постоянно вспоминалась около Поли чем-то далеким, щемяще-улетевшим: духами или болью... Но дорогу заступил Петр.

Подопригора был рад и ему. Вдобавок, очень уж хорошо подоспел сегодня Петр: первым торжественным вестником о деньгах.

Но Петр смотрел хмуро, расстроено: — Мне поговорить с вами, как с партийным... товарищ уполномоченный. Я секундой...

Ухватил за плечо Тишку, норовившего стрельнуть к столу, где счастливицы нагибались, расписывались:

— К-куда?

Неспеша отложил под подушку какой-то принесенный с собой узел, затем снял тяжелый пиджак и валенки и сунул Тишке, чтобы тот убрал и посушил. Потом приказал еще дров подложить да слетать с чайником за водой. Тишка с отчаянием оглядывался на волшебный стол, на пламенеющие под лампой лица получающих: а вдруг там до него не дойдет, нехватит?.. Но дядя Петр был необоримее, сильнее всего.

Сам уполномоченный терпеливо его поджидал.

Петр, с тем же мрачным видом, поискал, куда бы поукромнее отвести Подопригору.

— Тут, товарищ уполномоченный, про одну некрасивую петрушку я узнал...

С Подопригоры смыло веселость, он, зорко глядя, слушал, кивал...

После раздачи денег взбудораженный народ никак не мог улечься. Сызнова растапливались печки, зачинались чай с разговорами. И у Журкина с Петром на печурке бил из чайника пар. Домовито присели оба, и Тишку прямо по сердцу, чуть не до слезы, щекотала эта домовитость: до того они оба стали хорошие, до того был везде порядок; не знал, как и услужить им в счастливой своей готовности. Деньги он, конечно, получил: за полтора месяца, за вычетом долга за обеды — 66 целковых, и успел уже сбегать в темные сени и, расстегнув штаны, упрятать получку вместе с прежним капиталом (домашней пятишницей и десяткой, полученной от Петра за мануфактуру), завязав карман бечевкой.

— Не толмошись, сядь, — досадливо одернул его Петр, когда расстаравшийся Тишка кинулся разливать по кружкам чай. Тишка сел, положив ладонь на карман. В кармане похрустывало.

Петр вынул узел из-под подушки и развязал его. Вывалилась барашковая шапка-кубанка, верх с золотым крестом. Дальше появился отрез коричневой атласистой байки — это на верхний пиджак; требовалось только меху на воротник докупить, и в одном месте предлагали мех подходящий: модный, кенгуровый. Потом вынул темношоколадный, в мелкую клеточку, отрез на костюм (штаны будут сделаны в заправку, под галифе); потом — синий и черный сатин на четыре рубашки, из них две пошьются под «фантазию», а две — с длинным воротом из пуговиц, по-кавказски.

— Это да...

Журкин подавленно мычал, крутил в удивлении лохматой головой. С Петром, одиноким и рискованным, где же было ему

равняться! Когда учуял Журкин первые махинации с мануфактурой, то затрепетал вчуже. Точил Петра словами, запугивал, остерегал. Но тот шел мимо с озорной, знающей нечто усмешкой и вот — достиг своего благополучно. С завистливым угрызением поглаживая материю, прикидывал гробовщик в уме размеры петровых барышей. Что значили в сравнении с ними те мизерные рублишки, которые он с натугой выколочивал на своих гармониях!..

И Тишка осмелел, тоже погладил пальцами добро. Он угодливо вдыхал резкий запах обнови, запах форса, запах недосыгаемого и несравнимого превосходства надо всеми... — Вот бы пройтись в таком костюмчике по селу, как окосоротели бы все!

По случаю обнови Петр вынул еще из узла пол-литровки и завернутый в газетину угол пирога с капустой, с яйцами — от аграфениных щедрот, конечно. Журкин дал налить себе только полкружки, строительно прикрывая ее ладонью. Он выпил, откусил пирога, и невыносимо захотелось ему пасть на плечо к Петру и заплакать.

— Вот что, Петра... Уполномоченный-то тебе ведь друг?

— Ну?

— А мне он пагуба. Сказал бы ты ему, что ль. Почему он на меня все азиатом смотрит?

Но Петр, занятый увязыванием добра, рассеянно слушал брательника, рассеянно пообещал... А может, Ване все это только чудится? Документы у него в порядке, значит, и беспокоиться нечего. Меж тем Петр раскопал в бумажнике какие-то талончики, поделил их между гробовщиком и Тишкой, чтобы завтра же зашли по дороге в кооператив получить кое-что: самому-то недосуг... Тишке вместе с талончиками подал и клинышек пирога.

Печурки догорали.

На койке сидел дед-плотник, считал бумажки, то-и-дело по-куриному заводя глаза в потолок. Подопригора, в последний раз, уже в шапке, проходя по бараку, вдруг остановился около него. Уполномоченный был не по-добру весел.

— Ты, товарищ деда, говорят, еще на одну работенку принялся?

Сверчки-глазки у старика сбежали в сторону, мигали, мигали...

Спозаранку, до побудки еще, дед со всем барахлишком своими стигнул из барака.

В кооперативе выдали Тишке и Журкину по талонам мыла, селедок, по 400 граммов сахару, ниток катушечных; полагалось еще крупы, но насыпать ее было не во что. И за все гробовщик уплатил самую безделицу. По привычке позавидовал: «Вот как на плотине-то задаривают, не то, что у нас!».

За услугу Петр отрезал Журкину кусок мыла, а Тишке дал 30 копеек. В тот вечер на слободу собрался спозаранку, распахивая покушки по карманам и за пазуху. Уходя, небрежно сунул гробовщику кое-что в руку, ласково-деловито попросив, чтобы завтра опять завернули в магазин на минутку, но дело имели бы с тем продавцом, который постарше и у которого черная бородка, словно на ниточке; должны были получить, кроме прочего, по паре белья, а он, Петр, отблагодарит.

Журкин разжал руку, смотрел на талоны.

— Это еще? — голос у него высох. Только сейчас с трепетом уразумел он, какую новую махину затевает Петр.

Выронил талоны на одеяло.

— Нет, Петра, ты меня в эти дела... брось! Бог с ним, с твоим благодареньем. — Журкин с суровым видом вынул мыло из-под подушки, положил рядом с талонами. — У меня, Петра, своих неприятностей хватит, бежал бы от них куда, закрыв глаза.. Только что ребятишки... Нет, Петра.

— Да чуда-ак!

Припав к его плечу, Петр принялся нашептывать. Гробовщик сидел одеревянею.

— Не майся ты со мною, Петра. Зря.

— Это твое слово? — Петр вскочил. — Та-ак!

Смаху надел шапку. Тишка притих на корточках перед печуркой. Он слы-

шал разговор, но еще не понимал всего, вернее, не смел понять всего про Петра. Только бы мимо него, сироты, пронесло скорее эти дела.

Но Петр не уходил, вертел в пальцах талоны.

— Эй, оголец... Завтра один слетаешь, не запутаешься, чай? Туда же, куда нынче с дядей Иваном ходил. Держи!

Тишка спрятал руки:

— Я... не пойду...

— Что?

Гробовщик, пасмурно поднявшись, дернул Петра:

— Оставь парнишку, слышь!

В голосе его хмурилась угроза. Тишка, почуяв поддержку, мстительно визгнул:

— Я не пойду!

И горло ему сдавила сладостная схватка. Сейчас мог полоумно выкинуться на середину барака, полоумно зарорать, чтобы услышали, повскакали все, — с коек и так уже поглядывали, интересовались.

Ну его к чорту!.. Петр молча отступил, только в глазах пролетела бешеная и смеючая дымка, — в первый раз отступил перед Тишкой. Отступил и ушел.

Гробовщик, поразмыслив, осторожно и примирительно сказал:

— Ты не подумай взаправду чего... Он баловной, просто спектакли представляет.

Но повисла над Тишкой расправа...

На другой день, после смены, гробовщик собрался, наконец, сходить на толчок. Платок утешный одолевал его мысли... Из полочки наметил послать сотню домой, да оставалось у него заработанных на гармоньях рублей полтора; десятку от них не жалко оторвать.

Тишка тоже увязался вослед, соблазнившись в первый раз прогуляться по базару с деньгами в кармане, властителем. Дорогой, от нечего делать, советовался с дядей Иваном не без похвальбы:

— Дядя Иван, а меня уполномоченный опять вчера спрашивал, надумал я, чтоб насчет шофера выучиться, иль нет.

Говорит, чтоб скорее. Как тут прикинуть, не знаю...

Гробовщик сказал раздумчиво:

— Хилой ты для этого: автомобиль — она тяжелая, железная. Наша простота, Тишка, к железу не ударяет; слеза мы, а не люди. Ты около дерева пристраивайся, оно помягче будет и к характеру нам подходит.

— Да я и так... — будто согласился Тишка. Но не все полностью рассказал он Журкину... Вчера Подопригора, действительно, поделал к парню на койку (гробовщик куда-то отлучился) и завел разговор о том же:

— Думаешь, Куликов?

— Угу.

— А чего долго думать? Другие бы на твоём месте... — Подопригора, особенно смешливый, возбужденный, подталкивал Тишку плечом. — Ты только представь, Куликов, что в деревне будет, когда узнают! Как это, скажут, так? Этот самый Куликов, который вчера чуть не побирался, а теперь вдруг на машине ездит? Фу, чорт! Ты слушай-ка... (Тишка, падкий до подобных мечтаний, и так слушал в оба, расцветая стеснительной ухмылкой.) Вот, например, организуется в твоей деревне колхоз. Все бы хорошо, да тракториста негде взять... Как так негде? Да позвольте, у нас же Куликов — шофер! Пойдем просить Куликова... как тебя по отчеству? Тихон Ильич? Может быть, Тихон Ильич согласится. Га-га-га!

И Подопригора, сам не меньше Тишки распаленный своим рассказом, ржал, потирая руки.

— А мать-то старуха, когда увидит... Ты знаешь (Подопригора перешел уже на восторженный шопот), давай матери не будем писать, что ты на шофера учишься. Вот приедет она к тебе на побывку, а ты с машиной на вокзал — встречать. Подходит старуха, глядит... Батюшки, да кто это на машине-то летит и сам правит? А? Феода! ч-чорт!..

От полноты чувства даже трепанул Тишку как следует. Оба сидели и ржали. Подопригора спросил:

— Согласен, что ль?

Тишка утирал слезы.

— Согласен...

И сейчас Тишка опять попробовал посмотреть на себя как бы со стороны — на эдакого-то, на машине. Вот летит грузовик в снежных вихрях, а на переду за рулем крестьянин Тишка в рваной, развевающейся сермяжке своей, в обрыдлой шапчонке, в которую только милостыню принимать. Смех! Конечно, Тишка не верил в это, как и в серьезность своего согласия, а все-таки баловал себя (ведь ни дядя Иван, никто не видит того, что играет у него в мыслях), опять залезал за руль, опять ужасно летел...

До базара добрались поздновато. Пустырем оголился он, последние базарники укладывались и раз'езжались. В темные снега зарывался закат, дремный, исчерна-красный, как догасающие угли. Вскоре нечаянно повстречали Петра.

Он стоял среди пустоши, словно поджидая, руки в карманы. Тишка стал было отставать от Журкина. Нет, Петр глядел весело, забыл, должно быть, про вчерашнее. Сам подозвал.

— Чего, торговать пришли?

Журкин замялся:

— Так... барахлишко посмотреть... Где оно тут?

Петр радушно повел их за пустые столы, где частью на снегу, частью на ящиках еще копошились барахольщики. Мужик, у которого лицо заиндевело под одно с шапкой, складывал, перевесив через руку, добротное, видать, черное пальто с рыжим воротником. «Мне бы...» — безнадежно позарился Тишка.

Петр приметил его взгляд:

— Хороша ведь шуба-то, хозяин?

— Мне бы одежду какую-никакую, — откровенно прорвался вдруг Тишка. Отрадно ему стало от ласкового обращения Петра.

— Правильно, — поощрил тот. — Теперь ты парень с деньгой, сам зарабатываешь, позорно тебе в таком трепле, смеются все. А шуба фасонная!

— Ну, куда ее... дорого.

— А вот мы с гражданином поговорим.

Тишка топтался стыдливо. Журкин оставил его одного, странствовал вдоль рядов. А Петр деловито калякал с ба-

рахольтщиком, сурово похлопывал по шубе ладонью, перетряхивал ее и так и смяк, потом приказал Тишке померить.

— Да ну-у ее...

Но Петр уже накидывал ему шубу на плечи, подставлял рукав; от такой сердитой отцовской заботливости боязно было отнекиваться. И Тишка натянул рукава, запахнулся и по горло очутился в неиспытанном никогда, уютном одежном тепле.

Шуба падала вниз по брюху солидной и пышной округлостью. Полы, правда, казались немного длинноватыми, но «ничего, — подбадривал Петр, — на рост пойдет, тебе ведь еще расти!..». Воротник из волчьей шерсти, но спускается на грудь шалью, никакой морознице не проймет через такую толщину. Петр, видимо, тоже довольный, повертывал перед собой Тишку так и смяк.

— Продаю только с шапкой, — сказал барахольтщик.

Петр предложил показать шапку. То была лисья, хоть и потертая, но настоящая лисья шапка с бархатным верхом. Тишке она показалась даже завиднее петровой кубанки, только он, чтобы не расстраивать его, не сказал об этом. И не мог припомнить, на ком, недоступном, видел он когда-то такую шапку. И шапка, пухово обнявшая и обогрившая его голову, оказалась как-раз в пору.

Тишка был уверен, что барскую эту, немислимую для него, одежду, конечно, отберут через минуту. Но взманчиво было хоть попробовать, не в думах, а наяву сколько-нибудь покрасоваться в ней. Петр вполголоса спросил, сколько у него денег.

— У меня... семьдесят целковых, — заторопился Тишка. Про десятку с мелочью, что сверх, он умолчал: надо было кормиться полмесяца... Петр притворно-скупчиво (знал, как купить) обратился к барахольтщнику:

— Ваша окончателная?

Было от чего повеселеть в этот день Петру. Ранним утром дружки сообщили ему, что вербовщика Никитина двое милиционеров свели со слободы. Он и на базар приспел пораньше не столько ради дозора над подручными, сколько

для торжества. Около Аграфены Ивановны, с ее убоженькой по виду корзиночкой (булочки прикрыты одеяльцем) крутился с час или больше, многозначающе прикашливая и дуя себе в кулаки, пока не пришла Дуся. А когда она пришла (на поклон только брови ответили), умело выбрал минуту, чтобы ударить пометче. Будто невзначай вернулся:

— Утром, ха-ха, видал я: нашего-то артиста... двое со свечками ведут!

Дуся уже знала, наверно. Лицо окинулось полымем:

— Это вы, должно быть... натрепали?

— Я, — вызывающе и смеюче ответил Петр. — Это я! Такую мразь около наших делов держать, знаете... нежелательно. Правду я говорю, Аграфена Ивановна?

Дуся, задохнувшись, не могла вымолвить ни слова. А он стоял, посмеиваясь в оскорбленные, пылающие ее глаза. Да, да, пришло времячко, заметили они все-таки Петра. Аграфена Ивановна немотствовала, взирала на него, как на демона.

Хо, хо! Не больше двух недель осталось (обещал портной), когда зайвится Петр во славе.

— ... Одну сотнягу прошу, — сказал барахольтщик.

Петр жуликовато присвистнул. Барахольтщик с двух слов должен был понять, что перед ним не вислоух какой-нибудь, а свой же, бывалый, базарный человек и что долго разговаривать нечего. Тишка бездыханно цепенел в шубе, в высокой лисьей шапке, словно не о шубе, а о нем шел торг. И барахольтщик не стал долго разговаривать, однако дальше восьми красных уступить не хотел. И настаивал, чтобы Тишка взамен скинул ему и сермяжку, и старую шапку («все, глядишь, на чучело сгодятся»).

— Ладно, — величаво согласился Петр и к Тишке: — Десятку свою подбавлю... в долг. Хошь?

— Спасибо, дяденька, — пролепетал Тишка.

Не чуя себя, он разоблачился, забежал за пустую лавчонку, расстегнул штаны, рвал обмирающими пальцами

бечевку. Нет, конечно, раздумает сейчас заиндевелый... или Петр только для зла подшутил за вчерашнее. Он вытащил денжата, отсчитал. У возка лихорадно срывал с себя на морозе армячок.

И Петр — зря на него клепап Тишка, добрый он, Петр, — в руках терпеливо держал шубу. Чью это он держал шубу-то?!

И теперь еще ближе — только через рубаху — ощутил Тишка на себе теплую, хватающую за сердце тяжелину обнувы. Сумерки обволакивали пустошь: Тишка забыл еще раз поблагодарить Петра, даже поглядеть забыл, оттого и не видал, как вчерашний дымок пролетел опять у того в глазах... Скорее догнать дядю Ивана, скорее показаться ему... С припляской бежать, бежать! Но нигде на пустоши дяди Ивана не примечалось, да и людей не осталось почти никого. Тишка пощупал себя — один без всех пощупал — шуба была на нем. И маманька вышла из ветра, слезясь, загораживая глаза рукой, — не верила она своим глазам, сумасшедшая! И вывалили со всех сторон деревенские: парни, которые от зависти прикидывались, будто они и не смотрят; ко дворам выбегали звонкие, завидующие бабы и со зла молчали; старики — и те сослепу тыркались в калитки...

Да, шуба была на Тишке... рукава только чуть-чуть широки, в них продувало, подшить, что ли? Тишка догадался, вложил рукав в рукав. Ого, вот она где, теплынь!

В барак входил не Тишка, а судорога какая-то, заранее виновато и счастливо ослабившаяся. Барак был почти пустой... В глаза бросился Петр, — когда он поспел? Около него человек пять дружков, они подвыпили, скалились. Петр приблизился к Тишке, цапнул его за руку, заклешил ее пальцами, сердце от этого оборвалось.

— А ну, покажи нам обнуву!

И повлек его за собой между коек. Сзади грохнуло:

— Поп!

Тишка двигался омертвело, длинная поповская шуба, до противности ловко перехваченная в талии, полами мела по земле, рукав в пол-аршина шириной сви-

сал с костлявой, беспощадно дергаемой Петром руки, на голове качалась поповская рысья шапка-тиара, из-под которой вылезали нестриженные косицы. Петр получал удовольствие, — разве жалко за это десятку? Тишка таращился во все стороны сквозь слезный туман, искал спасительную кожанку Подопригоры, искал гробовщика, искал Золотистого. Их не было.

— Поп! — опять грохнули дружки.

Петр торжественно вел Тишку обратно. И барак гремел хохотом; над койками — бредилось Тишке — хохочущие хари громоздились в два этажа, разваливались зубастые, трегубые, стонущие от смеха рты; барак, сотрясаясь, ржал. И вдруг — смолк, словно рухнул... Подопригора входил вместе с кем-то, кажется, с Васей-плотником, заканчивая на-ходу разговор.

И он искал кого-то глазами: да, Тишку он искал, свернул прямо к нему.

— Ну, Куликов, обсудили в рабочкоме твою кандидатуру, возражений нет. В марте получаешь командировку.

Должно быть, подивила его тишкина хмурость. Присев рядом, заботливо спросил:

— Что, нездоров, что ли?

— Здоров, — ответил Тишка.

А сам старался потихоньку высвободить плечи из колючей, отчаяньем обдающей его шубы... Дружки боком, по-собачьи ушмыгнули в переднюю, оттуда, из потемок, поглядывали. Но Петр остался, он стерег... да и разве мог без него обойтись разговор?

— Конечно, товарищ уполномоченный, — вступился он, — этого сироту надо жалеть. Но ведь касательно данной учебы он... темнота! — Петр вздохнул, развел руками. — Вот если бы взять, скажем, кого из вашего пролетарского происхождения...

Подопригора пристально, с тяготой оглядел его.

— Чтой-то, братец, сегодня лицо у тебя какое-то... лизучее.

Петр невпопад ухмылялся, моргал.

А Вася-плотник задиристо подталкивал Тишку.

— Эй, шофер, своих-то тогда покатаешь?

— Ага, — Тишка гнулся, скрывая лицо.

Подопригора сказал:

— Ну, гляди, не осрами Коксохима!

И словно отцовское тепло осталось после него над койкой. Тишка нырнул с головой под обнору, от нее тошно разило волком. Вспомнил про маманьку, про свояка... вспомнил про получку, от которой уцелела одна десятка, да еще

про долг, и скорчило всего от несправимой беды... Но вскоре окинул его сон, тихий и чистый. Может быть, чуялась ему, спящему, та же земля, лежавшая тут, за бараками, искоженная его ногами, обмыканная всякими волненьями, но чуялась она во сне молодой и предпраздничной, какой и была на самом деле: ведь что бы пока ни случилось, а все же ему, Тишке, принадлежала она...

(Продолжение следует)

Красная площадь

Всеволод Иванов

1

С хмурого, заросшего диким лесом, севера на пленительный пушистый и травяной юг пробивалась по рекам и перелокам большая торговая дорога. Эта дорога проходила и по Москва-реке, летом плотами, барками, лодками, а зимой на полозьях. Через дикий лес дорог тогда не прокладывали, были только «перволоки», т.е. узкие просеки, по которым волокли лодки и товары из одной реки в другую. Дремучий лес служил тогда людям естественной крепостью, защитой от степных разбойников.

В Москва-реку вливались торговые судоходные реки Неглинка и Яуза. У слияния этих рек, там, где перегружались товары, чтобы следовать дальше по Москва-реке в Оку и Волгу, возникли пристани. Здесь отдыхали торговые гости. Чтобы защитить этих гостей, возле пристаней выстроена была крепость — Кремль, деревянная, огороженная тыном из обожженных кольев и рвами. Надо полагать, что раньше крепости рубились из так называемых «кремлевых» деревьев, откуда и сама крепость получила название Кремль. Кремлевым деревом называется плотное и крепкое дерево, растущее или в поле или на опушке леса, с большим количеством сучьев, отчего оно делается чрезвычайно крепким, хотя и мало удобным для обработки. На

новгородском наречии слово «кремляк» значит — человек твердого характера: «Мужик—он кремляк, его не скоро заставишь это сделать».

Великий торг перед крепостью богател и ширился. С окрестных деревень, с ближайших княжеств, из Новгородской земли, из Рязани, с юга собирался сюда народ поторговать, побеседовать о том, что происходит на свете, узнать, какие есть новые выдумки на земле, как лучше защищать себя и где купить себе хорошее оружие. По земляным валам крепости ходила стража, одетая в шкуры, с длинными мечами, как у норманнов, с длинными деревянными щитами. На этой площади, которая позже получила название «Красной», что значит красивая, собиралось вече, чтобы выбрать своих правителей.

Великий торг продавал самострелы и мед, подошвы и иконы, фонари и овощи, кафтаны и короба-корзины, шелка, железо, жемчуга и седла, масло и деревянные избы, мечи и детские игрушки. Отсюда шла дорога на Орду. Дымились костры возле шалашей, распевали скomorохи, в деревянных церквушках стояли колокола, возле ларей с рубцами и другой дешевой пищей беседовали воины и миряне, пьянствовали, распутничали, дрались, а на холме, там, где ныне Спасские ворота, продавали рабов, воняли квасные кади, «стригуны» лязгали ножницами, приглашая желающих

постричься, в канавах плакали подкидыши, а на папертях нищие пели длинные песни о походах, о странствиях, об удачах людей. Так появилась Москва.

Об основании Москвы есть много преданий, но все они говорят о том, что место было здесь богатое, удобное для жилья, с большими заливными лугами, где можно было пасти скот, и с тучной почвой, где удобно заниматься хлебопашеством. Здесь, будто бы, жил в богатстве и славе боярин Кучко, по фамилии не то Степанов, не то Иванов. И об этом торговом боярине много легенд. Вот одна из этих легенд. Жил боярин Кучко в своем поместье у Москва-реки, возле торговой дороги. Было у него два красивых и смелых сына. Суздальский князь Данила, узнав о смелости этих сыновей, пригласил их к себе. Одного из них он назначил стольником. Княгиня Улита Юрьевна, жена Данилы, сразу влюбилась в них обоих, и тогда они решили убить князя Данилу. На охоте два кучковича кинулись на князя Данилу с мечами. Данила бежал пешком, дремучим лесом, чтобы скорее скрыться. У перевоза через Ока-реку князь встретил лодку. Он обещал перевозчику золотой перстень за перевоз. Хитрый перевозчик не поверил князю, протянул ему весло, чтобы тот положил перстень. Получив перстень, перевозчик оттолкнул лодку, а князь Данила, так и не переправившись, опять побежал по берегу реки. Темной ночью нашел он «струбец мал», т.е. склеп. Он влез в этот склеп и заснул. Кучковичи долго его искали и, не найдя, решили, что Данила скрылся в город Владимир к Андрею, своему брату. Кучковичи испугались. Они подумали, что князь вернется и убьет их. Но княгиня Улита оказалась более смелой, чем кучковичи. Она сказала, что есть у мужа такая хорошая собака, что когда князь Данила уезжал для борьбы против татар, то говаривал своей жене: «Если потеряюсь в степи и вы будете разыскивать меня, то пустите впереди разыскивающих вот этого пса». Тогда кучковичи взяли пса и углубились в дремучий лес. И точно, пес привел их к склепу. Кучковичи убили князя Данилу и тем же «струбцом» прикрыли

его. Они вернулись в Суздаль и в доказательство смерти князя Данилы отдали жене его Улите «ризу кровавую». По смерти князя Данилы прошло два месяца. Кучковичи и княгиня Улита наслаждались жизнью. Между тем слуга князя Данилы пробрался в город Владимир и привез сына князя Данилы и рассказал, как был убит князь Данила. Андрей с пятью тысячами войска направился к городу Суздалю. Кучковичи опять испугались, бросили княгиню Улиту и убежали к своему отцу. Князь Андрей достиг их возле самой Москва-реки, казнил их, а имение боярина Кучки разграбил. Места эти понравились князю Андрею, и он построил здесь город, т.е. крепость. Такова легенда.

Достоверно же о Москве впервые упоминается в летописи 1147 года. Юрий Долгорукий, отец знаменитого князя Игоря, который прославился своим походом на половцев и был воспет в знаменитом «Слове», приглашает к себе в гости в Москву на «сильный обед» своего союзника—князя Святослава. Все чаще и чаще начинают говорить летописи о Москве. Здесь происходят сражения. Вначале эта крепость принадлежала суздальцам, а затем московские люди откололись от Суздаля и создали самостоятельное правление.

Тогда славился боевой силой и богатством Великий Новгород. Московские люди приглашали оттуда для защиты своего города опытных и смелых воинов. В Москве появляется Михаил Хоробрит, младший брат знаменитого победителя немецких псов-рыцарей—Александра Невского. Этот Михаил Хорсбрит был настолько опытен в боях, что даже захватил Владимирское княжество, а город Владимир был тогда самым крепким городом, не уступая Рязани и Твери. После смерти Михаила Хоробрита, убитого в войне с литовцами, московским князем был Даниил, младший сын опять того же Александра Невского.

Москва быстро росла. Владимир слабел в борьбе с финнами. Рязань сильно страдала от татарских нашествий. Тверь истощала свои силы в непрерывной борьбе с Новгородом, а затем и с Москвой. Таким образом, Москва находи-

лась в наиболее лучшем положении, чем остальные русские города. Главному врагу тогдашней Руси, татарам, через леса было трудно достичь до Москвы. Естественно, что Москва богатела, собирала больше податей с все увеличивавшегося населения, которое спасалось сюда от татар. Через Москву проходило огромное транзитное торговое движение. В начале XIV столетия все Московское княжество было меньше теперешних границ Московской области, а через сто лет оно увеличилось в тридцать раз!

Татары стремились овладеть этой опасной для них лесной крепостью. Когда в лесах показывалась татарская стремительная конница, Великий торг осторожно сжигали, чтобы татары не устроили подлинного пожара, от которого мог бы сгореть замок Кремль. Торговые люди со своими товарами и рабами прятались в эту крепость. Вокруг в лесах создавали «засеки», т.-е. валили деревья тесными рядами вершиной в сторону врага, с тем, чтобы врагу было трудно пробиться сквозь эту чащу. В том месте, где лежали эти деревья, устраивались «волчьи ямы», т.-е. ямы с заостренными кольями на дне их, ставились всевозможные самострелы; на реках устраивались заборы. Леса, из которых должны были рубиться засеки, считались заповедными, и рубить их для какой-либо иной нужды запрещалось.

Сражаться против татар малочисленным, разбитым на мелкие княжества, русским было трудно. Татары славились как опытные стрелки. Они владели большим искусством истреблять с большого расстояния своих врагов. Войско их двигалось, повинувшись ударам бубнов. Они были вооружены копьями с крыльями, большими саблями и прикрывались плетеными щитами. Они еще не умели строить крепостей и осадных машин и крепости обычно брали продолжительной осадой, измором. Противников своих они старались выманить в открытое место, часто притворным отступлением, чтобы перебить их своими великопными лучниками.

Когда уходили татары, Великий торг вновь выстраивался, вновь гудел, пел и

плакал, стучали молота в кузницах, ржали кони, скрипели воза, на Лобном месте жгли в срубах колдунов, зарывали за мужеубийство живых жен в землю, сажали на кол разбойников, колесовали их, качались виселицы и стаями стонали над базаром вороны и галки!

2

Деревянный Кремль становился все более и более опасным, потому что Великий торг богател, обстраивался и расширялся. Теперь при пожаре торгова трудно будет уцелеть Кремлю. А крепость необходима, так как русская конница еще слаба, лесные пространства не позволяют держать большие табуны, и коней часто приходится покупать в степи у татар. Главную роль в тогдашнем бою играла конница, а пехота только обороняла тыл и обозы, к тому же пехота была милиционная, никакого воинского учения не производилось, и судьба битвы зависела преимущественно от личного качества воина.

Москве, ее политическому устройству и в войнах помогал Новгород. Новгород тогда боролся с Тверью. И поэтому Тверь ненавидела Москву. Когда в Твери, несомненно не без подстрекательства Москвы, убили грозного посла татар Шевкала, москвичи чрезвычайно радовались тому, что на Тверь идут татары. В 1339 году Иван Калита решил выстроить крепостную ограду и башни из дуба, как материала, который более крепок и менее подвержен пламени. Эту дубовую крепость строили два года, и пятьсот лет спустя нашли в земле остатки дубовых деревьев толщиной в аршин. Но и эта дубовая крепость все-таки не могла устоять против пожара.

В особенности задумались москвичи, когда узнали летом 1366 года, что против них в общий поход собираются итты татары, литовцы и Тверь. Зимой стали свозить к городу камень; производство кирпича тогда было мало доступно, и весной 1367 года собрали отовсюду мастеров каменного дела. Татарским послам, которые жили тогда в Кремле, сказали, что на том месте, где они живут, будут строить божий храм, так как бы-

ло соответствующее видение великой княгине. Послов переселили на улицу Ордынку. Едва только успели построить каменную крепость, как услышали, что Ольгерд, литовский князь, со своим войском приближается к Москве. Сожгли Великий торг и посады. Литовцы тщетно штурмовали крепость. Высокие башни с рядом бойниц и с открытыми платформами наверху превосходно выдержали осаду. Раньше все башни были квадратные, потому что строились из дерева, а теперь угловые башни из камня были выстроены круглыми, как это делалось за границей. Этими круглыми башнями московские войны очень гордились. Литовцы отступили.

Москва и ее крепость Кремль приобрели большую славу и начали серьезно угрожать Твери. Князья, предводители дружин, приобретали все более и более власть. Теперь они уже открыто соперничали с городскими воеводами, или тысяцкими, назначаемыми городским вече, или, иначе говоря, Великим торгом. В 1374 году было, под влиянием князя, совсем упразднено звание городского воеводы. Сын умершего городского воеводы, Иван Протасий, обиделся на это упразднение и убежал вместе с богатым купцом Некоматом к тверскому князю. Тверской князь послал их в Орду, чтобы добыть ярлык, или разрешение, от татар на чин князя московского, а кстати позвать хана Мамаю на войну против богатой Москвы, тем более, что и литовцы опять обещали прийти на помощь. Иван привез этот ярлык. Но Москва набрала войско, разгромила Тверь, и Иван Протасий убежал в Орду.

Наконец Москва почувствовала необходимость выступить открыто против татар. Князь Дмитрий, прозванный позже Донским за победу над татарами при Куликовском поле, пригласил соседних князей на совещание. Об этом услышали татары и послали в Москву своих представителей. Дмитрий, чтобы затянуть время, отправил ответных послов к татарам и туда же послал на разведку своих купцов. Татары заключили союз с Ягайло литовским и с Олегом рязанским. Рязань, самое

южное княжество, соприкасающееся с татарами, боялось и татар, и Москвы. Татары, литовцы и рязанцы отправились на соединение. Москвичи понимали, что соединившихся врагов очень трудно будет разбить. Разведчики сообщили, что Мамай не торопится, ждет своих союзников, а также и того, когда уберут хлеб, чтобы иметь готовые запасы, не везти их с собою. 20 августа 1380 года московские войска были выстроены вдоль стен Красной площади. Щиты воинов были покрашены красной краской, знамена их были черные. Войска насчитывалось около 150 тысяч. Оно пошло тремя колоннами по Великой улице—там, где стоит теперь Василий Блаженный. Войско шло, стараясь не задеть самолюбия рязанского князя, не по рязанской земле, а несколько стороной. Прибыли к Дону. Ягайло и литовцы находились возле города Одоева и шли на соединение к Мамаю. Рязанцы же совсем не торопились.

Москвичи выстроили мосты для пехоты и нашли броды для кавалерии, а в ночь на 8 сентября поспешно перешли Дон, чтобы не дать литовцам соединиться с татарами. Спустился туман. Войска стояли на удачной позиции, прикрывая естественными препятствиями правый и левый фланги. Утром татары увидали русских. Задние ряды татар положили копья на плечи передних, и войско их кинулось на русских. Они были одеты в темные одежды, а русские, чтобы показать себя богатыми и, значит, лучше вооруженными, оделись в яркие праздничные одежды. На стороне татар участвовал и бежавший в Орду сын московского воеводы Иван Протасий. Перед сражением он послал разведчика-попа. Русские поймали этого попа и нашли у него целый мешок отравы, должно быть, для того, чтобы отравить колодец и вывести конницу из строя.

Бой был горячий. Татарам удалось прорвать московскую дружину, дорваться до флага и изрубить его. Войска дрогнули. Но в это время выскочили резервы под командованием опытного воеводы Борска и ударили татар во фланг и в тыл. У татар резервов не было. В три часа дня Куликовская битва

окончилась бегством татар и потерей ими 150 тысяч войска. Русские восемь дней хоронили погибших. Литовцы, узнав о разгроме татар, поспешно отступили, а рязанцы так и не вышли из бездействия. Тысяцкого Ивана Протасия взяли в плен, привезли в Москву и казнили на Кучковом поле. Мамай сверг хан Тохтамыш. Он держался более хитрой политики. Ему удалось раз'единить удельных русских князей, поссорить их между собою, да и московские князья очень возгордились победой над татарами, держали себя гордо. Тохтамыш собрал огромное войско и приблизился к Москве.

Народ «сел в осаду», т.е. пожег опять посады и ценное имущество принес в крепость. Способные к войне люди встали на зубцы каменных стен и оттуда приготовились валить на татар огромные каменные ядра, лить кипяток и горячую смолу. Князь ушел к Волге собирать войско. Митрополит и великая княгиня испугались и хотели убежать. Это возмутило патриотов, они, «сотвориша вече», стали бить камнями беглецов.

Армии татар появились возле города 22 августа. Со стен трубили в трубы. Татары начали обстрел города из луков. Приставили лестницы. Их били камнями, стреляли в них из самострелов и пушек. Штурм города продолжался два дня. Московский суконник Адам, стоявший на Фроловских, или Спасских, воротах, убил оттуда стрелой сына знатного ордынского князя. Осадных и стенобитных орудий у татар еще не существовало. Тогда они прибегли к хитрости.

К железным воротам крепости под'ехали знатные татары и два суздальских князя. Они заявили, что хан Тохтамыш приехал, чтобы полюбоваться на красивый город Москву, ничего не хочет от жителей ее, а желает только наказать за гордость князя Дмитрия. Два изменника—суздальские князья—подтвердили эти слова татар, сняв с себя кресты и поцеловав их. Москвичи поверили словам суздальских князей, родственников московского князя, и вышли за Спасские ворота. Как только они открыли

ворота, татары ворвались в город. Кремль был разграблен, сожжен. Всюду лежали трупы.

Но в течение года город обновился и был заселен. Через восемь лет после нашествия Тохтамыша тысячи дворов окружали Москву.

Москва боролась удачно с татарами. Татары попробовали натравить против Москвы новгородцев, которые заключили союзный договор с поляками и литовцами. Тогда, в 1471 году, Москва разбила Новгород, а позже покорила его колонии—Пермь и Вятку, а через несколько лет провела три победоносные войны с Литвой и Польшей.

На обширных лугах возле Великого торгога происходили громадные ярмарки. В 1474 году 600 татарских купцов привели продавать сюда более 40 тыс. коней. Из-за границы выписывали искусных мастеров пушечного и строительного дела. Строители необходимы были потому, что у русских не было опыта постройки каменных строений. В течение столетия летописцы упоминают о постройке только 15 каменных строений во всей Москве. Начали, например, строить большой соборный храм. Весной 1474 года довели церковь до сводов, а в мае упали стены, хоры, столбы. Тогда послали в Псков за мастерами «каменносечной хитрости». Псковичи сказали, что так строить нельзя, но сами от постройки собора отказались. Пришлось обратиться за границу.

Из Венеции в 1475 году вернулся русский посол Толбызин. По его свидетельству, мастеров в Венеции было много, но ехать на Русь никто не хотел, и с большим трудом удалось послу уговорить только одного мастера Муроля, прозванного за его ум и таланты Аристотелем. У этого мастера имеется дома оловянный кувшин, сделанный так хитро, что ты можешь лить из него что хочешь — или вино, или воду, или мед!

Аристотель Феоравенти, он же Муроль, приехав в Москву, похвалил замысел постройки собора, но сказал, что строили все плохо. Москвичи очень удивлялись его опытности. Началось с того, что он их поразил своим способом

разламывать стены. Он поставил три дерева, соединил верхние концы их, а затем повесил огромный дубовый брус. Раскачивая этот брус, он разбивал стены. Под другие стены он подгонял бревна, затем зажигал эти бревна, и когда дерево сгорало, то стены падали. По его рецептам приготовили твердые превосходной формы кирпичи, хорошую известку, и кирпичи эти носили вверх не на плечах, а поднимали на веревках, продернутых в колеса.

Кроме церквей, Аристотель лил пушки, сопровождал князя в его походах против Новгорода и выстроил там понтонный мост через Волхов.

В 1485 году крепость Кремль переделали для «огневого боя», — пушки тогда были только крепостные. Старые стены обветшали, да и были во многих местах вместо камня заделаны деревом. Итальянские мастера выстроили каменные стены с зубцами — «ласточкины хвосты», башни «по образцу Миланской крепости». В первую очередь башни строили со стороны реки, т.е. направляли их против татар. Следующими выстроили «стрельницы» для защиты Великого торгога: Фроловскую, или Спасскую, и Никольскую. Вдоль течения реки Неглинки, там, где теперь качаются деревья Александровского сада, срыли все строения и выкопали огромный ров; а со стороны Великого торгога глубокий ров выложили кирпичом. Там, где Неглинная вливалась в Москва-реку, сделали пруды. Крепость окружила вода. Кремль превратился в остров.

Кремлевские стены создавали десять лет. Ров возле этих стен был шириною в 17 саженей, а глубиной в 4. Аристотель Феоравенти жил возле Боровицких ворот. Во время строительства Кремлевских стен приехал в Москву немецкий врач Антон, обладавший большой врачебной славой. Он лечил татарского князя Каракучу и, делая какие-то опыты, не вылечил этого князя, а, как говорили, «уморил за посмеих». Великий князь, чтобы не ссориться с татарами, выдал немецкого врача сыну татарского князя. Татары зарезали немца ножом, как овцу, под Москворецким мостом. Аристотель Феоравенти только-что вер-

нулся после блистательного похода на Тверь, которую осаждали пушками и осадными оружиями, узнал о страшной смерти врача, с которым, видимо, находился в дружбе. Он стал проситься домой. Великий князь рассердился на Феоравенти, что тот не понимает русской политики, и велел все имение его списать в Москву. Отпустить Феоравенти было тяжело. Дело в том, что немцы, литовцы и поляки не пропускали на Русь опытных мастеров, чтобы не усиливать мощи русских. В 1493 году поляки задержали наших послов, которые везли опытных мастеров, и отправили этих мастеров совсем в другую сторону — к воеводе Волажскому. В 1504 году русским послам удалось только с большими усилиями провезти мастеров «пушечных и стенных».

Но Великий торг, или, как его называли иногда, «пожар», был попрежнему деревянным, хотя русские мастера хорошо усвоили итальянское строительное дело. Каменное строение в Москве XIV века считалось такой редкостью, что каменный дом «гостя» купца Таракана записан в летопись наряду с битвами против Тохтамыша и крымских татар. И долго на Великом торгу стояли мазанки с завалинками, шалаши, покрытые лубьем и рогожами, кабаки, харчевни и норы нищих, хотя уже через площадь проходили иноземные послы, перед которыми ночью несли зажженные фонари и по пути которых пылали бочки с дегтем, а князя и церковные иерархи были обвешены драгоценными камнями, парчевыми ризами, и несказанно богат был главный рабовладелец Московского государства — царь, что имел свои большие лавки на Великом торгу и монопольно владел всей торговлей мехами, т.е. самым выгодным и главным тогдашним экспортом.

Великий торг обнесли земляными стенами, т.е. сплели из хвороста большие короба, насыпали их землей, свалили друг на друга. Но эти стены оказались недостаточно крепкими, и весной 1535 года за этим земляным городом выстроили кирпичную стену. Через рвы у Спасской и Никольской башен Кремля выходили на Красную площадь ка-

менные мосты. По обеим сторонам проезда были лавки, а под Никольским мостом жили аптечные мастера, или лекари. Между мостами стояли церквушки, вдоль рва — кладбище, обнесенное тыном. Спасский мост, на высоких арках, был ширины 5 сажень, а длины—21. На Спасском мосту попы торговали богослужениями и книгами, здесь находился поповский «крестец». Попы здесь находились потому, что возле церкви Василия Блаженного существовала «тиунская изба», главная контора патриаршего управления. Эта «тиунская изба» заведывала поповскими порядками и брала пошлины с них. Ожидая заказа, попы скучали, играли, боролись и бились на кулачки. За порядком наблюдали пристава. Так как в Москве было множество церквей, приходских и домовых, а прихожан приходилось на каждую церковь немного, то выгоднее всего было нанимать для отправления церковной службы временного попа. Спасский мост был как бы «поповским рынком». Попы, как мы уже говорили, торговали книгами, до появления книгопечатания рукописными. Эти книги и листы украшались рисунками, достаточно безграмотными. Патриарх и царь установили для попов цензуру: был цензурный пристав от царя и цензурный пристав от патриарха.

На площади шумели винные погребки, орали пьяные, юродивые, кликуши, всего насчитывалось здесь свыше 200 кабаков. С Лобного места объявляли царские и патриаршие приказы, приговоры казнимым смертью. Здесь же выходили древние ораторы, когда над городом проносилось восстание, или «смута». Тогда в полубашнях возле Спасских ворот, где стояла постоянная стража, наблюдавшая за движением на площади, бил «всполощенный» колокол, обязанный возвещать о наступлении неприятеля. А еще на нескольких башнях были специальные колокола, возвещавшие о пожаре. Для каждой части города существовал особый пожарный звон.

Возле Спасских ворот казнили людей по царским приказам лютыми казнями: вешали, колесовали, четвертовали. Эти лютые казни производились для устра-

шения простого люда, равно как и для устрашения «божьей силой» и «божьей помощью» цари одевались в тяжелые усыпанные драгоценными камнями одежды, окружали себя богатой стражей с колоссальными мечами и топорами, которые как бы говорили, что этим оружием могут владеть только богатыри, а на самом деле это оружие можно было только нести, а рубить им ни у кого не хватало сил.

Площадь была изрезана рвами, прокопные и телеги вязли в грязи, если бывал дождь, или задыхались в пыли, если была засуха. Избы во всем государстве были курные, это значит — дым выходил через двери и окна, а не в трубу! Стекла заменял холст, намазанный маслом, или бычий пузырь.

Иван Грозный, резавший родовитые боярские семьи «за измену», для того, чтобы уничтожить последние остатки самостоятельных удельных князей, понимал, что войско, собираемое такими обиженными им князьями, не представляет из себя твердой опоры. Поэтому он создает помимо конных дружин постоянную пехоту, которая из-за своего вооружения стала называться «стрельцами». Эти стрельцы получали «в кормеж», в пожизненное пользование, земляные участки около городов. Тогда же создали сословия пушкарей, людей, умеющих обращаться с артиллерийскими орудиями. Стрельцы были вооружены пищалью с колесно-фитильным замком. Эти пищали изготовлялись дома или за границей разнообразными мастерами и имели чрезвычайно разнообразный вид и форму. Русские достигли большого совершенства в литье пушек. В 1536 году в Италии изобрели 16-пудовые пушки, так называемые «фальконеты», а через десять лет эти пушки уже лили на московском пушечном дворе. Когда царь Иван пошел на Казань, то в походе его участвовало, не считая малых орудий, 150 тяжелых и средних пушек. Русские хорошо знали искусство осады крепостей. К крепости приближались с разных сторон. Особые рабочие катили плетеные из хвороста туры и, приблизившись на достаточное расстояние, засыпали их землей. Этих рабочих

прикрывала пехота, стрельцы, а пехоту поддерживала конница, большей частью казаки, которых тогда рассматривали преимущественно как союзников, а не как родное стране войско. Когда туры засыпались землей, то за ними ставили орудия, целые батареи, между которыми располагались стрельцы со своими пищалями. Подкатывали к стенам для обстрела высокие деревянные башни с орудиями. Копали подкопы, в которые закладывали пороховые мины. Когда удавалось разрушить часть городской стены, то на приступ шла пехота при поддержке огня и конницы, гремели огромные барабаны — «набат». Были барабаны, которые возили на четырех лошадях, а било в такой барабан чуть ли не десять человек. Так была взята Казань. Это указывает на усовершенствование инженерного искусства и оружия, потому что раньше крепости брали только измором.

Через площадь проходили войска, направлявшиеся в походы. Везли «гуляй-город» — дощатые щиты с отверстиями для ручного огнестрельного оружия. Эти щиты ставились летом на колеса, а зимой — на полозья, скреплялись между собой железными цепями и образовывали таким образом длинную ограду. В средину такой передвижной ограды ставились орудия, и когда надо было стрелять, то щиты раздвигались. Эту своеобразную передвижную крепость возили в разобранном виде на особых телегах. Иногда расставленный «гуляй-город» занимал громадное пространство, около 5 верст. «Гуляй-город» позволял вести и оборонительный, и легкий наступательный бой. Когда надо было переходить в наступление, то размыкала цепи, и из-за щитов выступала пехота. Воины были одеты в толстое, простеганное платье, в которое зашивались куски железа, чтобы это платье трудно было разрубить. Головы их покрывали круглые медные, деревянные или железные шапки, а у конницы были высокие воротники, до половины головы, так называемые «задние козыри», чтобы защитить голову от удара саблей.

В честь победы над татарами Иван Грозный начал постройку своеобразного

храма, названного впоследствии Василием Блаженным. Его строили русские мастера — Барма и Постник. Существует легенда, что когда достроили храм, то Грозный велел выколоть глаза архитекторам, дабы они не могли выстроить в другой стране что-либо похожее на это замечательное здание. На шпилях храма, под крестом, было поставлено изображение поверженного полумесяца.

3

В улицах, окружающих Красную площадь, было множество монастырей. Да и в Кремле были особо важные монастыри и представительства богатых провинциальных монастырей. Представительства эти назывались «подворьями». Монахи пользовались такой силой и властью, что царь на «святой неделе» должен был наносить визиты монастырям, т. е. признавать их силу. И только Петр Первый прекратил эти царские визиты. В монастырях усердно выделяли иконы, попов, чудеса, мощи и церковные одеяния. Монастыри выходили на торг со своими товарами.

И Кремль, и его сосед, Торговый — Белый — город были тесно застроены, причем строились кому где и как удобно на свободном месте. В Кремле были только узкие переулки, а первую прямую улицу проложили около 1500 года, да и то ширина ее была не больше 6—7 метров. В Кремле находились дома бояр, церковных причтов, монастыри. Монастыри тогда служили своего рода банками — сейфами, потому богатые люди хранили там сокровища, и такие сокровища, которые побольше весили. Иностранные послы, например, привозили в подарок царям искусно сделанные серебряные вещи: ковши, кувшины, сундуки, а цари принимали их на вес, и вскоре иностранцы стали привозить просто тяжелые серебряные вещи, без художественной обработки. Так вот, богатые люди клали в монастырские погреба свое имущество в залог или на сохранение. Погреба под монастырями часто занимали громадные пространства. По городу ходила особая стража с топорами. На ее обязанности

лежало наблюдение за пожарами. Если случался пожар, стража разламывала соседние с пожаром дома.

Если в войске полюбили барабаны, которые, как мы говорили уже, достигали огромной величины, то церковное войско—монахи всячески рекламировали и распространяли свои барабаны—колокола. Напомним, что иностранцы выписывались и для литья пушек, и для литья колоколов. В литье колоколов достигли большого совершенства. Чтобы звук колокола разливался подальше, строили громадные колокольни. Самой высокой колокольней был «Иван Великий», построенный царем Борисом Годуновым. Этот «Иван Великий» служил одновременно и наблюдательной вышкой, с которой можно было разглядеть приближающихся врагов. Один из колоколов звонницы «Ивана Великого» обсклаживали 24 человека. Они стояли внизу колокольни и, ухватившись за длинный канат, который одним концом прикреплен был к языку колокола, раскачивали его. Купола кремлевских церквей были покрыты золоченой жстью, а внутри церкви сверху донизу расписывались искусными живописцами.

На одной из улиц возле Красной площади, рядом с Никольским греческим монастырем, в 1553 году открылась первая типография. В течение 24 лет существования этой типографии было напечатано всего 4 книги, исключительно церковные. Здесь же неподалеку в 1563 году появилось первое высшее учебное заведение — Греко-Латинская академия, в которой много лет спустя обучался великий Ломоносов.

Народ был отягощен поборами, измучен голодом. «Мор», или голод, во времена Бориса Годунова унес полмиллиона жертв. Чтобы уменьшить безработицу, царь Борис в 1586 году начал строить «Белый город», вокруг торговых посадов, деревянный, длиной в 14 верст, с высокими башнями, стенами и воротами, и новые каменные ряды для торговли на Красной площади. Перед этими торговыми рядами казнили главарей рода Шуйских, которые в 1586 году устроили против Годунова заговор и попробовали поднять против него народ.

Для защиты своей власти Годунов организовал 9-тысячную дружину из иностранных солдат, но и это не помогло. Войско, недовольное существующим государственным строем, перешло к Лже-Дмитрию, ставленнику польских панов. Народу и войску казалось, что Лже-Дмитрий принесет некоторое облегчение, потому что его поддерживали казаки—вольные люди. Лже-Дмитрий, однако, не накормил народа и вместо улучшения ввел в страну поляков. Здесь, на Красной площади, Лже-Дмитрий устраивал игры польских солдат, и здесь, у Спасских ворот, при торжественном въезде в Кремль жены его, Марины Мнишек, музыканты играли польскую песню «Навеки в счастье и в несчастье». Народ под предводительством Шуйских ворвался через Спасские ворота в Кремль. Лже-Дмитрий или выбросился из окна, или был убит, точно не известно. Труп его выставили на Лобном месте. После убийства самозванца народ искал по всему Кремлю поляков. Поляки залезли в каменные подвалы бывшего двора бояр Мстиславских. Народ выбил их оттуда пушками.

Но народ был еще плохо организован, и ему трудно было сразу выбить поляков из страны. Кроме того, и бояре предпочитали союз с поляками. Так, знаменитый боярин Мстиславский, первый воевода в большом полку Ивана Грозного, что равнялось званию генерал-фельдмаршала, перешел на сторону поляков и предлагал выбрать в цари польского королевича Владислава, а позже — короля Сигизмунда.

Пользуясь разногласиями среди бояр и казаков, поляки заняли Кремль. Поляков было так мало, что войско их, дабы не показать своего подлинного числа, вошло в Москву ночью. Начальник Москвы, пан Гонцевский, столь не верил русским, что ночью собирал ключи от всех городских ворот к себе и увозил в Кремль пушки с городских стен. Стрельцов он выслал из города, а об оружии было издано такое распоряжение, что даже плотники не имели права ходить с топорами.

В августе 1612 года житель Новгорода Кузьма Минин организовал народ-

ное ополчение против поляков. Первое народное ополчение, организованное за несколько месяцев до того, потерпело неудачу, потому что во главе его стояли знатные бояре, которым народ теперь не верил. Военным руководителем этого волжского ополчения был приглашен князь Пожарский. Ополчение стояло возле Ярославля, готовясь двинуться к Москве.

Казаки, на которых опирались поляки, волновались. Подвоза продовольствия к Москве не было. Гетман Ходкевич, который шел к Москве, был остановлен нижегородским ополчением. Москва была окружена со всех сторон. Прямым штурмом Москву взять было трудно, так как поляки владели большим количеством орудий и боевых припасов, а ополчение страдало недостатком и орудий, и пороха. Поэтому лучше всего было взять Москву, по старинному обычаю, измором. Осажденные поляки страдали от голода. Они съели лошадей, а затем стали есть пленных. Пехотный поручик Трусовский съел двоих своих сыновей. Очевидец-поляк говорит: «Кто был здоровее другого, тот того и ел. Об умершем родственнике или товарище судились, как о наследстве, доказывая, что его следовало съесть ближайшему родственнику, а не кому другому. Такое судное дело случилось во взводе господина Леницкого, у которого гайдуки съели умершего гайдука. Родственник гайдука из другого десятка жаловался на это перед ротмистром, доказывая, что он имел больше права съесть гайдука, как родственник, а те возражали, что они имели на это самое ближайшее право, потому что он был с ними в одном ряду, строю и десятке. Ротмистр не знал, какой сделать приговор, и, опасаясь, как бы недовольная сторона не съела его самого, бежал с судейского места».

Ополчение приблизилось к северо-западу от Кремля. Поляки в отчаянии решили атаковать войска Минина и Пожарского. 22 августа они вышли в атаку. После семичасового боя ополчение вынудило поляков отступить. Через два дня поляки опять атаковали ополчение. Был яростный бой возле Москва-реки, у Крымского брода. Участь боя

решил Кузьма Минин, который лично повел резервы в бой и опрокинул поляков.

Начальник польского войска собрал поляков на Ивановской площади в Кремле и спросил:

— Как рыцарство желает поступить?

Рыцарство единодушно решило сдать-ся и просить москалей, чтобы поляки были пощажены. 28 октября открылись ворота. Поляки выходили с оружием и знаменами, кладя их перед ополчением на землю.

Город был разрушен. Огромное количество домов или сгорело, или было разломано поляками для отопления. Деревянный город вокруг торговых посадов сгорел. Вместо него насыпали земляной вал с тынами и рвом. Деревянный город 14 верст длины был выстроен при Годунове в течение одного года, а теперь только земляной вал строили 8 лет. Это явно указывает на бедность и слабость города. Стены Кремля осыпались, осели. Белокаменные пояса сверху и снизу вывалились, своды башен обвалились. Только 55 лет спустя восстановили стены Кремля, да и то не смогли восстановить облицовки стен из белого камня, а просто выбелили стены известью. Гостиный двор на Красной площади тоже сгорел.

В 1664 году выстроили более обширный, чем прежде, Гостиный двор. На Спасских воротах висел колокол, чтобы бить часы. В 1624 году устроили часы-куранты. Колокола при погребении знатных вельмож разыгрывали «Святый боже». Башню с четырех концов украшали статуи, или, как тогда их называли, «болваны». Так как «болваны» напоминали попам идолов, то, по предложению попов, «болванов» одевали в одежду. По приказу царя Михаила сделана была на четыре «болвана» верхняя одежда из английского сукна.

Боярство и торговые люди восхваляли с Лобного места нового царя — малолетнего Романова, обещая народу льготы и счастье. «И у Романова горе Иваново» — говорил народ. 23 июня 1648 г. царь Алексей возвращался из своего загородного поместья в Кремлевский дворец. Впереди несли белое

знамя с изображением святого и белые барабаны, окруженные ратниками в белом. Стрельцы и конная стража в три ряда, в честь святой троицы, двинулись позади него. Звонили в бесчисленные колокола. Царь одет был в одежды из алого бархата. Народ окружил его на Красной площади. Только-что была повышена наполовину, вместо 20 копеек до 30-ти за пуд, цена на соль. Кроме того, соль отдали в монополию известному мироеду—дьяку Чистову. Монополию эту передал боярин Плещеев, ближайший друг царя. Испортилось множество рыбы от недосоления. Кроме того, царя окружили еще и мастерские люди пушкарского приказа, т.е. артиллерийских мастерских. Начальник пушкарского приказа Траханиотов не платил жалования мастерским, забирая его себе. Обо всем этом население и сказала царю. Царь обещал рассмотреть их челобитные, или просьбы, и народ пропустил его в Никольские ворота.

Но не успели царь и его чиновники вехать в ворота, как конная стража царя начала бить и топтать народ. Камни посыпались в охрану царя. Упали знамена, повалились иконы, побежали монахи и певчие. Народ гнал царя и его охрану до самых ступенек дворца, возле которого народ остановили стрельцы Кремля. Тогда народ бросился во дворец боярина Морозова—главного помощника царя. Дом боярина разгромили вплоть до того, что изрубили в щепы заморскую диковину — карету. После этого уничтожили дом дьяка Чистова, соляного откупщика, убили его и бросили в яму. Оттуда народ кинулся в Китай-город разыскивать знатных людей. Царь велел закрыть кремлевские ворота и вызвать из пригорода иностранные военные части. Несколько сот немцев пришли в Кремль, войдя в него через Спасские ворота. Народ на площади пытался объяснить немцам, в чем дело, но тщетно! Немцы расставили караулы у башен и вокруг дворца. Знатный боярин Никита Романов, родственник царя, выехал на площадь и сказал, что царь выдает народу виновных. Вывели боярина Плещеева. Народ убил его. Казнили Траханиотова — на-

чальника пушкарского приказа и окольного, начальника уголовного и гражданского суда столицы. Народ разошелся в молчании. Ночью запылали в Москве боярские дворы. Утром царь Алексей вышел на Лобное место и оттуда просил у народа прощения, обещая исправить грабителей-бояр и дать более легкие законы.

Но обещанные законы не появились.

В 1662 году Красную площадь потрясло новое восстание — «медный бунт» — из-за порчи монеты, роста дороговизны, голода. Семь тысяч народу положили в могилу царские слуги!

А на юге гольгуба, бедняки, беглые, казаки готовили восстание, которым предводительствовал Степан Тимофеевич Разин. Было много славных битв, но народ, плохо снабженный оружием, был побежден. Разина привезли в Москву. Его допрашивали в приказной избе на Красной площади. 24 сентября 1671 года на Красной площади мучительной казнью — четвертованием — был казнен героический вождь великого крестьянского мятежа.

Цари мало надеялись на свое войско, да и войско это было служилое, наемное. Стрельцы и конники обязаны были за право торговли или за небольшие участки земли служить военному делу. Обучение военное было очень сложное, а стрельцам, которые военному делу предпочитали торговлю, не очень хотелось этим делом заниматься, да и не многие люди шли в стрельцы. Поэтому цари предпочитали нанимать иностранных солдат целыми полками к себе на службу.

Самым бойким местом в Кремле была Ивановская площадь. На нее выходили «приказы», или министерства: сибирский приказ, стрелецкий, разбойный, пушкарский, иноземный, или посольский. С верхних этажей этих приказов на Ивановскую площадь было выдвинуто 7 длинных лестниц. На этих лестницах дьяки, или чиновники, принимали посетителей. Здесь же провозглашались различные правительственные приказы и решения по судебным делам, а наказывали вниз, на Ивановской площади. Там били кнутом, пытали и вешали.

Позже торговые казни перенесли на Красную площадь.

Рано утром сюда, к лестницам, подвезжали верхом бояре в сопровождении слуг. Верхом в Кремль въезжать можно было только дворянам, остальные люди должны были входить пешими. Улицы наполнялись конями и слугами. Слуги со скуки боролись, кричали, пели песни. Когда царю надо было идти из дворца в собор через площадь по особому деревянному помосту, то народ выгоняли с Ивановской площади к стенам Кремля.

30 апреля 1695 года на Ивановской площади мужик закричал «караул», т.е. призыв к вниманию со стороны власти. Мужика привели в стрелецкий приказ. Он сказал, что хочет и сможет сделать крылья, на которых полетит, как журавль. Предложение мужика приняли. Мужик сделал крылья из слюды. Начальник стрелецкого приказа, который, видимо, хотел опыт этот применить к военному делу, вышел на лестницу и стал смотреть, как полетит мужик по Ивановской площади. Мужик, по обычаю, перекрестился и приготовился лететь. Но крылья его не подняли. Оказались слишком тяжелы! Боярин огорчился. Мужик упал в ноги и просил, чтобы ему разрешили сделать крылья из замши. Видимо, мужик смог объяснить с боярами достаточно толково, потому что ему разрешили сделать эти замшевые крылья. Но и на этих крыльях мужику не удалось полететь. Стрелецкий приказ истратил на этого первого русского теоретика воздухоплавания 23 рубля. Мужик было определено наказание: сняв рубашку, бить батогами, а для возвращения истраченных на него денег — распродать все его имущество.

4

Москву окружала огромная земляная насыпь. На этой насыпи стояли высокие деревянные башни с большими воротами. Насыпь была длиною свыше 30 верст. За насыпью стояло два ряда каменных стен. Но если противник пробивался через эти стены, то его останавливала знаменитая крепость Кремль. На воротах крепости висело несколько дзе-

рей из железа, а главную, решетчатую, дверь поднимали сложные машины. Бойницы, наклоненные к земле и снабженные множеством орудий, не давали врагу ни приблизиться к стенам, ни скрыться возле них.

И тем не менее Московскую Русь часто побеждали не только европейские войска, но и татары. Мы уже говорили, что московские цари образовали огромное наемное войско из иностранцев. Это войско начал организовывать Борис Годунов. Он послал в Швецию немецких полковников Лесли и Цеснера для найма 5 тысяч «охочих пеших солдат». Пришли полки мушкетеров и копеешников в латах и железных шапках. К началу XVII века в Москве имелось 70 тыс. иностранного войска. Все эти иностранцы требовали аккуратной выплаты жалования — золотом и мехами. Жалованье это выплачивал им иностранный приказ, но так как денег часто не хватало, то иностранные войска не обладали достаточно крепкой дисциплиной, уходили домой целыми полками, и надеяться на них нельзя было.

Русь должна была создать регулярную армию, но создать ее было очень трудно. Гвардия — стрельцы поддерживали старину и «старую веру» (раскол). В мае 1682 года стрельцы через Красную площадь ворвались в Кремль и сбили бояр, желающих и мечтающих об изменениях в государстве по европейскому образцу. Стрельцы заставили в честь этого бунта воздвигнуть на Красной площади каменный столп. Царевна Софья, чтобы наладить жизнь страны, подписала чрезвычайно невыгодный трактат между Россией и Польшей о «вечном мире». Она сообщила народу: «Никогда еще при наших предках Россия не заключала столь прибыльного и славного мира, как ныне». Однако, согласно этому договору, Русь должна была до тех пор воевать с Турцией, пока польский король не вернет города, захваченные крымским султаном. Два похода на юг окончились разгромом русских. Тогда Петр Первый взял власть.

С огромных лестниц приказов, что на Ивановской площади, солдаты Петра

провозгласили клич, призывая московских жителей ехать в Преображенское смотреть, как будут казнить стрельцов. А накануне этого клича на месте разрушенного «столпа», который поставили 16 лет назад стрельцы, на Красной площади поставили виселицы, колеса, тычины, и стрельцов привезли сюда с веревками на шее, с плахами и топорами, которые они держали в своих руках.

Обученный европейскими инструкторами, Петр варварскими средствами уничтожил отсталость России и победил боярскую старину. Он сбирал помещиков для приема на постоянную военную службу, и осмотр помещиков производили на Красной площади. Взамен наемной армии он создал постоянную регулярную армию, вербуя солдат из крестьянства. Он создал самостоятельную русскую артиллерию, устроив для этого пушечные заводы и артиллерийские школы. Кроме того, он разделил артиллерию на конную, полевую и т. д., что имело огромное военное значение. Даже в Кремле он пытался построить заводы. За Тайницкими воротами выстроили стеклянный завод, а посреди Кремля начали строить цейхгауз. Здесь должны были быть не только военные запасы, но и военный музей. Сюда свозились пушки, пищали, мортиры. В честь первой победы над шведами хотели выстроить в Кремле народный театр, но оказалось, что в предполагаемом для постройки месте «никакого строения строить невозможно, потому что нанешено кирпичу и земли по случаю постройки цейхгауза великие горы». Тогда построили народный театр на Красной площади. После взятия шведского города Нотебурга (Орешек) велено было показать в театре, как происходило это взятие.

На северных болотах выстроили новый город—Санкт-Петербург и перенесли туда столицу. В Москве осталось недовольное боярство со своими рабами да купцы — те, которые находили для себя более выгодным торговать здесь. Москва перестала быть столицей, хотя цари, из уважения народа к этому древнему городу, приезжали сюда совершать

«коронование», т. е. такую церковную службу, во время которой высшие церковные власти показывали народу, как «бог» благословляет царей. Возник новый императорский и имперский центр.

В 1701 году, обычным пожаром, Кремль сгорел настолько, что даже мостки на улицах превратились в угли. Петр Первый приказал строить отныне в Кремле только каменные дома, а в крайнем случае мазанки из глины. Однако Кремль застраивался плохо. В 1730 г. старый Кремлевский дворец был почти в развалинах. Когда понадобилось императрице Анне во время коронации остановиться в Кремле, то не нашли подходящего помещения. Тогда по проекту знаменитого архитектора Растрелли выстроили деревянный дворец. Москва попрежнему была наполнена тысячами простых деревянных крестьянских изб. Только главные улицы покрыты были деревянными мостами из бревен, распиленных пополам. Каждый двор был с садом и огородом. В деревянном дворце, выстроенном Растрелли императрице Анне, из-за грязи и запустения, которое господствовало в Кремле, было до того скучно жить, что она перенесла деревянный этот дворец на Язу.

На Красной площади происходили гулянья, торговля, кулачные и палочные бои, строили на масляной неделе балаганы. В канавах валялись нечистоты и трупы животных. На всю Москву в екатерининские времена было только 50 метельщиков, «для исправности улиц», хотя та же Екатерина после русско-турецкой войны 1769 года решила показать, что Россия может совершать небывалые чудеса не только на ратном поле. По проекту архитектора Баженова решено было снести большинство кремлевских зданий и выстроить один гигантский дворец. И точно, разобрали много зданий и снесли даже часть Кремлевской стены, южную сторону ее вместе с Тайницкой башней. Заложили фундамент дворца. Но нехватило ни денег, ни желания. От баженовского дворца осталась только сложнейшая деревянная модель.

Насколько Москва находилась в антисанитарном состоянии, показывает хотя бы так называемый «чумной бунт». В 1771 году чума, появившаяся сперва в русской армии, действовавшей против турок возле Дуная, перекинулась через Украину в центральные области и достигла Москвы. Здесь она распространилась с чудовищной быстротой, хотя Москву оцепили военными карантинами, а дома, где появлялась чума, сжигали. В августе умирало свыше 500 человек в сутки! Для погребения организовали отряды из преступников. Обыватели увеличивали заразу еще тем, что, боясь, как бы не сожгли у них дома, прятали у себя в погребах и подвалах умерших родственников. Карантинные караулы вызвали голод. Московский главнокомандующий генерал Салтыков, на которого была возложена борьба с чумой, со страху убежал в свое имение. Тогда народ опрокинул военные заставы и вышел в окрестные уезды, заражая их чумой. За два года до чумы обер-прокурор синода велел разогнать неорганизованных «безместных» попов, которые все еще торчали возле Спасских ворот. Через год этот так называемый «разбор» попов опять повторился. Этим попов оказалось около трех сотен. В июле 1771 года, когда началась чума, попов опять разогнали, а попы ответили на это своеобразной «демонстрацией». Они соорудили себе ящики, с которыми ходили тогда по улицам колодники, собиравшие себе тем на пищу, и попы, подобно колодникам, отправились по улицам собирать милостыню. Поп у Варварских ворот распространил слух, что икона боголюбской богородицы, стоящая у него в церкви, предохраняет от чумы. Густые толпы народа, поверив в возможность исцеления, кинулись к Варварским воротам. Попы собирали большие доходы от молебнов, которые продолжались круглые сутки. Так как собрание народа, не получившего исцеления, могло превратиться в восстание, то московский митрополит Амвросий приказал унести икону. Когда посланные от митрополита пришли за иконой, попы ударили в набат. Народ повалил в Кремль, где в Чудовом монастыре

жил митрополит Амвросий. Амвросий убежал. Однако на другой день, не без участия «безместных» попов, Амвросия нашли в Донском монастыре и там его убили. Этот «чумной бунт» был подавлен приехавшим в Москву с чрезвычайными полномочиями екатерининским фаворитом Григорием Орловым.

Впервые каменную мостовую велено было выстроить в Москве в 1795 году на Красной площади, да и то не на всей, а только там, где происходили плац-парады. Выстроили также новый Гостиный двор, с колоннами, с каменными лавками, к которым пышно подезжали высокие барские кареты с гранеными стеклами, запряженные цугом, — жирными конями с кокардами на головах. Кареты сопровождали форейторы в треуголках, егеря и гусары. И то сказать — в Москве тогда было 217 тыс. населения, из которого 170 тыс. значилось крепостных, т.-е. рабов. По ночам улицы не освещались, а, как и в древности, загораживались рогатками, по углам улиц стояли бочки с водой, так как Москва горела попрежнему часто и беспощадно. Под Лобным местом находился кабак и валялись заржавленные, забытые пушки.

Красная площадь в век Екатерины, кокетничавшей даже с Дидро, видела сквозь прутья клетки скованного Емельяна Пугачева — вожака могучего крестьянского восстания, побежденного с огромным трудом лучшими генералами дворянской императрицы. Здесь выставляли его, как зверя, напоказ и на потеху торгашам, чиновникам, дворянам и на устрашение «черного люда». А. Пушкин рассказывает: «... Некто, симбирский дворянин, бежавший от него, приехал на него посмотреть и, видя его крепко привинченного на цепи, стал осыпать его укоризнами. Некто был очень дурен лицом, к тому же и без носа. Пугачев, на него посмотрев, сказал: «Правда, много перевешал я вашей братии, но такой гнусной образины, признаюсь, не видывал».

В испуге перед беспрестанными волнениями крестьян вынуждена была Екатерина выставить на эшафоте Лобного места отвратительное создание дворян-

ства — знатную боярыню Салтычиху, замучившую невероятными пытками 138 человек своих рабов.

Там, где сейчас Исторический музей, вместо земского приказа был открыт Московский университет. Через дом от него находилось «тайное судилище», а еще рядом — крошечное здание первой русской вольной типографии Новикова, основателя первой книжной торговли и издательства. Появление этой типографии в этом месте не случайно. Через площадь, на Спасском мосту, попрежнему торговали вольными изданиями; хотя торговля эта часто и запрещалась, но уничтожить ее никак не могли. Даже религиозные раскрашенные листки, печатавшиеся с деревянных досок, имели много «вольнодумства». В XVII столетии, например, на этих листах появлялись Лютер и Кальвин, а в XVIII на большой картине страшного суда богородица изображалась в костюме русской царицы с очень «дерзким» лицом. Встречались сочинения, прямо направленные против церковников. Вот как, например, излагались скандальные похождения «попа Саввы большой славы», снабженные припевом, передразнивающим церковные песнопения: «Радуйся, шальной Савва, дурной поп Савва»:

Живет он за рекою, а в церкву ни
новою.
Люди встают молятся, он по приказам
волочится.
Ищет, с кем бы потягаться, чтобы впредь
с тем не видаться.
И по площади Красной рыщет, мольщиков
к себе ищет.
Много с ними говорит, за Москва-реку
к себе манит:
«У меня за рекою стойте, а в церкви хоть
не пойте.
Я вашу братию в попы поставлю и рубашки
на вас не оставлю».
И в тех местах он тех ставленников
держит,
Пока тот все деньги не издержит.
А ивых домой отпускает и подписку с них
взимает,
Чтобы им опять в Москву приползти
И попу Савве винца опять привезти!

Продавалась также «Служба кабаку», передразнивавшая церковную службу: «На малой вечерне позвоним в малые чарки. Та ж позвоним в полведерошна ковшика. Спаси боже наготою с проною люди твоя». Причем этот безбожный сатирический материал старались вплести в религиозные сборники.

Еще при Петре возникли на Спасском мосту книжные лавки. Позже появились книжные лавки и у Воскресенских ворот, и на Никольской улице. Продавались здесь книги, которые были понятны толпе, сновавшей по Красной площади: «Елисей-ямщик», «Собрание российских песен», различные путешествия. Затем появились сатирические журналы небольшого объема — всего несколько страниц. Эти журналы пользовались большим успехом, и чем дальше, тем острее была их сатира. Они критиковали знатных господ и говорили о тяжелом положении крестьян. В 1769 году продавалось семь сатирических журналов. Через год все сатирические журнальчики были закрыты. Да и вольная типография просуществовала недолго. Новиков был судим и выслан. Издания его были в большинстве сожжены.

5

Весной, в так называемую «лазареву субботу», на Красной площади устраивалось гулянье. Расставлялись палатки и столы, вроде ярмарки, продавали детские игрушки и дешевую мануфактуру. От Волхонки, мимо Иверских ворот, направлялось в Кремль шествие барских карет. Кареты растягивались иногда на несколько километров. Проехав Кремль, кареты выезжали на Каменный мост, который был с двойной башней, вроде колокольни. По обеим сторонам моста тоже торговали детскими игрушками. Набережная Москва-реки была вымощена только в некоторых местах. Берега реки весной обваливались. Стены, которые раньше пересекали во многих местах город, теперь или сломали, или они обвалились, но ворота крепостных стен, большей частью деревянные, все еще

были целы. На Москва-реке стояли мельницы.

В 1812 году огромные европейские армии вторгнулись в Россию. Русские войска оказывали яростное сопротивление. В 120 километрах от Москвы, возле села Бородина, произошло громадное сражение, показавшее Наполеону, что покорить Россию не так-то легко. Москва не могла вместить раненых. На Красной площади производилась вербовка в пехоту и конные ополчения. Принимали все сословия, кроме крепостных. Возле вербовальных пунктов устроены были палатки с музыкой и вином.

Кремль эвакуировался. Тысячи повозок загромождали его. Торопились вывезти драгоценности, архивы, имущество церквей. По Москве шли пешеходы с узлами и котомками. Москва была оставлена, а «Наполеон пущен для гибели».

Когда к Троицким воротам Кремля подошли войска французского авангарда, их встретили две или три сотни вооруженных русских. Эти русские думали, что в Кремль первым войдет Наполеон, и, взяв из Кремлевского арсенала оружие, хотели убить Наполеона. Наполеон же в'ехал в Кремль через Боровицкие ворота.

— Наконец-то я в Кремле, в древнем дворце царей! — сказал он. В походном его чемодане лежали корона, скипетр и порфира, которыми он хотел венчаться здесь на престол Восточной империи. Из Москвы он предполагал направиться к берегу Ганга.

Деревянная Москва, брошенная своими жителями, запылала. Пожар начался в старом Гостином дворе на Красной площади. Отсюда пожар перекинулся на новый Гостиный двор, расположенный вдоль Кремлевской стены, между Никольской и Спасской башнями. Пожар особенно силен был потому, что в лавках Гостиного двора были громадные запасы церковных свечей и масла. Французы начали выгружать подвалы и класть товары на улицу.

Сильный северный ветер направил пламя к Кремлю. Пожар превращался в громадную реку пламени. Фуры с бое-

выми припасами стояли как-раз против окон дворца, где ночевал Наполеон. Стекла окон дворца до того накалились, что к ним нельзя было прикоснуться. Солдат поставили на кровле, чтобы они отбрасывали головни, падавшие отсюда.

Загорелось Замоскворечье. Барки с хлебом и мосты на реке запылали. Вихри пламени кружились над улицами. Французских солдат сзывали барабанным боем. Оставшихся жителей сзывали колокольным набатом к церквам. Падали стены домов. Запылали сальный завод и казенный винный двор. Лопнули бочки с вином, и по улицам потекли огненные потоки. Огромные вихри поднимали на воздух целые горящие бревна, сопровождая их пронзительным визгом ветра.

Близ арсенала загорелась Троицкая башня. Французы оседлали коней. Арестовали какого-то русского, который об'явил себя поджигателем. Это окончательно взволновало французов, и Наполеон выехал из Кремля в Петровский дворец. Когда он вернулся, вся Москва была полупотухшим пожарищем.

Наполеон потерял прежнюю уверенность в самом себе. Забыв строгую свою воздержанность, он по несколько часов, скучая, проводил за обеденным столом. Он то предполагал идти на Петербург, то на юг, а то приводил Кремль в оборонительное состояние: завалил бревнами и землей ворота, на берегу Москва-реки установил батареи, на Кремлевские стены ввез пушки.

В ночь на 12 октября арьергард французской армии под командованием маршала Морт'е покинул Москву. Французы возвращались по старому пути, там, где на протяжении между Вильной и Москвой стояло в разных местах 42 тысячи солдат, на которых можно было опереться в случае, если бы потерпели полное поражение от русских войск. Маршал Морт'е пушечным выстрелом возле Поклонной горы подал сигнал к взрыву Кремля. Дрогнули уцелевшие от пожара московские здания. Кремль загорелся. От взрыва раз-

рушилась часть арсенала, Кремлевской восточной стены и пострадало несколько башен. Взрыву помешали дождливая погода, торопливость французов, кое-как сооружавших подкопы, а главное то, что порох, оставленный русским интендантством в Кремлевском арсенале, оказался такого плохого качества, что почти не взрывался.

После войны 1812 года в Кремле было разобрано много старинных зданий.

На Красной площади поставили памятник Минину и Пожарскому. Господствующие круги были очень довольны. Памятник был выше на аршин, чем памятник Петру Первому на Исаакиевской площади.

Радовались также и тому, что могли одним памятником отметить две победы: над поляками и над французами, так как памятник Минину и Пожарскому поставлен был сразу же после разгрома армий Наполеона.

6

В 1830 году в России распространилась холера. Знаменитая Макарьевская ярмарка, позже Нижегородская, была брошена купцами. Купцы бежали, сбросив товары. Москву опять оцепили заставы, карантин. Правительство в глазах народа оказалось настолько скомпрометированным и беспомощным, что народ сильно взволновался. А. Пушкин пишет: «Мятежи вспыхивают то здесь, то там». Вспомнили чумной бунт в Москве. Тогда царь Николай Первый написал московскому генерал-губернатору: «Я приеду делить с вами опасности и труды». Царь, точно, приехал в Москву. Подняли императорский флаг над Кремлевским дворцом, на Красной площади расположились огромные отряды кавалерии и пехоты. Царь прожил в Кремле только неделю, холера увеличивалась, обыватели заперлись в своих домах. Царь убежал из Москвы.

Москва застраивалась каменными зданиями. Появляются заводы и фабрики,

в особенности после «великих реформ», т.е. отмены крепостного права. Московское купечество начинает противопоставлять себя дворянству. Купечество пытается создать романтический высший стиль в архитектуре, если нельзя создать такой стиль в своей жизни. Считают, что Москва XVII века — самого славного по торговле — есть наиболее самобытное явление в архитектуре. В подражание этому веку, а также, чтобы превзойти николаевский Большой дворец в Кремле, купечество строит Исторический музей на Красной площади, а затем и Торговые ряды с их тысячей магазинов и с стеклянной крышей, размером в 8 десятин, т.е. столько же, сколько занимает вся Красная площадь!

В 1872 году вокруг западной и южной Кремлевской стены, по Александровскому саду и по набережной реки выстроили деревянные балаганы, Политехническую выставку, которая должна была показать успехи русской промышленности. В Кремле, на площади плац-парада, помещался самый главный отдел этой выставки: пушки, оружие и снаряды.

В мае 1896 года на Красной площади выстроили треугольные павильоны. Моряки Балтийского флота приделали электрические лампочки по углам Спасской башни, что было тогда большой редкостью. В городе выстроили разноцветные павильоны, в которых стояли делегации городов с серебряными блюдами—«хлебом-солью». Польская делегация, например, едва могла поднять огромное блюдо, которое стоило 24 тысячи рублей. Звонили бесчисленные московские колокола. На Ходынском поле выстроили бараки, из которых должны были раздавать народу подарки: оловянную кружку за десять копеек, пряник, конфет на пятачок да тощую брошюру под названием «Народный праздник». Это ехал Николай II короноваться в Москву.

Бараки на Ходынском поле строили поспешно. Колодцы и рвы, возле которых выстроили бараки, не разровняли. Среди народа распространился слух, что будут выдавать какие-то большие цен-

ности, поэтому собралось несколько сот тысяч народа, которые с раннего утра хлынули к баракам на Ходыньском поле. Охрану не поставили, поэтому произошла давка, народ падал в колодцы, в ямы. Раздавили свыше двух тысяч человек. «Современник», рассказывая о том, как полиция убила мертвых, пишет: «Побрызгают водой — не оживает, тащат и кладут в три ряда, как дрова в сажень». Народ глухо роптал.

Через Красную площадь в праздники проходили крестные ходы, катались купцы, направляясь к «чудотворной» иверской, а оттуда — в рестораны Торговых рядов, чтобы затем рассыпаться по «Московскому Сити», как тогда называли Китай-город. В конурах дремали будочники, шли богомолки, и, как встарь, гнусавили нищие; ломовики тащили в «Сити» товары, а Москва все более и более наполнялась крестьянами, которые быстро превращались в рабочих, чтобы в 1905 году первым из русских городов покрыться баррикадами, первым начать вооруженный обстрел царизма.

Летом 1914 года над Россией пронеслась волна стачек, а в Петербурге появились баррикады. В июле в Петербурге бастовало 90 тыс. рабочих. Митинг путиловцев был расстрелян. Империалистическая война задержала эту бурно растущую волну революции. Запылали разрушенные города. Цепи солдат шли по нивам, топча и уничтожая хлеб. Москва наполнилась ранеными. В Москву из Польши и Латвии эвакуировались многие заводы, на которых сохранились кадры революционных рабочих-большевиков. Задушенное войной, революционное движение в Москве оживилось. В 1915 году рабочие участвуют в уличных столкновениях с полицией и жандармерией. На заводе «Динамо» проводится забастовка протеста против суда над думской фракцией большевиков. Выпускаются прокламации. Московские большевики говорят: «Пусть борьба капиталистов за право большей эксплуатации народов заменится гражданской войной этих народов за свое освобождение». В июле жандармы арестовали тов. Молотова и других руководителей московской организации.

Однако работа большевиков не утихла.

Помня уроки 1905 года, рабочие Москвы после свержения царизма начали создавать свои боевые организации. Так, после обезоруживания тюремных надзирателей рабочие берут себе их оружие, захватывают эвакуированное оружие варшавской полиции. На заводе Михельсона рабочие большевистской ячейки прячут винтовки под сценой театра и в деревянной стене цеха. Красная гвардия обучается подпольными штабами.

Аграрное волнение охватывает страну. Крестьяне требуют, чтобы земля была передана народу. В марте 1917 года было 12 крестьянских волнений, а в июне уже 855. Тюрьмы переполнены дезертирами. Тыловые гарнизоны стремятся к земле. Казаки и юнкера усмиряют солдат, а после усмирения отправляют их маршевыми ротами на фронт. Буржуазия и помещики собирают все свои силы, бросают в тюрьмы большевиков. В августе буржуазия созывает «государственное совещание» в Московском Большом театре. В Москву приезжают премьер-министр Керенский и руководитель вооруженных сил реакции генерал Корнилов. В день открытия совещания бастуют фабрики и заводы. Всеобщей забастовкой охвачено 410 тыс. рабочих. Корнилов и Керенский приехали в двух специальных поездах. Эти поезда стояли друг против друга. Каждому хотелось друг друга арестовать, чтобы захватить всю полноту власти, и каждый боялся это сделать. Корнилов, окруженный текинцами в белых папахах, примчался на автомобиле к иверской часовне. Охотнорядская толпа вынесла его из автомобиля на руках. Одновременно с государственным совещанием в Большом успенском соборе в Кремле открылся при торжественном церемониале всероссийский церковный собор. На собор съехалось около 600 представителей церкви. Попы вынесли хоругви и иконы для совершения молебствия на Красную площадь. Это было последнее организованное появление попов на Красной площади. Попы поставили иконы на Лобное место, 255 церковных ходов от соборов, монастырей и

церквей города Москвы стояли вокруг. Звенели колокола. Собор заявил: «Церковь православная не принимает участия в борьбе политических партий...». Но немного дальше в том же заявлении он настойчиво требует «восстановления власти военачальников во всей ее полноте». Собор заседает в Кремле. В Большом театре — черные сюртуки членов государственной думы и мундиры военных. Московская газета большевиков «Социал-демократ» требует вооружения рабочих, ареста генералов и закрытия буржуазной печати. Митингами и демонстрациями рабочие Москвы подтверждают эти слова!

В Московском Совете большинство принадлежит соглашательским партиям. Меншевики и эсеры боятся стихийно растущей Красной гвардии. Они постановляют организовать Красную гвардию при Московском Совете и создают «главный штаб Красной гвардии». В этот штаб входят представители эсеров и меньшевиков, но штаб этот не имеет ни армии, ни оружия, а только одно название. Двумя этажами ниже «главного штаба» находится подпольный большевистский штаб Красной гвардии. Здесь и армия, сюда стекается и оружие.

Рабочие в Лефортове делают платный спектакль. На этом спектакле собирают «в шапку» деньги на приобретение оружия. В Орехово-Зуеве красногвардейцы и партийный комитет угощают офицеров на спектакле, и, пока офицеры угощаются, красногвардейцы получают со склада 300 винтовок и 61 тыс. патронов. С завода Второва похищают взрывчатые вещества. Из Владимирской губернии привозят пироксилин. Все это нужно для выделки ручных гранат, части для которых рабочие выделывают на различных заводах. Испытание гранат происходит в ямах за Даниловской заставой. К середине октября приготовлено около 3 тыс. гранат. В арсеналах и оружейных складах готовятся планы захвата.

В ночь на 7 ноября в Петрограде началось восстание. Временное правительство низложено. Днем 7 ноября в

Москве создан «боевой партийный центр». В пять часов вечера на пленуме московских советов выбран Военно-Революционный комитет.

Уже одно то, что московский Военно-Революционный комитет создан после восстания в Петрограде, показывает, что подготовка переворота в Москве проводилась без достаточной энергии, а появление в этом комитете Муралова и Рыкова указывает, что эти, ставшие позже прямыми агентами фашизма, оппортунисты и предатели, смогли обмануть московских большевиков и революционных рабочих и солдат и могли бы принести огромный вред, если бы революционный напор московских пролетариев, боевого партийного центра, т.е. МК партии, и бдительность Петрограда не мешали б им. Но и попытки завоевания революции «голосованием», гибель в Кремле революционных солдат, переговоры с руководителем контрреволюции полковником Рябцевым — все это показывает, что предатели делали все, что могли сделать.

Красная гвардия имеет около 900 винтовок. Революционный гарнизон — около 5 тыс. винтовок. В мастерских тяжелой артиллерии, которые перешли на сторону пролетариата, усиленно ремонтируются 400 орудий. Отыскивали даже тракторы, чтобы отправить орудие на позиции. Но снарядов нет.

В Военно-Революционный комитет допущены меньшевики, которые сами сообщили, что они вступили сюда «не для того, чтобы содействовать захвату власти Советами», а чтобы «возможно безболезненно изжить все последствия этой попытки захвата и авантюризма большевистских вождей».

Летом 860 солдат 5-й армии переведены из Двинска в Бутырскую тюрьму. Этим солдат арестовали на фронте за большевистские выступления. Перед Октябрьским восстанием командующий Московским военным округом полковник Рябцев, чтобы перевести на свою сторону «двинцев», освободил из Бутырок 593 солдат. Двинцы, однако, пришли к Московскому Совету первыми в дни Октября.

В Политехническом музее собирается 8 ноября гарнизонное собрание. Солдат из запасного полка, стоящего в Кремле, сообщает этому собранию, что солдат из Кремля выпускают, а в Кремль солдатам войти нельзя. Ясно, что юнкера и офицеры хотят захватить Кремль.

Двинцы и красногвардейцы направляются в Кремль и в арсенал, чтобы захватить оружие и снабдить им рабочих.

Белогвардейцы планомерно укрепляются. Центр их—в Городской думе. Они, точно, желают пробиться в Кремль. На Театральной площади они укрепляют гостиницу «Метрополь», на Тверской—«Националь», на Пречистенке у них укреплен штаб Московского военного округа, на Знаменке—Александровское военное училище. Всего у них около 40 тыс. отлично вооруженных, хорошо знающих свое дело юнкеров и офицеров. В Серебряном бору собираются им на помощь «ударники», и туда же придвигаются из ставки верховного главнокомандующего эшелоны с оружием. Управление железными дорогами, или, как тогда называли, «Викжель», объявляет себя нейтральным, а по существу он на стороне белых. Белые имеют пулеметы, гранаты, орудия и броневые машины. Они окружили Кремль тремя кольцами, стянули сюда юнкеров и казаков. Броневики их уже показываются на Скобелевской площади, как тогда называлась Советская площадь. 7 ноября белые создают контрреволюционный «комитет общественной безопасности», который должен руководить подавлением восстания и вести для отвода глаз переговоры. Возглавляют этот комитет городской голова Руднев и командующий войсками полковник Рябцев.

7

Грузовые автомобили с двинцами и красногвардейцами под'езжают к Никольским воротам. Появляются солдаты расположенного в Кремле 56-го полка. Возле ворот происходит короткий ми-

тинг. Приехавшие сообщают, что Красной гвардии необходимо оружие, что по Воздвиженке к Кремлю двигаются юнкера, что создан Военно-Революционный комитет, который назначил в Кремль своего комиссара и коменданта.

Солдаты пропустили автомобили в Кремль. Двинцы немедленно разоружили офицеров, которые находились в Кремле, скомандовали им «вперед, шагом марш» и вывели их за ворота, после чего начали нагружать автомобили винтовками и патронами.

Автомобили возвращаются к кремлевским воротам. Цепь юнкеров и казаков лежала за воротами. Раздались выстрелы. Двинцы соскочили с автомобилей и бросились в офицерский клуб, чтобы организовать прорыв цепи. Начался митинг. Солдаты, стоявшие в Кремле, газет не получали, а офицеры им говорили, что с фронта приближаются к Москве для подавления восстания две армии. Двинцы и красногвардейцы всю ночь вели митинг с солдатами. Солдаты сомневались в победе красногвардейцев потому, что у тех мало сил и оружия и что патроны и винтовки надо везти им из Кремля, а с фронта двигаются армии с тяжелой артиллерией. В Кремле находились две роты 93-го полка. Они заявили, что прорвут дорогу для грузовиков и приведут из Хамовников в Кремль весь свой 93-й полк. Тогда и солдаты 56-го полка тоже заявили желание итти вперед.

Из города слышна пулеметная и ружейная перестрелка.

9 ноября солдаты и красногвардейцы потребовали от коменданта Кремля для прикрытия грузовиков броневики. Гараж оказался закрытым. Шоферов тоже нет. Солдаты вернулись в клуб и заявили, что все это подстроено офицерами Украинского полка, которые охраняют Николаевский дворец. Тогда решили сломать замки гаража; нашлись и шоферы. Опять вернулись к гаражу. Ворота открыты, а в броневиках сидят офицеры Украинского полка, которые заявили, что из автомобилей не вылезут и поедут из Кремля «уговаривать юнкеров от кровопролития».

Тем временем возле кремлевских ворот вырыли окопы и на кремлевские башни поставили пулеметчиков. Вокруг ворот гаража, в котором все еще сидели офицеры, тоже вырыли окопы и поставили роту солдат.

С Верхних торговых рядов раздался пулеметный огонь. С Арбата били по

— Мы и без юнкеров охраним Кремль!

— Долой!!

— Раскачать, да ухнуть об землю этого Рябцева!

Но все же солдаты отпустили Рябцева, и он ушел через Троицкие ворота.



Вступление Красной гвардии в Кремль

Картина худ. Э. Э. Лиснера

Кремлю из трехдюймовых орудий. По крышам визжали пули.

Автомобиль, нагруженный винтовками, служил арсеналом. Солдаты и красногвардейцы отстреливались. Вдруг в полдень через Троицкие ворота приходит представитель «комитета общественной безопасности» полковник Рябцев. Устроили собрание перед казармами. Полковник Рябцев заявил, что 56-й полк устал от охраны Кремля и что он хочет заменить его более крепкими людьми—юнкерами, которые смогут достойно охранить в подвалах Кремля запасы русского золота.

Солдаты закричали:

Солдаты решили защищать Кремль от юнкеров. Рота арсенальцев набивала пулеметные ленты и разносила их вдоль линии стрелков. Около стены, с Красной площади, слышно было, как юнкера делали подкоп, чтобы взорвать стены. Солдаты бросились на стену и открыли огонь. С площади донеслись вопли юнкеров.

В клубе митинговали украинцы. Они послушались своих офицеров, которые заявили, что с фронта от генерала Алексеева уже прибыла армия. Несколько красногвардейцев покинули Кремлевские стены и пошли в клуб. Со всех концов Москвы неслись выстрелы и

крики «ура». В шесть часов утра снаряд ударил в Никольские ворота. Появился юнкер, который принес приказание полковника Рябцева сдать Кремль в течение пяти минут. Он сообщил, что в Москву с юго-западного фронта пришла гвардейская бригада, а с западного — артиллерия. Красногвардейцы и дивинцы заявили, что они будут биться до последней капли крови. Их поддерживал 56-й полк. Тем не менее растерявшийся комендант Кремля издал приказ: прекратить стрельбу по юнкерам.

Цепь юнкеров окружила Кремль. В думе вооружались студенты, гимназисты и офицеры.

Районы развивали исключительную силу движения. Они собирали рабочих, неутомимо искали оружие. Давно уже была сломана деревянная стена заводского здания Михельсона и вынуты винтовки. С вокзалов винтовки везли под градом пуль. Роздано было уже свыше 100 тыс. винтовок. На Рязано-Уральской железной дороге перехватили 39 вагонов с винтовками, которые предназначались для белых. Тульские рабочие сообщили, что посылают оружие из Тульского арсенала. Через партийные ячейки в военных частях нашли замки и панорамы от орудий, которые было прятали офицеры. Но артиллерию пустить в дело не решались, боясь разрушить дома и нанести вред мирным жителям. Ограничивались ружейной и пулеметной перестрелкой. Каждый дом, улица и колокольня служили позицией.

На Смоленском рынке, на Пречистенке, возле Сухаревки появились окопы и баррикады. Многие рабочие впервые взяли оружие в руки. На дворах заводов и домов солдаты наскоро инструктировали рабочих. Отсюда рабочие сразу отправлялись в бой. Заводы объявили всеобщую забастовку. Типографии буржуазных газет были захвачены. И тем не менее ворота Кремля были открыты. Кремлевских солдат обманули приближением белой армии с фронта и тем, что в городе не было артиллерийской стрельбы.

Солдаты выстроились на площади пе-

ред воротами с ружьями в руках. Две роты юнкеров густой колонной робко вошли в ворота. Солдаты положили оружие у своих ног. А когда они разглядели, что в Кремль вошло только две роты, часть солдат опять схватила винтовки. Кроме того, солдаты увидели, что вдоль стены шли броневики. Солдаты решили, что это броневики, которые захвачены в гараже, а это были броневики с офицерами. Когда солдаты начали стрелять, броневики открыли по ним огонь. Юнкера кинулись в штывки на солдат. Офицеры стали поливать их пулеметами. Солдаты бросились в казармы, чтобы добыть пулеметы. Юнкера кололи бегущих штывками и били из револьверов.

С Троицких ворот ударили из пулемета. Из школы прапорщиков бросали в солдат бомбы. Они очутились как бы в каменном мешке. На площади полегло свыше 300 человек. Остальные сдались. Солдат заперли в тесное и душное помещение.

Рабочие арсенала поставили в окна пулеметы и открыли стрельбу по цепи юнкеров. Тогда юнкера обстреляли арсенал со стороны Царь-пушки.

В 7 часов вечера солдаты, стоя плечо к плечу, в тесной и душной комнате, слышали звуки орудийных выстрелов. Московские рабочие, услышав, что Кремль сдан, решили открыть артиллерийскую стрельбу. Солдаты по слуху определили, что стреляют из Хамовников. Снаряд упал возле казарм и сбил угол. Солдаты запели «Вы жертвою пали».

Утром из них отобрали 70 человек, чтобы убирать с улиц Кремля убитых. На четвертый день их заключения солдат выпустили темной ночью через Спасские ворота. Юнкера, предчувствуя, что придется сдаться, боялись мести солдат. Солдаты на цыпочках шли через Красную площадь. Возле Василия Блаженного их окрикнули:

— Кто идет?

— Пленные из Кремля!

10 ноября рабочая Москва вооружена. Пушки направлены на Кремль. Тяжелые орудия обстреливают Алексеев-

ское военное училище. 11-го юнкера очистили Симоновские пороховые склады и вокзалы. Почтамт и градоначальство заняты. 300 белогвардейцев взяты в плен. 10 ноября церковный собор постановляет прекратить прения о введении патриаршества. Одновременно с этим попы кормят казаков и юнкеров, убирают раненых. Собор решает немедленно избрать патриарха, показывая на себе, как попы вводят единую крепкую власть.

«Викжель» решает спасти белогвардейцев. Он угрожает всеобщей железнодорожной забастовкой, если большевики не заключат мирного соглашения. Под влиянием предателей было заключено соглашение, и с 12 часов ночи 11 ноября объявляется на сутки перемирие. Противники собрались в Курском вокзале. Здесь же присутствовали представители «Викжеля». «Комитет общественной безопасности» потребовал роспуска Красной гвардии.

Районы были чрезвычайно возмущены, что подписано соглашение о перемирии. Посыпались протесты. Перестрелка возобновилась. Из пригородных местечек к Москве шли гарнизоны и технические части. Из Иваново-Вознесенска прибыл отряд, которым командовал тов. Фрунзе. Отряд этот расположился возле Лубянской площади.

12 ноября в 12 часов ночи, как только пробили часы, по Кремлю ударила пушка. Загрохотали орудия!

У Андроньевского монастыря остановились два орудия. Их окружили ребятишки. Из монастыря вышел поп, который заявил, что из монастырской ограды стрелять запрещает. Послышалась команда: «По Спасской башне, пли!». Посыпались из окон церкви стекла, убежал поп, ребятишки выразили большую радость. Орудия направились к Швиной горке, откуда лучше виден Кремль. Полковник Рябцев и его штаб уже переместились в Кремль, в Малый николаевский дворец. Орудия ударили сначала в Спасскую башню шрапнелью. С этой минуты часы башни не играли больше «Коль славен». Увидали, что к штабу Рябцева под'ехал грузовик. Юнкера

окружили грузовик и начали что-то грузить. Ударом шрапнели артиллеристы опрокинули и грузовик, и юнкеров. Пришедшие, позже, из плена сообщили, что юнкера уже прячутся от выстрелов советских орудий в подвалах кремлевских казарм.

Центр обстреливался со стороны Замоскворечья, Лефортова, Ходынки, Страстной площади. Москва освещалась пламенем пожаров. Враг чувствовал себя совсем ослабевшим. Народ, который выступил сначала чуть ли не безоружным, теперь гнал белых всеми достижениями военной техники. Кольца, так тщательно созданные противником, были разбиты. Юнкера забаррикадировались в отдельных домах, отбиваясь ручными гранатами, траншейными орудиями и пулеметами.

Из Петрограда приехал посланный товарищем Лениным большой смешанный отряд матросов и красногвардейцев. Отряд расположился на Тверской улице. Он быстро двигался к гостинице «Метрополь» и к Городской думе, выбивая юнкеров и офицеров из домов. Со стороны Лубянской площади такой же быстротой идет тов. Фрунзе. Городская дума взята. Красногвардейцы заняли Лубянскую площадь. Вот прорваны Ильинские ворота. Красногвардейцы, обстреливаемые пулеметным огнем с обеих сторон, ползут по улицам с ручными гранатами. Они сшибают этими гранатами пулеметы белых, захватывают их и тут же направляют против юнкеров. С замоскворецкой стороны идут цепи.

14 ноября городской голова Руднев заявил, что, якобы «не желая разрушать памятники старины и святыни», белые просят сообщить условия прекращения военных действий. Опять подписывается перемирие, хотя Красная гвардия и революционные войска требуют полной капитуляции без всяких условий. Часть юнкеров освобождается от ареста и даже уходит с оружием, чтобы бежать на Дон. Полковник Рябцев тоже сумел убежать.

120 замоскворецких красногвардейцев и 50 солдат из 55-го полка 14 ноября рано утром вышли цепью на Красную

площадь и устремились к Спасским воротам. Юнкера обстреляли их с колоколен Кремля и с крыш Торговых рядов. Красногвардейцы взломали Спасские ворота и, прикрываясь кремлевскими зданиями, направились к Николаевскому двору. По пути лежали сломанные винтовки, ручные гранаты, большие куски кирпичных стен, оторванные снарядами, окопы и волчьи ямы. Из часовен выбегали к ним попы, крича, чтобы рабочие пощадили их. Юнкера обстреливали красногвардейцев из Николаевского двора. Тогда рабочие велели монахам пойти и сказать офицерам и юнкерам, чтобы в пять минут оружие было сдано.

Офицеры сдавали свое оружие, некоторые падали в обморок, а несколько человек покончили самоубийством тут же на площади. Красногвардейцы освободили арестованных солдат 56-го полка, тех, которых юнкера не успели еще выпустить через Спасские ворота. Солдаты не ели пять дней. Солдаты схватили брошенные винтовки и кинулись на юнкеров, на ту часть их, которая еще не сдалась и держала в руках гранаты. Штыками солдаты прикололи юнкеров, а других расстреляли.

В это время через Троицкие ворота вступил в Кремль второй отряд Красной гвардии. В пять часов вечера «комитет общественной безопасности» сдался и подписал договор о разоружении белой гвардии. На другой день было опубликовано сообщение гражданам Москвы, что контрреволюция побеждена. Кремль царей пал. Над старой крепостью взвился красный флаг революции.

В братскую могилу возле Кремлевской стены московские пролетарии бережно положили своих бойцов, павших в октябрьские дни. Траурная процессия входила через Иверские ворота, через те ворота, в которые вошли недавно Красная гвардия и солдаты, на площадь, которую они отныне сделали советской Красной площадью. Гробы, темнокрасные и тяжелые, медленно спускались в братскую могилу. Знамена склонялись над ними с несокрушимой верой и бодростью.

8

12 марта 1918 года, в 12 часов дня, к Троицким воротам под'ехал автомобиль. Подошел командир охраны и спросил, кто едет в Кремль.

— Председатель Совета Народных Комиссаров!

Это приехал в Москву Владимир Ильич Ленин. Здания Кремля покрыты выбоинами от пуль. Во дворах и в переулках остатки фуража, брошенные пушки, всюду грязь и запущенность. Кремль стали приводить в порядок, но порядок этот был самый относительный. Нехватало ни людей, ни материалов. Множество рабочих отправилось на фронты. Вот, например, рабочие Балашевской мануфактуры, уезжая 26 февраля на защиту революции, просят товарищей: «...поддержать наши семьи и дать им сукна по четыре аршина бесплатно. Чтобы жалование наше получали семьи сполна». Себе же они просят выдать только папахи и перчатки и снабдить почтовой бумагой и по карандашу, добавляя трогательно: «...если это возможно».

Ленин жил в трех небольших комнатках, отделенных от квартиры бывшего прокурора судебной палаты. Рядом с квартирой Ленина находилось управление делами Совнаркома. По коридору рано утром шел он в свой кабинет. На столе его были приготовлены военные телеграммы с фронтов. Карты фронтов развешаны по стенам. Ленин отмечал по телеграммам изменения на всех 14 фронтах. Затем он вызывал по прямому проводу города и штабы армий. Сразу над страной чувствовалось огненное течение его мыслей. Работал он более 16 часов в сутки. Здесь он принимал и разговаривал с товарищами, приехавшими с фронтов, с крестьянами, что приходили к нему прямо с котомками и узелками, с рабочими, с изобретателями.

Мировой империализм наступает на трудящихся, истощенных четырехлетней бойней. Трудящиеся предлагают переговоры о мире. «Союзники» отказываются. Германское правительство согласилось приступить к переговорам на самых

грабительских условиях. Надо создать Красную армию. Надо укрепить советскую власть — таково предложение Ленина и Сталина. Предатели сопротивляются этим предложениям. Надо наладить военное производство, надо, чтобы люди лучше работали, надо использовать буржуазных специалистов. И надо — организовать социалистическое соревнование! Таково предложение Ленина и Сталина. И здесь предатели — Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин и Радек — сопротивляются. Съезд партии и Съезд Советов разгромил оппозицию и утвердил мир с Германией. Начинается реорганизация Красной гвардии в Красную армию. Это трудно. Во всей Москве для кавалерийских отрядов нашлось только 50 лошадей.

Империализм наступает. 5 апреля японцы высаживаются во Владивостоке. В мае чехи занимают Поволжье и Сибирь. В июне англичане нападают на Архангельск, а в июле — на юг, на Баку. Немцы входят в Украину. В Рыбинске, Ярославле, Муроме эсеры и меньшевики поднимают восстания.

1 мая 1918 года в знак международной солидарности все районы Москвы собираются на Красную площадь. Эта демонстрация — первая после Октября. Ленин ходит по широкому верху Кремлевской стены, часто останавливается и между зубцов радостно смотрит на площадь. Он ждет, когда демонстранты заполнят ее. Вот площадь наполнилась. Ленин идет вниз. Веселый гул голосов встречает его. После митинга Ленин едет принимать парад на Ходынском поле. Этот парад тоже первый парад Красной армии в Москве. Сразу же после парада многие тысячи коммунистов и комсомольцев поедут на фронт.

Кулаки, торговцы, бывшие люди спекулируют хлебом, наживаясь на голоде народа. В деревню посылаются рабочие продовольственные отряды, чтобы с помощью комитетов бедноты отнять излишки хлеба у кулаков, подавить кулацкие восстания, взять для бедноты сельскохозяйственные орудия и развезти спекулянтов.

На южном фронте в сентябре перелом. Там руководят боями Сталин и Ворошилов. Царицын занят Красной армией. Против наступления белых создана прекрасная степная крепость.

7 ноября 1918 года колонна пролетариев, только-что открыв обелиск Свободы на Советской площади, идет к Кремлевской стене. Красная площадь заполнена народом. На знаменах написано:

«В Красную армию, пролетарии! На юг, рабочие и крестьяне, навстречу главному врагу — союзному капиталу! Защита Советской республики с оружием в руках — священный долг каждого рабочего и бедняка города и деревни!».

Впереди колонн — Ленин.

Перед братской могилой — возвышение и высокая, с многими ступенями, трибуна. Здесь стоят депутации со знаменами, оркестр, хор. Громадный атласный полог прислонен к стене.

Колонны приблизились. Знамена склонились. Оркестры подняли скорбь марша.

Ленин входит на трибуну. Еще нет радио. Молчание заменяет его. И голос Ленина наполняет не только эту огромную Красную площадь, он поднимается теперь над всей планетой, он говорит со всем миром.

Колонны пошли. Красноармейцы, химики, грузчики, ткачи с Красной Пресни, металлурги с заводов. Многие из них вернулись с фронта, многие уезжают сейчас же после демонстрации на фронт. Да и в самом городе тревожно. Вопят попы, меньшевики и эсеры ведут подрывную работу, только четыре месяца назад ликвидировали восстание левых эсеров, а два месяца назад ранили Ленина и в тот же день убили Урицкого в Петрограде. Каждый день открывают заговоры белых и находят у офицеров оружие. Хлебные области отрезаны от столицы. Паяк — ½ фунта хлеба в день. Двери и окна магазинов забиты досками, и трудно поверить, чтобы здесь, на этих покрытых пылью полках, лежали когда-то товары. Шко-

лы холодные, учителя и ученики сидят в пальто.

И все-таки—вот катятся автомобили, наполненные смеющимися детьми! Теперь, когда мы читаем эти строки, эти дети, наверное, уже превратились в серьезных и ученых граждан, некоторые из них—инженеры, другие—командиры воинских частей, третьи — учителя, а помнят ли они, что это им в ноябре 1918 года, дивного года, воскликнул с трибуны Ленин:

— Детям революции привет!

Все больше и больше будет восхищаться человечество этими годами, которые пронесли над Красной площадью и Кремлем, застыли памятниками, запели легендами! Все сильнее и сильнее будет любить человечество эту страну, создавшую новую Красную площадь и новый Кремль, эти народы, отстоявшие пламя знамен и протянувшие эти знамена в бесконечные века будущего счастья человечества. Каждый из этих праздников, который пройдет перед нами, наполнен особой суровой красотой мудрости, смелости, необычайной веры в человечество, словно кому-то удалось подняться на высокую гору и где-то там, в окне лазури, сквозь облака и туманы, увидеть будущее, вернуться обратно и сказать народам: «Вот куда и вот как надо идти».

В начале января 1919 года вводится продовольственная разверстка. Буржуазия стремится раздавить Страну Советов. Колчак на востоке, при помощи японцев, собирает поход на Москву. Деникин на юге захватил хлеб и топливо — Кубань и Донбасс. С запада идет Юденич. В Туркестане «союзники». Эскадры их в Черном море. На юге их 25 тысяч, на севере — 50 тысяч.

Навстречу белым армиям и армиям «союзников» выезжают многие тысячи коммунистов и комсомольцев. На восточный фронт против колчаковцев едут Сталин и Дзержинский. Успехи восточной армии напугали Троцкого. Он требует остановить наступление. Сталин двигает войска. Колчак разгромлен.

Сталин едет в Петроград и наносит сокрушительный удар Юденичу. Тогда

оружие буржуазии передается из рук Колчака в руки генерала Деникина. Троцкий своей преступной политикой помогает Деникину. Генерал, захватив левобережную Украину, Крым и Царицын, направляется к Москве, и перед второй годовщиной советской власти деникинцы приблизились к Туле.

В коммунистическую партию по одной Москве за неделю вступило свыше 14 тыс. рабочих. Так отвечает московский пролетариат наступающей буржуазии. Принимается Сталинский план ликвидации деникинщины.

Красные войска занимают Орел! Деникин отступил. Это означает, что Сталин находится на деникинском фронте.

Национализирована вся промышленность и торговля. И партийные, и беспартийные труженики непрестанно думают, непрестанно ищут, как бы лучше работать, больше выпускать продукции, скорее победить. Так появляются субботники, совсем новые формы общего труда. Голодные рабочие собираются вместе, очищают площади, грузят вагоны, рубят лес, доставляют в города пищу и топливо. Они не получают за это платы. Рабочими усилен Народный комиссариат продовольствия, потому что это—важнейшее дело в спасении страны, в укреплении Красной армии. В Наркомпроде три четверти аппарата заполняются рабочими. Наркомпрод находится в бывших Торговых рядах. Сюда съезжаются со всей страны, здесь перебывала почти вся Москва. Здесь распределяют пайки, отсюда посылают хлеб на заводы и в армию. Сюда однажды летом на Красную площадь пригнали огромное стадо коров. Стадо это расположилось прямо на площади. Оно было такое громадное, что на бойнях, где не было рабочих, его отказались принять. Стадо долго стояло на площади, пока на бойню не привезли рабочих.

Красная армия яростно бьется на всех фронтах, защищая знамя социализма.

И вот социальная революция встает во весь рост над Европой. Март и апрель видят советскую власть в Венгрии

и Баварии. Французский флот на Черном море охвачен восстанием. Рабочие Европы отказываются грузить оружие, которое капиталисты хотят отправить в белогвардейские армии. Брестский договор уничтожен германской революцией.

И вот в марте 1919 года Красная площадь празднует основание Третьего Интернационала. Кремль московских царей и Кремль императоров всероссийских стал колыбелью боевого международного товарищества пролетариев. Церемониальным маршем идут по площади колонны. Иностранные гости скружили Ленина. Иностранные гости идут в колоннах пролетариев. Вместе с московскими пролетариями они приветствуют Ленина, Сталина, их соратников и друзей.

Первого мая того же года по Красной площади двигается танк, отбитый на южном фронте у интервентов. Красноармейцы объясняют, как надо управлять танком. Газета тех времен пишет: «Рабочие с большим интересом следили за быстрыми движениями невиданной диковинки». И думал ли кто, что 15 лет спустя выйдут на Красную площадь сотни танков, построенных на наших заводах вот теми же рабочими, которые столь внимательно рассматривают эту «диковину»?

Ленин поднимается на трибуну. Он приветствует московский и всемирный пролетариат. Он напоминает, что было год назад, когда праздновали 1 мая. И точно, многое изменилось. Страна была под угрозой германского империализма, а теперь он опрокинут революцией. Ленин сообщает народу телеграмму, только-что полученную им, что Севастополь совершенно очищен от французских отрядов. Площадь аплодирует неистово.

Ленин напоминает о колчаковских угрозах. Что от них осталось? Последние сообщения с фронта дают полную уверенность, что победа над Колчаком совсем близка.

На фронт отправляются десятки и сотни тысяч бойцов — рабочих и крестьян... Уже давно в донецких степях

носится Ворошилов, уже Блюхер созвал бойцов, и слава идет вместе с ними, уже Буденный перепутал множество офицерских мыслей, уже Чапаев высоко поднял шашку!..

Поспешно отступают войска Деникина. Освобождаются Украина и Северный Кавказ.

Смерть уносит от нас Якова Свердлова, председателя ВЦИК. На помосте, устроенном вокруг его могилы, стоят члены Совнаркома, представители Московского и Петербургского советов и комитетов партии. Вокруг могилы — почетный караул.

И опять на всю Красную площадь звучит бодростью большевика неуязвимый, непобедимый, неустрашимый могучий голос Ленина. И над всем миром несетя эта боевая уверенность в победе!

Да, советский Некрополь, возле Кремлевской стены, — совсем иной, как и иное пришло — советское — человечество! Убитых в боях много. Вот в братскую могилу хоронят погибших при взрыве в Московском Комитете партии. Вот здесь поодаль холодной ветреной осенью опущено тело американского журналиста Джона Рида, рассказавшего, как «10 дней потрясли мир». В 1925 году здесь легендарный полководец пролетариата М. Фрунзе. Через год — меч и сердце революции — Ф. Дзержинский. За ним — убитые «цивилизованными» бандами советские дипломаты Воровский и Войков, потом — Луначарский, Менжинский, неутомимая и пламенная Клара Цеткин, японский славный большевик Сен Катаяма, Куйбышев. Здесь страна похоронила любимого вождя, великого оратора, бесценного и бесстрашного народного трибуна С. М. Кирова, погибшего от подлейшей пули троцкистско-зиновьевских контрреволюционных убийц. Здесь лежит прах великого русского писателя М. Горького — певца социалистического труда и социалистической культуры. Здесь лежит герой и создатель советской индустрии — Орджоникидзе. Таков этот Пантеон нового мира!

В октябре 1919 года на Красной площади происходит парад красных командиров. Уже мелькают среди них водители броневиков, танкисты. Сразу же после парада курсанты и краскомы отправляются на последний субботник поработать сообща со всей Москвой перед тем, как сесть в вагоны.

Краскомы ждут тяжелые дни. Краскомы поедут то на северный фронт, то их перебросят на западный, то их потребует кавказский, то встретят их пески туркестанские, то морозы Сибири. И всюду им помогает неутомимая энергия, железная воля и военный гений Сталина, наносящего смертельный удар врагу. Наступает Польша. Из Крыма вылез Деникин. Накануне празднования, 3 октября, наносится поражение генералу Врангелю. А в третий день Октябрьского переворота, 9 ноября, штурмуется бессмертный отныне Перекоп!

Страна разгромила врагов на всех фронтах, но силен еще и страшен враг — голод, отсутствие топлива, пустующие заводы. Множество заводов стоит безмолвно в тишине и темноте. Собирается Съезд Советов. На съезде стоит вопрос об электрификации страны, той самой страны, огромное количество предприятий которой разрушено, пролетариат с которых разехался, той страны, где электричество ни в одном из городов не горит дольше десяти часов вечера, да и до этого-то горит оно в треть накала. И вот Ленин утверждает вопрос о необходимости неизбежной электрификации! Для доклада нужно напечатать брошюру с цветной картой. Единственная типография в Москве, которая может напечатать эту карту, не имеет ни одного полена для отопления. Типография замерзла. Тогда по просьбе Ленина комячейке и заводскому комитету объясняется вся революционная ценность и необходимость печатания брошюры. На работу выходят наборщики-коммунисты в шубах и в ватных пальто. Замерзшую машину еле ворочают руками. В зале пять градусов мороза. Камень в литографской машине,

смачиваемый кипятком, пройдя сквозь валики, возвращается, покрытый слоем льда. Бумага лопается, краска замерзла. Смогли только напечатать пять экземпляров карты, и перенесли печатание в маленькую литографию, помещение которой можно натопить голландской печью и где есть ручные литографские станки. Всех на съезде повергло в изумление, что книга с картой в пять красок напечатана только в пять дней! А в книге всего 51 страница. Эта книга называлась: «Основные задачи электрификации России».

Первое мая в этом году по всей стране отпраздновали «субботником». Рано утром ударила пушка с Красной площади, сообщая о решении народа немедленно очистить всю страну.

Кремль тоже очищается. Всюду грязь, повозки и пушки, брошенные еще юнкерами. Остатки от дровяных складов, которыми во время войны был наполнен Кремль, опилки, щепы, мусор, следы бомбардировки, ямы. Группы людей складывали мусор и камни на телеги. Некоторые катили тачки, некоторые тащили носилки.

— Ильич, Ильич!.. — пронеслось по народу.

— Где? Где?

Артель из восьми человек несла на плечах огромное и мокрое бревно. Впереди этих восьми поддерживал бревно Ленин.

Драгунский плац расчищали от досок и щепы. Плац обнесен решеткой. Часовой стоит у ворот плаца. Ленин и какой-то военный с ним вытащили громадную плаху и бросили ее за решеткой плаца, у ворот. Военный быстро повернулся и ушел. Ленин замешкался. Часовой строго крикнул ему:

— Доски здесь бросать не полагается. Убери.

Тогда Ленин взял плаху и оттащил ее один далеко в сторону.

9

Народное хозяйство надо восстанавливать. Руды добывается только две части на сто частей, которые добыва-

лись до войны, т.е. если раньше добывалось сто пудов, то теперь получают едва два пуда; чугуна получают чуть побольше угля: два с половиной пуда вместо ста. Хлеба тоже мало. Весной 1920 года IX съезд партии, отбросив сомневающихся в победе оппортунистов, дает стране план ее восстановления. В октябрьскую годовщину лозунги призывают к восстановлению трудовой дисциплины и промышленности.

Воспользовавшись трудностями, которыми охвачена страна, Троцкий хочет навязать партии свои установки. На знаменитой дискуссии о профсоюзах он предлагает, пренебрегая интересами крестьянства и союзом с ним пролетариата и партии, продолжать политику военного коммунизма. X съезд партии утверждает линию Ленина и Сталина за создание социалистической экономики и за союз с крестьянством. Партия очищает свои ряды. Оппозиция умолкла.

Страна готовится к переходу на работу по-иному, к новой экономической политике. Части отсталых моряков поднимают восстание в Кронштадте. Империалисты, пытаясь опереться на кронштадтцев, уже опять направляют свои войска против Советов. Тогда группа делегатов X съезда партии во главе с тов. Ворошиловым и лучшими, политически воспитанными силами Красной армии идет на Кронштадт. Кронштадт подавлен. Отменена продразверстка. Введен продовольственный налог, благодаря чему крестьянин может свободно распоряжаться теми излишками в хозяйстве, которые у него могут появиться, может увеличить свое хозяйство, чтобы создать больше хлеба, больше сырья для поднятия промышленности.

Ружья вычищены и стоят в козлах. Пушки покрыты чехлами. То и другое стреляет только на учениях. Военные сводки исчезли из газет.

Страна трудится, учится, радуется, поет.

Когда в кремлевских зданиях гаснут огни, Ленин выходит на любимое место прогулок — дорогу, что расстилается

над набережной Москва-реки. Внизу сквозь крепостные зубцы блестит вода. Кремль спит.

Посевы увеличились. Торговля, быстро развернувшаяся, и промышленность, замечательно работающая, создали устойчивую советскую валюту. В 1922 году пущена Каширская электростанция, первенец в знаменитом ленинском плане электрификации. С рядом европейских стран заключены торговые сношения. Мировая буржуазия стремится в Советскую Россию, чтобы победить ее торговыми и промышленными битвами. Октябрьские лозунги колышутся над Красной площадью:

«Не сдадим крупной промышленности акулам капитала! Рабочий комитет разбил буржуазию на фронте военном, рабочий директор победит буржуазию на фронте хозяйственном!».

Генеральным секретарем ЦК после XI съезда партии избирается товарищ Сталин — лучший ученик Ленина.

В дни 5-й годовщины Октября собирается IV конгресс Коминтерна. На нем последний раз перед представителями иностранных рабочих говорит Ленин. Он рассказывает о том, что сделала за пять лет советская революция. Он заявляет, что мало нам хорошего урожая или отличного состояния легкой промышленности, — Советской стране абсолютно необходима тяжелая индустрия. Эта индустрия защитит страну Советов от нападения империалистов. Но для того, чтобы создать хорошую тяжелую индустрию, нужны большая работа и время.

20 ноября 1922 г. Ленин на пленуме Московского Совета говорит последний раз с московскими пролетариями. С уверенностью, не ослабевавшей в нем никогда, он заканчивает эту речь вещными и мощными словами:

«Из России непевской будет Россия социалистическая!..».

17 апреля 1923 года собирается XII съезд партии. Ленин тяжело болен. Съезд, обсуждая слова Ленина о кооперативах, говорит, что необходимо помочь деревенской кооперации, батрачеству и всему, что может ослабить ку-

лака. В промышленности надо добиться, чтобы на выпускаемую продукцию ложилось меньше расходов, чтобы деревня получала дешевые товары, чтобы бюрократы не мешали дружбе рабочих и крестьян. Тогда Троцкий предлагает разорвать узы дружбы между пролетариатом и крестьянством. Съезд партии отбрасывает прочь предложение Троцкого.

Красная площадь говорит знаменами, что несут в мае 1922 года московские пролетарии:

«Союз рабочих и крестьян — основа нашей победы!».

В декабре 1922 года создается Союз Советских Социалистических Республик.

Страна усиленно работает. Осенью этого года изгнаны из пределов страны последние остатки интервентов — японцы. Красная армия заняла Владивосток. Японские суда поспешно бегут из Приморья.

Открывается сельскохозяйственная выставка. Ленин болен и живет безвыездно за городом. Однажды он гуляет по парку. Затем внезапно поворачивается, подходит к гаражу и садится в машину. Он велит шоферу ехать в Москву. Сотни павильонов сельскохозяйственной выставки горят электрическим светом. Ильич взволнован. Перед ним Кремль. Часовые отдают ему честь. Ильич входит в кабинет, садится у стола, перебирает книги. Это его последнее посещение Кремля.

Холодный январь 1924 года принес нестерпимое горе нашей стране.

На Красной площади туманно-багровые пятна костров. Жгучий свинцово-серый ветер носится над толпой, которая стоит возле костров и возле красноармейцев, взрывающих мелкими подрывными патронами верхние слои промерзшей почвы. Стучат топоры, взвизгивают пилы, подводы увозят песок, привозят штабеля бревен. Возле Дома Союзов тоже костры. Сестры милосердия ходят с вазелином возле очереди: не обморозился ли кто. Очередь, которая поднимается по Тверской, огибают Советскую площадь и уходит дальше

по Большой Дмитровке. Это очередь к гробу Ленина.

Умер Ленин. Тело его лежит в Колонном зале. Маршалы революции сменяются у гроба. Великий народ течет мимо его неподвижного лица.

Как-раз над башней, где еще пять лет назад он распахнул алый атлас, чтобы открыть мемориальную доску, растет деревянный куб. Вот он вырос, распахнул двери. На внешней стене его четкая надпись: «Ленин».

Ряды воинских частей стоят на карауле. Сквозь них на руках плывет гроб с телом Ильича на Красную площадь. Ровно в 9 час. 30 мин. утра венки вступили на площадь. Гроб подняли на пьедестал и покрыли его знаменами ЦК и Коминтерна.

Оглашается «Обращение к трудящемуся человечеству», выпущенное Съездом Советов. Траурные колонны идут мимо гроба. Руки дрожат, опуская флаги. Слезы замерзают на щеках. А ветер севера свистит и воет.

В 3 часа 55 минут с гроба сняли покрывавшие его знамена. Колонны остались.

— Смирно!

Войска взяли на караул.

К гробу подходят Сталин с товарищами, Надежда Константиновна, Мария Ильинична.

Впереди идут знаменосцы.

Салют.

Красная площадь поет: «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Речей нет.

Отныне дороги человечества слились на Красной площади, чтобы отсюда течь единым рубиново-красным потоком. Вечный страж и вождь нового человечества лежит здесь. Красная площадь — отныне неистребимый символ коммунизма, дружбы народов.

На II Всероссийском Съезде Советов прогремели огненные слова клятвы Сталина, клятвы всех трудящихся, клятвы, которая прогремела в бесчисленных подвигах, которая создала гигантские заводы, которая создала невиданную мощь Красной армии, невиданное единство трудящихся, невиданный подъем творческого духа:

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам держать высоко и хранить в чистоте великое звание члена партии. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним эту твою заповедь!..»

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить единство нашей партии, как зеницу ока. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!..»

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам хранить и укреплять диктатуру пролетариата. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своих сил для того, чтобы выполнить с честью и эту твою заповедь!..»

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять всеми силами союз рабочих и крестьян. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы с честью выполним и эту твою заповедь!..»

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам укреплять и расширять Союз Республик. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы выполним с честью и эту твою заповедь!..»

«Уходя от нас, товарищ Ленин завещал нам верность принципам Коммунистического Интернационала. Клянемся тебе, товарищ Ленин, что мы не пощадим своей жизни для того, чтобы укреплять и расширять союз трудящихся всего мира — Коммунистический Интернационал!..»

Сталин докладывает XIII конференции большевистской партии в январе, что такое троцкизм и почему надо разоблачить троцкистскую оппозицию. Троцкизм не только отход от ленинизма и попытка пересмотреть основы большевизма, но это прямой мелкобуржуазный уклон. Через три месяца Кремль наполняется делегатами съезда партии. Съезд подтверждает резолюцию партийной конференции, разоблачающей троцкизм. Троцкий продолжает клевету и осенью пытается использовать смерть Ленина, чтобы извратить и историю партии, и роль Ленина в Октябре. Сталин наносит новый сокрушительный

удар троцкизму, публикуя книгу «Об основах ленинизма», где раскрывает учение Ленина как марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Он говорит просто и ясно о том, как делала партия пролетарскую революцию, как учила пролетариат проводить диктатуру над своими врагами и как должно соединяться с друзьями — с крестьянами и угнетенными нациями.

В октябре 1925 года на небе со стороны Исторического музея показались два отряда самолетов по 19 летательных единиц в каждом. Отряды плавно пролетели над мавзолеем. Затем они выстроились в виде красноармейской звезды. Колонны демонстрантов удивленно и радостно любовались на эти 38 самолетов. Нам несколько странно сегодня читать об этом теперь, когда мы уже видим над Москвою тысячи самолетов, когда над нашими головами несутся гигантские четырехмоторные машины и когда быстроходы как бы разрывают небо своим ревом. Но тогда эти 38 самолетов были дивным зрелищем. Вспомним, что в первую годовщину Октября над парадом летал только один самолет.

На мавзолее впервые установлен радиоусилитель. Об этом много говорят на Красной площади.

К концу этого года старое оборудование фабрик и заводов почти целиком отремонтировано. Все фабрики работают. Рабочих в стране 7 миллионов. На октябрьских знаменах радостные надписи:

«Наше хозяйство у довоенной черты».

Однако надо помнить, что капитализм тоже настроил свое производство и тоже подошел к довоенной черте. Англия начинает собирать фронт западных наших соседей: Польшу, Румынию, Эстонию, Латвию, Финляндию. В наших городах еще в 1924 году было свыше миллиона безработных, часть которых и до сего времени не подыскала себе труда. Сельское хозяйство очень мелко, это бесформенный, легко поддающийся уловкам врага, хаос. В стране 5 миллионов кулаков. На 200 хозяйств только одно хозяйство

находится в колхозе. Все эти бесчисленные мелкие хозяйства дают только половину того, что производилось в 1913 году, когда царская деревня почти непрерывно голодала. Много капиталистов и купцов ушло в деревню. Почти половина товарооборота в деревне захвачена ими. Вся промышленная продукция страны стоит 4 миллиарда рублей, и почти невозможно поверить, что через 11 лет она будет составлять 66 миллиардов рублей, т.-е. вырастет в 16 раз. Надо изменять не только сельское хозяйство, но и все хозяйство вообще. Стране нужна крупная индустрия. А для того, чтобы была индустрия, надо много металла. Металл и воля создают машины. Машины — это крепкие границы, через которые не должен переходить враг.

XIV партийная конференция в апреле 1925 года уже заявила, что у нас есть все необходимое для построения социализма. Предатели Троцкий, Каменев, Зиновьев с постыдным единодушием кричат, что построить социализм в одной стране невозможно. Знамена октябрьской демонстрации отвечают трусам и изменникам:

«Под руководством Ленина большевистская партия повела рабочих и крестьян в октябрьские бои! Под руководством большевистской партии рабочие и крестьяне идут твердым шагом к социализму!».

Сталин говорит московскому партийному активу, что в стране имеется около 4 миллионов индустриального пролетариата. Этого, конечно, мало, но, говорит он с легкой улыбкой, это кое-что для того, чтобы построить социализм и оборону нашей страны. Он доказывает с логикой, не вызывающей никаких сомнений, что страна не может и не должна останавливаться. Стране нужны по крайней мере 20 миллионов индустриальных пролетариев, электрификация, высоко развитая металлическая промышленность и соединенное в единый центр кооперированное сельское хозяйство. Стране нужно это получить, и она получит это, добьется этого!

В 1926 году впервые создан хозяйственный план на целый год. 1927 год, год десятилетия Октября, живет и работает по этому вперед созданному плану. Этот год как бы примерка будущей пятилетки, модель ее. Проводится строжайший режим экономии, опять настаивают на увеличении производительности труда, и знамена, вышедшие к Октябрю 1926 года, говорят о производительности труда и о крупной промышленности:

«Производительность труда — это в последнем счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя!».

«Крупная промышленность — фундамент власти Советов!».

На XIV съезде партии оппозиция предлагает отказаться от социалистической индустриализации. Оппозиция применяет всевозможные ухищрения, чтобы собрать больше голосов. К XIV съезду оппозиция приготовила себе новую личину, с которой, вливая, обманывая, она будет ходить вплоть до 1937 года, когда будет прикрывать этой личиной фашистскую ненависть, шпионство и диверсию. Эта личина — двурушничество. В Ленинграде Зиновьев заявит, что он согласен с партией, а тут же будет распространять сборники антипартийных документов, устранять опасных для себя партийцев. В 1927 году оппозиционеры создают уже свою нелегальную фракцию и в дни десятилетия Октября хотят провести в Ленинграде и Москве антисоветскую демонстрацию.

Накануне десятилетия собирается съезд партии. Он изгоняет троцкистов и зиновьевцев, этот передовой отряд контрреволюционной буржуазии.

Октябрь празднует огромные победы рабочего класса. К десятилетию Октября рабочий класс осуществляет семичасовой рабочий день. Крестьянство освобождается от многих налогов. Ассигнованы огромные средства на школы, на жилищное строительство. Частный капитал оттеснен; легкая промышленность в ряде отраслей пере-

шагнула довоенный уровень. И рабочий класс миллионом праздничных огней, песнями, танцами, спектаклями в театрах отмечая эту радость, требует октябрьскими плакатами на Красной площади:

«Железная дисциплина нашей партии есть основа диктатуры пролетариата! Кто нарушает единство партии, тот изменник Октябрю! Долой раскольников и дезорганизаторов!».

В декабре 1927 года XV съезд партии большевиков утверждает директивы составления плана — великого пятилетнего плана — развития всего народного хозяйства. Съезд коммунистической партии одновременно приходит к мысли о необходимости коллективизации сельского хозяйства. Иначе поступить нельзя. Зимой 1927—28 года недобрано 128 миллионов пудов хлеба, хотя страна производит хлеба столько, сколько и до войны. Кулак прячет хлеб. Мобилизуются бедняки и середняки деревни. К весне собирают хлеба на 100 млн. пудов больше, чем в прошлом году, но хлебозаготовки признаются явлением отсталым, как и все сельское хозяйство. Надо создать социалистические фабрики зерна.

Народ утверждает план пятилетки.

Народ начинает его осуществлять.

Пятилетка находит немало недоброжелателей и врагов. Оппортунисты и правые смеются над пятилеткой, предлагая развивать «ситцевую промышленность», обманывают всячески рабочих, чтобы завоевать их доверие, а затем опрокинуть пятилетку, а верхушка буржуазной интеллигенции просто занимается вредительством. Так, в Донбассе затоплены лучшие шахты, испорчены машины. Вредители готовятся встретить интервентов.

Народ отвечает врагам созданием новой технической интеллигенции, самокритикой и огромным увеличением производительности труда. Предполагалось в первом году Великого плана в государственной промышленности продукцию повысить на 21,4 проц., а повысили на 24,3 проц.! В колхозы предполагали, что войдет 564.000 хозяйств,

а вошло 1.400.000! Появляется огромное движение социалистического соревнования. Целые цеха и заводы обвешивают себя ударными. Создают встречные планы, общественные буксирсы, вводится непрерывная неделя в производстве.

Красная площадь. Демонстранты несут знамена пятилетки индустриализации и коллективизации. Уже в мае 1929 года несут плакаты, говорящие о первых успехах в борьбе за индустриализацию страны. Много цифр и диаграмм. Колонны кричат плакатами, речью, песней:

«Долой троцкизм! За единство партии! За семичасовой рабочий день! За индустриализацию! За социалистическое соревнование! Долой правых и примиренцев! Долой кулаков!».

Троцкисты и правые убедили империалистов, что Советский Союз ослабел. Империалисты решают пощупать щтыком, так ли это. В июне 1929 года китайские белобандиты налетели на границы Советов. Образовывается специальная Дальневосточная армия, которая быстрым натиском показывает авантюристам, что Советский Союз умеет и обороняться, и работать.

Через Красную площадь проходят колонны труда и обороны. То они рассказывают о победах пятилетки — цифрами, портретами лучших ударников, карикатурами: «Каучук» рапортует вам, что он окончил пятилетку в два с половиной года. Сокольники смеются над обезличкой, показывая расхлябанный паровоз. Завод «Трансмиссия», говоря, что он выполняет промфинплан на 123 проц., добавляет огромным полотнищем: «Мы строим пятилетку для пролетариев всего мира».

Колонны проходят через Красную площадь, черные, в суровой торжественности. Они направляются к Дому Советов. Там возгласы, и над знаменами надписи: «Вредители, вы хотели разрушить наше хозяйство», «Вредители, вы подготавливали интервенцию». Это суд народа над Промпартией.

То вы видите на трибунах почетных гостей социалистической стройки —

ударников московских заводов. Они смотрят парад: Москва впервые выходит на Красную площадь всеми своими районами сразу, как бы одним шагом. Москва в бесчисленных плакатах и знаменах несет шесть сталинских условий победы. Впереди краснознаменные герои пятилетки: Электрозавод, «Трехгорка», «Динамо». Та самая «Трехгорка», которая известна была ужасными своими казармами, отсталым бытом, грязью. Теперь там большие и светлые дома; на фабрике чисто; в фабричной лаборатории стоят печатные машины, на которых художники пробуют сочетания красок, которые расцветут полным цветом на тканях. «Динамо», которое выпускает теперь огромные подъемные краны, электровозы, которое скоро выпустит первый поезд метрополитена, — «Динамо» несказанно гордится тем, что пять лет назад в красной книге завода появилась надпись посетителя: «Желаю рабочим «Динамо», как и рабочим всей России, того, чтобы промышленность пошла в гору; чтобы число пролетариев поднялось в ближайший период до 20—30 миллионов; чтобы коллективное хозяйство в деревне расцвело и подчинило своему влиянию частное хозяйство, чтобы высокая индустрия и коллективное хозяйство в деревне спаяли окончательно пролетариев фабрик и труженников земли в одну социалистическую армию... — И. Сталин».

11.

5 января 1930 года ЦК партии принимает решение о ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации. Это значит, что будет уничтожено огромное зло в деревне — паразит, едкий, жадный, ненавидящий все живое. В деревню отправляются тысячи коммунистов. Кремль учит их, как надо помочь мелкому крестьянину, чтобы скорей он изжил свои сомнения, свои колебания. 257.000 лучших пролетариев, соединенные в так называемые «рабочие бригады», едут в деревню!

Кулаки пытаются организовать восстания, а там, где нельзя, устраивают саботаж, бьют коммунистов из-за угла, клеветают. Во всем мире буржуазная печать выставляет этих мироедов как мучеников. Папа римский призывает к организации «крестового похода». Охвостья гнилой и состарившейся буржуазной интеллигенции создают в помощь кулаку вредительство и разные партии. Провокаторы, шпионы, вредители бегут к троцкистам, чтобы сообща восклицать о невозможности и вреде для страны коллективизации.

Однако что это такое? Только за один год посевная площадь колхозов выросла почти в девять раз. Половину зерна в стране дают колхозы.

Об этом кричат знамена на Красной площади. Об этом поют демонстранты. Всюду говорят о том, что пущен Сталинградский тракторный завод. Безработицы в стране нет. Частный капитал, как изображает одна карикатура в рядах демонстрантов, идет ко дну, пуская пузыри: «промпартию», «трудовую крестьянскую партию», «союзное бюро меньшевиков». Народ на Красной площади требует:

«Уничтожим кулачество как класс! Развернем шире знамя сплошной коллективизации! Дадим стране новые сотни тысяч тракторов! Машино-тракторная станция бьет и кулака, и мирового капиталиста!».

Это так. Летом 1930 года над миром несется ужасный экономический кризис. В стране Советов нет безработицы. По ту сторону ее границ миллионы безработных. В стране Советов на другой год экономического кризиса отпускается на капитальное строительство семнадцать миллиардов рублей, а в прошлом году отпущено десять, т. е. увеличение на семь миллиардов! Создается Харьковский тракторный завод, Саратовский завод комбайнов. Год охватывает страны Америки и Европы, крестьянство разоряется. А в стране Советов демонстранты идут по улицам, рассказывая о том, что заканчивается в 1931 году 518 крупнейших предприятий и будет 1.040 маши-

но-тракторных станций. Колхозник отныне стал центральной фигурой земледелия. Рабочие Москвы говорят на Красной площади, пересекая ее в дни 14-й годовщины Октября:

«Да здравствует колхозное крестьянство — прочная опора советской власти! Крепче ударим по кулаку!».

И кулак, по-своему, признает эту победу колхозов. Он понимает, что открытой войной не возьмешь, не победишь. Кулак лезет в колхоз, чтобы разорвать его изнутри. Он становится кладовщиком, учетчиком, секретарем. Он лезет в партию. Он ворует, он пользуется любым моментом, чтобы прославить частную собственность. Так же действуют троцкисты и правые — «вползают на брюхе», скуля и визжа о своих ошибках. Троцкий из-за границы инструктирует их, требуя индивидуального террора, требуя смерти, убийства товарища Сталина. В 1932 году троцкистско-зиновьевский центр разрабатывает план убийства любимых вождей народа.

Пятилетка осуществлена в четыре года. Из страны аграрной СССР превратился в страну индустриальную. Полуграмотная, превратилась она в страну сплошной грамотности. Задыхающаяся в океане бесчисленных крестьянских хозяйств, мелких, раздробленных, страна стала обладать крупным социалистическим земледелием. Две трети земли принадлежат колхозам, на этой земле работают 150.000 тракторов! Собирается I съезд колхозников-ударников. Впервые в мире съехались крестьяне, работающие как социалисты, сообща и дружно. Сталин говорит им речь о том, как сделать «колхозы большевистскими, а колхозников зажиточными». Затаив дыхание, ходят крестьяне социализма по Кремлю, осматривают его дворцы, его Оружейную палату, его памятники, выходят на Красную площадь, залитую светом, наполняют своим радостным дыханием мавзолей, нежно глядят на Ленина.

Сбылось! Труд торжествует. Социализм с нами!

Белое и Балтийское моря соединены каналом. Заработал громадный Челябинский тракторный. Ему ответил Уральский завод тяжелого машиностроения. Советские автомобили пересекали Каракумскую пустыню. Советские стратонавты совершают первый полет в стратосферу. Овальный голубой шар виден в небе. Он поднялся в стратосферу на 19.000 метров. Тонет корабль «Челюскин». Экипаж его вышел на непроходимые льды, где еще год или два назад он бы погиб. Но теперь качество советских самолетов таково, уменьше летчиков так высоко, что весь экипаж «Челюскина» спасен. Поезд с летчиками и спасенными, под сплошной гул восторга, несется по всей стране. Летчики и экипаж пересекают Красную площадь. Москва приветствует своих детей, своих воспитанников, своих питомцев, своих героев. И вся страна думает, как Москва, вся страна счастлива!

Между тем по ту сторону границ экономический кризис превращается в затяжное бедствие. Война уже наклонилась над Азией. Япония захватила Манчжурию и везет пушки, чтобы кинуться на Китай, а если можно, то и на Советский Союз. Война наклонилась над Европой. В Германии — фашистская диктатура. Тюрмы и концентрационные лагеря наполнены заключенными — теми, кто мог бы сопротивляться войне. Япония и Германия вышли из Лиги наций. Фашизм поднимает голову во Франции. Ему рабочие отвечают всеобщей стачкой и созданием единого народного фронта. На баррикадах Вены — австрийские рабочие. Они несут поражение. Часть их приезжает в СССР. Шуббундовцы стоят на трибунах Красной площади и со слезами смотрят, как идут радостные, строящие социализм, свободные трудящиеся.

В январе 1934 года XVII съезд коммунистической партии в зале Большого Кремлевского дворца слушает доклад товарища Сталина. Он спокойно стоит на трибуне. В его руках бумаги. Он положил их перед собой и стал спокойно рассказывать, какой была страна и как

она выросла, какими были заводы и как они выросли, какой была деревня и как она выросла.

С'езд, как никогда в истории партии, единодушно голосовал резолюцию, утверждающую великий этап и необыкновеннейший триумф ленинско-сталинской партии: завершение пятилетки и полный успех коллективизации. Подумать только, что еще в 1930 году вы с закрытыми глазами могли перейти Красную площадь: тащился извозчик, лениво изредка проползал автобус да тарактел трамвай. В 1929 году пытались строить в Москве асфальтовые дороги, и даже не мы, а иностранцы. Это не удалось ни немецкой фирме «Ленц», ни американской «Сибрук», настолько уличное хозяйство было запущено и трудно! Теперь через Красную площадь с закрытыми глазами не перейдешь, теперь Москва залита асфальтом, а под Москвой лучшие ударники Донбасса, Казахстана, Закавказья строят лучший в мире метрополитен, эту подземную человеческую реку, которая изгибом своим как бы передразнивает изгиб Москва-реки и Яузы. Велосипедный завод, например, выпустил впервые в 1932 году, два года назад, три тысячи машин, а сейчас их выкатывается в год семьдесят тысяч, да и это мы считаем началом. «Шарикоподшипник» занимает своими цехами 35 гектаров, почти в пять раз больше, чем Красная площадь! Сталь наших пушек — добыта нами; прожекторы, что освещают идущие колонны, — наши; экскаваторы, что роются на площади, выравнивая ее, — наши!.. Наша страна стала страной железа, бетона и алюминия, страной творческого труда, страной дружбы народов!

Из улиц на Красную площадь идут колонны рабочих и работниц. Идут они с недавних пустырей, где теперь построены громадные заводы; они идут из бывших усадеб, где стоят теперь великолепные дома и клубы; они идут из церковных оград, где теперь ясли, школы, библиотеки, институты.

На трибунах — делегаты с'езда. Слева — Сталин, его соратники — Моло-

тов, Каганович, Ворошилов, Орджоникидзе, Калинин... Красная площадь смотрит и слушает.

Говорит лучший машинист Курской дороги. За ним ткачиха. Они говорят, приветствуя XVII с'езд, что нами созданы крепостные форты на колесах — невиданной мощи танки. Мы пропустили над площадью и 500, и 1.000 самолетов, двухмоторных, четырехмоторных, и быстрых, как мысль, истребителей. Перед нами прошли нескончаемой вереницей наши автомобили из нашего сырья.

А самое важное — создан новый человек, который не позволит никому отныне портить землю, который наполнит ее цветами, радостными песнями, счастьем, сталинским счастьем. Созданы кадры социализма!

12

1934 год заканчивается громадной победой: черная металлургия впервые выплавил, что ей должно выплавить было по плану, — десять миллионов тонн чугуна. Страна отныне закована в железо. Отныне тяжелая индустрия отзывается принимающей дотации, она делается безубыточной. Во всем народном хозяйстве социализм занимает 97 частей, только три части принадлежат чужим. Рабочих и колхозников в стране 124 миллиона. Крестьян-единоличников — 37 миллионов. Буржуазии — 174 тысячи, из них 149 тысяч кулаков! Не нужно забывать, что 10 лет назад кулаков в стране было 5 миллионов. А теперь нас могут удивить эти 149 тысяч. Строительство социалистического общества завершается.

VII С'езд Советов выносит решение о проекте новой Конституции СССР. Проект этот разрабатывает Сталин. В этой Конституции должны быть закреплены те завоевания, те всемирно-исторические победы, которые одержала наша родина, руководимая партией Ленина—Сталина. Эта Конституция должна быть самой передовой в мире, самой демократической.

Страна отвечает на это решение трудовым движением, которое получает название стахановского. Появляются люди, находящие и ищущие новые методы обращения с механизмами и машинами. Так приходят и трепещутся в знаменах, в марше народа, в его мечтах и песнях имена Стаханова, Бусыгина, Марии Демченко, Паши Ангелиной!..

Об этих именах говорит на Красной площади 1934 год.

И еще о том, что Троцкий, главарь белогвардейской банды, и его центр, все эти вредители и шпионы 1 декабря 1934 года, под непосредственным руководством Зиновьева и Каменева, убивают в Ленинграде любимого трибуна народа — Сергея Мироновича Кирова.

«Озлобленные остатки умирающего классового врага пытаются подорвать дело социализма! Искореним последние буржуазии!» — говорят гневные возгласы на Красной площади, когда прах С. М. Кирова несут к стене. Знамена склоняются. Трудом, усилением бдительности, беспощадностью к врагам народа — ответят трудящиеся.

В 1935 году пущен московский метрополитен. В этом же году вынесено решение о генеральном плане реконструкции Москвы. Старая Москва исчезает. Надо это исчезновение старого сделать таким, чтобы оно не мешало новому. Надо строить красиво, прочно и весело, надо, чтобы Москва была лучшим городом мира.

Два года назад, в жаркие дни августа, дорожные строители пришли в кабинет Сталина. Большую комнату украшали только три стола: маленький для телефонов, второй — письменный, побольше и длинный стол под сукном и со стульями вокруг — для заседаний. Сталин говорил, что дороги по Москве строят плохо: центр — асфальт, окраина булыжная, а затем, за городом, опять асфальт. К строящимся домам и заводам нет под'езда. Брусчатка плоха, неодинакова по виду... Он показывал образцы гранита с Беломорского канала: годится ли для московских набереж-

ных? Затем сказал, что на стройках занято много рабочих, не умеют их расставить по местам. Этим снижаются зарплаты, заинтересованность рабочих в ударном труде. Через год со Сталиным беседуют о переустройстве Москвы архитекторы. Год назад они перестраивали зал заседаний и пробовали здесь акустику. Теперь они выступают здесь ораторами. Сталин негромко дает им указания о перестройке Москвы. Опять он поражает всех знанием дела, знанием и учетом всех мелочей. Есть увлечение широкими улицами, а для этого надо сносить много зданий. В застроенной части города надо делать улицы не шире 40 метров, а там, где новые улицы, — 60. Он даже о газончиках вспоминает, которые затаптывают. Он заканчивает словами:

— Надо строить по твердому плану!

Теперь есть твердый, Сталинский план переустройства Москвы.

7 ноября 1935 года через Красную площадь снова идут сотни тысяч бойцов. Вместе с трудящимися Москвы мимо ленинского мавзолея, где стоит любимейший вождь, идут колонны бесчисленных наций Союза: украинцы и узбеки, грузины и русские, армяне и белоруссы, строители Севера и Юга, Востока и Запада необ'ятной нашей страны.

Вот из города Ногинска приезжает на октябрьский праздник 71-летняя ткачиха Е. Каванина. 42 года своей жизни она работала на фабрикантов, и вот 18 тысяч рабочих «Глуховки» посылают ее в Москву. Она побывала на канале Москва—Волга, сама открывала ворота шлюзов: «Надавила кнопку, а ворота, большие, тяжелые, сами открылись. И побежала вода». Она осмотрела Кремль. Остановилась у Царь-колокола. Мимо идет С. Орджоникидзе. Старуха к нему: дескать, была на трибунах, манифестациям порадовалась, а вот от товарища Сталина была далеко, очки даже надела, хотела рассмотреть — не разглядела: «Умирать ведь мне скоро, неужели не увижу?».

Орджоникидзе усмехнулся:

— Не умрешь.

Возле выхода, у ворот, догоняет старуху машина. Из машины выходит Сталин. Старуха всплеснула руками, побегала к нему навстречу:

— Ой, кого я повидала!

Сталин улыбнулся и сказал:

— Добро какое. Самый обыкновенный человек.

Старуха разрыдалась:

— Ты наш мудрый, ты наш великий... повидала-таки... Теперь и помирать можно мне:

Сталин сказал:

— Зачем вам помирать? Пусть другие умирают, а вы поработайте.

В 1936 году только один прирост промышленной продукции превышает в полтора раза стоимость всей промышленной продукции царской России 1913 года! Только десять частей из ста крестьянских хозяйств не коллективизированы, т.-е. в колхозах 90 проц. всех хозяйств страны. На полях 400.000 тракторов и 50.000 комбайнов! В деревнях тысячи новых работников: крестьяне — трактористы, комбайнеры, шоферы, крестьяне—заведующие животноводческими фермами, механики. Хозяйство страны едино. Былая пропасть между городом и деревней, между рабочим и крестьянином засыпана, затрамбована, и через эту пропасть идут тракторы, комбайны, автомобили! Вот откуда возникает действительная демократия для трудящихся! Вот почему в стране должно быть всеобщее, прямое и равное при тайном голосовании избирательное право! Вот почему в стране— свобода слова, печати, митингов и демонстраций, неприкосновенность личности и жилища граждан! Вот почему — это право на труд и на отдых, право на образование, на неуклонное повышение материального и культурного уровня масс!..

— Характерная особенность нашей революции, — говорит товарищ Сталин на I Всесоюзном совещании стахановцев, — состоит в том, что она дала народу не только свободу, но и материальные блага, но и возможность зажиточной культурной жизни.

Эти слова подтверждаются бесчисленными голосами всей страны, когда она обсуждает проект Конституции, когда она делает свои предложения VIII Съезду Советов, утвердившему Конституцию. Эти слова подтверждаются бесчисленными деяниями, бесчисленными подвигами ее сынов, преданных и нежно любящих своего вождя, каждое слово которого для них — новый стимул к победам.

Вот, например, Чкалов просит Серго Орджоникидзе в 1936 году помочь увидиться со Сталиным. Чкалов желает сделать полет к Северному полюсу. Сталин говорит полушутливо:

— Зачем лететь обязательно на Северный полюс? Летчикам все кажется нестрашным, — рисковать привыкли. Зачем рисковать без надобности?

Чкалов возражает, что машина «АНТ-25» хорошая, мотор хороший. Тогда Сталин говорит уже серьезно, что условия полета на Северный полюс мало изучены. Надо их изучить и лететь уже наверняка. Наш Союз не об'ятен. Летите через нашу территорию.

— А вот вам маршрут для полета: Москва — Петропавловск-на-Камчатке!

Когда все приготовлено, Чкалов возвращается в Кремль. Он повесил карту перелета и объясняет маршрут. На вопрос Сталина, почему они избрали такой северный маршрут, Чкалов отвечает, что советские летчики должны проникать все глубже и глубже на север.

— Ну, говорите по совести, как у вас там, нет ли червяка сомнения? — спрашивает Сталин, указывая шутливо на сердце: — Все ли в порядке?

— Мы спокойны, товарищ Сталин, — говорит Чкалов.

«АНТ-25» совершает рекордный беспосадочный перелет в 10 тысяч километров.

Через год Чкалов летит в перелет Москва—Северный полюс — Северная Америка. Каждая телеграмма его, сообщающая о перелете, начинается:

— Все в порядке!

— Все в порядке, — говорит страна.

Потому что все знают и понимают: выросла наша советская земля, сплочены мудростью и волею Сталина в единый Советский Союз миллионы и миллионы ее тружеников; на гранитной основе изумительных достижений подымается на новую ступень советская демократия, принявшая и утвердившая к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции самую демократическую в мире Конституцию и с исключительной политической активностью готовящаяся к выборам в Верховный Совет СССР. Вся страна почувствовала свои права и хочет неослабно провести их на деле! И, по законам нашего развития, политическая активность трудящихся вызывает и другие успехи в других областях нашей замечательной жизни. По-стахановски, великим, замечательным трудом встречает страна 20-летие Октября. Рабочие и пограничники, красноармейцы и командиры Рабоче-Крестьянской Красной Армии — все бдительно помогают Сталинскому Центральному Комитету партии и советскому правительству уничтожить шпионов, разведчиков фашизма, диверсантов.

Все знают и понимают: фашистские поджигатели войны гонят человечество к новым испытаниям. В Испании итальянские и германские фашистские палачи истребляют города, сжигают нивы, расстреливают цвет героической нации, наглядно показывая, на какое зверское дело они способны.

Но могучая солидарность с борющимися испанскими братьями царит в благородном сердце великого советского народа. И дружеское объятие Сталина с бойцами испанской армии, которое мы видели на Красной площади, — это объятие всего великого советского народа.

Все знают и понимают, что японские фашистские палачи стремятся зажечь пламя войны на Востоке. Уже пылают, забрасываются бомбами Шанхай, Кантон, Нанкин, гибнут тысячи и тысячи беззащитных, безвинных людей — трудящихся Китая. Война идет кровавыми шагами по Востоку. Ужас поднимается над миром.

Все знают и понимают: фашизм готовит всемирное злодейство — нападение на народы демократических стран, и прежде всего на страну социализма, где социалистическая демократия развернулась со всей своей бессмертной силой, где в строительство жизни, счастливой и свободной, вовлечены миллионы.

Все знают и понимают, что наша Советская страна есть самый верный, самый надежный оплот истинно человеческой культуры и прогресса. Все знают и понимают, что наша страна может дать сокрушительный отпор всем, кто попытается напасть на нашу демократию, на нашу страну, на наш социализм, — тот отпор, сила которого всем врагам трудящихся отлично известна в течение 20 лет.

И в день нашего Октября, в день, который стал праздником всех тружеников земли, к Красной площади, в прошлом бывшей площадью казней, пыток и восстаний, будут обращены упования и надежды всех борцов за новый мир, тех, у которых в странах капитала нет сегодня ничего и у которых завтра будет все!

Под развернутыми знаменами Сталинской Конституции, под знаменами социализма, счастья людей, гордо, уверенно, радостно идет вперед наша великая, славная Родина, родина социализма, родина угнетенных всех стран, родина счастья человечества, что пришло и существует уже 20 лет и что будет существовать вечно!

ПРЕДКИ ЛЕНИНА

(Наброски к биографии)

Мариэтта Шагинян

(Анкеты Владимира Ильича. — Астраханские документы. — Дед, Николай Васильевич Ульянов. — Дядя, Василий Николаевич Ульянов. — Отец, Илья Николаевич Ульянов)

I

Ленин может помочь вам в любом вопросе вашей работы. Только на один вопрос его книги не дадут никакого ответа: Ильич никогда и нигде не рассказывает о себе и своей молодости ни прямо, ни косвенно. Он не сравнивает с собой, не оговаривается личным в связи с чужим. Давая целиком самого себя, свой характер, свою личность в каждой произнесенной и написанной им фразе, давая так ясно и убедительно, с такой почти телесной осязательностью, с таким непосредственным воспроизведением всего своего облика вплоть до интонации, что мы остро переживаем в чтении близость живого человека, Ильича, убеждены, что знаем его и знали всю свою жизнь, — так отдаваясь и воплощая себя в своей речи, он ни разу не обернулся на свою жизнь как на свидетеля, не привел себе на подмогу случая из личного прошлого, не говоря уже о попытке написать свою автобиографию.

Первый естественный источник для изучения его детства и молодости, ссылка на самого Ленина, поэтому отпадает. Но не совсем отпадает. На наше счастье, и Ленину приходилось заполнять анкеты. Создатель русской коммунистической партии большевиков то-

же проходил партийную перерегистрацию и 17 сентября 1920 года заполнил регистрационную карточку. Инициатор всероссийской переписи населения тоже был в 1922 г. переписан вместе со всем советским народом и занес свои ответы на опросный лист.

В этих двух коротеньких рассказах Ильича о самом себе мы находим незаменимую помощь для верного пути к правильной передаче ленинского характера. Прежде чем перейти к тому, что в этих рассказах непосредственно касается нашей темы, сделаем самый беглый обзор всех его анкетных ответов.

На вопрос, какая его основная профессия, Ленин в карточке отвечает: «Литератор», а в переписи повторяет: с двадцатисемилетнего возраста жил литературным трудом и в годы 1897—1917 основным заработком была литературная работа.

Ленин, величайший революционер и политик, считал литературу своей основной профессией. Было ли это случайностью? Все крупные политики древности, великие революционеры новой истории, и Дидро, и Марат, и Маркс, и Энгельс, и Сталин были и есть писатели в полном, профессиональном смысле, — писатели, дорожащие чистотой и весомостью каждого вышедше-

го из-под их пера слова. Они отделяли свою написанную мысль, задумывались с пером в руках. У них — перечеркнутые черновики, корректуры — весь обиход писателя-профессионала. А если покопаться в менее известном прошлом, то увидишь, что предшественникам Маркса, школе физиократов, впервые пытавшимся исследовать не одно только обращение, но производство ка-

литературе видел прежде всего политику, но политику в ее глубочайшем, античном понимании, как важнейшее дело человечества, как управление из рулевой будки историческим процессом. Такая литература не может существовать без ясности, без знания и без волевой направленности. Надо хотеть и знать, чего хочешь, уметь убедить и передать свое хотенье и знание другому, —



И. Бродский. — Ленин в Смольном.

питала, их противники, меркантилисты, дали даже кличку «писатели». Этой кличкой они хотели выразить всю свою иронию по адресу «фантазеров», хотя именно физиократы, обруганные «писателями», и оказались куда ближе и к реальному пониманию экономики, и к будущим боям человечества, нежели меркантилисты, считавшие себя практиками и людьми дела.

Ильич, таким образом, точно выразил то, что не было случайностью.

Если он видел основную для себя профессию в литературе, так это потому, что он, как и перечисленные выше великие литераторы прошлого, в самой

вот условия для того, чтоб стать таким литератором. И, если мы обратимся к детству и юности Ленина, к годам, когда складываются убеждения и характер, коротенький ответ в анкете поможет нам многое понять. Он объяснит, например, чем был вызван вкус Ильича к древним языкам и какую пользу они ему принесли.

На вопрос о языках французском, немецком и английском Ленин в анкете ответил, что знает «плохо все три», а в переписи, где этот вопрос был иначе сформулирован: «На каких языках свободно говорите?», — он написал: «Свободно ни на одном». Мы знаем по кни-

гам и рукописям Ленина, что он пользовался всеми тремя языками с удивительной свободой, чувствовал дух и оттенки слова, находил прекрасные, точные выражения при переводе, гораздо более подходящие, нежели у многих присяжных переводчиков. Мы знаем, что мать Ленина, Мария Александровна Бланк, владела всеми тремя языками и сама занималась со своими детьми. Мы знаем также гимназический диплом Ильича, где имеется особая индивидуальная пометка, что среди всех предметов, усвоенных им с отличным успехом, наибольшую успешность он проявил в древних языках. Значит, к перечисленным трем можно было бы прибавить латынь и греческий. Но не верить Ильичу, считать, что он пишет «неправду из скромности», нельзя. Неправда из скромности — такая же неправда, как и всякая другая, и она чужда Ленину. Он писал то, что думал, — совсем не из желанья преуменьшить свои действительные знания, а из большой и естественной нормы правды, людей полного исторического роста, тех, кого мы зовем сейчас стахановцами.

Насчет образования Ильич ответил, что кончил гимназию в 1887 году и сдал экстерном в университет в 1891 году по юридическому факультету.

Здесь тоже можно подумать, и вот о чем. Сдать экстерном — это большею частью значит быть лишенным возможности сдавать нормально. Не сдаваясь, с необычайным достоинством и хладнокровием, он использует каждую законную возможность отвоевать себе право на сдачу экзамена. Его упорные прошения и ответы на них, переписка министерства народного просвещения с учебным округом, учебного округа с ректором университета, последовательные попытки Ильича получить право на выезд за границу, на сдачу экзамена в одном, потом в другом университете, очень хорошо представленные, кстати сказать, в Центральном музее Ленина, — это одна из интереснейших страниц в биографии Ильича. Простой пересказ текста документов учит нас тому, что

такое достоинство большевика, умение без скандала, истерики и трагедии, запальчивости, унижения и притворной лъстивости, без всякой лжи, без всякой фальши, оставаясь самим собой, заставить противника уступить себе. А противник — всероссийское самодержавие, а тот, кто заставляет его уступить, — юноша двадцати одного года.

Почему Ленин идет на юридический факультет?

Естественные науки его никогда не привлекали. Учителем, ученым, врачом он быть не собирался. Ильича на юридический факультет привлекли общественные науки, право и экономика, — так он ответил сам на вопрос своего двоюродного брата, Н. И. Веретенникова: «Почему ты выбираешь юридический?». Мы видим, что он выбрал факультет, уже наметив себе в общих чертах тот путь, по которому пойдет в жизни.

Дальше, в опросном листе переписи мы читаем очень интересную вещь. В графе о религии Ильич пишет: «Неверующий с 16 лет». Это значит, что до шестнадцати лет он был верующим, и перестал верить уже в том возрасте, когда отпадение от религии происходит сознательно.

В семье Ульяновых только отец, Илья Николаевич, был убежденно верующим, повидимому, до самой своей смерти. Обряды церковные членами семьи исполнялись, праздники соблюдались, но никакого насилия или принуждения в этой области над детьми не делалось. Когда, по словам Анны Ильичны, старший брат, Александр Ильич, перестал верить и на вопрос отца, пойдет ли он в церковь, ответил, что нет, не пойдет, то к этому больше никто в семье не возвращался. Не было попыток воздействия и на Владимира Ильича. Мать не любила ходить в церковь. Обращаясь к фактам, видим, что он перестал верить в бога в год между смертью отца (январь 1886 года) и казнью брата (май 1887 года). Никакие воспоминания современников не могут нам вникнуть в рост и развитие

ленинского сознания так, как эта скудная дата. Она же направит наше внимание и на многие такие обстоятельства, о которых мы без нее, может быть, и не догадались бы задуматься.

И еще есть одно интересное указание в анкете. На вопрос: «Где вы жили в России?» — Ильич отвечает: «В России жил только на Волге и в столицах».

Как-то больно подумать, что Ленин не был там, где сейчас так охотно бывает каждый трудящийся, — на Кавказе и Минеральных, в Закавказье и на северном берегу Черного моря от Батума до Туапсе, на Дону и в Крыму, не видел Киева и Харькова, не летал в Среднюю Азию и на Дальний Восток. Но дело не в этом. Впервые, в очень большом ее значении, встает маленькая подробность: Ильич — волжанин. Он — сын Волги. Отец его родился в Астрахани, старшие брат и сестра — в Нижнем, сам он, младшие сестры и брат — в Симбирске. Учился в Казанском университете, первую ссылку отбыл под Казанью, практиковать помощником присяжного поверенного начал в Самаре. Почти вся Волга охвачена этим кругом.

А ведь Волга — родина лучших русских людей. Чернышевский, любимец Ильича, был родом из Саратова, с Волгой связано имя Радищева. Из Нижнего вышел Горький, первые народные бури — движение Пугачева, Степана Разина — немисливо себе представить вне Волги. Больше того, вся русская история, если взять ее в очень больших клетках, по столетию в каждой, разливается своеобразной песней вниз по течению Волги. Школьные синхронистические таблицы рассказывают об этом очень коротко, но очень сильно.

VIII — IX века — славяне («анты») впервые появляются в верховьях Волги. Отсюда они идут вниз по реке, овладевая

X век — Муромом, Ростовом, Сузда-лем,

XI век — Владимиром;

но, остановленные в своем движении половцами, образуют

XII век — Москву, укрепляются в ней и опять бросаются вниз по Волге.

Навстречу им с юга и юго-востока встает сопротивление татар; в борьбе с «Золотой ордой» проходит целое столетие — XIII-е.

XIV век — отброшенные татарами, русские завоевывают Сибирь и опять идут форсировать Волгу.

На пути встает новое сопротивление — казанских татар. И опять, ими отброшенные, русские переходят

XV век — Уральский хребет, чтобы потом могучей лавиной снова потечь на Волгу. На этот раз они берут Казанское царство, и дальше:

XVI век — Астрахань; и донская, уральская, волжская казачьи вольницы начинают стихийно оседать по берегам реки.

В этой многовековой борьбе за реку, борьбе сверху вниз, с истоков к дельте, русские подчиняют десятки самых разнородных племен и «языков» и проходят через самые несхожие и пестрые культуры, начиная с финских и угорских, кончая болгарской, татарской, казанско-татарской. Волжанин — потомок этой многовековой борьбы, этих разнообразных культурных и племенных воздействий. И Владимир Ильич — типичный волжанин. Универсальность его облика: глубоко-славянское, мягкое, простонародное, такое типичное русское и в то же время способное у любой нашей народности принять черты сходства с ее племенным выражением, так, что узбеки видят его узбеком, турки превращают его в турка, армяне рисуют его армянином, эскимосы делают его эскимосом, у испанцев, у немцев, у башкиров, у белоруссов он похож на испанца, немца, башкира, белорусса и всякий раз остается самим собой, Ильичом, похожим и родным для всех.

А что знаем мы об этом происхождении еще точнее? Кем были его родители? Его дед?

Сам Ленин дальше своего отца ничего не знал. На вопрос об отце он ответил в переписи: «Директор народных

училищ». А уже на вопрос о деде пишет: не знаю.

Ленин помнил только, что дед был из Астрахани, что он был из простых, что отец учился на медные гроши, а кем был дед, как и где он работал, чем особенным отличался, — не знал в точности и не задумывался над этим.

В первые годы после смерти Ленина это незнание было настолько крепко, что даже наиболее сведущий в его детстве биограф, лучше других знавший и помнивший семейные обстоятельства, его старшая сестра Анна Ильинична Елизарова допускала неточности, которые за нею повторяли и другие. О деде Ильича писали, что он был «мелким служащим частной конторы в Астрахани», «мелким чиновником», из него сделали даже «мелкого интеллигента». Писалось, что «отец Ленина происходил из бедной интеллигентской семьи». Потом, вместо служащего и чиновника, стали писать уже вернее: мещанин города Астрахани. Наконец, уточнили по найденным документам, что дед Ленина, Николай Васильевич Ульянов, был астраханским портным.

Истоки рода Ульяновых ведут исследователя в дельту Волги, город Астрахань.

II

Почти в каждом из советских городов, хоть сколько-нибудь значительном, имеется отделение архива, и помещается оно чаще всего в здании какой-нибудь, приспособленной под него, старинной церкви. Сюда, под высокие своды, в уютные уголки разных приделов и ниш, свозят из мокрых, заброшенных подвалов груды всяких дел и документов, начиная от метрических книг и кончая ведомственными журналами. Среди архивных работников есть энтузиасты не хуже любых советских энтузиастов других профессий. Они чувствуют себя и на положении пограничников (всегда у черты розыска истины, защиты и обороны этой истины от досужих фантазий и измышлений); и на положении летчиков, водолазов, геологов, — ныряя в

моря и тучи бесконечного количества неведомого и неразобранного материала; и на положении изобретателей, готовых каждую минуту сделать самое неожиданное открытие. Спокойное и как будто далекое от жизни место, превращается в наших условиях в боевой пост культуры.

За астраханским архивом очень большие заслуги. Разысканы: дом, в котором родился отец Ленина; метрическая запись, по которой установлены дата крещения Ильи Николаевича и фамилии его крестных отца и матери; книга «на записку мастеров», где перечислено множество профессий ремесленников, существовавших в 1834 году¹, и где в списке «портные астраханские мещане» под № 3 значится: «Николай Васильевич Ульянов, внесший налогу «единовременно десять».

Разыскать дом было нелегко. Чтоб его найти, пришлось тщательно за много лет пересмотреть так называемые «ревизские сказки», периодические переписи населения по дому, с хозяевами, чадами и домочадцами, пока не нашелся среди них замечательный документ от 1835 года, сохранивший для нас даже собственноручную, очень крепкую и характерную подпись деда Ленина. Этот документ дополнила вторая ревизская сказка от 1850 года, когда деда Ленина уже не было в живых. К ним прибавились два приказа о «крепостной девке Александре Ульяновой», о которой не известно в точности, кем она доводилась деду Ленина. Разыскан семейный склеп Ульяновых на астраханском «духосошественском» кладбище.

Все перечисленное — лишь первые находки. Архив XVIII века почти не разобран, можно наверняка предсказать, что он даст в будущем немало открытий. Но найти документ — это еще полдела. Главное, как я уже сказала, — суметь жизненно прочитать документ, выжать из его сухости теплый человеческий голос. Правильное чтение доку-

¹ Вот некоторые из них: воскобельные (свечи); золотарные по дереву (киоты); дрожичные (дрожки); грибные (гребни); чеканных дел, резных печатей и т. д.

мента, расшифровка заложенных в нем исторических показаний — это тоже заслуга астраханского архива.

Вот перед нами самый красноречивый из этих документов — ревизская сказка от 1835 года:

ПЕРЕПИСЬ ДОВОЛАДЕНИЯ ЯНВАРЯ 29 1835 ГОДА.

1. Имя и прозвание обывателя, в том городе старжила, родившегося или вновь поселившегося, и его годы.

Астраханский мещанин,
Николай Васильевич Ульянов, 70 лет.

2. Холост или женат, и на ком или вдов.

Женат на дочери астраханского мещанина Алексея Смирнова, Анне Алексеевой, имеющей от роду 45 лет.

3. Много ли детей мужского или женского пола и их имена и лета.

Имеет детей сыновей: Василия 13 лет, Илью 2 лет, и дочерей Марью 12, Федосью 10 лет. Имеет в Астрахани дом, состоящий в 1 части, 1 квартала под № 227, доставшийся ему по покупке от артиллерийской команды лафетного подмастерья Федора Федорова Липаева, на который дом купчей крепости еще не совершено и никаких документов не имеет, кроме платежных квитанций, цену коему объявил 260 рублей.

4. Есть ли в городе за ним дом, иное строение, или место, или земля, им ли построено, или наследственно, или куплен, или в приданое получено, в каком месте в городе и которой номер.

Жительство имеет в означенном доме.

5. В городе ли живет тот обыватель или в отлучке.

Торговых и промысловых занятий не имеет.

6. Какого он промысла.

7. В каких городских или иных службах был или есть.

К сей сказке астраханский мещанин Николай Ульянов руку приложил.

Справка: Дом Ульянова, состоящий в одной части, 1 квартала под № 227 по табели 1831 года, утвержденном г. министром внутренних дел, оценен в 700 рублей.

Повытчик Гусев.

На обороте сказки:

Семейство Ульянова внести в городовую обывательскую книгу с получением в доход города двух рублей пятидесяти копеек. Гласной Абрам..... (неясно).

В городовую обывательскую книгу записано под № 1117. Письмоводитель Смирнов.

Два рубля пятьдесят копеек принял, в книгу записал, квитанцию выдал за № 842, 29 января. Казначей Смирнов.

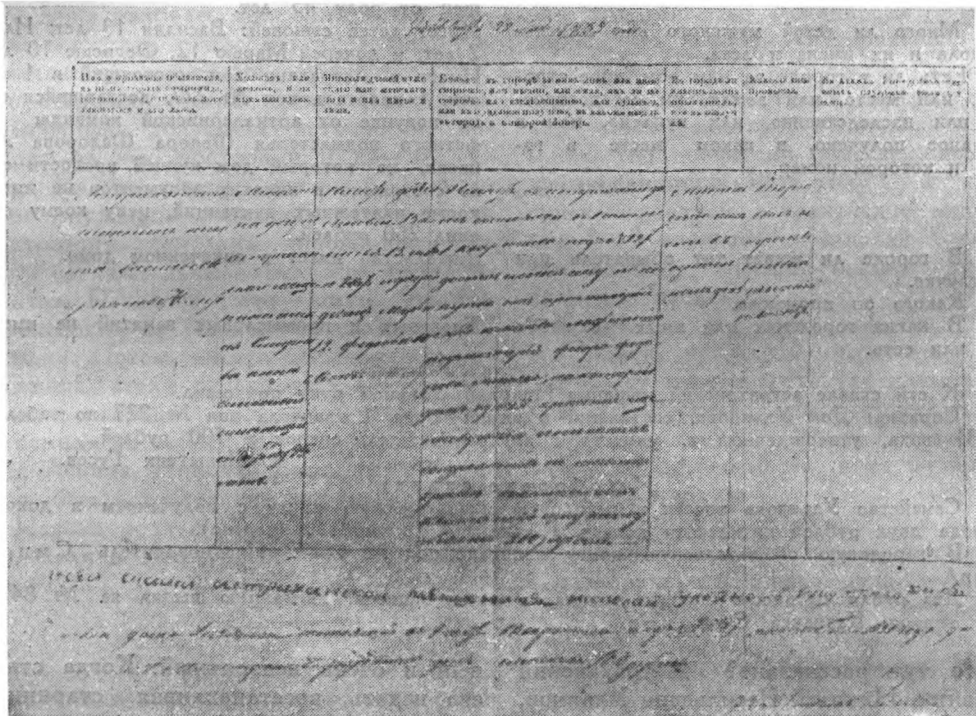
Что тут рассказано? Астраханский мещанин, Николай Васильевич Ульянов, семидесяти лет, проживал в доме, доставшемся ему по покупке от артиллерийской команды лафетного подмастерья, Федора Федоровича Липаева. Купчая на дом не была совершена, видимо, по бедности покупателя и не слишком большой требовательности продавца дома, согласившегося даже продать его в рассрочку, потому что при переписи новый хозяин предъявил не одну, а несколько платежных квитанций. Желая уменьшить обложение, Ульянов показал на переписи и уменьшенную цифру стоимости, а «повытчик Гусев» сделал поправку, что цена этому дому на самом деле не 260, а 700 рублей. Но, как ни проверяй разницу в несколько сотен рублей, дом был деше-

вый и очень невзрачный. Когда стали его искать, восстанавливая старинные обозначения «части», «квартала» и номера, то нашли его на так называемой «Косе», Казачьей улице, а сейчас улице Степана Разина, под номером 9, где он и сейчас стоит. Правильнее сказать (к стыду астраханского горсовета!), стоял до 1935 года, потому что в новом виде, перестроенный, заштукатуренный, выкрашенный в розовое и забранный под консультацию здравотделом, даже не потрудившимся прибить к нему мемориальную доску, этот дом уже ничем не похож на ульяновский. У нас, на счастье, сохранилась фотография 1935 года, и по ней мы можем его показать в том самом виде, в каком он был, когда купил и обжил его дед Ленина, родился и жил в нем восемнадцать лет отец Ле-

нина и много лет спустя ездила мать Ленина со старшими детьми навестить свою свекровь. Коса, то-есть намытая Волгой песчаная отмель под «Заячьим бугром», гористой частью Астрахани, где высится самый город, была местом поселения астраханской бедноты. Она застраивалась лачужками ремесленников, отставных солдат, пенсионе-

письмоводитель и казначей; есть документ о том, что отец Анны Алексеевны был крещеный калмык), старший сын Василий 13 лет, дочь Марья 12-ти, Федосья 10-ти и последний сын Илья двух лет.

У бедных людей, рабочих и ремесленников, в обычае жениться рано. Брак на заре жизни и естественнее, и



Ревизская сказка за 1835 год с собственноручною подписью деда Ленина, Николая Васильевича Ульянова.

ров государства, военных матросов. Купленный Ульяновым у «лафетного подмастерья» домик на Косе был, по тогдашнему обычаю, в полтора этажа — нижний полуподвальный, каменный (в нем жили хозяева) и верхняя деревянная надстройка (сдававшаяся в наем).

Ульянов жил в этом доме не один, а с семьей. Членов семьи было пятеро: жена, Анна Алексеевна, урожденная Смирнова (фамилия, встречавшаяся в Астрахани необычайно часто, о чем говорит даже разбираемая нами «сказка», где приложили руку двое Смирновых —

еще тем хорош, что позволяет «поставить на ноги» детей. Поздние браки в народе встречаются редко, разве что у вдовца с детьми или у тех племен, где за невесту надо вносить «калым». Между тем, если присмотреться к возрасту на нашем документе, окажется, что Ульянов женился поздно и был старше своей жены на целых 25 лет. Какая тому причина? По бумагам сн вдовцом не значится. Ни калеккой, ни даже болезненным человеком его считать нельзя, потому что старик Ульянов, женившись на шестом десятке, совсем по-па-

триарши прижил четырех детей, а последнего, — как в народе говорят, «поскребыша», Илью, — уже в таком возрасте, когда люди большей частью и не помышляют о детях, — шестидесяти семи лет. Это значит, что Николай Васильевич Ульянов сохранил себя здоровым и неистраченным до преклон-

от рабства, проживающую у Астраханского купца Михайлы Моисеева дворовую девку Александру Ульянову причислить по ее желанию в астраханское мещанство и для щету взнести в окладную книгу на 1825 год, о чем предписать Астраханскому уездному казначейству и сему Магистрату указами с тем последнему, чтобы взискал с нее, Ульяновой, за употребленную в Палате по сему делу вместо гербовой простую три листа бумаги деньги три



Дом деда Ленина, Николая Васильевича Ульянова, где родился и жил до 18 лет отец Ленина, Илья Николаевич. Астрахань, улица Степана Разина (бывш. Казачья), д. № 9.

ного возраста и женился с тем, чтобы иметь семью и детей.

В чем же секрет такой необычно поздней для трудового люда женитобы? Ответ нам подсказывают два других документа, найденные в астраханском архиве.

1. Приказ № 698.

Указом Астраханская Казенная Палата от 24-го минувшего марта с № 1174-м сему Магистрату прописывая оная Палата по выслушании сообщении Астраханского Губернского Правления от 13-го марта за № 3894-м, почему оная Палата определила: отсужденную

рубли отправки для причисления в доход казны в здешнее уездное казначейство, которое обязано деньги сии до поступления в казну считать по ведомству сего Магистрата в недоимках, приказали: с прописанием одного указа, тебе, старосте Смирнову, дить сей приказ и велеть помянутую девку Ульянову причислить в здешнее мещанство на основании одного указа оной Палаты и взискать с нее за негербовую бумагу 3 листа три рубли, взнести при сообщении сего Магистрата в здешнее уездное казначейство немедленном времени.

Апреля 21 дня 1825 года.

Ратман Иван Чучин.

В должности секретаря Дмитрий Козмин.

Повытчик Егор Петров.

II. Приказ № 902.

Указом Астраханское Губернское Правление от 10-го минувшего марта под № 3891-м о причислении в здешнее мещанство отсужденную от рабства дворовую девку Александру Ульянову приказали означенную девку Ульянову отдать ее тебе, старосте Смирнову, при приказе, которая при сем и посылается, и велеть написать о ней в двойном числе ревизскую сказку, представить в сей Магистрат при рапорте.

Мая 14 дня 1825 года.

Ратман Воронов.

Александра Ульянова, «отсужденная от рабства», была крепостной. Она была приписана к мещанскому сословию и, повидимому, выкуплена на волю мещанским старостой Алексеем Смирновым, тестем Николая Васильевича Ульянова. Если найдутся документы, подтверждающие родство Александры Ульяновой с дедом Ленина, то очевидно, что и Николай Васильевич происходил из крепостных. В Астрахани коренных русских фамилий было мало. Очень многие произошли в ней от пришельцев, от крещеных калмыков и татар, и от выкупивших себя на волю оброчных крестьян. Крепостные с'езжались в Астрахань потому, что здесь имелось множество промыслов и помещику выгодно было отпустить сюда своих крестьян. Выучившись ремеслу и начав какое-нибудь дело, оброчный из году в год посылал своему барину деньги (оброк). Но, чтоб в городе жениться и обзавестись семьей, надо было иметь оседлость, то-есть недвижимость или заведение, принадлежать к сословию, словом, быть хозяином самого себя. А ко всему этому для крепостных крестьян, кроме выкупа себя на свободу, пути не было. И если Николай Васильевич Ульянов был действительно крепостной, то его поздний брак объясняется очень просто. Портной Ульянов, плативший помещику оброк, долгим, тяжким трудом, из года в год, сколачивал еще и копейку за копейкой на выкуп своей «души», чтобы положить начало первому, самому естественному, законному, но и самому трудному для подневольного человека делу — семье. Он хотел дать жизнь детям, которых у него не сможет отнять каприз помещика.

Сухой документ говорит об очень крепкой воле, о здоровой жизненной силе, о невероятном упорстве деда Ленина, с каким он добился цели своей жизни, лишь на шестом десятке обзаведясь семьей и очагом. Его сын Илья, так же, как и его внук, Владимир, не любил вспоминать о своем прошлом и почти никогда о себе не рассказывал. Но один из случаев раннего детства ему ярко запомнился, и он об этом случае рассказывал.

Отец дал ему гривенник и послал купить в лавочке на пятак чаю. Если вспомнить, что старик Ульянов умер, когда Илье Николаевичу было 5 лет (в воспоминаниях Анны Ильиничны и Марьи Ильиничны сказано — 7 лет, но, по хронологии ревизских сказок, не всегда, впрочем, точной, это неверно), то малышу могло быть самое большее года четыре-пять. Шел дождик, грязь была страшная. Возвращаясь с чаем в одном кулачке и со сдачей в другом, малыш упал в лужу. Чтoб выбраться, ему пришлось пустить в ход кулачки. Придя домой, он долго стоял за дверями, весь мокрый и грязный, не смея войти и боясь, что отец будет его ругать за перепачканную покупку¹.

Как-то странно себе представить семидесятилетнего отца, больше похожего по возрасту на деда, ругающего своего четырехлетнего сынишку не за провинность, а за беду, но ведь мы и не знаем, ругал ли он его, а знаем только, что мальчик боялся отдать перепачканную покупку. Здесь оказалась, быть может, крестьянская черта — почитанье великим грехом уронить хлеб в грязь или наступить на него ногой, черта, где экономика (нужда) переходит в этику (уваженье к пище как к условию и продукту труда). Ведь мальчик не рассыпал и не потерял чай, а только испачкал. Ясно видно по этому рассказу еще и другое. — что Ульянов до последних лет своей жизни жил в бедности. Так все ближе и ближе узнаем мы обстоятельства жизни деда Ильича, предста-

¹ Приведено А. И. Елизаровой в «Юбилейном сборнике Пензенского губернского земельного управления», посвященном памяти Ильи Николаевича и изданном в Пензе в 1926 году.

вляем себе его беспросветный, упорный труд по подвалам, согнутую спину, терпеливые руки, кривившие портняжьими ножницами бесконечную материю заказчиков.

III

Но мы еще не все вычитали из документов. Каждая семья, если изобразить ее историю графически, имеет свою «кривую развития». Мы имеем полное право, уже по тем документам, которые найдены в Астрахани, считать родоначальником ульяновской семьи именно деда, Николая Васильевича, и нарисовать эту «кривую семьи» начиная с его жизни.

Почему мы имеем такое право? Потому что одним из признаков близости к истоку рода служит еще не вполне установленное правописание фамильного прозвища, которое лепится не к одному единственному человеку, а скрепляет собою весь его род. Астраханские документы показывают, что дед Ленина такого вполне окрепшего фамильного прозвища еще не имел, оно допускало в официальных бумагах целых три различия. В «записке мастеров» его фамилия У л ь я н и н о в, в метрической книге У л ь я н и н, а в ревизской сказке У л ь я н о в, и сам он расписался Ульяновым. Если вспомнить, что его сыновья всюду и всегда записывались уже Ульяновыми, то-есть в их время фамильное прозвище окрепло и перестало восприниматься приблизительно и «как угодно», — то будет ясно, что дед Ленина получил фамильную кличку или первый в роду, или в ближайшем к себе поколении. Итак, что же это за «кривая семьи» идет от него? Он умер в бедности, портным. Его сын, Илья Николаевич, умер в очень скромном достатке, директором народных училищ. Его внук, Владимир, стал Лениным.

Мы в этих набросках даем материал не социальный, не общественный, не политическую биографию Ленина, как-раз наиболее разработанную. Наша задача—сообщить, какими чертами и особенностями участвовала в складывании характера Ленина его наследственность со стороны отца (тема о материнской

линии — особая). Ответ напрашивается сам собой: Ильич — потомок т р у ж е н и к о в, он вышел из поколения людей эксплуатируемых, а не эксплуататоров. Но когда я выше упомянула о «кривой восхождения», то имела в виду своеобразие той трудовой наследственности, какая из рода в род перешла к Ленину, потому что род Ульяновых своеобразно стремился к восхождению, и это восхождение было совсем не типичным. Оно ничем и никак не походило на обычное выдвигание крестьянской семьи в буржуазную семью. Важно ли это отметить будущим биографам Ленина? Думаю, что важно. Для примера возьмем две типичных крестьянских семьи, проделавших путь развития в буржуазные семьи при почти одинаковых исходных условиях: семью Сапожниковых и семью Гете.

Имя Сапожниковых в Астрахани знал каждый мальчишка. В Астраханской картинной галерее до сих пор висит целая фамильная выставка Сапожниковых, начиная с родоначальников — крестьянина и крестьянки, писанных в монументальной фламандской манере, в необычно плотных, добротных деревенских одеждах — кафтане и сарафане, и кончая последней в роде щеголихой, умершей гдо-то в Париже.

Петр Сапожников пришел в Астрахань из Вольска бедным купцом, сыном крестьянина. А его правнуки уже принимали в гости последнего царя, Николая Романова, причем принимали так пышно, что сравниться с ними не мог бы ни один вельможа царского двора. Если, по некоторым общим чертам — по торговому значению, положению ниже уровня океана, стихийному росту в конце восемнадцатого века — Астрахань можно было бы назвать Южным Амстердамом, то Сапожниковы могли бы войти в историю капитализма как русские Фуггеры. Через два поколения потомкам бедного крестьянского сына принадлежали десятки тысяч десятин земли и воды под рыбными промыслами, сотни и тысячи пароходов, барж, плашкоутов, прорезей, рыбниц, неводников, морских лодок на Волге, лучшие дома и конторы в городе и десятки мил-

лионов в банках. Сапожниковы разбогатели «на рыбе». Кривая их восхождения — это типичная капиталистическая кривая, где есть все — и первоначальный грабеж, обман, хитрость, именуемая удачей, и ловкачество, а главное — умение заставить работать на себя других, точь-в-точь так, или еще гораздо лучше, чем тебя самого заставляли работать твои хозяева. Богатство Сапожниковых нажито на местной дешевой рабочей силе, смирных и безропотных калмыках. Весь секрет этого богатства лежит в цифрах: еще в самом начале девятнадцатого века на Сапожниковых работало около 12.000 постоянных и около тысячи поденных рабочих.

Такова одна восходящая кривая. Петр Сапожников, выходец из народа, на горбу которого поднимались и богатели помещики, сам полез на этот горб и всей силой своего таланта и энергии нажился на нем еще больше, чем наживались его прежние хозяева. Это типичный кулак, ставший капиталистом.

Другая кривая восходила на много лет раньше в иных исторических условиях и в иной среде. Но пусть лучше расскажет о ней маленькая старомодная книжка, носящая штемпель библиотеки симбирской гимназии. Год ее издания — 1876; называется она «Гете в молодости», сочинение Иоганна Шерра; и вполне может быть, что эту самую книжку перелистывали пальцы ученика гимназии, Владимира Ульянова, прочувшегося в Симбирске с 1879-го по 1887 год и пользовавшегося гимназической библиотекой. Итак, слово принадлежит благодушному и вольнолюбивому, умеренно-демократичному историку литературы, Иоганну Шерру. Вот что он рассказывает:

«... Сын тюрингерландского кузнеца, Фридрих-Георг, вступая в 1684 г. во Франкфурт через Бокенгейрские ворота с ножницами и утюгом и едва волоча усталые ноги по площади Россплатцу, был далек от предположения, что на этой самой площади его внуку воздвигнут памятник из камня и металла. Фридрих-Георг Гете был ловкий и искусный портной-подмастерье. Он может быть без преувеличения назван человеком бы-

валым: он вдоволь насмотрелся на мир внимательными глазами и наслушался его открытыми ушами; вдоль и поперек изъездил священную римскую империю немецкой нации, уже значительно подточенную, и прожил несколько лет во Франции. Лучшее, что он вынес из своих путешествий, — это величайший дар нравиться девицам и женщинам. Нечего говорить, как эта способность выдвигает человека на его жизненном пути. Поступив подмастерьем к портному Лутцу, он познакомился с его дочерью, Анною-Елизаветою... и в скором времени успел приобрести ее расположение. В 1687 году он женился на ней, и, получив от города право гражданства, а от цеха портных звание мастера, он перевел в свой дом все дела своего тестя. Жена принесла ему пятерых сыновей, до которых нам, впрочем, нет никакого дела. В 1700 году Фридрих-Георг овдовел и в продолжение пяти лет оплакивал свою жену. Вздумай он оплакивать ее до конца своей жизни, его назначение — быть дедом величайшего немецкого поэта — не было бы выполнено... Надо думать, что «мастер ножниц и иглы», достигнув 50 лет, еще не утратил своих привлекательных качеств, по крайней мере так казалось хорошей вдовушке Корнелии Шельгорн, владельнице гостиницы в «Вейденгоф». Не долго думая, Фридрих-Георг Гете во второй раз решился попытать счастья брака и преобразился из портного в содержателя гостиницы. После 25 лет счастливой жизни со второй женой он умер в 1730 году в преклонных годах. От Корнелии он имел троих детей; двое старших умерли раньше отца; третий же Иоганн-Каспар (будущий отец Гете. — М. Ш.), родившийся в 1710 году, сделался наследником материнского состояния, также как и части Лутцкого по смерти своего сводного брата...».

Каким несхожим «духом» веет от двух исторических портных — деда Гете и деда Ленина! Правда, это две разные эпохи, но промежуток во времени скрадывается отсталостью России от тогдашней Европы, и мы можем сравнивать обе эпохи без особой натяжки. Портной Гете не был кровопийцей, не

ездил наживать на черных или желтых рабах в колонии, не отдавал денег в рост, не торговал. Но этот ремесленник, «округляя капиталец» вовсе не только при помощи удачных женитб, хотя даже и его дети были неотделимой от имущества статьей, рождались как «наследники», каждый со своей частью, и обе матери — со своими «материнскими состояниями», — этот удачливый ремесленник был типичным мелким бюргером, становящимся постепенно средним уважаемым бюргером, потому что на него тоже работают чужие руки, правда, замаскированные лживой патриархальностью, работают ученики, подмастерья, подручные, все те, кого цеховая система вынуждала работать на мастера. И опять можно сказать, что благосостояние портного Гете выросло на горбу его собственного сословия.

В истории семьи Ульяновых с такими способами восхождения мы не встречаемся. Больше того, если мы сравним достаток, оставленный по наследству потомкам, от деда к внуку, то нас поразит одна черта, о которой как-то никто из нас не задумывался. Вот умер дед Ленина, портной Ульянов, оставив четырех детей и вдову безо всяких средств и единственно только под собственной крышей убогого домика на Косе. Вот умер отец Ленина, директор народных училищ Ульянов, оставив шестерых детей и вдову без капитала, единственно только с правом на пенсию и под собственной крышей деревянного дома на Московской улице. И вот умер сам Ленин, не оставив ни состояния, ни дома, не оброста сколько-нибудь имуществом. Были у него обыкновенные часы на старом ремешке, они сейчас висят в Московском музее Ленина; была шуба, ношенная в последние годы, — она тоже там висит, и вы видите, что шуба хорошая и солидная, с котиковым воротником, но заштопанная в нескольких местах Надеждой Константиновной; было обыкновенное жалование — председателя Совнаркома и обыкновенная «казенная» квартира с «казенной» мебелью. Когда бывш. управделами Совнаркома Бонч-Бруевич вздумал было с 1 марта 1918 года повысить Ильичу без его ве-

дома жалование с 500 до 800 рублей, он получил за это от Ленина жестокий нагоняй. Нужных книг у Ильича тоже под рукой не было, даже словарей, оказывается, у него не было «собственных», и, будучи уже председателем Совнаркома, он просит Румянцевский музей для справок на один день прислать ему:

«Два лучших, наиболее полных словаря греческого языка, с греческого на немец., франц., русск. или английский.

Лучшие философские словари, немецкий, кажется Эйслера; английский, кажется Болвина (Bolwin); франц., кажется Франка, (если нет поновее). Русский какой есть из новых (Радлова и др.)...»

и, заканчивая перечисление требующихся ему книг, Ильич приписывает:

«Если по правилам справочные издания не выдаются на дом, то нельзя ли получить на вечер, на ночь, когда библиотека закрывается. Верну к утру».

А насчет коллекций и дорогих сердцу семейных предметов, то были у Ленина деревянные резные шахматы, выточенные отцом Ленина. В эти шахматы, бывало, играла в отцовском кабинете почти вся семья Ульяновых, — и девочки, и мальчики, и сам Илья Николаевич были страстными шахматистами. Ильич очень любил эти шахматы и возил их с собой во всех скитаньях. Но в Галиции во время войны, когда он был арестован, в числе прочих вещей пропали у него и эти шахматы.

Когда мы стоим перед его вещами в музее, узнавая мелкие подробности его жизни, и у нас сжимается сердце и думаешь про себя: «Милый, родной Ильич», — то это не сентиментальность, как и у самого Ленина простота его быта, неимение собственности, бережливость в одежде вовсе не были чертами сентиментальной «бедности». Они произошли вовсе не из-за отсутствия времени, то-есть, что Ильичу некогда было обзаводиться; и не из-за его

скитаний, хотя он почти всю жизнь прожил в скитаньях. В Ильиче это его коренное, подлинное, новое человеческое свойство не обраться и не накапливать ничего за счет других, — коренная черта характера, осознанная еще в молодости и превратившаяся в убеждение. Ильич очень любил, как и его мать, похозяйничать на земле, покопаться в огороде, любил сельские работы, и когда мать его купила на деньги, вырученные от продажи симбирского дома, небольшой хуторок Алакаевку под Самарой, увлеченный Ильич не на шутку принялся было в этом красивом земном уголке хозяйничать. Но он очень скоро бросил это дело. Позднее Ильич сам объяснял, что не мог продолжать возиться с землей, потому что отношения с соседями-крестьянами начали портиться и перестали быть нормальными. Сотни людей, именующих себя специалистами, на месте Ильича не заметили бы перемены взаимоотношений или были бы менее щепетильными и, «скрепя сердце», терпели бы эту перемену. Сотни других пустились бы уверять и показывать крестьянам, что они им «в душе» остаются «товарищами» и ровней. Но Ильич настолько не ощущал себя собственником, до того не обладал способностью спокойно принимать наемный труд другого человека, что для него сложившееся в Алакаевке положение барина и мужика было прежде всего ненормальным и неестественным явлением. И он его тотчас же прекратил. Эта черта, конечно, глубоко личная и самобытно-ильичовская. Но подобно тому, как в торжественно-чинных залах веймарского дома Гете, где собраны драгоценные коллекции поэта, невольно припомнишь его отца Иоганна-Каспара, страстного коллекционера, и деда-портного, сумевшего «округлить капиталец», и припомнишь как некоторую предпосылку для развития в Гете бюргерской способности собирать и накапливать, — так и в ильичовском неумении и нежелании пользоваться чужим трудом есть кое-что, полученное им по наследству и от деда, и от дяди Василия, и от отца, — предпосылки для возникновения

большого характера, для рождения нового человека.

Дядя Ленина, Василий Николаевич, по возрасту был вторым представителем ульяновского рода, и о нем мы знаем гораздо больше, чем о старике Ульянове. Василию было семнадцать лет, когда умер отец, а младшему — Илье — пять. Он заменил, поэтому, меньшему брату и отца, и воспитателя. Анна Ильинична, рассказывая об Илье Николаевиче, пишет:

«Образованием своим он обязан старшему брату, Василию Николаевичу, которому пришлось отложить горячие мечты об учении и поступить на службу, чтобы содержать семью. Но он постарался дать брату то, чего ему не удалось достигнуть самому, содержал его в гимназии, а затем поддерживал и в Казанском университете, пока Илья Николаевич, с детства привыкший к труду, не стал содержать себя сам уроками. С большой благодарностью вспоминал всегда Илья Николаевич о брате, вполне заменившем ему отца, и детям говорил, как он обязан брату»¹.

Из астраханских источников можно установить, хотя очень общо и сжато, но все же полностью, весь круг жизни Василия Николаевича.

Оставшись после смерти отца единственным кормильцем семьи и расписываясь на бумагах за неграмотную мать, он начинает служить с юности и служит до самой смерти, сперва соляным обездчиком, потом приказчиком у тех же хозяев — «Братьев Сапожниковых». Служба не дает ему ни зажиточности, ни «чинов», но, повидимому, он был старательным, исправным и честным работником, потому что под старость получал от своей фирмы небольшую пенсию. Когда Василий Николаевич умер, его сослуживцы вкладчину поставили новую плиту на трех прежних плитах семейного ульяновского склепа и сделали на ней такую надпись:

«Здесь покоится прах астраханского мещанина, Василия Николаевича Ульянова, скончался 12 апреля в 4 ча-

¹ «И. Н. Ульянов и дело 1 марта». Сборник Истпарта, Госиздат. 1927, стр. 32.

са пополудни 1878 г., жития его было 60 лет».

Подобной надписи не придумает ни жена, ни дети. Как ни проста и бесхитростна эта жизнь (сослуживцы назвали ее «житием»), в ней есть своя особенность. Василий Ульянов не женился, не имел детей. Мы не знаем, кто закрыл ему глаза после смерти. Сохранилась его карточка. На ней дядя Ле-

люди вывел братишку, выполнил долг — значит не зря прожил), что вам как-то близок и мил становится весь его некрасивый и неромантический облик.

Но, когда увидишь, в каких условиях проходила эта его «линия жизни», начинаешь глубоко уважать Василия Ульянова.

Мы уже знаем, что ему очень хотелось учиться. В годы его молодости это



Памятник Василию Николаевичу Ульянову на семейной могиле Ульяновых в Астрахани, поставленный его сослуживцами.

нина сидит, скрестив руки, как посадил фотограф, разряженный, в клетчатой жилетке и модном сюртуке, оттянув из рукавов накрахмаленные манжеты. Густо напояженная и подстриженная прядь волос закручивается над ухом. Вид у него истовый и парадный, но сквозь все это смотрит такое простое, такое наивно-крестьянское лицо человека из народа, и в напряженно глядящих глазах такая своя, хоть и неосознанная, «принципиальность» (жил не для себя, выросил, образовал, в

желанье учиться совпало с потребностью общества в грамотных людях, и в самом воздухе было нечто, поощрявшее хотенье учиться. Просматривая историю русской школы с петровых времен, видишь, как в ней периодически наступали короткие «весны» для способных детей из простого звания. Как только государство начинало нуждаться в «кадрах», будь это учителя или фельдфебели, чиновники или врачи, управляющие или техники, — рогатки, мешавшие народу учиться, слегка приподнимались, в воздухе чув-

ствовалося «веянье», дышать становилось вольнее, и сквозь рогатку проскальзывало некоторое количество даровитых людей из народа. Потом рогатка падала, кому-нибудь рассекла при этом лоб, и начиналась реакция.

Вспомним те два приказа, в которых говорилось об отчужденной от рабства Александре Ульяновой. На первом из них целых три подписи: ратман Чучин (запомним: «ратман»), «в должности секретаря» Козмин (запомним: «секретарь») и повытчик Петров (запомним: «повытчик»). А что передает этот приказ?

Указом Астраханская Казенная Палата от 24-го минувшего марта с № 1174-м сему Магистрату прописывая, оная Палата по выслушании сообщение Астраханского Губернского Правления от 13-го марта за № 3844-м, почему оная Палата определила...

Не очень-то ясно. Посмотрим второй приказ:

Указом Астраханское Губернское Правление от 10-го минувшего марта под № 3894-м о причислении в здешнее мещанство отсужденную от рабства дворовую девку Александру Ульянову приказали означенную девку Ульянову отдать ее тебе, старосте Смирнову, при приказе, которая прч сем и посылается, и велеть написать о ней в двойном числе ревизскую сказку, представить в сей Магистрат при рапорте.

Налицо перед нами две бумаги от 21 апреля и 14 мая. Их номера — 698 и 902. Между первым и вторым прошло 23 дня. За 23 дня выпущено, по видимому, еще 204 приказа. А сколько же в этих новых приказах ссылок на указы и рапорты, если в наших двух по единственному нехитрому делу Ульяновой имеются ссылки на указ от 24-го марта № 1174, на сообщение от 13 марта № 3894, окладную книгу на 1825 г., указы казначейству и магистрату «с прописанием онного указа дать сей приказ», написать «в двойном числе ревизскую сказку» и представить ее «при рапорте». Рядом с этими приказами и указами просто какой-то случайностью кажется живая девушка, которая «при сем посылается».

Время думских дьяков, в приказах поседельных, оставило после себя приказный словарь. К нему прибавились сло-

вечки нового века, словарь смешался, магистрат с казенной палатой, секретарь с повытчиком, канцелярская тарабарщина перестала быть вполне понятной даже тому, кто ее пишет, — это перед нами страшная, громоздкая, отжившая, средневековая канцелярия николаевского времени.

А нужда в ратманах, секретарях и повытчиках все растет и растет. Или, вернее, время требует смеси этих ратманов и повытчиков, держащих людей под гипнозом неразберихи, время нуждается в счете и ясности, в грамотном и толковом письмоводителе, счетоводе, управляющем, технике, экономе. Огромные барские имения шлют на выучку крепостных, чтобы иметь грамотную контору; быстро растущие фабрики выписывают иностранцев; государству нужны чиновники, а где их взять? Дворяне учатся туго и высокомерно, и вот тут-то и приходится ослабить рогатки и допустить к образованию поповичей и мещан, то-есть вчерашнего крепостного.

Так случилось и в Астрахани. Ленивая и вялая жизнь гимназии, — где ученики по большей части сидели на второй и третий год, к окончанию доходили единицами, а из окончивших в университет не поступал никто, — стала подхлестываться целым рядом мероприятий. Учебный округ начал вдруг «поощрять» учителей и директоров за успехи учеников, «объявлять благодарность» за успешность целого выпуска, «представлять к награде» за образцовое состояние всей школы. Заинтересованные директора и учителя в свою очередь «заинтересовались» в учениках, и способные мальчики из простого звания стали для них «интереснее» Митрофанов с громкими фамилиями и состояниями. Просматривая архивы астраханской гимназии, впервые встречаемся с «субсидиями» бедным, но хорошо учившимся мальчиком (Илье Ульянову дважды было выдано по 25 рублей, деньги не малые по тому времени, если сравнить их с тем, что за право учения в гимназии платилось 3 рубля в год, а одной вдове-чиновнице с двумя детьми назначили пенсию в 28 рублей в

год¹. Встречаемся и с таким поощрительным фактом, как отправка в округ лучшего сочинения ученика с одобрительным отзывом директора. (Делалось это очень редко, безоговорочных похвал почти не было, и тем важнее для нас, что в число одобренных попало и классное сочинение Ильи Николаевича, — но мы опять забегаем вперед.) Вот на какое время пришлась молодость двух братьев Ульяновых. Астрахань сороковых годов была куда ярче и демократичней дворянского Симбирска семидесятых годов! Город в царской России тоже менял свой облик, имел на протяжении столетия и свои приливы, и отливы, и часто деды жили в лучших общественных условиях, нежели их внуки, попавшие в полосу реакции. Астрахань восьмидесятых годов, по письмам Чернышевского, кажется нам глухой азиатской околицей, чем-то вроде пыльного и сонного восточного базара с лениво бредущими продавцами. Но в начале XIX века она еще хранила что-то от своего блеска южного торгового порта, стихийно выраставшего на хлебной торговле с Персией, покуда его значения не убила Одесса. И внешне это был один из красивейших и ярких городов России. Все, что было вниз по течению, скапливалось к нему, гогоча, крича, молотя веслами. За сто верст на мертвых якорях, рядами тяжелых барж, лежал рейд, а возле него, осыпаясь в ночную воду огнями, грузились чужие пароходы со странными названиями портов — «Энзели», «Мешедерес». В самом городе были «Индийская улица», «Канал грека Варвация». Сквозь город когда-то шли стотысячные табуны, караваны с солью, караваны с шерстью, на рынке и сейчас были груды рыбы, зелени, икры, тюки шелка, россыпи винограда. Вдруг на неделю улицы затоплялись нашествием степных полчищ, дороги раскисали от навоза, караван-сарай стонали от лошадиного ржания.

Все «тянуло» расти, соблазняло искать собственную дорогу, но Василий Ульянов нашел в себе силу остаться в

домике на Косе тем, чем он был, чтоб вытянуть — опять же ценою всей своей жизни — не себя «в люди», а меньшого брата.

IV

Посмотрим теперь, как восходил его меньшей брат — отец Ленина. Он стал к концу жизни довольно крупным чиновником, штатским генералом. Забыть, что такое действительный статский советник в последние годы царствования Александра II, семидесятые и восьмидесятые, никак нельзя. Но и тут нас встречает нечто глубоко не типическое, а своеобразное. Целый ряд крупных русских чиновников, вышедших из мещан, из низшего духовенства, из крепостных, становились в старой России самыми яркими, самыми надежными укрепителями царизма, защитниками той системы, что душила и держала в темноте их предков, родичей и братьев. Замечателен в этом смысле путь Сперанского, большого государственного человека, вышедшего из низов. Начал он блестящим реформатором, участвовал в либеральных «занятиях» Александра I, но достаточно было первой немилости, двухлетней ссылки, чтоб он превратился в ничтожного капитулянта, заискивающего царедворца, и кончил составлением обвинительного акта против декабристов. В этом акте есть, кстати сказать, одно выражение, полное такой яркой силы ненависти, что поражаешься, откуда оно попало в официальный документ: обвинительный акт винит декабристов в том, что они обуяны «б е ш е н с т в о м п р е в р а щ е н и я», иначе сказать, политическое сознание человека, жажда справедливости, революционное вмешательство в историю, по мнению составителя акта, сводятся к чему-то вроде белой горячки, мании менять вещи ради самого изменения, а не ради их улучшения: «Мало тебе одного вида, одной формы жизни, скучно тебе, не умеешь оставаться на месте — заболел страстью все менять да менять, вола на осла, осла на курицу, курицу на иголку, как мужик в андерсеновской сказке, а лучше сидел бы в том самом сословии и положении, да честно рабо-

¹ Данные взяты из интересной работы П. И. Усачева, бывшего зав. астраханским архивом, об отце Ленина.

тал «царю и отечеству на пользу», — это целая программа, обращенная лицом к своему классу, из которого самому удалось выскочить в верхи. Программа довольно обыкновенная, она лежит в основе всех философий оппортунизма, но необыкновенно в ней только одно: най-

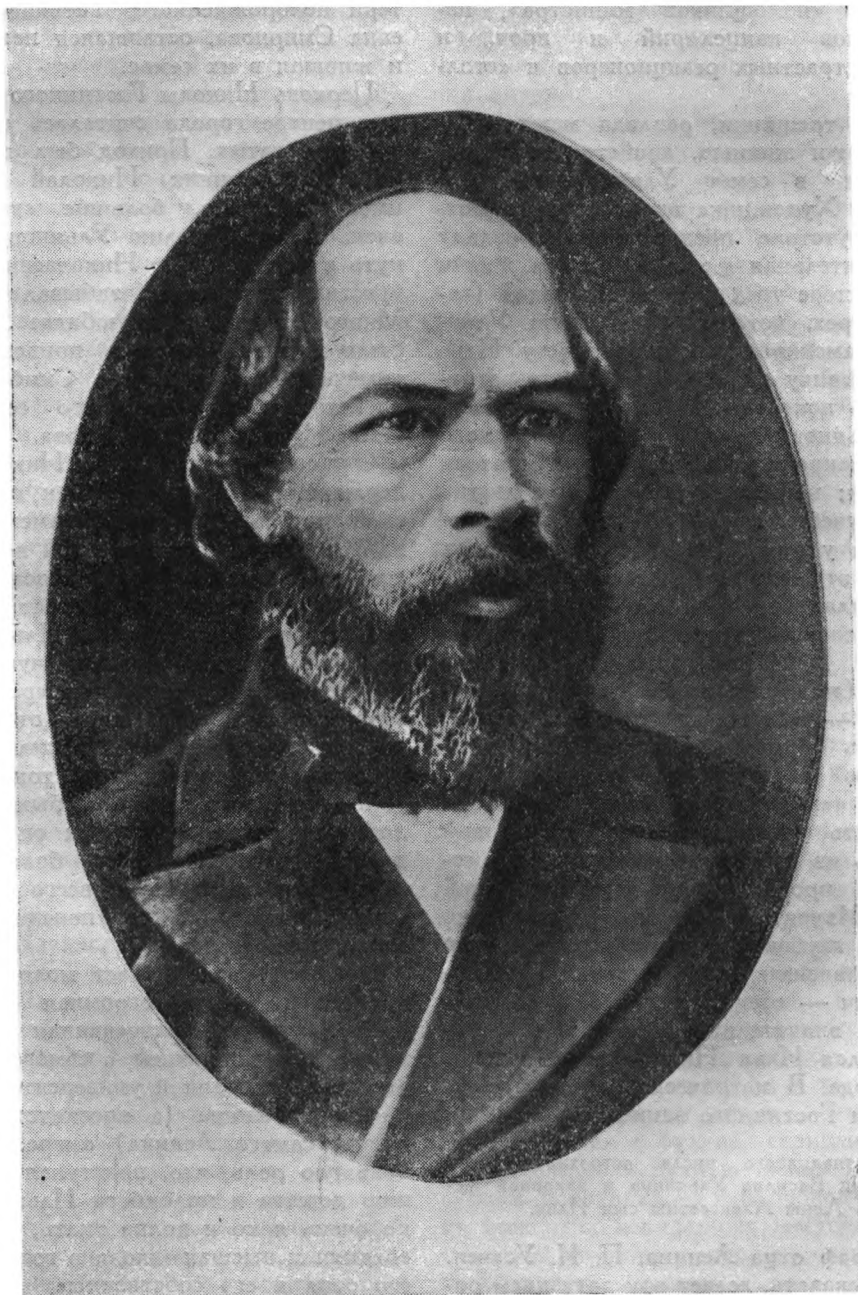
денное выражение огромной силы ненависти, — так могут ненавидеть лишь своего, лишь в семье, и тут есть такое «чересчур», что выдает свою тайну — кровную ненависть и к себе. Кто в пылу ненависти выбрасывает слово, ища ударить по самому больному, тот жалит



Дядя Ленина, Василий Николаевич Ульянов.

и выдает обычно самого себя. Виня декабристов в жажде «бешеных превращений», автор выдал свое предательство, тайное ощущение вины за собой, стыда и боязни получить обвинение в том, за что сам знает, что его можно обвинять, и потому он доводит

свое собственное обвинение до крика. Человеку искусства, художнику, это выражение открывает внутреннюю раздвоенность, трещину в человеке, смогшем его сказать. «Кривая восхождения» чиновников из низов, обернувшихся к своему классу самыми лютыми реак-



Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов.

ционерами, «во всей строгости» нового чина и звания, встречается в начале девятнадцатого столетия довольно часто. Читаешь, например, историю немногих разночинцев первого выпуска Казанского или других университетов — и на одного Лобачевского, на одного Чернышевского видишь десятки видных «помощников министра», начальников канцелярий и проч., и проч., страстных реакционеров и «столпов».

Этой трещинки, разлада между убеждением и жизнью, двойственности поведения в семье Ульяновых нет и намека. Художника поражают абсолютное отсутствие предпосылок к разладу и удивительная цельность в жизни и характере трех поколений людей (говорю трех, потому что Василия Ульянова, заменившего по возрасту Илье Николаевичу отца, можно считать за отдельное поколение). Мы уже видели, что Ульяновы не дали в роду ни одного выдвигенца-эксплоататора, не богатели кулацки; но жажда выбиться «в люди» путем учебы, стать образованным человеком у них была. Василий Ульянов утолил эту жажду тем, что дал образование младшему брату, и в судьбе Ильи Николаевича, дошедшего из скромного звания сына портного до больших чинов (действительный статский советник — чин гражданского генерала), казалось бы, нас могло встретить что-либо похожее на раздвоенность. Между тем именно в отце Ленина эта цельность ульяновского характера, вылитость из одного куска, неумение согнуться проявляется с исключительной силой. Изучить и описать эту жизнь во всей ее глубокой поучительности стоило бы независимо от того, что Илья Николаевич — отец Ленина, настолько хороша и значительна эта жизнь.

Родился Илья Николаевич 14 июля 1831 года. В метрической книге церкви Николая Гостинного записано:

Девятнадцатого числа астраханск. мещ. Николая Василия Ульянина и законной жены его Анны Алексеевны сын Илья.

Биограф отца Ленина, П. И. Усачев, кстати сказать, делает эту дату днем ро-

ждения Ильи Николаевича, хотя она скорей указывает на день крещения. Двадцатого июля православный календарь празднует Илью, и крестный отец новорожденного, отец Николай Ливанов, протоиерей церкви Николая Гостинного, дает своему крестнику имя Ильи. Крестною записана тетка — сестра матери новорожденного, Татьяна Алексеевна Смирнова, оставшаяся незамужней и жившая в их семье.

Церковь Николая Гостинного в торговом центре города считалась одной из самых богатых. Приход был влиятельный, и священник Николай Ливанов имел, очевидно, большие связи. Он очень помог Василию Ульянову «вытянуть в люди» Илью Николаевича, и его крестник никогда не забывал об этом. Много лет спустя на юбилее Ливанова была зачитана теплая приветственная телеграмма из далекого Симбирска от «действительного статского советника» Ильи Николаевича Ульянова.

Один из учеников Ильи Николаевича, державший у него экзамен в алатырской начальной школе, знаменитый по всей Волге хирург и глазной врач Григорий Иванович Суров, вспоминая об Илье Николаевиче, сравнивает его по внешности с Пироговым. Илья Николаевич с детства не мог не чувствовать воспитывающей силы примера брата, отказавшегося ради него от личной учебы. Этот пример заставил его отнестись к своему ученью тоже, как к долгу, воспитал в нем необыкновенную добросовестность. Мальчик он был худой, небольшого роста, болезненный, картавил с детства. Из всего выпуска один Илюша Ульянов попадает в Казанский университет.

Главное, чем поражает молодость отца Ленина, — это огромная культура учебы, культура, завоеванная исключительным прилежанием с самого раннего детства. Гимназия и университет в жизни отца Ленина (а впоследствии и в жизни самого Ленина) сыграли такую большую роль, что, приступая к изучению детства и молодости Ильича, нужно очень ярко и полно знать, чем была средняя и высшая школа в годы ученья его отца и его собственные.

История школы — это почти всегда история поколений. По старым губернским городам остались пухлые книжки, отпечатанные в местных типографиях небольшим тиражом: это какой-нибудь просвещенный старожил или чиновник по случаю юбилейной даты на скорую руку выпускал «историю гимназии такого-то города». Хотя составлялись они напыщенно, без всякой критики, из восхвалений и перечислений их превосходительств попечителей и пожертвователей, но все же по ним видишь, и как менялись программы, и как менялся состав учащихся, и как по-разному ставились царским правительством «высшие цели» ученья, и как по-своему преломлялись эти цели в новом поколении.

В конце восемнадцатого века из Европы пришли к нам, с опозданием чуть ли не на пятьдесят лет, начала «разносторонности» и разнообразия предметов преподавания. Образованный человек должен был знать все, ни перед чем не становиться втупик, а так как узнать все глубоко и хорошо почти невозможно, то люди учились всему неглубоко и нехорошо, то-есть поверхностно и понемножку. Школу того времени еще застал Пушкин, сказавший про нее:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь,
Так воспитаньем, слава богу,
У нас немудрено блеснуть.

Если это «чему-нибудь» и «как-нибудь» перевести на язык учебной программы, то мы увидим огромное множество предметов, о каких в наше время средняя школа и не помышляет. Взять хотя бы Казанскую павловскую гимназию, — в ней преподавались пять языков (русский, латинский, немецкий, французский, татарский), логика и практическая философия, геометрия и тригонометрия, механика, гидравлика, физика, химия, естественная история, земледелие, гражданская архитектура, законоведение, военные дисциплины, рисование, музыка, фехтованье, танцы, а с 1834 года Лобачевским, тогдашним ректором молодого университета, введены были гимнастика и преподавание

искусств. И все это — кроме основных предметов: истории, русского языка, словесности, грамматики, «закона божьего», арифметики, алгебры. Целью такой программы, по уставу 1798 года, утвержденному Павлом I, было: «подготовить юношей к службе гражданской и военной, но не к состоянию, отличающему ученого человека». Иначе сказать, установка была на нужного государству чиновника без дальнейшего «углубления знаний».

Кто же учился в этой гимназии?

Ученики делились на «казенных» — принятых, одетых, обучавшихся и содержавшихся за счет государства — и на своекоштных, то-есть селившихся где-нибудь в городе «на своем кошту», или иждивении. В число казенных принимались дети небогатых дворян, но и разночинцев, если они имели хорошие способности. Отдать сына в гимназию в начале девятнадцатого века считалось смелым и передовым делом. Не всякая маменька на него и решалась. У нас есть замечательный рассказ о казанской гимназии и первых годах Казанского университета Сергея Тимофеевича Аксакова. Молоденький барчонок, спавший дома на пуховиках, по утрам об'едавшийся сливками, в обед — жирными щами, ботвиньей со льду, всеми видами жареного и вареного, арбузом, дыньками, яблоками, грибами и вареньями, пирогами, высота которых была в три раза больше раскрытого рта. И после такого обеда опять сладко спавший на пуховиках, привыкший к дядькам и казачкам, напяливавшим на барскую ножку чулочек, к занскиванию дворовой челяди, к уженью весь день-денской или охоте на птиц, или пусканию голубей и опять сну и квасной сладкой отрыжке после сна, — этот нежный барчонок вдруг попал в дортуар с десятком других мальчиков. Его безжалостно будили в пять утра, давали, да и то лишь в праздник, по утрам вместо сливок — стакан сбитня с булкой, стригли русые кудри, сжимали пухлую шейку жестким сукном воротника, — и барчонок впадал от всех этих невиданных жестокостей в нервную истерику и горячку, покуда по непролазным дорогам к нему не наез-

жала за 400 верст в фамильном возке его ангел-маменька.

Аксаков ведет рассказ от души и чистосердечно, изображает себя жертвой, самодурку-мать — ангелом, а гимназию — тюрьмой и старшего классного надзирателя Камашова — извергом. Но читатель невольно видит в этом рассказе, как трудно было первым энергичным людям из разночинцев, вроде того же Камашова, впоследствии затертого и убранного, — как невыразимо трудно им было спорить с дворянскими привычками к лени, баловству, привилегиям изнеженности и как они старались ввести равенство и закалку в гимназический быт. Еще мы видим из книги Аксакова, что даже в те времена, за сорок лет до того, как пошел учиться маленький Илюша Ульянов, на казенном кошту были замечательные, способные ребята, умевшие и презирать барчуков, и защищать свое достоинство, и верховодить коллективом, и даже учинять «протесты», требуя увольнения «держиморд», за что они сами бывали увольняемы, как, например, Дмитрий Княжевич.

Я не зря повела рассказ о казанской гимназии десятых годов прошлого века, хотя Илья Николаевич учился в астраханской (более демократичной) в пятидесятые годы. Когда установка на «широкое поверхностное образование» потерпела крах, вернее сказать, понадобились учителя с более глубокими и специальными знаниями, потому что государству нужны стали настоящие специалисты во все большем и большем количестве, — то именно ребята аксаковского поколения перешли из седьмого класса, только переменяв мундиры да качество обеда, прямо на первый курс, тут же, только-что в здании гимназии основанного, Казанского университета. Из них-то и вышли впоследствии те первые профессора, которым пришлось в свой черед обучать целый ряд поколений будущих учителей гимназий.

В какую бы школу на Волге вы впоследствии ни заглянули, вы непременно встретили б или услышали в ней про казанца. Казань и стала матерью волжского просвещения, и все колебанья и пе-

риоды в судьбе Казанского университета: самодур Яновкин, сумасшедший ханжа Магницкий, умница Лобачевский с зароненными в нем просветительными идеями масонского ордена иллюминатов — все это как-то отражалось и на средней школе, влияя на качество и особенности гимназических учителей.

Но главной чертой Казанского университета был упор на математику. Овеянный славой первых своих основателей — старого математика Румовского, немцев Бартельса и Реннера, астронома Литтрова, блестящего физика-иллюмината Броннера, озаренный страстным гением Лобачевского, Казанский университет надолго завоевал у студентов интерес к математике и обеспечил высокое качество выходявших из него учителей физики и математики. Когда Илья Николаевич впервые ступил на чудесные, черные, литые из чугуна плиты с обозначением годов, ведущие к этой «alma mater» как бы по хронологическим мемориальным доскам ее славы (они и сейчас заставляют глядеть себе под ноги каждого, кто идет в университет), то по ним уже не шагал стройный, с военной выправкой человек, многолетний ректор университета, Николай Иванович Лобачевский.

В те годы Лобачевский был уже стар и болен. Он еще оставался на работе в учебном округе, но из университета его «ушли». А все же он успел, хоть и слегка, приложить свою руку к истории жизни Ильи Николаевича, отметив в будущем отце Ленина его дельность и добросовестность, что было не частым делом у скупого на похвалу ученого.

Илья Николаевич (не без влияния гимназического учителя Степанова, хорошего математика) тоже выбрал для себя физико-математический факультет. Он поступил на него в 1850 году, кончил кандидатом математических наук в 1854 году, а спустя три года держал и дополнительный экзамен на звание старшего учителя физики и математики. По сохранившемуся университетскому диплому, имеющему (в оценках) некоторое сходство с ленинским аттестатом, мы знаем, что в обязательных предме-

тах он проявил отличные знания, в дополнительных — хорошие, причем набрал себе этих дополнительных предметов очень большое количество. Тут и минералогия, и геогнозия, и архитектурно-техническая химия, и французский язык — видно, что он пытался отхватить из университетского объема как можно больше всего самого разнообразного. «Письменное рассуждение» (то есть кандидатское сочинение) написал на тему «Способ Ольберса и его применение к определению орбиты кометы Клинкерфюса» и получил за него «одобрение».

О казанской жизни Ильи Николаевича мы знаем мало. Но в те годы еще не было такой черной реакции в университетах, как в годы Ильича, еще действовал старый, более или менее либеральный устав, позволявший студентам чувствовать себя свободно и непринужденно, и назревала реформа 61-го года. Илья Николаевич, воспитанный на медные гроши, страстно увлекшийся своей учебой, вдобавок такой трудной и напряженной, как математика, был, вероятно, из числа спокойных студентов. Целый ряд условий способствовал этому — и выбранная профессия, и постоянное памятованье о брате, ради него отказавшемся от учебы, и общее положение студенчества! По воспоминаниям Анны и Марии Ильиничен, Илья Николаевич хорошо знал литературу, помогал детям писать сочинения, руководил их чтением и был главной причиной того, что молодые Ульяновы никогда не увлекались ни в детстве, ни в юности ходкими книгами «легкого чтения», имевшими тогда успех (Анна Ильинична указывает, например, на то, как зачитывались в те дни «Петербургскими трущобами» Крестовского, а у них в семье никто читать не мог этой книги за ее невыносимую фальшь), и выработали в себе хороший вкус к чтению. Это говорит за то, что Илья Николаевич, и будучи студентом, много и хорошо читал. Он не мог не читать «Современника», чья блестящая пора совпала с его молодостью, не мог не читать статей волжанина Чернышевского, — каждая из них была событием в

те годы, — не мог не читать Добролюбова, Щедрина, Некрасова. И он читал и любил их. Некрасов на всю жизнь остался его любимым поэтом. Но Илья Николаевич не был «политическим» студентом и вышел из университета лояльным подданным русского самодержавия. Однако же, при всей неоспоримости этого его спокойствия, при всем отсутствии в нем бунтарских и революционных начал Илья Николаевич резко отличается от многого множества молодых людей, начинавших по выходе из университета «тянуть служебную лямку», восходя по лестнице чинов. Он отличается тем, что с первых же самостоятельных шагов показал себя человеком отдачи. Ведь и путь просвещенца, выбранный Ильей Николаевичем, мог бы тянуться по шаблону — от «низшего» к «высшему», как он и тянулся у огромного большинства, считавшего «низшим» преподавание в начальных училищах, повыше в прогимназиях, потом в гимназиях, сперва в младших классах, а позднее в старших. Такая же тяга была у большинства и в отношении места действия: люди стремились попасть из деревни в уезд, из уезда в губернию, из губернии в Москву или Петербург. У Ильи Николаевича мы находим обратную линию. По чину и званию он повышается от учителя к инспектору народных училищ, потом к директору. Но по месту своего действия, по людскому материалу, с каким он имеет дело, Илья Николаевич все время как будто идет «сверху вниз», и его личная жизнь становится все более сжатой, все менее «перспективной». Из университета он попадает в Пензу, где учительствует 8 лет. Из Пензы — в Нижний Новгород, шумный и благоустроенный, где тоже учительствует, но уже 6 лет. А из культурного Нижнего Новгорода он едет в маленький, глухой Симбирск, но и там проводит 17 лет своей жизни, даже не в нем, а больше всего в разездах по глухим деревенькам губернии. В Пензе и Нижнем его сфера деятельности — дворянские институты. Обучает он городских дворянских детей, педагогом оказывается замечательным, и многие

из его питомцев на всю жизнь сохранили память об Ульянове-преподавателе. Правда, не довольствуясь преподаванием, он все время берет на себя и другую работу, берет, как сейчас сказали бы, в порядке «общественной нагрузки»: в Пензе — образцово ставит и ведет метеорологические наблюдения (для этой работы на его кандидатуре и остановился Лобачевский), в Нижнем — учительствует на землемерно-таксаторских курсах, но, за небольшим исключением, окружающие его люди — это учителя, интеллигенция, городская интеллигенция, администрация училищ. Живет он в удобных квартирах, в Нижнем даже прекрасно живет, по соседству с семьями коллег. Женился он счастливо в 1863 году на дочери казанского врача, с которой познакомился в Пензе. Его любят и уважают, он окружен товарищами, положение его прочно. И все это Илья Николаевич меняет на неустроенную (первое время) жизнь в глухом городишке, меняет на безлюдье и некультурность, одиночество и бытовые трудности Симбирска.

Чтоб понять настроение и судьбу такого человека, как отец Ленина, нужно знать огромное значение в его жизни реформы 1861 года, то-есть освобождения крестьян.

Дата эта, 1861, — роковая и преопределяющая для многих больших русских людей и многих общественных течений в России. По тому, как отнеслись к освобождению крестьян те или иные публицисты, писатели и политические деятели и что они в ней поняли, пошло и дальнейшее их развитие. Судьбу Чернышевского, например, его близость к позднейшим социал-демократам и особую любовь к нему Ленина определило гениальное прозрение, с каким он в «Прологе» и в статьях своих вскрыл отрицательную сторону этой реформы, показал колоссальную экономическую невыгодность ее для крепостного, будущее закабаление и обнищание крестьянства. Но для Ильи Николаевича эта реформа имела огромное обаяние. Для него она освобождала и делала гражданами миллионную бесправную массу крестьян, открывала пе-

редней как будто ту же дорогу к знанию, культуре и человеческой жизни, какая была достигнута другими сословиями, и в то же время давала возможность огромного дела, дела отдачи таким людям, как он сам, выходящим и выученикам «на медные гроши» из той же массы. Отрицательной стороны реформы Илья Николаевич не видел. Он горел настроениями первых послереформенных лет, мечтал о служении народу и при первой же представившейся возможности кинулся в это служение. Когда министерство народного просвещения, желая проверить состояние народного образования и внести в него единство, взяв в свое поле зрения все существующие и вновь открываемые школы, учредило инспектуру народных училищ и выделило на нее из лучших и наиболее добросовестных работников своего ведомства первые ответственные кадры, то Илья Николаевич тотчас же бросил и насиженную жизнь в Нижнем, и удобную квартиру и с женой и двумя маленькими детьми осенью 1869 года выехал для совершенно неизвестного будущего в неизвестный и не имевший для него почти никого из знакомых город. Это был идеалистический выбор, стремление послужить своему времени на самом свежем и самом новом участке просвещения — в народной школе.

Илья Николаевич Ульянов был пламенно убежден в возможности служения народу и принесения ему пользы в тех политических условиях, в которых жил. С этим убеждением вступил он на свой путь, шел по нему и, когда понял, что убеждение ошибочно, сломился на нем. Сломился, но не приспособился.

Драматическая сторона жизни Ильи Николаевича почти не подчеркнута его биографами, начиная с добросовестных архивных работников — старшего архивариуса Полянской, бывшего заведующего астраханским архивом П. И. Усачева — и кончая ближайшими членами семьи Ульяновых. Правда, первые показали изменения условий его работы: рост реакционных настроений в министерстве, все большее преоблада-

ние задачи контроля над задачей создания новых школ, изменение отношения самого министерства к Илье Николаевичу под конец его жизни, когда начальство поняло, что в лице Ульянова оно имело хотя и добросовестного, но недостаточно гибкого работника, не понявшего нового курса, не сумевшего приспособиться к тому, что стало больше требоваться от него, словом, не того рачительного чиновника — орудия в руках самодержавия, — какой был ему нужен, и, поняв это, отметило свое неудовольствие. (Так, Илье Николаевичу по выслуге лет не была, как это почти всегда делалось, продлена его служба еще на пять лет.) Правда, вторые, то есть ближайшие, родственники в своих воспоминаниях отмечали и помрачение настроения Ильи Николаевича с годами, и его растущую затаенную грусть, когда церковно-приходские школы стали все больше вытеснять светские, а учителя из неокончивших семинаристов предпочитаться его любимцам, учителям с курсов (основанных им самим) и из Порецкой семинарии. Но все это лежит перед будущим его биографом еще вчерне, не изученное в своей связи, не прослеженное в своей конкретной последовательности. Лежит оно вчерне и перед будущим биографом Ленина как факт глубочайшей исторической важности.

Ведь это не случайно, что перед глазами юноши Ильича, в непосредственной, кровной с ним близости, прошли и обожгли его душу две судьбы, как будто созданные для того, чтоб показать будущему вождю пролетариата безнадежность и безвыходность двух политических позиций: вот умер отец, веривший, что можно приносить пользу народу мирным и честным личным служением в рамках царского строя, — умер, видя развал труда всей своей жизни, ухудшение, а не улучшение жизни народа и, как итог, еще и плевков себе от того же царского строя. Вот умер его брат, веривший, что мож-

но смести этот строй жертвенным личным героизмом, убивая отдельных его носителей, умер на эшафоте.

Обе эти судьбы воспитывающе легли на все развитие ленинского характера как пример великой цельности, которую мы уже видели и в других членах ульяновского рода. И отец, и брат жили, как верили и понимали, жили до конца, до катастрофы, сломившись, но не приспособившись. И эта ульяновская цельность дала в Ильиче последний свой цвет, вылилась в завершающую выразительность характера большевика, чуждого всякого болезненного субъективизма, мелочности, самолюбия и самокопания; в ту чудесную простоту и силу поведения, при которой только и стала возможна великая победа трудящихся.

Анна Ильинична рассказывает в своих воспоминаниях о маленьком Ильиче замечательную подробность. Детьми они затеяли рукописный журнал. Коренастый и крепенький Владимир Ильич, писавший под псевдонимом «Кубышкин», принес для журнала длиннейший рассказ. Анна Ильинична была в то время увлечена Белинским и задумала «подвергнуть критике» рукописи авторов. Владимиру Ильичу как автору самого об'емистого материала досталось от нее больше всех. И вот Анна Ильинична была поражена:

«с каким сосредоточенным вниманием слушал этот резвый мальчик новый для него род литературного произведения» — то-есть разносную критику, — «не выказывая ни тени личной обиды, несмотря на язвительность некоторых словечек (ведь надо было подражать Белинскому)».

Так и видишь перед собой любопытные глазенки внезапно заинтересованного, притихшего мальчугана — будущего острейшего полемиста-большевика, самого страстного и цельного и самого надежного в мире, избравшего верный путь для освобождения человечества.

Ульяновск, 15/V 1937.

Герой украинского народа—Щорс

Е. Герасимов, М. Эрлих

1. Сын паровозного машиниста

В 80-х годах прошлого столетия, когда от Гомеля к Бахмачу прокладывалась Либаво-Роменская железная дорога, на реке Сновь, там, где она выходит из болот и лесов северной Черниговщины, близ хутора Коржовки, была построена станция Сновская. После открытия железной дороги хутор быстро превратился в типичный пристанционный поселок.

На новую станцию потянулись из соседних районов искавшие заработка малоземельные крестьяне. В числе их был Александр Щорс, отставной солдат, человек замкнутый, угрюмый. На станции Сновской он работал сначала слесарем в депо, потом помощником машиниста и, наконец, машинистом на товарных поездах.

В 1907 году у него умерла от туберкулеза жена, оставив двух сыновей и трех дочерей. Старшему сыну, Николаю, в это время было 12 лет. Чуть выющиеся каштановые волосы, падающие на высокий лоб, большие, вдумчивые голубые глаза, правильные черты лица, — вот портрет двенадцатилетнего Николая Щорса, сохранившийся в памяти его родственников. Он учился в железнодорожной школе и считался в классе лучшим учеником. В свободное от школьных занятий время его любимым развлечением были военные игры. Выступая в играх в роли командира, он легко подчинял себе своих сверстников, так как выделялся среди них настойчивостью характера и общим развитием.

Рано пристраившись к чтению, Николай особенно полюбил стихи. Часто

в одиночестве, на чердаке или в сарае, он читал их вслух, сопровождая чтение выразительной жестикуляцией. Неграмотный отец, всегда подавленный заботами о куске хлеба, обращал на сына мало внимания. Вскоре машинист женился вторично. Семья быстро росла. Николай, холодно относившийся к мачехе, редко бывал дома. Он рос среди своих сверстников свободно, никем не опекаемый.

В 1909 году четырнадцатилетний Щорс окончил железнодорожную школу с похвальной грамотой.

Летом он целыми днями пропадал на рыбалке или читал, забравшись в укромное место.

Как-то Николай пришел к отцу и твердо заявил ему, что хочет учиться дальше. Видимо, он давно думал об этом. Но отец считал, что сын достаточно учился и теперь должен работать, помогать семье. Однако Николай упорно, пользуясь каждым случаем, повторял, что ему нужно учиться. Отцу пришлось уступить. В 1910 г. ему удалось, как отставному солдату, устроить сына в Киевскую военно-фельдшерскую школу, учащиеся которой содержались на казенный счет. Николай с радостью отправился в Киев. Суровый казарменный режим военной школы не пугал его. Он понимал, что другого пути для получения образования у него нет.

Вернувшись из Киева домой на каникулы в форме учащегося военно-фельдшерской школы, Николай выглядел совсем взрослым. Большие серые глаза поражали какой-то неюношеской строгостью. Движения стали резче, энергичнее, в них чувствовался человек, умею-

ший сдерживать себя. О своей жизни в школе он говорил неохотно, на вопросы товарищей и родных часто отвечал шутками, и порой в них проскальзывало не то озлобление, не то обида на кого-то. Дома Николая попрежнему редко можно было найти, чаще он бывал у своего дяди — брата матери, машиниста Кол-

баско. По вечерам здесь собиралось много народу, и Щорс сблизился с товарищами, которые в тесном, дружеском кругу называли себя социалистами. Нередко в конспиративной обстановке у одного сновского пекаря они читали вслух художественные произведения и, обсуждая их, переходили на политиче-



П. П. Соколов-Скаля.— Щорс. (Фрагмент).

ские темы. Иногда сюда проникала и нелегальная революционная литература. Она вызывала всегда бурные споры. Щорс, став посетителем этих литературных собраний, в споры не вступал. Он сидел всегда молча, внимательно слушал. Среди собиравшихся в пекарне он был самый молодой.

В июне 1912 года Щорс окончил Киевскую военно-фельдшерскую школу, получил диплом медицинского фельдшера и права вольноопределяющегося 2-го разряда.

О следующих дореволюционных годах жизни Щорса имеются только отрывочные сведения. Известно, что из Киева он поехал в Полтаву, поступил в учительскую семинарию, жил на случайные заработки и мечтал попасть в университет. По слухам, в это время он был уже связан с большевистской организацией, вел революционную работу. Возможно, что это именно и помешало ему окончить учительскую семинарию. Однако, политические убеждения Щорса не были еще достаточно тверды. Неожиданно он увлекся мыслью о переселении в Америку, думая, что там ему легче будет работать и учиться. Он вернулся в Сновск и готовился к далекому путешествию, но тут грянула империалистическая война. Щорс был зачислен фельдшером в 3-й мортирный артиллерийский дивизион, отправлявшийся на германский фронт. В августе 1915 года он опять неожиданно появился в Сновске, в разговоре с товарищами жаловался на хамское отношение офицеров и сказал, что хочет, пользуясь своими правами вольноопределяющегося 2-го разряда, поступить в школу прапорщиков. Через несколько дней Щорс выехал в Полтаву, поступил в школу прапорщиков и, окончив ее, вернулся на фронт.

2. Командир партизанского отряда

После Великой Октябрьской социалистической революции Щорс приехал домой, раненный в ногу и больной туберкулезом легких. Ему шел 23-й год, но в своей поношенной солдатской шинели он выглядел гораздо старше. Лицо у него было худое, бледное, истощенное.

В первые дни по приезде домой он ходил, опираясь на палку, хромал. Домашние считали его уже инвалидом, но Щорс, казалось, не обращал на свое здоровье никакого внимания и собирався ехать в Москву, в университет. С юношеским воодушевлением он говорил о том, что революция открыла перед ним все пути, что теперь он может учиться, где угодно. Однако Щорсу пришлось на время оставить мысли о продолжении учебы.

На Украине началась гражданская война. Киевская контрреволюционная рада, захватившая власть в некоторых городах Украины, вела предательские переговоры с правительствами Германии и Австрии. Красногвардейские отряды, теснившие гайдамацкие части рады, со дня на день могли столкнуться с немецкими корпусами. В эти тревожные дни политические убеждения Щорса окончательно и твердо оформились. Щорс стал большевиком.

18 февраля правительства Германии и Австро-Венгрии двинули свои войска на Украину. Десятки наскоро собранных большевиками красногвардейских и партизанских отрядов вышли навстречу врагу. В числе их был и маленький, в несколько человек, отряд под командой Щорса.

Когда оккупанты подошли к Сновску, Щорс по указанию партийного комитета направился со своим отрядом в местечко Семеновку. Здесь был один из центров партизанских формирований северной Черниговщины.

Партизаны шли глухими проселочными дорогами, растянувшись цепочкой. Ити было трудно. Нога часто проваливалась по колено в снег. Щорс шел впереди, стараясь не хромать. На плече его висела тяжелая вещевая солдатская сумка с ручными гранатами. Встав во главе отряда, Щорс как будто сразу выздоровел, подтянулся, посвежел. Впрочем, заметно было, что он сдерживает кашель. Когда это не удавалось ему, он ускорял шаг, уходил вперед и украдкой от товарищей кашлял в рукав шинели.

Была середина марта 1918 г. На Черниговщине началась весна. На полях

уже чернели большие проталины, кое-где зеленела прошлогодняя трава, но, когда дорога уходила в лес или пересекала глубокий овраг, заросший кустарником, кругом был еще белый и чистый, как зимой, снег. На второй день пути, перейдя по приподнятому водой льду речку Ревна, Щорс пришел со своими партизанами в Семеновку. Большинство населения этого местечка, окруженного лесами, болотами и серыми, неплодородными полями, занималось кустарными промыслами. На станции, в трех километрах от местечка, стоял партизанский отряд, сформированный еще до прихода Щорса из местных кустарей. В штабе отряда, помещавшемся в одной из теплушек эшелона, Щорс предъявил письмо партийного комитета, посылавшего сношчан на помощь семеновцам. На следующий же день он был выбран командиром объединенного отряда, как единственный человек среди партизан, имевший военное образование. Строгие порядки, которые Щорс начал устанавливать в отряде, испугали некоторых семеновских кустарей, настроенных анархистски. Они резко восстали против выработанных Щорсом дисциплинарных правил, один из пунктов которых гласил: «Боец, вышедший из боя без приказания командира, расстреливается, как за измену», а также против строевых занятий, которые Щорс начал проводить с первого же дня командования. Устанавливая строгую дисциплину, он говорил: «Этого требует революция». Большинство согласилось с ним. Анархисты ушли из отряда. Щорс не задерживал их. Он говорил:

— Партизанская армия — что житное поле. Там рожь выше, там ниже, кое-где просвет, а местами растет бурьян. Бурьян надо во-время вырвать.

Посылая в села агитаторов для сбора оружия и вербовки добровольцев, Щорс предупреждал:

— Мне нужно больше пулеметов, лент и надежных большевиков при них.

Пулеметчиков Щорс называл «пожарниками» и говорил, что если «пожарники» надежные люди, тогда можно залить любой пожар — «от желтых полей до голубого неба».

«Новый мир», № 11

Когда агитаторы жаловались на свою слабую политическую подготовку, Щорс настаивал их:

— Где ходишь, там и учишься.

Когда ему указывали на соседние отряды, находившиеся под влиянием анархистов, и спрашивали, можно ли большевикам идти против оккупантов совместно с этими отрядами, Щорс заявлял:

— Итти можно вместе, но делать надо врозь.

Если кто-нибудь замечал, что партизаны слабо разбираются в политической обстановке, Щорс смеялся:

— Хоть наш дядько и сер, но ум у него чорт не с'ел.

Щорс любил говорить лаконично и образно. Партизанам это нравилось. Они прозвали Щорса «наш дядько Микола», хотя он был значительно моложе большинства из них. Его любимые выражения, поговорки и шутки передавались из уст в уста.

Отряд быстро рос. Добровольцы приходили целыми толпами. Выделенная Щорсом вербовочная комиссия работала без отдыха. Всех являющихся в отряд он прежде всего спрашивал:

— Готов отдать жизнь за революцию?

Щорс относился к приему добровольцев очень строго. Обстановка требовала этого. На Украине с приходом немецких оккупантов началась безработица. И находилось немало людей, которые, отчаявшись получить работу, шли к партизанам только для того, чтобы прокормиться и одеться у них. Щорс сразу распознавал таких людей. В вербовочной комиссии иногда бывали такие сценны. Щорс стоял в стороне, молча прислушиваясь к разговору. Вдруг быстро, чеканным шагом он подходил к добровольцу и, пронизывая его пристальным взглядом, спрашивал резко:

— Смерти не боишься?

Некоторые не выдерживали взгляда Щорса, терялись, растерянно лепетали что-то невнятное. Щорс гозррил им:

— Трусов нам не надо. Ланику будешь сеять. Кругом, домой шагом марш!

Многие приходили в лаптях. Щорс предупреждал их:

— У нас сапог нет. Если оставил их дома, возвращайся назад.

За несколько дней в отряд вступило около 300 человек. Тогда Щорс двинулся против оккупантов, наступавших мощными колоннами вдоль основных железнодорожных магистралей, пересекающих Украину с запада на восток. Самая северная колонна наступала из Брест-Литовска по железной дороге Гомель — Новозыбков. Она состояла из 41-го германского корпуса, в который входили 4 ландверных дивизии. С такими силами регулярных войск пришлось столкнуться маленькому партизанскому отряду Щорса. Его первые же смелые налеты заставили оккупантов развернуть свои войска в лесной местности. Щорс этого только и ждал. На этом он строил все свои планы. Спустя несколько дней многие партизаны уже успели сменить свои берданки на отбитые у врага винтовки. Сформированная Щорсом сильная конная разведка вооружилась немецкими автоматическими ружьями. Во главе нескольких десятков всадников Щорс глухими лесными тропами и балками проникал в тыл немцев и расстреливал их, ошеломленных внезапным нападением, чуть ли не в упор. Раздраженное дерзкими налетами маленького, неуловимого отряда партизан, немецкое командование решило уничтожить его одним сокрушительным ударом. Против Щорса были сосредоточены крупные пехотные и кавалерийские силы. В лесах, у посада Злынки, разыгрался упорный бой. Сила сопротивления партизан, имевших всего одну пушку, показалась немецкому командованию совершенно непонятной. Пехота оккупантов наступала сомкнутыми рядами, под прикрытием тяжелой артиллерии. Партизаны, засыпаемые снарядами, молча близко подпускали серые немецкие цепи и стреляли залпами. Щорс был ранен, но продолжал командовать.

После боя у Злынки у Щорса осталась горсточка бойцов. Однако, пополнив в Новозыбкове, с помощью городской партийной организации, отряд но-

выми добровольцами — рабочими местных спичечных фабрик, Щорс продолжал борьбу. Сдерживая наступление оккупантов, он отходил с боями от Новозыбкова на Клинцы и дальше — на Унечу, к границе Советской России.

В этом районе, Новозыбков — Клинцы, кроме щорсовского отряда, действовали и другие партизанские отряды. В некоторых из них верховодили анархисты и левые эсеры. Делая вид, что они воюют с немцами, эти лжеревольюционные отряды на самом деле только сеяли вокруг дезорганизацию. Отряд Щорса вынужден был, отражая удары оккупантов, одновременно устанавливать порядок на фронте и в ближайшем тылу. В Клинцах, сейчас же после боя с немцами, Щорсу пришлось столкнуться с каким-то бесчинствующим отрядом и, применив оружие, очистить его от предателей.

В борьбе с анархической стихией Щорс действовал непримиримо. Из опыта первых боев с оккупантами он вынес твердое убеждение в необходимости скорейшего объединения разрозненных партизанских отрядов под общим командованием и большевистским руководством. В разговорах со своими соратниками Щорс уже в то время строил планы развертывания из украинских партизанских отрядов частей регулярной Красной армии.

3. Командир полка

В конце апреля Щорс и несколько его ближайших соратников были вызваны для доклада в Москву. Столица поразила их. Всюду — на площадях, бульварах, в переулках — они встречали штатских людей, обучавшихся строю и ружейным приемам. Щорс останавливался и долго пристально наблюдал за этими первыми взводами, ротами регулярной Рабоче-Крестьянской Красной армии.

Через несколько дней Щорсу и его товарищам передали, что их хочет видеть Ленин. Возбужденные, радостно взволнованные предстоящей встречей, они явились в Кремль. Владимир Ильич принял их в своем кабинете. Дружески поздоровавшись, Ленин сказал, что

слыхал уже о них, попросил сестру и рассказать о борьбе украинских партизан с оккупантами, за которой он следил очень внимательно. Щорс, не привыкший говорить сидя, сделал доклад стоя. Он говорил о том же, о чем не раз уже говорил со своими товарищами: о трудности борьбы разрозненных партизанских отрядов с вымуштрованными войсками оккупантов, о необходимости скорейшего объединения партизанских отрядов для создания из них кадров регулярной Красной армии.

К этому времени, под натиском почти полумиллионной армии оккупантов, украинские красногвардейские и партизанские отряды отошли на территорию Советской России. Однако на Украине народная борьба с захватчиками не прекращалась. Колониальный режим, установленный в захваченных городах и селах немецкими оккупантами и их ставленником гетманом Скоропадским, кровавый террор и беззастенчивый грабеж населения, возвращение земли помещикам заставляли братья за оружие все новые и новые массы трудового люда. В июне вспыхнуло большое восстание в южных уездах Киевщины, в июле пламя его перекинулось на Полтавщину, в августе пожар народного восстания охватил Черниговщину. Против повстанцев, вооруженных подчас только пиками и вилами, немецкое командование посылало одну дивизию за другой. Восставшие села окружались пехотой и разрушались огнем артиллерии.

На Черниговщине, подавляя восстание, оккупанты расстреляли около 3 тысяч крестьян. Спаслись только те из повстанцев, кому удалось пробиться сквозь окружение на север, в леса. Встречаясь в лесах, повстанцы говорили: «Идем до дядьки Миколы».

Щорс в это время был в нейтральной зоне, отделявшей оккупированную немцами Украину от Советской страны. Эта узкая полоска земли к концу лета 1918 года стала революционным центром украинских партизан. Сюда прорывались из окружения оккупационных войск десятки пеших и конных отрядов. В сентябре они начали сводиться в регулярные воинские части. Командиром

формировавшегося на ст. Унеча 1-го украинского советского полка им. Богуна был назначен Щорс.

За лето Щорс сильно изменился. В его движениях, в речи стало меньше резкости, больше твердой, спокойной уверенности в себе. Изменился и внешний вид Щорса. Он отрастил небольшую черную бородку. Старую солдатскую шинель сменила кожаная куртка. На фуражке появилась красноармейская звезда, которая для украинских повстанцев была тогда еще новостью.

В Унече Щорс встретился с Фрумой Ростовской, бывшей разведчицей семеновского отряда. Весной 1918 года в одном из первых боев с немецкими оккупантами она была ранена и в бессознательном состоянии попала в плен. Двадцатилетней девушке грозил расстрел, но ей удалось спастись. Теперь она работала в пограничной Чека. В местном ревкоме Щорс разговаривал о нуждах будущего полка. Во время разговора к нему подошла девушка в кожаной куртке, подпоясанной ремнем, на котором висел браунинг. Деловито поздоровавшись со Щорсом, она спросила, в чем прежде всего нуждается полк, и обещала помочь ему в снабжении. С этого момента она работала бок о бок со Щорсом и вскоре стала его ближайшим другом, женой.

С приездом Щорса в Унечу сюда начали собираться партизанские отряды, вливавшиеся по приказу повстанческого комитета в Богунский полк. С первого же дня, проведенного в полку Щорса, повстанцы почувствовали, что им придется подтянуться, крепко взять себя в руки. Среди командиров партизанских отрядов Щорс резко выделялся своей культурностью. Он требовал культурности и от всех окружающих, требовал властно, не обращая внимания на воркотню разгильдяев и нерях. Он отказывался разговаривать с командирами, одетыми неряшливо или грязно, отсылал их от себя прочь, отправлял в баню. За пьянство и мародерство он наказывал беспощадно, как за измену революции.

После беседы с Лениным Щорс часто говорил своим соратникам о великом

будущем Красной армии. Он говорил, что это будет самая культурная армия в мире. И когда партия поручила ему формирование 1-го Украинского полка, он почувствовал на себе огромную ответственность.

С первого же дня Щорс поразил всех в Унече своей неутомимостью. Его редко видели отдыхающим, но всегда бодрым, подтянутым, несмотря на болезнь, скрыто подтачивающую его организм.

На каждом шагу Щорсу приходилось преодолевать адские трудности, но они никогда не останавливали его. Он хотел, чтобы полк был размещен, с удобством, в тщательно оборудованных казармах. В условиях того времени это казалось несбыточной мечтой. И все-таки отведенные для полка пустовавшие дома железнодорожников и пристанционные бараки очень скоро были превращены в удобные казармы. Многие красноармейцы ходили в лаптях, а Щорс добивался, чтобы полк был одет и обут по форме. Он обыскал все склады в окружающем районе, но сапог не нашел. Тогда именно революции Щорс приказал местной буржуазии и спекулянтам в трехдневный срок сдать на склад полка 500 пар сапог.

Щорс хотел, чтобы его красноармейцы своей боевой выучкой превосходили немецких солдат. Он установил в полку регулярные строевые и тактические занятия и проводил их сам строго по расписанию. Он добивался чистоты равнения, твердости шага, четкости поворотов, строгости выправки. Кое-кому из бывших партизан это пришлось не по нутру. Пользуясь этим, агенты оккупантов — шпионы, шнырявшие в нейтральной зоне, попытались настроить партизанские массы против Щорса. Неожиданно в полку появилось множество больных. Видно было, что кто-то организовал симуляцию. Тогда Щорс объявил, что имеет фельдшерский диплом и приказал всем, заявляющим себя больными, являться за медицинской помощью лично к нему. «Больные» сразу выздоровели. Но тайные агенты врага, пробравшиеся в полк с заданием во что бы то ни стало убрать Щорса, не

прекращали работы. В полку начали шептаться о том, что Щорс хочет установить старый режим. Щорс, казалось, не обращал на это никакого внимания, однако он все время был на-чеку. Расставив по ротам надежных людей, беседуя по вечерам в казармах с красноармейцами, Щорс незаметно сплачивал вокруг коммунистов всю здоровую часть полка. И когда провокаторы сумели как-то ночью поднять на мятеж наиболее темных бойцов, он был мгновенно ликвидирован. Окруженные мятежники сами вытолкнули зачинщиков из своих рядов. После этого Щорс провел чистку полка. Всем оставшимся было предложено дать клятву верности революции. Щорс сам выработал текст ее и подписал его первым.

Подготавливая полк к выступлению на поддержку разгорающегося на Украине народного восстания, Щорс одновременно устанавливал связь с разрозненными партизанскими отрядами, действовавшими в лесах Черниговщины. Он ухитрялся отправлять к ним и оружие, и литературу, и организаторов. Мимо немецких пограничных постов тянулись гончарные обозы. Привыкнув к гончарам, постоянно кочевавшим по черниговским селам, оккупанты не обращали внимания на их обозы. Между тем под посудой на подводах нередко лежали щорсовы посылки партизанам — ящики с патронами, кипы брошюр и листовок, даже пулеметы, а под видом торговцев-гончаров проходили через границу подготовленные Щорсом в Унече организаторы повстанческого движения. Щорс лично проводил с ними занятия, учил тактике партизанской борьбы и методам большевистской пропаганды. Нередко эти занятия превращались в оживленные беседы о прошлом Украины. Щорс хорошо знал и любил героическую историю украинского народа. Он учил своих соратников черпать из нее содержание для большевистской пропаганды. Не случайно его полк носил имя Богуна — одного из героев борьбы украинского казачества с польскими панами в XVII веке.

Немецкие заставы стояли в нескольких километрах от Унечи, но оккупанты

не решались двинуть против Щорса свои войска, потому что в тылу их действовали десятки неуловимых, связанных со Щорсом, партизанских отрядов, а в пограничных полках началось уже революционное брожение. Вместе с украинскими добровольцами к Щорсу все чаще приходили революционные немецкие солдаты, решившие драться за советскую власть. Щорс формировал из них отдельный взвод.

В конце октября, закончив формирование полка, Щорс испытал его в бою: разгромил несколько немецких гарнизонов, расположенных по крупным селам вдоль нейтральной зоны, и отвел батальоны назад, в Унечу. Вскоре радио сообщило о революции в Германии. Щорс сейчас же отправил в немецкие гарнизоны делегации богунцев. На следующий день в Унечу, в штаб Богунского полка, прибыла делегация немецких революционных солдат. Щорс устроил ей торжественную встречу. На вокзале был проведен митинг и совместно составлена следующая телеграмма:

«Москва, Кремль — товарищу Ленину.

Представители революционных солдат Германии, делегаты Лыщичского совета депутатов совместно с Унечской организацией РКП(б) приветствуют в вашем лице мировую революцию»¹.

Немецкая делегация осталась ночевать в Унече. Утром Богунский полк с оркестром и развернутыми знаменами провожал делегацию до границы. Здесь их ждали толпы немецких солдат. Они встретили богунцев революционными приветствиями. Щорс во главе полка перешел демаркационную линию. В деревню Лыщичи богунцы вступили церемониальным маршем. Немцы взволнованно кричали «хох».

В эти дни Щорс получал директивы непосредственно от Ленина и все время информировал его о ходе событий.

В ноябре, получив приветствие из Унечи, Ленин телеграфировал:

«Благодарю за приветствие. Особенно тронут приветствием револю-

ционных солдат Германии. Теперь крайне важно, чтобы революционные солдаты Германии приняли немедленное действительное участие в освобождении Украины. Для этого необходимо, во-первых, арестовать белогвардейцев и власти украинские, во-вторых, посылать делегатов от революционных войск Германии во все войсковые германские части на Украине для быстрого и общего их действия за освобождение Украины. Время не терпит. Нельзя терять ни часа. Телеграфируйте тотчас, принимают ли это предложение революционные солдаты Германии. Председатель Совнаркома Ленин»¹.

Щорс отвечал:

«... Меры, указанные в телеграмме, приняты. С утра высланы представители-агитаторы. Немецкие солдаты соглашаются арестовать своих офицеров. Дальнейшее сообщим. Командир Богунского полка Щорс»².

16 ноября, отвечая на запрос Ленина о ходе переговоров, Щорс телеграфировал:

«Переговоры велись через штаб Богунского полка с пятью гарнизонами. Преобладающее настроение немецких солдат в духе коммунизма. Шейдемановцы составляют десятую часть»³.

События на Украине разворачивались с молниеносной быстротой. Немецкое командование, напуганное большевистскими настроениями солдат, торопливо эвакуировало из Украины свой корпус. В то же время подготавливалась новая оккупация Украины. К Киеву приближались банды «головного атамана» буржуазных националистов Петлюры, договаривавшегося о совместных действиях с англо-французскими интервентами. Страну могло спасти только стремительное наступление сформированной в нейтральной зоне украинской Красной армии. Восставшие против гетманских властей, черниговские села посылали к Щорсу ходяков с просьбой о скорейшей помощи. Щорс рвался вперед, но прика-

¹ Арх. Окт. рев. Дело 58, л. 3.

² Арх. Окт. рев. Дело 99, л. 38—39.

³ Арх. Окт. рев. Дело 4, л. 67.

¹ Архив Окт. революции. Дело 40, л. 73.

за о наступлении не было, хотя Совнарком под председательством Ленина дал Реввоенсовету Республики категорическую директиву о начале наступления.

Предатель Троцкий и его ставленники, всячески стараясь сорвать помощь украинским повстанцам, решили перебросить Богунский полк из нейтральной зоны на восток. В Унечу для этого уже подали железнодорожные составы. Щорс был вне себя. Редко можно было видеть его таким взволнованным. Он отказывается выполнить предательский приказ.

В это время приступает к работе созданный под руководством товарища Сталина Украинский Реввоенсовет. В помощь Украинской повстанческой армии товарищ Сталин командует группу участников героической обороны Царицына. По указанию Сталина, Щорс отдает приказ о наступлении на Киев. Одновременно с Богунским полком переходит в наступление соседний Таращанский полк, который с этого момента подчиняется Щорсу, как командиру бригады 1-й Украинской дивизии.

4. Командир бригады

Как только Щорс перешел демаркационную линию, к нему со всех сторон потянулись добровольцы. Чуть не каждое село выставляло взвод или роту повстанцев, давно уже ожидавших Щорса. Щорс доносил: «Население везде встречает радостно. Большой наплыв добровольцев, за которых рвутся советы и комитеты бедноты».

До г. Клинцов, где сосредотачивался для эвакуации 106-й германский полк, богунцы прошли без боя. В Клинцах Щорсу готовилась ловушка. Немецкое командование открыто заявляло о своем нейтралитете, а тайно вооружало гайдамаков. Офицеры запугивали солдат провокационными слухами о коварных замыслах красных. Щорс двинул полк в город, рассчитывая на нейтралитет немцев, но когда 1-й и 3-й батальоны богунцев вступили в Клинцы, немцы, спокойно пропустившие их, вдруг ударили в тыл. Офицеры обманули солдат, жаждавших скорее вернуться на родину,

убедив, что Щорс хочет обезоружить их и задержать на Украине, как пленных.

2-й батальон богунцев вынужден был отойти от города, остальные оказались в ловушке. С фронта на них обрушились гайдамаки, а с тыла били немцы.

Щорс немедленно повернул батальоны против немцев и стремительным ударом расчистил себе путь назад. Богунский полк отошел на исходное положение. Предательство немецкого командования заставило Щорса изменить тактику. Он приказал Таращанскому полку, который уже занял город Стародуб, немедленно повернуть на северо-запад и, выйдя в тыл немцев, к раз'езду Святец, перерезать железную дорогу Клинцы — Новозыбков. Маневр Щорса оказался удачным, потому что он знал все, что делается во вражеском стане. В каждом селе и хуторе у него были надежные разведчики-крестьяне. Они доставляли в штаб Богунского полка самые точные сведения о расположении немцев и гайдамаков. Отдавая приказ таращанцам, Щорс, по данным крестьянской разведки, сообщил им такие детали обстановки:

«По дороге из Займища в отдельном домике стоит пост гайдамаков при 4-х пулеметах. За станцией по левую сторону, в березняке, две волчьи ямы, оцепленные колючей проволокой. Выше хутора Скачек находятся наблюдатель на дереве и целая десятина проволочного заграждения. В лесу за хутором Скачек стоит застава без пулемета. На турсоснинском мосту одно орудие и 6 часовых».

Таращанцы выполнили приказ Щорса, перерезали железную дорогу. Теперь в ловушке оказались немцы. Клинцовский гарнизон оккупантов был окружен. Немецкое командование сейчас же выслало к раз'езду Святец против таращанцев отряд с артиллерией. Встреча произошла в с. Турсосна. О результатах ее Щорс сообщил в штаб дивизии:

«В с. Турсосна наши повстанцы соединились с немецкими солдатами и довольствуются из одной кухни, поют интернациональный гимн».

Так закончилась попытка оккупантов задержать наступление Щорса. Немец-

кий гарнизон обязался немедленно очистить Клинцы и на пути своего отхода оставить в полной сохранности мосты, телефон и телеграф.

В Клинцах началась спешная эвакуация. Немцы, распродавая оружие, покидали Украину. Гайдамаки, лишившиеся поддержки оккупантов, бежали из города. Щорс телеграфировал в штаб дивизии:

«Клинцы заняты революционными войсками в 10 часов утра. Войска встречали рабочие со знаменами, хлебом и салом при восторженных криках «ура». Сегодня рабочие выбирают совет».

Это было 13 декабря. На следующий день стало известно, что гетман Скоропадский бежал из Киева, а столицу Украины заняли банды Петлюры. Сосредоточив полки своей бригады в районе Новозыбков — Семеновка, Щорс начал стремительное наступление в киевском направлении. Путь к Киеву ему преграждали кое-где еще державшиеся на Черниговщине гетманские гайдамаки и петлюровские «курени смерти», продвигавшиеся к Чернигову с юга. Щорс торопился вступить в Киев, так как со дня на день на помощь украинской контрреволюции должны были притти черноморские десанты интервентов.

Наступление Богунского и Таращанского полков было подобно вихрю. Щорс искусно применял выработанную им в партизанских боях тактику: бить врага во фланги и тыл, бить неожиданно, не давая ему возможности ориентироваться в обстановке. Во главе конной разведки он молниеносно вырывался вперед и обрушивался на врага, не успевшего еще укрепиться на позициях. Так было под м. Седневым, где гайдамаки пытались задержать наступление красных. Здесь дерзкой до невероятности атакой Щорс во главе 38 спешившихся разведчиков открыл Богунскому полку свободный путь на Чернигов.

Выслав в глубокий обход один батальон, Щорс во главе другого незаметно ночью подходил к расположению врага и гнал его под огонь своих пулеметов. Так было при захвате Чернигова, где Щорс взял в плен весь штаб гайда-

мацкого корпуса и его командира. Здесь богунцы, неожиданно появившиеся у города на рассвете, были приняты гайдамаками за петлюровцев, ожидавшихся в этот день в Чернигове. Разместив батальон по саям, Щорс во главе его мчался в тыл отходивших от Чернигова петлюровских куреней, и охваченные паникой петлюровцы бросали оружие. Так было у м. Семиполки, где Щорс, приказав выстроить плешных в поле, выступил перед ними с речью, в которой объяснял, что представляет собой Красная армия и за что она борется. Здесь многие из пленных, крестьяне, мобилизованные Петлюрой, получили от Щорса справки такого содержания: «Гражданин, имя рек, обманутый Петлюрой, взят в плен и отпущен домой с обязательством работать честно».

Щорс нередко использовал пленных для разъяснительной работы среди крестьян. В одном из своих донесений командованию дивизии он сообщал: «15-го нашими разведчиками в дер. Мостище взято в плен 200 петлюровцев, которые частично отправлены вперед для агитации».

Ведя стремительное наступление на Киев, Щорс пристально следил за мировыми событиями. Его короткие телеграфные сообщения жене, Фруме Ростовской, оставшейся в Унече, подчас напоминали газетную информацию. Узнав по радио о зверском убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург, потрясенный, он сейчас же телеграфирует ей: «Сообщаю тебе очень печальную весть: Карл Либкнехт и Роза Люксембург варварски убиты. Беспощадный террор мотивируется попыткой к бегству».

В первых числах февраля 1919 г. бригада Щорса вышла на подступы к Киеву. Петлюра поспешно отводил свои курени за Днепр. Щорс получил приказ на рассвете 6 февраля атаковать и взять Киев. Но уже рано утром 5 февраля к Щорсу прибыла делегация киевских рабочих, сообщившая, что в городе восстановлена советская власть. Щорс повел Богунский полк в Киев. В 10 часов утра его головная рота, сопровождаемая толпами трудящегося населения, показала на Крещатике. В

воздухе не смолкали ликующие крики «ура». Богунцы шли торжественным маршем. Хоть обмундирование их в походе изрядно потрепалось, но своей строгой выправкой и чистотой равнения они поражали киевлян, впервые увидевших регулярный полк Красной армии.

6. Начальник дивизии

Петлюровские «курени смерти» отходили на юго-запад. Их «головной атаман» перенес свою ставку в Винницу. Он уклонялся от решающего сражения, надеясь выиграть время до получения поддержки от интервентов, десанты которых в первых числах февраля высадились на черноморском побережье.

Войска Красной армии украинского фронта перегруппировались для дальнейшего наступления. Щорс вступил в командование 1-й Украинской дивизией, которой поручалось нанесение главного удара в центр петлюровского расположения. В середине марта части дивизии, с боями продвигавшиеся от Киева на юго-запад, вышли в район Казатина. Щорс сосредоточил их здесь для удара на Винницу. Выделенные из Богунского и Таращанского полков сильные кавалерийские отряды неожиданным рывком прорвали фронт Петлюры и ворвались в Винницу почти одновременно с разных сторон. Щорс, наступавший с пехотой вдоль железной дороги, догнал свою конницу на дрезине как-раз в тот момент, когда богунцы встретились с таращанцами на станции, все пути которой были заняты не успевшими отойти эшелонами с военным имуществом Петлюры.

На другой день, продолжая рейд, щорсовская конница захватила Жмеринку. Железнодорожная связь петлюровцев с десантами интервентов была порвана, винницкий фронт Петлюры смят: левый фланг его откатился к Галиции, а правофланговая ударная группа окружена и ликвидирована у ст. Вапнярка.

Силы украинской контрреволюции уже иссякали, но интервенты успели под-

держатъ петлюровцев. Появился новый претендент на колонизацию Украины — Польша, заключившая с Петлюрой соглашение, и на помощь ему из Галиции выступили кулацкие полки сечевых стрельцов.

В конце марта Петлюра переходит в контрнаступление. Пользуясь тем, что дивизия Щорса резко выдвинулась на юго-запад, он пытается выйти ей в тыл и нанести удар на Киев через Бердичев и Коростень. Защищенный несколькими мелкими, только-что сформированными частями Красной армии, Киев казался Петлюре легкой добычей. Но случилось то, чего «головной атаман» никак не мог ожидать. 24 марта, когда его сечевые полки, наступавшие со стороны Коростеня, были уже в 40 километрах от Киева, их неожиданно встретили штыковой атакой точно из земли выросшие богунцы. Щорс сумел за один день перебросить сюда Богунский полк, находившийся в 250 километрах от Киева, в районе Винницы. То же самое произошло у Бердичева, куда Щорс молниеносно перебросил Таращанский полк.

26 марта Киев, со стороны Коростеня, был уже в безопасности. Богунский полк отбросил сечевиков за реку Тетев. У Бердичева же обстановка сложилась серьезнее. В ночь на 29 марта, когда Щорс сам под'ехал сюда на бронепоезде, таращанцы с трудом удерживались на окраине города. Петлюра стремился во что бы то ни стало прогнать здесь красный фронт.

Собрав толпившихся на вокзале красноармейцев разных частей, Щорс повел их на поддержку таращанцев. Бой продолжался девять дней. Он шел с утра до ночи. Петлюра все время укреплял свои части свежими силами, прибывающими из Галиции, а Щорс заполнял поредевший строй таращанцев необученными отрядами рабочей еврейской молодежи Бердичева.

Бывали дни, когда защитники Бердичева отбивали по девять ожесточенных атак. Щорс все время находился в передовых цепях под ураганным огнем. Его фуражка в нескольких местах была пробита пулями, нагайка разрезана пополам осколком снаряда. Бойцы и ко-

мандиры просили Щорса не рисковать собой, убеждая, что начдиву не место в цепи. Щорс резко обрывал их, говоря: «Я получил приказ удержать Бердичев во что бы то ни стало». Моментами положение казалось катастрофическим. Поредевшие на левом фланге цепи отступали, петлюровцы вот-вот могли прорвать фронт, бой шел уже в городе, но появлялся Щорс верхом на коне, охрипшим голосом кричал «вперед», и отступающие цепи поворачивались и снова шли в контратаку.

К 3 апреля петлюровцы выдохлись, начали отступать. Дивизия Щорса опять по всему своему фронту перешла в наступление, которое почти безостановочно продолжалось до границ Галиции.



После боев под Бердичевом Щорс серьезно заболел. Подточенный чахоткой организм его не выдержал страшного напряжения. Врачи категорически потребовали, чтобы Щорс лег в постель. Щорс подчинился, но, и лежа в купе своего штабного вагона, стоявшего на запасных путях станции Бердичев, он не прекращал работы. Его дивизия, выдвинувшаяся к границам Галиции, была крайним западным аванпостом Красной армии. Это заставляло Щорса теперь особенно жадно следить за мировыми событиями. В те дни за рубежом революционные взрывы следовали один за другим. Еще выступая на красноармейском митинге в Виннице, Щорс с горящими глазами говорил о Советах в Венгрии. После девятидневных боев под Бердичевом, уже больной, он вскочил с постели, узнав о провозглашении Советской республики в Баварии. Потом пришла весть о революционном восстании французских моряков на военных судах интервентов в Одессе.

Лежа в постели, Щорс читал газеты и мечтал о будущем Красной армии. Увлекаясь, забыв о болезни, он говорил приходившим к нему командирам и политработникам о планах развертывания полков в бригады, о планах боевой и политической учебы красноармейцев и сейчас же брался за выполнение их, отдавая распоряжения, диктовал приказы.

Гарнизонный врач, лечивший Щорса, пишет: «Будучи одержим острым колитом, при очень высокой температуре, он находился в крайне тяжелом состоянии, неизмеримо страдал от нечеловеческой боли в животе. Меня поразила его выдержка. Несмотря на свои ужасные страдания, он отдавал приказания спокойно, твердо и ясно».

Как-то зашла речь о недостатке в дивизии командных кадров. Щорс, давно думавший об этом, предложил организовать при дивизии школу краскомов. Даже ближайшим его соратникам эта мысль показалась чересчур смелой. «Дивизия не может своими силами создать такую школу» — говорили они. Но Щорс, подумав, сказал твердо: «Школа нужна мне, и я ее создам». И действительно, едва Щорс встал на ноги, школа краскомов в дивизии была создана.

Организация школы красных командиров побуждает Щорса энергично взяться за расширение своих собственных знаний. Он опять возвращается к своей давнишней мечте о продолжении учебы. Но теперь Щорс мечтает уже не о медицинском образовании, а о военном. Он собирается после окончания гражданской войны поступить в военную академию, а пока в свободные минуты читает с карандашом в руках учебники тактики.

В нем горела неугасаемая жажда знаний. Беседуя с политработниками, Щорс понял, что плохо разбирается в философских вопросах. Он откровенно сознался в этом и с тех пор не упускал ни одного случая поговорить с товарищами, имевшими более солидную марксистскую подготовку. С юношеским жаром он вызывал их на беседу, засыпал вопросами. Щорс был способен продолжать интересующую его беседу под пулеметным огнем.

Почти все лето штаб 1-й Украинской дивизии стоял в Житомире. Но Щорс бывал здесь только наездами, хотя к работе штаба относился очень внимательно. Оправившись после болезни, он опять большую часть времени стал проводить в бригадах, которые, ведя наступление на очень широком фронте,

расходились друг от друга на сотни километров.

Щорс любил появляться в своих частях неожиданно, перед боем. Сходя с машины, он сейчас же собирал коммунистов, расспрашивал о настроениях бойцов, рисовал обстановку предстоящей операции. В решающий момент боя он появлялся в цепях и увлекал за собой бойцов в атаку. После боя, на перевязочном пункте или в лазарете, он беседовал с ранеными, записывал фамилии некоторых. Его спрашивали: «Зачем это, товарищ начдив?» Он отвечал: «Надо написать о вас в дивизионной газете. Дивизия должна знать своих героев».

Дивизионная газета «Красная правда» была любимым детищем Щорса. Он создал ее, еще будучи командиром бригады, и придавал ей огромное значение. Нередко ночью он появлялся в своей походной редакции, беседовал с ее работниками, давал им свежий материал и указания, советовал, как лучше оформить номер.

Люди не понимали, как хватает у Щорса времени быть везде и интересоваться всем. Казалось, личной жизни у него не было. Но письма к жене доказывают другое. Правда, многие его письма были похожи на боевые донесения или на газетную информацию, но между строк в них всегда прорывалось личное чувство, и это было чувство человека с большим, пламенным сердцем, умеющего любить с такой же силой, с какой он ненавидел врага.

Как-то летом Фрума Ростова приехала к мужу в Житомир. Пользуясь этим, друзья стали уговаривать Щорса перебраться из своего вагона на квартиру, пожить хоть немного в хороших условиях. Щорс смеялся, отнекивался, наконец, согласился. Несколько вечеров он провел с женой в семейной обстановке, в кругу близких друзей, был очень оживлен, играл с детьми соседа-железнодорожника, а потом опять уехал на боевой участок. Это были его последние встречи с женой.

5. Смерть в бою

В августе положение на украинском фронте резко изменилось. В северо-западные районы Украины вторглись бело-поляки. Они охватывали правый фланг щорсовской дивизии. Перешел в наступление и Петлюра, сформировавший с помощью своих союзников в Галиции новые части. Обходя левый фланг Щорса, петлюровцы прорывались к Днепру на соединение с денкинцами, наступавшими на Киев с востока. Полчища контрреволюции и интервенты, со всех сторон сжав дивизию, пытались загнать ее в мешок. Отрезанные от остальных частей Красной армии, обессиленные в боях, давно не снабжавшиеся, полубосые полки Щорса отходили, отбиваясь, через Шепетовку, Новоград-Вольнск на Коростень. В одном направлении с ними отходило еще несколько разрозненных частей. В конце августа все красные части украинского фронта, сгруппировавшиеся у Коростеня, были сведены в одну дивизию, получившую общий порядковый номер — 44. Перед дивизией стояла задача: во что бы то ни стало удержаться на коростенском плацдарме до соединения с группой войск фронта, прорывавшейся сюда с юга. Начдивом 44 был назначен Щорс. Он приказал бригадам, занимавшим отведенные им участки, «обороняться до последнего штыка».

Истощенный опять обострившимся процессом туберкулеза, Щорс работал в эти дни без сна, но совершенно спокойно, с ледяным хладнокровием. Приводя в порядок, пополняя полки дивизии, которая перестроилась на ходу, одновременно отражая атаки врага, Щорс находил возможность думать даже о таких мелочах, как цвет обмундирования своих курсантов. Несмотря на крайне напряженную боевую обстановку, Щорс требовал, чтобы занятия в дивизионной школе продолжались нормально. Переведенная вместе с штабдивом в Коростень школа краскомов готовилась к первому выпуску. Курсанты занимались под навесами какого-то заброшенного кирпичного завода. Более подходящего помещения для своих питомцев Щорс

не мог найти. Местечко Коростень было переполнено войсками, а эвакуировать школу в тыл обстановка не позволяла: школа была единственным резервом дивизии.

К 30 августа 1-й Богунский полк, прикрывавший Коростень с юга, отошел на вторую и последнюю линию обороны. Петлюровцы, охватывая левый фланг дивизии, приближались к железной дороге Киев—Коростень. Это была единственная свободная дорога для эвакуации Киева. Деникинцы подошли уже к днепровским мостам.

Перебросив в направлении петлюровского удара 2-й Богунский полк и подготовив для контрудара свой последний резерв — выпестованную им школу краскомэв, Щорс выехал на самый опасный участок обороны. Во второй половине дня 30 августа он приехал в д. Белошицу, где стоял штаб 1-го Богунского полка. Встретив командира полка, Щорс приказал ему проводить его на передовые позиции. Командир полка предупредил, что местность кругом простреливается. Щорс не обратил на это внимания.

Сейчас же за селом зеленела небольшая рощица. Здесь был расположен резерв полка — 3-й батальон. Щорс, не останавливаясь, прошел мимо него к 2-му батальону, занимавшему передний край оборонительной полосы. Впереди, метров в 800 от окопов, за небольшим хуторком, заметно было движение петлюровцев.

Проходя вдоль окопов, Щорс здоровался со знакомыми красноармейцами, с некоторыми беседовал. Хотя лицо его позеленело от усталости, от бессонных ночей, но, как всегда, он выглядел бодро, шутил. Появление Щорса сразу подняло настроение бойцов. Один красно-

армеец обратил его внимание на лежащий впереди хутор, сказал:

— Зашевелились гады. Накапливаются.

Щорс посмотрел в бинокль. Вдруг застрекотал пулемет. Пули зарывались в землю, подымая пыль в нескольких шагах от окопов. Щорс сейчас же лег, но продолжал смотреть в бинокль. Петлюровский пулеметчик стрелял с крыши крайнего на хуторе сарая. В бинокль было видно мерцание огня.

— Ловко бьет, гад, — сказал Щорс и велел командиру батареи открыть по хутору огонь. В это время усилилась стрельба на левом фланге. Щорс чуть приподнялся, перевел бинокль влево и вдруг опустил голову на землю, как будто задремал от усталости. Пуля белого пулеметчика пробила его голову навылет.

Спустя несколько минут Щорс умер, не приходя в сознание. Солнце приближалось уже к горизонту. Было около семи часов вечера, когда все кругом пришло в движение. Это было ничем неудержимое движение вперед. Это была знаменитая контратака богунцев, мстивших за смерть своего любимого начдива.

Последний полученный Щорсом боевой приказ был выполнен. Дивизия отстояла коростенский плацдарм и вскоре, прорвав у Житомира вражеское окружение, резко повернув фронт, перешла в наступление против Деникина. Главный удар Деникину наносили войска южного фронта под руководством товарища Сталина. Генеральное сражение завязывалось у Орла. Воспитанная Щорсом дивизия наносила вспомогательный удар в киевском направлении.

1917 год в документах кино-хроники

Ванда Росоловская

Наряду с газетами, архивными документами, литературой и фотографиями, сохранившими нам события Великой Октябрьской социалистической революции, существуют хроникальные кино-фильмы, которые запечатлели неповторимые дни борьбы партии Ленина — Сталина, борьбы русского пролетариата за власть Советов.

Кинематограф обладает могущественным свойством вырывать у потока быстрой жизни отдельные события, портреты людей, воскрешать давно забытый облик уличной толпы, архитектурных ансамблей и возвращать нам шум давно умолкнувших сражений.

В московских фильмохранилищах сохраняются фрагменты тех фильмов, которые некогда запечатлели события Великой Октябрьской социалистической революции.

Это, сравнительно, большой фонд.

Если раскрыть металлические коробки и под лупой, на моталке, рассмотреть полустертые негативы, позитивы с оборванной перфорацией, то внезапно откроется необычайный мир, мир живой и трепетный, потому что кинематограф сохранил в нем главное — исторические явления и их подлинную плоть.

Период февральской буржуазно-демократической революции и ее перерастания в революцию пролетарскую сохранился в двух полнометражных фильмах: «Великие дни Российской революции 28/II—4/III 1917 года» и «Государственное совещание».

Кроме того сохранилось множество коротких фрагментов — по 10—20 мет-

ров, относящихся к этому же периоду, несколько кино-журналов «Свободная Россия» и три части фильма «Похороны жертв революции». Техническая сохранность этих фильмов и их дублей неважная, но кое-где фильмы сохранили подлинный монтаж и подлинные надписи, о чем говорит орфография текстов и характер их шрифтов. Почти все фильмы виражированы или просто окрашены: в красный цвет — цвет революции, и в желтый цвет — цвет контр-революции. Последнее получилось невольно.

Фильм «Великие дни Российской революции», снятый коллективно несколькими операторами, изображает события 28 февраля — 4 марта 1917 года, свержение самодержавия пролетариатом и трудящимися и захват власти империалистической буржуазией. Фильм построен очень тенденциозно. По стилю надписей, отбору и компановке кадров он рабски повторяет либерально-холуйские меньшевистские и буржуазно-кадетские восторженные статейки о «России, увидавшей зарю свободы», «о новом хозяине земли русской — Временном правительстве».

Но таково уж свойство кинематографа: сквозь елейный налет буржуазного кино-репортажа, сквозь подкраску и позолоту глядит объективная правда истории: голодный Питер с разбитыми булочными, вшивыми вокзалами и грязными лазаретами, неясными контурами фонарей и монументов, с холодной замкнутостью дворцов и стремительностью перспектив, пропадающих в тумане, из

которого внезапно возникает грозная толпа демонстрантов с лозунгами и эмблемами революции на стягах. Булыжные мостовые, покрытые рыхлым, затоптанным снегом, — здесь прошла армия революции, — мостовые в колеях от тяжелых артиллерийских орудий, величественные разливы толп народа у Адмиралтейства, у Таврического дворца... Разбитые и обледеневшие окна Александровского участка, Бутырская тюрьма с раскрытыми воротами, разгромленные здания московских участков, поток демонстрантов у здания городской думы на Воскресенской площади (ныне пл. Революции, здание музея Ленина), растерянные казачьи патрули, раз'езжающие в толпе, и беспокойное нетреное небо — говорят многое в противовес елейным надписям.

Иногда надпись доходит до прямого конфликта с изображением.

Невский проспект. Прямо на аппарат, оттесняя оператора влево, течет толпа вооруженных демонстрантов. Это смешанная толпа солдат, рабочих и матросов. На солдатах раскрытые, без хлястиков, рваные с погонами шинели, пропотевшие папахи с вытертым мехом низко надвинуты на лбы; на рабочих короткие пиджаки из шинельного сукна, полушубки или ветхие пальто, опоясанные солдатскими поясами с бляхами, украшенными двуглавым орлом. Студенты в нарядных шинелях с галунами, с блестящими пуговицами и значками институтов на фуражках. Разнокалиберные винтовки, карабины и даже охотничьи ружья... Демонстранты отделены от любопытной толпы на тротуарах, толпы господ в котелках, бобровых шубах, в офицерских шинелях, от толпы лавочников и земгусаров — цепью вооруженных, которые идут гуськом, взявшись за руки. Лица хмуры. Наспех, от руки написанные лозунги — с требованием восьмичасового рабочего дня. А надпись?

«Да здравствует Народное Правительство Свободной России».

Мистификация и ложь. Кадры изображают один из моментов перерастания буржуазно-демократической революции в пролетарскую, начавшегося с

первых же дней победы буржуазно-демократической революции.

Крупным планом сняты знамена Московского гарнизона, на которых написаны требования «войны до победного конца». Но кадры говорят иное. В демонстрации, стекающей с Красной площади, мимо Иверских ворот без знамен, без строя, в оборванных шинелях, украшенных георгиевскими ленточками, жестяными крестами и круглыми, как клеймо, медалями идет толпа инвалидов войны. Их лица, покрытые желтой щетиной, худы, измучены и страшны. Многие на костылях. Безногий инвалид в обрезанной шинели ползет по снегу, подтягиваясь на руках, продетых в деревянные подпорки. Вокруг толпы инвалидов пустота, так как демонстранты сохраняют дистанцию для них, идущих без строя. Эта пустота звучит по-особенному — одиноко и страшно. Фоном инвалидам служит Кремлевская стена. Эти кадры — обвинительный акт против империалистической войны, резкое обличение, острое и беспощадное.

В первые дни, пока меньшевики и эсеры навязывали Временному правительству власть, предавая массы, пока в пустых и холодных залах Таврического дворца денно и ночью заседали пугливые мужи российского буржуазного парламентаризма, революционные массы праздновали на улицах победу над самодержавием.

Возле Большого театра, на Арбатской площади (между церковью, рынком и кинематографом), на Воскресенской площади, рядом с Александровским бульваром, у Лоскутной гостиницы и у храма Христа Спасителя, близ Пречистенки — происходили митинги. Толпа, не обращая внимания на кинооператора, стояла плотной стеной, повернувшись жадными лицами к оратору. Ораторы менялись. Вот офицер в добротной папаче и в пенсне читает манифест об отречении; вот студент, размахивая фуражкой, выкрикивает что-то, поднявшись на кузов старомодной автомашины; толпа выражает одобрение криками, бросает вверх шапки.

Сохранились замечательные кадры, изображающие революционные массы, воодушевленные радостью победы.

Отступая назад с аппаратом на вытянутой руке, кинооператор снимает огромную толпу рабочих и солдат на Красной площади. На шинелях — красные банты, на штыках — вымпелы, колеблемые ветром. Толпа наступает на оператора, смеется, разговаривает с ним. В радостном ликовании люди срывают с себя папахи, фуражки, финские круглые шапки и бросают их вверх, затем, подняв винтовки, потрясают ими в воздухе.

Обрыв монтажной фразы.

Несколько фрагментов показывают арест переодетых полицейских, жандармов, сыщика и пристава.

Сыщик в пальто и барашковой шапке, какие носили агенты крупных торговых фирм, содержатели ресторанов или издатели бульварных газет, — стоит перед кино-аппаратом в позе оскорбленной невинности. Кругом вооруженная красногвардейская молодежь.

Но лучше всего запечатлен арест пристава.

Из глубины какой-то захолустной улицы Москвы вперед, прямо на аппарат, ведут высокого, дородного пристава в дорогой папаче и великолепной шинели голубого жандармского сукна с серебряными пуговицами. С его плеч сорваны погоны. На лице — смущение, досада и озлобление. За приставом, приплясывая по мартовским лужам, идет толпа рабочих, мальчишек, подростков в стеганых солдатских душегрейках с отцовского плеча. С ядовитейшей иронией и насмешливостью, отмеченной еще Марком Твэном, как неотъемлемое качество мальчишек всех времен и народов, они свистят, строят рожи и потешаются искренне, от души. Кино-аппарат делает нетерпеливый прыжок к приставу, но он, точно чувствуя на себе взгляды многочисленных зрителей — будущих зрителей фильма, делает попытку свернуть влево от аппарата. Но не тут-то было. Конвоир-солдат с лицом сеченного-мученного, битого тысячу лет русского мужика берет пристава повелительно за рукав великолепной шинели и указы-

вает в аппарат. Дескать, снимайся, гад! Гляди! Тогда пристав воровато бросает взгляд в объектив кино-камеры, взгляд, полный трусливой ненависти и желчного бессилия.

Толпа ликует и смеется, а камера провозжает арестованного щедрой панорамой. Обрыв монтажной фразы.

По Неглинной ведут толпу переодетых полицейских. Они в русских поддевках и шапках боярского типа с меховой оторочкой и пливсовым верхом. Даже переодеться толком не смогли! Вид — точно в оперетте. Лица — понуро будничные. Дожили!

3 и 7 марта, когда власть была отнята у революционного народа империалистической буржуазией, вид московских и питерских улиц мгновенно преобразился. Начальник Московского гарнизона полковник Грузинов «навел порядок» на улицах. Митинги прекратились. Толпы были оттеснены на тротуары. Мостовые заняли марширующие полки, подтянутые, елико возможно, после того, что произошло.

Ветрено. По плотно утоптанному снегу шагают войска под надзором щеголеватых офицеров. У рослых солдат замкнутые лица. Они проходят слева направо, у самого аппарата, почти касаясь шершавым рыжими рукавами объектива, вытертые папахи сдвинуты лихо на правую бровь, винтовки на плечо, шинели истрепаны и бьют лохмотьями о разбитые сапоги, разбухшие от сырости валенки.

Опоясанные медью труб, проходят оркестры. Марш.

На Лобном месте — парад. Грузный полковник тяжело осел в седле. Он принимает парад. Это Грузинов. Некогда орлиный профиль расплылся. Полковник тяжело дышит, у него астма. Комедия ему надоела, но соблюдение всех приличий необходимо.

На бульварной Красной площади, изрезанной линиями трамваев, стоят войска Временного правительства. Это как будто бы те же войска, что и были. Но как они измучены, как оборваны! Впереди, показанные крупным планом, — ветераны, георгиевские кавалеры, огромные, бородатые знаменосцы с бархат-

ными, расшитыми золотыми орлами, гербами — знаменами полков. Оркестр врет на походные ритмы «Марсельезу». Начинается марш войск. Дамы с балконов Торговых рядов машут кружевными платочками.

Панорама скользит по рядам войск, заглядывая в равнодушные и подавленные лица, и внезапно у Минина и Пожарского открывает группу духовенства, вышедшего крестным ходом из Кремля. Византийские ризы, короны, камилавки сверкают золотом и серебром даже на выцветшем позитиве. Курятся кадильницы. Орут певчие. Надпись раз'ясняет: духовенство Кремля «присоединилось» (!) и провозгласило многая лета Временному правительству. Рядом с попами — представители дипломатического корпуса. Насмешливые, понимающие улыбки, камергерские шляпы с плюмажами, плащи гидальго, приподнятые шпагами, мундиры с обильной и жирной позолотой, европейские кэпи.

Раскисшие в мартовском снеге валенки солдат, знамена империалистической военщины и церковная кадильница — таков натюр-морт кадров этого парада. Достоинства фильма «Великие дни Российской революции» — в его массовых портретах революционного народа, в остроте действия и объективной правде множества кадров.

Позднее, в фильмах, специально изображающих военные манифестации¹, цель которых — поднятие воинственного духа среди войск, утраченного всерьез и надолго, когда военная пышность и благолепие заслонили нищету и уныние войск, — этой правды стало значительно меньше.

К фрагментам, отражающим подлинное настроение и первые ростки Великой Октябрьской социалистической революции на фронте, можно отнести два коротких обрывка, смонтированных в кино-журнал «Свободная Россия» (номер и дата неизвестны). Среди незначительных сюжетов, снятых у станции Двинск, есть небольшие фрагменты, изображаю-

щие братание русских солдат с немецкими. Это март или апрель 1917 года.

Равнина, покрытая рыхлым, потемневшим снегом, из-под которого торчат ржавые проволочные заграждения. Голодные грачи. Оголенные ветви деревьев вдали. Длинные могильные ямы окопов, в которых копошатся в мокрой и вязкой глине серые человеческие фигуры. Сначала панорама плывет по линиям окопов, открывая узкоколейку, санитарные повозки, блиндажи, походные кухни, братские могилы — все нехитрое хозяйство войны, потом объектив берет близко большую шеренгу русских и немецких солдат. Они стоят смешанной толпой, фронтально перед аппаратом, разглядывая его с детским любопытством. У них худые, небритые, серые, изможденные лица; шинели, ватники, гимнастерки, френчи уже не воспринимают более ни сырости, ни грязи. Клоками повисло то, что было формой русского строевого солдата-пехотинца, на его искусанном вшами, выжженном войной теле. Немцы более опрятны, но тоже от бывшего блеска «железных легионов» сохранились лишь жалкие, убогие остатки. Кино-камера фиксирует классические жесты братания: обмен шапками, курение одной «трубки мира». Немецкий солдат почувствовал на себе взгляд кино-камеры. Он сбросил шинель, взял об руку русского солдата, огромного детину, и застыл в нарочито-бравой позе. Он демонстрирует свое нежелание воевать. Солдаты смеются. Надеждой и добродушным недоверием светятся их лица. Неужели конец войне? Оружия нет. Винтовки оставлены в окопах или составлены пирамидой над ними.

Над большой группой, специально размещившейся для кино-съемки, — белый плакат на двух флагштоках. На нем старательно, от руки, выведены лозунги по-русски и по-немецки: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Да здравствует Интернационал» — лозунги «Окопной правды», лозунги партии Ленина — Сталина.

Эти серые, выцветшие кадры, снятые на позитивной пленке, без подсветки, при тусклом свете зимнего дня, полны творческого огня революции, — они

¹ «Манифестация военно-учебных заведений 19/III—1917 г.». Производство Акц. о-ва Г. И. Либкен. Оператор В. К. Булла.

трогают и волнуют, как самое высокое искусство.

Второй фрагмент очень короток. Он изображает унылый военный пейзаж той же равнины.

На дальних планах происходит что-то величественное, важное и грозное. Две огромные толпы солдат с флагами, развеваясь на ветру, безоружные, приближаются друг к другу. Это немецкие и русские солдаты. Два мощных силуэта смыкаются на горизонте. Выступают вперед делегации и начинаются переговоры. Монтажная фраза обрывается.

Снимок снят в то же утро, сумерки зимнего дня и дальность расстояния между объектами съёмки и кино-камерой не позволяют различить выражение лиц, форму одежды. Надписи утрачены. Далее идут фрагменты позднейших наслоений, не имеющие отношения к братанию.

Фильм «Похороны жертв революции» снят 23 марта (5 апреля) 1917 года. Он изображает огромную демонстрацию с буржуазно-демократическими лозунгами и эмблемами буржуазной революции в Питере на Марсовом поле. Он разрушает версию о «бескровности» буржуазной революции, так как документальные кадры сохранили огромную и прямоугольную могилу, вырытую среди Марсова поля, куда свезли великое множество гробов и уложили их в несколько рядов, тесно-тесно забив доверху яму. Это все — жертвы стычек с полицией в дни свержения самодержавия, — солдаты и матросы революционного гарнизона, революционная молодежь и жертвы, предательски расстрелянные с чердаков и колоколен.

Фильм портретирует состав меньшевистско-эсеровского Петросовета первого призыва — Стеклова, Федорова, Скобелева, Церетели и тех, с кем они делили великодушную власть, — Родзянко, Коновалова, Милюкова, Гучкова. Их окружает рабелепная военщина.

Трибуна властей стоит над самой могилой. Внизу у могилы рыдает мать одного из убитых, а наверху с буднично-деловыми лицами, с деляческим цинизмом отдают приказания два офицера

из шустрых штабных — куда какие гробы... Бесконечно, медлительно, на черных полотнищах солдаты без папах, с остриженными по-острожному головами, опускают в могилы своих мертвых товарищей. Некоторые плачут скупыми, мужскими слезами. Над полем густо повис молочный туман. А по дороге, по лужам апрельской оттепели, на санях и дровнях тянутся гробы... Понурый возница, шлепая в разбитых английских ботинках, понукает тощую лошаденку, и все вместе полно того страшного русского будничного трагизма, той холодной жестокости и острой нетерпимой боли, которая порождала в России пламенную, священную ненависть, неиссякаемый источник революционной ярости масс.

Июльские дни отражены в небольших фрагментах с подлинными надписями. Они показывают события 18 июня (1 июля) 1917 г. и 21 июня (4 июля) 1917 г.

Подлинные надписи рассказывают о том, что солдаты сорвали казачье знамя и бросили его в Неву. Изображение сейчас утрачено и сохранилось только его описание в газете «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» от 27 июня 1917 года. Автор заметки, меньшевик, ужасаясь, рассказывает, как «бесстрашный Киному» запечатлел позорную страницу: казаки во время демонстрации 18 июня вышли со знаменем, на котором было выражено доверие Временному правительству. Группа большевистских демонстрантов, среди которых было много солдат, с возбужденными лицами, сжатыми кулаками бросились на изменников, сорвали их предательское знамя, а казаков побили. Несмотря на давление военной цензуры, проверявшей снимки Скобелевского комитета, каким-то чудом в фильме уцелела подлинная надпись, рассказывающая о шумных овациях, устроенных народными массами «ярко-большевистскому Первому Пролетарскому полку».

Уцелевшие кадры показывают Питер в жаркий летний день. По Невскому, залитому горячими потоками солнца, идут демонстранты. На знаменах и плакатах, в форме которых есть уже что-то

неуловимо советское, — лозунги партии Ленина—Сталина: «Долой 10 министров-капиталистов!» «Ни сепаратного мира с Вильгельмом, ни тайных договоров с французскими и английскими капиталистами!».

Кое-где из окон выглядывают обыватели. На тротуарах — перебегают. Мечутся. Чесучовые пиджаки. Панамы. Бородки. Пенсне на шнурках. Трости с монограммами. Канотье. Смятенье. Шопот. Что-то будет? Гимназист с любопытством заглядывает в объектив. Его заячья мордочка выражает смущенье ничего не понимающего современника великих событий. Он — типичная деталь толпы буржуазных зевак, с ужасом читающих свой приговор на большевистских знаменах.

Вот идет группа анархистов с дачи Дурново. Буйные шевелюры. Засаленные воротнички. Пышные галстуки, относимые в сторону невидимым ветром. Пиджаки и визитки с чужого плеча. На знамени черном — череп и кости. «Долой власть и капитал». Жалкие эпитоны Бакунина и Крапоткина выглядят оперными статистами в 1917 году. Мрачные мизантропы, торговцы ядами, масоны последнего призыва или братья-разбойники из лубочного издания Сытина.

В полном составе, со знаменем, с метранпажем и наборщиками — редакция «Социал-демократа». Много большевистских лиц, похожих одновременно и на Свердлова и на Луначарского. Тип большевика-агитатора, газетчика 1917 года.

Но еще не все переодетые полицейские выловлены. Еще сильна реакция. На бархатных хоругвях желтым, тусклым шитьем — предательские слова врагов народа: «Доверие Временному правительству».

Толпа буржуазных зевак машет шляпами, газетами и носовыми платками. Дескать, вот она — истина!

Фильм «Государственное совещание» — лебединая песнь кино-хроники Скобелевского комитета. Снят оператором А. Левитским. Фильм интересен, в первую очередь, групповыми кино-портретами.

Фильм показывает последовательно съезд членов Государственного совещания в Московском Большом театре. Перед кино-камерой, поглядывая в объектив, с деланным величием проходят: комиссар временного правительства в Москве Н. Кишкин, министр внутренних дел Н. Д. Авксентьев, председатель Московской городской думы О. С. Минор, государственный контролер Ф. Ф. Кокоскин, министр исповеданий А. В. Караташев, Н. С. Чхеидзе, Каледин, Караулов и Родзянко, внезапно загромождающий весь кадр неопрятной полнотой.

В группе московской профессуры — академик В. М. Бехтерев. Лица у профессуры скучные. Скоро ли начнется?

Наконец, потрепанную, старомодную автомашину разгружают от Е. Н. Брешко-Брешковской. Она в пестрой кофте навыпуск и с ключом.

Кинематограф — великий сатирик. Иногда простые документы, снятые с единственной целью «запечатлеть», превращаются, спустя некоторое время, в историческую сатиру, в разоблачительный памфлет.

Нам удалось найти среди множества документов кино-хроники кануна Великой Октябрьской социалистической революции — кино-портреты Керенского.

Весна 1917 года. Фронтально у аппарата, на первом плане, окруженный толпой гимназистов, юнкеров, кадетов, чувствительных дамочек из комитета «Красного креста» и каких-то забубенных чиновников, напоминающих игроков на тотализаторе, биржевых спекулянтов, мелких фабрикантов, завсегдаев «Летучей мыши» — стоит Керенский. Он одет солидно, как столичный адвокат с положением или действительный статский советник в отставке.

Сначала он тупо, точно загипнотизированный, глядит в объектив, но постепенно растерянная улыбка ползет по его рыхлому лицу, и внезапно, сорвав котиковую шапку, он жестом неловкого актера потрясает ею в воздухе. Тронут, весьма тронут. Конец монтажной фразы обрывается...

Второй фрагмент еще более разителен.

Лето 1917 года. Площадка окружена деревьями с пышными кронами. Офицеры качают Керенского. На нем военный френч и галифе («военный страгег»). В одной руке судорожно сжат букет цветов, другая взмахивает фуражкой. На лице испуг и досада. Офицеры мешают с'емке, заслоняют его от объектива, кто-то расталкивает, указывая на объект. Качающие рванулись вперед, схватив «премьера» за ноги, но тщетно: камера далеко.

Третий фрагмент — у входа в Большой театр, в фильме «Государственное совещание». Щегольской автомобиль остановился. За Керенским, вытянувшись, как на смотре, взяв «под козырек», шагают два ослепительных ад'ютанта с дегенеративными лицами холуев. Перед кино-камерой Керенский на мгновение задержался. Обернулся к объективу, через плечо, ориентируясь на аппарат, быстро, театрально, на-ходу бросил несколько повелительных фраз в пространство.

Этот эпизод 1917 года использовал заслуженный деятель искусств режиссер С. М. Эйзенштейн. Он воспроизвел дух этого эпизода, заострив его сатирически, в фильме «Октябрь» в кадре «Восхождение Керенского по лестнице славы».

Из сатирических кино-документов эпохи следует отметить еще короткий фрагмент «Женский батальон». Двести «патриотов» в солдатских гимнастерках и стеганых штанах, заправленных в мужские сапоги, с волосами, спрятанными под папахи и фуражки с кокардами, под предводительством командирши в хорошо пригнанной офицерской форме, маршируют «на месте», высоко поднимая ноги и сжимая кулаки, подражая «настоящим» солдатам. Вид значительный и... беспомощный. «Шагом арш» — и отряд, останавливая уличное движение, под хохот прохожих и «ать-два» командирши — марширует в затемнение.

Гражданская история зафиксирована в этой главе кино-летописи однобоко и скудно. Нет подлинной истории, которую творила большевистская партия в самых недрах солдатских и пролетарских масс. Несколько обрывков сохрани-

ли облик Луначарского, кадр в 10 метров — дворец Кшесинской с красным флагом ЦК большевиков на флагштоке крыши.

Есть указание на две с'емки Ленина в этот период. Оператор Лемберг А. Г. сообщает, что он снимал Владимира Ильича дважды: 1 мая 1917 года на Марсовом поле, в Ленинграде (Петрограде) от фирмы А. О. Дранкова. Кроме того, во время речи, произнесенной с балкона дворца Кшесинской. Никаких следов этих с'емок сейчас нет. Они утрачены.

Великая Октябрьская социалистическая революция началась внезапно для Скобелевского комитета и его отдела рабочей хроники. С'емка событий производилась случайно, хаотично, без единого плана. Руководство Скобелевского комитета — офицеры и меньшевики — предпочитали выдать великую революцию за временные «беспорядки», которые вскоре будут «подавлены» войсками Керенского.

Тем не менее в декабре 1917 года был смонтирован и выпущен фильм «Октябрьская революция 1917 года», куда вошли различные фрагменты, снятые в разное время в Москве и Питере в течение этих исторических дней.

В целостном виде фильм утрачен. Удалось разыскать в трех различных фильмохранилищах несколько фрагментов этого фильма и документировать их, как фрагменты фильма об октябрьско-ноябрьских днях. И в этих фрагментах есть позднейшие наслоения (кадры боев, крейсера, орудия, баррикады), снятые через некоторое время после победы революции. Монтаж нарушен. Подлинных надписей мало. Соединив в некотором порядке возможную последовательность кадров, можно прочесть фильм. Сумерки на дворцовой площади у Зимнего дворца. Груды дров у входов, у фонарей, на мокрой от снега мостовой. Ветер рвет полы шинелей на юнкерах. Они строят баррикады из дров перед Зимним. Суета, бестолковая возня, наивная и убогая. Возможно ли, что это инсценировка? Фрагмент подвергся тщательному анализу несколько раз. Штабеля дров у Зимнего, площадь и здание, ок-

тябрьский ветер и дождь — подлинные. Баррикада? Юнкера? Здесь есть две точки зрения: актеры сыграли постройку баррикады у остатков подлинной, разрушенной баррикады из дров.

Если это и возможно, то сделано рукой гениального мастера кинематографии, так как убедительность документа потрясает.

Вернее вторая точка зрения, что фрагмент был случайно «пойман» оператором, который вертелся у Зимнего 25 октября, высматривая «сюжет». Беспорочно подлинны и пикеты юнкеров у Зимнего, которые стоят между грудями дров у ворот и у орудий, которым так и не суждено было остановить штурм Зимнего дворца. Далее следуют кадры, показывающие дымящуюся, разрушенную баррикаду, пожар, еще не угасший после обстрела.

Далее следуют кадры, показывающие щедрыми горизонтальными и вертикальными панорамами фасад Зимнего, обстрелянного из дальнобойных орудий. Из вод Балтики поднимается величественный крейсер, на борту которого можно прочесть «Аврора».

Вход в Смольный — штаб большевиков. Изысканный ампирный цоколь, поддерживающий колонны, а у входа огромный часовой в тулупе до пят и с овчинным воротником. Ему холодно. Он похаживает, в надежде согреться. Лестница обледенела. Падает мелкий, колкий ноябрьский снежок, ложась звездочками на папаху и могучие плечи часового. У ног его — старинное орудие.

Вход контр-а-журом, с темными силуэтами пулеметов. Вход живет деятельной жизнью. Входят и выходят люди в тулупах, кожанках, полушубках. Агитаторы, командиры отрядов, военные работники. Исторических портретов нет. Но все вместе — замечательный портрет массы, запечатленной в творческом революционном горении, без позерства, без нарочитости в движениях; они проходят мимо оператора, не видя его, — озабоченные, хозяйственные, строгие, русские большевики.

Проходит отряд красногвардейцев. Это новая армия. Папахи с красными перевязями. Винтовки на ремнях за пле-

чами, на поясах патронташи, ручные гранаты, пулеметные ленты. Среди красногвардейцев-солдат много штатских, студентов, моряков, но характер вооружения и четкий ритм строя показывает, что эта армия — единая и грозная. Новая черта человеческой гордости, сознания важности совершаемого зажгла черты лиц. Это — гвардия революции.

Из Смольного выходит отряд краснофлотцев. Они отправляются в Гатчину, где идет бой с остатками частей бывшего Временного правительства. Они проходят мимо сада в зимнем уборе, идут по снежной, точно вспененной дороге, и панорама жадно фиксирует их веселые русские добродушные лица, бескозырки с оторванными ленточками, бушлаты, опоясанные ремнями, клеши, заправленные в сапоги. Голые шеи, груди в тельняшках, открытые зимнему ветру... Они, смеясь, прощаются с кинооператором, долго оборачиваются на аппарат, радостные, идущие на смерть, а их командир, сняв бескозырку, машет ею в последний раз, пока отряд пропадает вдали.

По улицам Питера раз'езжают грузовики с вооруженными красногвардейцами. Женщина в платке и в валенках, с ведерком и кистью расклеивает на круглых тумбах и стенах — «Голосуйте за списки»...

Из московских снимков сохранился небольшой фрагмент, имеющий странное название — «В дни скорби и траура». Фрагмент изображает Москву после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Контрреволюционный смысл заглавия и надписей становится ясен, когда прочитаешь весь фрагмент. В фрагменте показаны здания, поврежденные обстрелом в октябрьско-ноябрьские дни. Но как это подано! Если заглянуть в буржуазную, контрреволюционную прессу, выходившую некоторое время после 25 октября (7 ноября) 1917 года, то разгадка «скорби и траура» тех, кто стряпал этот грязный фильм, станет очевидна. Желтые кинематографисты, любители пасквилей и сенсаций, сгустили краски. Однако далее следуют надписи о «победе большевиков и Красной Гвардии». Несколько

финальных кадров показывают угол Никитской улицы и Никитские ворота. Все неузнаваемо и в то же время знакомо.

Осеннее утро. Улица живет обычным ритмом. Вывески с твердыми знаками. Проходят неторопливо, замедляя ход на повороте, трамваи. Проехал извозчик с одиноким унылым седоком. Прошла женщина, торопливо и легко, в широком пальто клеш и высоких зашнурованных ботинках. Промчался лихач с павлиньим пером на отлете. Прошел солидный господин в шубе и котелке, помахивая тростью. Пронесли газетчики, и два вооруженных красногвардейца, остановив их, купили газеты. Все еще дышит устоявшимся, старым, многолетним укладом Москвы.

Но окна, разбитые октябрьскими выстрелами, и вид красногвардейцев говорят, что это уже новая Москва. Большевицкая. Москва на другой день после победы партии Ленина—Сталина. Здесь прошел уже величественный марш революции, и постепенно, как полуразложившийся негатив, будет исчезать облик дореволюционных зданий, будут меняться самые камни на мостовых, и старая дореволюционная Москва пропадет в диафрагме десятилетий...

Исторические портреты вождей революции в октябрьские дни снять не удалось. Места боев, снятые через некоторое время (в декабре или январе 1918 года), интересны архитектурой и суровым колоритом времени. Груды кирпичей, бочек, целые мебельные склады, части разбитых зданий, опрокинутые трамваи и оборванные телеграфные провода... Сбитые, заржавленные вывески, сохранившие имена купцов и промышленников, или вывески бывших полицейских участков с иконописным Георгием-победоносцем, покровителем жандармов и филеров... Взрыхленные рядами мостовые с вырванным булыжником, погнутые узорчатые решетки с княжескими гербами у особняков и весь натюр-морт уличных боев в октябрьско-ноябрьские дни веет на зрителя ветром подлинной истории, трогает и волнует.

Массовый портрет победившего пролетариата представлен в фильме, нося-

щем название «Манифестация 17 декабря 1917 года». Демонстрация была организована в связи с мирными переговорами в Питере, на Марсовом поле.

Зимний ясный день. Огромное Марсово поле под снегом. Мощный разлив большевистской демонстрации затопил все пространство, видимое в кадре. Панорама плывет влево, открывая все новые и новые массивы демонстрантов.

Ослепительные полковые оркестры предшествуют войскам. Знамена колеблются на ветру. Проходит часть во главе с офицерами без погон. (Так с офицерами и перешли к большевикам). Боевой порядок. Энергичный ритм марша. Войска хорошо одеты и вооружены. Проходит Кексгольмский полк, и замершая толпа любит выправкой народной армии. Проходит Красная гвардия завода Посселя.

Демонстрация Охтинского района проходит по Невскому, преобразованному красными полотнищами и лозунгами большевистской партии, написанными еще по старой орфографии. Проходят пролетарии завода Сименс-Гальске и Трубногo завода. Здесь можно видеть питерских пролетариев в сношенных кожаных кепках или потрепанных фетровых шляпах, коротких шубах из грубошерстных тканей военного времени или русских полушубках. У них энергичные усаые лица.

Так они идут, победители, и камера провожает их взглядом.

Весь фонд фильмов, посвященных подготовке и победе Великой Октябрьской социалистической революции, снят, с точки зрения современного операторского искусства и техники обработки негатива, — слабо. Снимали часто на позитивной пленке, без подсветки, при свете бессолнечного осеннего и зимнего дня. Из проявочных химикалиев многого не доставало, снимали «гробами», «верблюдами», старыми аппаратами «Патэ», передвигаясь, в лучшем случае, на извозчицкой пролетке.

Уровень кино-языка в этой хронике очень невысок, характер изображений беден: белесое небо и серо-черные отпечатки людей и вещей, без полутонов,

без глубокого бархатного черного тона, составляющего основную прелесть кинематографа, без линейной четкости перспективы, без игры свето-тени на лицах и предметах, что дает им вес, объем и выделяет их в пространстве.

Ракурс был неизвестен. Но в дни Октября родился динамический кино-портрет, портретирование без позы, фиксация человека, группы людей в их естественном движении, поведении. До Октября кино-портреты ничем по ком-

позиции не отличались от ступенчатых групповых портретов, таких же, как в фотографии. Поток событий снял условность формы, массы творили революцию, им некогда было «позировать» и «сниматься».

Плохое качество снимков не мешает зрителю волноваться, видя историю, оживленную светом кино-проекции. Можно только пожалеть, что мало исторических событий донес до нас кинематограф.

Двадцать лет советской литературы

(Краткий обзор)

ЛИТЕРАТОР

Двадцать лет развития советской литературы неразрывно связаны с общим ходом той великой борьбы за социалистическое общество, которая велась и ведется народами нашей родины.

Идеи коммунистической партии и гениев пролетарской революции Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина вдохновляли и вдохновляют лучших представителей советской литературы. Воплощая эти идеи, близкие и понятные всему трудящемуся человечеству, лучшие произведения нашей литературы завоевывают любовь и признание во всем мире. Литература в нашей стране до революции была достоянием господствующих классов и сравнительно небольшой прослойки интеллигенции. Ныне она стала достоянием всего советского народа. Выдающиеся произведения нашей литературы получили всенародное признание.

Но этих успехов советская литература достигла не сразу. Она завоевывала их в борьбе с враждебными тенденциями, начиная от реакционных течений дореволюционной литературы и кончая диверсионно-вредительской деятельностью троцкистских и иных двурушников в области искусства. Решающую роль сыграло в этой борьбе повседневное мудрое руководство литературным движением со стороны ленинско-сталинского Центрального Комитета нашей партии.

С первых дней Октября и до настоящего времени Центральный Комитет

внимательнейшим образом следит за положением в области литературы, направляя творчество писателей к великим целям борьбы за социализм.

Внимательному отношению к литературе учил В. И. Ленин, который придавал ей исключительное значение. Ленинское отношение к литературе нашло свое яркое выражение в его статье «Партийная организация и партийная литература», в статьях о Л. Толстом, письмах к М. Горькому, высказываниях о Пролеткульте, оценках отдельных русских писателей.

Такому же внимательному отношению к литературе учит нас И. В. Сталин. Товарищ Сталин дал исключительной силы оценку литературы, назвав советских писателей «инженерами человеческого духа». Это замечательное определение роли советского писателя показывает, какое огромное внимание уделяют наша партия и лично товарищ Сталин не только советской литературе вообще, но и каждому отдельному ее представителю.

Это неослабное внимание и огромная помощь ЦК нашей партии обеспечили быстрый рост и значительные успехи советской литературы.

I

Русская литература в период, непосредственно предшествовавший Великой Октябрьской социалистической революции, представляла собой сложную и

пеструю картину. В литературе действовало и боролось множество групп и течений, начиная от эпигонов дворянской литературы и кончая «ультра-левыми», как они себя именовали, группами литературы буржуазной. Эпигоны реализма XIX века существовали рядом с символистами и акмеистами, «неонародники» — рядом с футуристами, неоклассики — рядом с архаистами. Русская литература этой поры насчитывала немало талантливых писателей и поэтов, но в целом она переживала глубочайший упадок. Если сравнить предреволюционное состояние литературы с великими традициями и наследием русской литературы XIX века, то этот упадок будет еще более очевиден.

От Пушкина и до Л. Толстого русская литература создала огромные ценности, поднялась на гигантскую высоту, справедливо завоевав первое место в мире. Когда умер Л. Толстой, Ленин писал:

«Рисую эту полосу в исторической жизни России (т.е. Россию пореформенную эпохи 1861 — 1905 гг. — *Ред.*), Л. Толстой сумел поставить в своих работах столько великих вопросов, сумел подняться до такой художественной силы, что его произведения заняли одно из первых мест в мировой художественной литературе. Эпоха подготовки революции в одной из стран, придавленных крепостниками, выступила, благодаря гениальному освещению Толстого, как шаг вперед в художественном развитии всего человечества». (Ленин — «Л. Н. Толстой», Соч., т. XIV, стр. 400.)

Лев Толстой был великим художником-реалистом. Его беспощадный реализм, проникавший до сокровенных глубин человеческого сознания, до самых скрытых пружин общественной жизни, придает особую силу его произведениям.

Реализм творчества лучших русских писателей был неразрывно связан с народностью. Глубокой народностью проникнуты творения Пушкина, призывавшего своих собратьев по перу учиться русскому языку у простого народа. Народностью, горячей любовью к Рос-

сии и думами о ее будущем проникнуто и творчество Лермонтова, Гоголя, Некрасова, Гл. Успенского, Белинского, Чернышевского, Добролюбова и других русских писателей, вплоть до Толстого, который отразил в своем творчестве: «Великое народное море, взволновавшееся до самых глубин, со всеми своими слабостями и всеми сильными своими сторонами...». (Ленин — «Толстой и пролетарская борьба», Соч., т. XIV, стр. 407.)

Народность творчества великих русских писателей органически связывалась с отрицанием крепостничества и буржуазно-помещичьего строя. Сознательно или бессознательно, они ждали революции, которая сбросила бы этот ненавистный, сковавший силы народа, буржуазно-помещичий строй.

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена! —

писал Пушкин в послании к Чаадаеву.

Лермонтов, глубоко любивший Россию — «ее степей холодное молчанье, ее лесов безбрежных колыханье, разливы рек ее подобные морям... дрожащие огни печальных деревень», — ненавидел самодержавие и его прислужников — этих «жадной толпой стоящих у трона» палачей свободы, гения и славы.

Гоголь, нарисовав в «Мертвых душах» гениальную картину крепостнической России, с тоской и надеждой восклицал: «Русь, куда же несешься ты? дай ответ...».

О раскрепощении народа мечтал Некрасов, отразивший в своих поэмах и стихах тяжелую долю русского крестьянина в пореформенную эпоху. О счастье народа думал Толстой, создавая свои бессмертные произведения. И если Пушкин и Лермонтов проклинали придворную челядь и «мундиры голубые», если Гоголь разил острием своей сатиры царскую правящую верхушку, то Толстой глубже, чем кто-либо, раскрыл антинародную эксплуататорскую сущность буржуазно-помещичьих учреждений пореформенной России.

Великие писатели, воплощая передовые идеи своей эпохи, боролись за счастье своего народа и в духе этой борьбы и ненависти к самодержавию воспитывали поколение за поколением.

В конце XIX — начале XX века в русской литературе начинает проявляться тенденция ухода от общественных вопросов, замыкания в интересах личной жизни буржуа или в области «чистой поэзии». Возникает символизм, сыгравший большую роль в развитии и определении характера предреволюционной буржуазно-дворянской литературы. Символизм провозгласил культ индивидуализма, имморальности, оправдания любых поступков «сильной личности», бывшей синонимом представителя господствующих классов. В этом отношении символисты подражали Ницше с его культом «сверхчеловека» и отрицанием общественных норм и морали.

Мережковский, Бальмонт, Брюсов, Гиппиус, Сологуб отражали в своем творчестве эти идеи. Символисты боролись с реализмом и с общественно-познавательными задачами литературы. Искусство для них было не общественным, а узко-индивидуальным делом. Символизм начал подчеркивать самоцельное значение формы, являясь в этом отношении предшественником последующих формалистических течений в искусстве. Символизм в области литературы знаменовал собою тот же поворот, что в области философии — неокантианство и другие реакционные течения.

Эти тенденции еще более возросли в период реакции после революции 1905 года. В 1909 году вышел сборник «Вехи», написанный идеологами кадетов Бердяевым, Булгаковым, Изгоевым, Струве и др. В этом сборнике представители буржуазной интеллигенции описывали русское освободительное движение, Белинского, Чернышевского и Добролюбова; отказывались от всякой демократии; объявляли войну материализму во имя мистицизма, богоискательства и прочих прелестей, поднимали на щит Владимира Соловьева и До-

стоевского, стремясь в их проповеди православия и борьбе с революцией найти оправдание собственного ренегатства.

В литературе в этот период появляются такие произведения, как «Санин» Арцыбашева, «Мелкий бес», «Навы чары» и др. Сологуба, мистико-анархические произведения Л. Андреева («Царь-Голод», «Савва», «Жизнь Василия Фивейского» и др.), пошлые романы А. Каменского и другие модные тогда произведения. Мистика, половецкие извращения, истерия, индивидуализм — вот основные мотивы этих «модных произведений».

Писатели, в какой-то мере пытавшиеся сохранить тенденции реализма и связь с традициями классической русской литературы, не избежали тлетворно-упадочнических веяний эпохи, идейного кризиса и оскудения своего творчества (Бунин, Шмелев, Зайцев, Куприн и др.). Некоторые из них пытались ставить более значительные социальные проблемы, но идейное и художественное решение этих проблем было исключительно жалким (Шмелев — «Человек из ресторана» и др.).

В этот же период между двумя революциями возникло течение акмеизма (в основном нашедшее свое выражение в поэзии Гумилева, Ахматовой и др.). Акмеисты отрицали символизм за то, что он попеременно «брался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом» (Н. Гумилев). Акмеисты говорили, что борются за здоровое начало, за ясность в поэзии. Но в то же время они подчеркивали звериное начало в человеке, искали того же «сверхчеловека», воспевали культ животной силы, т.-е., по существу, сходились с символистами в ярко подчеркнутом индивидуализме и имморализме.

Наконец, незадолго до империалистической войны, на литературной арене появился футуризм. Субъективно футуристы рассматривали себя как протестантов против буржуазного искусства; но это было верно лишь в отношении левого крыла футуризма, представляемого В. Маяковским; что же касается футуризма в целом, то он отрицал лишь

устаревшие формы буржуазной жизни и искусства, но не прогнившую культуру капитализма вообще. Футуристы требовали создания «нового языка» («автомобильных слов»), новых ритмико-выразительных средств. Эти искания нередко (как у Хлебникова, Крученых) приводили к полной «зауми», к самодовлеющей игре «новыми» словами. Тем самым футуризм был выразителем формалистических тенденций.

Отрица классическое наследие, футуристы требовали сбросить с «парохода современности» классиков литературы.

Левое крыло футуризма, представленное Маяковским, внесло в эти установки ноту резкого социального протеста против капиталистической действительности. В своих ранних стихах Маяковский выворачивает «наутро» буржуазного города. Он обращается к низам этого города как их поэт и обрушивает гнев и сарказм на буржуа (трагедия «В. Маяковский», «Вам»). В чаду шовинизма, охватившего буржуазную литературу в начале империалистической войны, Маяковский был одним из немногих, поднявших свой голос против империалистической войны, которая в его стихах вставала не парадной, живо-романтической стороной, как у Гумилева, Сологуба и других, а во всей своей бессмысленности и жестокости.

Но не один только Маяковский ждал революции и видел ее неизбежность. Не в меньшей мере, но в иной, своеобразной форме это ощущение было присуще и А. Блоку. Если Маяковский был крупнейшим поэтом футуризма, то Блок — крупнейший поэт символизма.

В 1908 году Блок говорил: «Россия, вылезшая из одной революции, жадно смотрит в глаза другой, может быть более страшной». В поэме «Возмездие» Блок дал убийственную картину буржуазной цивилизации: XIX век для него — это

Век буржуазного богатства
(Растущего незримо злом).

В XX веке «еще бездомней, еще страшнее жизни мгла».

Блок видел всю глубину и мерзость разложения буржуазно-помещичьей вер-

хушки страны и пошлость современной ему буржуазной литературы. «Происходит окончательное разложение литературной среды в Петербурге. Уже смердит» — писал он.

Таким образом, крупнейшие поэты предреволюционной поры: Блок и Маяковский — каждый по-своему — стали на ярко выраженные отрицательные позиции в отношении буржуазно-помещичьего строя и империалистической войны. («Европа сошла с ума: цвет человечества, цвет интеллигенции идет годами в болоте, сидит с убеждением (не символ ли это?) на узенькой тысячеверстной полоске, которая называется фронт» — писал Блок.)

Это должно было привести их к приятию Октября в тот момент, когда большинство буржуазных писателей заняло враждебную пролетарской революции позицию.

Но было бы неправильно видеть в этом отрицании Блоком и даже Маяковским (на данном этапе) буржуазного общества вполне сознательные социалистические тенденции и убеждения.

Блок и Маяковский шли к пролетарской революции — первый от символизма, второй от футуризма.

Среди писателей, которые связали себя теснейшими узами с революционной борьбой пролетариата задолго до Октября, в первую очередь надо назвать Максима Горького.

Максим Горький начал свою писательскую деятельность еще в конце XIX столетия, в 90-х годах он был уже известным писателем, а с началом 900-х получает мировое признание. В России и за границей Горький становится символом русской революции. Его «Песня о буре» и «На дне» получили небывалое распространение. Произведения Горького, сочетавшие замечательный реализм в раскрытии русской действительности предреволюционной эпохи со страстным призывом к революционной борьбе за новую жизнь, с романтикой этой борьбы, поднимали и воодушевляли десятки и сотни тысяч людей на борьбу с самодержавием и капитализмом. В эпоху кризиса русской буржуаз-

ной литературы Горький создал такие произведения, которые стояли на уровне лучших достижений и традиций великой русской реалистической литературы XIX века.

Горький не только продолжал традиции реализма XIX века; он сделал шаг вперед в развитии русской и мировой литературы. С необычайной художественной силой он изобразил новый мир, мир пролетариата и пролетарской социалистической революции. Горький глубже, правдивее и художественнее, чем кто-либо, изобразил русскую буржуазию конца XIX — начала XX века, буржуазию эпохи бурного капиталистического развития, с одной стороны, и надвигающейся революции, с другой.

Воспевая социалистическую революцию, М. Горький в своих произведениях страстно боролся с мещанством и оппортунизмом, этими злейшими врагами революции и рабочего класса. Отражая в своих произведениях эпоху приготовления Великой Октябрьской социалистической революции с точки зрения пролетариата, Максим Горький выступал как великий пролетарский писатель.

Символисты, декаденты и прочие течения буржуазного искусства вели ожесточенную борьбу против Горького, всячески его травили. Все эти Философовы, Мережковские, Гиппиусы, Розановы и им подобные видели в Максиме Горьком представителя иного, враждебного им класса. Им вторили меньшевики и всякого рода оппортунисты. Но с Горьким были массы, с ним был Ленин и партия большевиков. И это придавало еще большую силу его произведениям.

В 1906 — 1907 гг. Максим Горький создал одно из наиболее сильных своих произведений — роман «Мать».

Показывая на материале революционной борьбы рабочих Сормовского завода типичный путь российского пролетариата к революции (роман охватывает период до 1905 г.), М. Горький создал незабываемые образы растущих революционеров-большевиков в образе Павла Власова и его матери — Нилы.

В 1909 году Ленин писал Горькому:

«... мне хочется крепко пожать Вашу руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы...». (Ленин, Соч., т. XIV, стр. 186—189.)

В «Детстве» и «В людях» Горький рисует формирование и рост борца против буржуазного общества на своем собственном примере.

Разоблачая мещанство и буржуазию, Горький показывал, как они душат и калечат людей, как они убивают таланты, выдвигавшиеся народом. Выйдя сам из народных масс, Горький пронизал все свое творчество огромной человечностью и любовью к народу.

Горький заботливо выращивал и поддерживал писателей, вышедших из народа. Одним из наиболее ярких представителей таких писателей, подобно Алексею Максимовичу, испытавших на себе все ужасы жизни подневольных людей, являлся С. Под'ячев. Бедняк-крестьянин, С. Под'ячев посвятил свое творчество горькой жизни крестьянской России. В его рассказах и повестях («Тьма», «Зло», «Жизнь и смерть» и др.) правдиво показана тяжелая повседневная драма жизни крестьян-бедняков и батраков, показаны обстановка и быт дореволюционной деревни.

Рядом с Под'ячевым надо назвать И. М. Касаткина, также писавшего о деревне и создавшего ряд рассказов, с большой силой раскрывающих звериную сущность русского кулачества, мечту крестьянской и пролетарской бедноты о лучших временах и первые проблески лучшего времени (см. его рассказы: «Легучий Осип», «Тимофей Жвако», «Петрунькина жизнь», «Сказка» и др.).

Из писателей, близких по теме и идеям к Горькому, надо также назвать Серафимовича, А. Чапыгина и др.

В 1914 году Горький издал «Первый сборник пролетарских писателей», в котором участвовало 27 авторов. Издание такого сборника, собрание М. Горьким

близких к нему писателей в «Летописи» (журнал, издававшийся в годы войны Горьким) и в издательстве «Знание» знаменовали рост пролетарских кадров в литературе.

Пролетарские писатели и поэты объединились также вокруг большевистских газет «Звезда» и «Правда».

Первое место занимает здесь Д. Бедный.

Демьян Бедный воскресил на страницах большевистских газет басню. В своих баснях он высмеивал и разоблачал пороки и язвы царской, буржуазно-помещичьей России, прививал массовому читателю критическое, отрицательное отношение к существовавшему строю.

В стихах других поэтов, печатавшихся в «Правде» и «Звезде», рисовалась рабочая жизнь, обстановка фабрик и заводов, воспевалась борьба пролетариата за свое освобождение от гнета капитализма. Пролетарская литература, начиная с Горького и кончая поэтами «Правды» и «Звезды», характеризовалась своей яркой идейной направленностью и реализмом.

II

Великая Октябрьская социалистическая революция подавляющим большинством буржуазных писателей была встречена враждебно. Лишь незначительное меньшинство — А. Блок, В. Брюсов и др. — приняло революцию. С первых же дней Октября безоговорочно встает на сторону революции и левое крыло футуристов во главе с В. Маяковским.

В противовес этому буржуазные писатели проклинали революцию, всячески клеветали на большевиков и восставший против капитализма народ. В кликушеских контрреволюционных стихах Э. Гиппиус от имени всей внутренней и внешней белогвардейщины мечтала о веревках и виселицах для «черни». Она пророчила, что народ, который восстал против крепостников типа господ Гиппиус и Мережковских, будет загнан в хлев палкой, и обливала площадной ру-

ганью Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Не приняли революцию и такие писатели, как Мережковский, Бунин, Л. Андреев, Ремизов, Шмелев и др. Все они эмигрировали за границу, некоторые из них в годы гражданской войны работали в белогвардейских штабах.

Наряду с внешними эмигрантами некоторые буржуазные писатели, оставшиеся в Советском Союзе, также выражали враждебные революции настроения в более или менее открытой форме; одни, не приемля революции, уходили в прошлое в своих стихах или рассказах; другие, скрывая и извращая действительный характер Октября, рисовали революцию в мрачных тонах, как всеобщее разрушение и хаос, несущий страдание и гибель рядовому обывателю.

Груз столетних буржуазных предрассудков мешал многим писателям правильно понять революцию. Эти писатели уподоблялись тем людям, о которых Ленин в начале 1918 года писал:

«Не умеют понять исторической перспективы те, кто придавлен рутинной капитализма, оглушен могучим крахом старого, треском, шумом, «хаосом» (кажущимся хаосом) разваливающегося и проваливающегося вековых построек царизма и буржуазии, запуган доведением классовой борьбы до крайнего обострения, ее превращением в гражданскую войну...».

«В сущности все эти придавленные, оглушенные, запуганные буржуа, мелкие буржуа и «служащие при буржуазии» руководятся, часто сами не сознавая этого, тем старым, нелепым, сентиментальным, интеллигентски-пошлым представлением о «введении социализма», которое они приобрели «по наслышке», хватая обрывки социалистического учения, повторяя перевертывание этого учения невеждами и полужайками, приписывая нам, марксистам, мысль и даже план «вести» социализм.

Нам, марксистам, такие мысли, не говоря о планах, чужды. Мы всегда знали, говорили, повторяли, что социализма нельзя «вести», что он вырастает в хо-

де самой напряженной, самой острой, до бешенства, до отчаяния острой классово-вой борьбы и гражданской войны, — что между капитализмом и социализмом лежит долгий период «родовых мук», — что насилие всегда бывает повивальной бабкой старого общества, — что переходному периоду от буржуазного к социалистическому обществу соответствует особое государство (т.-е. особая система организованного насилия над известным классом), именно: диктатура пролетариата). (Ленин — «Запуганные крахом старого и борющиеся за новое», Соч., т. XXII, стр. 155—156, изд. 3-е.)

Лучшие представители писательской интеллигенции приняли Октябрь и отдали революции все свои творческие силы. На первых порах их было немного.

Вскоре после 7 ноября 1917 года советское правительство обратилось к представителям искусства с призывом работать для революции. Однако, на заседании в Смольном из большого числа приглашенных писателей, художников, деятелей театра и других искусств пришло только пять человек, и среди них В. Маяковский и А. Блок.

Эта небольшая группа, с самого начала принявшая Октябрь, увеличивалась с ходом революции. Вскоре к ним примкнул Валерий Брюсов. О своих симпатиях к революции заявили и будущие имажинисты, в том числе крупнейший лирик первых лет революции — С. Есенин.

В первые годы Великой Октябрьской социалистической революции большое значение имел Пролеткульт. Возник он еще в эпоху февральской революции. Главную роль играли в нем поэты (Гастев, Самобытник, Александровский, Садофьев, Филипченко и др.; из прозаиков — Бессалько, Богданов и др.). Идеологами Пролеткульта являлись А. Богданов, П. И. Лебедев-Полянский, Ф. Калинин и др.

Пролеткульт имел широко разветвленную организацию и ставил своей целью строительство новой пролетарской культуры. В самом понимании пролетарской культуры, процесса ее стано-

вления идеологи Пролеткульта находились под влиянием А. Богданова с его меньшевистско-махистскими установками. Как известно, Богданов являлся автором «организационной теории». Исходя из механистической теории, отрицавшей объективно-познавательную роль искусства, Богданов считал возможным «строить» пролетарскую культуру «лабораторным» путем, т.-е. в отрыве от политики, от повседневной борьбы рабочего класса. Само же понимание им «коллективистического» пролетарского искусства было проникнуто чудовищным упрощенчеством и извращением. (Богданов, например, уверял, что поэты не должны воспевать «индивидуальные переживания какой-нибудь сосенки или березки», а только всего леса в целом, ибо в этом, по его мнению, и заключался коллективизм!)

Культивирование этих установок и абстрактного коллективизма вело к расплывчатой риторике, к воспеванию безликой массы, в которой совершенно пропадала конкретная действительность эпохи борьбы пролетариата за новое общество. В условиях этой борьбы, когда поэзия и литература должны были разить врагов пролетариата и воодушевлять его на борьбу (как это делали Маяковский, Д. Бедный и др.), пролеткультовцы в абстрактно-риторических поэмах воспевали «огнекрылые» заводы, отвлеченный труд и пр.

Эта абстрактная риторика не только отрывала пролеткультовцев от повседневной борьбы пролетариата, но и сближала их с символизмом предреволюционной поры. Отрыв искусства от политической борьбы сочетался в практике Пролеткульта с отрицанием наследия.

Наконец, пролеткультовцы считали, что пролетарская культура может быть создана только руками рабочего класса. Так, В. Полянский заявлял: «Пролетариат — руководитель в творчестве новой культуры; буржуазная интеллигенция — сведущее лицо, рабочая сила, машина, отчасти материал, подлежащий в свою очередь обработке. И только».

Все рассмотренные нами положения Пролеткульта и его практика находились под сильным воздействием меньшевистской идеологии. Многие положения Пролеткульта оформились еще в период создания группы «Вперед», которая в своей платформе тоже выдвигала задачу создания «пролетарской культуры».

В. И. Ленин тогда же (в 1910 году) указал, что: «На деле именно борьбу с марксизмом прикрывают все фразы о «пролетарской культуре» (Ленин, Соч., т. XIV, стр. 298).

В годы революции Богданов и его сторонники пытались флагом Пролеткульта прикрывать борьбу с партией. Политика, которую пытался проводить в Пролеткульте Богданов, резко расходилась с политикой партии в области литературы и искусства. Пролеткульт отрицал классическое наследие, Ленин же не раз говорил и указывал, что без критического освоения наследия создать пролетарскую культуру нельзя.

В своих заметках на появившуюся в 1922 году статью лидера Пролеткульта В. Плетнева Ленин резко критикует и высмеивает установку Плетнева: строительство пролетарской культуры силами только самого пролетариата.

«Задача строительства пролетарской культуры, — писал Плетнев, — может быть разрешена только силами самого пролетариата, учеными, художниками, инженерами и т. п., вышедшими из его среды». Против этого абзаца Ленин, подчеркнув слово «только» написал: «архификция».

В 1920 году состоялся всероссийский съезд Пролеткультов. Здесь Богданов сделал доклад, в котором проводил все ту же «организационно-коллективистическую» точку зрения, отрывающую искусство от политики и классовой борьбы. Ленин, следя за съездом, поручил А. В. Луначарскому в противовес установкам Богданова и его единомышленников развить точку зрения партии.

В день окончания съезда Ленин в «Известиях» прочел отчет о выступлении Луначарского, из которого было

видно, что последний говорил на съезде «прямо обратное тому», о чем он условился с Лениным.

Владимир Ильич немедленно же сам пишет проект резолюции о пролетарской культуре, которая принимается съездом Пролеткультов. В этой резолюции Ленин в противовес меньшевистским идеям Богданова о «свободе» искусства от политики писал:

«В Советской Рабоче-Крестьянской Республике вся постановка дела просвещения как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства, должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление целей его диктатуры, т. е. за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение всякой эксплуатации человека человеком». (Ленин, Соч., т. XXV, стр. 409, изд. 3-е).

Ленин предостерегал от неверных и практически вредных попыток выдумывания «своей, особой культуры» и замыкания в рамках только пролеткультовских организаций, указывал на необходимость теснейшей связи с органами советской власти и партией.

Решением ЦК партии Пролеткульт был включен в систему Наркомпроса с тем, чтобы в дальнейшей своей работе он руководствовался теми задачами, которые были поставлены перед Наркомпросом Центральным Комитетом.

Антипартийные, чуждые рабочему классу элементы Пролеткульта повели шумную агитацию против этого решения. В ответ на нее появилось известное письмо ЦК о Пролеткультах (1920 г.), в котором ясно и четко характеризовались линия партии в вопросах пролетарской культуры и роль Пролеткультов.

«Пролеткульт, — говорится в письме ЦК, — возник до Октябрьской революции. Он был провозглашен «независимой» рабочей организацией, независимой от министерства народного просвещения времени Керенского. Октябрьская революция изменила перспективу. Пролеткульты продолжали оставаться «независимыми», но теперь это была

уже «независимость» от советской власти. Благодаря этому и по ряду других причин в Пролеткульты нахлынули социально чуждые нам элементы, элементы мелкобуржуазные, которые иногда фактически захватывают руководство Пролеткультами в свои руки.

Футуристы, декаденты, сторонники враждебной марксизму идеалистической философии и, наконец, просто неудачники, выходцы из рядов буржуазной публицистики и философии стали кое-где заправлять всеми делами в Пролеткультах.

Под видом «пролетарской культуры» рабочим преподнесли буржуазные взгляды в философии (махизм). А в области искусства рабочим прививали нелепые, извращенные вкусы (футуризм).

Вместо того, чтобы помогать пролетарской молодежи серьезно учиться, углублять их коммунистический подход ко всем вопросам жизни и искусства, далекие по существу от коммунизма и враждебные ему художники и философы, провозгласив себя истинно пролетарскими, мешали рабочим, овладевшим Пролеткультами, выйти на широкую дорогу свободного и действительно пролетарского творчества».

Оценка, данная Пролеткульту в письме ЦК, вполне подтвердилась на практике.

Организации Пролеткульта, стремившиеся к созданию «пролетарской культуры» в отрыве от жизни, не смогли указать правильный путь борьбы за культуру социализма. Подлинно пролетарские писатели и представители рабочих масс, вошедшие в Пролеткульт, разочарованные в этой организации, стали покидать ее. В 1920 году группа писателей и поэтов, вышедшая из Пролеткульта, создает новую организацию «Кузницу». В этом же году создается Ассоциация пролетарских писателей (ВАПП). В то же время внутри Пролеткультов продолжали культивироваться те же ошибки, которые уже были осуждены партией.

В восстановительный период Пролеткульт превратился в узкую группу сто-

ронников лефовско-конструктивистского «производственничества», отрицавшего идейное искусство в пользу «материальной организации быта». Пролеткультовцы (Арватов, Кушнер и др.) в это время шли на поводу у формалистов, создав антимарксистскую «теорию» формально-социологического метода и социального заказа. Сколько-нибудь заметного влияния на жизнь искусства в этот период Пролеткульт уже не оказывал.



Одной из особенностей литературного развития эпохи военного коммунизма является решительное преобладание поэзии над прозой.

Проза представлена была преимущественно рассказами (Замятин, Пильняк, Под'ячев, Касаткин, Неверов и др.). Романы, вышедшие в те годы, были весьма слабы и в ходе развития советской литературы не сыграли сколько-нибудь заметной роли (например, романы Бессалько и др.). Крупнейший пролетарский писатель, М. Горький, в этот период болезнью был оторван от активной творческой работы, тем не менее он дал ряд вещей художественно-публицистического значения, в частности — прекрасные воспоминания о Л. Толстом и др.; Серафимович дал также публицистически-очерковую книгу «Революция — фронт — тыл».

В революционной поэзии доминируют ударный «плакатный» стих, обозрение, агитационные стихи и поэмы. С поразительной быстротой лучшие агитстихи распространялись среди масс, в особенности красноармейцев, заучивались, повторялись, перелагались на песни.

Крупнейшими мастерами революционной агитпоэзии проявили себя Д. Бедный и В. Маяковский.

Значительную работу проделал Демьян Бедный по разоблачению подлинного лица интервентов и белогвардейских генералов. Плакаты Дени со стихами Демьяна, разоблачающие и высмеивающие Антанту, польское пановье, Кол-

чака, Деникина и Юденича, пользовались огромной популярностью в массах.

Наряду с белогвардейщиной и интервентами Демьян разоблачал поповщину. Его стихи о религии, попах, монахах, их проделках и плутнях пользовались необыкновенной любовью масс. («Пауки и мухи» и др.).

Значительная часть произведений Демьяна посвящена агитации, обращенной к крестьянству.

Используя народные песенные мотивы, с одной стороны, и наследие таких классиков гражданской поэзии, как Беранже, Некрасов и др., — Демьян Бедный создал ряд произведений, имевших исключительное распространение. Такова песня «Как родная меня мать провожала», ставшая любимейшей песней советского народа.

В первые годы революции большую активность проявляли футуристы.

Положение гонимого течения до революции внешне создавало футуризму облик необычайно передового течения. Огромную роль играла также принадлежность к футуризму (к левому крылу его) такого выдающегося, крупнейшего поэта, каким уже тогда был Владимир Маяковский. Ближе к Маяковскому стояли Н. Асеев и В. Каменский. Воспев революцию в своей «Оде революции», Маяковский в «Приказе по Армии искусств» призвал футуристов к активному участию в борьбе за Октябрь:

Только тот коммунист истый,
Кто мосты к отступлению сжег.
Довольно шагать, футуристы,
В будущее прыжок!

Но из всех футуристов только сам Маяковский выполнил этот призыв в полной мере.

Маяковский, поставивший свою поэзию на службу Октябрю, естественно, встал перед задачей преодоления «зауми», субъективизма образов, аллегоричности и других элементов футуризма. Произведения, написанные им в этот период — «Мистерия Буфф» и «150 000 000», не во всех своих частях имеют ясный характер.

Так, в «150 000 000» он дает борьбу капитализма и коммунизма в аллегорической, символической, форме, как борьбу «Ивана» (носителя коммунизма) и «Вильсона» (носителя капитализма). Эти собирательные условные образы (скорее, даже не образы, а символы) абстрактны и риторичны. Но в целом Маяковский уже рвал с футуристическими канонами, искал, говоря его же словами, «речи точной и нагой». Огромную роль в приближении образов и поэтического языка к жизни, в окончательном преодолении «зауми» сыграла работа В. Маяковского в «Окнах сатиры Роста». Это была поистине титаническая работа: около 3000 плакатов было сделано Маяковским за 2 года. В одних плакатах он выступал и как поэт, и как художник, в других ему принадлежали только надписи.

Стихи Маяковского в «Окнах сатиры Роста» охватывали буквально все области жизни, все наиболее острые и важные вопросы суровых лет эпохи гражданской войны. Здесь и призыв на борьбу с Врангелем, польскими панями, Деникиным, Юденичем и другими интервентами и белобандитами. Здесь и агитация за субботник, за ударный коммунистический труд, за поднятие добычи угля. Здесь и вопросы чистки партии, борьбы с внутренними врагами, примазавшимися и т. д. Замечательно в стихах Маяковского сочетание острой лозунговости с яркой, впечатляющей формой. Надписи Маяковского построены в стиле ораторского призыва, лаконического указания. Но для того, чтобы такой призыв действовал, нужны ясная логика и высокая художественная убедительность стиха. Этими качествами Маяковский обладал, как никто.

Эта огромная творческая деятельность, поставленная на службу революции, полная страсти и великолепного мастерства, подняла Маяковского на огромную высоту и вместе с тем сделала его творчество близким массам.

«Левый марш» Маяковского стал одним из популярнейших стихотворных произведений. Один из отрядов матросов шел на штурм Зимнего, распевая четверостишие Маяковского:

Ешь ананасы,
 рябчиков жуй,
 день твой последний
 приходит, буржуй.

Маяковский пошел в самую гущу борьбы и своим острым словом без-устали разил врагов и ободрял бойцов революции.

В 1905 году, ставя вопрос о пролетарской литературе, Ленин писал: «Это будет свободная литература, потому что не корысть и не карьера, а идея социализма и сочувствия трудящимся будут вербовать новые и новые силы в ее ряды. Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скушающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность». (Ленин, Соч., т. VIII, стр. 390.)

Именно на такой путь и стал Владимир Маяковский с первых дней революции, и именно органическая связь с миллионами трудящихся и пронизанность всего творчества идеями социализма помогли ему стать лучшим, крупнейшим поэтом советской эпохи.

Но если Маяковский, преодолевая ограниченность футуризма, стал выдающимся поэтом революции, то футуризм в целом не мог, оставаясь самим собой, принести революции пользу. Футуристы увидели в революции лишь разрушительное начало. Они призывали отбросить всю старую культуру и вообще уничтожить искусство, заменив его «материальной вещью», а в области литературы — очерком, агиткой, «деловой» прозой.

Поскольку футуристы одними из первых откликнулись на призыв работать в советских организациях, они рассматривали себя как течение, призванное руководить искусством, и отождествляли футуризм с пролетарским искусством. Возникло даже одно время целое течение, называвшее себя «комфутами», т. е. коммунистами-футуристами. Один из идеологов футуризма — Пунин объявил, что футуризм есть «государственное искусство».

Футуристы открыто боролись против реализма и пытались насаждать формализм. Критик-футурист Н. Пунин писал: «Как бы близки ни были реалисты к пролетариату — коммунистический пролетариат никогда не сможет включить их в свои ряды... реалисты не имеют права претендовать на пролетарское искусство» (1).

Футуристы клеветали на пролетариат, именуя широкие массы пролетариата «отсталыми» и ничего не понимающими в искусстве; этим они хотели оправдать свой неуспех в массах; они пытались разделить пролетариат на «массы» и «творческий пролетариат», который якобы понимает футуристов. Но, как ни доказывали футуристы свою близость к пролетариату, на деле оказывалось обратное. На деле своим мелкобуржуазным анархизмом и нигилизмом, своим отрицанием наследия и искусства футуристы приносили огромный вред рабочему классу.

Широкие народные массы и партия отвергли футуризм. Крах футуризма привел часть футуристов в объятия буржуазного формализма. Путь от претензий на монопольное представительство пролетарского искусства к формализму оказался для них не слишком долгим, ибо внутренне они были всегда близки к формализму, и сущность их теории и практики при всей внешнеревolutionной фразеологии была порочна от начала до конца.

Таким образом, Пролеткульт и футуризм были псевдореволюционными, псевдопролетарскими течениями. В действительности, они отражали влияние враждебных пролетариату прослоек. Меньшевики, анархисты, сторонники махизма и штирнерианства чувствовали себя у пролеткультовцев и футуристов, как дома. Вот почему Ленин и партия вели энергичную борьбу против пролеткультовско-футуристических извращений.

Если футуризм выступал в рассматриваемый период как оформленное течение, то символизм к этому времени распался. Часть из символистов оказалась в эмиграции, часть группировалась вокруг журналов «Вестник литературы»,

«Записки мечтателей» (Блок, Белый и др.). Крупнейшие из символистов — Блок и Брюсов перешли на сторону революции. Это приятие революции у Блока имело своеобразный, вполне индивидуальный характер и нашло свое воплощение в его знаменитой поэме «Двенадцать».

Построенная в аспекте оправдания революции и утверждения неизбежности гибели старого мира — поэма Блока в то же время содержит в себе элементы мистико-символического восприятия революционных событий. В обрисовке самой революции у него преобладает мотив стихийности: герои революции для него — это люди улицы, люмпен-пролетариат, в действиях которого подвиг чередуется с хулиганством.

В «Скифах» Блок в духе эсеровского «евразийства» противопоставляет азиатскую, варварскую, но полную силы и будущего Россию прогнившему, ослабевающему Западу:

Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы,
С раскосыми и жадными очами!
Миллионы вас. Нас тьмы и тьмы, и тьмы.
Попробуйте сразиться с нами.

При всех недостатках «Двенадцать» и «Скифы» явились крупнейшими произведениями, отражающими Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Многие черты революционной России с огромной силой воплощены Блоком.

Поэма Блока, наряду с произведениями Маяковского, наглядно опровергает оппортунистические рассуждения о том, что революция не могла быть отражена в искусстве (и именно в большом искусстве) непосредственно в момент ее совершения. Поэма «Двенадцать» написана буквально на другой день после 7 ноября, и октябрьские события воплощены в ней средствами большого искусства. Она навсегда останется крупнейшим поэтическим памятником первых дней Октября. Кто не помнит ее огненных строк:

Революционный держите шаг,
Неугомонный не дремлет враг.

Картина развития литературы первых лет Великой Октябрьской социалистической революции была бы неполной, если бы мы опустили группы так называемых крестьянских поэтов и имажинистов.

В группу крестьянских поэтов рассматриваемого периода обычно включают Ключева, Клычкова, Орешина и др. На самом деле они никогда не представляли крестьянства. Идеалом этой группы было реакционное «кулацкое царство», пропагандировавшееся эсерами в интересах буржуазии.

Вместе с идейно-политическим банкротством эсеровщины распадается и группа поэтов и писателей эсеровской ориентации, объединившаяся вокруг журналов «Наш путь», «Скифы». (К этой группе, кроме Ключева, Клычкова, Орешина и др., были близки по-своему также печатавшиеся в названных журналах Блок, Белый и С. Есенин. Стихийное восприятие революции, скифомессианское противопоставление России Западу и другие моменты обусловили их близость к эсерству.)

В начале 1919 года возникает группа имажинистов, самым крупным представителем которой явился С. Есенин (наряду с ним имажинистами были Мариенгоф, Ивнев, Шершеневич и др.). Имажинисты подчеркивали свою оппозицию футуризму. Они упрекали футуристов за то, что последние гипертрофировали вопросы содержания, в то время как главным в искусстве является образ. «Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейка из газет» — писали имажинисты. Само понятие образа имажинисты не расшифровывали до конца, и он превращался у них в какой-то фетиш, самоцель. Они предлагали читать стихи с конца, смотреть картины вверх ногами, т.-е. лишали искусство логики и смысла. Серьезного значения в развитии советской поэзии имажинизм не имел и не мог иметь. Это была небольшая группа богемно настроенных интеллигентов. Их положения носили поверхностный, не-

серьезный характер. В творческом отношении имажинизм держался только Есениным и после отхода его сразу потерял весь свой удельный вес. Да и до этого удельный вес имажинизма измерялся в большей мере кабаками и кафе, нежели настоящей литературой.

Есенин периода имажинизма занимает враждебную позицию в отношении пролетарской революции. В первые дни революции он принимает ее в эсеровско-кулацкой интерпретации. По мере развращения пролетарской революции и крушения надежд на кулацко-мужичье царство Есенин переходит к резко отрицательному восприятию революции, он проклинает город, индустрию, пророчит гибель деревни. Эти настроения не покидают Есенина в течение долгого времени, и только с переходом к восстановительному периоду он делает попытку приблизиться к «Руси советской».

Подводя итог литературному движению эпохи военного коммунизма, надо отметить главные особенности этого периода. Прежде всего, происходит перегруппировка сил, появляются новые формы и направления в литературе. Ряд течений, возникших и главенствовавших до революции, переживает кризис и распадается. Это — символизм, эпигонские формы буржуазного реализма и импрессионизма (Бунин, Зайцев и др.), эго-футуризм (Северянин и пр.) и др.

Вместо них на первых порах развиваются футуризм и пролеткультовское движение.

Порочность внутренней сущности Пролеткульта и футуризма ведет, в конечном счете, к кризису и распаду обоих течений.

Возникшая в 1920 году «Кузница» на первых порах не могла освободиться от ошибок Пролеткульта, от его риторики, «планетарно-космических» масштабов, отрыва от жизни и при переходе к восстановительному периоду также пережила кризис.

Путь, по которому шло и создавалось подлинно революционное пролетарское

искусство, лежал не в русле футуризма и Пролеткульта и др.

Это путь теснейшей связи литературы и поэзии с повседневной борьбой трудящихся, воплотившийся в творчестве Демьяна Бедного и Владимира Маяковского.

Идеи Великой Октябрьской социалистической революции оплодотворили творчество писателей и поэтов, отдавших себя служению революции. Творчество таких писателей и поэтов, как А. Блок, содержащее элементы упадочности, от соприкосновения с этими великими идеями получило новую силу, загорелось ярким блеском.

Вдохновляясь новым содержанием, пришедшие к революции поэты и писатели преодолевали словесную заумь футуризма, упадочные, субъективистские приемы символизма и шли к понятным, реалистическим, глубоко содержательным формам.

Эта эволюция особенно хорошо видна у Блока и Маяковского.

Контрреволюционный троцкизм пытался опорочить искусство революции, доказать, что Октябрь в частности годы гражданской войны были «неблагоприятны» для искусства. Да, конечно, эти годы были «неблагоприятны» для буржуазного, контрреволюционного искусства, пытавшегося клеветнически обогатить революцию. Но оно было в высшей степени благоприятно для тех писателей, которые пришли к революции и расцвет творчества которых полностью обязан ей.

Вместе с тем эпоха гражданской войны, пробудив к жизни, борьбе и культуре миллионы людей, готовила будущих художников, она уже дала им материал, который они после окончания гражданской войны оформили в такие замечательные произведения, как «Чапаев» Фурманова, «Железный поток» Серафимовича, «Тихий Дон» Шолохова, «Разгром» Фадеева и многие другие.

Таким образом, с первых шагов Великая Октябрьская социалистическая революция оказала огромное и плодотворнейшее воздействие на искусство.

III

Переход к нэпу и восстановлению народного хозяйства внес крупнейшие изменения в литературное движение. Введение нэпа было воспринято частью писателей и поэтов панически. Отражая в своих произведениях тот же анархо-синдикалистский уклон, носителем которого в период введения нэпа явилась так называемая «рабочая оппозиция», некоторые писатели и поэты «Кузницы» и Пролеткульта стали рисовать мрачную картину гибели всех завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции. Жизнь казалась им «опустелым осенним садом», вызывающим отчаяние; они видели в нэпе лишь жирных буржуа, проституток и власть денег (Герасимов, Александровский и др.).

Привыкнув к «планетарности» и оторванной от жизни ходульной риторике, которые столь пышно расцветали в Пролеткульте и «Кузнице», эти люди не смогли увидеть исторического значения нэпа как пути к победе, не смогли понять необходимости будничной работы.

Наряду с настроениями уныния и упадочности появились некоторые произведения откровенно клеветнического характера, в которых политика партии рисовалась в извращенном свете. Такой была антихудожественная, «сенсационная» повесть Тарасова-Родионова «Шоколад» (1922 г.). Одним из выразителей упадочных настроений первых лет нэпа стал С. Есенин. Его цикл стихов «Москва кабацкая» созданный в эти годы, пронизан мрачным пессимизмом, апологией антиобщественной, богемно-кабацкой жизни. «Снова пьют здесь, дерутся и плачут» — вот лейтмотив его стихов. И он сам пьет, чтоб «не видеть в лицо роковое».

Враждебная социалистическому строительству анархо-буржуазная стихия нашла в Есенине своего законченного выразителя. Были периоды, когда он пытался все же понять новое, отойти от своей губительной позиции вражды к советской действительности. Он рекомен-

довал самому себе тихо сесть за Маркса, умилялся при виде новой деревни, хотел воспеть Русь советскую. Но и в этих стихах он сохраняет свою обособленность от эпохи. Желая цвести юным, живущим иной, новой жизнью, он обрекает себя на одиночество:

А я пойду один к неведомым пределам,
Душой бунтующей навеки присмирив.

Буржуазно-богемная тина слишком затянула Есенина; он слишком крепко связан был со старым миром, с кулацко-патриархальным укладом и не нашел в себе силы до конца разорвать эти путы. Стихи и смерть Есенина были наиболее яркой формой выражения разлагающего влияния буржуазно-нэповской стихии на поэзию и литературу. Понятие «есенинщины» стало синонимом этих отрицательных влияний. Но в конечном счете носители их, сталкиваясь с новой, растущей советской действительностью, должны были уступать место этому новому. Всякий, кто не понимал этого или хотел остановить движение советской литературы вперед, оказывался на время или навсегда отброшенным с основного пути развития нашей литературы. Так и случилось со многими поэтами Пролеткульта и «Кузницы», с Есениным и его последователями.

Совершенно иначе воспринял нэп Маяковский.

В стихотворении под характерным названием: «Спросили раз меня: «Вы любите ли НЭП?» — «Люблю, — ответил я, — когда он не нелеп» Маяковский призывал писателей —

На арену!
С купцами сражаться...

И Маяковский со всей последовательностью и страстью отдался новой поэтической работе. Наряду с текущими политическими проблемами он пишет рекламы, лозунги, изучает вопросы быта, бичует недостатки нашей действительности эпохи нэпа.

Об одном из таких самокритических стихотворений Маяковского — «Прозасе-

давшиеся», как известно, с похвалой отозвался В. И. Ленин. Он сказал: «... давно я не испытывал такого удовольствия, с точки зрения политической и административной. В своем стихотворении он вдрызг высмеивает заседания и издевается над коммунистами, что они все заседают и перезаседают. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики ручаюсь, что это совершенно правильно». (Ленин, Соч., т. XXVII, стр. 177, изд. 3-е.)

Работа Маяковского в области агитпоэзии и рекламы в годы нэпа встретила злобную критику со стороны троцкистских критиков. Они утверждали, что Маяковский, занявшись агитпоэзией и рекламой, «снизил» свой талант, что он не способен больше на создание значительных произведений. Маяковскому пришлось потратить немало сил на борьбу с такого рода «критикой». Она не сумела сбить его с правильного пути, и он

Делами,
 кровью,
 строкою вот эту,
Нигде
 не бывшею в найме,

славил

 взвитое красной ракетю,
Октябрьское,
Руганное
 и пропетое,
Пробитое пулями знамя.

В эти годы Маяковский наряду с замечательными агитстихами создает такие свои шедевры, как стихотворение «Юбилейное» и поэма «Владимир Ильич Ленин» (1924 г.). «Владимир Ильич Ленин» Маяковского — это непревзойденный поэтический образ Ленина и восторженный гимн ленинско-сталинской партии.

Подобно Маяковскому, Д. Бедный с первых дней нэпа правильно ощутил пафос нового периода восстановления народного хозяйства, пафос повседневной борьбы за укрепление советского государства. Демьян Бедный откликается

на все злободневные события международной и внутренней жизни; от «мистера Чемберлена» он переходит к кулакам и нэпманам, к разоблачению вредителей, явлений дикости, невежества, собственности, к антирелигиозной пропаганде (поэма «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна» и др.).

Кризис «космической» поэзии Пролеткульта и «Кузницы» и переход к восстановительному периоду выдвинули новую группу поэтов, которая, подвергнув критике установки «Кузницы», поставила задачу поэтического перевооружения (Безыменский, Жаров, Светлов, Голодный и др.). В противовес «Кузнице» создаются объединение пролетарских поэтов и прозаиков «Октябрь» и группа комсомольских писателей и поэтов при журнале «Молодая гвардия».

К этой группе относились такие поэты, как Безыменский, декларировавший о переходе от «космической» к реальной, конкретной поэзии. При наличии отдельных более или менее удачных произведений («Партбилет», «Комсомолия» и др.), поэзии Безыменского, при всей его установке на конкретность, свойственны ходульная риторичность и фразерство. В поэтическом даровании Безыменского нет той глубины, которая, не говоря уже о Маяковском, была присуща Багрицкому. Подражая Маяковскому и в то же время пытаясь в ряде вещей «оспорить» его, Безыменский, однако, ни в одном из своих произведений не поднялся до его уровня.

В эти же годы выступают Жаоов, Светлов, Тихонов и другие поэты. Полное звучание творчества этих поэтов падает на более поздний период, когда Светлов создает «Гренаду», Жаров — «Гармонь», а Багрицкий — «Думу про Опанаса».

Преимущественно поэтической практикой характеризовались такие течения, как Леф (левый фронт искусства) и конструктивизм. Леф возник в начале восстановительного периода из остатков футуризма. Из поэтов в Лефе были Маяковский, Асеев, примыкавший к ним одно время Пастернак, Крученых, Ка-

менский. Ни одного сколько-нибудь крупного прозаика Леф не выдвинул. Лефовцы ставили своей задачей создание «производственного искусства». Они считали нужным делать лишь надписи, лозунги, рекламы, плакаты. Остальное, т.е. собственно поэзия и художественная литература, или отрицалось, или признавалось лишь как «отхожий промысел». Эту установку лефовцы могли проводить только теоретически, ибо практически и у Асеева, и у Маяковского главным в их творчестве была «внепроизводственная» поэзия, лирика.

Что касается конструктивистов (Зелинский, Сельвинский, Агапов, Инбер, Габрилович и др.), то, оформившись в 1923 году, они выступали с крикливыми платформами, требуя то «госплана литературы», то «мены вех».

Конкретная же суть поэзии конструктивизма (в прозе также мало проявившегося, если не говорить о Габриловиче, с его приемом лаконичного репортажного рассказа) выявилась в стихах Сельвинского. В них характерно, прежде всего, сочетание необычайного преломления темы с изломанной, нарочитой формой. Блатной разговор, грубые словечки и ругань в изобилии насыщают эти стихи. Сами темы берутся такие, чтобы оправдать введение грубого жаргона и обновить через него рифму, сопоставляя «ферты» со «смерть», «бамбер» с «амба», «тарашась» с «аще» и т. д. «Цыганщина», блатной мир и анархическая стихия довольно сильны в поэзии Сельвинского в те годы («Улялаевщина»).

Конструктивизм обещал отразить «организационный натиск рабочего класса». Но, конечно, он в своем первом «заумном» периоде имел только косвенное отношение к рабочему классу. Разговоры об организованности, по существу, прикрывали тенденцию формализма, с одной стороны, и извращенного мелкобуржуазно-анархического восприятия действительности, с другой. Это сочетание анархизма и организованности, установки на точный прием и предельного субъективизма в обрисовке

образов (например, Улялаев) и в построении стиха составляло одно из основных качеств конструктивизма в поэзии.

Таковы те основные поэтические явления, которые выступили в восстановительный период.

Если в годы гражданской войны проза была оттеснена поэзией на второй план, то в период восстановительный она переживает бурный рост. Появляются десятки новых талантливых прозаиков, создаются одно за другим большие прозаические произведения. При этом обстановка литературной жизни усложняется. Прежде всего, наличие этого усложнения характеризуется возникновением и борьбой ряда литературных течений и группировок.

«Кузница», будучи значаще организацией преимущественно поэтов, в восстановительный период все более и более пополняется прозаиками, имена которых вскоре становятся широко известными советскому читателю (Ф. Гладков, Н. Ляшко, В. Бахметьев, Новиков-Прибой и др.). «Кузнецы», считая себя объединением, стоящим всецело на платформе революционного авангарда рабочего класса, следующим образом определяли пролетарское искусство: «Пролетарское искусство — это искусство, которое охватывает трехмерную площадь творческого материала в соответствующую классу, ясную, точную синтетическую форму — проводит сквозь нее линию устремлений к конечным целям пролетариата. Это искусство большого полотна, большого стиля, — монументальное искусство».

В этой формуле важны два момента — утверждение идейной связи с пролетариатом и требование большого полотна. Особенностью «Кузницы» в этот период являлось также то, что она требовала включения в пролетарскую литературу элементов романтики. Отсюда своеобразие литературных приемов и форм и «романтизация» сюжета у многих «кузнецов» (особенно ярко в «Цементе» Гладкова).

Рядом с «Кузницей» в 1922 году возникло объединение писателей и крити-

ков «Октябрь» (Малашкин, Безыменский, Жаров, А. Веселый, Доронин и др.).

Вместе с группами «Рабочая весна» и «Молодая гвардия» — «Октябрь» явился основанием, на котором выросла Московская ассоциация пролетарских писателей.

В своих установках «Октябрь» и МАПП декларировали борьбу за пролетарскую литературу, понимая под ней такую литературу, «которая организует психику и сознание рабочего класса и широких трудовых масс в сторону конечных задач пролетариата».

Но в «Октябре» еще сохранилась, с другой стороны, пролеткультовская узость в постановке проблемы пролетарского искусства, сказавшаяся в сведении процесса создания пролетарского социалистического искусства к творчеству одной группы.

В то же время «Октябрь» и МАПП в своих установках и в практике журнала «На посту» (начавшем выходить в 1923 году) заняли неправильную позицию в вопросе о так называемых «попутчиках», т. е. представителях интеллигенции и других промежуточных групп.

Эта позиция создалась под влиянием вредительской установки Троцкого, который говорил тогда, что попутчики только до известной станции «ковыляют» вслед за пролетариатом и неизбежно должны отстать от него. Подхватив эту идею, оруженосцы Троцкого, окопавшиеся в МАПП и «Октябре» (Лелевич, Родов, Вардин, Авербах и его приспешники), заняли провокационную позицию в отношении попутчиков.

Дух пролеткультовщины, нетерпимое отношение к попутчикам, претензия на «единственно правильную линию», отрыв от конкретных задач борьбы пролетариата и пренебрежение к учебе у классиков литературы, развившиеся в «Октябре» и МАПП, были решительно осуждены партией.

В сложных условиях восстановительного периода партия внимательнейшим

образом следила за положением в области литературы. В решениях XIII съезда партии (май 1924 г.) указывается, что «основная работа партии в области художественной литературы должна ориентироваться на творчество рабочих и крестьян, становящихся рабочими и крестьянскими писателями в процессе растущего культурного подъема широких народных масс Советского Союза».

Что же касается попутчиков, то резолюция XIII съезда указывает: «Вместе с тем необходимо продолжать ведущую систематическую поддержку наиболее даровитых из так называемых попутчиков, воспитывающихся школой, товарищеской работой совместно с коммунистами. Необходимо поставить выдержанную партийную критику, которая, выделяя и поддерживая талантливых советских писателей, вместе с тем указывала бы их ошибки, вытекающие из недостаточного понимания этими писателями характера советского строя, и толкала бы их к преодолению буржуазных предрассудков». (Резолюции и решения XIII съезда РКП. Отдел X. — О печати. 19-й пункт. 23—31. V. 1924 г.).

Съезд обратил особое внимание на необходимость создания массовой художественной литературы для рабочих, крестьян и красноармейцев.

Эти решения давали ясную перспективу развития советской литературы и задач пролетарских литературных организаций. Однако названные выше троцкистские агенты, пробравшиеся в МАПП, «Октябрь» и журнал «На посту», продолжали свою вредную деятельность. В 1925 году Центральным Комитетом РКП(б) была принята историческая резолюция «О политике партии в области художественной литературы», которая, развивая решения XIII съезда, определила политику партии в области литературы и задачи советских писателей на целый ряд лет, вплоть до 1932 года, когда изменившиеся условия вызвали новое постановление ЦК ВКП(б) от 23/IV 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций».

После принятия в ЦК резолюции по вопросам художественной литературы в ВАПП произошел раскол, в итоге которого открытые оруженосцы контрреволюционного троцкизма — Лелевич, Вардин, Родов и др. — были вынуждены отойти от руководства этой организацией.

Если «напостовцы» отличались своей нетерпимостью, огульным охаиванием попутчиков, то их «противник» Воронский, напротив, снимал борьбу за пролетарскую социалистическую литературу.

Для проведения этой линии Воронский использовал журнал «Красная новь» и создал объединение писателей «Перевал» (Зарудин, Губер, Барсуков, Акульшин, Наседкин и др.).

Таковы были основные оформленные течения в литературе восстановительного периода. Кроме того, определенные группы писателей примыкали к новобуржуазным журналам типа «России» (Булгаков, Замятин и др.).

Резолюция ЦК РКП(б) от 1925 г., отмечая подьем новой пролетарской и крестьянской литературы, как результат массового культурного роста, в то же время отмечает, что в литературе отражается и наличие новой (нэповской) буржуазии, выдвигающей своих агентов в литературу. Примерами этих новобуржуазных влияний явились произведения Замятина: «Пещера», «Мамай», «Глаза» и др., Булгакова: «Дьяволиада», «Роковые яйца» и др.



В целом проза восстановительного периода характеризуется обращением к советской действительности. Гражданская война, вопросы восстановления хозяйства, проблемы отношения к революции (это относилось в первую очередь к интеллигенции), вопросы послереволюционного быта — вот проблемы, которые волновали писателей. Романов и повестей на темы дореволюционной жизни почти не было. Все внимание поглоща-

лось современностью. Революция выдвинула новых героев, новые сюжеты, новый язык.

Известную роль в литературе первых лет нэпа сыграло «сменовеховство». Сменовеховцы — группа общественных деятелей буржуазной ориентации, которые, находясь в эмиграции, с началом нэпа возвестили «смену веж», смену отношения к советской России. В сборнике «Смена веж» (Прага, 1921 г.) Ключников, Устрялов и др. призывали работать с советской властью, с большевиками, говоря, что «русское национальное дело можно сейчас делать не в рухнувшей России Третьего Рима, а в России Третьего Интернационала». «Без большевиков, — говорили они, — революция лишь переворот, бунт, погром, анархия без порыва в будущее и без надежды на будущее».

Но вместе с этим они заявляли, что советская власть перерождается, что русская революция теряет свой интернациональный характер и внутри страны ведет к реставрации капитализма. «Делать русское дело» для сменовеховцев означало помогать этой реставрации. Внутри советской России такой сменовеховской ориентации держался журнал «Россия» (затем «Новая Россия», 1922—1925 гг.), выражавший идеи Устрялова и других подобных ему идеологов капиталистической реставрации.

Сменовеховцы признавали, что старая Россия безвозвратно рухнула и что революция сделала исторически прогрессивное дело. Эти признания лучше всего воплотились в творчестве А. Толстого, который в это время вернулся в Советский Союз из эмиграции. В романе «Хождение по мукам» А. Толстой делает своими героями честных, хороших интеллигентов — Телегина и Дашу — и противопоставляет их той гнили и разложению, которые характеризуют в его романе буржуазно-дворянскую верхушку русского общества. Разложение и неизбежность гибели буржуазно-помещичьего строя даны у Толстого ярко, красочно, убедительно. В то же время в образах Телегина и Даши воплощены те ин-

теллигентские колебания и нерешительность, которые заставляют их проделать длинный путь «хождения по мукам», от одного берега к другому, пока наконец они не найдут своего пути.

В предисловии к этому роману А. Толстой декларировал приятие новой России. Дальнейшая его работа над этим романом и над «Петром I» вполне подтвердила искренность этой декларации. Путь А. Толстого лежал от сменовеховства к органическому вхождению в социалистическое строительство, и этот путь в высшей степени плодотворно отозвался на его творчестве.

Нельзя не отметить здесь тот факт, что рапповская критика, игнорируя этот путь А. Толстого, зачислила его раз и навсегда в «новобуржуазные» (!) писатели. И, наоборот, троцкистские критики (Воронский, Полонский и др.) объявили Пильняка характернейшим представителем попутничества. Между тем практика Пильняка отнюдь не говорила об этом. В его произведениях «Голый год», «Машины и волки» и др. революция выступает как анархия, стихия, как мужицкий бунт. Коммунисты же — нечто внешнее, наносное в этом стихийном процессе. Эта установка в конечном счете и привела Пильняка к клеветнической «Повести о непогашенной луне» и «Красному дереву». Всем своим творчеством Пильняк был близок к таким писателям, как Замять, Булгаков и другие.

В свою очередь к Пильняку близок Артем Веселый («Страна родная»). А. Белый и Б. Пильняк представляют одну группу не только по стилистическому признаку, но и по восприятию революции, как мужицкой «стихии». В этом восприятии много эсеровского, «скифского», враждебного пролетарской революции и приводившего его носителей к произведениям об'ективно вредным.

Переходя к основной группе так называемых попутчиков, надо прежде всего отметить, что большинство писателей этой группы было выдвинуто революцией, прошло фронт, само участвовало в борьбе советской России против бело-

гвардейцев и интервентов, и для них вопрос о признании или непризнании советской действительности не вставал так, как это было у Пильняка.

Конечно, были исключения из этого положения. Некоторые писатели, сложившиеся до революции, конечно, иначе подходили к революции. Для них проблема ее приятия или неприятия была более сложной и умозрительной. Примерами такого рода являются произведения В. Вересаева — «В тупике» и М. Шагинян — «Перемена».

Наиболее широко тема интеллигента в революции была поставлена романом К. Феина «Города и годы» (1924). Андрей Старцев — герой романа Феина — интеллигент, воспитанный на иллюзиях внеклассового об'ективизма и гуманизма, на иллюзиях мягкотелого либерализма. Поиски правды приводят его в лагерь революции, но здесь он совершает, во имя своего надклассового гуманизма и дружбы, преступление, спасая жизнь врага революции. Сознание этого преступления приводит его в безысходный тупик, и роман кончается тем, что большевик Курт — друг Андрея — убивает его.

В романе Феина много от экспрессионизма с его душевной опустошенностью, безысходностью и переключением из сферы реальной жизни в мир гротеска и психоанализа.

Если К. Феин брал тему интеллигенции в революции, то Вс. Иванов, Л. Леонов, А. Малышкин и др. берут тему самой революции, берут революцию со стороны масс. Партизаны, Красная армия, крестьянство — вот герои их произведений. Вс. Иванов пишет в этот период свои партизанские повести, из которых наибольшую популярность у советского читателя получила повесть и пьеса «Бронепоезд 14-69». В этих повестях Вс. Иванов дает революционные события в Сибири, героико гражданской войны.

Партизанское движение рисуется Ивановым как стихия, сметающая на своем пути все, в сравнении с которой белогвардейцы — это кучка оторванных от

масс, осужденных историей на гибель людей. Эта обреченность и внутренняя опустошенность даны в образах Незеласова и Обаба. В образах же партизан и их вождя Вершинина воплощена стихийная, первобытная сила жизни.

Попутчики вместе со всеми писателями переживали свою эволюцию. Они росли, освобождались от стихийничества в понимании революции, освобождались вместе с тем в своем художественном методе от недостатков и крайностей экспрессионизма, субъективной романтики и натурализма.

Характерным примером такой эволюции являются произведения Л. Леонова, Ал. Малышкина и др.

Л. Леонов в своих ранних рассказах и «Петушихинском проломе» стилизует современность, переводит ее в архаический план и даже самое повествование строит в нарочито замедленных, неторопливых тонах. Но в «Барсуках» Леонов вплотную подходит к советской действительности и дает широкое полотно на тему революции и крестьянства. Л. Леонов не вскрыл до конца в этом романе глубоких корней классовой борьбы в деревне, уделив больше внимания раскрытию внешнего повода восстания (использованного кулаками): неправильного деления помещичьей земли между двумя деревнями. Однако, хорошо показана обреченность тех сил деревни, которые выступили против революции. Сильными, яркими приемами раскрыты затхлость и консерватизм купчески-мещанского Зарядья, символизирующего старую Россию. Характерной особенностью Леонова является психологичность. Его герой Семен («Барсуки») — это не человек, подчиняющийся инстинкту, неосознанному импульсу, но человек, глубоко чувствующий, думающий.

Как Вс. Иванов завоевал известность «Бронепоездом», так Малышкин выдвинулся своей повестью «Падение Даира».

Тема «Падения Даира» — взятие красными Перекопа. Героический финал борьбы с Врангелем показан Малышкиным в ярком противопоставлении двух лагерей — белого и красного. Массы,

восставшие против старого мира и сметающие со своего пути врагов революции, — вот основной герой повести Малышкина. Достоинство этого произведения — в яркости показа гражданской войны, ее героев, в художественном преломлении материала огромного исторического значения. Недостатки — те же черты стихийности, разбросанность действия, гиперболичность образов, сочетание элементов натурализма с романтизмом субъективного типа.

Говоря о попутчиках, следует сказать и о Сейфуллиной, выдвинувшейся своими повестями «Правонарушители», «Виринея» и др. От тем гражданской войны она переходит к темам быта: рисует беспризорницу, новую женщину деревни и т. д. Одним из наиболее ярких образов, созданных ею, является Виринея.

Рядом с названными нами писателями необходимо упомянуть и других, на творчестве которых мы не имеем возможности остановиться: Евдокимова, с его историко-революционным романом из эпохи начала 900-х гг. «Колокола»; Лавренева, давшего ряд произведений на темы гражданской войны, из которых особую популярность получили повести «Седьмой спутник» и «41-й»; Вл. Лидина, повести и рассказы которого посвящены были преимущественно интеллигенции и служащим и написаны с глубоким знанием быта и психологии этих групп («Мышиные будни», «Морской сквозняк» и др.); Зошенко, с его юмористическими рассказами, и ряд других писателей-интеллигентов.

Не все они одинаково близко подошли к революции и советской действительности. Но большая часть попутчиков, вопреки воплям троцкистских критиков, органически связала свое творчество с делом Великой Октябрьской социалистической революции и при всех своих ошибках и заблуждениях дала много выдающихся произведений, которые воспитывали массы читателей в революционном, советском духе. Именно такое значение имели лучшие вещи Вс. Иванова, Л. Леонова, А. Малышкина и др.



Внимание, оказывавшееся партией задаче выдвижения писателей из среды рабочих, крестьян и коммунистов-интеллигентов, теснейшим образом связавших свою жизнь с революцией, уже в первые годы восстановительного периода дает замечательные результаты. Наряду с уже выступавшими ранее пролетарскими писателями (Серафимович, Гладков) появляются новые талантливые представители пролетарской литературы — Фурманов, Фадеев и др.

Основная тема, которой посвящают свое творчество пролетарские писатели в эти годы, — это гражданская война. На ее материале создаются такие замечательные произведения тех лет, как «Железный поток» Серафимовича, «Чапаев» Фурманова и «Разгром» Фадеева. Отличие этих произведений от путнической литературы на тему о гражданской войне заключается в преодолении стихийничества и художественном раскрытии организующей, ведущей роли в революции и гражданской войне партии большевиков.

Герои «Чапаева» и «Разгрома» — это люди, которые хорошо знают свой путь, свои цели. Они органически спаяны с революцией и массами, которыми они руководят. Это народные герои, как Чапаев, или партийцы-командиры типа Левинсона. Образ Чапаева, созданный Фурмановым, стал любимым образом миллионов советских читателей.

Ясности и реализму образов «Чапаева» отвечают ясность языка, а также четкость композиции. Роман строится на судьбе Чапаева, и эта судьба проходит перед нами последовательно и логично от начала знакомства с Чапаевым Клычкова до гибели Чапаева. Через судьбу Чапаева и путь его дивизии раскрывается общий путь гражданской войны, от формирования рабочих отрядов до окончательной победы над белыми.

Наряду с «Чапаевым» Фурманов (умерший в 1925 г.) создал «Мятеж» и др.

В 1922—1923 гг. с двумя повестями, посвященными революции на Дальнем Востоке, выступил молодой писатель А. Фадеев («Разлив» и «Против течения»). Уже в этих первых вещах, при всей их незрелости, чувствовался свежий и яркий талант. Он в полной мере развернулся в романе «Разгром» (1925 — 1926 гг.).

В «Разгроме» сталкиваются партизанская стихийность и пролетарская большевистская организованность. Герой романа — коммунист, начальник партизанского отряда Левинсон. В образе Левинсона Фадеев дает живого большевика, которому свойственны человеческие слабости, но который преодолевает их силой идейного убеждения и целеустремленности своих действий. Опираясь на рабочее ядро отряда, Левинсон спланирует и дисциплинирует партизан, создавая тем самым предпосылки победы. И хотя для его отряда борьба кончается поражением, но это поражение — лишь звено в цепи, ведущей к победе.

Третье большое полотно, посвященное гражданской войне, дал А. Серафимович своим «Железным потоком».

Идя путем реализма, давая цельную, сюжетную вещь, четкую по своей композиции, Серафимович в то же время не впадает в натурализм. Его образы яркие, красочны, события даны обобщенно, с большой впечатляющей силой.

В 1925 году появляется замечательное произведение, посвященное уже не гражданской войне, а восстановлению народного хозяйства. Это роман Ф. Гладкова «Цемент», пронизанный от начала до конца пафосом созидающего социалистического труда. В романе показывается восстановление большого цементного завода, разрушенного в годы войны.

Герой романа Глеб Чумалов — это, по замыслу Гладкова, тип преданного партии пролетария-большевика, который защищал советы на фронте, а вернувшись домой, с такой же страстью и беззаветностью отдается борьбе на хозяйствен-

ном фронте. Борьба за восстановление завода дается Гладковым во всей своей сложности, как один из участков великой классовой битвы, которую ведет пролетариат.

Творчеству Гладкова присущ элемент романтики, но не в том субъективистском значении, какое она имела у некоторых писателей-попутчиков. Эта романтика не противоречит у него реальности, а вытекает из художественного воплощения ее ведущих тенденций. Романтика и пафос восстановления завода, борьбы за советскую индустрию, воплощенные Гладковым, играли и играют большую положительную роль в воспитании энтузиастов социалистической стройки. Поэтому вполне понятно то, что «Цемент» стал популярной книгой среди советских читателей.

Очень высокую и правильную оценку роману Ф. Гладкова «Цемент» в одном из своих писем дает Алексей Максимович Горький: «Разрешите сказать несколько слов о «Цементе». На мой взгляд, это очень значительная, очень хорошая книга. В ней впервые за время революции крепко взята и ярко освещена наиболее значительная тема революционности труда. До вас этой темы никто еще не коснулся с такой силой. И так умно. Вам, на мой взгляд, опять-таки весьма удалось и характеры. Глеб вырезан четко, и хотя он романтизирован, но это так и надо. Современность вполне законно требует, чтобы автор, художник, не закрывал глаз на явления отрицательные, подчеркивал и тем самым «романтизировал» положительные явления. Вы умеете делать это, с чем искренне поздравляю вас. Однако поймите меня: я говорю не о том романтизме уstraшенных действительностью и бегущих от нее в область фантазий, а о романтизме верующих, о романтизме людей, которые умеют встать выше действительности, смеют смотреть на нее, как на сырой материал, и создавать из плохого данного хорошее желаемое. Это позиция истинного революционера и это его право». (Письмо А. М. Горького к Ф. В. Гладкову от 23/VIII — 1925 г.).

Несмотря на болезнь, попрежнему активно творит в эти годы Горький. Он дал ряд замечательных произведений, главные из которых: «В. И. Ленин», «Мои университеты», «Дело Артамоновых».

В «Деле Артамоновых» Горький рисует историю купеческого рода, прослеживаемую им в трех поколениях. В этой истории Горьким обобщен исторический путь российской буржуазии от ее первых шагов, связанных еще крепостничеством, до дней революции, совпавших с внутренним разложением буржуазии. От крепких и сильных предпринимателей, только-что вышедших из деревни, до вырождающихся буржуа, воспринявших уже западную цивилизацию и стоящих накануне исторической гибели, — таков путь Артамоновых. Этот путь обрисован Горьким со свойственной ему силой и реализмом. Образы и характеры Артамоновых очерчены теми резкими, глубокими линиями, которыми в совершенстве владел Горький, дававший яркие, выпуклые образы типических представителей дореволюционной России. Язык героев глубоко индивидуален и точно передает характерные особенности каждого персонажа.

В романе Горького дана та огромная сила обобщения, высокого художественного показа больших исторических эпох, поколений и ярких типов, воплощающих облик целых классов, которая была присуща великим русским писателям прошлого.

Задачу художественного показа жизни и неизбежной гибели русского капитализма Горький выполнил блестяще.

Подводя итоги литературному движению эпохи восстановления, подчеркнем еще раз ее характерные особенности.

Эта эпоха выдвинула новые темы гражданской войны и восстановления народного хозяйства, нашедшие свое отражение в ряде крупных произведений. Она выдвинула десятки новых писателей, прошедших сквозь огонь революции и посвятивших ей свое творчество. Она

поставила вопросы реализма, приблизила литературу к массам. Она повернула основные массы писателей-интеллигентов на революционный путь. И при всех недостатках и ошибках, имевшихся в их творчестве, они шли по этому пути вперед, освобождаясь от своих ошибок и недостатков.

Резолюция ЦК РКП(б) от 1925 г., отмечая рост новой советской литературы (начиная с рабкоровско-селькоровского движения и кончая профессиональными писателями), подчеркивала, что эта литература развивается в условиях классовой борьбы, в формах сложных и разнообразных. Принятию этой резолюции предшествовали наскоки Троцкого и Бухарина на линию партии в вопросах литературы. Предатели революции, злейшие враги народа уже тогда пытались дезориентировать советскую литературу.

Троцкий, отрицая самую возможность пролетарской социалистической литературы, предлагал ориентироваться только на попутчиков и буржуазных писателей. Бухарин же предлагал провести в литературе неограниченную, свободную конкуренцию, отказаться от партийного руководства и помощи неокрепшим еще пролетарским кадрам в литературе.

Под руководством товарища Сталина партия отвергла эти контрреволюционные капитулянтские «теорийки». Партия подчеркнула, что «руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом» и что партия ставит своей задачей завоевание ведущего положения пролетарской литературой. Резолюция в то же время предупреждала против проявления комчванства, «как самого губительного явления». Мы знаем, насколько мудро было это указание ЦК, на примере РАПП, где авербаховцы сознательно насаждали комчванство как форму изоляции пролетарских писателей от масс и писателей других направлений. Резолюция подчеркивала необходимость учебы, работы над наследием и предостерегала от опасности чисто оранжерейной «пролетарской» лите-

ратуры (т.-е. против рецидивов Пролеткульта).

Резолюция осудила всякие претензии на монополию какой-либо группы в литературе. «Поддерживая материально и морально пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая попутчикам и т. д., партия не может предоставить монополию какой-либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию; это значило бы загубить пролетарскую литературу прежде всего».

Наконец, резолюция дала ряд указаний в отношении критики. «Ни на минуту не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на iota от пролетарской идеологии, вскрывая объективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контрреволюционных проявлений в литературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т. д. и в то же время обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем тем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним. Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды. Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое идейное превосходство».

Партия подчеркнула, что советская литература, опираясь на культурное наследие, должна идти к выработке формы, понятной миллионам.

Резолюция Центрального Комитета партии от 1925 г. явилась документом огромного значения для советской литературы. Эта резолюция определяла вплоть до 1932 года отношение к различным течениям литературного фронта тактику перевоспитания крестьянских писателей и попутчиков и борьбы с враждебными влияниями. Она обеспечила правильное понимание важнейших процессов литературной жизни и рост пролетарского социалистического искусства.

IV.

Развитие советской литературы периода 1926—1932 гг. теснейшим образом связано с борьбой за социалистическую индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства. Эта борьба развертывалась в условиях ожесточенного сопротивления враждебных классов и их агентов.

Литература периода развернутого социалистического наступления развивается в обстановке ожесточенной классовой борьбы. Эта борьба в более тонких замаскированных формах проявляется и в самой литературе. Некоторая незначительная часть писателей становится рупором вражеских настроений.

Именно в первые годы социалистического наступления появились такие романы, как «Мы» Замятина и «Красное дерево» Пильняка, в которых строительство социализма изображалось во враждебных, клеветнических тонах. Выразителями враждебных, кулацких идей выступили в ряде своих произведений Клюев и Клычков.

Некоторые писатели группы «Перевал» в условиях ликвидации кулачества как класса выдвинули лозунг внеклассового гуманизма, «жалости» к врагам. Этот лозунг был воплощен в повести И. Катаева — «Молоко». Перевальцы утверждали неизбежный разрыв художника с эпохой, чтоб оправдать свою защиту врагов и «оппозицию» к социалистическому строительству (повесть Слетова «Мастерство»).

Троцкисты и бухаринцы стремились использовать литературу в своих контрреволюционных целях. Троцкистская группа Авербаха, окопавшаяся в РАПП, объявляет в качестве основной задачи писателей показ перерождения и одновременно выдвигает лозунги: «живого человека», «непосредственных впечатлений», «за плехановскую ортодоксию», «союзник или враг» и другие положения, имевшие конечной целью протаскивание в литературу контрреволюционных идей троцкизма и бухаринщины.

Таковы некоторые факты классово-враждебных влияний в литературе этого периода. Однако врагам не удалось перетащить на свою сторону ни одного действительно крупного советского писателя. Лучшие представители советской литературы, вместе с основной массой писателей, с самого начала пошли за партией. Ярче всех преданность идеям социализма и партии выразил Вл. Маяковский. В ряде блестящих поэм, стихотворений Маяковский прославляет революцию и социалистическое строительство. Маяковский восторженно принял индустриализацию и коллективизацию, он воспевал Кузнецкстрой и его строителей, воспевал двадцатипятипятитысячников, брошенных партией в деревню в годы коллективизации; наконец, незадолго до смерти он задумал поэму о пятилетке. Вступление к этой поэме — «Во весь голос» — Маяковский оставил нам как свое поэтическое завещание. Это вступление проникнуто волнующим пафосом строительства социализма:

Пускай нам
общим памятником будет —
Построенный
в боях
социализм.

Эти строки из поэмы можно было бы поставить эпиграфом ко всему творчеству Маяковского.

Весь свой могучий талант он отдал революции, строительству социализма. Произведения Маяковского отражают с необычайной силой эпоху Великой Октябрьской социалистической революции, начиная с ее первых шагов и кончая гигантской созидательной эпопеей первой пятилетки. По этим произведениям многие и многие поколения будут образно представлять нашу героическую эпоху. Это огромное значение Маяковского замечательно определил товарищ Сталин, назвав Маяковского «лучшим, крупнейшим поэтом советской эпохи».

Активнейшим поэтическим бойцом в этот период, как и в более ранних, проявляет себя Д. Бедный. Если в 1925 — 1927 гг. у него преобла-

дают культурно-бытовые и крестьянские темы, то в 1929—1931 гг. он создает ряд больших произведений, посвященных индустриализации. Он воспекает «взбудораженный творчеством мощный народ, богатырский строительный наш разворот», прославляет социалистическое строительство, большевистские темпы (стихотворение «Темпы», написанное к XVI съезду партии).

Одновременно он бичует мещанскую успокоенность и оппортунизм, срывающие ударную работу:

Разве наше спасенье не в том, чтобы строить,
Чтобы строить и строить,
Чтобы темп наш строительный, бурный
утроить
Для того, чтоб гремящим потоком снести —
Все и всех, кто ни станет на нашем пути!

Демьян Бедный посвящает свои стихи, написанные обычно в форме фельетона, наиболее ударным строительством и промышленным центрам: Турксибу, Донбассу, Баку, Кузбассу и так далее.

В этот же период он создает ряд массовых песен, из которых широчайшее распространение получила песня «Нас побить, побить хотели». Но, правильно в целом бичуя отрицательные явления нашей действительности, отмечая трудности, встававшие на пути социалистического строительства, Демьян Бедный допустил в ряде своих произведений крупную ошибку. Эта ошибка заключалась в искажении русской истории, в такой трактовке прошлого русского народа, которая оскорбляла национальную гордость трудящихся нашей родины. Эта тенденция особенно выступила в стихотворении «Слезай с печки». Здесь Демьян рисовал русский народ «лежебоками», «соломенными силачами» и т. д. Надо было забыть всю героическую историю нашего народа, чтоб написать это.

Партийная и советская общественность осудила и подвергла резкой критике ошибки Демьяна Бедного. К сожалению, Демьян Бедный не смог в тот период преодолеть эти ошибки до конца,

повторив их в пьесах «Как 14-я дивизия в рай шла» и «Богатыри».

Перейдем к третьему большому поэту рассматриваемого периода — Эдуарду Багрицкому. Расцвет творчества этого рано умершего, замечательного поэта падает на период 1926 — 1934 годы.

Багрицкий внес в советскую поэзию свежую струю революционной романтики, овеванную героикой гражданской войны и глубокой человечностью. Одно из лучших произведений Багрицкого — поэма «Дума про Опанаса». В волнующих, необычайных по силе чувства и музыкальности стихах перед нами встает Украина эпохи гражданской войны с типическими фигурами тех лет: большевиком-комиссаром, красноармейцами, крестьянами, махновцами. Эта поэма о боях, высоком мужестве и предательстве, смерти и жизни. Геройская смерть комиссара продотряда Иосифа Когана и предательство Опанаса, продармейца, крестьянина, запутанного кулаками и махновцами, — вот тема поэмы.

Поэма Багрицкого замечательна своей взволнованной лиричностью, своим романтическим преломлением гражданской войны. Образ той эпохи передан Багрицким высоким поэтическим чувством в песне, проходящей обобщающим лейтмотивом через всю поэму:

Как с востока дунул ветер
Буревой.
Закружилось все на свете,
Конь заржал под грохот бубна
Боевой.
Душен день. Земля в пожаре.
Подымайся, пролетарий!

В 1929—30 году Багрицкий пишет стихи, книга которых была озаглавлена им «Победители». Центральное стихотворение этой книги «ТВС» — лейтмотив всего творчества Багрицкого последних лет. Это — утверждение пафоса жизни и мужественного преодоления болезни. Багрицкий был тяжело болен, и отзвуки этой болезни, равно как и отзвуки тяжелого детства, все время ощущаются в его поэзии. Но он пре-

одолевал болезнь, и его поэзия — это поэзия мужества, силы, молодости.

В «ТВС» Багрицкий в припадке астмы беседует с Дзержинским. В этом образе кристального большевика, отдавшего всего себя революции, Эдуард Багрицкий искал для себя примера:

— Да будет почетной участь твоя —
Умри, побеждая, как умер я.

Багрицкий останется в советской поэзии как один из лучших ее представителей, как вдохновенный певец революции и молодости нашей родины, связавший их в одно неразрывное целое.

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед, —

это наиболее яркие поэтические строки, характеризующие нашу героическую эпоху.

Лирико-романтическая, песенная поэзия, представленная так ярко Багрицким, нашла свое воплощение и в творчестве Светлова. Широкую популярность приобрело в свое время стихотворение М. Светлова «Гренада» (1926). Образ красноармейца, идущего помогать испанским братьям в «Гренадскую волость», «чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать», проникнут лирической теплотой и задушевностью. Так же, как и у Багрицкого, в творчестве Светлова основную роль играет романтически воспринятая тема гражданской войны.

Лирическая струя воплощена и в творчестве И. Уткина и А. Жарова. Но у Уткина в ряде произведений лирика переходит в расслабленность и теряет тот романтико-героический характер, какой она имела у Багрицкого и (в меньшей, правда, мере) у Светлова. Уткин склонен в своих стихах прославлять покой эпохи мирного строительства в противовес эпохе гражданской войны:

Мно за былую муку
Покой теперь хорош.
Простреленную руку
Сильнее бережешь.

Эти настроения в свое время — вместе с молчановским «У тихой речки отдохнуть» — вызвали резкий отпор Маяковского и других поэтов и писателей.

В противовес этим настроениям «лирического размагничивания», такие поэты, как Асеев, Тихонов, Сурков и др., теснейшим образом связали свою лирику с темами социалистического строительства. Своими лирическими произведениями они стремятся мобилизовать весь строй чувств и мыслей читателя на борьбу за социализм. Они создают ряд значительных произведений (баллады Н. Тихонова, агитстихи Асеева, песни Суркова).

К ним нужно присоединить Виктора Гусева, который в эти годы начал свое поэтическое творчество и вырос вскоре в одного из лучших наших лириков.

Очень сложным был за эти годы путь Пастернака. В 1926—1927 гг. он пишет поэму «Лейтенант Шмидт». Несмотря на то, что в поэме еще сохранялась чрезмерная затрудненность языка и ритма, идущая от футуризма (и, точнее, от Хлебникова), сохранилась алогичность ряда эпизодов, все же эта поэма для Пастернака была шагом вперед как в отношении освоения новой, связанной с революцией темы, так и в движении к более насыщенным идейностью и ясностью поэтическим образам.

За этой поэмой последовал «Спекторский». В нем тоже были моменты, позволявшие ждать от Пастернака, хотя и замедленного, приближения к темам социалистического строительства. Однако Пастернак в последующих своих стихах предпочел замкнуться в мир «поэзии как таковой», идущей в сторону от бурной, стремительной эпохи.

В этой связи следует сказать несколько слов о Сельвинском. В «Командарме 2», «Пушторге» и других произведениях Сельвинский сделал большой шаг вперед по сравнению с «Улялаевщиной», в смысле приближения к реализму и преодоления формалистических тенденций. Но это перевооружение не

было доведено до конца и в произведениях Сельвинского продолжали находить место идейные срывы и формалистические выкрутасы.

Заканчивая обзор поэзии периода 1926—1931 гг., следует упомянуть и В. Луговского, давшего ряд значительных произведений. Луговской воспевают строительство, новых людей, ритм нашей эпохи. Но эта эпоха не сразу стала ему понятной. В его поэзии остается много внешней декларативности, внешней патетики при недостаточной глубине содержания.

Еще большую декларативность и риторичность можно отметить у Кирсанова, который в поэме «Пятилетка» пытался «выстроить» «поэму, недоконченную Маяковским». Несмотря на отдельные удачные места, в целом поэма не получилась: в ней было слишком много дидактики и мало настоящей поэзии. Целиком на внешней риторике держатся и произведения Безыменского этого периода.

Обострение классовой борьбы в стране в годы развертывания социалистического наступления не могло не сказаться и на поэзии. Классово-враждебные влияния проникают в нее в виде протаскивания кулацких идей и настроений. Носителем их, кроме поэтов Ключева и Клычкова, становится П. Васильев. Контрреволюционное нутро этого кулацкого последыша выпирало и из его стихов, и из его хулиганских выходов, фашистские корни которых в свое время разоблачил М. Горький.

В целом же советская поэзия этого периода развивается в направлении все большего углубления своих тематических, идейных и формальных возможностей, в сторону расширения и укрепления связи с жизнью и дает ряд больших произведений и замечательных образов.

В области прозы рассматриваемый период ознаменовался значительными сдвигами и большим ростом как всей советской литературы в целом, так и отдельных писателей. В этот период по-

явился ряд больших, синтетических произведений, обобщавших события предреволюционной и революционной эпохи. В то же время был создан ряд произведений, посвященных социалистической индустриализации и коллективизации. Такие произведения, как «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Бруски» Панферова, «Последний из Удэге» Фадеева, «Петр I» А. Толстого, «Энергия» Гладкова, «Соть» и «Скутаревский» Леонова, «Севастополь» Малышкина, «Гидроцентральный» Шагинян, «Станица» и «Разбег» Ставского и др., представляют огромный шаг вперед в развитии советской литературы. Эти успехи были достигнуты благодаря тому, что партия своевременно пресекала, разоблачала все вражеские происки в литературе, вооружая советских писателей идеями большевизма.

Троцкистская агентура, проникшая в РАПП, «Перевал» и другие литературные организации в лице авербаховщины, воронщины и др., пыталась дезориентировать советских писателей, направить их на ложный путь.

Ярким выражением «столбовой дороги» кучки авербаховцев явился роман Либединского «Рождение героя» (1930 г.). Герой этого романа Шорохов, представленный как идеальный, с точки зрения Либединского, коммунист, — на самом деле самовлюбленный пошляк, живущий самоаналитическими копаньями. Следуя авербаховскому лозунгу искать во врагах положительные черты, а в героях — отрицательные, Либединский старательно выпячивал всякие червоточины, мещанскую затхлость и т. д.

Этот роман Либединского вместе с никчемными, антихудожественными вещами пачкуна Лузгина и приспособленческими пьесами Кирсона и Афиногенова, в которых советская действительность искажалась и опошлялась, и составили ту весьма небогатую «практику», которую создали ревнители троцкистской «столбовой дороги».

Но партия своевременно разоблачала все эти вражеские махинации. Ведущие

писатели советской литературы—М. Шолохов, Новиков-Прибой, А. Толстой, Леонов, Малышкин, Панферов, Ставский, Серафимович, Гладков, Фадеев и др. в своем творчестве следуют по пути, который указала партия, — по пути жизненной правды.

Неоценимую роль в борьбе за высокий идейный и художественный уровень советской литературы сыграла кипучая, многосторонняя деятельность А. М. Горького, который со времени своего возвращения в Советский Союз (1928 г.) и до самой смерти являлся общепризнанным главой и учителем советской литературы. В своих выступлениях и статьях Горький боролся с литературной групповщиной, с тенденциями буржуазного индивидуализма в литературной среде, с пренебрежением к словесной культуре; он резко критиковал формализм и натурализм. Огромное внимание уделял М. Горький выдвижению новых литературных кадров. Ряд писателей (Авдеенко, Макаренко, автор книги «Моя жизнь» А. Корванова и др.) был выдвинут А. М. Горьким уже в самое последнее время.

Наряду с этой огромной воспитательной и организаторской работой Горький создал ряд замечательных памфлетов, направленных против капиталистического мира, фашизма и его агенто-вредителей и в защиту дела социализма («Гуманистам», «Механические граждане» и др.).

Певец буревестника и сокола, певец революции, Максим Горький воспевал теперь первое социалистическое государство мира — Советский Союз, его вождей, его народ, его героев.

Он пишет замечательные «Рассказы о героях», в которых выводит «нового русского человека, строителя нового государства». Мы видим здесь и новых людей деревни, на сторону которых «по-немножку переваливается деревня» (как говорит старик-рассказчик), и героя гражданской войны, и женщину, ставшую из забитой батрачки активным строителем новой жизни.

Основным художественным произведением, над которым М. Горький рабо-

тал в эти годы, является повесть «Жизнь Клима Самгина» («Сорок лет»). Замысел этого произведения созрел у Горького давно, и выполнение его он считал важнейшим делом своей жизни. В лице Клима Самгина он изображает ту часть буржуазной интеллигенции, которая является верным слугой своего класса и во имя его интересов предает революцию. Играя в революционность, прикрывая свою гнилую, собственническую, контрреволюционную душонку пышными фразами, Клима Самгин являет собой классический образ двурушника. Из таких людей выходили и выходят, с одной стороны, меньшевики, троцкистские и другие предатели, с другой — прожженные парламентские дельцы и так называемые «социалисты», т. е. специалисты по предательству интересов рабочего класса.

В этой повести Горький развернул огромную, блестяще написанную картину русской жизни, начиная с 80-х годов прошлого века до 1917 года.

Крупнейшим произведением рассматриваемого периода является также эпопея М. Шолохова «Тихий Дон» (1926 — 1932 гг.). Это не законченное еще произведение (вышли три книги и опубликован ряд отрывков из IV книги) дает широкую картину, охватывающую период от предвоенных лет до гражданской войны.

Роман посвящен донскому казачеству: его герой Григорий Мелехов как бы олицетворяет в своей судьбе, в своих колебаниях и исканиях судьбу некоторой части донского казачества. Григория окружает галерея многочисленных действующих лиц романа: здесь и представители помещиков и офицерства, и богатые казаки, и «иностранцы» — казацкая беднота и рабочие, коммунисты.

Широко и колоритно развернуты Шолоховым картины казацкого быта с его внешней живописностью, обычаями и остатками «домостроевщины». Язык Шолохова сочен и выразителен. «Тихий Дон» выдвинул Шолохова как крупнейшего советского писателя-реалиста.

Автор «Разгрома» А. Фадеев в эти годы работал над романом «Последний из Удэге». В романе развернута широкая картина гражданской войны в Приморьи.

Фадеев поставил перед собой задачу изобразить родовой быт народа удэге, показав неизбежность разложения этого быта в условиях капитализма, а затем, после разгрома капитализма, показать, как «снова возродятся свобода, равенство и братство древнего родового быта, но уже в высших формах». Сейчас еще нельзя сказать, как окончательно реализует этот (возникший под влиянием работы Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства») замысел А. Фадеев.

Но и в тех частях, которые уже опубликованы, дано такое широкое изображение эпохи гражданской войны, такая глубокая обрисовка образов и событий, что уже и этого материала достаточно для того, чтобы сделать «Последний из Удэге» крупнейшим произведением советской литературы.

Если Шолохов и Фадеев посвятили свои широко задуманные романы гражданской войне («Поднятая целина» Шолохова вышла позднее), то выдвинувшийся в эти годы Ф. Панферов в романе «Бруски» показал деревню на подступах к коллективизации и в период самой коллективизации. Этот роман, распадающийся на четыре книги (4-я книга «Творчество» опубликована в 1937 году), дал наиболее развернутую картину пореволюционной деревни.

Панферов, развертывая особенности и трудности процесса коллективизации, показывая рецидивы собственничества, одновременно раскрывает и процесс переделки людей. Люди изменяют у него свою жизнь и преобразуют природу, но жизнь, новые формы экономики и быта, в свою очередь, изменяют людей. Диалектика развития приводит к тому, что передовой — на одном этапе — организатор Огнев на другом этапе становится отсталым; отсталый же, замкнутый в скорлупу своего единоличного хозяйства — на первом этапе — Ждар-

кин становится выдающимся организатором на следующих этапах.

«Бруски» — первое большое произведение Ф. Панферова.

Крупным событием в советской литературе является роман А. Толстого «Петр I», полностью еще не законченный.

Могучая фигура Петра — преобразователя русского государства, который не останавливался перед самыми крутыми и жестокими мерами для того, чтобы вывести Россию из варварства, — встает в романе А. Толстого во всей своей мощи и колоритности.

А. Толстой показал Петра в той кипучей деятельности, вне которой нельзя представить себе его облик. Показывая Петра то в Москве, то в Архангельске, то в Воронеже, Толстой дает яркую развернутую картину тогдашней России, ее различных классов, их жизни и уклада.

Рисую фигуру Петра в ее историческом значении, А. Толстой показывает, что реформы Петра — создание и укрепление им «национального государства помещиков и торговцев» «происходило за счет крепостного крестьянства» (Сталин. — «Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом». Партиздат, 1933 г., стр. 3). Роман Алексея Толстого имеет огромное художественно-познавательное значение. В этом — крупная заслуга писателя.

Автор «Цемент» Федор Гладков пишет повесть «Старая секретная» и рассказы: «Головоногий человек», «Непорочный чорт» и «Вдохновенный гусь». Сам автор характеризует эти рассказы как «обобщенные типические образы и в то же время сатиру на особый вид вредителей, которые еще имеют возможность проникать в среду рабочего класса и коммунистическую партию и активно паразитировать в нашей среде». Это приспособленцы, бюрократы, формалисты. От темы восстановления хозяйства Гладков переходит здесь к темам самокритики с тем, чтобы затем снова перейти к индустриальному ролотну — «Энергии».

Характерной особенностью Gladkova, а также других писателей, входивших в основное творческое ядро «Кузницы», — Бахметьева («Преступление Мартына»), Н. Ляшко («Минучая смерть»), — является стремление брать наиболее актуальные типы современности. Polemизируя с платформой РАПП, Ф. Gladkov в 1930 г. говорил: «Наша действительность ставит перед нами вопросы субъективного порядка, — борьба за строительство социализма, за реконструкцию хозяйства — борьба реальная, и мы, как пролетарии, находимся в самом горниле этих великих свершений. Мы должны активизировать вопросы художественных методов...».

Темы романов и рассказов Gladkova, Бахметьева, Ляшко и др. — это борьба за социалистическую индустриализацию, вопросы нового быта и морали, вопросы самокритики, разоблачения классовых врагов и т. д. Уже эта направленность делает их произведения актуальными.

В романе «Преступление Мартына» Бахметьев ставит проблему личного и общественного. Герой романа Мартын Баймаков, придя к революции, несет в себе груз индивидуалистической мелкобуржуазной психологии. Бахметьев показывает, как этот индивидуализм приводит Мартына от незначительной, казалось бы, ошибки к столкновению со своими товарищами, с партией. Художественное раскрытие внутренней никчемности и вредности этого мелкобуржуазного индивидуализма, разоблачение дешевой романтики, воплощенной в образе Мартына, даны Бахметьевым художественно убедительно.

Психологические конфликты развернуты в романе в органической связи с реальными событиями гражданской войны. Из других произведений Бахметьева упомянем большой роман «Наступление» (1-я часть опубликована в 1933 г.).

К этой группе писателей близок и Новиков-Прибой. Рассказы и повести Новикова-Прибоя («Подводники», «Ухабы», «Морские рассказы» и др.) посвя-

щены морякам дореволюционной и советской эпохи. Зная в совершенстве жизнь моряков, Новиков-Прибой с исключительной яркостью изображает процессы выковывания революционного сознания в матросах старого, дореволюционного флота и героизм, отважную борьбу со стихией матросов красного, советского флота.

Талант Новикова-Прибоя, начавшего писать еще до революции и выдержавшего немало преследований со стороны царского правительства, полностью развернулся и расцвел после Октября. Дав ряд значительных рассказов и повестей, он параллельно с этим все время работает над большой эпопеей, посвященной русско-японской войне, знаменитому походу и гибели эскадры Рожественского. Эта эпопея — «Цусима».

Красному флоту и Красной армии посвящены и первые произведения Вс. Вишневского. Своими пьесами «Первая Конная» и «Последний решительный» он сразу выдвинулся в первые ряды советских писателей. Произведениями Вишневского свойственны и широта замыслов, и высокий революционный пафос. Недостатком их является некоторая дидактичность и недоработка отдельных образов. Наиболее сильной стороной творчества Вишневского является яркое изображение революционной массы.

Период социалистической индустриализации выдвинул перед советскими писателями задачу охватить и художественно выразить процесс роста и движения человека новой, социалистической эпохи, превращения Советского Союза из страны аграрной в страну индустриальную. Первыми произведениями, написанными на эту тему, являются романы Л. Леонова «Соть» и М. Шагинян «Гидроцентральный».

В романе «Соть» Л. Леонов показывает строительство в глухой, лесной местности бумажно-целлюлозного комбината. Строительство развертывается в условиях жестокой борьбы старого уклада, нетронутой первобытности и враждебных революции элементов против

наступающей на них социалистической индустрии и новых людей.

Леонов показывает, как строители комбината — большевики и преданные социализму рабочие, инженеры и крестьяне — изменяют природу и как в процессе строительства изменяются сами люди.

В первых романах Леонова («Барсуки» и «Вор») в центре стояли люди «заблудившиеся», силою обстоятельств брошенные во враждебный революции лагерь. В романе «Соть» герои Леонова — большевики, молодые инженеры, комсомольцы, рабочие — это все люди, которые твердо знают свое место и свой путь в происходящей борьбе.

Несмотря на ряд отдельных недостатков (излишняя рассудочность центрального героя — Увадьева, неестественность ряда сцен), «Соть» Леонова — большое реалистическое полотно.

Тема романа «Гидроцентральный» М. Шагинян — сооружение гидростанции. Задача, которую ставила М. Шагинян, — это раскрытие природы социалистического труда, его творческого, организующего, переделывающего человека, характера. При наличии в романе известной сухости, чрезмерной рационалистичности он, безусловно, сыграл большую роль в освоении советской литературой новых тем.

В эти годы с рядом книг («Станица» и «Разбег», позже вышла книга «На гребне») выступил В. Ставский. Эти книги посвящены классовой борьбе в деревне, хлебозаготовкам, борьбе с кулачеством. Ставскому удалось ярко раскрыть жизнь кубанской станицы в годы великого перелома, показав в образах станичников жестокую борьбу классов, которая развернулась в эти годы. В целом, книги Ставского, написанные в форме очерков, поднимаются до значительных художественных обобщений.

Основной процесс, который развивается в период социалистического наступления в литературе, — это процесс роста. Уже на примерах Шолохова, Фадеева, Панферова, Леонова, Ал. Тол-

стого, Gladкова и др. мы видели масштабы этого роста, выразившегося в создании ряда замечательных произведений, отразивших новый этап советской литературы.

Здесь же необходимо назвать еще целый ряд писателей, выдвинувшихся своими большими произведениями.

Из них в первую очередь назовем А. Малышкина. Малышкин пишет в эти годы роман «Севастополь» (1929—1930 гг.).

В «Севастополе» Малышкин более реалистичен, нежели в его же «Падении Дaira». Вообще, «Севастополь» показал большой рост Малышкина как художника.

Значительно вырос в это время М. Слонимский. В «Лавровых» он дал историю интеллигентской семьи в эпоху революции. Лучший представитель этой семьи, Борис Лавров, пройдя фронт и познав всю мерзость и лицемерие буржуазии, парламентаризма, меньшевиков, становится большевиком. В романе «Фома Клешиев» в центре ставится фигура крупного партийного работника, которая неплохо удалась Слонимскому.

Большой сдвиг обозначился и в творчестве В. Лидина. Его «Могила неизвестного солдата» явилась разоблачением буржуазного шовинизма. В этом отношении она перекликается с повестью Тихонова «Война», в которой империалистическая война показана во всей своей античеловечности.

Здесь же надо упомянуть «Гравюру на дереве» Лавренева.

Появился ряд исторических произведений, которые выдвинули новый плодотворный подход к истории, дающий более глубокую картину реальных исторических событий и более верные и живые образы замечательных людей прошлого. Здесь надо назвать тонкие по стилизации эпохи и замечательные по психологической силе образов произведения Тынянова — «Кюхля» и «Смерть Вазир-Мухтара», посвященные Кюхельбекеру и Грибоедову.

Чапыгин дал «Степана Разина», который при отдельных недостатках (из-

лишняя романтизация образа Разина и включение моментов, переключающих подлинный историзм в дешевый детектив) является сильным, ярким произведением.

Свежие и оригинальные вещи написал Г. Шторм: «Труды и дни Михаила Ломоносова» и «Повесть о Болотникове».

Исторический роман, посвященный восстанию крепостных рабочих золотых приисков XVIII века, дала Анна Караваева («Золотой ключ»).

Особенностью рассматриваемого периода является то, что он выдвинул большое количество молодых писателей, которые уже в первых произведениях зарекомендовали себя талантливыми художниками.

Здесь надо назвать, кроме уже упоминавшихся, Н. Богданова («Первая девушка»), Ю. Германа («Вступление»), Лапина («Подвиг»), Паустовского («Кара-Бугаз»), Уксусова («XX век» и «Сестры»), Левина («Юноша»), Черненко («Расстрелянные годы»), Ильфа и Петрова («Двенадцать стульев») и многих других.

Для вновь выдвигающихся писателей характерна их органическая крепкая связь с советской действительностью, темы которой они берут в своих произведениях. Тема колеблющейся интеллигенции, которая являлась основной для многих попутчиков, вошедших в литературу в восстановительный период, теперь уже не является основной.

Другие вопросы волнуют новых писателей. Это вопросы воплощения образов новых людей, новой молодежи, воспитанной революцией, стремление запечатлеть наш сегодняшний день, найти формы и методы, которые позволили бы это сделать, высмеивание отрицательных сторон нашей действительности, раскрытие богатств и особенностей нашей родины и т. д. и т. п.

Трудно охватить в этом сжатом очерке все многообразие тем, выдвинутых литературой рассматриваемого периода, и перечислить все заслуживающие внимания произведения, которые в эти го-

ды появились. История, гражданская война, индустриализация, коллективизация, проблемы быта и т. д. — все это нашло свое отражение в литературе. Советская литература обнаружила за эти годы огромный рост.

В литературу входят десятки новых талантливых писателей и поэтов, создаются новые и новые интересные произведения. И все же, несмотря на это, литература отставала от жизни, ибо жизнь при всем большом росте литературы оказывалась ярче, богаче и сложнее литературных произведений. Грандиозность процессов, шедших в стране в годы великого перелома, еще не получила своего полного, всестороннего отображения в художественных произведениях.

Одновременно с этим в литературной среде процветали нездоровые явления групповой борьбы, а формы организации советской литературы, разбитой на ряд группировок, не отвечали тем сдвигам, которые произошли. В среде писательской интеллигенции наметился коренной перелом.

Не случайно Л. Леонов и М. Шагинян, именовавшиеся «попутчиками», создали в 1930 — 1931 г. лучшие произведения, посвященные социалистической индустриализации. С другой стороны, пролетарские писатели настолько выросли и окрепли, что необходимость в создании для них особых организаций отпала. В то же время, пользуясь обстановкой групповщины, в некоторые организации, в частности в РАПП, пролезли враги народа, которые вредительски затрудняли и срывали объединение сил советской литературы вокруг задач, выдвигаемых партией. Авербаховцы, литфронтовцы, группа Воронского — все они действовали в одном вредительском направлении, несмотря на шумную грызню между собою за руководящие места.

Очень характерным для этой обстановки являлся факт беспринципной групповой борьбы, которая разгорелась в 1930 г. между Литфронтом и авербаховской группой.

Вместо того, чтобы выдвинуть в центр внимания критики действительно выдающиеся произведения, литфронтовцы и авербаховцы поднимали на щит вредные, малохудожественные вещи: первые — «Выстрел» Безыменского, вторые — «Рождение героя» Либединского. Они спорили о том, какое из этих произведений и какой метод (оба в корне порочные!) должны определить путь развития советской литературы.

На протяжении ряда лет партия, скрывая и пресекая такого рода вредные тенденции, разоблачала вражеские вылазки и провокационную работу врагов в литературе. Еще в 1929 году «Правда» выступила с резкой критикой вредительской групповщины и раскольничества, насаждавшихся в литературных организациях авербаховцами и бдуущими литфронтовцами.

«Правда» выдвинула требование о консолидации коммунистических сил пролетарской литературы. В 1930 году резкой критике на страницах «Правды» были подвергнуты вопиющие теоретические и политические ошибки Ермилова. В 1931 году «Правда» в ряде статей критиковала ошибки руководства РАПП и разоблачала предательскую тактику и троцкистскую сущность авербаховских «теорий». Соглашаясь на словах с этой критикой, авербаховская группа продолжала свою вредительскую деятельность. Постановление ЦК от 23 апреля 1932 г. выбило почву из-под ног вражеских групп в литературе, но авербаховская банда не прекратила своей вредительской двурушнической деятельности вплоть до последнего времени.

Постановление Центрального Комитета от 23 апреля 1932 г. «О перестройке литературно-художественных организаций» выдвинуло новые формы организации советской литературы.

Постановление ЦК гласило:

«ЦК констатирует, что за последние годы на основе значительных успехов социалистического строительства достигнут большой как количественный, так и качественный рост литературы и искусства.

Несколько лет тому назад, когда в литературе налицо было еще значительное влияние чуждых элементов, особенно оживившихся в первые годы нэпа, а кадры пролетарской литературы были еще слабы, партия всемерно помогала созданию и укреплению особых пролетарских организаций в области литературы и искусства в целях укрепления позиций пролетарских писателей и работников искусства...

В настоящее время, когда успели уже вырасти кадры пролетарской литературы и искусства, выдвинулись новые писатели и художники с заводов, фабрик, колхозов, рамки существующих пролетарских литературно-художественных организаций (ВОАПП, РАПП, РАПМ и др.) становятся уже узкими и тормозят серьезный размах художественного творчества. Это обстоятельство создает опасность превращения этих организаций из средства наибольшей мобилизации советских писателей и художников вокруг задач социалистического строительства в средство культивирования кружковой замкнутости, отрыва от политических задач современности и от значительных групп писателей и художников, сочувствующих социалистическому строительству. Отсюда необходимость соответствующей перестройки литературно-художественных организаций и расширения базы их работы.

Исходя из этого, ЦК ВКП(б) постановляет:

- 1) Ликвидировать ассоциацию пролетарских писателей (ВОАПП, РАПП);
- 2) Об'единить всех писателей, поддерживающих платформу советской власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем;
- 3) Провести аналогичное изменение по линии других видов искусства...».

Решение ЦК дает исчерпывающую оценку состоянию советской литературы периода вступления в социализм. Советская литература значительно выросла за годы развернутого социалистического наступления; она переросла суще-

ствующие организационные формы. Вместе с тем период вступления в эпоху социализма поставил перед литературой более ответственные и сложные задачи, которые под силу только совместным усилиям всех, идущих в ногу с социалистическим строительством писателей.

Решение ЦК ВКП(б) от 23/IV 1932 г., объединяя советских писателей вокруг этих задач, дало мощный толчок к дальнейшему идейно-творческому росту и расцвету советской литературы.

V.

После решения ЦК от 23/IV 1932 г. развитие советской литературы проходит под знаком все более активного участия писателей в социалистическом строительстве. Товарищ Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ» и этим прекрасным определением подчеркнул большую и ответственную роль писателя в строительстве социализма.

Ни в одной стране мира литература не играла и не играет такой огромной роли, как у нас в Советском Союзе. Это значение литературы особенно выросло в последние годы, когда повышение материального и культурного уровня масс выдвинуло миллионы новых читателей. Нигде в мире нет таких тиражей и такого спроса на художественную литературу, которые есть в нашей стране.

Народность литературы, ее колоссальная воспитательная роль и активность читателей особенно ярко чувствуются писателями капиталистического Запада, приезжающими в Советский Союз; в частности, ее отметил как наиболее поразившую его черту Лион Фейхтвангер.

В то же время никогда еще писатели не имели перед собой таких грандиозных и увлекательных перспектив, какие имеют советские писатели.

Новый этап развития советской литературы совпал с тем периодом, когда народы Советского Союза под руководством коммунистической партии и то-

варища Сталина одержали великую историческую победу. В 1932 году был закончен первый пятилетний план, неузнаваемо преобразивший Советский Союз и доказавший всему миру реальность великих побед социализма.

Успешное осуществление задачи построения экономического фундамента социалистического общества — через индустриализацию страны и коллективизацию сельского хозяйства — позволило перейти к задачам завершения строительства социалистического общества.

После широкого, всенародного обсуждения 5 декабря 1936 года Чрезвычайным VIII Съездом Советов СССР утверждается Конституция страны победившего социализма, названная именем ее великого творца — Сталинской Конституцией.

Сталинская Конституция и закрепленные в ней изменения, происшедшие в ходе социалистического строительства, имеют огромное значение для литературы. Они по-новому осветили роль и задачи писателя в социалистическом строе. Те классы или группы, которым в значительной мере служила литература до революции и которые частично влияли на литературу и после революции, особенно в начале нэпа, — исчезли в Советском Союзе. Литература в Советском Союзе, служа миллионам рабочих и крестьян, стала подлинно народным делом.

Социалистическое строительство воспитало миллионы людей, отличающихся совершенно новыми чертами: уверенностью в завтрашнем дне, оптимизмом, верой в конечное торжество принципов коммунизма, людей, проникнутых горячим советским патриотизмом.

Из среды этих новых людей вышли Стаханов, Кривонос, Бусыгин, Виноградовы, Сметанин, Изотов, Мария Демченко, Паша Ангелина и другие передовики и стахановцы социалистического государства; здесь росли и воспитывались Водопьянов, Молоков, Чкалов и другие герои советского народа и гордые соколы нашей родины. Эти люди покрыли себя неуязвимой славой, их

биографии интереснее любого романа, за их подвигами с изумлением и восхищением следит весь мир.

Перед советской литературой во весь рост встала огромная задача — запечатлеть этих героических людей в художественных образах, воспеть высокую романтику их подвигов.

Каким же образом советская литература выполнила эту задачу?

Нет никакого сомнения в том, что рассматриваемый период являлся наиболее плодотворным для советской литературы в целом. Правда, она понесла год назад тяжелейшую утрату.

18 июня 1936 года умер основатель и великий представитель русской пролетарской социалистической литературы — Алексей Максимович Горький, лучший друг Ленина и Сталина, любимейший писатель нашего народа, страстный борец за дело коммунизма, отдавший этому делу всю свою жизнь и весь свой могучий талант.

Тов. Молотов, выражая тяжесть этой утраты, на похоронах Алексея Максимовича сказал, что после смерти Ленина смерть Горького является самой тяжелой утратой для советского народа и всего человечества. Тов. Молотов в этой речи ярко охарактеризовал значение и историческое место Горького и его литературного наследства: «Влияние художественного слова Горького на судьбы нашей революции непосредственное и сильнее, чем влияние какого-либо другого нашего писателя. Поэтому именно Горький и является подлинным родоначальником пролетарской, социалистической литературы в нашей стране и в глазах трудящихся всего мира». («Правда», 21/VI—1936 г.).

Смерть Горького вырвала из рядов советской литературы ее величайшего представителя. Но советская литература, в значительной мере выпестованная Горьким, окрепшая и выросшая под его руководством, не склонилась под тяжестью этой утраты и дала ряд замечательных произведений, выделила ряд новых талантливых писателей. Дело, за которое боролся Горький,—создание в

ликого социалистического искусства—будет осуществлено. К этому есть все предпосылки, и именно в рассматриваемый период был сделан крупный шаг вперед в развитии социалистического искусства.

Этот шаг заключался в росте народности советского искусства и в создании образов, которые воплощают лучшие черты и чаяния советского народа.

Советская литература последних лет развивается под знаком борьбы за социалистический реализм, за искусство глубокой правды и высокой человечности, за искусство, раскрывающее перспективу движения вперед. М. Горький писал о социалистическом реализме:

«Реализм буржуазной литературы критичен, но лишь настолько, насколько критика необходима для классовой стратегии, — для освещения ошибок буржуазии в борьбе за устойчивость власти. Социалистический реализм направлен на борьбу с пережитками «старого мира», с его тлетворным влиянием, но главная его задача сводится к возбуждению социалистического, революционного миропонимания, мироощущения».

Лучшие произведения рассматриваемого периода—«Жизнь Клима Самгина», «Егор Булычев» М. Горького, «Поднятая целина», Шолохова, «Последний из Удэге» Фадеева, «Бруски» Панферова, «Энергия» Гладкова, «Как закалялась сталь» Н. Островского и др. — характеризуются социалистическим оптимизмом и гуманизмом, большевистским мироощущением, с точки зрения которого дается как наша действительность, так и прошлое. Правдивость, человечность, страстность сочетаются в этих произведениях с той силой и энергией, воплощенной в образах их героев, которая побеждала и побеждает врага, строила и строит заводы, завоевывает Арктику, которая всюду воплощается в героизме лучших советских людей.

Одним из произведений, воплотивших эти черты, является роман Н. Остров-

ского «Как закалялась сталь». Н. Островский однажды сказал, что жизнь дается человеку только один раз и надо прожить ее так, чтобы не было стыдно вспомнить прожитое, чтобы на смертном одре не мучил позор за напрасно растроченные силы и годы, за плохо прожитую жизнь. Герой романа Островского «Как закалялась сталь» Павел Корчагин является сильным, талантливым воплощением этого идеала.

Судьба обрушивается на Павла Корчагина один удар за другим. Ранение на фронте, тиф на постройке и, наконец, — неизлечимая мучительная болезнь, которая лишает его зрения и приковывает к постели, окончательно выбивая его из строя. Он узнает, что нет надежды на выздоровление, и здесь перед ним впервые встает вопрос — жизнь или смерть?

«Как же должен он поступить с собой сейчас, после разгрома, когда нет надежды на возвращение в строй?..

Трудно жить — шлепайся! А ты попробовал эту жизнь победить? Ты все сделал, чтобы вырваться из железного кольца? А ты забыл, как под Новоград-Волыньском семнадцать раз в день в атаку ходили и все-таки взяли наперекор всему? Спрячь револьвер и никогда никому об этом не рассказывай! Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай ее полезной».

И он продолжает борьбу, становясь писателем.

Советская молодежь справедливо увидела в Корчагине обобщенный образ молодых энтузиастов социалистического строительства, идеал молодежи советской эпохи. В этом причина огромной популярности романа Островского в массах. Смерть помешала Островскому закончить второй его роман — «Рожденные бурей», в котором показывается героическая борьба с бело-поляками.

Одной из характерных особенностей нового этапа в развитии советской литературы было стремление охватить и отобразить в образах литературы те

грандиозные процессы, которые были связаны с социалистической индустриализацией и коллективизацией.

Теме коллективизации посвящен роман М. Шолохова «Поднятая целина» (1932 г.).

В первой вышедшей книге «Поднятой целины» Шолохов берет период 1930 года, года развертывания коллективизации и ликвидации кулачества как класса. Темой романа является борьба за колхозы на Дону. Широко и выразительно развернута картина этой борьбы. На материале одного хутора, Гремячий Лог, Шолохов показал типические особенности эпохи коллективизации в целом, дал обобщенные образы представителей различных прослоек казачества в их отношении к коллективизации. Мастерски даны Шолоховым массовые сцены, острые моменты борьбы за колхоз, преодоление трудностей первых дней его существования. Глубоко раскрыта психология героев. Это делает «Поднятую целину» лучшим произведением советской литературы, посвященным коллективизации.

Роман «Энергия» Ф. Гладкова (1933 г.) является крупнейшим в нашей литературе произведением, рисующим процессы грандиозной социалистической индустриальной стройки. Действие романа развертывается на гидроэлектрострое, гигантском по своим масштабам строительстве, прообразом которого для Ф. Гладкова послужил Днепрострой. На месте степных, пустынных просторов вырастает в результате героического труда социалистических строителей огромный индустриальный город.

Гладков бросает нас в самую гущу строительства, преображающего лицо нашей родины, превращающего страну отсталую и аграрную в страну мощную и индустриальную. В романе Гладкова (вышел только первый том) прекрасно показаны и раскрыты энтузиазм строителей, острота борьбы, происходящей вокруг строительства. Строительство и переживания героев романа сделаны мастерски.

Тему социалистической индустриализации ставят также романы: В. Катаева «Время, вперед!» и Эренбурга «День второй». В. Катаев назвал свой роман хроникой. Темой романа является борьба за рекордные количества замесов бетона, ведущаяся бетонщиками Магнитостроя. Через показ этой борьбы В. Катаев раскрывает идею социалистической индустриализации. При общей положительности этого романа в нем недостаточно раскрывается психология социалистического труда, процесс изменения людей.

Значительно большей идейной и художественной глубины добился В. Катаев в своей повести «Белеет парус одинокий», в которой показана революция 1905 года в Одессе, преломленная в восприятии мальчика-рыбака Гаврика, ставшего активным участником революционных событий. «Белеет парус одинокий» — произведение глубокой эмоциональности и искренности — является несомненной удачей В. Катаева.

Роман И. Эренбурга «День второй» развертывает картину внешней динамики процессов социалистического строительства. Изменения, происходящие с героями, показаны, в основном, как продукт внешних условий, но не получают глубокого внутреннего раскрытия.

При всех своих недостатках роман этот бесспорно явился решительным сдвигом автора, полной переоценкой тех позиций, которые Эренбург выражал в своих романах первых лет нэпа. Он нашел новых героев — людей социалистической стройки — и распростился с наследием Хулио Хуренито.

Оптимизм, радость жизни в условиях расцветающего социализма выражены в романе А. Авдеенко «Я люблю» (1933 г.). «Я люблю» — первое произведение Авдеенко. В нем рассказана типичная для нашей эпохи, необычайно волнующая и яркая история превращения бывшего беспризорника, лишенного семьи, общества и крова, в полноправного строителя социализма, в счастливого человека.

Герой романа становится ударником-машинистом, счастливым человеком. Он живет полной жизнью и на производстве, и вне производства. Заключительные страницы романа — восторженный гимн нашей советской действительности; в них горят та жизнерадостность, тот оптимизм, которые присущи советской молодежи и всему нашему народу. И не случайно книга Авдеенко, не лишенная ряда литературных недостатков, но яркая по своей идее и пронизывающему ее чувству жизнерадостности, встретила горячий отклик у читателей.

Видное место занимают в советской литературе рассматриваемого периода произведения, берущие своей основной темой защиту родины. Хотя эта тема еще далеко не достаточно овладела творчеством наших писателей, но мы уже имеем ряд значительных произведений, посвященных защите родины. В этой связи следует назвать роман П. Павленко «На Востоке». В первой части романа развернута картина социалистического строительства на советском Дальнем Востоке. Преданные сыны партии и верные защитники родины отдают все силы индустриализации, укреплению этого замечательного края. Возникают новые города, заводы, дороги, преобразается лицо девственной страны. Одновременно Дальний Восток укрепляется на случай нападения врагов.

И вот, однажды, вспыхивает война, навязанная Советскому Союзу японским фашизмом.

В ответ на выступление японских армий в различных направлениях к советской земле радио объявляет призыв на защиту социалистической родины. И могучий советский народ встает на защиту своей страны.

Роман Павленко мобилизует советских патриотов на защиту родины и показывает неизбежность победы страны социализма над любыми агрессорами, которые осмелятся на нее напасть.

Если роман Павленко посвящен будущей войне, то пьесы Вс. Вишневского «Оптимистическая трагедия» и «Мы из

Кронштадта» мобилизуют на защиту родины, оперируя материалом гражданской войны.

Тема превращения стихийной массы в монолитный коллектив защитников социалистической родины — это тема всех произведений Вишневого. Она развернута им с большой силой. Вишневский пользуется преимущественно материалом флота, который он знает очень хорошо.

Флоту и войне посвящена и монументальная эпопея Новикова-Прибоя «Цусима» (2-я часть — «Бегство»). Но Новиков-Прибой берет дореволюционную эпоху — темой его романа является знаменитый поход эскадры Рожественского в дальневосточные воды во время русско-японской войны и гибель ее при Цусиме. С замечательной яркостью Новиков-Прибой раскрывает обстановку русско-японской войны, бездарность царского командования, его предательскую растерянность и тупость, обрекшие на бессмысленную гибель русский флот и многие тысячи защитников родины — матросов русского флота. Этой трусости и предательству противопоставлены мужество и отвага рядовых матросов и командиров, с честью представлявших свой великий народ, свою родину.

Теперь, когда суровое мужество и героизм русского народа, не раз бившего самых сильных врагов, перед которыми трепетали другие государства, вроде Пруссии или Италии, умножены на высокую технику и индустриальную мощь Советского Союза, когда народом руководят его любимые вожди во главе с великим Сталиным, наше отечество непобедимо, — вот вывод, который закономерно следует из романа Новикова-Прибоя. В этом его основное значение.

Дореволюционному флоту посвящен и роман Соболева «Капитальный ремонт». Основная идея романа также заключается в показе неизбежности гибели самодержавия, в показе внутренней его гнили за внешней пышностью «императорского флота». Роман написан хорошим языком, но несколько отягощен от-

ступлениями, перегружающими повествование, замедляющими действие. Кроме того, в романе есть недостаток, который, в сущности, относится не к одному Соболеву, а ко многим нашим писателям. Этот недостаток — умаление прошлой истории русского народа и государства в духе школы Покровского.

Л. Леонов после «Соти» дал два новых больших романа: «Скутаревский» и «Дорога на океан». В первом романе выведен крупный ученый, который, разрывая кастовые рамки своего окружения, благоприятствующего врагам, приходит к рабочему классу. В основе романа «Дорога на океан» лежит тема трагичности. Роман глубок по своему содержанию; попытка раскрыть понятие трагического в наших условиях очень интересна. Написан роман с тем талантом и своеобразием, которые свойственны Л. Леонову; но в трактовке темы едва ли можно с ним согласиться. Он слишком гипертрофировал мотив трагичности ожидания смерти Куриловым.

Разбор основных произведений, появившихся после решения ЦК от 23/IV 1932 года, показывает большой творческий рост советской литературы. Рядом с названными уже произведениями многие писатели в эти годы продолжают или заканчивают крупные произведения, начатые еще до 1932 года: «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Тихий Дон» Шолохова, «Петр I» Ал. Толстого, «Последний из Удэге» Фадеева, «Бруски» Панферова.

Эти произведения, рассмотренные нами в предыдущей главе, в тех частях, которые вышли после 1932 года, представили большой вклад в советскую литературу. Мы не имеем возможности рассмотреть здесь все более или менее значительные произведения, вышедшие за последнее пятилетие.

Такие произведения, как, «Человек идет в гору» П. Нилина, «Сладкая каторга» Ляшко, «Великий, или тихий» и «Сын» В. Лидина, «Колхида» и рассказы К. Паустовского, и мн. др. — каждое по-своему раскрывает нашу действительность.

Из исторических романов надо в первую очередь отметить «Пушкина» Ю. Тынянова. Мастер биографического романа, Ю. Тынянов в «Пушкине» оригинально решает одну из труднейших тем. Надо признать, что при наличии спорности, при известной субъективности трактовки образа Пушкина роман Тынянова — положительное событие в нашей литературной жизни.

Надо также сказать и о новых писателях, выдвинувшихся впервые за последние годы.

Здесь в первую очередь мы назовем Макаренко, автора «Педагогической поэмы» — произведения, рисующего перевоспитание беспризорных в трудовой коммуне.

Затем надо отметить «Глюкауф» В. Гроссмана — роман о Донбассе, герой которого Лунин отдает всю свою жизнь борьбе за порученное ему партией дело, и романы Ю. Германа («Вступление», «Наши знакомые»), Н. Вирта («Одиночество», «Закономерность»), Первенцова («Кочубей») и др.

Перейдем теперь к поэзии.

Смерть Маяковского, а за ним Багрицкого была тяжелой утратой для всей советской поэзии. Она лишилась двух крупнейших своих представителей. Эта утрата особенно чувствуется сейчас, когда перед нашей поэзией встают новые, более сложные и высокие задачи, когда поэзия должна заговорить во весь голос.

Развитие советской поэзии в последние годы идет под знаком решительного обращения к народности. Выдвигается ряд талантливейших поэтов, представляющих творчество народов Советского Союза, — Сулейман Стальский, Джамбул и др. Растет и крепнет творчество выдающихся поэтов Украины, Белоруссии, Грузии и других республик Союза.

Поэты народов Советского Союза, пробужденные и вдохновленные новой социалистической жизнью, в прекрасных стихах и песнях воспевают родину трудящихся и великого вождя и друга народов Советского Союза — гения социалистической революции — Сталина.

Замечательна по своей яркости и эпичности песня казахского джирши Бека, посвященная Сталину:

Он велик. Слово его
Сильней, чем устои гор!
Он собрал в себе слезы веков,
Он собрал в себе горе веков,
Он собрал в себе радость веков,
Он собрал в себе счастье веков,
Он собрал в себе мудрость веков,
Он собрал в себе силу веков!
Его жизнь велика и проста,
Необъятна она, как мечта.
Он, как утро, над миром встает,
Его Сталиным мир зовет.

Казахский певец Джамбул посвятил Ленину и Сталину наиболее яркие из своих песен:

... Сталин — солнце мое; я услышал
в Москве,
Сердце мудрого Ленина бьется в тебе.
Пышно братство народов цветет,
Счастлив русский, грузин и казах.
Наша родина — мира оплот.
Наше счастье добыто в боях...

Стихи Сулеймана Стальского и Джамбула — это подлинно народное, высокое творчество, непосредственное в своем волнующем чувстве и мудрое в своей простоте. Эпоха социализма наполнила это творчество новым глубоким содержанием, дала народным певцам новые неисчерпаемые темы, новые замечательные образы. Их творчество является вместе с тем примером для всех советских поэтов.

Только то поэтическое творчество может в наших условиях претендовать на внимание и любовь широких масс, которое будет подлинно народным по своей идее и форме. В этом лежит причина огромного успеха песен В. Лебедева-Кумача. Его «Родину» и другие песни поет вся страна, ибо в этих песнях выражены в простых и ясных поэтических формах сокровеннейшие мысли народа. Эта же простота и народность находят свое выражение и в других наиболее удачных произведениях нашей

поэзии рассматриваемого периода. Здесь следует прежде всего назвать стихи Виктора Гусева, М. Исаковского, А. Суркова и др., творчество которых сильно выросло за эти годы.

Стихи Гусева характерны глубокой эмоциональностью, ясностью и простотой форм. Он стремится приблизить поэзию к массовому читателю через своеобразную «разговорность».

Расцвет творчества народных поэтов Советского Союза, ярко выразившийся в творчестве Стальского, Джамбула и др., огромный успех песен Лебедева-Кумача, Гусева, Суркова и др. ясно указывают советской поэзии, где пролегал ее основной путь. Советская поэзия должна выражать мысли народа, воспеть ту счастливую и радостную жизнь, которой добились под руководством Ленина и Сталина народы нашей страны, дать образы вождей народа—великого Сталина и его соратников. Однако, большинство наших поэтов еще не подошло к этой задаче. Отставание поэзии хорошо выразил С. Кирсанов в строках своей поэмы «1934»:

События
вплывают
в порт годов.
Их трюм
тяжел —
тюки и кипы фактов.
Я до сих пор
К разгрузке не готов.
В руках
и в рифмах,
и в словах нехватка.

Поэмы и стихи самого С. Кирсанова в значительной степени подтверждают правильность его слов. Ряд поэтов как бы остановился перед трудностями нового периода развития советской поэзии. Это относится и к таким поэтам, как Уткин, Алтаузен и др.

На отставание поэзии сильнейшим образом повлияло также и более сильное распространение в ней (по сравнению с прозой) формализма. Он сказался в стихах Б. Пастернака, И. Сельвинского, с его трюкачеством и погоней за эф-

фектностью рифмы, у Кирсанова и других, не говоря уже о многих молодых поэтах.

Осознавая отставание поэзии от жизни, основная масса советских поэтов, отвергая путь трюкачества и формализма, идет в своем творчестве путем исканий простоты, народности, значительности идей и ясности формы. Они стремятся охватить и понять новую жизнь, воспеть ее в стихах, понятных миллионам.

Ряд значительных вещей дал Вл. Луговской, активно борющийся за социалистический реализм в поэзии. Еще в поэме, завершающей первую часть книги «Жизнь», он восклицал:

Поэзия моя. Поэзия моя.
Чтобы гореть и убивать в бою,
Сумей поднять живую цельность жизни...

В таких вещах, как поэма «Полковник Соколов», Луговской ближе всего подходит к этой «живой цельности жизни».

Обращаясь к своему герою, он говорит о его жизненном пути:

Этот путь, простой и благородный,
Ты прошел по боевым низам.

Эта поэма Луговского пронизана высоким революционным пафосом и дает яркий образ бойца-большевика, который по зову партии переходит с одного фронта на другой.

Попытку дать героический образ борца за революцию сделал и Н. Асеев в своей поэме «Смерть Оксмана».

Интересную поэму, посвященную империалистической войне, дал А. Сурков («Большая война»). Он удачно использует формы народной поэзии: сказ, прибаутки, частушки, пословицы и т. д. Сурков дал также ряд хороших стихотворений и песен, посвященных обороне Советского Союза.

Попрежнему активно работает Демьян Бедный, откликаясь на все значительные события. Так, одну из своих поэм—«Колхоз Красный Кут» он посвятил разоблачению и осмеянию бессмысленных мечтаний немецких фашистов о

«завоеваниях» русских земель. Поэма построена в характерном для Демьяна стиле сатирического обозрения, в основу которого положены конкретные исторические факты (путешествие немцев по России в 1912 году) и записи об этом Вилкова. В поэму вмонтированы выдержки из книг, иллюстрирующих и продолжающих соответствующие части поэмы.

Ряд значительных поэтических произведений дал за эти годы Г. Лахути, пишущий на языке фарси. Н. Тихонов выпустил интересную книгу стихов о Европе.

В нашу задачу не входит рассмотрение творчества национальных поэтов братских республик, но надо отметить огромный рост поэзии национальных республик, имевший место за последние годы. Этот рост отразился не только в стихах и поэмах отдельных мастеров, но еще ярче воплотился он в тех стихотворных посланиях великому Сталину от имени народов братских республик, которые были поэтически оформлены объединенными силами поэтов этих республик.

В речи на I всесоюзном совещании стахановцев (ноябрь 1935 г.) товарищ Сталин сказал: «Основой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение материального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живет, работа спорится». («Правда», 22/XI — 1935 г.).

Коренное улучшение жизни трудящихся Советского Союза сказалось и в области искусства. Материальная обеспеченность, радостная и веселая жизнь вызвали расцвет народного поэтического творчества, воспевającego победы социализма и мудрость Сталина, приведшего наши народы к этим победам.

Вопрос о народности поэзии встал во весь рост перед советскими поэтами. Мы видели уже, что лучшие произведения советских поэтов стремятся к выражению чувств и мыслей народа, его преданности делу социализма и своим

вождям, его патриотизма; стремятся к ясным и понятным формам, к реализму. На этом пути имеются уже определенные успехи. Успехи эти — свидетельство того, что советская поэзия полностью преодолела в ближайшем будущем свое отставание и создаст значительнейшие произведения, которые так же глубоко, искренно и на высоком художественном уровне воплотят нашу эпоху, как это уже теперь делают замечательные народные поэты — Сулейман Стальский и Джамбул и как это в свое время умел делать лучший и крупнейший поэт советской эпохи — Владимир Маяковский.

Столетний юбилей со дня гибели гениального русского поэта А. С. Пушкина, превратившийся в величественное всенародное чествование его памяти, в свою очередь дал нашей поэзии могучий толчок к борьбе за поэтические высоты и мастерство. Идя по этому пути, советская поэзия выполнит задачу, поставленную перед нею эпохой.

Обобщая ход литературного развития за последние пять лет, надо отметить, что успехи, достигнутые советской литературой, были завоеваны в условиях борьбы с враждебными тенденциями, в условиях, когда враги всячески старались навредить литературе и использовать ее в качестве орудия для своих гнусных целей реставрации капитализма в нашей стране.

Подлые враги народа пытались предать нашу родину, продаваясь японско-немецким фашистам, ведя у нас подрывную, вредительскую работу. Эту работу они вели и в литературе, используя ее и как форму маскировки, и для клеветы на советскую действительность.

Разлагающую, подрывную работу в литературе — создание параллельного литературного центра, дезорганизацию советских писателей, протаскивание контрреволюционной клеветы — пыталась вести троцкистская банда Авербаха вкупе с врагами народа Бухариным и Радеком.

Все эти вражеские тенденции разоблачены и пресечены. Но надо помнить,

что и в будущем враг будет еще пытаться пролезть в литературу и напакостить здесь. Вот почему подлинная большевистская бдительность является необходимым и первым условием борьбы за подлинно социалистическую народную литературу.

Советская литература развивается под знаменем борьбы за социалистический реализм. Социалистический реализм — это правдивое отображение нашей действительности, действительности эпохи социализма, со всеми ее характерными особенностями и тенденциями. Социалистический реализм включает в себя моменты нашей советской романтики, моменты мечты и предвидения.

Но эта романтика — не уход от действительности, как то было в романтизме прошлого, а романтика, опирающаяся на подлинную действительность. Ярким примером такой романтики являются книга и пьеса Героя Советского Союза М. В. Водопьянова — «Мечта пилота» и «Мечта». Мечта Водопьянова о завоевании Северного полюса осуществлена нашими славными героями-летчиками, сталинскими соколами советской авиации и самим Водопьяновым.

Нельзя не отметить, что, к сожалению, наши писатели недостаточно еще прониклись этой социалистической романтикой. Попытка отобразить будущее в «Дороге на океан» у Леонова остается едва ли не единственной, а пьеса Олеси «Строгий юноша», где он пытался нарисовать облик человека будущего и его мораль, оказалась явной неудачей. Элементы романтики обычно даются нашими писателями или в темах о гражданской войне, или в темах строительства сегодняшнего дня, без охвата будущего, тенденций нашего развития.

Мы уже говорили, что развитие советской литературы после решения ЦК от 23/IV 1932 г. идет под знаком борьбы за социалистический реализм. Лучшие произведения нашей литературы — «Жизнь Клима Самгина» и «Егор Булычев», «Поднятая целина», «Как зака-

лялась сталь», «Энергия», «Последний из Удэге», «Цусима» и др. — являются большими достижениями в этом направлении.

В докладе на Всесоюзном съезде писателей А. М. Горький нарисовал перед писателями увлекательную перспективу дальнейшего движения по этому пути. Он особенно подчеркивал при этом народность как основное качество социалистического искусства, призывал писателей ближе подойти к сокровищам народного творчества, явившегося основой для всех великих мировых эпох расцвета литературы. И мы видим, что лучшие произведения нашей литературы — поэзии и прозы — все более и более проникаются народностью, идут ко все большей простоте и ясности форм при глубине содержания. Но подлинная реалистичность и народность достижимы только при условии развернутой борьбы с формализмом и натурализмом, как формами чуждых влияний в литературе. Задача советской критики — дать подробный разбор формалистических и натуралистических тенденций, ибо без их преодоления нельзя решить вопросы полного овладения методом социалистического реализма.

Одним из ярких отличительных признаков советской социалистической литературы является ее оптимизм — в противовес пессимизму современной литературы капиталистических стран.

«Все мы — потерянное поколение» — таким эпитафием сопровождает Хэмингуэй свою «Фиесту»; безрадостным пессимизмом проникнуты романы Ганса Фаллады, в частности его «Кто однажды отведал тюремной похлебки», — произведение, перекликающееся с самыми мрачными страницами Достоевского; уродливый, антиэстетичный мир встает на страницах Джойсовского «Уллиса»; печально проникнуты страницы романов Жана Жионо; бессмысленна жизнь и нелепа гибель большинства героев Дос-Пассоса. Эти примеры можно было бы значительно увеличить.

В пессимистическом характере литературы капиталистических стран сказывается бесперспективность буржуазного

общества; в этом характере отражаются те бедствия и то горе, на которые обрекают массы господствующие классы.

Народы Советского Союза живут в счастливых условиях социалистического общества, с его заботой о человеке, с непрерывно растущим благосостоянием масс, с его наиболее последовательным демократизмом. Эта счастливая жизнь, дающая каждому советскому гражданину право на труд, отдых, образование, уничтожающая даже воспоминания о таких мрачных явлениях, как безработица, обнищание крестьянства, неуверенность в завтрашнем дне, закреплена великой Сталинской Конституцией.

Наша литература, в которой радостная жизнь народов Советского Союза уже отражена в ряде романов, поэм, песен и других произведений искусства, должна с еще большей глубиной и широтой воплотить счастливую жизнь советской страны под сенью Сталинской Конституции.

Подводя итоги достижениям советской литературы за двадцать лет, отмечая значительность этих достижений, мы твердо уверены в том, что советские писатели завоеуют высоты социалистического искусства и дадут миру великие произведения, представляющие новый, огромный шаг вперед в художественном развитии всего человечества.

А. И. Безыменский.
Ф. В. Гладков.
Редакция: Л. М. Леонов,
А. Г. Малышкин.
В. П. Ставский.

Издатель: «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»